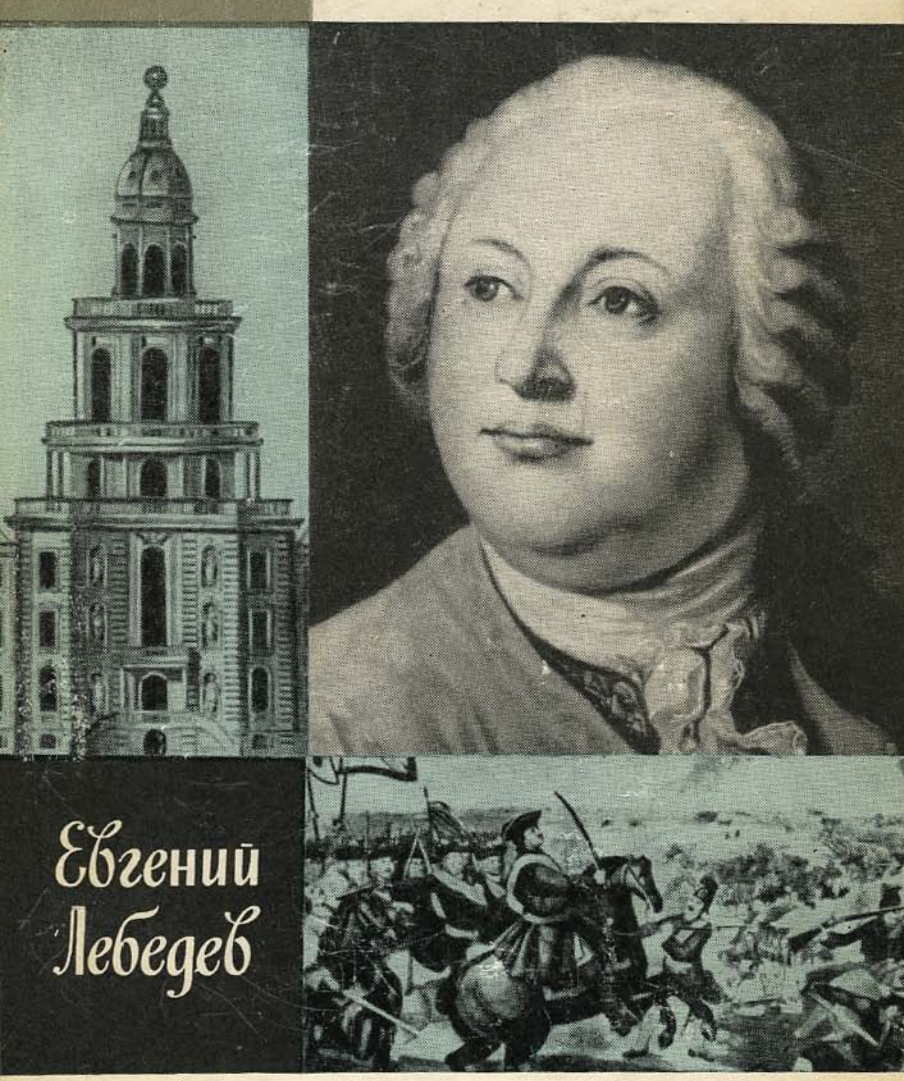
ЛОМОНОСОВ



Евгений Лебедев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь
замечательных
людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

705

Евгений Лебедев

ЛОМОНОСОВ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

ББК 72.3
Л 33

Рецензент — Г. А. АНДРЕЕВА
Научный редактор — доктор филологических наук
Г. Н. МОИСЕЕВА

Л $\frac{4702010201-005}{078(02)-90}$ 153—89

ISBN 5-235-00370-5 (2-й з-д)

ОТ АВТОРА

Добродетельный человек — не тот, кто жертвует своими привычками и самыми сильными страстями ради общего интереса — такой человек невозможен, а тот, чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда принужден быть добродетельным.

Гельвеций

Ломоносов принадлежит к числу универсальных деятелей мировой культуры, которые в своем творчестве воплощали непреходящую потребность человеческого рода постичь и освоить мир во всем его многообразии, выражали извечное стремление человека к социальной и нравственной свободе, словом и делом своим утверждали необходимость деятельной любви к людям.

Ломоносов и сейчас пробуждает живущее в каждом из нас это стремление к «полному чувству Бытия», как сказал Тютчев, не дает ему заглохнуть под ворохом сиюминутных наших интересов, которые чаще всего бывают весьма специальны, весьма односторонни и которым мы иногда, по наивности или слабости своей, пытаемся придать черты всеобщности, но редко при этом испытываем удовлетворение. Ломоносов тревожит и наше нравственное чувство, ибо всей жизнью и творчеством подтверждает принципиальную невозможность для нас удовлетвориться только частью истины, только одной какой-нибудь ее стороною. Принадлежа всему человечеству, Ломоносов был и остается сыном своего времени, которое по глубине и существенности исторических переворотов отдаленно напоминает наше. Понять Ломоносова в его времени — вот главная задача книги, ибо это означает глубже понять современные социальные и культурные процессы, уходящие своими корнями в тот перевернутый пласт нашей истории, возделывать который пришлось Ломоносову.

«Столетьем безумным и мудрым» назвал XVIII век А. Н. Радищев. Жизнь огромной страны, выведенной петровскими реформами из состояния равновесия, отличалась в это время какою-то всеобщей, небывалой дотоле стремительностью. На глазах одного-двух поколений родилось новое общество, утвердилось новое отношение к человеку. Отныне не порода, не «титлы» в первую очередь, а заслуги перед страной, реальная польза, приносимая на общественный алтарь отдельной личностью, определяли ее ценность. Люди сильные, энергичные, предприимчивые выдвигались на первые роли в государстве. Стремительно рушились старые привилегии боярства и духовенства. Стремительным было возвышение дворян, «служилых людей». Стремительно разворачивали свою деятельность промышленники, купцы и иные предприниматели. И не менее стремительно росло недовольство крепостных, чьим трудом и оплачивался этот общегосударственный энтузиазм.

Человек, который придал России это стремительное ускорение, сам был весь порыв, весь движение. Уверовав в то, что страна уже не может жить прежними идеалами, в прежнем ритме, он торопил время. Его «революционная голова» (Пушкин) работала над скорейшим, по возможности немедленным, претворением в жизнь всех замыслов, которые проносились в ней сумасшедшей вереницей.

Грандиозные начинания Петра I: новая армия, впервые созданный флот, новая столица, организация светских учебных заведений (Инженерная, Навигацкая, Артиллерийская и Хирургическая школы, горные школы в Карелии и на Урале), введение нового календаря, гражданского шрифта, развитие издательского дела, появление первой газеты, первого музея, учреждение Морской академии, основание Академии наук — все это в соединении с такими государственными актами, как упразднение патриаршества и установление коллегиального управления в церкви (Синод) под эгидою царской власти, явилось зримым воплощением глубокого духовного перелома, пережитого Россией в самом начале столетия. И все это было впервые, внове.

«Россия вошла в Европу, — писал Пушкин, — как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного образования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, невзлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища. Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться».

Личные судьбы людей развивались так же стремительно, как и судьба всей страны. Повороты были неожиданны, падения жестоки, взлеты захватывающе высоки.

Феофан Прокопович, сын мелкого киевского торговца, проходит выучку сначала в Киево-Могилянской академии, затем переходит в католичество и продолжает свое образование в Польше, после чего отправляется в Рим, где в католической коллегии святого Афанасия наряду с теологией серьезно изучает философию и античную литературу, наконец, возвращается в Киев, вновь принимает православие и ведет занятия в той же академии, в которой когда-то начинал сам. Здесь в 1706 году на него обращает внимание Петр I и некоторое время спустя вызывает его в Петербург. Феофан становится вице-президентом Синода, правой рукою Петра, вдохновителем многих и защитником всех начинаний своего венценосного патрона.

Князь Антиох Дмитриевич Кантемир, аристократ, в жилах которого текла кровь Тимура, сын молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира, энциклопедически образованного человека, познания которого высоко ценились Петром («Оный господарь человек зело разумный и в советах способный»), Вольтером и др., в трехлетнем возрасте становится русским подданным и обретает в России настоящую свою родину. Получив образование в Славяно-греко-латинской академии, А. Д. Кантемир стал одним из виднейших русских поэтов первой трети XVIII века и одним из наиболее перспективных деятелей знаменитой «Ученой дружины». Неудачи «дружины» обернулись для него отсылкой в Лондон в качестве русского дипломатического резидента при тамошнем дворе, а затем — в Париж в том же качестве.

Сын астраханского священника Василий Кириллович Тредиаковский в девятнадцатилетнем возрасте отправляется с азиатской границы империи в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, оттуда — в Гаагу, а потом — в Париж. Изучив досконально античную, средневековую и новейшую западноевропейскую литературу, философию и теологию, в 1730 году (то есть когда воцарилась Анна Иоанновна и началась бироновщина) он возвращается в Петербург, мечтая возглавить просветительское движение в стране, но встречает со стороны власти глухое непонимание и открытую вражду. Униженный, осмеянный, непонятый, затаивший обиду, он, однако, не оставляет своих замыслов и все оставшиеся силы отдает просвещению соотечественников...

Многих в ту головокружительную пору позвала Россия, но избранником в полном смысле этого слова стал лишь Михайло Васильевич Ломоносов, сын черносошного крестьяни-

на, великий человек, познавший Русь «от темной клети до светлых княжеских палат» (А. Н. Майков), первым из деятелей новой русской культуры завоевавший мировую славу.

Он сознавал, что судьба именно ему назначила совершить духовный подвиг, который был не под силу его современникам, и им было очень нелегко с ним общаться. Что касается врагов Ломоносова, так те просто считали его грубым мужиком, который за все хватается и все хочет подмять под себя. Но и ломоносовские доброжелатели часто недоумевали: не слишком ли, мол, широк размах-то?.. Главного своего доброжелателя, И. И. Шувалова, Ломоносов успокаивал: «Я всепокорнейше прошу ваше превосходительство в том быть обнадежену, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожну, были бы обо мне беспечальны, а те, которые обо мне из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были и знать бы научились, что они своим аршином чужих сил мерить не должны, и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно. Оне кого хотят, того и полюбят».

Е. А. Боратынский, который хотел написать книгу о Ломоносове, много размышлял над смыслом таланта и пришел к такому выводу: «Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение, должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия». Мало в ком облагораживающее, возвышающее воздействие дара на самого носителя его, равно как и благородное чувство ответственности перед своим даром, проявлялось так «постоянно и непревратно», как в Ломоносове. Он понимал: надо быть на уровне дарованного, а не применять то, что дано свыше, к сиюминутным своим потребностям, не унижать дар до людских прихотей, но себя и людей поднимать к нему.

Вот почему никто из современников Ломоносова не был так же спокойно и твердо, как он, уверен в своем высоком и грандиозном предназначении. Как уже говорилось, среди них были люди талантливые, энциклопедически образованные, и честолюбивые были не меньше, чем он. Но они *доказывали* (себе, монархам, друзьям, противникам) свое право на избранничество. Ломоносов же просто *знал,* что он избранник. Разница неимоверная, всех ставящая на свои места...

Это знание, эта спокойная уверенность Ломоносова зиждились на том очевидном для него (а теперь и для потомков) факте, что все личные его творческие устремления всегда соответствовали общегосударственным, общенациональным потребностям культурного, хозяйственного, да и политического развития послепетровской России. Между тем XVIII век видел в Ломоносове по преимуществу поэта и ритора. А вот о характере и истинной ценности его научных трудов его столетие имело довольно смутное представление. Пожалуй, лишь великий Л. Эйлер по достоинству оценил

тогда эту сторону деятельности Ломоносова. Но даже он признавал, что подчас ему было затруднительно вынести компетентное суждение по иным проблемам, которые затрагивались Ломоносовым: настолько смелым и оригинальным был его подход, настолько опережал он в своих гениальных прозрениях уровень научных представлений эпохи.

Не зная всего Ломоносова, современники и в поэзии его понимали не все. Доступным оказалось знаменитое ломоносовское «парение», «великолепие».

«Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен» — так писал о Ломоносове в 1748 году Сумароков, поначалу искренне восторгавшийся его творчеством. Этой строке суждено было роковым образом повлиять на отношение читающей публики к Ломоносову. Отныне заходила ли речь о Ломоносове, сейчас всплывал на поверхность второй полустих сумароковской формулы.

Слово было найдено. Очень удобное слово. Как противники, так и сторонники поэта приняли это слово безоговорочно и даже с энтузиазмом.

Для его литературных врагов «высокое парение», «громкость», «восторг» — эти характерные (но не единственные!) приметы ломоносовской музы, взятые в отчужденной форме, — стали знаком поэтической бессмыслицы, ходульности выражения и вообще дурного вкуса. Не давая себе труда постичь поэзию Ломоносова в целом, не пожелав найти в ней самой скрытой пружины пресловутого «парения», эти люди (во главе которых в 1750-е годы стоял не кто иной, как недавний апологет «российского Пиндара» — Сумароков), сами того не подозревая, воевали не с Ломоносовым, а со своим ограниченным представлением о Ломоносове.

Что же касается последователей, то и они не смогли проникнуть до самых последних глубин художественного миропонимания Ломоносова, постичь в целом все величие его жизненного и литературного подвига. Они так же, как и противники поэта, не умели преодолеть в своем подходе к нему односторонности.

Правильное понимание Ломоносова возможно лишь с учетом всех его многообразных устремлений. «Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...» — эти пушкинские слова ориентируют на рассмотрение ломоносовского наследия в его совокупности. В дореволюционной литературе о Ломоносове примером широкого охвата его деятельности могут служить разыскания, предпринятые профессором Б. Н. Меншуткиным и легшие в основу его книги («Михайло Васильевич Ломоносов. Жизнеописание»), написанной к 200-летнему юбилею Ломоносова, в 1911 году.

В советское время пушкинскую традицию в подходе к Ломоносову с блеском развил выдающийся ученый, академик С. И. Вавилов. Обозревая историю восприятия Ломоно-

сова русской публикой и отмечая, что вплоть до пушкинского времени он был известен прежде всего как литератор, а начиная «со второй половины прошлого века до наших дней поэтическое наследие Ломоносова отодвигается на задний план, и внимание почти целиком сосредоточено на Ломоносове-естествоиспытателе», С. И. Вавилов писал: «Обе крайности, несомненно, ошибочны. Великий русский энциклопедист был в действительности очень цельной и монолитной натурой. Не следует забывать, что поэзия Ломоносова пронизана естественнонаучными мотивами, мыслями и догадками... Поэтому часто встречающееся сопоставление Ломоносова с Леонардо да Винчи и Гёте правильно и оправдывается не механическим многообразием видов культурной работы Ломоносова, а глубоким слиянием в одной личности художественно-исторических и научных интересов и задатков».

По сути дела, может быть, только сейчас начинают появляться реальные предпосылки для всестороннего осмысления ломоносовской деятельности.

В пользу этого заключения говорит и характер современного культурного развития, в ходе которого все большим и большим числом людей осознается насущная необходимость целостного подхода как к наследию прошлого, так и к духовным процессам настоящего, — то есть все очевиднее становится «неразрывная связь всех видов человеческой деятельности и культуры (С. И. Вавилов).

Вот почему опыт Ломоносова — его жизнь и борьба, его литературное, философское, естественнонаучное наследие — обладает для нас не только исторической, но и вполне актуальной ценностью.

И вот тут приходится с сожалением констатировать, что нынешнему поколению Ломоносов почти неизвестен. Он даже не прочитан как следует. Если говорить о писателях и филологах, то они, за немногими исключениями, обращаясь к поэтическому наследию Ломоносова, несмотря на то, что отдают должное его выдающемуся историко-литературному значению, в глубине души все-таки не считают его поэтом («Ну, как же! Писал-то по должности»). Что же касается естествоиспытателей, то иные из них, читая Ломоносова, не могут преодолеть в себе отрицательных эмоций, связанных с самим этим именем, памятуя о том времени, когда палачи науки громили им «космополитов», забывая о том, что Ломоносов не может отвечать за это. Ко всему этому надо добавить, что как раз когда установилось затишье касательно Ломоносова, оно установилось и по отношению к истории русской культуры вообще: люди пробавлялись в основном теми сведениями, которые поставляла им низкопробная историческая беллетристика, воспитывавшая вульгарный интерес к прошлому как к чему-то экзотическому. На этом фоне легко восстанавливается примерный образ Ломоносова, который мог возникнуть в сознании непосвященного человека: вышел из низов, очень талантливый и очень русский, пришел с обозом в Москву, выучился, немцы не давали ему хода, он их бил по физиономиям, они в отместку замалчивали его открытия, он писал в целях самозащиты хвалебные оды Елизавете, высоко поднялся, но немцы его все-таки задушили. Все вроде бы так. И вместе с тем все — ложь.

Таковы в общих чертах помехи, препятствующие сейчас соответственному осмыслению Ломоносова. С их учетом и писалась эта книга. Ломоносов — из тех гениев, которые появляются в истории народов не то чтобы раз в столетие или раз в тысячелетие, а вообще — *один только раз.* Появляются, чтобы показать соотечественникам, что кроется в каждом из них, но и подавляется чуть ли не каждым из них. Судьба Ломоносова вместила в себя семь веков, которые были до него, и почти три века, которые были после. Читать Ломоносова и писать о Ломоносове надо, в сущности, с одной целью — чтобы разобраться в самих себе.

Вот почему в этой книге наряду с повествованием о его жизни и о его времени много места занимают размышления над страницами ломоносовских произведений. И пусть они станут приглашением читателю к совместному, как говорил Ломоносов, «поисканию» истины. Во-первых, это необходимо и полезно, а во-вторых, как говорил А. С. Пушкин, «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«ВОСТОРГ ВНЕЗАПНЫЙ УМ ПЛЕНИЛ!»
1711—1741

ГЛАВА I

Мальчик в лаптях и нагольном тулупе думает думу...

Ф. Глинка

1

С давних времен выходцы из вольного Новгорода, люди смелые и предприимчивые, стали заселять побережье Белого моря. Рубили избы, строили лодьи, ловили рыбу, били морского зверя, охотились, сеяли хлеб, писали иконы, резали по кости...

Жители Поморья не знали крепостного права и свободно пользовались своими землями (могли, к примеру, заложить или продать их). Мирская сходка — верховный орган крестьянской общины. Здесь выбирались представители местной исполнительной власти (старосты, сотские) и решались все вопросы внутриобщинного землепользования. Здесь определялось, сколько с кого следует «на круг» для ответа общины перед казной (знаменитая круговая порука) и т. д.

Природная смекалка и трудолюбие помогли поморам приспособиться к суровым условиям северного края. Без пилы и гвоздей поморские кудесники при помощи одного только топора ставили свои крепкие избы, обшивая их снаружи досками (опять-таки тесанными топором) или березовой корой, прокладывая стены и двери мохом. Все было умело продумано и рассчитано: окошки делались маленькими, зазоров между бревнами — никаких. Летом в таком доме прохладно, а зимой самый лютый мороз не достанет. Тем же манером строились и храмы: высокие, легкие, сказочно красивые — и прочные.

Главным промыслом поморов была ловля трески и палтуса. Рыбу ловили не сетями, а «ярусом» — огромной длины веревкой, к которой на расстоянии трех аршин друг от друга привязывались короткие снасти с большими крючками. Забросить «ярус» в море было делом нелегким. Обычно этим занимался самый опытный человек на судне — кормщик, который одновременно правил парус и на полном ходу опускал за корму гигантскую веревочную гирлянду, следя за тем, чтобы крючки не перепутались. Через некоторое время рыбаки возвращались на то место, где был заброшен «ярус», собирать улов («трясти треску»). Бывало, возвращались домой ни с чем. Но в удачные дни с одного «яруса» набиралось трески и палтуса на две, а то и на три полные лодки.

Охота на тюленей и моржей также была одним из основных поморских промыслов. Выследив тюленье лежбище, поморы бросались на неловких на суше зверей, стараясь произвести как можно больше шума, чтобы напугать их, вызвать растерянность. Гарпун, острога, просто дубинка — все шло в ход. Били много и яростно. Свежевали туши на месте. Шкуры тюленей (снаружи — мех, с другой стороны — толстый слой сала) волокли по льду и снегу в лодки. Потом возвращались по кровавому следу и вновь били, сдирали, оттаскивали... Уцелевшие звери старались собраться в одну кучу, чтобы теплом и тяжестью своих тел продавить льдину и уйти от преследователей. Если им это удавалось, то опасность угрожала уже самим охотникам.

Моржи гораздо крупнее, мощнее и опаснее тюленей. У них прекрасный слух и чуткое обоняние. При хорошем ветре они чувствуют приближение судна за несколько верст. Но даже если зверобоям удавалось перехитрить клыкастых великанов и подойти к ним вплотную, самое трудное было еще впереди. Моржи боролись за жизнь с бешеным ожесточением, переворачивая поморские лодьи, настигая своими страшными клыками упавших в воду людей. Охота на моржей у народов северной Европы издавна считалась самым уважаемым и благородным промыслом, требовавшим особенной отваги и сноровки. Встречаясь с русскими артельщиками у берегов Шпицбергена и наблюдая их в сражениях с моржами, иностранные моряки (шведы, норвежцы, шотландцы) приходили в «содрогательное удивление» от их проворства и смелости.

В течение нескольких веков за заслоном дремучих лесов и болот жизнь поморов развивалась самобытно. Север был избавлен от княжеских усобиц (крупное землевладение здесь сосредоточивалось в руках монастырей), от татаро-монгольского порабощения.

Однако географическая удаленность Поморья от центра не привела к его изоляции. Здесь укрывались от бояр и помещиков беглые крестьяне, в большинстве своем люди хваткие, с хозяйственной жилкой, не хотевшие мириться с усилением крепостничества. Сюда в период религиозных брожений стекались сторонники старой веры.

Глубокая, коренная связь поморов с общерусской куль-

турой особенно ощущается при обращении к северному фольклору. Поморские «старины» (так называли здесь былины) рассказывали о тех же героях, что и в центральной России: о Владимире Киевском, Илье Муромце, Добрыне... Былинные мотивы вдохновляли архангельских и холмогорских мастеров, резавших украшения из моржовой кости. Вместе с тем поморы по-своему перерабатывали и дополняли классические былинные сюжеты, наделяя образы богатырей качествами, понятными и близкими именно жителям Севера:

Ишше мастёр был Добрынюшка нырком ходить,
Он нырком мастёр ходить да по-сёмужьи.

Большое значение в культурной жизни Севера имели монастыри, в стенах которых собирались здешние образованные люди и куда шли и молодые, жаждавшие познаний. Многие служители православной церкви отличались склонностью к тому, что можно назвать языком нашего времени научно-техническими изысканиями. Так, например, живший в XVI веке игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев оставил после себя архив с подробными описаниями своих изобретений. Под его руководством в монастыре было широко налажено кирпичное дело, построены мельницы, к которым посредством многочисленных рвов подводилась вода из 52 озер. Филипп придумал различные приспособления, облегчавшие труд монахов: механическую сушилку, веялку, устройство, позволявшее использовать лошадей при разминке огнеупорной глины. Он построил трубопровод в монастырской пивоварне. Если до Филиппа квас варили «вся братия и слуги многие», то при нем этим делом занимались только один «старец да пять человек», так как благодаря хорошо разветвленному трубопроводу квас сам сливался из чанов, сам шел по большой трубе из пивоварни в погреб монастыря и там растекался по бочкам...

При Антониево-Сийском монастыре (под Холмогорами) существовала школа иконной живописи, из которой вышло много интересных художников. Там же в 1670 году была создана типография. Местные крестьяне знакомились с печатной книгой, а иные даже собирали небольшие библиотеки.

Начиная с середины XVI века Беломорский край стал опорным пунктом внешней торговли России. В Архангельск приходили купеческие корабли из Англии и других европейских стран. В свою очередь, и поморы, отправляясь на промысел, уходили от устья Северной Двины через Белое море далеко в океан — на Шпицберген, к другим островам. Бывали они в Норвегии, и в Швеции, и в Англии. В зимнее время поморы (то с заграничным товаром, то со своим уловом рыбы или моржовой костью, а иногда с тем и другим вместе) шли обозами в Москву.

Заметный след в культурной истории поморского Севера оставила деятельность Афанасия Любимова (1641—1702), который с 1682 года (когда был поставлен архиепископом Холмогорским и Важеским) до самой своей кончины сурово, неуклонно и энергично проводил в жизнь петровские начинания во вверенной ему епархии, охватывавшей огромное пространство и включавшей в себя Архангельск, Соловецкий монастырь с его землями, Вагу, Мезень, Кольский и Пустозерский остроги. Рачением Афанасия началось и в шесть лет было закончено строительство большого каменного собора в Холмогорах. Кирпичный завод, сооруженный для этого, продолжал работать еще около сорока лет, выполняя как церковные, так и мирские заказы. Для росписи и украшения собора Афанасий пригласил лучших местных живописцев и мастеров.

Афанасий был широко образованным человеком. Он самостоятельно изучил латынь, затем овладел еще греческим и немецким языками. Он внимательно следил за печатной литературой. В его библиотеке, наряду с духовными, имелось около сотни книг светского содержания: здесь и наставления по архитектуре, и лечебники, и мироведческая литература с уклоном в астрономию и географию (различные «Космографии», «Книга новое небо со звездами», «Книга о кометах» и пр.). Очевидно, он и сам занимался астрономическими наблюдениями (после смерти среди его вещей было обнаружено «стекло зрительное круглое в дереве»). При нем в архиерейских палатах были развешаны карты городов и местностей Поморья, Украины и даже Амстердама. Афанасию принадлежит «Описание трех путей из Поморских стран в Швецкую землю» — по существу, первый географический и экономический обзор западного соседа России. При составлении «Описания» архиепископ учитывал «свидетельства сведущих людей». Вообще он «уловлял» не только души поморов, но и их богатейший профессиональный опыт, используя его в своих мирских начинаниях. Он намеревался освоить Новую Землю в видах расширения пушного промысла.

Нравом Афанасий был крут. Сохранилось предание, что еще в бытность его в Москве, во время диспута о вере между старообрядцами и ортодоксами, проходившего в Грановитой палате при царевне Софье, Афанасий, который представлял партию патриарха, привел своими доводами главного из радетелей старой веры Никиту Добрынина в такое исступление, что тот ринулся на него с кулаками и в жестокой схватке вырвал у него огромный клок бороды (с тех пор Афанасий вроде бы брил бороду). Впрочем, действуя в Поморье, Афанасий показал немалую гибкость и ловкость. Именно это, а отнюдь не безбородая «персона», побудило Петра, надо думать, после смерти Афанасия искать ему достойную замену. В Поморье, писал он, нужны «искусные и ученые и политичные люди, понеже та холмогорская епар-

хия у знатного морского порту, где бывает множество иностранных областей иноземцы, с которыми дабы тамошний архиерей мог обходиться по пристойности политично, к чести и славе Российского государства, якоже и прежде бывший Афанасий архиепископ со изрядным порядком тамо поступал».

...Неоднократные приезды Петра на беломорское побережье дали новый толчок хозяйственному развитию Севера. Вавчужская верфь (построена в 1700 году) стала базой русского кораблестроения. Здесь возводились рыболовные, торговые и военные суда. Хозяева верфи братья Баженины принимали заказы от Петра и не только от русских, но даже от английских и голландских купцов. Поставленное на широкую ногу кораблестроение требовало соответственного развития сопутствующих отраслей: кузнечного дела, металлургии, прядильного и ткацкого ремесла для производства парусины и т. д.

Увеличивалась потребность в хорошо подготовленных специалистах. Многие поморы отправлялись на выучку в Москву и за границу. В начале XVIII века на верфях, в портовых учреждениях, на мануфактурах Архангельска и Холмогор, помимо просто грамотных людей (то есть умевших читать и писать), можно было встретить выпускников Навигацкой школы, Славяно-греко-латинской академии и западноевропейских учебных заведений.

Таким был русский Север — с его суровой природой, с его самобытной историей, с его высокой культурой и активной хозяйственной жизнью, с его сильными, талантливыми и свободными людьми.

2

...В устье Северной Двины, вблизи города Холмогоры, расположился один из многочисленных островов дельты — Куростров.

Куростровцы сеяли на своих тощих землях лен и коноплю, а из злаков — рожь и ячмень. Здешний климат был настолько суров, что даже в самые урожайные годы им приходилось прикупать хлеб на стороне, чтобы хватило его на весь год. Лучше обстояло дело с пастбищами и сенокосом. Поэтому почти в каждой семье ежегодно откармливали на продажу от двух до пяти быков и нескольких телят. Деньги на покупку хлеба доставляли куростровцам и такие промыслы, как производство древесного угля, золы, извести, смолокурение (один крестьянин обычно гнал по десять восьмипудовых бочек смолы в год).

Среди местных крестьян было много мастеровых: медников и кузнецов, портных и сапожников, бочаров и кожевников, гончаров и колесников. Были здесь и свои каменотесы, шлифовавшие камень для продажи в Архангельске и Великом Устюге. Некоторые из них ходили на заработки в Петербург и Москву. Женщины тоже не сидели праздно: пряли и белили льняную нить для плетения кружев, ткали на продажу тонкий холст.

Путешественник, посетивший эти места в 1791 году, писал: «Положение окрестности сей деревни обширно и величественно; возвышенные его окружности представляют пахотные нивы, приятные и пространные, стадами и табунами всегда испещренные луга, а низкие вокруг пологи имеют вид песчаных степей, которые ежегодно от наводнений двинских и куропальских увеличиваются; северо-западную сторону его облегает вдали большая еловая роща, которая, украшая селение, защищает его отчасти от свирепства северных ветров. Природа и труды человеческие потщилися сие место обложить изящнейшим горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и сенокосы, прерывающиеся несколькими лесами и многочисленными холмами, которым наибольшую придают живость близлежащий город, великое множество погостов и многочисленные разных родов селения. Трудолюбие многолюдных поселян, великое плавание судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам, звон и шум городской и селений, к тому же изобилие рыб, птиц и всяких для жизни потребностей должны составлять наипрелестнейшую картину, когда натура облачается в радостную одежду приятной весны».

Здесь, в семье черносошного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова, женатого на Елене Ивановне Сивковой, дочери дьякона села Николаевские Матигоры, в 1711 году родился один из величайших людей России.

Первое письменное упоминание о роде Ломоносовых содержится в переписной книге Архангельска и Холмогор под 1678 годом. Здесь указаны все известные тогда Ломоносовы — мужчины во главе с Левкой (Леонтием) Артемьевым Ломоносовым: три его сына и три внука. Сын Леонтия — Дорошка (Дорофей) — был дедом М. В. Ломоносова по прямой линии. О нем не сохранилось известий (очевидно, он рано умер). Старший — Юдка — упомянут в приходо-расходной книге холмогорского Архиерейского дома: в 1689 году «колмогорец Андрей Титов сын Зыков» продал промысловый стан «на Мурманском берегу», которым он владел «с куростровцем Юдкою Ломоносовым», «и за тое покупку за всю ему десять рублев дано». Наибольшей известностью в Поморье пользовался средний сын Леонтия Артемьевича Ломоносова — Лучка (Лука). Опытный мореход, Лука Леонтьевич Ломоносов прожил долгую жизнь (1645—1727). Куростровцы его уважали, ценили в нем и промысловика, и вообще волевого и справедливого человека. В 1701 году его выбрали куростровским церковным, а в 1705-м и 1713 году — двинским земским старостой. В семье Луки Леонтьевича нашлось место и для его племянника Василия Дорофеевича

Ломоносова (1680—1741), который много лет жил в его доме и вел хозяйство вместе с ним.

От молодого помора из семьи среднего достатка, к тому же рано лишившегося отца (иначе зачем бы ему было жить под одним кровом с дядей?), требовалось немало сил и терпения, чтобы стать на ноги, обзавестись своим хозяйством. В промысле никому (и родственникам в том числе) не делалось поблажек. «Все свое довольство по тамошнему состоянию», вспоминал впоследствии М. В. Ломоносов, отец его «кровавым потом нажил». Да и нажил-то не сразу. В «Переписной книге города Архангельска и Холмогор 1710 года», когда Василию Дорофеевичу было уже тридцать, имеется такая запись:

«На деревне Мишанинской. Двор. Лука Леонтьев Ломоносов штидесяти пяти лет. У него жена Матрона пятидесяти восьми лет, сын Иван двенадцати лет, две дочери: Марья пятнадцати лет, Татьяна восьми лет. Земли верев тридцать три сажени. У него житель на подворьи Василей Дорофеев сын Ломоносов тридцати лет, холост. У него земли тридцать четыре сажени».

Этот довольно крупный надел земли (средний земельный участок на Курострове был 20—25 саженей) достался В. Д. Ломоносову в наследство от отца Дорофея Леонтьевича. И вот только после того, как была сделана приведенная запись, он почувствовал себя достаточно прочным хозяином, чтобы отделиться от дяди, обзавестись собственным домом и семьей. В ревизской книге за 1722 год они уже значатся как отдельные хозяева:

«В деревне Мишанинской.

Во дворе Лука Леонтьев сын Ломоносов семидесяти лет, внук Никита двадцати двух лет в подьячих в Санктпитембурхе, Иван Лукич сын Ломоносов умре.

Во дворе Василей Дорофеев сын Ломоносов сорока двух лет, сын Михайло одиннадцати лет».

К этому времени Василий Дорофеевич стал зажиточным человеком. Поставил, как положено крепкому хозяину, дом: избу, клеть, сарай для скота, овин, крытое гумно, хлебный амбар, баню. Кроме того, вырыл на дворе небольшой пруд для рыбы (единственный на Курострове). Он владел пахотной землей, рыбными промыслами на Мурманском побережье. Интересные подробности о нем сообщены в академической биографии М. В. Ломоносова 1784 года: «Он первый из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине, под своим селением, галиот и прозвал его Чайкою, ходил на нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенные и частных людей, от города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень».

«Чайкою» корабль Василия Дорофеевича был прозван односельчанами, очевидно, за хорошую маневренность и легкость хода (по документам, его название — «Святой архангел Михаил»). Это было ладное двухмачтовое судно грузоподъемностью 5400 пудов, длиною 51, шириною 17, осадкой 8 футов. Василий Дорофеевич умел подбирать сноровистых и дружных артельщиков. Был он человеком предприимчивым, умным и смелым, к тому же душевно щедрым. Все это располагало к нему людей. Куростровские старожилы вспоминали о нем несколько десятилетий спустя: «Всегда имел в том рыбном промыслу счастие, а собою был простосовестен и к сиротам податлив, а с соседьми обходителен...» В 1718 году в Мишанинской сгорела ее Дмитриевская церковь. Начался сбор денег на постройку нового, каменного храма. Давали кто сколько мог, немного — не более рубля, в основном — «денежки и полушечки». Впрочем, три куростровца пожертвовали по десяти рублей каждый, в то время как холмогорский архиепископ Варнава — только «два лепта, а по-русски два рублевика». Больше всех положил «на каменное церковное строение» Василий Дорофеевич Ломоносов — с 1728-го по 1734 год он подписал около восемнадцати рублей. В 1738 году новая церковь была наконец построена (сейчас она восстанавливается ломоносовскими земляками).

Михайло был единственным сыном Василия Дорофеевича. Как и все крестьянские дети, он с самого детства помогал родителям: пас домашний скот, трудился в огороде, в поле, на постройках. Поморы воспитывали детей в строгости. Почтение к старшим и труд — таковы были главные основы народной педагогики. Малейшее нарушение тишины и порядка в доме пресекалось немедленно и сурово. Обедали молча. Девочки при этом занимали место на скамье в простенках между окон и не должны были выглядывать на улицу. Если в доме случались гости и хозяйка подносила им вино, дети должны были встать и поклониться гостям в пояс. Земными поклонами благодарили родителей за новую одежду или обувку.

Строгость и порядок во всем, беспрекословное подчинение старшим служили залогом благосостояния семьи, продолжения рода, прочности нравственных устоев — подобно тому, как в рыбачьей или зверобойной артели четкое распределение обязанностей, их точное соблюдение обеспечивали успешный промысел. Дом помора — это лодья на суше. Семья его — артель, а сам он — кормщик. Непослушание, отклонение от установленного порядка грозят опасностью. На суше, как и на море, все зависит от воли, смекалки и опыта старшего.

Когда сыну исполнилось десять лет, Василий Дорофеевич стал брать его с собою в море. Поморы были отличными мореходами. Михайле было чему поучиться у своего отца и его помощников и было на что посмотреть в дальних морских

походах. Впечатления отрочества оставили заметный след в творчестве Ломоносова. В 1757 году в замечаниях по поводу «Истории России при Петре Великом» Вольтера (а именно той ее части, где говорится о народностях Русского Севера) Ломоносов, между прочим, писал: «Отличаются лопари одною только скудностью возраста и слабостью силы — затем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною почти рыбою. Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей. Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают, однако мне их видеть нагих случалось и белизне их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят — свою главную и повседневную пищу». Посылая в Академию свой студенческий «репорт» о добыче соли в Саксонии, он сравнивал немецкую постановку этого дела с поморской технологией солеварения, прекрасно им изученной при закупках соли для отцовских промыслов. Не последнюю роль сыграли отроческие воспоминания при разработке Ломоносовым гипотез о физической природе северных сияний, о происхождении айсбергов, о возможности Северного морского пути из Европы на Дальний Восток и в Индию. В свое время академик В. И. Вернадский, изучая геологические труды Ломоносова, обратил внимание на то, какие именно впечатления отрочества и юности в первую очередь обусловили оригинальность позднейших ломоносовских гипотез (сказанное В. И. Вернадским, конечно же, касается не только геологии): «Наблюдения над жизнью Ледовитого океана, сделанные в свободной среде, далекой от научных предрассудков и схем, среди свыкшихся с морем и с его мощью наблюдательных и энергичных русских моряков, накопивших опыт поколений, позволили Ломоносову понять в строении суши отражение бывшей на ее месте морской жизни. Вопросы геологии предстали перед ним в живой связи с окружающей его живой природой».

Образы северной природы, запечатленные в юном сознании, нашли отражение в поэзии Ломоносова. Таково, например, описание полярного дня в поэме «Петр Великий», приводившее в восторг поэта К. Н. Батюшкова:

Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верьхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Дивное устройство природы волновало юную душу Ломоносова. Растолковать Михайле, как надо ставить парус, объяснить устройство компаса и научить им пользоваться, рассказать о повадках рыбы и морского зверя, о капризах

северной погоды и проч. — все это могли сделать отец и другие бывалые поморы. Но что стоит за всем этим? что поднимает ветер? какая непостижимая и чудная сила устроила так, что стрелка «матки» всегда глядит на север, а рыба со свирепым постоянством идет бить икру против течения рек? отчего бывают странные небесные сияния? откуда — смена дня и ночи, приливов и отливов? откуда эта красота и стройность? откуда, наконец, и сама эта непобедимая потребность души все постичь, всему дать название, во всем найти смысл?..

3

В зимние месяцы, когда отцовские суда стояли на приколе и работы было меньше, Ломоносов учился читать и писать. Первыми учителями его были сосед Иван Шубной и дьячок приходской церкви С. Н. Сабельников. На Курострове долго передавалось из уст в уста предание о том, что дьячок (вероятней всего, это и был Семен Никитич Сабельников), обучавший Ломоносова грамоте, очень скоро упал перед отроком на колени, со смиренным благоговением признавшись, что больше ничему научить его не может. Имея от роду двенадцать лет, Ломоносов, по свидетельству его односельчан, уже «охоч был читать в церкви псалмы и каноны и жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, а при том имел у себя глубокую память. Когда какое житие или слово прочитает, то после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращенное на словах обстоятельно». Тогда же, помимо церковнославянского текста псалмов, Ломоносов познакомился с их поэтическим переложением на русский язык по книге Симеона Полоцкого «Псалтырь рифмотворная», во вступлении к которой автор писал:

Не слушай буих и ненаказанных,
В тьме невежества злобою связанных,
Но буди правый писаний читатель,
Не слов ловитель, но ума искатель.

В доме другого соседа, Христофора Павловича Дудина (чей отец собрал у себя небольшую библиотеку), он увидел первые мирские книги — «Грамматику» Мелентия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого. «Грамматика славенская» учила не только «благо глаголати и писати», но и «метром или мерою количества стихи слагати» — то есть сразу знакомила с основами грамоты, красноречия и стихосложения. Книга Л. Магницкого (изданная в Москве в 1703 году «повелением благочестивейшего государя нашего царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия, Малыя и Белыя России самодержца... ради обучения мудро-

любивых российских отроков и всякого чина и возраста людей») была популярным учебным пособием не только по арифметике, но и по геометрии, физике, географии, астрономии и прочим естественным наукам.

Мелентий Смотрицкий (1577—1633) в своей книге предпринял попытку систематизировать грамматику книжного славянского языка, который со времен Кирилла и Мефодия не мог не измениться (например, в самом языке, которым написана книга, видно польское и белорусское влияние). Вышедшая впервые в 1619 году в Литве и перепечатанная затем в Москве (1648), «Грамматика» была, в сущности, единственным исследованием в этом роде. Основательное изучение ее отзовется потом в ломоносовском «Письме о правилах российского стихотворства» (1739), «Российской грамматике» (1755), «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1758).

Леонтий Филиппович Магницкий (1669—1739), преподаватель московской Навигацкой школы, был еще жив, когда Ломоносов учил арифметику по его книге. Л. Ф. Магницкого ценил Петр I. Люди, знавшие его, отмечали в нем, наряду с математическими и педагогическими способностями, прямодушие и честность. Только человек, который «всегда имеет тщание не токмо к единому ученикам в науке радению, но и ко иным к добру поведению», мог дать следующее высоконравоучительное определение своей науке: «Арифметика, или числительница, есть художество честное, независтное и всем есть удобопонятное, многополезнейшее, от древнейших же и новейших, в разные времена являвшихся изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное».

У старика Дудина было три сына: они-то и обучались по этим книжкам грамоте. «Мудролюбивый российский отрок» Михайло, раз увидев «Грамматику» и «Арифметику» в соседском доме, уже не отставал от стариковских детей: просил, чтобы отдали их ему. Не смущаясь отказом, он вновь и вновь умолял, старался всячески угодить соседям. Всякий раз при встрече с кем-нибудь из Дудиных он чуть не плача выпрашивал заветные книжки. Наконец не выдержали соседи, и Михайло получил желанные сокровища. А получив, уже не выпускал их из рук, повсюду носил с собою и, читая их постоянно, выучил наизусть. Потом он с благодарностью вспоминал «Грамматику» и «Арифметику» и называл их «вратами своей учености».

Важно отметить то обстоятельство, что юный Ломоносов не только приобретал знания, но и делился ими. Он, как уже говорилось, читал мишанинским старикам книги, разъясняя прочитанное. Научившись писать, он часто помогал односельчанам с деловыми бумагами. Самая ранняя составленная им расписка относится к 7 февраля 1726 года: «Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева сына Старопоповых да Григорья сына Иконникова по их велению Михайло Ломоносов руку приложил». Но, возможно, этому опыту предшествовали и другие, более ранние. Михайло делился первыми плодами «своей учености» и со сверстниками. Известный этнограф С. В. Максимов записал в середине XIX века рассказ ломоносовских земляков, показывающий уже в юном Ломоносове незаурядного, но нетерпеливого педагога: «...на Мурмане собирал из мальчишек артели и ходил вместе с ними за морошкой: нагребет он этих ягод в обе руки, да и спросит ребятишек: «Сколько-де ягод в каждой горсти?» И никто ему ответа дать не может, а он даст, и из ягодки в ягодку верным счетом. Все дивились тому и друг дружке рассказывали, а он в этом и хитрости для себя не полагал, да еще и на других сердился, что-де они так не могут».

«Грамматика» и «Арифметика» попали в руки Ломоносова около 1725 года — то есть фактически в момент основания Петербургской Академии наук. В этом совпадении видится скорее закономерность, чем случайность. В 1725 году Академия еще не была Академией в том смысле, какой вкладывал в это великое свое начинание Петр I, — еще не стала средоточием и кузницей отечественных научных кадров, еще не объединяла под знаменем просвещения «природных россиян». Ломоносов, чье имя станет впоследствии едва ли не синонимом Академии, так же, как она, только еще вступал в период своего становления. Пройдет двадцать лет, и он займет в ней свое высокое место и напомнит, ради чего она создавалась, и поставит перед ней великие научные и государственные задачи.

О Петре I, основавшем Академию, Ломоносов знал не только по титульному листу «Арифметики» Л. Магницкого. Венценосный просветитель, как уже говорилось, неоднократно бывал в поморском крае. Неподалеку от Курострова, в Вавчуге, на баженинской верфи, Михайло мог видеть наковальню, на которой работал Петр, а также два кедра, по преданию, посаженных царем в честь спуска на воду двух новых судов. Среди местного населения из уст в уста передавались многочисленные рассказы о Петре. Еще мальчишкой Михайло мог слышать о нем от своего дяди Луки Леонтьевича Ломоносова. Да и сам Василий Дорофеевич видел Петра в Архангельске и рассказал своему сыну об одном колоритном эпизоде, связанном с царским посещением Архангельского порта. Порывистый и скорый в движениях, Петр, переходя с корабля на корабль, оступился и полетел вниз — в баржу, груженную горшками. Долговязый и крепкий в кости, он переколотил немало хрупкого товара, но тут же «по-царски» расплатился с хозяином баржи, дав ему червонец.

Как знать, может быть, именно рассказ о царе, услышанный в детстве, помог Ломоносову глубже понять сущность его противоречивой натуры. Петр, лежащий на груде глиня-

ных черепков, — эта картина запечатлелась в памяти Ломоносова на всю жизнь.

В таких рассказах перед молодым Ломоносовым вставал живой облик Петра, непосредственного в своих поступках, по-человечески близкого и понятного. Впоследствии в ораторских и поэтических произведениях он создаст могучий образ Петра, который

> Рожденны к скипетру простер в работу руки,
> Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки,
> Когда он строил град, сносил труды в войнах,
> В землях далеких был и странствовал в морях,
> Художников сбирал и обучал солдатов,
> Домашних побеждал и внешних супостатов...

Начало образования Ломоносова совпало по времени с важными переменами в жизни семьи. В 1724 году Василий Дорофеевич женился на Ирине Семеновне Корельской (опять-таки из Николаевских Матигор: можно предположить, что это село славилось своими невестами). То был его третий брак. Первая жена, Елена Ивановна, умерла, когда Михайле было девять лет. Следующий брак также был непродолжительным (и вторая жена скоро скончалась). Разросшееся хозяйство Василия Дорофеевича настоятельно требовало женского присмотра. И вот 43-летний помор женится в третий раз, а его 14-летний сын получает вторую мачеху, сварливую и злую к пасынку.

Сам Василий Дорофеевич очень любил Михайлу, по-своему старался устроить его счастье и не только готовил его в наследники довольно большого своего состояния, но и хотел видеть в нем крепкого хозяина, который в будущем умножил бы отцовское богатство. Он радовался успехам сына в грамоте, его сообразительности и, как человек неглупый и предприимчивый, не мог не одобрять сыновнюю страсть к наукам. Но Василий Дорофеевич (видевший в учении только средство к достижению определенных практических целей) не имел представления о размерах и силе этой страсти. Судьба наградила Василия Дорофеевича гениальным сыном, но положила порог, за который пути отцу была заказаны. Вот у этого-то «порога» и развила свою энергичную деятельность Ирина Семеновна.

Тридцать лет спустя Ломоносов вспоминал: «...Имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, но в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами: для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных местах и терпеть стужу и голод».

Внешне это может выглядеть как типичный пример конфликта «отцов и детей»: так сказать, антагонистическое противоречие между старой и новой Россией в пределах одной семьи. Однако ж не будем спешить с выводами. Вспомним, что Василий Дорофеевич первым в Поморье (следовательно, во всей стране) «состроил и по-европейски оснастил галиот». Да и представлять дело так, что он ничего не дал сыну для его духовного развития, тоже было бы в корне неверно. Ломоносов-отец дал будущему поэту и ученому то главное, фундаментальное, чего тот не смог бы почерпнуть нигде — ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Германии — и ни в одной книге: несокрушимый здравый смысл (то есть пытливость ясного ума в сочетании с практической сметливостью), упорство в выполнении поставленных задач (то есть «благородную упрямку», которую зрелый Ломоносов ставил себе в решающую заслугу) и, наконец, чувство собственного достоинства (то есть мужественное сознание своей неповторимости, своей самоценности). Можно даже сказать, что Василий Дорофеевич не узнал в Михайле самого себя: настолько неожиданно и мощно явились в сыне его же собственные задатки...

Тем не менее после того, как в доме появилась новая мачеха, ощущение одиночества и подавленности надолго овладевает Михайлой. Настраивая отца против него, Ирина Семеновна лишала своего пасынка домашней опоры, родственной поддержки, столь необходимой ему в то время. Михайле шел уже пятнадцатый год. Это, выражаясь современным языком, «трудный возраст». Юноша далеко обогнал своих сверстников в грамоте. Он еще участвует в общих забавах (самой популярной из них, кстати сказать, были кулачные стычки), но эти забавы уже не приносят ему удовлетворения. И не потому, что он отставал от других: от природы он был наделен недюжинной физической силой. Просто ему этого было мало. Он во всем мог понять своих ровесников, а они его — нет. Однажды мишанинские парни, среди которых были и старше его, поколотили Михайлу при выходе из церкви, где он читал прихожанам псалмы: не выделяйся.

Казалось бы, выход один — уйти с головой в учение. Но Ломоносов с самой своей юности видел в науках не средство ухода от действительности, а именно средство единения с нею. Органичный и непосредственный, он стремился к живому и обоюдному общению как с природой, так и с людьми. Будучи феноменально отзывчивым ко «всем впечатленьям бытия», он исподволь рассчитывал на ответную отзывчивость со стороны окружающих. Глубоко переживая каждый факт своей духовной биографии (будь то страсть к наукам или чувство обиды из-за нападок мачехи), он жаждал сопереживания. Ему нужно было человеческое участие и понимание, а он его не находил нигде. Родная мать давно умерла. Отец вечно занят своими делами, а когда заходит речь о Михайле, склонен больше слушать новую жену...

Меня оставил мой отец
И мать еще в младенстве,
Но восприял меня Творец
И дал жить в благоденстве.

Эти строки, написанные Ломоносовым много лет спустя, точно передают его душевное состояние в ту пору, когда он примерно на семнадцатом году жизни присоединился к раскольничьей секте беспоповцев.

Раскольники, или старообрядцы (то есть приверженцы «старой веры»), как уже говорилось, облюбовали Русский Север еще во время религиозных гонений середины XVII века. Внешне старообрядчество представляло собой протест против церковных нововведений, осуществленных при патриархе Никоне. На деле же оно стало одной из характерных и ярких форм антифеодальной борьбы. Народ отстаивал те самобытные начала своего жизненного уклада, которые были освящены традицией, но подвергались неумолимому разрушению усиливающимся крепостничеством. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не желая мириться с новым «уставом», люди уходили в леса, собирались в «скиты», а в случае нападения или осады сжигали себя заживо в срубах на глазах у потрясенных царских ратников. Раскольничество XVII века было исторически неизбежным дополнением к другому стихийному движению народного протеста, каким явилось восстание под руководством Степана Разина.

Юноша Ломоносов, несомненно, слышал о гонениях на раскольников. Память о них в Поморье была свежа. Прошло только пятьдесят лет после разгрома и казни мятежных «старцев» Соловецкого монастыря в 1676 году и еще меньше — после «огненной» смерти протопопа Аввакума, полжизни отдавшего борьбе с отцом Петра I, «тишайшим» царем Алексеем Михайловичем. Случались самосожжения и в XVIII веке (например, в 1726 году недалеко от Холмогор, когда Ломоносову было пятнадцать лет).

Раскольники жили дружно, всемерно выручали своих единоверцев, в общении с окружающими показывали себя умелыми дипломатами, несомненно, обладавшими большой силой логического и нравственного воздействия на людей колеблющихся и недовольных. При некоторых старообрядческих общинах создавались школы, где молодежь обучалась риторике и грамматике. Старообрядцы привлекали к себе способных художников и певцов.

Сближение молодого Ломоносова с раскольниками (правда, мы не знаем, как далеко и насколько глубоко оно распространялось), казалось бы, обещало разрешить все мучившие его вопросы. Однако он «вскоре познал, что заблуждает». Постоянная обращенность к делам небесным, а не земным, их сектантская отъединенность от остальных людей, фанатическая нетерпимость к малейшему проявлению индивидуальности — все это вместе взятое отпугнуло юношу от его временных «братьев». Ломоносов с новой надеждой обращает свой взор к учению, к наукам.

...Знания, сообщавшиеся в «Грамматике» и «Арифметике», лишь на короткий срок утолили духовный голод Ломоносова. То, что он рано или поздно уйдет с Куростpова, для него, надо думать, было ясно. Вопрос заключался лишь в том, где продолжить образование. От родственников и односельчан он знал, что для серьезного изучения наук надо уметь читать и писать «по-латыне».

Рядом с Куростровом, в Холмогорах, архиепископ Варнава в 1723 году основал «Словесную школу», но туда Ломоносова (как крестьянина) не приняли бы. Впрочем, поэт М. Н. Муравьев (отец декабриста Никиты Муравьева, один из воспитателей Александра I), в молодости своей (1770—1771) побывавший на родине Ломоносова, считал, основываясь на рассказах местных жителей, что Михайло все же учился в школе, основанной Варнавой Волостовским: «Украдкою бежал он в училище Холмогорское учиться основаниям латинского языка. Одна черта сия изъявляет охоту его и принуждение, под которым находился: подбой кафтана служил ему для записки географических сведений». Нынешние биографы Ломоносова справедливо полагают, что «украдкой бежать» в Холмогоры (всего 2 км от Куpострова) Ломоносов не мог, да и незачем ему это было делать: все, чему его могли там научить, он уже знал назубок (за исключением только «оснований латинского языка»). Однако ж кафтан, упомянутый М. Н. Муравьевым, существовал: он видел его у архангельского губернатора Е. А. Головцына. В 1827 году литератору П. П. Свиньину, путешествовавшему по ломоносовским местам, также рассказывали о «достопамятном кафтане Ломоносова, на белой подкладке которого видны были школьные заметки его».

Так или иначе, Михайло решает идти в Москву, которую многие куростровцы хорошо знали, часто бывая там по своим торговым делам, и могли рассказать «мудролюбивому отроку» о Славяно-греко-латинской академии. Не исключено, что он познакомился с преподавателем Словесной школы Иваном Каргопольским, прибывшим в Холмогоры в 1730 году. И. Каргопольский был воспитанником Славяно-греко-латинской академии. В 1717 году он в числе других учеников был направлен Петром I «для лучшего обучения во Францию». До 1723 года он слушал лекции в Сорбонне. Получив аттестат, вернулся в Россию и несколько лет мыкался без места, на иждивении Московской синодальной конторы, пока наконец не был направлен в Холмогоры. Если Михайло хотя бы только однажды выслушал рассказ И. Каргопольского о своем учении (что вполне вероятно), то можно себе представить, что́ произошло в юной душе, алкавшей знаний и нигде их уже не находившей. Во всяком случае, по выраже-

нию одного из биографов Ломоносова, «появление такой фигуры в Холмогорах в тот самый год, который стал поворотным в судьбе Ломоносова, следует принять во внимание».

Исполнить замысел было нелегко: нужны были деньги, чтобы добраться до Москвы, и, кроме того, нужно было решиться на разрыв с семьею. Отец, очевидно, почувствовал что-то неладное в настроениях сына, решил принять свои меры. Земляки рассказывали потом: «...как подрос близ двадцати лет, то в одно время отец его сговорил было в Коле у неподлого человека взять за него дочерь, однако он тут жениться не похотел, притворил себе болезнь, и потому того совершено не было». Другое «хотение» владело им. Страсть к знаниям имела над ним уже безграничную власть, и, как это часто бывает, неутоленная страсть сделала ум юноши на редкость изобретательным. Ломоносов, достигший к этому времени девятнадцатилетнего возраста, ждал лишь удобного случая.

Наконец такой случай представился. Вот как описывается уход Ломоносова из родительского дома в академической биографии 1784 года: «Из селения его отправлялся в Москву караван с мерзлою рыбою. Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел, как будто из одного любопытства, на выезд сего каравана. Следующей ночью, как все в доме отца его спали [1], надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед. В третий день настиг его в семидесяти уже верстах. Караванной приказчик не хотел прежде взять его с собою, но, убежден быв просьбою и слезами, чтоб дал ему посмотреть Москвы, наконец согласился. Через три недели прибыли в столичный сей город. Перьвую ночь проспал Ломоносов в обшевнях у рыбного ряду. Назавтрее проснулся так рано, что еще все товарищи его спали. В Москве не имел ни одного знакомого человека. От рыбаков, с ним приехавших, не мог ожидать никакой помощи: занимались они продажею только рыбы своей, совсем о нем не помышляя. Овладела душою его скорбь; начал горько плакать; пал на колени, обратил глаза к ближней церкви и молил усердно Бога, чтобы его призрил и помиловал.

Как уже совсем рассвело, пришел какой-то господский приказчик покупать из обоза рыбу. Был он земляк Ломоносову, коего лице показалось ему знакомо. Узнав же, кто он таков и об его намерении, взял к себе в дом и отвел для житья угол между слугами того дома.

У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском монастыре, который часто к нему хаживал. Через два дни после приезда его в Москву пришел с ним повидаться. Представя он ему молодого своего земляка, рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению и просил усильно постараться, чтоб приняли его в Заиконоспасское училище. Монах взял то на себя и исполнил самым делом. И так учинился наш Ломоносов учеником в сем монастыре».

[1] «Не позабыл взять с собою любезных своих книг, составлявших тогда всю его библиотеку: грамматику и арифметику». *(Примечание биографа.)*

В этом рассказе прекрасно показано, как страсть, овладевшая всем существом юноши, изощряет его волю, приводит в движение все силы его души, направляет их к достижению желанной цели: он и «играет» перед домашними, не подавая виду, что обоз для него — все, и пытается разжалобить слезами приказчика, и выказывает бесстрашие, в одиночку бросаясь за ушедшим обозом по ночной зимней дороге, и рыдает — уже не притворными слезами, а слезами отчаяния, — когда видит, что могут рухнуть его заветные надежды... И все это — потому что знает: если не утолит свою страсть, если не отдаст всего себя наукам, поиску истины, то жизнь его утратит что-то важное, что-то ничем не заменимое, что-то такое, без чего и жизнью-то ее, пожалуй, не назовешь.

В свое время Г. В. Плеханов, разбирая известные стихи Некрасова о Ломоносове, заметил: «...архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле. Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был именно архангельским мужиком, мужиком-поморцем, не носившим крепостного ошейника». Это верно, что, родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, Москвы бы он не увидел даже при очень сильном стремлении к наукам и в лучшем смог бы дойти из своего дома лишь «до господской усадьбы и до господской пашни».

Принимая эту принципиально верную социологическую поправку, будем все-таки помнить, что из всех крестьян, «не носивших крепостного ошейника», только Ломоносов стал для русской культуры тем, чем Леонардо да Винчи и Галилей были для итальянской, Лейбниц и Гёте для немецкой, Декарт и Вольтер для французской.

У Пушкина, много размышлявшего над судьбою Ломоносова и много писавшего о нем, есть одно стихотворение — короткое и непритязательное, но удивительно глубокое по силе проникновения в самую суть вопроса и гениальное по простоте исполнения. Вот оно:

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!

Некий голос властно повелевает сыну рыбака покинуть берег студеного моря и дерзнуть в плавание по морю исти-

ны: «Оставь!» Его призыв настолько мощен и значителен, что иначе как роковым его не назовешь. Но кому принадлежит этот голос? Что это: ретроспективное знание Пушкина о жизни Ломоносова? или «Бога глас» (как в «Пророке»)? или, может быть, это внутренний голос героя — самого мальчика, непосредственно и ясно прозревающего свое грандиозное предназначение?..

Юношески-бесповоротное решение девятнадцатилетнего Ломоносова уйти в Москву было актом пробудившегося сознания, событием, определившим всю дальнейшую судьбу этого великого человека. В сущности, именно здесь начало его величия. От отцовского наследства, от богатых невест, от вполне реальной перспективы стать (с его-то способностями!) первым человеком на Куростровe, а возможно, и на всем Поморье, он в надежде иной славы пошел за истиной, которая хоть и способна возбудить в душе честолюбивое чувство, но никогда, никому и нигде не дает никаких гарантий на успех и только властно зовет в неведомое. «И се природа твое торжество, — писал Радищев в «Слове о Ломоносове». — Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав... к предлогу своему».

Так оно и было: клокочущее сердце Ломоносова стремглав летело к своей цели.

ГЛАВА II

В начале жизни школу помню я...
А. С. Пушкин

1

Славяно-греко-латинская академия (или Спасские школы, или Заиконоспасское училище), куда устремился Ломоносов, была учреждена в 1687 году. Ее основатели, греки братья Лихуды, были весьма образованными людьми: прежде чем попасть в Москву, они учились сначала в Венеции, затем в Падуанском университете. Иоанникий Лихуд вел в академии физику, Софоний — физику и логику. Основою их физического и логического курсов являлась система Аристотеля. Много внимания уделялось изучению трудов выдающихся византийских философов Василия Великого (IV в.) и Иоанна Дамаскина (VIII в.). Произведения этих писателей, в которых на основе оригинального толкования главных философских положений Аристотеля выдвигалась их собственная трактовка мира, как пишет один из советских биографов Ломоносова, открывали «больше простора для размышления и поэтического обращения к природе, чем средневековая западная схоластика». Впоследствии Ломоносов в своих научных работах неоднократно и всегда с уважением отзывался о Василии Великом и Иоанне Дамаскине.

Лихуды были яркими представителями «греческого» направления в культуре Московской Руси ее последнего периода, накануне петровских преобразований. Для этого направления характерно пристальное внимание к проблемам философии, истории и природоведения — в отличие от «латинского», тяготевшего в основном к риторике и стихотворству. Плодотворное противоборство этих направлений составляло примечательную особенность московской культурной жизни конца XVII века. Коснулось оно и Спасских школ, когда в 1701 году по указанию Петра I в них было введено преподавание латыни.

В Славяно-греко-латинской академии (по примеру созданного ранее Киево-Могилянского коллегиума) было восемь классов: четыре низших, в которых учащиеся усваивали чтение и письмо по-старославянски и по-латыни, основы географии, истории, арифметики, а также катехизис; два средних, где изучались приемы стихосложения и красноречия, причем на этом этапе ученики уже должны были свободно изъясняться на латинском языке; и, наконец, два высших класса, отведенных для прохождения главных предметов, каковыми являлись философия и богословие.

На двух последних курсах ученики уже считались студентами и по окончании их выходили из академии со свидетельствами ученых богословов и становились священниками, учителями в светских учебных заведениях (число которых резко возросло при Петре), государственными служащими. Для того чтобы закончить полный курс академии, требовалось не менее десяти, а кое-кому лет двенадцать или тринадцать.

Сюда-то «по своей и Божьей воле» пришел в конце января 1731 года с намерением всенепременно попасть в число учеников Михайло Ломоносов — этот юноша, «гоняющийся за видом учения везде, где казалось быть его хранилище» (Радищев).

В беседе с архимандритом Заиконоспасского монастыря Германом он назвался дворянским сыном, так как, безусловно, знал, что по указу Святейшего Синода от 7 июня 1723 года ректорам духовных учебных заведений строжайше предписывалось «помещиковых людей и крестьянских детей, а также непонятных (т. е. непонятливых. — *Е. Л.*) и

злонравных, отрешить и впредь не принимать». Мнимый «холмогорский дворянин», судя по всему, не произвел на отца Германа впечатления человека «непонятного и злонравного» и был зачислен в штат учеников с жалованьем десять рублей в год.

«Москва великий город, первого рангу во всей Европе»,— заметит Ломоносов в 1757 году на полях рукописи «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера. Там же он выскажет предположение, явно основанное на собственных юношеских наблюдениях, что «Москва стоит на многих горах и долинах, по которым возвышенные и униженные стены и здания многие городы представляют, которые в один соединились». В «Российской грамматике» (1755) в качестве примеров часто упоминаются московские названия: «живет на Покровке», «на Девичьем поле», «у Николы Подкопая», «у Ильи-пророка на Воронцовом поле» и т. д. Очевидно, за пять лет обучения в Славяно-греко-латинской академии Ломоносов хорошо изучил первопрестольный город: Кремль, книжные лавки на Красной площади и Спасском мосту... Узнал, что обиходное название свое академия получила от монастыря «Спаса на Никольском хресце, что за Иконным рядом», основанного еще при Борисе Годунове в 1600 году, что в 1665 году, при Алексее Михайловиче, Симеон Полоцкий обучал здесь словесным наукам молодых подьячих, что в 1685 году братья Лихуды открыли свою школу при Богоявленском монастыре, которая спустя два года обосновалась во вновь отстроенных для нее каменных палатах Заиконоспасского монастыря на той же Никольской улице. Не исключено, что Ломоносов мог общаться с московскими старожилами, помнившими бурные годы стрелецких мятежей и их кровавый итог: ведь к тому времени, когда он пришел в Москву учиться, от петровской расправы над стрельцами минуло лишь около сорока лет, и можно предположить, что позднее, работая над «Описанием стрелецких бунтов и правлением царевны Софьи» (1757), а также поэмой «Петр Великий» (1756—1761), он основывался не только на письменных источниках.

Условия своей жизни в Москве Ломоносов описал впоследствии в известных письмах к И. И. Шувалову. Десять рублей в год — такова была стипендия ученика Славяно-греко-латинской академии, то есть три копейки в день. Впрочем, Михайле время от времени помогали земляки, о чем пятьдесят лет спустя было поведано академику И. И. Лепехину, когда тот посетил ломоносовские места на Севере: «Во время бытности его в Москве каждый год приезжал для торговых надобностей сосед его куростровец Федор Пятухин и, будучи по знакомству, посещал его и временно по недостатку его снабдевал деньгами, коих и задавал ему до семи рублей, а получил от него при отъезде его за море в Санктпетербурге». Приходилось подрабатывать.

Ученики подряжались рубить дрова, писать письма, прошения, читать псалмы над покойниками. Многие не выдерживали лишений и бросали учение. Примечательно, что в это трудное для себя время Михайло не обратился за помощью к отцу, который вновь стал вдовцом (родив ему дочь, «злая и завистливая мачеха» умерла в 1732 году). Надо думать, «упрямка» была наследственной чертой Ломоносовых: ни отец, ни сын не пожелали сделать шаг навстречу друг другу...

Можно себе представить, с какой жадностью Ломоносов впитывал в себя разнообразные знания, сообщавшиеся учеными монахами, с каким усердием и вниманием читал он книги в монастырской библиотеке.

В Славяно-греко-латинской академии в большом почете были старинные книги византийских, греческих и римских писателей. Помимо Аристотеля, Василия Великого и Иоанна Дамаскина, в библиотеке академии были представлены Платон, Плутарх, Демосфен, Фукидид, Цицерон, Цезарь, Корнелий Непот, Сенека, Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин и др. Хорошо была здесь подобрана и художественная античная литература: Гомер, Вергилий, Теренций, Плавт, Ювенал, Гораций, Овидий... Из произведений европейской литературы нового времени можно было найти «Дружеские беседы» Эразма Роттердамского, «О праве войны и мира» Гуго Гроция, «Государя» Н. Макиавелли, «О должности человека и гражданина» С. Пуффендорфа и его же «О естественном праве и праве общин для всех народов» и т. д. И конечно же, богатою была подборка старинных русских книг, церковных и светских.

Для молодого помора, который во всем, что касалось наук, жил до сих пор «впроголодь», это великолепное собрание творений мудрецов должно было казаться настоящим пиром разума.

В монастырской библиотеке, писал академический биограф, «сверх летописей, сочинений церковных отцов и других богословских книг, попалось ему в руки малое число философских, физических и математических книг». Как установлено исследователями, в это «малое число» философских и естественнонаучных книг входили труды Тихо Браге, Галилея, Декарта. Сюда же следует включить «Полидора Виргилия Урбинского осмь книг о изобретателях вещей», энциклопедическое пособие по истории философии и естествознания, изданное в 1720 году и сообщавшее, между прочим, сведения по античной атомистике и материализму.

Однако определяющей чертою философского и физического курсов академии было неукоснительное следование Аристотелю, точнее: умозрительная интерпретация его богатейшего философского и естественнонаучного наследия. Вот что писал в XIX в. историк Славяно-греко-латинской академии по поводу объема и уровня физических знаний ее

тогдашних преподавателей: «Писания их представляют одно и то же содержание, писаны в том же схоластическом духе, даже во многом сходятся между собою буквально. В основании было одно: книги Аристотеля и комментарии на них, составленные во множестве перипатетиками средних веков. Оставалось по строго определенному плану строить здание науки, и наставники не отступали от него в существенных пунктах. Они только разнообразили язык, переставляли трактаты с одного места на другое, что мы и видим во всех учебниках академии».

Ломоносов сразу же выделился среди учеников своими дарованиями и исключительным прилежанием. Через полгода его перевели из нижнего класса во второй и еще через полгода — из второго в третий. Год спустя он уже настолько был силен в латинском языке, что мог сочинять на нем небольшие стихи. Вскоре он начал изучать греческий язык.

2

Сознание молодого Ломоносова, насыщенное впечатлениями от живого и непосредственного общения с северной природой, изнемогавшее в ожидании исчерпывающего ответа на те вопросы, которые он пронес с собою от берегов Белого моря до Москвы, не было удовлетворено. Аристотель, его средневековые комментаторы, ученые монахи Заиконоспасского монастыря предлагали ему стройную, логически упорядоченную, выверенную в деталях схему природы, которая, однако, не имела ничего общего с действительной природой. В этом убеждали Ломоносова его опыт, его собственные наблюдения (естественно, не учтенные ни в трудах великого античного мыслителя, ни в учебных пособиях академии). Уже были прослушаны курсы географии, истории, арифметики, прочитаны книги по философии и мироведению в академической библиотеке, а ответа на свои вопросы юноша не находил.

Осенью 1734 года Ломоносов обратился к архимандриту с просьбой послать его на один год в Киев учиться философии, физике и математике.

Киево-Могилянский коллегиум, куда с надеждой устремился Ломоносов, был «старшим братом» Славяно-греко-латинской академии. Он славился на всю Россию своими преподавателями-«латинщиками», философами, риторами, историками, грамматиками. Библиотека коллегиума поражала современников богатством собранных в ней книг. Однако, вопреки ожиданиям, Ломоносов и в Киеве не нашел новых знаний по естественным наукам. И в Киеве умами физиков деспотически владел все тот же Аристотель.

Казалось бы, новое разочарование: опять только пустые словопрения. Стоило ли ехать в Киев, чтобы услышать то,

что уже надоело в Москве? Вряд ли Ломоносов задавал себе столь праздный вопрос. Он работал: рылся в книгах, делал записи, размышлял над прочитанным, возможно, вступал в споры с киевскими книжниками...

Стремление Ломоносова извлечь как можно больше пользы из своей поездки в Киев показывает, насколько сильна в нем была «поморская», практически-хозяйственная жилка. Не удалось узнать ничего нового в физике и математике? Что ж, отчаиваться не стоит — надо посмотреть, нет ли других сокровищ в киевской кладовой знаний. И вот уже Ломоносов целыми днями просиживает над изучением русских летописей. Перед ним проходят главнейшие события отечественной истории, и цепкая его память навсегда удерживает прочитанное. Он, как рачительный хозяин, запасает знания впрок, чтобы в нужную минуту они всегда были под рукой. Это чтение отзовется потом и в одах Ломоносова, и в трагедии «Тамира и Селим», и в «Древней Российской истории», и в «Идеях для живописных картин», и в замечаниях на книги по русской истории Миллера и Шлецера.

Ломоносов изучает и неповторимую архитектуру Киева, мозаичные и живописные шедевры Софии Киевской, собора Михайловского Златоверхого монастыря, Успенского собора Киево-Печерской лавры. Знаменитая «киевская мусия» (то есть цветное стекло для мозаичного набора) производит на него ошеломляющее впечатление. Здесь следует искать корни его «мозаичного» художества, включившего в себя напряженные поиски рецептов производства цветных стекол, опыты в создании мозаичных картин, поэму «Письмо о пользе Стекла» и т. д. — вплоть до мелких пометок («Достать киевской мусии», — читаем в его «Химических и оптических записках»). Установлено, например, что мозаичные картины Ломоносова «Нерукотворный Спас» (1753) и портрет Петра I (1754) весьма близки по манере исполнения к мозаикам Михайловского Златоверхого монастыря.

Так или иначе, в Москву Ломоносов вернулся не «с пустыми руками». Поездка в Киев значительно обогатила его представления о русской культуре, поставила перед ним много новых вопросов и одновременно впервые выявила энциклопедичность его творческих устремлений уже на раннем этапе развития.

1734 год для Ломоносова был примечателен еще в одном отношении. К этому времени относится начало его серьезной работы над теорией поэзии и ораторского искусства.

Преподавание пиитики и риторики в Московской (как и в Киевской) академии велось на высоком уровне и опиралось на богатейшую традицию мировой эстетической мысли («Поэтика» и «Риторика» Аристотеля, книги Цицерона по теории красноречия, «Послание к Пизонам» Горация, «Обра-

зование оратора» Квинтилиана). Незаменимым теоретическим и учебным пособием для студентов того времени был курс лекций, прочитанный по-латыни в Киево-Могилянской академии знаменитым сподвижником Петра I Феофаном Прокоповичем (1681—1736), — «Поэтика» (1705). В бытность свою в Киеве Ломоносов внимательно прочитал «Поэтику», оставив на ее полях много пометок.

Но еще до этого он добросовестнейшим образом изучал теорию поэзии в Славяно-греко-латинской академии. Феофилакт Кветницкий, наставлявший Ломоносова в этом предмете, говорил: «Поэзия есть искусство о какой бы то ни было материи трактовать мерным слогом с правдоподобным вымыслом для увеселения и пользы слушателей». «Вымысел, — записывал 23-летний Ломоносов слова иеромонаха Феофилакта, — необходимое условие для поэта, иначе он будет *не поэт*, а *версификатор (стихотворец. — Е. Л.)*. Но вымысел не есть ложь. Лгать — значит идти против разума. Поэтически вымышлять — значит находить нечто придуманное, то есть остроумное постижение соответствия между вещами несоответствующими... Иначе — вымысел есть речь ложная, изображающая истину».

Подобные определения, при всей их сухой схоластичности, ставили, в сущности, очень живой и по сей день трудноразрешимый вопрос о мере вымысла (следовательно, о мере правдоподобия) в поэзии. Искусство не должно слепо копировать жизнь: вымысел — основа его. Но лгать — грешно. Тут перед московскими школярами, воспитанными на религиозных догмах, вставала неразрешимая загадка нравственного и одновременно эстетического порядка. Их наивное сознание привыкло воспринимать все написанное в книгах как самую доподлинную правду — настолько сильна иллюзия правдоподобия, создаваемая поэзией.

Но если поэзия вся зиждется на вымысле (сиречь: лжи, грехе!), то она безбожна?

Вот почему иеромонах подчеркивает, что «вымысел не есть ложь». А это уже в глазах учеников выглядит как сплошной абсурд. Но опытный наставник умело ведет их в самое «пекло» эстетики — к вопросу о специфике художественного образа и его отношениях к реальной действительности.

Настоящий поэт (а не стихотворец, умеющий только пользоваться размерами) должен нести в себе способность видеть нечто общее в разрозненных фактах действительности. Феофилакт Кветницкий специально останавливает внимание своих подопечных именно на этом пункте, когда говорит о необходимости для поэта постигать «соответствие между вещами несоответствующими». В жизни события, факты, явления идут друг за другом единым потоком, без разбора, вперемежку — и только зоркий глаз поэта может уловить в этой неразберихе глубокое «соответствие» и единство, не замечаемое другими, и показать его через посредство неожиданных сравнений, ярких метафор и т. д. «Всего важнее быть искусным в метафорах; это признак таланта, только этого нельзя занять у другого, потому что слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство», — писал Аристотель. При этом важно подчеркнуть, что Аристотель (и его московский последователь Ф. Кветницкий) считали метафору средством познания (подмечать сходство, открывать общее в разрозненных фактах), а не средством поэтического украшения.

Все это было близко и понятно молодому Ломоносову. Уже проявивший к этому времени необычайную широту интересов, он ощущал (покуда интуитивно) всеобщую связь мировых явлений, казалось бы, столь разнородных и непохожих. Вспомним, что он хорошо знал сделанный Симеоном Полоцким стихотворный перевод Псалтыри, где взволнованное переживание этого мирового единства передается при помощи, прежде всего, метафорических выражений. Теперь, на школьной скамье Заиконоспасского монастыря, Ломоносов находил теоретическое обоснование того, что поэзия — это один из самых действенных и полнокровных способов, через которые познается и выражается единство мира. «Вымысел есть речь ложная, изображающая истину...»

3

Говоря о пребывании Ломоносова в Славяно-греко-латинской академии, нельзя забывать о том, что при всей своей страсти к познанию, проявившейся так мощно и так многообразно, он все-таки оставался помором, и к тому же молодым.

Наделенный от природы огненным темпераментом, душою отзывчивой и увлекающейся, Ломоносов попал в большой столичный город, когда ему было едва за двадцать. Трудно поверить, чтобы этот здоровый парень, который в четырнадцать лет легко справлялся с тридцатилетними лопарями, которому тогда же лопарских женщин «видеть нагими случалось», которого отец буквально накануне его ухода в Москву уже сватал в Коле за дочь «неподлого человека», трудно поверить, чтобы он все свое время в Москве проводил *только в классах* да за книгами в библиотеке. Трудно себе представить Ломоносова этаким провинциальным «отличником», который пришел в Белокаменную из своей деревни, чтобы усидчивостью и зубрежкой взять верх над избалованными московскими лентяями.

Вспоминая годы московского ученичества, Ломоносов, между прочим, писал: «Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели». Эти «пресильные стремления», по его же собст-

венному признанию, уводившие Ломоносова от наук, необходимо учитывать. Не исключено, что именно они стали причиною события, о котором аллегорически рассказывается в первом стихотворении Ломоносова, написанном в Славяно-греко-латинской академии, когда ему было около двадцати трех лет.

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! — плачут убоги, —
Меду полизали,
А сами пропали.

В первой публикации к этим стихам (1855) было дано интересное пояснение: «Сочинение г. Ломоносова в Московской академии за учиненный им школьный проступок». В чем, собственно, состояла провинность, осталось неизвестным. Но само содержание стихотворения позволяет догадываться, что дело здесь идет о каком-то уклонении от наук в сторону соблазна, в сторону «сладкого» времяпрепровождения. Показательно, что в этих школьных силлабических стихах (написанных, впрочем, достаточно просто и легко) содержится вполне «взрослая» мысль: в сладкой-то жизни «увязнуть» можно так, что и совсем «пропасть» недолго, за все удовольствия рано или поздно приходится расплачиваться. Учитель (уже знакомый нам Ф. Кветницкий) высоко оценил как благонравное содержание, так и непринужденную форму стихотворения, поставив на листке, где оно было написано: «Pulchre» («Прекрасно»).

Жизнь Ломоносова в Москве стала не только испытанием для его творческих способностей, но и проверкою на прочность его нравственной природы. В Москве, это можно смело утверждать, сердце Ломоносова колебалось не однажды.

Вот как описывал он сам свое тогдашнее душевное состояние многие годы спустя: «С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды... С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали; с другой

стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться!»

Надо уметь почувствовать, что стояло за всеми этими «с одной стороны» и «с другой стороны».

Ведь тут поднимался вполне прозаический вопрос (именно прозаичностью своею для юноши, взалкавшего идеала, невыносимый): а стоило ли? Стоило ли обрывать связи с семьей и обрекать себя на одиночество в чужом городе? Стоило ли уважение, которым он пользовался среди односельчан и как сын Василия Дорофеевича, и сам по себе, — это уважение старших по возрасту менять на насмешки московских школяров? Стоило ли уходить от всего отцовского «довольства» на «один алтын в день», от палтусины и телятины на хлеб и квас? Стоило ли бежать от богатых холмогорских, матигорских и кольских невест, чтобы все, что ни есть у него в душе и на сердце, отдать «любезным наукам»?

Он за три года закончил шесть классов училища и «дошел до риторики», он перерыл всю монастырскую библиотеку, он был в Киеве — он много, очень много узнал. Но он все еще далек был от «желанного берега». Бросить все, что делало его жизнь устойчивой и благополучной, пойти к одной цели и вдруг осознать, что эта цель (пусть даже и великая, пусть даже стоящая того, чтобы ради нее все бросить) постоянно ускользает от него, — тут ведь и возроптать недолго. Вот отчего мысли о плачевности своего положения — положения взрослого человека, который в двадцать четыре года все еще начинает с нуля, — он почти не мог преодолеть. Нести в себе это и все-таки верить в свое предназначение — вот что стоит за словами Ломоносова из того же письма: «Так я учился пять лет и наук не оставил».

...Наступила зима 1734/35 года, которой суждено было внести крупные перемены в судьбу Ломоносова.

Пока он усиленно готовился к экзамену по риторике под руководством иеромонаха Порфирия Крайского, пока он с тревогой думал о своем будущем (как и где продолжить образование?) и отдавал печальную дань заботам о настоящем (пустить ли сегодняшний «алтын» на бумагу под записи лекций иеромонаха Порфирия или вдоволь наесться хлеба?), — пока шла эта московская жизнь Ломоносова, в которой надежды смешались с сомнениями, поэзия разума с житейской прозой, а голод духовный с прямым недоеданием, — в Петербурге, в Академии наук ее «главный командир» (так называли тогда президента), только что вступивший в должность барон Иоганн-Альбрехт фон Корф (1697—1766) решил ознаменовать свое назначение полезным для

русской науки предприятием, которое, впрочем, было предусмотрено еще Петром I.

В январе 1735 года Корф вошел в Сенат с прошением об организации при Академии «семинарии» для русских дворян (числом тридцать), которые обучались бы естественным наукам у академических профессоров. Очевидно, это прошение, несмотря на то, что оно опиралось на авторитет Петра, не возымело должного действия на «господ Правительствующий Сенат». В мае того же года Корф, человек энергичный, привыкший честно выполнять служебные обязанности, внес на рассмотрение Сената новый проект, в котором предлагалось выбрать среди учеников при монастырях наиболее способных и подготовленных и направить их в Петербургскую Академию, «чтоб с нынешнего времени они у профессоров сея Академии лекции слушать и в вышних науках с пользою происходить могли».

На этот раз Сенат принял соответствующее постановление, и в скором времени новый ректор Славяно-греко-латинской академии архимандрит Стефан получил из Петербурга бумагу, предписывающую отобрать лучших семинаристов, «в науках достойных», для последующей отправки их в Академию наук.

Известие о том, что часть учеников старших классов поедет в Петербург для обучения физике и математике у тамошних профессоров, быстро распространилось по училищу. Ломоносов обрадовался этой новости и неотступно просил архимандрита послать его в северную столицу.

Видимо, поначалу ректор не спешил включать Ломоносова в число избранных. Не оттого, конечно, что способности или прилежание Ломоносова вызывали у него сомнения. Дело здесь было в другом. Скорее всего здесь сыграла свою роль история, связанная с поступлением Ломоносова в Заиконоспасский монастырь. Вернее, некоторые подробности ее, всплывшие впоследствии. Как уже говорилось, в 1731 году, чтобы стать учеником, Ломоносов назвался сыном холмогорского дворянина. В августе 1734 года, узнав, что в составе географической экспедиции под руководством обер-секретаря Сената, известного картографа И. К. Кириллова (1689—1737), направлявшейся в киргиз-кайсацкие степи, недоставало священника, Ломоносов предложил свои услуги. Ему очень хотелось принять участие в этой поездке: увидеть заволжские края, поближе познакомиться с практической географией. И. К. Кириллов беседовал с Ломоносовым, и тот произвел на него благоприятное впечатление. Ректор Академии писал: «Штатский советник Иван Кириллов приходил, которому объявлено сообщенное Святейшего Правительствующего Синода ведение об отправлении при нем священника... и при том объявлен ему представленный из Академии к посвящению в попа школы риторики ученик Михайло Ломоносов. На что он доносил, что тем школьником по произведении

его в священство будет он доволен». При оформлении бумаг Ломоносов, чтобы облегчить себе рукоположение в сан священника и устройство на эту должность в экспедиции, показал под присягой, что «отец у него города Холмогорах церкви Введения пресвятыя богородицы поп Василий Дорофеев». Когда при проверке выяснилось, что никакого попа под этим именем в указанной церкви никогда не числилось, Ломоносову был учинен вторичный допрос, на котором он рассказал уже все как есть, — что «рожденнем-де он, Михайло, ...крестьянина Василья Дорофеева сын и тот-де отец его и поныне в той деревне обретается с прочими крестьяны». И вот теперь, когда встал вопрос о новом оформлении документов, уже в Петербург, эти старые факты (с административной точки зрения характеризовавшие Ломоносова как человека сомнительного), безусловно, опять оказались в поле внимания духовного начальства.

Казалось бы, надежды, так долго и так бережно лелеемые, вот-вот рухнут. Но тут пришла неожиданная и как нельзя более своевременная поддержка со стороны сильного человека. За Ломоносова вступился Феофан Прокопович, «Поэтику» которого он за год до того штудировал в Киеве. Феофан, хотя он во многом утратил влияние, которым пользовался при Петре, был в ту пору «синодальным вице-президентом», и его слово являлось достаточно авторитетным.

Ценя в людях тягу к просвещению, архиепископ поддержал Ломоносова прежде всего за его выдающиеся способности.

Так или иначе, когда 23 декабря 1735 года двенадцать семинаристов, лучшие из лучших (впрочем, не по числу ли евангельских учеников подбирал эту группу архимандрит Стефан?), в сопровождении отставного прапорщика Василия Попова выехали из Москвы, среди них был и «Михайло Ломоносов, что из риторики в нынешнем же году перешел до философии». Спустя сто лет, в 1836 году, известный писатель и журналист Ксенофонт Полевой выпустит двухтомный роман «Михаил Васильевич Ломоносов», в котором даст наивное, но достаточно живое представление об отъезде московских семинаристов в Петербург, о среде, из которой Ломоносов, по слову Радищева, был «исторгнут» к высотам знания:

«Во дворе монастырском... собралось множество старух, мальчишек и всякого народа. Начались обниманья, целованья, слезы, почти крик и вопли. Монах, отправлявшийся в виде дядьки с молодыми людьми, уговаривал всех тише изъявлять свою горесть, но это не помогало. Между тем в телеги нагрузили множество мешочков, сверточков со всякой всячиной; кульки с пирогами и калачами следовали туда же; наконец, посадили и господ студентов...

Проехавши заставу, куда провожали родственники своих милых ребят, сошли с телег, начали молиться на московские церкви и опять рыдать, плакать, целоваться. Одна из стару-

шек, по-видимому сохранявшая более других терпения, сказала своему сыну:

— Смотри же ты, Гаврюша! будь умен.

Нескладный парень отвечал ей комически-печально:

— Буду, матушка.

— Не забывай своих родителей.

— Не забуду, матушка.

— Ходи в церковь Божию, уважай священство...

Тут раздался громкий голос провожатого монаха:

— Пора, пора! Что за слезы, друзья мои! Садитесь, с богом!

Всхлипыванья, жалобы, плач удвоились, а мужественная старушка продолжала:

— Боюсь я, дитятко мой, чтобы ты к чарке не прилепился. В ней-то кроется сатана!

— Не бось, матушка, не стану пить.

— Будешь ты там с немцами, не учись у них табачище курить. Это ведь смертный грех...

— Буду помнить, матушка.

— А пуще того, станут тебя немцы соблазнять пить кофей, не пей — знай, что он из Иудина чрева вырос».

В Петербург московские студенты прибыли спустя неделю, в первый день нового, 1736 года.

ГЛАВА III

Vivat Academia!
Vivat professorae!
Студенческий гимн («Гаудеамус»).

1

Первые академии, названные так по имени знаменитой платоновской школы в Афинах, появились в XV—XVI веках (в 1433 году в Палермо, в 1474 году во Флоренции и др.). Им предшествовали различные частные ученые общества, покровительствуемые меценатами. Со временем в роли меценатов стали выступать правительства. Научная деятельность итальянцев Г. Галилея и Э. Торричелли, англичан У. Гарвея, Р. Бойля и Р. Гука, голландцев А. Левенгука и Х. Гюйгенса, французов Р. Декарта и Б. Паскаля и других естествоиспытателей не только продемонстрировала грандиозные достижения «вольного философствования» в познании законов природы, но и показала, что дальнейший прогресс науки возможен лишь при условии тесного взаимодействия ученых, регулярного обмена идеями, результатами опытов и т. д. В XVII веке под эгидой королевской власти возникли авторитетнейшие содружества ученых — Лондонское королевское общество (1660) и Парижская Академия (1666). В самом конце XVII века была основана Болонская Академия наук (почетным членом которой станет впоследствии Ломоносов). В 1700 году создана Прусская Академия наук в Берлине.

Во время своих заграничных путешествий Петр I самым пристрастным образом вникал в научную жизнь Западной Европы. В Англии он побывал в Лондонском королевском обществе, посетил Гринвичскую обсерваторию и беседовал с ее директором Дж. Флемстидом, ездил в Оксфордский университет, осматривал Монетный двор (не исключено, что встречался с И. Ньютоном, который в ту пору заведовал Монетным двором). В Голландии он слушал лекции знаменитого анатома Ф. Рюиша, посещал Лейденский ботанический сад в сопровождении выдающегося врача Г. Бургаве, однажды в течение двух часов производил микроскопические наблюдения под руководством самого А. Левенгука.

По возвращении из первого заграничного путешествия в 1697—1698 годах Петр I в беседе с патриархом Андрианом впервые высказался о необходимости создания Академии в России. Тогда его отвлекли острейшие внутри- и внешнеполитические заботы (подавление последнего стрелецкого бунта, подготовка к Северной войне и т. д.). Но самая мысль об Академии не покидала его.

Некоторое время спустя он вступил в переписку с первым президентом Прусской Академии наук, великим Г. Лейбницем, а потом несколько раз встречался с ним и вел беседы по академическим делам — в 1711 году в Торгау, в 1712 году в Карлсбаде, Теплице, Дрездене, в 1716 году в Пирмонте. Он постоянно переписывался с профессором Галльского и Марбургского университетов Х. Вольфом (будущим учителем Ломоносова) и прислушивался к его советам по устроению ученого сообщества.

Во Франции он также использовал любую возможность для бесед с учеными (математиками, астрономами, географами и др.), побывал в Сорбонне и коллеже Мазарини. 18 июня 1717 года Петр I присутствовал на заседании Парижской Академии наук. Он осматривал выставку, устроенную для него, и наблюдал химические опыты, специально проведенные французскими учеными, чтобы утолить совершенно чудовищное любопытство этого удивительного монарха.

Вскоре Парижская Академия решила избрать Петра I своим почетным членом. Ответ Петра I французским ученым, написанный, по его поручению «лейб-медикусом» Р. Арескиным, позволяет судить о том, что, по мнению царя, должно было определять и деятельность будущих русских академиков (поскольку это имеет самое непосредственное отношение к Ломоносову, соответствующие слова в петровском ответе подчеркнуты):

«...Его Величеству весьма приятно, что ваше знаменитое собрание удостоило его принятием в число своих членов...

Его величество также одобряет ваше мнение, что **пред наукой отличие состоит не столько в высоком звании, сколько в гении, талантах и трудолюбии**; а тщательными своими изысканиями всех возможных редкостей и открытий в своих владениях и сообщением оных Академии его величество постарается заслужить имя исправного члена вашего знаменитого собрания».

22 декабря 1717 года Петр I единогласно был избран почетным членом Парижской Академии наук. Благодаря за избрание, он писал: «Мы ничего больше не желаем, как чтоб чрез прилежность, которую мы прилагать будем, науки в лучший цвет привесть».

Эти слова уже не столько касаются Франции, сколько России. Хотя Петр I не оставил своим вниманием почтившее его ученое собрание (например, в 1721 году он преподнес Парижской Академии карту Каспийского моря), главной его заботой продолжает оставаться Академия Петербургская. Новый лейб-медикус Л. Л. Блюментрост и его подручный по Кунсткамере И.-Д. Шумахер (о котором речь впереди) налаживают самые широкие связи с западноевропейскими учеными на предмет их переезда в Россию, в будущую Академию.

В начале 1723 года, вернувшись из персидского похода, Петр I принимает отчет Л. Л. Блюментроста о переговорах с учеными, которые были приглашены на работу в Академию наук. 13 января 1724 года следует написанное Петром «определение об Академии», «в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и переводили книги, назначить место для сего и доход». 22 января Сенат на своем заседании рассмотрел составленный Л. Л. Блюментростом регламент Академии, на котором рукою Петра были сделаны замечания. 28 января 1724 года был напечатан указ Сената, где говорилось, что «всепресветлейший державнейший Петр Великий... указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили бы книги».

Создавая Академию, Петр одну из ее основных задач видел вот в чем: «Академия, — говорил он, — должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой». Для достижения этой цели император (который в расходовании казенных средств был человеком расчетливым, зачастую просто прижимистым) не скупился на деньги. Так, например, представленную на его рассмотрение первоначальную, довольно высокую смету по расходам, связанным с Академией, — 20 000 рублей (весь государственный доход составлял в ту пору 8 млн. руб.), — Петр увеличил почти на четверть и подчеркнул, что утвержденная сумма служит «только для начатия той Академии» и должна быть увеличена в дальнейшем. Половина академического бюджета определялась на уплату жалованья академикам, адъюнктам, переводчикам, студентам и прочим служащим. Это в то время, как даже члены знаменитой Французской Академии не получали от государства ни сантима, а Прусская Академия изыскивала средства на научную работу продажей календарей и устройством различных лотерей.

Петр большое внимание уделял и структуре будущей Академии, понимая, что от этого во многом будет зависеть дальнейшая действенность ее работы. В соответствии с указаниями Петра Академия делилась на три отделения (класса):

«В первом все науки математические и которые от оных зависнут.

Во втором — все части физики.

В третьем — литере гуманиорес, гисториа, право натуры и народов».

Отделение математики состояло из шести кафедр (теоретической математики, астрономии, географии, навигации и двух кафедр механики). Второе отделение включало в себя четыре кафедры (собственно физики, анатомии, химии и ботаники). И, наконец, в гуманитарное отделение входило три кафедры (красноречия и древностей, новой и древней истории, права). Число академиков (или «профессоров» Академии) равнялось одиннадцати. Каждый из них, помимо выполнения научно-исследовательской работы, должен был уделять серьезное внимание просветительской деятельности среди населения, «чтоб не токмо художествы и науки размножились, но и чтоб народ от того пользу имел».

Еще более важным, с точки зрения будущего русской науки, был специально оговоренный Петром пункт академического устава, вменявший в обязанность профессорам (на первых порах сплошь иностранцам) подготовку отечественных научных кадров с тем, чтобы в их рядах постепенно готовились русские ученые. Параграф 15 «проекта Академии» гласил: «Сверх того, е. и. в. соизволил оное собрание таким образом учредить, чтобы впредь упалые места академиков домашними наполниться могли. И того ради каждому академику студент, который уже в науках некоторое основание имеет, совокуплен будет, чтоб он между академиками науки свои в совершенство привести мог».

Впрочем, все эти указания не были оформлены и утверждены как Регламент (то есть основное руководство к действию всей Академии), что необходимо иметь в виду при рассмотрении дальнейших, более чем двадцатилетних академических неурядиц и той борьбы, которую придется вести Ломоносову в стенах Академии.

2

Академия была открыта после смерти Петра I. 15 августа 1725 года Екатерина I устроила в Летнем дворце пышный прием в честь иностранных ученых, приехавших на работу в Петербург. Начались собрания членов Академии. В августе, сентябре, октябре, ноябре ученые уже выступали с программными докладами по своим наукам, а торжественного академического акта не было. Задержка была вызвана тем, что все еще пустовало президентское кресло. Наиболее авторитетными претендентами на главный пост Петербургской Академии наук были барон Христиан Вольф (1679—1754) и князь Дмитрий Константинович Кантемир (1673—1723), но первый запросил слишком большой оклад, который равнялся первоначальной смете на устройство всей Академии (20 000 рублей) и не мог быть ему гарантирован, а второй — в самый разгар предварительной работы по созданию ученого сообщества скончался. Наконец 7 декабря 1725 года Екатерина I подписала сенатский указ о назначении президентом Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста (1692—1755).

Первый президент Петербургской Академии наук родился в Москве. Отец его был лейб-медиком царя Алексея Михайловича. Сам Л. Л. Блюментрост, как мы помним, стал лейб-медиком сына Алексея Михайловича. Но до этого он учился: сначала под руководством отца (основаниям врачебного искусства, греческому языку и латыни), потом — в Галльском, Оксфордском и Лейденском университетах. В 1713 году, защитив в Лейдене диссертацию, получил докторскую степень. Он вел переговоры с Ф. Рюишем о покупке его гербария и знаменитой анатомической коллекции, которая произвела сильное впечатление на Петра и поступила затем в Кунсткамеру. Л. Л. Блюментрост, помимо русского, греческого и латыни, хорошо владел немецким и французским языками, был основательно осведомлен в физике, математике, философии (здесь он был поклонником Г.-В. Лейбница). Конечно, Л. Л. Блюментрост не обладал столь энциклопедической широтою взгляда и познаний, как Х. Вольф и Д. К. Кантемир, но он много сделал для организации Академии и вполне мог соответствовать своему высокому посту. С другой стороны, было бы неверно и преувеличивать его заслуги: во многом именно с его попустительства в первые же годы создалось то нетерпимое положение, когда ученое собрание лихорадили вопросы, куда как далекие от науки (впрочем, об этом ниже).

27 декабря 1725 года состоялось первое торжественное публичное собрание Академии наук. От академических ученых с приветствием к гостям обратился профессор физики Георг-Бернхард Бюльфингер (1693—1750). Затем перед собравшимися прошел диспут о магнетизме: с сообщением выступил Г.-Б. Бюльфингер, а оппонировал ему профессор математики Якоб Герман (1678—1733), известный своими трудами по геометрии и анализу.

Вообще в Петербургской Академии наук были собраны достойные научные силы. Петр, как уже говорилось, не скупился на науку и старался укомплектовать академический штат лучшими европейскими учеными (вследствие чего во многом и затянулось открытие Академии). Кроме Я. Германа и Г.-Б. Бюльфингера, в Петербурге работали и другие знаменитости, среди которых были светила первой величины.

Прежде всего здесь следует назвать братьев Николая (1695—1726) и Даниила (1700—1782) Бернулли, талантливых представителей славной династии швейцарских математиков и механиков. По традиции семейству Бернулли отводят в истории точных наук примерно такое же место, какое в истории музыки — семейству Бахов. Достаточно сказать, что, начиная с 1687 года, в течение двух столетий кто-нибудь из Бернулли занимал должность профессора на университетской кафедре математики в родном Базеле (к тому же более ста лет из этого срока Бернулли заведовали кафедрой). В XVII—XVIII веках, на протяжении почти что целого века из восьми мест почетных членов Парижской Академии наук, которые были определены для иностранцев, два места постоянно занимали члены семьи Бернулли. Их было много, и все — талантливы. Самых талантливых судьба связала с Россией.

В пору создания Петербургской Академии наук главою семьи был доктор медицины, профессор математики Гронингенского и Базельского университетов Иоганн Бернулли (1667—1748), который совместно со старшим братом Якобом (1654—1705), развивал методы исчисления бесконечно малых Г. Лейбница и положил начало вариационному исчислению. Сыновья И. Бернулли — тридцатилетний Николай и двадцатипятилетний Даниил, — продолжая семейную традицию, занялись математикой (Даниил еще и физиологией) и заслужили признание крупнейших европейских ученых. Когда Даниилу не было полных шестнадцати, Лейбниц, по достоинству оценивая его яркий математический дар, писал Иоганну: «Я радуюсь, что твой сын носит печать Бернулли и хранит наследственный блеск фамилии».

Когда Х. Вольф и Блюментрост вели с И. Бернулли переговоры о желательности участия его и его сыновей в работе будущей Академии наук, произошел курьезный случай, о котором он поведал Христиану Гольдбаху (1690—1764), будущему профессору математики и первому ее конференц-секретарю, в январском письме 1725 года: «Уже несколько месяцев тому назад мне писал славный Вольф, что ему поручено от имени российского императора предложить кафедру математики в Петербургской Академии моему сыну. Поскольку он, однако, не указал имени сына, коему она предназна-

чается, и лишь по некоторым обстоятельствам можно было о сем догадаться, то я решил, что это — младший сын».

Даниилу, о котором идет здесь речь, в ту пору было 24 года. Очевидно, в семье возникло беспокойство (быть может, и сомнения) относительно самой возможности отпустить молодого человека одного в далекую северную столицу. Что касается старшего брата Николая, заведовавшего в ту пору кафедрой права в университете Берна, то он прямо высказал свое отношение к этому, о чем свидетельствует сам Даниил в послании к тому же Х. Гольдбаху: «Я только что в эту минуту получил письмо от брата: он, из дружбы истинно братской, говорит, что не решается отпустить меня в Московию, а ежели я уже непременно хочу отправиться туда, то и он готов пожертвовать своими выгодами (у него кафедра, которая ему приносит по крайней мере 150 луидоров) и сопутствовать мне. Я полагаю, что было бы легко найти обоим нам место в Петербурге тем более, что нет ничего обширнее математики. Если вы можете способствовать осуществлению этого предположения, то окажите услугу, устранив разлуку двух братьев, которых так сильно соединяет самая тесная дружба».

27 октября 1725 года Николай, назначенный профессором математики, и Даниил, получивший профессуру на кафедре анатомии и физиологии, прибыли в Петербург. Их отец И. Бернулли, ставший вместе с Х. Вольфом одним из первых иностранных почетных членов новой Академии, высказал о ней мнение, которое вполне объясняло побудительные мотивы западноевропейских ученых, устремившихся в Петербург, а также послужило родительским благословением сыновьям: «...лучше несколько потерпеть от сурового климата страны льдов, в которой приветствуют муз, чем умереть от голода в стране с умеренным климатом, в которой муз обижают и презирают».

Первоначально Даниил Бернулли намеревался посвятить себя физиологии и медицине, применяя в этой области математические методы. Здесь примером для него был отец, чья диссертация «О движении мускулов», выдержавшая целый ряд изданий, указывала пути, на которых стало возможным плодотворное применение законов механики к физиологии. Уже в первые месяцы своего пребывания в Петербурге он выступал с докладами, которые, опираясь на строгий математический метод, в равной мере касались и физиологии и механики.

Д. Бернулли видел свою задачу в механико-математическом моделировании физиологических процессов в организме человека и животного. В 1727 году он написал краткое, но в высшей степени содержательное по научным идеям сочинение под названием «Новая теория движения воды, текущей по различным каналам». В первом томе «Комментариев императорской Академии наук в Петербурге» за 1728 год

Д. Бернулли опубликовал три работы, в которых обобщил положения, выдвинутые в докладах: «Исследование принципов механики и геометрические доказательства относительно сложения и разложения сил», «Опыт новой теории движения мускулов», «Эксперименты со зрительным нервом». Впрочем, механика взяла вверх, и в дальнейшем Д. Бернулли прославился именно как один из ее основоположников. Но начало его фундаментальным исследованиям в этой области и прежде всего классическому труду «Гидродинамика» (1738) было положено в первые годы его работы в Петербурге профессором физиологии.

Коллегой Д. Бернулли по кафедре анатомии и физиологии был доктор медицины Иоганн-Георг Дювернуа (1691—1789), приехавший в Петербург из Тюбингенского университета. Он проводил исследования человеческого организма главным образом посредством патологоанатомических вскрытий, широко применяя в своей работе микроскопические наблюдения. Третьим профессором той же кафедры стал (в 1730 году) ученик Д. Бернулли и И.-Г. Дювернуа Иосия Вейтбрехт (1702—1747), получивший известность трудами по физиологии органов сердечно-сосудистой системы, а также по связкам человеческого тела.

Физиологические исследования Д. Бернулли, И.-Г. Дювернуа и И. Вейтбрехта ознаменовали возникновение первой научной школы в России. Советские историки науки А. Т. Григорян и Б. Д. Козлов характеризуют их так: «Классические работы, выполненные на кафедре анатомии и физиологии Петербургской Академии наук в первой половине XVIII века, ...известны сейчас каждому специалисту».

Из других крупных ученых, приехавших в Петербург, следует назвать Жозефа-Никола Делиля (1688—1768), приглашенного на должность профессора астрономии. Научный авторитет его был исключительно высок: Парижская и Прусская Академии, а также Лондонское королевское общество почтили его избранием в число своих членов. Приглашение в Петербург он получил лично от Петра I. Деятельность его по приезде в Россию была энергичной и разнообразной: интенсивные астрономические наблюдения, проектирование астрономической обсерватории и проч. (одно из предложений Ж.-Н. Делиля до сих пор действует в Ленинграде: пушечный сигнал, оповещающий о времени). Работа его в Петербургской Академии продолжалась до 1747 года (об обстоятельствах, сопровождавших его возвращение во Францию, будет сказано в своем месте). Его кузен Людовик Делиль-де-ла-Кройер (ум. 1741) также занимал должность профессора астрономии одновременно с ним: Жозеф поставил это обязательным условием своего приезда в Петербург.

Видным ученым был уже упоминавшийся профессор матемамики Х. Гольдбах, который отличался, помимо незаурядного математического дарования, энциклопедической широ-

тою интересов и энтузиастическим темпераментом. Он пользовался одинаковым авторитетом у профессоров Петербургской Академии — как у представителей точных наук, так и у гуманитариев (забегая вперед, отметим, что Ломоносов отзывался о нем с неизменным уважением).

В числе академиков «первого призыва» были профессор юриспруденции Иоганн Симон Беккенштейн (ум. до 1744), а также профессор греческих и римских древностей Готтлиб-Зигфрид-Теофил Байер (1694—1738), основоположник так называемой «норманнской теории» происхождения русского народа. Имя последнего Ломоносов не однажды упомянет в своих сочинениях так же, как и имя байерова последователя историка Герарда-Фридриха Миллера (1705—1783), который приехал в Петербург из Лейпцига, не успев закончить там университетского курса, и был зачислен в штат Академии наук со званием студента (о нем еще будет не однажды сказано ниже).

Особо следует сказать о первом академике по кафедре химии (с которой впоследствии будет связана академическая карьера Ломоносова). Руководить химической наукой был приглашен в Петербургскую Академию курляндец М. Бюргер. Однако профессорство его было кратковременным. Он приехал в Петербург в марте 1726 года, но уже в исходе четвертого месяца своего пребывания в русской столице, а именно 22 июля, возвращаясь пьяным от президента, у которого он был в гостях, вывалился из экипажа и разбился насмерть.

По иронии судьбы, не кто иной, как сам Блюментрост, примерно за год до этого обратил внимание Екатерины I и Сената на возможность подобных эксцессов в среде иностранных ученых, поступивших на русскую службу (не предусматривая, впрочем, столь тяжелых последствий), и составил от имени императрицы документ, в котором заботы о первоначальном устройстве быта академиков прямо связывались с намерением предотвратить возникновение «непотребных обычаев»: «Ея в(еличество) именно приказала, чтоб дом академический домашними потребами удостачить и академиков недели три или месяц не в зачет кушаньем довольствовать; а потом подрядить за настоящую цену, наняв от Академии эконома, кормить в том же доме. И дать ему в зачет несколько денег, которые из трактамента (т. е. договора. — Е. Л.) академических членов возвращены будут по учреждении оной Академии, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие домы, с непотребными общаючись, не обучились их непотребных обычаев и в других забавах времени не теряли б бездельно. Ибо суть такие образцы из многих иностранных, которые в отечестве своем добронравны бывши, с роскошниками и пияницами в бездельничестве пропали и государственного убытку больше, нежели прибыли учинили».

Случай с М. Бюргером отчасти показателен для академического быта начального периода: пьянки, легкие потасовки, а то и серьезные драки между служителями науки были не столь уж редким явлением (на первых порах его самостоятельной работы в Академии и Ломоносова «не минует чаша сия»). Впрочем, истинный характер молодой Академии и авторитет ее в Европе определяли научные баталии, которые вели между собою первоклассные ученые.

Правда, и среди них обнаружились потери. Летом того же 1726 года в возрасте 31 года скончался Н. Бернулли, чье здоровье еще до приезда в Петербург внушало серьезные опасения его близким и друзьям (одно время он вынужден был основательно лечиться в Италии). Эта смерть означала большую утрату для начинающейся русской науки и глубокую личную драму для молодого Д. Бернулли. 1 августа 1726 года, присутствуя на торжественном собрании Академии наук, Екатерина I выразила ему соболезнования и заверила в своем расположении (очевидно, воспользоваться им гениальному швейцарцу не пришлось, так как и сама императрица через несколько месяцев скончалась).

Д. Бернулли форсирует свои хлопоты по приглашению в Петербургскую Академию наук 19-летнего Леонарда Эйлера (1707—1783), которого братья Бернулли знали еще по его детским годам в Базеле. (Их отец И. Бернулли внеурочно занимался с высокоодаренным мальчиком математикой.) Наконец, Даниил смог сообщить благоприятную весть юному Леонарду, который еще с осени 1725 года, по его собственным словам, томился в ожидании, ибо «молодые Бернулли крепко обещали» ему похлопотать о пристойном «месте» и для него. «Несколько месяцев тому назад, — примерно в середине 1726 года извещал Л. Эйлера Д. Бернулли, — я писал к вам по приказанию нашего президента г. Блюментроста и от его имени приглашал вас занять место адъюнкта в нашей Академии с жалованьем по 200 рублей в год. Я очень хорошо понимал, что оно гораздо ниже ваших достоинств, и хотя вы сами приняли такое предложение, я не преминул, однако, хлопотать о ваших выгодах и был настолько счастлив, что преуспел в этом. Вы будете судить о том сами, милостивый государь, по письму, которым удостоил меня г. Блюментрост и которое посылаю вам в подлиннике. Вас ожидают здесь с величайшим нетерпением, итак поспешите насколько возможно скорее и выезжайте еще этою зимою... Между тем не забудьте прислать в наискорейшем времени какую-нибудь из ваших статей. Ею вы убедите, что сколько ни говорил я о вас хорошего, однако так и не высказал всего, так как уверен, что я тем самым оказал Академии гораздо большую услугу, чем вам».

Л. Эйлер, который еще в 1723 году, в возрасте шестнадцати лет защитил магистерскую диссертацию по философии (но в душе был математиком), принялся усердно изучать анатомию и физиологию, так как Д. Бернулли выхлопотал

ему место адъюнкта на своей кафедре. Причем не просто изучать, но именно в том аспекте, в каком ставил физиологические проблемы его старший друг, то есть в механико-математическом (движение жидкости в трубах и сосудах, распространение звука и т. д.). Не случайно, вскоре по прибытии в Петербург, он в подтверждение характеристики, данной ему Д. Бернулли, и в оправдании надежд, возлагавшихся на него академическим начальством, написал трактат «Основы движения крови по артериям», где физиология поверялась механикой.

3

По случайному стечению обстоятельств Л. Эйлер прибыл в Петербургскую Академию наук из Швейцарии в тот день (24 мая 1727 года), когда остановилось «движение крови по артериям» 43-летней императрицы Екатерины I, которая еще так недавно сама соболезновала Д. Бернулли по поводу смерти его старшего брата. Последовавшее почти трехлетнее царствование отрока Петра II, при котором, в сущности, всеми делами заправлял «полудержавный властелин» князь А. Д. Меншиков, косвенным образом неблагоприятно отразилось на академической жизни.

Двор перебрался в Москву. Туда же в начале 1728 года последовал и президент Академии Блюментрост, оставив за себя «все дела академические и канцелярские управлять и крепить» Иоганна-Даниила Шумахера (1690—1761).

Это был человек, для науки страшный. Такие высокие вопросы, как поиск истины, убедительное доказательство ее перед всем ученым светом и, следовательно, подчинение всей своей жизни этим целям, никогда его не волновали, никогда не были ему близки. Защитив в 1711 году в Страсбурге магистерскую диссертацию на богословскую тему, он счел, что богословие, или философия, или наука — все это не для него. За пятьдесят лет, прошедших с момента защиты до его смерти, он уже не написал ни одного трактата, или статьи, или даже простой заметки. Диспут на защите стал единственным «научным подвигом» Шумахера. В двадцать один год покончив со всякими бесполезными для него абстракциями, он стал готовить себя к административной карьере. И преуспел на этом пути. Волею судеб этот человек сделался на долгое время «теневым президентом» Петербургской Академии наук. Самые светлые научные умы тогдашней Европы оказались в зависимости от ума низменного, по-змеиному изворотливого и по-змеиному же ядовитого, смертельно опасного для «вольного философствования и вящего наук приращения».

В 1714 году И.-Д. Шумахер прибыл в Петербург. Он вошел в доверие к лейб-медику Петра I Арескину, став его секретарем. Вскоре Арескин обратил на него внимание царя, и тот сделал его своим библиотекарем, а затем смотрителем Кунсткамеры. Шумахер принимал участие в переговорах с западноевропейскими учеными, будущими членами Петербургской Академии наук. Именно Шумахера в феврале 1721 года Петр I послал в Парижскую Академию с картой и описанием Каспийского моря для торжественной передачи этого научного вклада собществу, избравшему его в число своих членов, а также для консультаций с иностранными авторитетами на предмет «сочинения социетета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах».

Удача улыбалась ловкому эльзасцу. Внешне его репутация была безупречна: магистр богословия, личный библиотекарь и доверенное лицо императора, а также будущего академического президента Блюментроста (который, сменив умершего Арескина на посту лейб-медика, благоволил И.-Д. Шумахеру от начала до конца). К тому же Шумахер и сам постарался еще более упрочить свою связь со двором, женившись на дочери петровского повара Фельтена (Фелтинга). Ученые, с которыми он вел переговоры, лично ничего не могли иметь против человека, который на выгоднейших условиях (до 2000 рублей в год) приглашал их в Россию заниматься любимым делом. Наконец в начале 1724 года Л. Л. Блюментрост подписывает с ним контракт, по которому на него, помимо заведования библиотекой и Кунсткамерой, возлагалось исполнение «секретарского дела», а также смотрение за денежными суммами Академии. С этого момента ученые, горевшие желанием в представившихся идеальных условиях продвинуть вперед каждый свою науку, оказались в цепких руках человека, которому все их устремления были глубоко чужды.

Несмотря на то, что юридически Шумахер не имел никакой власти над учеными, он, оказывая различные услуги двору и президенту, добился исключительно прочного положения в Академии. Пока академические мастера и подмастерья выполняли (за государственный счет) частные заказы таких влиятельных людей, как фельдмаршал Б.-Х. Миних, лифляндский губернатор князь П. А. Голицын, адмирал граф Н. Ф. Головин, фельдмаршал граф Я. В. Брюс, вице-президент Коллегии иностранных дел барон А. И. Остерман и др., Шумахер и сам становился влиятельным человеком. Он был удобен для вельмож и президента Академии наук. На него можно было положиться.

Своею всевозрастающею властью Шумахер не замедлил воспользоваться. Он постоянно недодавал жалованье профессорам, умел их перессорить между собою, чтобы отвести от себя возможный удар. С этой целью он приближал к себе молодых академических ученых: например, будущего историографа Г.-Ф. Миллера, который в бытность свою студентом, по словам Ломоносова, «ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привел их в не-

малые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными».

Шумахер умел отблагодарить своих клевретов. Можно привести в пример того же молодого Миллера, который из студентов был, с поблажки Шумахера, произведен сразу в профессора (чего впоследствии Ломоносов не мог простить ни тому, ни другому). Причем произведен, по существу, вопреки мнению старших академиков. 27 июля 1730 года все они были экстренно собраны для обсуждения предложенных Блюментростом новых кандидатов на профессорские должности: Леонарда Эйлера, натуралиста Иоганна-Георга Гмелина (1709—1755) на место убившегося М. Бюргера, Георга-Вольфганга Крафта (1701—1754), который в скором будущем станет учить физике студента Ломоносова, затем Иосии Вейтбрехта, о котором говорилось выше, и, наконец, Миллера. По поводу первых четырех кандидатур разногласий не было. А вот относительно Миллера они возникли. Сохранилась записка профессора Бюльфингера, датированная 27 же июля 1730 года, где изложено такое вот особое мнение о Миллере: «Хоть г. Герард-Фридрих Мюллер и не читал еще до сих пор в Академическом собрании никаких своих исследований, так как его работы собственно к тому и не клонятся, однако же составленные и напечатанные им еженедельные «Примечания» успели дать достаточное представление об его начитанности в области истории, о ловкости его изложения, об его прилежании и об умении пользоваться здешней Библиотекой. Можно поэтому надеяться, что если эта прекрасная возможность за ним сохранится, если повседневной работы у него поубавится и если, вследствие этого, у него освободится больше времени для приватного изучения истории, то, изучая ее таким образом, он сумеет выдвинуться, в каковых целях ему можно было бы доверить кафедру истории».

Как видим, характеристика весьма и весьма сдержанная. Впрочем, прилежание, научные возможности Миллера не ставятся под сомнение. Но, во-первых, здесь совершенно определенно выражено недоумение по поводу того, что кандидат в профессора не обнародовал «никаких своих исследований», а во-вторых, содержится намек на то, что Миллер слишком много времени уделяет выполнению работ, не относящихся к науке. Г.-Б. Бюльфингер, не терпевший Шумахера, ставит необходимым условием для получения Миллером профессуры прекращение этой его деятельности: ведь именно Шумахер загружал своего молодого агента поручениями, отвлекавшими от «приватного изучения истории».

Миллер стал профессором (правда, не без вмешательства президента, по инициативе Шумахера), а уже через неделю после избрания он отправился в научную командировку за границу. Будучи в Англии, Миллер (молодой петербургский

академик!) был избран членом Лондонского королевского общества. Вряд ли это произошло бы, если бы 27 июля 1730 года Шумахер не постоял за него как за своего человека. В дальнейшем Миллер, тяготясь благоволением Шумахера, неоднократно вступал с ним в открытые конфликты. «Великая распря» его с недавним патроном произошла сразу же по возвращении его из-за границы в августе 1731 года. Неприязнь обоих друг к другу была настолько сильной, что Миллер даже свой отъезд в сибирскую экспедицию (8 августа 1733 года), где им был собран материал для его капитального труда «История Сибири», связывал с невозможностью нормального контакта с Шумахером: «Для избежания его, Шумахера, преследований, — писал Миллер много лет спустя, — я вынужден был отправиться в путешествие». Так или иначе, став профессором, Миллер перестал оказывать «приватные прислуги» Шумахеру, сосредоточившись на «приватном изучении истории», Миллер, человек вспыльчивый и норовистый, очевидно, еще в бытность свою «мальчиком на побегушках» у Шумахера, копил на него свой гнев. Шумахер, со своей стороны, имел все основания быть в претензии на своего протеже. Высшая гуманная доблесть, на которую способен чиновник, — это не сотворить зла ближнему, когда он может его сотворить. В случае же с Миллером Шумахер позволил себе даже некоторое активное поползновение к тому, чтобы облагодетельствовать человека. Однако ж все обернулось черной неблагодарностью. Возможно, тут были и сетования на коварство ближних, и пессимистические размышления вроде: «Вот и помогай после этого людям!..»

Впрочем, Шумахер предпочитал выступать (и так часто выступал) не жертвой, а орудием, даже творцом злого рока. Сам не занимаясь наукой, он, однако, прекрасно знал психологию ученых и делал верную ставку на их непрактичность. Профессора почти полностью оказались в цепких руках его, ибо, по точной позднейшей характеристике Ломоносова, «приобыкли быть всегда при науках и, не навыкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения». Искушенные в латыни, но не искушенные в интригах, ученые мужи окрестили Шумахера flagellum professorum (бич профессоров) и дальше прошений об отставке либо случайных жалоб на него не шли.

Съехавшиеся в Петербург из разных стран Европы ученые представляли различные научные школы. Кроме того, в большинстве они были ярко индивидуальны в своем научном творчестве. Острая научная полемика, развернувшаяся в стенах Петербургской Академии уже с первых дней ее существования, была неизбежна. Шумахер эту борьбу идей умело превращал в борьбу самолюбий, которая уже сама собою зачастую оборачивалась личной враждой, а то и вульгарной склокой. Этот уровень полемики был близок Шумахеру. Здесь он чувствовал себя в своей стихии и был всемо-

гущ. Понимая, что де-юре Академическая канцелярия — это всего лишь административно-хозяйственный орган, Шумахер максимально использовал любую, как мы теперь говорим, «конфликтную ситуацию» для того, чтобы утвердить свое тотальное влияние в Академии де-факто. При этом он, как точно указывал впоследствии Ломоносов, «в таковых распрях стоял за молодших, затем чтоб ими старших унизить, а молодших поднять». Он и его люди намеренно становились «таковых ссор причиною, чтобы ловить в мутной воде».

Глубокая аморальность «таковых распрей» и «таковых ссор» заключалась в том, что их участники видели в Шумахере (который чаще всего и провоцировал столкновения) третейского судью и обращались к нему за непредвзятым и строгим разбором. Он же придавал спорам (в основе которых изначально лежали научные разногласия) откровенно скандальное направление.

Так, например, острая полемика по теоретическим вопросам механики, которую вели с Д. Бернулли Бюльфингер и Герман, уже в самом начале (зимой 1725/26 года) сопровождалась резкими вспышками, озарявшими не только глубину затронутых научных проблем, но и непримиримость темпераментов. Впрочем, выпады друг против друга на этом этапе полемики были связаны с существом затронутых вопросов, а не с личной неприязнью оппонентов. Но вскоре именно вненаучные мотивы возобладали. Бюльфингер и Герман, видя, что Шумахер поддерживает Д. Бернулли, перенесли свою нелюбовь к советнику Академической канцелярии и на его подопечного. Пятидесятилетний Герман, человек уравновешенный, пользовавшийся всеобщим авторитетом (professor primarius — называли его с уважением), к тому же земляк Д. Бернулли и дальний родственник Эйлера, который, как мы помним, был близким другом автора «Гидродинамики», — даже он в ходе полемики на заседаниях Конференции Академии наук спорил с Д. Бернулли так ожесточенно, что президенту Блюментросту приходилось вмешиваться и успокаивать «первого профессора». Что же касается Бюльфингера, которому едва исполнилось тридцать пять, то о нем Шумахер в связи с развернувшейся полемикой писал в августе 1729 года Блюментросту: «...приказывайте, милостивый государь, что вам угодно, я буду повиноваться, но, ради Господа и во имя спокойствия общества, не предоставляйте нас ярости г. Бюльфингера».

Шумахер и здесь внешне занял безупречную позицию. Бернулли, которого он поддерживал, оказался правым по научному существу полемики. Бюльфингер (несмотря на то, что был физиком с европейским именем, основателем физического кабинета Петербургской Академии наук) получил в Петербурге профессуру по кафедре логики, метафизики и морали: формально его мнением по поводу диссертаций Бернулли можно было пренебречь. При таком подходе на авансцену выступало то, что Шумахер в письме к Блюментросту назвал «яростью г. Бюльфингера». Причем Бюльфингер уже не считал нужным сдерживать свою ярость. Много было сказано им резкого, просто несправедливого в адрес Д. Бернулли, что, конечно же, невыгодно характеризует в наших глазах тюбингенского физика и философа. Была создана специальная комиссия по разбору конфликта между Бюльфингером и Бернулли. Президент из Москвы пишет Шумахеру письма с указаниями изыскать средства к примирению враждующих. Бернулли к нему же обращается за защитой и сочувствием: «Боже мой, к каким крайностям вынуждают меня. Обвиняют меня прямо в ложных выводах, и это обвинение делает г. Бюльфингер. Еще более: он меня выдает за преступника, сообщая сведения de vita et moribus meis [1]. Я могу только оплакивать мое несчастье... Конечно, наши усилия совершенно различны: г. Бюльфингер старается лишь уничтожить меня, а я хочу только доказать мою невиновность, не желая ему ни малейшего зла... Он хочет уничтожить мою известность, а между тем не в состоянии доказать ни одного ложного вывода, и мне легко обличить и опровергнуть его вздорное злоречие...»

Распря между Бернулли, с одной стороны, и Бюльфингером и Германом, с другой, завершилась уходом последних из Академии. Но вот что интересно: как только Бюльфингер в 1731 году вернулся в Тюбинген, он написал Бернулли дружеское письмо и получил от него доброжелательный ответ. Кроме того, Бюльфингер произнес перед тюбингенцами публичную речь «О достопримечательностях города Петербурга», в которой с уважением и благодарностью говорил об Академии и в особенности хвалил академических инструментальщиков: «Искуснейшие вещи делаются в Петербурге... трудно отыскать искусство, в котором я не мог бы назвать двух или трех отличнейших мастеров».

Впрочем, эти «отличнейшие мастера» чеканки, гравирования, шлифовки стекол (в основном русские люди) все более трудились над выполнением частных заказов, нежели над изготовлением инструментов и приборов, необходимых для научных исследований. Шумахер рассматривал эти заказы как необходимую часть работы академических мастерских. Придет время, и бывший токарь Петра I Андрей Константинович Нартов (1694—1756), который с 1736 года станет заведовать мастерскими, предъявит бывшему библиотекарю императора целый ряд тяжелых обвинений как в этом пункте, так и в связи с другими злоупотреблениями. Пока же все для Шумахера складывалось удачно.

Если для превращения академических мастерских в частные ему достаточным основанием служили имена и титулы придворных заказчиков, то в подчинении ученых своей вла-

[1] О моей жизни и нравах *(лат.)*.

сти он довольно понаторел, создавая острые положения, из которых сами ученые не могли выпутаться. Докладывая президенту о подробностях той или иной ссоры, Шумахер тонко спекулировал на расхожих представлениях о преувеличенном самолюбии и невыдержанности ученых (вы-де знаете этих профессоров: ничего, кроме своей науки, знать не хотят, вести себя в обществе не умеют, а уж когда дело касается их «открытий», они-де становятся страшны, дики, как варвары, просто опасны для нормальных людей и т. п.).

В докладах подобного рода Шумахер брал под защиту не только «молодших», как это было в случае с Бернулли и Бюльфингером, но и тех, кто так или иначе был обласкан сильными мира сего. Например, 31 декабря 1733 года в Конференции Академии наук произошла драка между профессором астрономии Вейтбрехтом и профессором элоквенции и поэзии Готлобом-Фридрихом-Вильгельмом Юнкером (1702—1746). Спровоцировал это столкновение Шумахер, который, услышав однажды, как Вейтбрехт насмехался над невежеством Юнкера (тот плохо читал по-латыни), нашептал поэту о насмешках Вейтбрехта, нашептал с пристрастием и преувеличениями, так, что «поднял его на досаду» (как писал потом Ломоносов). В начавшейся драке Юнкер избил Вейтбрехта палкой и расколотил большое зеркало, находившееся в помещении Конференции. Однако все это сошло ему с рук, ибо он пользовался особым покровительством фельдмаршала Миниха (позднее он входил в состав свиты фельдмаршала как историограф во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов) и по этой причине был любимцем Шумахера.

Не полагаясь на одну только молодежь (случай с Миллером ясно показывал, что такая ставка может быть неверна) или протеже влиятельных людей, Шумахер, чтобы исключить в административных делах «невычисляемые» последствия, сколачивая свой семейный клан при Академии, подчиняя своему контролю посредством семейных связей всю деятельность Петербургского «социетета наук» в трех главных, ключевых направлениях: административном, хозяйственном, собственно научном. Сам он возглавлял Академическую канцелярию. Своего тестя М. Фельтена в 1736 году он сделал главным экономом Академии. Пасынка М. Фельтена, Ивана Ивановича Тауберта (1717—1771), он готовил себе в преемники на посту советника Академической канцелярии. Способный физик Крафт, ставший как мы помним, в 1730 году профессором, доводился зятем Фельтену и свойственником Шумахеру. При всем том Шумахер, надо думать, никогда за тридцать шесть лет (!) своего пребывания на главном административном посту Академии не был по-настоящему спокоен за него. Господство его в Академии носило, скажем так, динамический характер. Низменный ум этого низменного человека пребывал в постоянном беспокойстве, в постоянном поиске средств к поддержанию, к усилению

господства, так как само по себе оно не только внешне (юридически), но и внутри себя (по своему содержанию, способам и целям) не имело достаточного основания.

Порожденная объективными и субъективными причинами, коварная и вредоносная для науки изобретательность шумахерова ума и сейчас не может не вызвать «содрогательного удивления». Этот первый бюрократ в русской науке, основоположник мрачной и мощной двухвековой традиции торжествующе-некомпетентного управления русской наукой умел выжить как значимая административная единица при пяти монархах (Петре I, Екатерине I, Петре II, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне) и пяти академических президентах (Л. Л. Блюментросте, Г.-К. Кайзерлинге, И.-А. Корфе, К. Бреверне, К. Г. Разумовском). Как заметил один исследователь, президенты приходили и уходили, а Шумахер оставался.

Но какой страшной ценой для молодой Петербургской Академии обернулось это подлое шумахерово выживание!

Одну из главных академических задач, как мы помним, Петр I видел в подготовке национальных научных кадров. В первые десять лет господства Шумахера Академические университет и гимназия практически бездействовали. Ни одного русского ученика не было выпущено из гимназии в студенты университета. Ни одного русского студента не было произведено в адъюнкты или переводчики. Из двенадцати учеников Славяно-греко-латинской академии, по «первому призыву» прибывших из Москвы в Петербург в декабре 1732 года, один только Степан Петрович Крашенинников (1713—1755) сумел пробиться к большой науке, став впоследствии профессором ботаники и натуральной истории, автором фундаментального труда «Описание земли Камчатки». Лишь отчасти смог реализовать свои способности другой выпускник Спасских школ Алексей Петрович Горланов (ум. 1759), автор труда о народных лекарствах Сибири. По возвращении из Камчатской экспедиции, в которой он участвовал вместе с Крашенинниковым и другими тремя товарищами по московской академии, Горланов до 1750 года был копиистом при историографе Миллере. Высшей точкой его академической карьеры стала должность учителя латинского языка в Академической гимназии, предоставленная ему впоследствии его бывшим соучеником по Москве Крашенинниковым.

Остальные десять московских учеников, как писал Ломоносов, либо «от худого присмотру все испортились», либо «быв несколько времени без призрения и учения, разопределены в подьячие и к ремесленным делам».

Среди русских сотрудников Академии выделялся еще Василий Евдокимович Адодуров (1709—1780), переводчик и математик, о котором с похвалой отзывался Д. Бернулли. В 1733 году Адодуров стал адъюнктом, в 1736 году ему будет поручено смотрение за московскими студентами, в числе ко-

торых находился и Ломоносов. Можно упомянуть здесь и академического переводчика Василия Кирилловича Тредиаковского (1703—1769), о котором подробный разговор еще предстоит. Но все это были исключения из правила. Правилом же было господство иностранцев на «высшем уровне», если пользоваться терминологией нашего времени, и использование русских на вспомогательных работах в качестве копиистов, мастеровых, отчасти переводчиков.

Впрочем, и выдающимся ученым-иностранцам было трудно работать с Шумахером. Задуманная Петром I как средоточие отборных научных сил Европы Петербургская Академия в первые десять лет своего существования потеряла наиболее значительных ученых. Умер Николай Бернулли, уехали Герман и Бюльфингер. В 1733 году покинул Россию и Даниил Бернулли, от которого, когда он всерьез стал отстаивать свои истины и причинять академическому начальству не меньшее, чем Бюльфингер, беспокойство, отвернулся его недавний «покровитель» и «сочувственник» Шумахер. В 1737 году в Страсбурге (на родине Шумахера) увидит свет знаменитая «Гидродинамика» Бернулли, в предисловии к которой он выскажет слова благодарности ученому обществу, в стенах которого была выполнена большая часть работы по созданию этого капитального исследования, а также напомнит, какие высокие научные цели преследовались при учреждении русского храма муз: «Я охотно объявляю, что главнейшая часть этой работы обязана руководству, замыслам и поддержке со стороны Петербургской Академии наук. Повод для написания этой книги дало постановление Академии, в котором первых профессоров, собравшихся для ее создания, обязали и затем определенно побуждали, чтобы они писали рассуждения на какую-нибудь **полезную и, насколько возможно, новую тему** (подчеркнуто мною. — *Е. Л.*)... Настоящая моя работа преследует единственную цель: принести пользу Академии, все усилия которой направлены к тому, чтобы содействовать росту и общественной пользе благих наук».

В Петербурге еще оставались Леонард Эйлер, Жозеф-Никола Делиль, Гмелин. Но и они в течение следующего десятилетия, не в силах выносить околонаучную злобно-тщеславную, бесплодно-бюрократическую возню, производимую Шумахером, его кланом и его креатурами, покинут Петербургскую Академию — Эйлер в 1741 году (до 1766 года он будет работать в Берлине), Делиль и Гмелин в 1747 году.

Таким образом, к середине 1730-х годов в Петербургской Академии наук не было человека, который в себе одном совмещал бы качества, необходимые для успешного противодействия Шумахеру. «Мудролюбивые российские отроки» даже при очень сильной любви к России и наукам не могли противопоставить ничего положительно равного по силе шумахерову торжествующему коварству, ибо в подавляющем большинстве не занимали и в принципе не могли занять реально значимых постов в Академии, но были обречены влачить жалкое существование на академических задворках, спиваться, умирать в безвестности, бесполезно и для России и для науки. Что касается выдающихся иностранных ученых, то и они реальной угрозы шумахерову господству не представляли, хотя и являлись досадной помехою для него. Взыскуя научной истины и борясь за нее, они, независимо от своих личных симпатий или антипатий, объективно становились противниками Шумахера. Но для них Шумахер не был непреодолимым препятствием на пути к истине и к утверждению научной этики, соответствующей ее поиску. Видя, что академические дрязги всерьез начинают угрожать их делу, они уезжали из Петербурга — кто в Тюбинген, кто в Базель, а кто в Берлин... И тут трудно, а в общем-то и не нужно выяснять, они ли устраняли Шумахера из своей жизни, или он их из своей. Оставаясь почетными членами Петербургской Академии наук, они вели с ним переписку, соблюдая необходимую фигуру вежливости, но уже не как с живым человеком, а именно как с номенклатурной единицей.

Повторяем, не было (до 1 января 1736 года не было) в Петербургской Академии наук человека, в котором совместились бы качества, необходимые для плодотворной борьбы с Шумахером, и в котором достало бы сил, терпения и вдохновения для того, чтобы не поступиться ими, чтобы каждую свою мысль, слово, поступок, начинание соразмерять с ними. Иными словами, не было человека, в котором идея служения России и идея служения истине органически совместились бы, точнее: выступали бы как одна Идея, как единая, всепоглощающая Страсть. Короче говоря, опасные для Шумахера люди были в Академии и до 1 января 1736 года, но еще не было человека, **смертельно опасного.**

Именно в этот день, как мы помним, Ломоносов со своими товарищами по Славяно-греко-латинской академии прибыл в Петербург и сразу же был представлен в Канцелярии Шумахеру, поединок с которым отнимет у него ровно четверть века.

1 января 1736 года они впервые посмотрели друг другу в глаза.

ГЛАВА IV

Мы крайним тщанием готовы
Подать в Российском роде новы
Чистейшего ума плоды.
М. В. Ломоносов

1

Переезд из Москвы в Петербург означал для Ломоносова и его друзей нечто большее, чем простое преодоление заснеженного пространства в шесть сотен верст. Это был переезд из Московской Руси в Россию европеизированную. Град Петра, немногим старше, чем молодые люди, приехавшие из Москвы, представлял собой прямую противоположность древней столице. Москва была городом причудливо живописным. Казалось, ее задумал и создал Изограф, послушный своей прихотливой фантазии. Петербург же представлял собой продуманно скульптурный город. Его создавал Геометр, послушный законам рационально прекрасных соразмерностей. Москва — это почти шестьсот лет русской истории, зримо запечатленных в городском облике (несколько городов в одном, как замечал Ломоносов). Петербург — это всего лишь тридцать три года (то есть, по существу, никакого прошлого), а точнее сказать: тридцать три года настоящего, которое прямыми, как стрелы, улицами и такими же прямыми просеками, вырубленными в лесу под запланированные «першпективы», нетерпеливо устремилось в будущее.

Ломоносову, который лишь на восемь лет был моложе Петербурга, нетерпеливости было не занимать.

После беседы с «московскими студентами» Шумахер направил в Сенат доношение об их прибытии и о необходимости выделения денег на их содержание. При этом вполне допускалось, а может быть, и расчет был на то, что требуемых денег не выдадут: «Буде же суммы на оных отпущено не будет, то б велено было оных учеников куда надлежит отослать обратно».

Впрочем, Сенат изыскал возможность определить на содержание недавних москвичей довольно значительную сумму. 3 февраля 1736 года Канцелярия получила 300 рублей. Было положено расходовать ежемесячно по 5 рублей на питание каждого студента, часть денег была употреблена на покупку белья и мебели (по 1 столу на каждого). Напомним, что в Москве выделялось на одного студента всего лишь 10 рублей в год.

Относительное улучшение материального положения по сравнению с московским уже само по себе было отрадным, но главным было то, что теперь Ломоносов получал наконец возможность утолить свой не проходящий с годами голод познания. За восемь месяцев петербургского ученичества он со всей энергией молодости и со всей ненасытностью гения восполняет пробелы своего образования как по части естественных наук, так и в области теории и практики поэзии. Автор академической биографии 1784 года писал о занятиях Ломоносова в Петербургской Академии наук в 1736 году следующее: «Там слушал начальные основания философии и математики и прилежал к тому с крайнею охотою, упражняясь между тем и в стихотворении, но из сих последних его трудов ничего в печать не вышло. Отменную оказал склонность к экспериментальной физике, химии и минералогии».

Мечты Ломоносова о настоящей науке, об «испытании естества» стали наконец сбываться. Однако ж как далек он был в Москве от тех событий, которыми жила европейская мысль в течение последних трехсот лет! Декарт опроверг Аристотеля, Ньютон выступил против Декарта, Лейбниц обрушился на Ньютона и его последователей... Какие баталии разыгрывались в науке! И все это ему, бывшему московскому семинаристу, приходилось открывать для себя заново.

Как разобраться в сшибке теорий и мнений? Как не утонуть в бескрайнем море новых фактов, которое вдруг распростерлось перед ним? Сын помора ищет свою путеводную звезду и находит ее в собственной душе. Бездна премудрости не пугает его. Он молод, полон сил и решимости, его сознание ясно и зорко. Он все видит по-своему. К тому же в нем живет упорство, унаследованное от отца и его далеких предков, вольных новгородцев, которое не терпит нажима извне и не позволяет ему принимать на веру ни одного научного положения, пусть даже и общепризнанного, освященного непререкаемым авторитетом (будь то Декарт или «славнейший и ученейший Невтон»). Он хочет сам до всего дойти, сам во всем разобраться, ибо сильна в нем уверенность, что он, Михайло Ломоносов, сын черносошного крестьянина, выучившийся грамоте у дьячка, самоучкой постигший азы естественных наук, пешком пришедший в Москву, способен и в Петербурге «показать свое достоинство», усвоить любые сложности в науке и превзойти многих: ведь у него, в отличие от многих, есть свой взгляд на вещи, без чего невозможно и «свое достоинство». Вот почему молодой Ломоносов, изучая в Петербургской Академии физику, химию, минералогию, математику, не просто «набирается ума» от других, а критически усваивает весь тот материал, который сообщают ему его учителя.

Учителями Ломоносова, как уже говорилось, были Адодуров и Крафт: первый осуществлял общее «смотрение» за обучением 12 москвичей, второй преподавал физику. Кроме того, с ними занимались студенты Тауберт и Георг-Вильгельм Рихман (1711—1753). С последними двумя Ломоносов будет связан и в зрелые годы. Тауберт станет его злейшим

врагом, Рихман одним из ближайших друзей и научным единомышленником.

Крафт был незаурядным преподавателем-методистом и хорошим лектором, широко применявшим перед аудиторией демонстрацию опытов в подтверждение тех или иных общих положений. В 1736 году вышел в свет его учебник «Начальные основания учения о природе», и, надо думать, именно по этому учебнику (хотя он еще только печатался) Крафт преподавал физику своим слушателям, самым внимательным среди которых был Ломоносов. О том, как высоко он ценил учебно-методический дар Крафта, говорит тот факт, что впоследствии свои собственные первые лекции Ломоносов читал, полагаясь на другой учебник Крафта — «Введение к математической и естественной географии». Кроме того, на занятиях Крафта Ломоносов воочию убедился в том, какую огромную роль в естественных науках играет эксперимент. Именно в пору петербургского ученичества Ломоносов заложил основы своих будущих выдающихся экспериментальных исследований. Высокая культура эксперимента неотделима от высокой культуры инструментального дела. Попечением Крафта (и старанием академических мастеров) Физический кабинет Петербургской Академии наук был укомплектован инструментами и приборами, вызывавшими зависть ученой Европы.

Уделяя львиную долю своего времени естественным наукам, Ломоносов не забывал и о науках словесных. В Петербурге он продолжал совершенствоваться в латыни и даже писал латинские стихи (которые, к сожалению, не сохранились). С живейшим интересом следил он за русской словесностью и прежде всего — поэзией. Тем более что его приезд в Петербург почти совпал по времени с одним важнейшим событием в тогдашней литературной жизни, которому суждено было внести коренные перемены в развитие отечественного стихосложения и многое определить в творческой судьбе Ломоносова.

29 января 1736 года Ломоносов приобрел недавно вышедшую книгу «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735). Автором ее был Василий Кириллович Тредиаковский, уже известный поэт и переводчик, несколько лет назад вернувшийся из Франции и произведший фурор своим переводом галантного романа Поля Тальмана «Езда в остров Любви» (1730). С 1735 года он вошел в состав созданного тогда же собрания академических переводчиков, известного под названием Российского собрания. Кроме него, туда входили ломоносовский учитель Адодуров, Тауберт, а также ректор Академической гимназии Мартин Шванвиц (ум. 1740). Российское собрание старалось об «исправлении и приведении в совершенство природного языка», об исправлении переводов и выработке единых правил при печатании русских книг. В числе дальних задач были — создание русской грамматики, составление словаря, риторики и пиитики. Открывая работу Российского собрания, Тредиаковский высказал мысль о необходимости реформы русского стихосложения, заметив при этом: «Способов не нет, некоторые и я имею». Вскоре, в подкрепление столь ответственного заявления, он выпустил в свет означенный «Новый и краткий способ».

В течение почти целого столетия в русской книжной поэзии господствующим было так называемое силлабическое стихосложение, занесенное к нам из Польши. Крупнейшие русские поэты XVII — начала XVIII века (Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Антиох Кантемир) писали свои произведения силлабическими размерами. В основе силлабики лежал принцип равносложности: в рифмующихся строчках должно было содержаться одинаковое количество слогов. Рифмы употреблялись исключительно женские (то есть с ударением на предпоследнем слоге). Из всех разновидностей рифмовки наибольшей популярностью пользовалась смежная рифмовка. Стихотворные строки чаще всего заключали в себе тринадцать или одиннадцать слогов. Вот один из характерных примеров тринадцатисложного силлабического стиха (Феофан Прокопович в шутливой форме благодарит архиерейского эконома Герасима за угощение хорошим пивом):

Бежит прочь жажда, бежит и печальный голод,
Где твой, отче эконом, находится солод.
Да и чудо он творит дивным своим вкусом:
Пьян я, хоть обмочусь одним только усом.

Силлабика была чужда строю русского языка. Его природные свойства требовали иной поэтической гармонии. Одного равенства слогов в рифмующихся строках для вящего благозвучия русского стиха было явно недостаточно, ибо русский язык, в отличие от польского (более того: в отличие от всех без исключения европейских языков), имел — имеет — самую свободную систему ударений. Если польские слова обладают фиксированным ударением на предпоследнем слоге, если, скажем, во французском языке ударение падает строго на последний слог, то в русских словах ударение может стоять на любом слоге — последнем, предпоследнем, и на третьем с конца, и даже на пятом, шестом, седьмом слоге с конца (например: разверни, разверните, развернутый, развернутые, разворачивающий, разворачивающиеся). При таком положении стихотворная система, учитывающая только равенство слогов и совершенно безразличная к распределению ударений в строке, становилась «прокрустовым ложем» для русских слов. Стих от прозаической речи в большинстве случаев отличался лишь рифмовкой.

Между тем в устной народной поэзии, не скованной никакими «системами», русское слово звучало свободно, рит-

мично и мощно. Народ — творец языка и его рачительный хозяин — извлекал из слова максимум мелодических возможностей.

Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное.

Так честили простые русские люди князя Александра Даниловича Меншикова в песне «Что пониже было города Саратова...» (кстати, и эта первая строка также на редкость мелодична).

Тредиаковский на первых порах выступал в своем творчестве как поэт-силлабист — это было данью его книжному образованию. Но, с другой стороны, он прекрасно знал русскую народную поэзию, внимательно к ней прислушивался, изучал ее как тонкий и проницательный ученый-филолог. Вот почему, когда Тредиаковский в 1735 году решился реформировать книжную поэзию, он не преминул подчеркнуть: «Поэзия нашего простого народа к сему меня довела».

Сущность реформы вкратце свелась к следующему. Тредиаковский исходил из положения о том, что «способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков». Он справедливо считал силлабические стихи «не прямыми стихами», иронически называл их «прозаическими строчками», указывая таким образом на их неприспособленность к поэтическому строю нашего языка, или «польскими строчками», подчеркивая их нерусское происхождение и искусственный характер их перенесения в отечественную поэзию. Взамен принципа одной только равносложности Тредиаковский вводил требование слагать стихи «равномерными двусложными стопами», иными словами: утверждал такой «способ сложения стихов», который основывался на правильном чередовании ударных и безударных слогов. Свои рассуждения Тредиаковский подкреплял собственными примерами нового стиха, который отличался упругим ритмом и особой мелодичностью:

Мысли, зря смущенный ум, сами все мятутся;
Не велишь хотя слезам, самовольно льются.

Русский стих получал качественно новую ритмическую организацию. В сущности, только теперь русский стих и родился.

Ломоносов читал «Новый и краткий способ» с жадным интересом. Он прекрасно был знаком как с силлабическим стихосложением, так и с устной народной поэзией, и потому сразу заметил и оценил рациональное зерно, содержавшееся в трактате Тредиаковского. Но оценил по-своему, по-ломоносовски. Реформа Тредиаковского была половинчатой (он считал возможным употребление только длинных размеров — по преимуществу семистопных хореев; ограничивал рифмовку только женскими окончаниями и т. д.). Экземпляр «Нового и краткого способа», купленный Ломоносовым, сохранился. Он весь испещрен пометками, сделанными ломоносовской рукою. В большинстве случаев замечания Ломоносова носят полемический характер: он уже готовился к аргументированному спору с Тредиаковским.

2

Нельзя видеть в стихотворной реформе Тредиаковского только формальное нововведение: в ней, безусловно, был заключен глубокий исторический и чисто человеческий смысл.

Судьба Тредиаковского во многом напоминала ломоносовскую. Василий Кириллович не был знатен. Он родился в семье астраханского священника. Что ожидало молодого поповича в полуазиатском захолустье? Скорее всего, подобно своему отцу, он сделался бы церковным служителем, если бы не его непреодолимая жажда знаний и если бы не эпоха Петра, властно вторгавшаяся в судьбы людей, пробуждавшая честолюбивые мечты в душах черносошных крестьян и поповичей.

Лет семнадцати от роду Тредиаковский для «прохождения словесных наук на латинском языке» определяется в школу, которую основали в Астрахани случившиеся там монахи-католики из ордена капуцинов. Отношение к этим иноверцам у местного духовенства было враждебным, но школу отстоял астраханский губернатор Артемий Волынский (тот самый, который через несколько лет, став кабинет-министром Анны Иоанновны, прославит и ославит себя в потомстве, с одной стороны, смело выступив против временщика Бирона, а с другой стороны, жестоко избив придворного «пииту Василья Тредиаковского»).

В 1722 году в Астрахань приехал Петр I, направлявшийся в свой персидский поход. Это событие внесло коренной перелом в дальнейшую судьбу Тредиаковского. Сохранился даже анекдот о том, что царь, увидев Тредиаковского среди его сверстников, указал на него пальцем и предрек: «Этот будет вечный труженик».

За Петром в составе свиты приехали бывший молдавский господарь Дмитрий Кантемир и его секретарь Иван Ильинский, переводчик и поэт-силлабист («праводушный, честный и добронравный муж, да и друг другам нелицемерный», как скажет о нем Тредиаковский через тридцать лет). Познакомившись с девятнадцатилетним астраханским поповичем, Иван Ильинский заметил его незаурядные способности и прилежание к словесным наукам и, очевидно, посоветовал ему ехать в Москву для дальнейшего обучения.

В начале 1723 года Тредиаковский так же, как потом Ломоносов с берегов Белого моря, едва ли не пешком отправ-

ляется с берегов моря Каспийского в Славяно-греко-латинскую академию. Там в течение трех лет изучает он пиитику и риторику, пробует перо в сочинении трагедий на античные сюжеты, пишет «Элегию» на смерть Петра I.

Не доучившись, Тредиаковский оставляет Заиконоспасский монастырь и в конце 1725 года отправляется с дипломатической оказией в Голландию. Более года живет в Гааге, у русского посланника графа Головкина, знакомясь с европейской культурой, изучая языки, а затем, в 1727 году, пешком отправляется в Париж, о котором был много наслышан еще в Астрахани от капуцинов. Три года живет он в доме русского посла во Франции князя А. Б. Куракина: на полном обеспечении, исполняя секретарские обязанности.

В заграничном периоде биографии Тредиаковского много загадочного. Существует мнение, что он играл при Куракине роль своего рода политического и клерикального агента (ему, например, было поручено вести переговоры с теологами из Сорбонны, которые еще со времени пребывания в Париже Петра I, то есть с 1717 года, высказывались за союз католической и православной церкви). Но не только и не столько дипломатическими поручениями было заполнено его пребывание во Франции.

Тредиаковский со свойственным ему трудолюбием и скрупулезностью изучает здесь различные науки и прежде всего гуманитарные. В Сорбонне он слушает лекции по богословию, истории и философии. Он с жадностью читает произведения выдающихся французских писателей: Корнеля и Малерба, Расина и Буало, Мольера и Фенелона, Декарта и Роллена. Недавний бурсак, он с благоговейным удивлением наблюдает парижскую жизнь: роскошно-разгульную, отчаянно-легкомысленную, полную какого-то судорожного стремления к удовольствиям. Большое впечатление производят на него стихи тех французских поэтов, которые обслуживали подобный образ жизни. В большинстве своем это были мелкие, второстепенные авторы. Однако ж он с увлечением переводит их мадригалы, любовные песни, куплеты, — эту поэтическую «мелочь», — в то время как большая французская литература почти не затрагивает его художнического сознания: заинтересовывает его как читателя, и только. В Париже Тредиаковский делает перевод аллегорической тальмановой книжки, об успехе которой у петербуржцев (в первую очередь молодых) уже говорилось.

Это пристрастие раннего Тредиаковского к «массовой» любовно-галантной литературе и эта популярность ее у русской публики показательны. Новый читатель, родившийся в Петровскую эпоху, окруженный «новоманирным» бытом, начинавший жить по законам европеизированного этикета, был готов к восприятию подобной литературы. Более того: он ждал ее. Образ мыслей, его отношение к другим людям были

сформированы на основе кодекса поведения, изложенного в некоторых важнейших книгах, изданных и неоднократно переизданных при жизни Петра.

Так, например, книга «Приклады како пишутся комплименты разные» (1708, 1712, 1718), послужившая образцом всех позднейших «письмовников», предлагала при обращении к адресату послания отказываться от челобитья до земли, от превознесения его до небес, от самоуничтожения в подписи («твой раб», «холоп», «пес» и т. п.). «Юности честное зерцало» (1717 дважды, 1719, 1723), помимо чисто житейских советов: как вести себя в обществе, за столом и т. п. — преподавало дворянскому читателю и новые уроки сословного достоинства, сословной исключительности, которая отныне состояла не в одной лишь принадлежности к привилегированному классу, но прежде всего в знании вещей, недоступных остальным людям. «Младые отроки, — гласит один из советов этой книги, — должны всегда между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать». Большую роль в просвещении молодых дворян того времени сыграл сборник «Symbola et emblemata», изданный в 1705 году по личному распоряжению Петра I. Сборник этот включал в себя 840 иллюстраций («эмблем») на мифологические темы с краткими объяснениями («символами»), раскрывавшими смысл изображаемого. Надо сказать, что узкому кругу книжников имена Аполлона, Купидона и других античных богов были известны на Руси задолго до появления названной книги; теперь же греческая и римская мифология прочно входила в сознание рядовых читателей, которых становилось все больше и больше. Русские люди приобретали вкус к условно-аллегорическим выражениям. Становилось признаком хорошего тона говорить о выпившем человеке — «принес жертву Бахусу», о влюбленном — «ранен стрелой Купи́до» (то есть Купидона) и т. п.

Поистине Тредиаковский со своим переводом «Езды в остров Любви» пришелся как нельзя более кстати. Герой романа Тирсис, пылающий любовью к прекрасной Аминте, проходит полный курс «галантных» наук, изящную школу воспитания чувств. Добиваясь взаимности от своей возлюбленной, он испытывает поочередно то тревогу, то надежду, то отчаяние, то ревность. Сначала героиня встречает его ухаживания холодно, потом уступает и даже доставляет ему «последнюю милость», но, будучи ветреной, в конце концов изменяет с другим. Путешествуя по вымышленному острову Любви, Тирсис посещает различные его уголки (символизирующие собою разные стадии его чувства к Аминте): Пещеру Жестокости, Пустыню Воспомяновения, Город Надежды, Местечко Беспокойности, Замок Прямой Роскоши,

Ворота Отказа и т. п. Вывод, к которому приходит автор в результате эмоциональных злоключений своего героя, — совершенно в духе тогдашней рационалистической философии: если хочешь наслаждения в любви, люби сразу многих женщин и никогда не привязывайся только к одной; впрочем, любовь не есть главная ценность в жизни — в конце книги Тирсис бежит с острова Любви вслед за Славой. Таким образом, выясняется, что гражданские доблести выше и отраднее любовных переживаний. Что касается последних, то они остаются в сердце победившего себя героя, как след от занозы, которая скорее зудит, чем саднит:

Я уже не люблю, как похвалбу красну:
Она только заняла мою душу власну.
Я из памяти изгнал
Всех моих ныне Филис
И якобы я не знал
Ни Аминт, ниже Ирис.
И хотя страсть прешедша чрез нечто любовно
Услаждает мне память часто и способно,
Однак сие есть толко
Как Сон весма приятный,
Кого помнить не горько,
Хо́ть обман его знатный.

Тредиаковский становится модным автором. Верным признаком литературной сенсации во все времена были скандальные последствия опубликования того или иного произведения. Не избежал их и переводчик «Езды в остров Любви». 17 января 1731 года из Москвы, куда он проследовал за своим покровителем князем Куракиным, сопровождавшим Анну Иоанновну в составе ее свиты, Тредиаковский посылает письмо в Петербург, в котором рассказывается о том, как приняли книгу в светском кругу и в среде духовенства. Письмо написано на французском языке и по-французски легко, остроумно, с какой-то даже беспечной язвительностью. Адресат письма — не кто иной, как советник Академической канцелярии Шумахер, к которому Тредиаковский обращается непринужденно, запросто, как к понимающему собеседнику:

«Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи? Неужели они не знают, что Природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество, что такое любовь. Ведь, наконец, наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными чувствительности; наоборот, они обладают всеми средствами, которые возбуждают у них эту страсть, они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, такие, какие очень редки в других местах.

Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство; они

не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это — сволочь, которую в просторечии называют попами.

Что касается людей светских, то некоторые из них мне рукоплещут, составляя мне похвалы в стихах, другие очень рады видеть меня лично и балуют меня. Есть, однако, и такие, кто меня порицает...

Да не прогневаются эти невежи, но мне наплевать на них, тем более что они люди очень незначительные...»

Подводя итог своим наблюдениям за успехом «Езды в остров Любви» у читателей, в следующем письме к Шумахеру Тредиаковский писал: «Подлинно могу сказать, что книга моя вошла здесь в моду, и, к несчастию или скорее к счастию, и я сам вместе с ней. Клянусь, милостивый государь, не знаю, что мне делать; меня повсюду разыскивают, везде спрашивают у меня мою книгу; когда же я говорю, что у меня ее вовсе нет, они обижаются в такой степени, что я боюсь вызвать их неудовольствие».

Несмотря на негодование духовенства (а может быть, и благодаря ему), популярность Тредиаковского растет: его приглашают в лучшие дома, стремятся с ним познакомиться, услышать другие его сочинения. В 1732 году он был представлен императрице Анне Иоанновне; в том же году его принимают в Академию наук на должность переводчика, а через год ему присваивают звание академического секретаря.

Тредиаковский явился первым на Руси литератором-профессионалом. Он по-своему выразил новое отношение к жизни, новый подход к человеку и его внутреннему миру. Он приобщил русских читателей к галантной европейской литературе. Он по праву считал себя первопроходцем российского стихосложения. На заседаниях Российского собрания Тредиаковский выступил с широкой программой упорядочения родного языка, создания его литературной нормы. Он планировал сочинение русской грамматики, «доброй и исправной», и составление «дикционария» (словаря) русского языка. Он был полон надежд и решимости претворить все намеченное им в действительность.

Однако действительность — российская действительность в период царствования Анны Иоанновны — роковым образом воспротивилась просветительским начинаниям тридцатидвухлетнего Тредиаковского. Если «Езда в остров Любви» понравилась публике, то обо всех остальных свершениях и замыслах его мало кто знал и еще меньше было тех, кто мог по достоинству их оценить. Вообще середина 1730 годов — это «критическая точка» в духовной биографии Тредиаковского. Здесь завязка его последующей жизненной трагедии — трагедии одинокого человека, выдающегося ученого-филолога, талантливого поэта, европейски образованного мыслителя, который не был понят русским обществом, но который и сам не понял русского общества. Стоит рассказать об этом

подробнее, поскольку духовная катастрофа Тредиаковского начиналась если не «на глазах», то уж, во всяком случае, «вблизи» Ломоносова.

Тредиаковский любил Россию. Находясь в Голландии и Франции, наблюдая политическую жизнь этих государств, присматриваясь к быту голландцев и французов из самых разных сословий, приобщаясь к достижениям европейской культуры, он отмечал про себя разительные отличия между Россией и Западом и со всей энергией и страстью молодости жаждал перемен в русской действительности. Думал о том, что, быть может, как раз ему, бывшему астраханскому поповичу, суждено возглавить просветительское движение у себя в стране, открыть соотечественникам культурные ценности, накопленные Западом в течение многих веков. К тоске по родине, совершенно естественной для человека, оторванного от нее на несколько лет, за границей у Тредиаковского примешивалось грустное чувство иного рода:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны...

Это написано в Гааге. Поэт мысленным взором уносится через всю Европу в свое Отечество. Но тут ведь не только ностальгия.

Из Гааги и Парижа многое на родине виделось в новом свете. Если из Астрахани Москва представлялась столицей премудрости, оплотом культуры, то отсюда — с берегов Северного моря или Сены — она казалась двадцатитрехлетнему агенту и приживальщику русских дипломатов провинциальным захолустьем, задворками Европы. Просвещенное голландское купечество выгодно отличалось от русских торговых людей образом жизни, бытом, манерами, развитым чувством собственного достоинства. Парижские аристократы были изысканнее, утонченнее, учтивее московских дворян. Католический аббат, беседующий об искусстве с какой-нибудь маркизой, когда она берет ванну или совершает утренний туалет в своем будуаре, выглядел гораздо импозантнее православного священника, по старинке смотревшего на женщину как на «сосуд греховный», не умевшего поддержать светский разговор, казавшегося неуклюжим в просвещенном обществе. Если же вдобавок к этому вспомнить настоящую лавину знаний по западноевропейской литературе, философии и искусству, которая обрушилась за границей на восприимчивого Тредиаковского, то можно себе представить, что́ происходило в его душе — душе недавнего бурсака и провинциала, волею судеб занесенного с азиатской границы русской империи в самый центр европейской цивилизации.

Потрясение было настолько сильным, что даже по возвращении на родину Тредиаковский не переставал «зреть на Россию чрез страны дальны». Здесь-то и находился глубокий внутренний корень его трагедии. Будучи выходцем из церковного сословия (то есть уже самим происхождением поставленный между крестьянами и правящим классом), мало интересуясь теми сферами, которые приобретали все больший вес в государстве (промышленность, экономика, естественные науки и т. д.), получив по преимуществу филологическое образование, Тредиаковский имел очень смутное представление о внутренней жизни России, о сущности перемен, происходивших в стране, о том, ради кого и ради чего эти перемены совершались.

Из Франции Тредиаковский вывез в своем сознании идеальную форму государственного устройства и попытался примерить ее на Россию: во главе страны должен стоять просвещенный государь, руководствующийся разумными законами, покровительствующий наукам и искусствам (Петр I как недавний живой пример такого монарха); его окружают бескорыстные мудрецы — «менторы», — которые удерживают первого человека государства от скоропалительных решений, безрассудных актов и т. п., подавая ему благие советы; подданные — сплошь люди образованные, начитанные в мировой литературе, свободные от суеверий, предрассудков и различных запретов, налагаемых всевозможными невеждами и ханжами. Как и положено в просвещенном обществе, отношения в таком государстве строятся на уважении к достоинству каждого человека. Презрен лишь тот, кто невежествен, ибо знания, чтение литературных шедевров облагораживают душу, возвышают и просветляют разум: душа невежды — черства, разум — слеп и низмен.

«Ездой в остров Любви» Тредиаковский начал воспитание русского общества. Сам он, пожалуй, менее всего стремился настроить молодежь на бездумную погоню за наслаждениями. Мысль книжки предельно рационалистична: не давай себя увлечь слепому чувству (здесь: тоске от неразделенной любви), положись на разум и найдешь верный выход — в противном случае любовь, которая должна приносить радость, станет причиною тяжких мучений, может быть, даже причиною разрушения личности. Однако ж, как это довольно часто бывает, автора поняли совсем не так (или не совсем так): запомнили прежде всего совет любить сразу многих. В этом смысле его противники из духовного сословия были правы: любить сразу многих — аморально, автор же, ставший причиною соответствующих настроений в обществе, достоин осуждения.

История с переводом галантного романа была первым серьезным указанием Тредиаковскому: Россия — не Франция! И если в 1731 году он еще склонен был потешаться над отечественными «святошами» (глянули бы, мол, на париж-

ских священников — как, мол, они относятся к делам «сладкия любви»), то в дальнейшем его вольнодумство начинает заметно меркнуть.

Предприняв попытку политического и нравственного воспитания власть имущих в соответствии со своими идеалами, Тредиаковский потерпел уже полный крах. Фаворит Анны Иоанновны, бывший ее конюх Бирон, который являлся при ней фактически полновластным правителем России, менее всего нуждался в советах мудрецов, в чтении философских или поэтических сочинений: властью своей он пользовался сам. Противник его, кабинет-министр императрицы Артемий Волынский, стремившийся положить конец господству немецкой партии, также мало интересовался нравственными вопросами государственного правления. В той игре, которую вел кабинет-министр, Тредиаковскому не нашлось роли. Волынский видел в нем нечто наподобие надоедливого комара, который все время пищит, а о чем — непонятно. Стремления к тому, чтобы стать идеальным государственным деятелем, Волынский не испытывал и размышлять над политической историей древних и новых народов не хотел, а вот сильное желание «прихлопнуть» поэта именно как «комара» у него однажды явилось. И он действительно чуть было не прихлопнул его насмерть.

Тредиаковский был трижды избит непросвещенным сановником: в первый раз, когда, вызванный к Волынскому для получения приказа написать стихи к знаменитой «дурацкой свадьбе» (она описана в «Ледяном доме» И. Лажечникова), он выразил недовольство тем, как обращался с ним посыльный кадет; во второй раз — в приемной Бирона, куда он направился жаловаться уже на самого Волынского и где случайно столкнулся с последним; и, наконец, в третий раз Тредиаковского нещадно истязали люди Волынского по приказанию своего патрона (все за ту же попытку найти справедливость). Мало того: после чудовищной экзекуции Тредиаковский был посажен в карцер, где должен был к утру написать-таки пресловутые стихи, а написав, продекламировать их в тот же день на шутовском действе в «Ледяном доме». И вот он, первый поэт России, мечтавший о благоденствии своей страны под началом мудрых и человеколюбивых правителей, еще не залечив ран от палочных ударов, кое-как припудрив на лице кровоподтеки, вступает в круг шутов и уродцев, собранных, чтобы потешить императрицу, и, совершая над собою актерское усилие, обращается к «молодым»: «Здравствуйте, женившись, дурак и дура...»

После такого неожиданного поворота в своей просветительской деятельности Тредиаковский был не только обижен, но и растерян. Что касается личной его обиды, то некоторое время спустя судьба отмстила за нее: как известно Волынский был арестован в связи с неудавшимся переворотом, подвергнут пыткам и казнен. Растерянность, однако, не проходила. Растерянность, вызванная досадным равнодушием окружающих к тем истинам, которые он старался привить России. Русское общество упорно не хотело перевоспитываться по его советам. Отныне насмешки и оскорбления преследовали Тредиаковского всю жизнь. Временами ему казалось, что существует даже некий заговор, составленный против него завистниками. Жизнь представлялась ему разбушевавшимся морем зла, от которого нет спасения. Его все время преследовали житейские невзгоды, он был очень беден, постоянно болел. И несмотря на все это, Тредиаковский, этот «Сизиф русской литературы», как назвал его однажды советский литературовед Д. Д. Благой, продолжал свою титаническую работу, направленную на просвещение соотечественников.

Потерпев неудачу как нравственно-политический наставник государственных деятелей, Тредиаковский все свои силы отдает филологическим исследованиям и литературным трудам, в первую очередь — переводам. Он перевел на русский язык книги, на которых впоследствии воспитывалось не одно поколение читателей: роман шотландского писателя Барклая «Аргенида», роман «Похождения Телемака» Фенелона, получивший в переводе название «Тилемахида» (книга, высоко ценившаяся Новиковым, Фонвизиным, Радищевым, Пушкиным). Почти всю свою жизнь он переводил на русский язык многотомную «Римскую историю» француза Роллена, которая десятилетия спустя после его смерти все еще читалась в самых глухих уголках России.

Но все это — и достойная оценка его деятельности, и читательская «отдача» — было потом. А при жизни... Вот что было при жизни: «Ненавидимый в лице, презираемый в словах, ...прободаемый сатирическими речами, изображаемый чудовищем, оглашаемый (что сего бессовестнее?) еще и во правах, ...всеконечно уже изнемог я в силах... Однако, сколь мысли мои ни помрачены всегда, но, когда или болезнь моя не столь жестоко меня томит, или хорошее и погодное время настоит, не оставляю того, ...чтобы не продолжать Ролленовых оставшихся Древностей... Когда же перевод утрудит, ...читаю я авторов латинских, французских, польских и наших древних, и читаю их не для любопытства, но для пользы всей России: ибо сочинил я три большие диссертации... Я несправедливо осужден буду, ежели чрез удержание жалования осужден буду умирать голодом и холодом... И так уже нет ни полушки в доме, ни сухаря хлеба, ни дров полена».

Это из доношения Тредиаковского президенту Академии графу К. Г. Разумовскому в 1758 году в ответ на угрозу прекратить ему выплату профессорского оклада. А еще через десять лет, за несколько месяцев до смерти, Тредиаковский писал: «Исповедую чистосердечно, что, после истины,

ничего другого не ценю дороже в жизни моей, как услужение, на честности и пользе основанное, досточтимым по гроб мною соотечественникам».

Какая трагическая судьба! Пожалуй, даже у самого черствого человека личность Тредиаковского, этого поистине великого неудачника, не может не вызвать искреннего сострадания. Только раз, только в молодости улыбнулось ему солнце удачи, а потом вся жизнь — язвительные гримасы и удары судьбы: то кулаком в зубы, то палками по спине... И если здесь зашел столь подробный разговор о Тредиаковском, то лишь потому, что ведь и Ломоносов, который в начале своего творческого пути, по сути дела, шел по его стопам (побег в Москву, Спасские школы, затем заграница и т. д.), — ведь и Ломоносов мог кончить так же, как автор «Езды в остров Любви»... Понять причину неудачливости Тредиаковского — значит понять причину взлета Ломоносова.

Первая (и главная) беда Тредиаковского заключалась, как уже было показано, в его трагической отъединенности от живой русской действительности. Еще в отрочестве, еще живя в Астрахани, он первоначальным воспитанием своим был подготовлен к одностороннему восприятию русской жизни: семнадцати лет он в обучении у капуцинов. Напомним, что в этом же возрасте «младый разум» Ломоносова «уловлен был раскольниками». Вопрос здесь, пожалуй, не в том, кто благотворнее — капуцины или наши беспоповцы — воздействовал на сознание «мудролюбивых российских отроков». Гораздо важнее подчеркнуть то, что католическая школа в Астрахани в течение двух лет погружала восприимчивого поповича в мир духовных ценностей, совершенно чуждых подавляющему большинству населения России, в то время как для юного помора его двухлетнее общение со старообрядцами означало прикосновение к одному из важнейших и больнейших вопросов тогдашней русской жизни, в разрешении которого принимали самое непосредственное участие громадные массы народа: от кабацкого ярыги до высшей знати. Ведь в начале XVIII века проблема раскольничества по-своему отражала коренное противоречие нашей истории, которым история-то и двигалась вперед в ту пору,— противоречие между старой и новой Россией. И вот то, что Ломоносов с юных лет приобщился к глубинным вопросам отечественной действительности и мучительно искал свой ответ на них (ведь его уход от беспоповцев был самостоятельным актом), необходимо иметь в виду. Тредиаковский же проходит мимо всего этого.

Но отъединенность Тредиаковского от своей страны, поверхностное знание ее уживались у него с самой искренней и бескорыстной любовью к ней. Правда, неразделенной. Образ России, утвердившейся в сознании Тредиаковского, — страны, безнадежно отставшей от западноевропейских государств, не способной своими силами выбраться из культурного «тупика», — этот образ, при всей его внешней похожести на оригинал, отражал действительное положение вещей весьма приблизительно.

В известном смысле Тредиаковский стал одним из первых «западников» в новой русской истории. Он любил и искренне жалел не Россию, но именно образ ее. Программу же позитивных просветительских преобразований ему пришлось внедрять в конкретную действительность, которая не совпадала с умозрительным представлением о ней, сформировавшимся у него в голландском или французском «прекрасном далеке». Желание перемен было настолько сильным, что катастрофический разрыв между мечтою и реальностью не то чтобы ускользнул от Тредиаковского, но был в отчаянии прогнозирован им. Так Тредиаковский впал в роковую ошибку всех русских западников, состоявшую, по словам Г. В. Плеханова, в непонимании того, что «различные стороны общественной жизни связаны между собой такою связью, которая не может быть нарушена по усмотрению интеллигенции».

Игнорирование этой связи наложило печать внутренней противоречивости, какой-то досадной непоследовательности почти на все начинания Тредиаковского-просветителя. «Езда в остров Любви», казалось бы, полностью отвечала потребностям эмансипированного русского дворянина, сформировавшегося в эпоху Петра. Но это лишь на первый взгляд. Раскрепощение сознания, ставшее фактом после петровских реформ, не только давало человеку возможность и моральное право наслаждаться вещами, доселе запретными, но и требовало от него принесения обильных жертв на алтарь общественных интересов. Личная свобода зависела от личной заслуги перед государством. «Езда в остров Любви» ставила вопрос лишь о свободе чувств человека, не затрагивая вопроса об его обязанностях перед обществом. Государственной ценности эта галантная книжка не представляла. А в ту пору именно централизованное государство выступало полномочным представителем интересов нации и именно оно выносило оценки. Читательский восторг, который поначалу вскружил Тредиаковскому голову, не был общенациональным откликом.

Половинчатый характер литературно-просветительской деятельности Тредиаковского становится еще более наглядным при обращении к его теории русского литературного языка. За основу языковых преобразований он решил взять речь придворного круга, или «изрядной компании», как он говорил, призывая остерегаться, с одной стороны, «глубокословныя славенщизны», а с другой — «подлого употребления», то есть речи народных низов. Такое решение вопроса

Тредиаковскому подсказывала практика французской словесности, где в течение двух веков развитие литературного языка шло именно по линии ограничения, во-первых, церковной латыни (французский аналог старославянского), и, во-вторых, простонародной речи. Но старославянский язык в то время еще далеко не исчерпал своих выразительных возможностей. Возвышенные мысли и чувства русскому образованному человеку гораздо удобнее и привычнее было облекать в форму славянизмов — и отвернуться от «глубокословной славенщизны» значило расписаться в непонимании важнейших сторон духовной жизни своих соотечественников. Несостоятельным оказался и расчет Тредиаковского на отказ от просторечных, «низких» выражений; они были употребительны не только в «подлом народе», но и в «изрядной компании». Можно смело утверждать, что в России начала XVIII века особого языка высшей аристократии, который был бы отделен глухой стеной от языка простолюдинов, не существовало. Следовательно, не существовало реального фундамента, на котором Тредиаковский собирался возвести здание своей языковой теории. Он только привлек внимание к самой проблеме, указал на ее важность — решать же ее пришлось Ломоносову, что тот и сделал два десятка лет спустя после первых выступлений Тредиаковского в Российском собрании. Мечты последнего о создании грамматики «доброй и исправной» воплотились в ломоносовской «Российской грамматике» (1755). Что же касается литературной нормы русского языка, то эта сложнейшая проблема была решена Ломоносовым в его гениальной теории «трех штилей», на многие десятилетия вперед определившей развитие русского языка и литературы. Само название работы, где излагались основные положения этой теории, звучит весьма знаменательно — «О пользе книг церковных в российском языке» (1758). В ломоносовском подходе к вопросу должное внимание уделено и просторечию и славянизмам. Под влиянием Ломоносова и Тредиаковский со временем изменил свое отношение к старославянской лексике. Однако ж гармонического слияния языка церковных книг со словами исконно русскими (что ставилось в особую заслугу Ломоносову Пушкиным) в творчестве Тредиаковского не произошло.

Обладая поразительным чутьем на актуальные проблемы культурного развития, Тредиаковский в подавляющем большинстве случаев не умел плодотворно развить свои догадки. У него был книжный склад ума. Он был склонен «подправлять» предмет, приписывать ему что-либо от себя, а навязав ему те или иные черты, считать, что черты-то эти вроде бы с самого начала принадлежали предмету его размышлений. Так было с его отношением к России, к ее языку. Так было и с его теорией русского стихосложения (ср.: догматические утверждения о том, что лишь хорей близок

строю русского языка, что у нас только женские рифмы имеют право на существование и т. д.).

Ломоносов оказался гораздо практичнее и объективнее: он всегда шел от предмета к умозаключениям, а не наоборот. Он понял, что поэтический переворот интересен не сам по себе, но как часть коренных перемен во всем укладе русской жизни. Перемены же эти сводились, прежде всего, к возрастанию роли абсолютистского государства, крепкой монархической власти. Надо думать, что и Тредиаковский понимал социальную сторону происходящих перемен, но не видел единого корня, питавшего одними соками и политическую и поэтическую ветви русской жизни. Вот почему четыре года спустя после Тредиаковского именно Ломоносов оказался творцом «державного ямба» — и поныне самого популярного размера в русской поэзии.

Жизнь и творчество Тредиаковского буквально сотканы из противоречий. Энциклопедически образованный ученый, стоящий неизмеримо выше своего окружения, прекрасно знающий себе цену и не лишенный честолюбия, он робок до раболепия в отношении с окружающими (даже с равными себе по чину он склонен к угодничеству). Идеолог просвещенной части русского общества, дерзающий давать «уроки царям», он подносит эти «уроки» Анне Иоанновне, подползая к ней на четвереньках и держа оду в зубах; характерные знаки внимания, оказываемые ему императрицей, с благоговением называет «всемилостивейшими оплеушинами». Бедный плебей по происхождению, он в своем творчестве делает ставку на то, что поэзия есть недоступная простым смертным область духа, некий «язык богов», и в полном соответствии с этой установкой пишет стихи вычурным слогом, в котором подчас совершенно варварски перемешаны несоединимые элементы языка, обрекая таким образом большую часть своих произведений на глухое забвение у современников и потомков. Сознавая себя просветителем России, творцом ее новой культуры, он почти не создает оригинальных сочинений и обрушивает на читателей целую лавину переводов, не без гордости заявляя при этом: «Приходит на мысль, не возревновал бы кто в уничижение мне, что видит от меня больше переводов, нежели моих собственных сочинений. Но такому и подобным всем почтенно в предварительный ответ доношу, что во мне знатно более способности, буде есть некоторая, мыслить чужим разумом, нежели моим».

Было бы несправедливо оспаривать большое просветительское значение переводов Тредиаковского. Но главной задачей, которую выдвигала история перед русскими писателями в 1730—1740 годы, было создание своей собственной литературы, в которой бы нашли отклик титанические усилия нации, направленные на выработку новых культурных ценностей, новой государственности, нового жизненного уклада.

Для выполнения этой задачи русским писателям мало было способности «мыслить чужим разумом». Необходим был вкус к самобытному мышлению, необходимо было умение постигать природу происходящего, улавливать сущность вещей и их отношений. Тредиаковский в этом смысле был не на уровне выдвигаемых задач.

Более ста лет назад Достоевский поделился с читателями такими размышлениями: «...Величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, не доставало одного только последнего дара — именно: *гения,* чтобы управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества — на свист и смех и на побиение камнями единственно за то, что те, в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их новое слово, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил — может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...»

Тредиаковский, при всей своей одаренности, не получил «последнего дара» — гения, при всем богатстве своих познаний, не сумел «прозреть в истинный смысл вещей» и был обречен «на свист и смех и на побиение камнями» — и все это действительно было очень грустно.

Ломоносов в поэзии и в филологии шел по пятам Тредиаковского и уже в силу этого был избавлен от многих ошибок своего неудачливого предшественника. Но главное отличие заключалось в другом: он обладал завидным даром за оболочкою видеть ядро явления — даром, на удивление рано проявившимся.

В 1736 году Тредиаковский еще не подозревал о своих будущих несчастиях, еще полон был обманчивой уверенности в непогрешимой правоте своих замыслов и свершений, а двадцатипятилетний помор, державший в руках «Новый и краткий способ», уже понимал, в чем состояли просчеты его автора, и готов был к тому, чтобы несколькими гениальными мазками довершить картину поэтического переворота, начатую его старшим собратом по искусству и науке. Но обстоятельства не позволили ему сделать это в Петербурге.

3

В то самое время, когда Ломоносов заполнял поля книги Тредиаковского репликами (на русском, немецком, французском, латинском языках) и аккуратно ходил на занятия к Крафту и Адодурову, в Сибири работала академическая экспедиция по комплексному изучению этого девственного края. Участники экспедиции трудились уже довольно долго и небезуспешно. Однако они испытывали значительные затруднения из-за отсутствия в ее составе химика, хорошо знающего горное дело. В 1735 году из Сибири в Петербург пришло доношение с просьбой о командировании такового в распоряжение экспедиции. Барон Корф попытался снестись с западноевропейскими химиками, но желающих совершить вояж в десять с лишком тысяч верст не оказалось. Тогда-то «главный командир» и решил, по совету саксонского химика Иоганна Фридриха Генкеля (1679—1744), направить на выучку в Германию русских студентов. Кабинет министров, куда 23 февраля 1736 года обратился Корф, потребовал от Академии наук представить точный список студентов, отобранных для командировки в Германию, указав при этом, «из каких они чинов». 5 марта 1736 года такой список был представлен. В нем значились:

«1. Густав Ульрих Райзер, советника Берг-коллегии сын, рожден в Москве и имеет от роду семнадцать лет.

2. Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, шестнадцати лет.

3. Михайло Ломоносов, крестьянский сын из Архангелогородской губернии, Двиницкого уезда, Куростровской волости, двадцати двух лет».

Трудно сказать, допустил ли здесь академический копиист описку, сам ли Ломоносов убавил себе лет, но тогда ему было 24 с половиной года. Главное то, что он за два месяца обучения в Академии дарованиями и прилежанием к естественным наукам и языкам (хорошее знание латыни и немецкого было необходимым условием посылки за границу) не оставил никаких шансов другим своим более молодым однокашникам.

13 марта Кабинет министров утвердил кандидатуры Райзера, Виноградова и Ломоносова для отправки «в Фрейберг к бергфизику Генкелю» изучать химию и горное дело. При этом в распоряжении специально оговаривалось, что если «потребно им будет ехать для окончания тех своих наук и смотрения славнейших химических лабораторий в Англию, Голландию и во Францию», то направить их после обучения в Германии и в названные страны. 19 марта Ломоносов был официально извещен о том, что его вместе с Райзером и Виноградовым посылают для обучения за границу.

Судя по всему, Корф самым основательным образом готовил эту поездку. Он вел оживленную переписку с Генкелем,

уточняя учебные и финансовые детали командировки, советовался с президентом Берг-коллегии Викентием Степановичем Райзером (ум. 1755), отцом Густава Ульриха (русское имя: Евстафий Викентьевич), по поводу программы обучения посылаемых в Германию студентов. 28 марта 1736 года В. С. Райзер написал Корфу, что для того, чтобы стать хорошими специалистами в области химии, горного дела и металлургии, студентам, по его мнению, необходимо серьезно изучить: 1. физику, 2. основания химии, 3. физическую географию, 4. описание окаменелостей, минералы, 5. механику, 6. гидравлику, 7. гидротехнику, 8. плавильное искусство, 9. маркшейдерское искусство, 10. рисование, 11. иностранные языки.

15 июня Корф, прислушавшись к благим пожеланиям В. С. Райзера, решил до Фрейберга направить трех студентов на два года «в Марбург, в Гессене, с тем, чтобы они там усвоили себе начальные основания металлургии, химии и прочих, относящихся сюда наук, к изучению которых здесь не представляется случая».

Таким образом, сначала Ломоносову, Виноградову и Райзеру предстояло пройти общетеоретическую подготовку в Марбургском университете у профессора Христиана Вольфа, выдающегося немецкого просветителя, известного философа и видного ученого, в меру дерзкого и талантливого в меру, но притом исключительно эрудированного. Достаточно сказать, что он вел в Марбурге высшую математику, астрономию, алгебру, физику, оптику, механику, военную и гражданскую архитектуру, логику, метафизику, нравственную философию, политику, естественное право, право войны и мира, международное право, географию. Кроме того, он углубленно занимался проблемами эстетики и психологии.

Надо сразу же оговориться, что ни в одной из перечисленных областей Вольф не сумел сказать принципиально нового слова, да, пожалуй, и не стремился к этому. Свою главную задачу он видел в систематизации уже накопленного европейской мыслью знания и в возможно более широком его распространении. Вольф популяризовал идеи своего гениального предшественника в философии и естествознании Лейбница. Он воспитал ряд крупных немецких ученых. Он много сделал для Петербургской Академии наук: переписывался с Петром I, вел переговоры с видными европейскими учеными в целях привлечения их к работе в молодом научном обществе. Во многом благодаря именно его энергичному содействию Академия не стала скопищем карьеристов и проходимцев типа Шумахера, а была укомплектована первоклассными научными силами в лице Н. и Д. Бернулли, Я. Германа, Г. Бюльфингера и др.

При всем том Вольф не был бессребреником, рыцарем науки, пылавшим к ней только платонической страстью. Наука

принесла ему баронский титул в Германии. А когда из России ему пришло приглашение занять пост президента будущей Академии, он запросил себе непомерный оклад жалованья в 20 000 рублей ежегодно (что, как мы помним, равнялось сумме первоначальной сметы на устройство всей академии). Однако ж, с его стороны, это менее всего выглядело стяжательством, алчностью и т. п. Просто он, со свойственной ему педантичностью, рассчитал и взвесил все «за» и «против» (свою европейскую известность и тот объем «черновой» работы, которую пришлось бы ему выполнить, став во главе только еще начинающегося дела; свои собственные научные интересы и объективные потребности молодой Академии, которые могли не совпадать; свои уже немолодые годы и хлопоты с переездом, капризы петербургской погоды, их возможное влияние на здоровье...). А рассчитав и взвесив, он решил, что лишь означенная сумма способна окупить его труды на новом посту. Когда же выяснилось, что при всей своей тяге к наукам «Россия молодая» не захотела выделить просимое (что вполне понятно), Христиан Вольф — и это показательно — с тою же педантичностью, с какою он подсчитывал сумму своего оклада, продолжал выполнять различные просьбы русского правительства по академическим делам. Иными словами, Вольф знал себе цену, но он не был своекорыстен и был готов помочь доброму начинанию по мере сил.

Вместе с тем он обладал мягким и отзывчивым сердцем, прекрасно знал психологию студентов, умел понять их потребности (зачастую далекие от науки) и терпеливо, без лишней горячности, как и положено доброму и опытному наставнику, направлять силы молодой души на благие цели.

15 июля Академия наук постановила выдать Райзеру-младшему, Виноградову и Ломоносову по 300 рублей каждому на путевые расходы и на первоначальное проживание в Марбурге. Деньги немалые, особенно если учесть, что до сих пор с того самого дня, как Ломоносов ушел из отцовского дома, он, по существу, жил, что называется, впроголодь. Бедственное существование в недавнем прошлом живо напомнило ему о себе в лице куростровца Федора Пятухина, приехавшего на ту пору из Москвы в Петербург по своим делам. Ломоносов вернул ему старый долг «до 7 рублей», сделанный в 1732—1735 годах в бытность свою учеником Славяно-греко-латинской академии. Возможно, были долги и в Петербурге (ведь купил же он «Новый и краткий способ» Тредиаковского, хотя никаких денег от Академии наук 29 января он еще не получал). Но, даже выплатив их, он все равно оставался обладателем огромной суммы. Просто головокружительной (в том смысле, что голова молодого помора действительно могла пойти кругом).

Как бы упреждая это «головокружение», Корф 18 августа вручил трем студентам инструкцию Академии наук, в которой им предписывалось «во всех местах во время своего пребывания показывать пристойные нравы и поступки, также и в продолжении своих наук наилучше стараться» и, кроме того, два раза в год посылать в Петербург отчеты как о поведении, так и об успехах в науках.

30 августа 1736 года профессор Крафт отправил Вольфу письмо, в котором писал, что к нему в Марбург посылаются «трое прекрасных молодых людей». Товарищи Ломоносова по командировке вполне соответствовали этой характеристике. Густав Ульрих Райзер был, судя по ломоносовской переписке, человеком достойным, на которого можно было положиться. Юный Дмитрий Виноградов стал товарищем Ломоносова еще в Москве. Он был чрезвычайно талантлив, этот попович из Суздаля. По возвращении из Германии он прославит свое имя созданием русского фарфора и основанием петербургской «Порцелиновой мануфактуры» (ныне фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова).

Получив рекомендательные письма к Вольфу, Ломоносов, Райзер и Виноградов 8 сентября отплыли из Петербурга на корабле «Ферботот». Около двух суток корабль безуспешно боролся с непогодой в Финском заливе, и 10 сентября «трое прекрасных молодых людей» вернулись в столицу. 19 сентября «Ферботот» вновь покинул Петербургский порт и на этот раз дошёл до Кронштадта, где Ломоносов и его товарищи провели в томительном ожидании еще несколько суток. Наконец 23 сентября корабль взял назначенный курс на запад. Через пять дней прошли мимо Ревеля, еще через пять — миновали остров Готланд, а 16 октября прибыли в Травемюнде и ступили на землю Германии.

ГЛАВА V

Мы любим все: и жар холодных числ
И дар божественных видений.
Нам внятно все: и острый галльский смысл
И сумрачный германский гений...

А. А. Блок

1

Почти три недели добирались русские студенты из Травемюнде в Марбург. В дороге было над чем поразмыслить. Ломоносов вступал в ответственную пору своего становления. От того, как он покажет себя в Германии, зависело теперь, был ли оправдан его уход из родительского дома, будет

ли воздаяние всей его последующей жизни, полной тревог, лишений, надежд, страстного нетерпения в поисках истины.

Позади оставалось Балтийское море, за которым — Петербург, Москва, Киев, вновь Москва, санный путь, Холмогоры, Куростров, родной дом, отец... Позади — походы с отцом в море, дьячок Сабельников, беспоповцы, «Грамматика» и «Арифметика», лекции Порфирия Крайского в Москве, «пустые словопрения Аристотелевой метафизики» в Киеве и такие ж вновь в Москве, первоначальное знакомство с системой Декарта на занятиях у профессора Крафта... В кошельке — «жалование в сорок раз против прежнего», в сундучке — «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» Тредиаковского и рекомендательное письмо, в душе — надежда, что истина на этот раз не обманет, и почтовые лошади несут его к «мужу славнейшему Христиану Вольфу», а перед глазами — незнакомые города: Гамбург, Ниенбург, Минден, Ринтельн, Кассель...

Было и на что посмотреть в дороге. Причем, как явствует из позднейших свидетельств самого Ломоносова, он обращал внимание не только на жизненный уклад чужих земель (постройки, хозяйство, нравы населения и т. п.), но и на ландшафт. Причем не просто на ландшафт, а на такие его особенности, которые важны будущему специалисту именно по горному делу (за чем, собственно, и послали его в Германию). Причем особенности эти интересовали его не сами по себе, а в связи с чем-то удивительно похожим, увиденным ранее далеко от этих мест, там, у себя, на Севере. Память же его была не только мощной, но и дисциплинированной. Пройдут годы, и он вызовет из нее эти первые свои наблюдения (подкрепленные несколькими новыми при новых проездах чуть позже по тем же немецким местам), и в его фундаментальном труде «Первые основания металлургии или рудных дел» они явятся как по команде:

«Проезжая неоднократно Гессенское ландграфство, приметить мне случилось между Касселем и Марбургом ровное песчаное место, горизонтальное, луговое, кроме того, что занято невысокими горками или буграми, в перпендикуляре от 4 до 6 сажен, кои обросли мелким скудным леском и то больше по подолу, при коем лежит великое множество мелких, целых и ломаных морских раковин, в вохре соединенных. Смотря на сие место и вспомнив многие отмелые берега Белого моря и Северного океана, когда они во время отлива наружу выходят, не мог себе представить ничего подобнее, как сии две части земной поверхности в разных обстоятельствах, то есть одну в море, другую на возвышенной матерой земли лежащую... Не указывает ли здесь сама натура, уверяя о силах, в земном сердце заключенных, от коих зависят повышения и понижения наружности? Не говорит ли она, что равнина, по которой ныне люди ездят, обра-

щаются, ставят деревни и городы, в древние времена было дно морское, хотя теперь отстоит от него около трехсот верст и отделяется от него Гарцскими и другими горами?»

Мы еще не один раз будем иметь возможность убедиться в совершенно исключительных особенностях ассоциативной памяти Ломоносова или, как сам он в «Риторике» (1747) определял это качество, «совображения, которое есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные». Сейчас последуем за ним в Марбург, куда он вместе с друзьями прибыл 3 ноября 1736 года.

Марбургский университет, основанный в 1572 году, ко времени прибытия туда Ломоносова был одним из авторитетных учебных заведений Европы. Наплыв студентов из различных немецких земель, а также из-за пределов Германии самым непосредственным образом сказывался на повседневной жизни старинного гессенского городка.

По вечерам, после окончания занятий, разноязыкая толпа «буршей» с шумом заполняла узкие улочки и небольшие площади Марбурга. Здесь книгопродавец открывал свою лавку с томами ученой латыни на полках; там парикмахер-француз зазывал к себе молодых модников, предлагая новый парик или какую-нибудь особенную пудру; где-то еврей-процентщик караулил должников или сам спасался бегством, преследуемый студенческой шпагой; а в другом месте веселая компания врывалась в харчевню и устраивала изрядную попойку с битьем посуды и бурным выяснением отношений, которое заканчивалось, судя по накалу страстей и количеству выпитого, либо благородной дуэлью на улице, либо плебейской дракою тут же, на глазах у хозяина, ко всему привыкшего; иной раз глазу представала профессорская дочка, уже потерявшая надежду выйти замуж, поджидая к себе обожателя с очередного отцовского курса в то время, как сам отец по иронии судьбы был занят с коллегой ученым спором о предустановленной гармонии, доказывая целесообразность всего происходящего на свете; а неподалеку почтенный отец семейства, какой-нибудь продавец сукон или зеленщик, помолившись на ночь, приказывал слугам хорошенько проверить ставни и вооружиться на случай, если подвыпившие студенты по ошибке или с умыслом вздумают штурмовать его домашнюю крепость... Таковы были житейские издержки той известности, которой Марбург пользовался как университетский город.

Может быть, именно о них и шел разговор во время первой беседы Вольфа с русскими студентами, состоявшейся сразу по их прибытии на место.

Вручив своему преподавателю рекомендательные письма и выслушав его наставления, молодые люди с похвальным усердием принялись устраивать свои дела. Обсудили с марбургским доктором медицины Израэлем Конради условия, на которых тот согласился посвятить «московских студентов» в теоретическую и практическую химию: за сто двадцать талеров он должен был прочесть им соответствующий курс лекций на латинском языке. Однако уже через три недели, двадцать пятого ноября, Ломоносов вместе с Виноградовым и Райзером отказались от услуг И. Конради, который, по их согласному мнению, был плохим учителем и «не мог исполнить обещанного». С января 1737 года лекции по химии они стали слушать у профессора Юстина-Герарда Дуйзинга (1705—1761). Механику, гидравлику и гидростатику читал им сам Вольф. Помимо общих лекций, у каждого студента были намечены занятия по индивидуальному плану. Так, Ломоносов вместе с Виноградовым, в дополнение к сказанному, брал еще уроки немецкого языка, арифметики, геометрии и тригонометрии, а с мая 1737 года начал заниматься французским и рисованием.

Вот как выглядел обычный студенческий день Ломоносова в Марбурге (на основании его рапорта в Академию наук от 15 октября 1738 года): утром с 9 часов до 10 — занятия экспериментальной физикой, с 10 до 11 — рисованием, с 11 до 12 — теоретической физикой; далее — перерыв на обед и короткий отдых; пополудни с 3 до 4 часов — занятия метафизикой, с 4 до 5 — логикой. Если сюда добавить уроки французского языка, фехтования, танцев, а также самостоятельную работу Ломоносова в области теории русского стиха, если учесть, что круг его чтения неизмеримо расширился в это время, то огромная загруженность Ломоносова в Марбурге станет очевидной.

Большая учебная нагрузка сама по себе не представляла для Ломоносова непреодолимой трудности. Он занимался легко и споро. В письмах к барону Корфу Вольф постоянно выделяет Ломоносова среди других студентов: «У г. Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова между ними...», «Более всего я еще полагаюсь на успехи г. Ломоносова...»

Трудности для Ломоносова в Германии были не профессионального, а скорее житейского свойства. Правда, недостатка в средствах на первых порах посланцы из Петербурга не испытывали. По отношению к Ломоносову и Виноградову тут даже следует говорить об известном избытке средств, если вспомнить их «славяно-греко-латинскую» стипендию — десять рублей в год. Однако увеличение содержания, как это ни удивительно, усложнило жизнь молодых людей. Не забудем, что к моменту прибытия в Марбург Ломоносову не исполнилось еще полных двадцати пяти лет, Райзеру едва минуло двадцать; а Виноградову — девятнадцать. В таком возрасте, когда нет еще нужного житейского опыта и не выработаны элементарные навыки в устройстве собственного быта, испытание материальным достатком, пожалуй, сложнее, чем испытание бедностью. Умения же экономно тратить

деньги нашим студентам (и Ломоносову в том числе) не всегда хватало.

Получив в июле 1736 года триста рублей, Ломоносов еще до приезда в Марбург успел истратить более трети этой суммы: отдал старый московский долг своему земляку куростровцу Пятухину («до семи рублей»), часть денег была прожита в Петербурге, часть пошла на уплату по путевым расходам до Германии. Остаток в двести рублей, переведенный в немецкую валюту (один рейхсталер равнялся восьмидесяти копейкам) согласно финансовому отчету, посланному Ломоносовым в Петербург 26 сентября 1737 года, был израсходован следующим образом:

От Любека до Марбурга	37 т.
Один костюм стоил	50 т.
Дрова на всю зиму	8 т.
Учитель фехтования — на первый месяц	5 т.
Учитель рисования	4 т.
Учитель французского языка	9 т.
Парик, стирка, обувь, чулки	28 т.
Учитель танцев за пять месяцев	8 т.
Книги	60 т.
Сумма	209 т(алеров)

Следует отметить, что Академическая канцелярия не доплатила студентам из их жалованья за 1736—1737 учебный год по сто рублей каждому (на одного человека определено было выдавать четыреста рублей ежегодно). Однако дальнейшие отчеты Ломоносова показывают, насколько непрактичен (а возможно, и беспечен) он был в расходовании денег. Если с ноября 1737 года по март 1738-го Ломоносов сумел уложиться в сумму, высланную Академией (двести рублей), то с апреля 1738 года по декабрь включительно он не только успел растратить полученные в июле сто двадцать восемь талеров (сто рублей), но и наделать уйму долгов, которые к 30 декабря того же года, то есть через девять месяцев, составили цифру, намного превысившую полагавшееся ему годовое содержание. Примерно столько же задолжали и Райзер с Виноградовым.

Вольф довольно скоро заметил неладное и искренне обеспокоился финансовым положением, в котором оказались его подопечные. В письме в Академическую канцелярию он просил напомнить Ломоносову, Виноградову и Райзеру, чтобы они были более бережливыми и остерегались делать долги. Вскоре они получили инструкцию от Академии, где, в частности, предлагалось «учителей танцевания и фехтования» «более не держать», «не тратить деньги на наряды», не делать долгов и обходиться в пределах назначенной им годовой стипендии. По-видимому, молодые люди не во всем следовали присланной инструкции, и в октябре 1738 года «главный командир» Академии в специальном приказе объявил Ломоносову, Виноградову и Райзеру выговор, потребовав немедля представить «правильный перечень сделанных ими долгов», «впредь не делать более долгов без ведома и согласия» Вольфа и «во всем строго следовать его увещаниям и указаниям».

В то самое время, когда барон Корф в Петербурге подписывал выговор студентам, барон Вольф в Марбурге готовил к отправке в Россию их очередные счета и писал в сопроводительном письме: «Не могу поручиться, действительно ли они уплатили все, что у них показано по счету, потому что учитель фехтования один требует с них еще 66 флоринов, а у книгопродавца также еще большой счет. Им не хочется, чтобы долги их стали известны».

То, что Ломоносов мог задолжать книгопродавцу, — понятно: этот долг вполне увязывается с нашим представлением об «архангельском мужике», тянувшемся к знаниям. Но фехтование, танцы, наряды... Чтобы Ломоносов наделал долгов из-за подобных пустяков? Такое как-то не укладывается в голове. Между тем это довольно правдоподобно. Во-первых, Ломоносов должен был платить дань этикету, а во-вторых, у него, думается, были к тому и сугубо личные причины. И вот почему.

Через несколько дней после прибытия в Марбург Ломоносов поселился в доме некой вдовы. Звали ее Екатерина-Елизавета Цильх. Покойный муж ее, Генрих Цильх, был человеком уважаемым и солидным — пивоваром, членом городской думы и церковным старостой. От него осталось двое детей: дочь Елизавета-Христина и сын Иоганн. Дочери в начале ноября 1736 года было шестнадцать лет. Девушка приглянулась двадцатипятилетнему студенту. Не исключено, что желание понравиться юной Лизхен, сделать ей приятное — это вполне понятное в молодом человеке желание,— как раз и заставляло Ломоносова так часто прибегать к услугам портных, парикмахеров и танцмейстеров, да еще возможно, делать подарки своей возлюбленной (то есть тратить деньги по таким статьям, какие ни одна Академическая канцелярия предусмотреть не могла).

Отношения Ломоносова с дочерью квартирной хозяйки не были мимолетной интрижкой. Это серьезное чувство, откликнувшееся и в его творчестве. В августе 1738 года после некоторого перерыва он вновь начал писать стихи. И вряд ли случайно то, что первый поэтический опыт его в Марбурге (перевод оды, приписывавшейся древнегреческому поэту Анакреону) был посвящен воспеванию «нежности сердечной»:

Хвалить хочу Атрид,
Хочу о Кадме петь,
А гуслей тон моих
Звенит одну любовь.

Стянул на новый лад
Недавно струны все,
Запел Алцидов труд,
Но лиры тон моей
Поет одну любовь.
Прощайте ж нынь, вожди,
Понеже лиры тон
Звенит одну любовь.

Почти четверть века спустя в «Разговоре с Анакреоном» Ломоносов вернется к этому переводу, переработает его и по-иному отнесется к «вождям». Но теперь, в Марбурге, когда перед его глазами каждый день стоит «младой и свежий» облик Елизаветы-Христины, в душе будущего певца «геройских дел» царят покой и любовь, он не спорит с автором оды и вслед за ним отказывается петь хвалу героям Трои, легендарному основателю Фив и великим подвигам Геракла.

Мягкой вместо мне перины
Нежна, зелена трава;
Сладкой думой без кручины
Веселится голова.
Сей забавой наслаждаюсь,
Нектарем сим упиваюсь,
Боги в том завидят мне...

Это не Державин. Это перевод из Фенелона, сделанный Ломоносовым в Марбурге в 1738 году. Для него на какое-то время исчезли все желания на свете, кроме желания безмятежного счастья в любви. Он пишет о том, как приятно рвать цветы высоко в горах, как весело скачут по лугам ягнята, когда заря начинает

Сыпать по траве зеленой
Злато, искры и огни.

В блаженную страну, где тихий ветер колышет верхи деревьев и волнует колосящуюся ниву, где пастухи на фиалковых полянах пляшут под звуки волынок и флейт, где поют птицы и льются потоки вина, где «всегда погода ясна», где можно «без книги почерпати» «саму истину», — в этот очарованный край неги и наслаждения нет доступа честолюбивым помыслам:

Сердце, — радостно при лире, —
Не желая чести в мире,
Счастье лишь одно поет.

...Однако ж утехи любви, безмятежная радость на лоне природы недолго владеют душою Ломоносова. Страсть к познанию остается главнейшей его страстью.

Из всех научных дисциплин, которые изучались русскими

студентами в Марбурге, главными для Ломоносова были физика и химия.

Общее понятие о задачах, методах и предмете физической науки Ломоносов получал, слушая лекции Вольфа, а также штудируя сокращенное изложение на латинском языке его же трехтомной «Экспериментальной физики», составленное учеником Вольфа философом Людвигом-Филиппом Тюммигом (1690—1728).

По Вольфу, физика делится на экспериментальную и теоретическую. Изменение тел происходит от внешней силы, действие которой осуществляется лишь при посредстве и по правилам движения. Протяженное тело состоит из материи. Оно может делиться на непостижимо малые части. Каждое тело состоит из скважин и частичек. Посторонняя материя свободно может проходить сквозь скважины собственной материи тела. Воздух, вода квалифицируются как переменные материи. Они содержатся в больших скважинах материи собственной. Число простых материй, из которых состоят частички, неизвестно. Многие из простых материй (например, тяжесть, магнит) невидимы. От собственной материи зависят такие свойства, как твердость, шероховатость и т. п., от переменной — объем, от посторонней — жидкость тел, их теплота, тяжесть, упругость (последним свойствам соответствуют материи теплоты, тяжести и упругости). Теплота вообще обусловлена движением тонкой материи, переходящей из тела в тело. Движение вообще мыслится в мировом эфире, который состоит из одинаковых упругих шариков. Электричество также объясняется движением эфира, жидкой и тонкой материи.

Таким образом, в Марбурге Ломоносов слушал общий курс физики, в котором не нашлось места естественнонаучным воззрениям Ньютона, изложенным им в «Математических началах экспериментальной философии» (1687). Судя по ломоносовскому переводу «Волфианской экспериментальной физики» (1746), Вольф примыкал к Декарту и Лейбницу. Если учесть, что первые занятия Ломоносова физикой прошли в Петербурге под руководством картезианца Крафта, то станет ясно, что в Марбурге усваивать лекции Вольфа ему было нетрудно. Здесь же отчасти (но только отчасти!) надо искать объяснение последующего сдержанного, а то и критического отношения Ломоносова к Ньютону.

Химию русским студентам, как уже говорилось, читал Ю.-Г. Дуйзинг. Главным пособием были «Основания догматической и экспериментальной химии» Георга-Эрнста Шталя (1660—1734). Дуйзинг старательно излагал главные положения этого обобщающего труда, где были систематизированы взгляды тогдашних химиков на флогистон — гипотетическое вещество и одновременно универсальный принцип, посредством которого пытались объяснить все химические изменения, связанные с горением. В соответствии с этими

взглядами, все вещества, способные гореть, включают в себя флогистон. Считалось, что при обжиге металлов из них удалялся флогистон и оставалась окалина, что, таким образом, обжигаемый металл состоял из окалины и флогистона. Уголь, по согласному мнению сторонников флогистонной теории, почти целиком состоял из флогистона, и вообще, чем легче горело вещество, тем больше флогистона в нем должно было содержаться. Хотя флогистон в чистом виде не был получен, существование его полагали вне всяких сомнений. В сущности, он был сродни таким физическим «жидкостям» того времени, как свет, теплота, упругость и т. п.

Теория флогистона неотделима от господствовавшего взгляда на химию как на *искусство* разъятия сложных тел на составные части и последующего воссоздания их из составных частей. Она сыграла свою значительную роль в истории естествознания, подведя химию к тому порогу, за которым уже невозможно было полагаться на полуфантастические гипотезы, стали неизбежными усиленное внимание к количественной стороне химических превращений, переход в методе мышления от дедукции к индукции, и как следствие — превращение химии из искусного ремесла в науку. Тем интереснее отметить, что в последний свой год обучения у Вольфа (1738—1739) Ломоносов серьезно изучал сочинение известного голландского врача и химика Германа Бургаве (1668—1738) «Основы химии», один из лучших трудов по химии того времени, в котором теории флогистона просто не нашлось места.

Глубокий след в научном мышлении Ломоносова оставило чтение трудов выдающегося английского естествоиспытателя Роберта Бойля (1626—1691), особенно тех, где исследуются свойства невидимых мельчайших частичек вещества. В 1756 году, вспоминая то поразительное впечатление, которое произвели на него сочинения Бойля, Ломоносов укажет точную дату (1738) первого знакомства с ними: «После того, что я прочитал у Бойля, мною овладело страстное желание исследовать мельчайшие частички тел. О них я размышлял 18 лет; не в моей привычке лишь тогда начинать думать о каком-нибудь предмете, когда уже пришло время для объяснения его». Точно так же размышляя над сочинениями Бойля, Ломоносов убеждается в необходимости исследования этих мельчайших частичек посредством математики, физики, химии. Отсюда берет начало то направление его научной деятельности, которое приведет его впоследствии к созданию новой науки — физической химии — и вообще к наиболее значительным его открытиям в физике и химии.

Ломоносовская страсть к познанию проявлялась в Марбурге еще и в виде частых и больших закупок, которые он делал у тамошних книгопродавцев. На это он не боялся

тратить последние свои деньги и делать все новые и новые долги. С апреля по первую половину октября 1738 года он приобретает около семидесяти томов различных книг на латинском, немецком и французском языках.

Здесь фундаментальные труды по химии и физике, философии и математике, работы по горному делу и медицине, гидравлике и логике, анатомии и географии. Особый интерес представляют здесь пособия по иностранным языкам: «Латинский лексикон» Фабра в двух томах (Лейпциг, 1735), «Сокращенное изложение всей латыни» (Иена, 1734), «Новая королевская грамматика французского языка» (Берлин, 1736), «Итальянская грамматика» Венерони (Франкфурт, 1699). Усовершенствуясь в латыни, Ломоносов активно стремится к овладению французским (что было предусмотрено программой обучения) и итальянским (уже по собственной инициативе).

Внушителен список художественной литературы, купленной Ломоносовым в это время. Из античных авторов здесь представлены греки Анакреон и Сафо, римляне Вергилий, Сенека (трагедии), Овидий (полное собрание), Марциал (эпиграммы), из новых авторов — голландец Эразм («Разговоры», «Похвала глупости»), француз Фенелон («Похождения Телемака»), англичанин Свифт («Путешествие Гулливера», по-немецки), немец Гюнтер (стихотворения). Кроме того, сюда следует присовокупить «Избранные речи» Цицерона, «Письма» и «Панегирик» Плиния Младшего, а также «Мифологический Пантеон» Помея, «Избранные и лучшие письма французских писателей, переведенные на немецкий язык» (Гамбург, 1731), «Вновь расширенное поэтическое руководство, то есть кратко изложенное введение в немецкую поэзию» Гюбнера (Лейпциг, 1711) и др.

Ломоносов настойчиво расширяет свой кругозор, не только естественнонаучный, но и общий, как будто угадывая, что высокая культура, основательная эрудиция в самых разных науках служат залогом успешного продвижения вперед в любой специальной области.

Книги в ту пору стоили очень дорого. Утоляя свою страсть к знаниям, Ломоносов, кажется, забывает об этом, и к февралю 1739 года, то есть к моменту женитьбы, долг молодого супруга Елизаветы-Христины составил весьма значительную сумму. 10 января 1739 года Ломоносов направил в Академическую канцелярию следующий список своих кредиторов в Марбурге и соответствующий счет долгам:

	Р(уб.)
Рименшнейдеру	199
Вираху	141
Аптекарю Михелису	61
Учителю французского языка Раме	22

Книгопродавцу Миллеру	10
Портному	10
Учителю танцев	5
Мамфорту	6
Башмачнику	15
Учителю фехтования	8
Всего	477

Скажут: «аптекарю Михелису» Ломоносов задолжал больше, чем «книгопродавцу Миллеру», а долг портному равен долгу в книжной лавке, — где ж тут страсть к книгам? Но ведь был еще некто Рименшнейдер, был Вирах — несомненно, ростовщики, у которых он взял около трех с половиной сотен рублей, чтобы львиную долю из этой суммы снести торговцу книгами и, несмотря на это, остаться еще перед ним в долгу... Так или иначе, девятнадцатилетняя Елизавета-Христина получила себе в мужья человека гениально одаренного, увлекающегося, до самозабвения преданного любимому делу и на редкость непрактичного в быту.

К тому же не прошло и пяти месяцев после женитьбы, как ей, уже готовившейся стать матерью, пришлось расставаться с ним.

Курс обучения у Вольфа подошел к концу. Еще в мартовском (1739) указе Академической канцелярии Ломоносову, Виноградову и Райзеру говорилось, «чтоб они к отъезду из Марбурга готовились и около Троицына дни в нынешнем лете в саксонскую землю в Фрейбург для изучения металлургии ехали». К середине лета все дела в Марбурге были приведены к удовлетворительному для русских студентов завершению: получены свидетельства об успехах в обучении от марбургских профессоров и (пожалуй, не менее важное) деньги для уплаты долгов от Петербургской Академии.

9 июля, в шестом часу утра, Ломоносов со своими товарищами отправился во Фрейберг. Вот описание их отъезда из Марбурга, принадлежащее Вольфу. Оно дает несколько дополнительных штрихов к их групповому портрету и свидетельствует о том, что Ломоносов, разделяя с Виноградовым и Райзером многие из увлечений, свойственных молодости, оставался верным главной своей страсти — страсти к наукам — и был способен на самое искреннее и непосредственное раскаяние:

«Студенты... сели в экипаж у моего дома, причем каждому, при входе в карету, вручены деньги на путевые издержки. Из-за Виноградова мне пришлось еще много хлопотать, чтобы предупредить столкновения его с разными студентами, которые могли заметить его отъезд. Ломоносов также еще выкинул штуку, в которой было мало проку и которая могла только послужить задержкою, если бы я, по теперешнему своему званию проректора, не предупредил этого. Затем мне остается только еще заметить, что они время свое провели здесь не совсем напрасно. Если, правда, Виноградов, со своей стороны, кроме немецкого языка, вряд ли научился многому, и из-за него мне более всего приходилось хлопотать, чтоб он не попал в беду и не подвергался академическим взысканиям, то я не могу не сказать, что в особенности Ломоносов сделал успехи и в науках: с ним я чаще беседовал, нежели с Райзером, и его манера рассуждать мне более известна. Причина их долгов обнаруживается лишь теперь, после их отъезда. Они через меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Пока они сами были еще здесь налицо, всякий боялся сказать про них что-нибудь, потому что они угрозами своими держали всех в страхе. Отъезд их освободил меня от многих хлопот... Когда они увидели, сколько за них уплачивалось денег, и услышали, какие им делали затруднения при переговорах о сбавке, тогда только они стали раскаиваться и не только извиняться передо мною, что они наделали мне столько хлопот, но и уверять, что они впредь хотят вести себя совершенно иначе и что я нашел бы их совершенно другими людьми, если бы они только ныне явились в Марбург... При этом Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова».

Дорога во Фрейберг заняла пять суток. Ломоносову было над чем поразмыслить. Опытный наставник молодежи (как мы помним, он специально занимался психологией), Вольф почел за наиболее действенную воспитательную меру не прямое назидание студентам, а уплату долгов кредиторам в присутствии молодых людей — с тем, чтобы они наглядно убедились в непозволительных размерах своего расточительства, вполне прочувствовали пагубные финансовые последствия их «разгульной жизни». Урок был преподан серьезно и тактично одновременно: без лишних слов, щадя молодое самолюбие. Очевидно, в своей педагогической практике Вольф постоянно применял этот принцип строгой доброты. Ломоносов на всю жизнь остался признателен марбургскому профессору не только за его, бесспорно, талантливые лекции по физике, но и за его чуткую взыскательность. Пятнадцать лет спустя после описываемых событий в письме к другому, действительно великому ученому — Леонарду Эйлеру, — говоря о своем несогласии с одной философской теорией, нашедшей себе солидного проповедника в лице Вольфа, Ломоносов заметит следующее: «Хоть я твердо уверен, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, однако я боюсь омрачить старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть...»

2

Бергфизик Генкель, к которому направлялись Ломоносов, Виноградов и Райзер, был прямой противоположностью Вольфу: уступал в широте научных интересов, обладал тяжелым характером и отличался мелочным деспотизмом в общении со своими студентами. Печатные труды ученого, как это ни странно на иной взгляд, многое говорят о его личности. Академик В. И. Вернадский, в свое время подробно изучивший работы Генкеля по горному делу, созданные до 1739 года, писал: «В это время Генкель был уже стар, и лучшая пора его деятельности давно прошла... Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, сделавший, однако, ряд верных частных наблюдений, выросший на практической школе пробирера и металлурга. Таков же был и характер его минералогических работ, главные из которых были изданы лет за пятнадцать до посещения его Ломоносовым. В них нет свежей мысли, в них совсем не видно строгого систематического ума, а виден кропотливый собиратель фактов без критической их оценки, который не может выбиться из рамок схоластики. Даже свои открытия он излагал таким языком и придавал им такой вид, что скрывал их живое, сущее. Огромная масса его наблюдений, опытность в отдельных практических вопросах, соединенная с суеверием ученого ремесленника, полное непонимание всего нового или возвышающегося над обычным — таковы характерные черты его научных работ».

К этому-то человеку (который, по иронии судьбы, подал самую мысль об отправке трех русских студентов за море) 14 июля 1739 года прибыли Ломоносов, Виноградов и Райзер. Генкель сразу же потребовал от всех троих беспрекословного подчинения своим указаниям (от учебных до чисто житейских — вплоть до того, где и за сколько снимать квартиру и т. п.). Надо сказать, что диктаторское рвение бергфизика было подстегнуто соответствующими сведениями из Петербурга о поведении «троицы» в Марбурге. Кроме того, из Петербурга сообщали, что студентам вдвое уменьшено годовое содержание и что деньги отныне высылаются на имя Генкеля, который должен будет выдавать их на руки своим подопечным небольшими суммами. Фрейбергский профессор видел в молодых людях, приехавших к нему, прежде всего любителей веселой и легкой жизни, за которыми нужен особенно строгий глаз.

Ломоносов был о себе другого мнения. Да, согрешил. Но прошел через горнило раскаяния. И потом: эти «отвращающие от наук пресильные стремления» не возымели и не могли возыметь над ним полной власти. Он уже не юноша, ему без малого двадцать восемь лет. За два с лишком года, проведенные в Марбурге, он успел много сделать. К моменту встречи с Генкелем он уже превратился из студента в исследователя, чье сознание тревожили покуда смутные, но уже грандиозные догадки. Он был автором двух физических диссертаций, направленных в Петербург: «Работа по физике о превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения предшествующей жидкости» (октябрь 1738) и «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул» (март 1739).

Его успехи в химии засвидетельствовал марбургский профессор Дуйзинг: «Что весьма достойный и даровитый юноша Михаил Ломоносов, студент философии, отличный воспитанник ея императорского величества государыни императрицы Всероссийской, с неутомимым прилежанием слушал лекции химии, читанные мною в течение 1737 года, и что, по моему убеждению, он извлек из них немалую пользу, в том я, согласно желанию его, сим свидетельствую». Он привез с собою во Фрейберг авторитетное свидетельство Вольфа, которое не нуждается в комментариях: «Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю».

Кроме того, как уже говорилось, Ломоносов еще в Марбурге приобрел несколько книг по горному делу — то есть он заранее начал готовить себя по предмету Генкеля!.. Он действительно был вправе рассчитывать на то, что Генкель увидит в нем не школяра, а хотя бы младшего коллегу.

Сначала отношения Ломоносова с новым учителем складывались вполне сносно. Генкель вел занятия. Ломоносов их исправно посещал. Читал соответствующую литературу, работал в химической лаборатории, спускался во фрейбергские рудники. Генкель точно следовал инструкциям Академической канцелярии относительно бюджета русских студентов: выдавал им на руки не более десяти талеров в месяц, сам нанимал учителей для них, сам покупал им даже верхнюю одежду (чтобы избежать долгов, как это было в Марбурге). Так, в августе 1739 года Ломоносов получил специально сшитое для него по заказу Генкеля новое платье стоимостью сорок два талера четыре гроша, в сентябре — плисовый китель и четыре холщовые рубашки на девять талеров одиннадцать грошей, в октябре — башмаки и туфли и т. д.

В ту пору во Фрейберге оказался профессор элоквенции и поэзии Петербургской Академии наук Г.-Ф.-В. Юнкер (тот самый, который в декабре 1733 года избил И. Вейтбрехта). Он выполнял в Саксонии поручение русского правительства, связанное с местной добычей соли. Посетив Генкеля, он побеседовал со студентами и отписал в Петербург Корфу:

«Студенты по одежде своей, правда, выглядели неряхами, но по части указанных им наук, как убедился и я и господин берграт, положили прекрасное основание, которое послужило нам ясным доказательством их прилежания в Марбурге. Точно так же я при первых лекциях в лаборатории, при которых присутствовал... не мог не заметить их похвальной любознательности и желания дознаться основания вещей».

Впрочем, резкое сокращение денежного содержания само по себе (с четырехсот до двухсот рублей в год на каждого), а также система мелочной опеки, оскорбительных выдач жалованья «натурой», холодный педантизм Генкеля, его высокомерие в обращении со студентами — все это вместе взятое у Ломоносова, человека открытого и непосредственного, начинало вызывать протест, нараставший день ото дня. На основании каких-то ставших ему известными фактов он даже заподозрил Генкеля в утаивании части студенческого жалованья. Однако до поры Ломоносов умел подавить в себе раздражение: ведь, в конце концов, он приехал в Германию не для того, чтобы рядиться со здешними профессорами, а чтобы учиться у них. Только тогда, когда он убедился, что Генкель «не додает» ему самого главного — знаний! — Ломоносов пошел на открытый разрыв, а точнее сказать: взрыв.

«Взрыв» этот произошел в химической лаборатории Генкеля в середине декабря. Поводом послужило унизительное, как считал Ломоносов, задание, данное ему Генкелем: заняться растиркой сулемы. По существу, Ломоносов был прав. Генкель рассматривал свое поручение как педагогическую меру. Его главной и единственной целью было «сбить спесь» с самолюбивого русского «выскочки», который своими вопросами на занятиях, своим открыто высказываемым недовольством учебной программою (Ломоносов требовал, чтобы студентам давали более сложные задания) давно уже раздражал педантичного бергфизика. Оскорбительная форма, в которой Генкель решил поставить Ломоносова «на место», по мнению профессора, должна была принести незамедлительные и благотворные плоды (в связи с этим уместно вспомнить, как тактично добивался педагогического эффекта Вольф, как умело и с какой доброжелательностью он сбил «кураж» с молодых людей при их отъезде из Марбурга).

Возможно, Генкель искренне желал блага Ломоносову, наставляя его на путь истинный. Но делал он это с полнейшим непониманием или принципиальным нежеланием уразуметь настоящий смысл и характер научных устремлений Ломоносова (что могло бы стать единственным способом установления добрых отношений между учеником и учителем). Ломоносов никогда не боялся «черной» работы в науке, если эта работа была оправданной, вела к полезной цели, имела хоть какой-нибудь смысл. Если же нет...

Впрочем, предоставим слово самим участникам конфликта. В рапорте, направленном в Академию наук, Генкель свое столкновение с Ломоносовым описывал так: «Поручил я ему, между прочим, заняться у огня работою такого рода, которую обыкновенно и сам исполнял, да и другие не отказывались делать, но он мне два раза наотрез ответил: «Не хочу». Видя, что он, кажется, намерен отделаться от работы и уже давно желает разыгрывать роль господина, я решил воспользоваться этим удобным случаем, чтобы испытать его послушание, и стал настаивать на своем, объясняя ему, что он таким образом ничему не научится, да и здесь будет совершенно бесполезен: солдату необходимо понюхать пороху. Едва я успел сказать это, как он с шумом и необыкновенными ухватками отправился к себе, в свою комнату, которая отделена от моего музея только простою кирпичною перегородкою, так что при громком разговоре в той и другой части легко можно слышать то, что говорится. Тут-то он, во всеуслышание моей семьи, начал страшно шуметь, изо всех сил стучал в перегородку, кричал из окна, ругался».

Два дня после этого не показывался Ломоносов в доме Генкеля. На третий день написал ему письмо, в котором дал свою собственную оценку случившемуся (интересно находящееся в нем противопоставление Генкеля Вольфу — не в пользу первого). Во всем, что пишет здесь Ломоносов, впервые в полный голос заявила о себе его «благородная упрямка».

«Мужа знаменитейшего и ученейшего,
горного советника Генкеля
Михаил Ломоносов приветствует.

Ваши лета, ваше имя и заслуги побуждают меня изъяснить, что произнесенное мною в огорчении, возбужденном бранью и угрозою отдать меня в солдаты, было свидетельством не злобного умысла, а уязвленной невинности. Ведь даже знаменитый Вольф, выше простых смертных поставленный, не почитал меня столь бесполезным человеком, который только на растирание ядов был бы пригоден. Да и те, чрез предстательства коих я покровительство всемилостивейшей государыни императрицы имею, не суть люди нерассудительные и неразумные. Мне совершенно известна воля е(е) в(еличества), и я, в чем на вас самого ссылаюсь, мне предписанное соблюдаю строжайше. То же, что вами сказано, было сказано в присутствии... моих товарищей, терпеливо сносить никто мне не приказал. Так как вы мне косвенными словами намекнули, чтобы я вашу химическую лабораторию оставил, то я два дня и не ходил к вам. Повинуясь, однако, воле всемилостивейшей монархини, я должен при занятиях присутствовать; поэтому я желал бы знать, навсегда ли вы мне отказываете в обществе своем и любви и пребывает ли все еще глубоко в вашем сердце гнев, возбужденный ничтожной причиной. Что касается меня, то я готов предать все забвению, повинуясь естественной моей склонности. Вот

чувства мои, которые чистосердечно обнажаю перед вами. Помня вашу прежнюю ко мне благосклонность, желаю, чтобы случившееся как бы никогда не было или вовсе не вспоминалось, ибо я уверен, что вы видеть желаете в учениках своих скорее друзей, нежели врагов. Итак, если ваше желание таково, то прошу вас меня о том известить».

Таковы были «извинения», принесенные Ломоносовым Генкелю. Закономерный результат педагогического эксперимента с растиранием ядов. Генкель, пересылая это письмо Ломоносова в Петербург, весьма точно определил, что тот «под видом извинения обнаруживал скорее упорство и дерзость». Если отношения Ломоносова с Вольфом показывают, что он всегда помнил добро с благодарностью, то конфликт с Генкелем и его дальнейшие последствия (о которых речь пойдет впереди) говорят, что не спускал он и обид, нанесенных ему, а честь берег смолоду.

Чтобы вполне представить себе масштабы личностной несовместимости Ломоносова и Генкеля, вспомним еще о той сфере ломоносовских интересов, в которую пути почтенному горному советнику были попросту заказаны. При оценке столкновения в химической лаборатории полезно знать, что оно почти совпало по времени с первым выступлением Ломоносова в качестве самостоятельного ученого: в конце 1739 года им было послано в Российское собрание при Академии наук (председателем которого, как мы помним, был Тредиаковский) его знаменитое «Письмо о правилах Российского стихотворства». В работах по физике, выполненных Ломоносовым в Марбурге под руководством Вольфа, он (несмотря на всю их незаурядность) выступал все-таки талантливым учеником. «Письмо» же от начала до конца было написано им самостоятельно и не только самостоятельно, но с истинным блеском и исключительно глубоким проникновением в существо предмета, с такою его трактовкой, которая определила развитие русского стихосложения больше, чем на двести лет вперед и в основополагающих своих чертах не утратила значения и по сей день. В сущности, именно в этом произведении родился Ломоносов-ученый. И ученый — великий.

Ломоносов доказал, что русский язык позволяет писать стихи не только хореем и ямбом, но и анапестом, дактилем и сочетаниями этих размеров, что русский язык позволяет применять не только женские рифмы, но также и мужские и дактилические, позволяет чередовать их в самой различной последовательности. Ломоносов также считал, что тоническое стихосложение можно распространять на стихи с любым количеством слогов в строке.

Тредиаковский, подобно французскому садовнику, который первым в стране вырастил у себя картофель, вполне удовлетворился только его «верхушкою», только цветами его, а клубни беспечно отбросил прочь. Ломоносов здесь, как

и везде, смотрит в корень: он ясно видит, что Тредиаковский не понял истинной, полной ценности новой культуры, выращенной им. И в этом весь Ломоносов. Он немедленно внедрился в область стиховедения с минимальным отставанием от Тредиаковского по времени, но с максимальным опережением его в умении схватить перспективу и масштабы совершаемого поэтического переворота. Он сразу же направил свои усилия на разработку основ нового стихосложения с сознательным прицелом на будущее и с поразительным в молодом теоретике чувством меры и самым бережным вниманием к самобытным свойствам русского языка.

Ломоносов не ограничился теорией. К своему письму в качестве примера новых стихотворных правил он приложил сочиненную им «Оду на взятие Хотина».

Взятие русскими войсками 19 августа 1739 года крепости Хотин на Днестре в Бессарабии решило в пользу России исход четырехлетней войны с Турцией. Патриотический подъем охватил стихотворцев. Один из последователей Тредиаковского, сразу же поддержавший его «Новый и краткий способ», — харьковский поэт Витынский, — откликнулся на взятие Хотина следующими стихами, написанными совершенно в стиле своего учителя:

Чрезвычайная летит — что то за премена!
Слава носящая ветвь финика зелена;
Порфирою блещет вся, блещет вся от злата,
От конца мира в конец мечется крылата.
Восток, Запад, Север, Юг, бреги с Океаном,
Новую слушайте весть, что над мусулманом
Полную Российский меч, коль храбрый,
толь славный
Викторию получил, и авантаж главный...

На фоне этих строк можно представить то совершенно ошеломительное впечатление, которое испытали петербургские академики и стихотворцы, читая в январе—феврале 1740 года присланные из Германии стихи никому в литературе не известного студента:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Который завсегда журчит
И с шумом вниз с холмов стремится.
Лавровы вьются там венцы,
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.

Это было как гром среди ясного неба! «Мы были очень удивлены, — вспоминал первое чтение этой оды академик

Я. Я. Штелин (1709—1785),— таким, еще не бывалым в русском языке размером стихов... Все читали ее, удивляясь новому размеру». Стих Ломоносова мощно вел за собою, непонятной силою увлекал в выси, от которых захватывало дух, поражал неслыханной дотоле поэтической гармонией, заставлял по-новому трепетать сердца, эстетически отзывчивые, ибо этот стих воплотил в себе совершенно новый образ красоты, новый образ мира. И тут ведь не в одном размере дело.

Вяземский назвал поэзию Ломоносова «отголоском полтавских пушек». Это верно, но только отчасти. Сами-то «полтавские пушки» были отлиты из колоколов, набат которых сзывал Россию сплотиться в самые драматические и великие моменты ее предшествующего развития. Историческая подоснова поэзии Ломоносова шире и мощнее, и он в «Оде на взятие Хотина» точно указывает ее границы — от эпохи Ивана Грозного до эпохи Петра:

Герою молвил тут Герой:
«Нетщетно я с тобой трудился,
Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб россов целый свет страшился.
Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток...»

Эти слова (и главное из них: «нетщетно»!), вкладываемые Ломоносовым в уста Ивана Грозного, который через столетия обращается к Петру, — не только риторическая фигура. За этими риторическими словами стоит очень много конкретного: войны и победы Ивана Грозного (и цена, которою они дались); Смутное время, когда громадное государство было на волос от гибели и все-таки уцелело, выдвинув из своих глубин необходимый отпор внешнему нашествию; движение Разина и раскольников, когда самые широкие слои народа стихийно и с небывалым размахом показали свою социальную и нравственную мощь; начало просветительских преобразований, положенное еще при Алексее Михайловиче; и, наконец, Петровская эпоха, которая стала лишь последней фазою громадного тектонического сдвига, происшедшего за два века, — моментом, когда отдельные части русского рельефа стали погружаться в недра, а оттуда (из тех же русских недр) произошел выброс новых пород на поверхность. Это была уже зримая стадия процесса. Страх и ужас обуял одних, героический энтузиазм ослепил других свидетелей этого «высокого зрелища». Лишь немногие могли единым взором охватить всю цепь явлений, понять высший смысл происходящего. Необходимо было время, чтобы стихии успокоились, чтобы прояснился горизонт и историческая видимость стала лучше.

И вот наконец наступила минута, когда молодой гений нации понял, что все было «нетщетно», ибо умел сопрячь

конец с началом, и тогда его голосом воскликнула отечественная История:

Восторг внезапный ум пленил...

Однако ж вернемся к Генкелю.

Когда Ломоносов спускался с «верьха горы высокой», куда его уносил внезапный восторг вдохновенья, ему приходилось сталкиваться все с той же унизительной необходимостью выпрашивать у чванливого немца денег на ежедневные, самые необходимые расходы, томиться на его скучных лекциях, которые ничего нового уже не давали, выслушивать его пошлые назидания и вдобавок терпеть постоянные насмешки бергфизика в присутствии Виноградова, Райзера и других более молодых студентов.

Весною 1740 года взаимная неприязнь между Генкелем и Ломоносовым достигла поистине критической точки. Примирение между ними стало невозможным. Если Ломоносов прекрасно понимал истинные мотивы вражды Генкеля, знал (уже знал!) потолок его возможностей как ученого и педагога, то фрейбергский профессор не понимал и не хотел понимать, что движет его самолюбивым и беспокойным студентом, не знал и не хотел знать, куда устремлена его творческая мысль. Генкель встречал в штыки любые новые варианты решений тех или иных химических и инженерных задач, которые рождались в голове Ломоносова, видя в них только одно: нежелание русского студента работать по его, Генкеля, методе, и объяснял это врожденной строптивостью, а также предосудительным стремлением легко и быстро достичь высокого положения в науке. Ничего иного его мозолистый мозг (в течение многих лет трудившийся во славу горного дела — честно и добросовестно, однако «без божества, без вдохновенья») придумать не мог. Генкель имел или предпочитал иметь дело с выдуманным Ломоносовым.

А действительный Ломоносов окончательно убедившись в полной бесполезности и невыносимости своего дальнейшего пребывания во Фрейберге, в начале мая 1740 года решил покинуть европейски известного специалиста.

3

С момента ухода Ломоносова от Генкеля начинается, если так можно сказать, «приключенческая» полоса в его биографии.

Оставив часть своих вещей у Виноградова, он отправился на ярмарку в Лейпциг, где, по слухам, находился в те дни русский посол в Саксонии барон Г. К. Кайзерлинг (в 1733 году полгода бывший президентом Петербургской Академии), чтобы тот помог ему вернуться на родину. Добравшись до Лейпцига, Ломоносов узнал, что посланника там нет. Слу-

чившиеся на ярмарке «несколько добрых друзей из Марбурга» посоветовали ему поехать с ними в Кассель, куда, как говорили, отправился Кайзерлинг. Однако, прибыв в Кассель, он и там не нашел посланника. Тогда Ломоносов решает ехать в Марбург — город, где осталась его семья, где жил Вольф, где он надеялся одолжить денег «у своих старых приятелей», чтобы ехать в Петербург самому. Прожив некоторое время в марбургском доме своей тещи, он направляется в Гаагу просить теперь уже посла в Голландии графа Головкина отправить его в Россию.

Тем временем Генкель посылает в Петербургскую Академию письмо о «непристойном» поведении Ломоносова во Фрейберге и о его побеге. Академическая канцелярия обращается в Дрезден к посланнику Кайзерлингу с просьбой обеспечить Ломоносова деньгами на проезд до Петербурга и вручить ему приказ о возвращении на родину. Ломоносова ищут. Ищет посол, ищет и Генкель. 12 сентября 1740 года последний сообщает в Петербург, что ему неизвестно, где находится его бывший студент.

Пока идет перекрестная переписка между Петербургом, Дрезденом и Фрейбергом, Ломоносов спешит в Голландию. Головкин, выслушав Ломоносова, отказался ему помочь. Тогда, отчаявшись найти поддержку у официальных русских властей за границей, Ломоносов решает, что сам на попутном корабле поплывет на родину, и с этой целью отправляется в амстердамский порт. Здесь он встречает... «несколько знакомых купцов из Архангельска». Рассудительные земляки отсоветовали ехать в Петербург без разрешения. И легла дорога Ломоносова опять в Марбург.

На обратном пути (частью на лошадях, частью пешком) «саксонский студент», как рекомендовал себя Ломоносов, посетил в Лейдене горного советника и металлурга Крамера, показавшего ему свою лабораторию и местные металлургические заводы. Этот эпизод лишний раз показывает, насколько не прав был Генкель, упрекая Ломоносова в уклонении от повседневной работы в науке.

По дороге из Лейдена с Ломоносовым произошло одно приключение, о котором живописно рассказывается в его академической биографии 1784 года: «На третий день, миновав Диссельдорф, ночевал поблизости от сего города, в небольшом селении, на постоялом дворе. Нашел там прусского офицера с солдатами, вербующего рекрут. Здесь случилось с ним странное происшествие: путник наш показался пруссакам годною рыбою на их уду. Офицер просил его учтивым образом сесть подле себя, отужинать с его подчиненными и вместе выпить так ими называемую круговую рюмку. В продолжение стола расхваливана ему была королевская прусская служба. Наш путник так был употчеван, что не мог помнить, что происходило с ним ночью. Пробудясь, увидел на платье своем красной воротник; снял его.

В карманах ощупал несколько прусских денег. Прусский офицер, назвав его храбрым солдатом, дал ему, между тем, знать, что, конечно, сыщет он счастье, начав служить в прусском войске. Подчиненные сего офицера именовали его братом.

«Как,— отвечал Ломоносов,— я ваш брат? Я россиянин, следовательно, вам и не родня...» — «Как? — закричал ему прусский урядник, — разве ты не совсем выспался или забыл, что вчерась при всех нас вступил в королевскую прусскую службу; бил с г. порутчиком по рукам; взял и побратался с нами. Не унывай только и не думай ни о чем, тебе у нас полюбится, детина ты добрый и годишься на лошадь».

Таким образом сделался бедный наш Ломоносов королевским прусским рейтаром. Палка прусского вахмистра запечатала у него уста. Дни через два отведен в крепость Вессель с прочими рекрутами, набранными по окрестностям.

Принял, однако же, сам в себе твердое намерение вырваться из тяжкого своего состояния при первом случае. Казалось ему, что за ним более присматривают, нежели за другими рекрутами. Стал притворяться веселым и полюбившим солдатскую жизнь...

Караульня находилась близко к валу, задним окном была к скату. Заметив он то и высмотрев другие удобности к задуманному побегу, дерзновенно оный предпринял и совершил счастливо.

На каждый вечер ложился он спать весьма рано; высыпался уже, когда другие на нарах были еще в перьвом сне. Пробудясь пополуночи и приметя, что все еще спали крепко, вылез, сколько мог тише, в заднее окно; всполз на вал и, пользуясь темнотою ночи, влекся по оному на четвереньках, чтобы не приметили того стоящие на валу часовые. Переплыл главный ров... и увидел себя наконец на поле. Оставалось зайти за прусскую границу. Бежал из всей силы с целую немецкую милю. Платье на нем было мокро».

На Ломоносове еще не успело обсохнуть платье, вымокшее во рву везельской крепости, а он уже снова в пути. И снова Ломоносов не может устоять перед искушениями познания: во время остановок в Гессене и Зигене он посещает местные рудники, изучает здешнюю технологию добычи (нет, все-таки Генкель был заурядным педагогом: ведь о таком студенте, как Ломоносов, о такой преданности делу можно только мечтать!).

В октябре 1740 года Ломоносов опять в Марбурге. Опять живет в доме тещи. Опять изыскивает пути к возвращению в Россию (академический приказ об этом ему все еще неизвестен), ломает голову, где достать деньги, чтобы не быть в тягость родственникам жены.

Как ни тяжело было Ломоносову входить в сношения с

врагом, он все-таки решил использовать Генкеля в самую, может быть, критическую минуту своего пребывания в Германии. Несмотря на его уход из Фрейберга, рассудил он, Академия продолжает высылать Генкелю жалованье на трех студентов: поэтому востребовать свою долю из общей суммы не будет унизительным, и новый контакт с профессором станет просто официально деловым. С этой целью Ломоносов посылает письмо Райзеру (не Генкелю!), где рассказывает о своих приключениях и просит товарища передать бергфизику, чтобы тот переслал ему в Марбург пятьдесят талеров, причитающихся на его долю. Генкель ответил Райзеру, что без согласия Академии не может выдать Ломоносову такую сумму.

Без денег, без документов, без отчетливого представления о том, что его ждет в будущем, но не без надежды вернуться в Россию и хоть когда-нибудь принести ей пользу, Ломоносов и в Марбурге продолжает (!) самостоятельно заниматься науками... 5 ноября 1740 года он берется за перо, чтобы поведать Академии о своих злоключениях. Вот что пишет Ломоносов в конце его: «В настоящее время я живу инкогнито в Марбурге у своих друзей и упражняюсь в алгебре, намереваясь применить ее к химии и теоретической физике». То есть он подчеркивает, что описанные им (да и без него, в изложении его недоброхотов известные Академии) приключения никак не отразились на объеме и качестве его знаний, на том, ради чего он и был послан в Германию.

Это-то и позволяет ему с достоинством отвести возможные упреки и опасения, что из-за конфликта с фрейбергским бергратом пути в науку для него заказаны, и вынести своему противнику окончательную и бесповоротную в своей резкости оценку. Причем его не смущает, что делает он это в письме в Академию наук (формальный адресат — Шумахер), в которой о Генкеле господствовало прямо противоположное мнение, поскольку именно к нему Ломоносова с друзьями командировали.

«Правда, мне кажется, — пишет Ломоносов (подлинник по-немецки), — что вы подумаете, что с Генкелем дело уже испорчено, и я не имею более никакой надежды научиться чему-либо основательному в химии и металлургии. Но сего господина могут почитать идолом только те, которые хорошо его не знают, и я же не хотел бы поменяться с ним своими, хотя и малыми, но основательными знаниями, и не вижу причины, почему мне его почитать своею путеводною звездой и единственным своим спасением; самые обыкновенные процессы, о которых говорится почти во всех химических книгах, он держит в секрете и вытягивать их приходится из него арканом; горному же искусству гораздо лучше можно обучиться у любого штейгера, который всю жизнь свою провел в шахте, чем у него. Естественную историю

нельзя изучить в кабинете г. Генкеля, из его шкапов и ящичков; нужно самому побывать на разных рудниках, сравнить положение этих мест, свойства гор и почвы и взаимоотношение залегающих в них минералов».

Твердое намерение «научиться чему-либо основательному в химии и металлургии» самостоятельно, как мы помним, сопутствовало Ломоносову в его недавних скитаниях по Германии. Не оставляло оно его и во время вынужденного сидения в Марбурге осенью и зимой 1740—1741 годов. Ровно через месяц после письма в Академию Ломоносов, например, пишет письмо марбургскому университетскому аптекарю Детлефу Дитриху Михаэлису (1675—1770), который за два года до того позволял ему заниматься в своей лаборатории, а бывало, и ссужал его деньгами. Сейчас Ломоносов просит разрешения вновь поработать в его лаборатории (подлинник по-немецки):

«Высокородный господин,
высокоученый господин доктор!

Ваша доброта, некогда ко мне проявленная, придает мне смелость просить Вас, чтобы Вы, Ваше высокоблагородие, разрешили мне в Вашей лаборатории исследовать некоторые процессы, которые кажутся мне неясными. Ибо я не доверяю никакому другому лаборанту, особенно тем, которые слишком много хвастают; этому я научился на собственном горьком опыте. Господин доктор Конради некогда обещал мне и моим соотечественникам читать курс химии по Шталю, но он не был в состоянии толком изложить ни одного параграфа и не знает как следует латинского языка. Поэтому мы от него отказались. Горный советник Генкель, чье хвастовство и высокомерное умничанье известны всему ученому миру, делал это не лучше и похитил у меня время почти одной только пустой болтовней.

Пребываю в надежде, что Вы не откажете мне в моей покорной просьбе.

Ваш покорный слуга
М. Ломоносов

Марбург
4 декабря 1740».

Между тем с получением ноябрьского письма в Академии наконец стало известно местонахождение Ломоносова. В феврале 1741 года Академическая канцелярия выслала ему приказ (повторный) о возвращении в Петербург, а Вольфу — вексель в сто рублей для передачи денег Ломоносову и письмо, в котором содержалась просьба одолжить ему, если потребуется, дополнительно небольшую сумму. В апреле Ломоносов получает деньги и приказ. 13 мая в канцелярии Марбургского университета ему оформляют документы для проезда до Петербурга. Через несколько дней Ломоносов уже в порту города Любека.

Когда в конце мая 1741 года он ступил на корабль, взявший курс к России, ему уже было под тридцать.

Четыре с половиной года провел он в Германии; основательно изучил экспериментальную и теоретическую физику, философию и естественную историю, горное дело и многие-многие другие научные дисциплины; корпел в химических лабораториях, спускался в рудники, старательно изучал устройства применяемых механизмов, стоял у плавильных печей, учился у лучших специалистов в горнодобывающей промышленности и металлургии; овладел немецким, французским и итальянским языками; стал отличным рисовальщиком; написал «Письмо о правилах Российского стихотворства» и три научные работы по физике и, наконец, в полный голос заявил о своем поэтическом даре, переведя стихотворения Анакреона и Фенелона и сочинив «Оду на взятие Хотина», которая через сто лет побудила Белинского назвать его «отцом русской поэзии».

За время пребывания в Германии Ломоносов впервые по-настоящему, каждым атомом своего сознания проникся великой патриотической идеей, которая отныне станет управлять всеми его поступками и начинаниями. Надо думать, что и на берегах Северной Двины, и в Москве, и в Киеве, и в Петербурге Ломоносов любил Россию. Но, только оказавшись оторванным от родины на четыре с лишним года, он всем существом своим ощутил ее мощную власть над собой.

В сущности, все это время о чем бы он ни думал, он думал о ней и только о ней. Когда он метался по Саксонии и Вестфалии, Тюрингии, Баварии, Голландии — он рвался к России. Когда он, как в рудоносную копь, проникал в глубины родного языка, чтобы понять его «природные свойства», — он постигал сокровенный образ понятий России. Когда он всходил «на верьх горы высокой» и единым взором обозревал родную историю, драматическую и славную, — он обретал уверенность в великом предназначении России. Когда он, «Петр Великий нашей поэзии», по выражению Белинского, создавал новую поэзию, сообразную русскому слову, его мелодичности, его энергии, его красоте, — он облекал в мускулистую плоть бессмертный дух России.

Вот почему необходимо подчеркнуть, что в Германии Ломоносов не столько приобретал определенную сумму знаний чужой науки, сколько творчески перерабатывал эти сведения, по необходимости переводя их в новое качество. Первым обратил на это внимание Радищев: «Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятии чуждыя, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые».

В Германии Ломоносов вполне ощутил себя именно представителем России. Это почти неизбежно происходит со всяким русским человеком, попадающим за границу. Вероятно, и его товарищи испытывали похожее ощущение. Но в отличие от них Ломоносов испытал еще и чувство громадного долга перед Россией. Это чувство наполняло его душу нетерпением, ибо теперь гениальная одаренность Ломоносова, помноженная на основательную подготовку в самых разных науках, открывала перед ним поистине необъятные возможности.

К этому, если так можно выразиться, «государственному» нетерпению в ожидании встречи с Россией у Ломоносова присоединялось и личное чувство.

Отец... Одиннадцать лет назад он ушел от него не простившись. Теперь ему должно быть за шестьдесят: как-то ловит он рыбу? что думает о своем сыне? Мысли о Василии Дорофеевиче, видимо, преследовали Ломоносова всю дорогу до Петербурга. Он даже видел отца во сне, выброшенным на необитаемый остров в Ледовитом океане, к которому еще в молодости Михайлу с отцом однажды прибило бурей.

8 июня 1741 года Ломоносов ступил на русскую землю. Странный сон, увиденный на море, не давал ему покоя. Чувство сыновней вины усиливало тревогу. Прибыв в Петербург, Ломоносов первым делом наведался к архангельским и холмогорским артельщикам узнать об отце. Он был ошеломлен, услышав, что его отец ранней весною того же года, по первом вскрытии льдов, отправился в море на рыбный промысел и что, хотя минуло уже несколько месяцев, ни он и никто другой из поехавших с ним еще не вернулся.

Это известие наполнило Ломоносова крайним беспокойством. Минуло уже несколько месяцев... То есть почти в то самое время, когда он сидел в Марбурге без гроша в кармане, отчаявшись вырваться на родину... Теперь и уход из Фрейберга, и погоня за Кайзерлингом, и слезные попытки уговорить Головкина предстали перед Ломоносовым в новом свете. Может быть, именно стремление увидеть отца и смутное предчувствие какой-то непоправимой беды, готовой разразиться там, на северной родине, заставило его с таким упорством, с такой невероятной настойчивостью искать возможности пробиться в Россию и дважды с этой целью пересечь всю Германию и половину Голландии. Может быть, теперешняя неизвестность о судьбе отца — это возмездие ему, Михайле Ломоносову, за то отчаяние, которое одиннадцать лет назад пережил Василий Ломоносов, находясь в полной неизвестности о судьбе сына? Случайное совпадение... Однако на душе от этого не легче. А вдруг вовсе даже не случайное, а роковое? Иначе — отчего эта подсознательная уверенность, что отец теперь на *том самом* острове?

С первой же оказией в Холмогоры Ломоносов посылает письмо к тамошней артели рыбаков, в котором убедительно просит, чтобы при выезде на промысел они заехали к злополучному острову (его положение и вид берегов он точно и

подробно описал), обыскали бы по всем местам, — и если найдут тело отца, пусть предадут земле. Несколько месяцев с нетерпением ждал Ломоносов весть от земляков. Наконец она пришла: в ту же осень рыбаки действительно нашли тело Василия Дорофеевича на том самом острове, похоронили и возложили на могилу большой камень...

Получив это скорбное известие (которое, однако, подтверждало его догадки), Ломоносов не мог не почувствовать, что тяжелый и испытующий взгляд судьбы и впрямь отличил его среди людей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«СКОЛЬ ТРУДНО ПОЛАГАТЬ ОСНОВАНИЯ!»
1741—1751

ГЛАВА I

Дарование есть поручение, должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия.

Е. А. Боратынский

1

Петр I не оставил указаний о наследнике. За его смертью в истории России последовала трудная полоса. После лифляндки Екатерины (вдовы Петра I) воцарилась Анна Иоанновна, власть перешла в руки Бирона. «Одновременно началось настоящее нашествие других иностранцев, вроде Браунгшвейг-Вольфенбюттель-Бревернов, Мекленбург-Шверинов, целой армии экзотических принцев и принцесс, солдат, авантюристов, двинувшихся на Россию со всех концов Европы и деливших между собою, как добычу, должности, почести, доходные места, высасывая все соки из страны для удовлетворения своих аппетитов» — так характеризует всю эту поистине политическую фантасмагорию известный историк XVIII столетия К. Валишевский.

Смерть Анны Иоанновны и ссылка Бирона мало что изменили. Непродолжительное и странное царствование малолетнего Иоанна Антоновича, при котором регентшею была его мать Анна Леопольдовна, пожалуй, с еще большей очевидностью показывала, что ни у одной группировки, соперничавшей за русский престол, не было сколько-нибудь отчетливого и ответственного представления как о дальних целях, так и о ближайших задачах развития огромной страны, — что для них все в конечном счете сводилось к тому же удовлетворению «своих аппетитов». Взоры русских все чаще с надеждою устремлялись на «цесаревну» — этот новый титул взамен привычного слова «царевна» вошел в обиход при Петре, хотя еще не подразумевал обязательно на-

следницу престола Елизавету Петровну. Елизавету называли «искрой Петра Великого».

...25 ноября 1741 года триста гвардейцев Преображенского полка двигались по Невскому проспекту вслед за санями Елизаветы к императорскому дворцу. На Адмиралтейской площади цесаревна вышла из саней и пошла по снегу.

— Что-то тихо идем, матушка! — раздалось в толпе гвардейцев.

Елизавета разрешила двум солдатам поднять ее на руки. Так и внесли ее на руках во дворец. На целых двадцать лет...

Когда Елизавету возвели на престол, ей было уже за тридцать. Юность ее прошла при Анне Иоанновне. Прошла незаметно и — тускло. Ей, как цесаревне, был выделен довольно скудный (по сравнению с европейскими принцессами крови) бюджет, которого едва хватало на ежедневный стол, не ахти какой гардероб и содержание малого числа гвардейцев, составлявших ее охрану и свиту. Ни балов, подобных версальским (о которых она слышала от французского посланника), ни богатых обедов и загородных праздников, ни хвалы стихотворцев... Вскоре Елизавета смирилась со своим положением «бедной родственницы» при дворе. К власти она не стремилась, зная прекрасно, что за такое стремление можно и жизнью поплатиться, да и само пребывание на троне тоже чревато «беспокойными» последствиями: ну, хотя бы заточением в монастырь или ссылкою в какой-нибудь дальний город...

Ее вполне устраивали вечерние пирушки с гвардейцами, катания на тройках зимой и хороводы да игра в горелки летом. Правда, была у нее одна слабость — придворные певчие. А вернее — один из них, дюжий сын малороссийского реестрового козака Алексей Розум. Елизавета сразу пленилась одинаково мощными красотою и басом его. Он стал частым гостем на ее вечерах и в ее покоях. Так в нехитрых забавах и проводила она свою молодость, пока не наступил знаменательный ноябрьский день 1741 года.

Крупнейшей политической фигурой елизаветинского царствования стал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693—1766), который, с 1744-го по 1758 год занимая пост государственного канцлера, предпринял успешную попытку вернуть России тот первоначальный политический авторитет, который так ошеломляюще быстро и энергично она приобрела в Европе при Петре I и который утратила при его преемниках. А. П. Бестужев принял тяжелое наследство от своих предшественников, главным среди которых был Андрей Иванович Остерман (1686—1747), при Анне Иоанновне исполнявший обязанности кабинет-министра и сосланный в Березов после воцарения Елизаветы. Внешняя политика России в 1730-е годы вполне отражала внутреннее положение дел у трона, вокруг которого шло нервное и мелочное соперничество фамильных и групповых амбиций, о чем говорилось выше. Эти-то амбиции, а не национально-государственные интересы огромной страны, и определяли тогда внешнюю политику. Известный историк Н. Д. Чечулин в свое время точно охарактеризовал ее: «При такой своей неумелости вообще, при неспособности отстаивать интересы России и не раз уже поступившись ими в угоду союзникам в довольно важных случаях, русская дипломатия того времени обнаружила необыкновенную охоту заключать союзы, вступать в обязательства... Это стремление искать повсюду союзников очень характерно для тогдашней русской дипломатии; она не понимала, что союз со всеми государствами, которые между собою боролись и воевали, в сущности, вполне равняется полному отсутствию союзов, полному одиночеству, но только в невыгодных его сторонах, потому что союзники России получали повод к разным неприятным объяснениям, к требованиям разных уступок со стороны России, от которых Россия не умела тогда уклониться, и в то же время сами, как более ловкие политики, находили возможность отказывать России во всяком, сколько-нибудь энергичном содействии ее видам».

А. П. Бестужев не только разобрался в сложном клубке межгосударственных противоречий тогдашней Европы (вражда Франции и Австрии, политический эгоизм Англии, Турция как важнейший военно-политический фактор в европейских делах), причем разобрался именно под углом собственно русских интересов, но и обратил самое серьезное и тревожное внимание на усиление государства, которое еще никем не принималось всерьез, однако которому уже в недалеком будущем предстояло играть важную роль в европейской политике. Здесь уместно еще раз вспомнить Н. Д. Чечулина: «Он был одним из первых государственных людей тогдашней Европы, понявших, какими осложнениями грозит всем европейским державам чрезмерное и слишком быстрое усиление Пруссии; он был первым, который понял, что необходимо против этого усиления бороться, не поддаваясь искушению иногда с этим новым могуществом вступить в соглашение и в союз для достижения каких-нибудь других, хотя бы действительно выгодных целей».

Во внутренней политике России главную роль играли семейства Шуваловых и Воронцовых, представлявших собой новую знать — крупных помещиков, владевших тысячами крепостных и огромными землями, обзаводившихся собственными фабриками и мануфактурами, потянувшихся и к казенным заводам. Наиболее влиятельной и характерной фигурой из них явился сенатор, генерал-фельдмаршал граф Петр Иванович Шувалов (1710—1762) — вельможа-промышленник, вельможа-изобретатель, вельможа-откупщик, вельможа-притеснитель. Усиление именно таких людей при Елизавете не случайно. Политика национального достоинства, ко-

торую начал проводить в русских делах в Европе Бестужев, требовала много денег, требовала усиления экономической и военной мощи России. Форсированное предпринимательство высшей знати в лице Шуваловых и Воронцовых (можно назвать еще Чернышевых, Гурьевых и др.) было явлением неизбежным. За счет ужесточения давления на крепостное крестьянство центральных и заволжских губерний (что в конечном счете приведет к крестьянской войне и о чем при Елизавете мало думали) удалось создать достаточно прочную базу для европейского престижа империи.

Словом, если попытаться глазами современника событий взглянуть на обстановку в верхах русского общества 1740—1750-х годов, то надо будет признать, что все-таки с приходом Елизаветы Петровны к власти, будто после лютой зимы, повеяло весною. Взойдя на престол, Елизавета приблизила к себе русских, она была веселого и открытого нрава, любила русские обычаи, сочиняла стихи в духе народных песен, истово соблюдала православные обряды. Она отменила смертную казнь (что имело немаловажное значение, поскольку память о кровавых расправах Бирона была еще совсем свежа). В царствование Елизаветы российские войска под руководством славных военачальников (П. С. Салтыкова и более молодых П. А. Румянцева и П. И. Панина) развеяли всеевропейский миф о непобедимости прусской армии Фридриха Великого. И, наконец, Елизавета была дочерью Петра I! Все это не могло не вызвать патриотического подъема среди подданных.

Кроме того, воцарение Елизаветы Петровны самым непосредственным образом отразилось как на личной, так и на творческой биографии Ломоносова.

Когда Ломоносов 8 июня 1741 года явился в Канцелярию Академии наук доложить о своем прибытии, это был уже сложившийся молодой естествоиспытатель со своим методом, своими темами и идеями в физике, химии, геологии и других науках, оригинальный мыслитель, нацеленный на универсальное постижение мира и человека, глубокий теоретик языка и словесных наук и, наконец, гениальный поэт, чью необъятную, отзывчивую и страстную душу тревожили грандиозные образы, чье сознание непосредственно и ясно усматривало абсолютную новизну тех истин и дел, которые ему надлежало воспеть, а также безусловно пророческий характер его миссии в истории русской культуры.

Если даже беглым взглядом окинуть главные вехи всего предшествующего пути Ломоносова, то нельзя не подивиться идеальному совпадению его личных устремлений с требованиями внешней необходимости. Только один раз, только в самом начале он выступил вопреки внешней логике, внешнему предложению. Поморская среда, давшая мощное ускорение задаткам, заложенным в нем от рождения (феноменальным по разнообразию, глубине и органичности, то есть способности к саморазвитию прежде всего), могла предложить ему лишь движение по кругу интересов и дел, завещанных традицией. И он — прорвал его. В самом его уходе было нечто пророческое (на что и обратили наше внимание Радищев и Пушкин). А потом — всякий раз, когда государство испытывало существенную потребность в чем-либо, Ломоносов, как никто другой, соответствовал государственным запросам. Так было в 1735 году, когда в Петербурге вспомнили о необходимости воспитывать национальные кадры. Так было в 1736 году, когда государственный запрос был предельно конкретен. Ломоносов же оказался вне конкуренции (несмотря на свои уже отнюдь не «юные» годы). Наконец, так было и в 1741 году, когда он вернулся из-за границы, готовый во всеоружии своих энциклопедических уже тогда познаний и своего совершенно уникального темперамента не только ответить на любой внешний запрос, но и предложить собственную программу всестороннего культурного развития Отечества, в которой были бы учтены как сиюминутные потребности, так и дальние цели. После ноябрьского переворота 1741 года России был нужен именно такой человек. (Здесь, кстати сказать, лежит еще одно — внешнее и весьма выгодное — отличие Ломоносова от Тредиаковского, который вернулся из-за границы, чтобы начать свою просветительскую деятельность в пору, исключительно невыгодную для русского просветительства вообще и для его конкретных представителей в частности.)

Однако же было бы неверно представлять себе дело таким образом, что судьба во всем только улыбалась Ломоносову. В высшей степени неблагоприятная для него обстановка сложилась внутри Академии к моменту его возвращения из Германии.

За время его обучения произошли важные перемены в высшем академическом начальстве. Барон Корф, в течение шести лет своего президентства (1733—1740) ожививший работу Академии по воспитанию молодого поколения русских ученых, в 1740 году был направлен посланником в Копенгаген. Сменивший его на президентском посту Карл фон Бреверн (1704—1744) руководил Академией всего лишь около года и за полтора месяца до возвращения Ломоносова перешел на службу кабинет-секретарем к Остерману, чтобы после ноября 1741 года подвергнуться опале. Нового президента не назначали, и находившийся до сих пор как бы в тени Шумахер стал полным и единовластным хозяином Академии вплоть до 1746 года, когда, уже при Елизавете, президентом стал К. Г. Разумовский (впрочем, и при нем он вершил делами, вновь отойдя в тень). Как раз Шумахеру и должен был доложить о своем прибытии Ломоносов.

Академия по-прежнему работала без Регламента, что бы-

ло на руку Шумахеру и крайне затрудняло работу ученых, создавая юридически и этически неопределенные ситуации, провоцируя новые и новые столкновения между ними, никакого отношения к науке не имеющие.

Наконец, к 1741 году наиболее значительные научные силы ушли из Академии. Как писал в конце своего пути Ломоносов, «не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернуллиев и других, во всей Европе славных, как только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но, Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». Действительно, отъезд из Петербурга Германа, Бюльфингера, Д. Бернулли, ранняя смерть Н. Бернулли не только принесли ущерб начинающейся петербургской науке, но и во многом затруднили как начало, так и весь последующий творческий путь самого Ломоносова. Если к этому добавить, что как раз в июне 1741 года Леонард Эйлер выехал из Петербурга в Берлин, то есть практически сразу по приезде Ломоносова из Германии, то можно без всякого преувеличения сказать, что ломоносовские «досада и сожаление» по поводу ухода из Академии крупнейших ученых отражали не только государственную, но и его глубоко личную точку зрения. В сущности, к 1741 году из Петербургской Академии уехали ученые, чей светлый ум отличался широтою научных интересов. В первую очередь это относится к Д. Бернулли и Эйлеру. Каждодневная научная работа именно в таком окружении — вот что было необходимо для универсального по своим устремлениям гения молодого Ломоносова. Его же на первых порах, да и на протяжении всего дальнейшего пути ожидало либо глухое непонимание со стороны оставшихся в Академии ученых, мышление которых в большинстве случаев было ограничено рамками их научной дисциплины, либо явная или скрытая вражда бюрократической ложи, руководимой Шумахером.

2

Душа Ломоносова, переполненная идеями и замыслами, изнемогала в жажде подвига во имя и во славу Истины и России. Что же касается Шумахера, то он в июне 1741 года, надо думать, был уверен, что Ломоносов всецело у него в руках. Гарантией этого, с его точки зрения, вполне мог служить «авантюрный» финал ломоносовского обучения в Германии. Шумахер просто решил некоторое время «выдержать» такую крупную рыбу, как Ломоносов, в академической заводи, чтобы в нужный для себя момент выловить и бросить к ногам Сената или двора, буде спросят: а есть ли в Академии русские, мол, ученые?

И начались для Ломоносова академические будни, серые и однообразные.

Отметившись 8 июня в Канцелярии о своем прибытии, он получил «две каморки» в доме для академических служащих (стоял на месте нынешнего дома № 43 по 2-й линии Васильевского острова). 10 июня подал в Канцелярию прошение о выдаче ему денег «для покупки нужнейших в домашнем житье нужд и содержания себя и покоев». Поскольку Ломоносов не был определен ни на какую конкретную должность в Академии и постоянный оклад ему не был положен, Канцелярия распорядилась выдать ему просимое в счет будущего жалованья.

Одновременно с распоряжением о выдаче пятидесяти рублей, Канцелярия приняла решение направить Ломоносова под начало профессору ботаники и натуральной истории Иоганну Амману (1707—1741), «дабы оный дохтор его, Ломоносова, обучал натуральной истории, а наипаче минералам, или что до оной науки касается, с прилежанием». В добавление к этому решению получил от Шумахера сопроводительное письмо к Амману, в котором содержалась просьба «преподавать ему естественную историю, особенно по царству ископаемых, и руководить его занятиями, с тем чтобы с ним поскорее можно было дойти до предположенной цели».

Цель, о которой писал Шумахер, — это определение Ломоносова в академический штат на твердую должность ученого. Когда Ломоносов со своими товарищами отправлялся в Германию, им было обещано, что по их возвращении, если они «в пройденных науках совершенны будут, пробы своего искусства покажут и о том надлежащее свидетельство получат», то будут «в профессоры экстраординарные удостоены». Вот на этом-то «если» и играл Шумахер, затягивая производство Ломоносова: похвальные отзывы Вольфа и Дуйвинга — это-де хорошо, но ведь главное, ради чего его посылали в Германию, — горное дело, минералогия; а от Генкеля, кроме возмущенных писем, в Петербурге никаких аттестатов о Ломоносове не получали.

Ломоносов под руководством Аммана приступил к изучению естественной истории, «особенно по царству ископаемых». Он черновой работы в науке не боялся. Минеральный кабинет Кунсткамеры Академии наук, где ему предстояло работать, обладал богатым собранием различных камней и окаменелостей как минерального, так и органического происхождения (камни печени, почек, мочевого пузыря и т. п.). Но собрание это не было разобрано и описано. В 1731 году профессор химии Гмелин начал составлять каталог Минерального кабинета. До 1733 года, когда Гмелин отправился в сибирскую экспедицию, он успел закончить описание большей части коллекций, входивших в собрание. Но оставалась еще довольно значительная доля неразобранных материалов. Завершить начатую Гмелином работу и предстояло Ломоносову.

Как раз в тот момент, когда он принялся за дело, в Петербургскую Академию наук пришло письмо от Генкеля, в котором фрейбергский горный советник так аттестовал Ломоносова: «По моему мнению, г. Ломоносов, довольно хорошо усвоивший себе теоретически и практически химию, преимущественно металлургическую, а в особенности пробирное дело, равно как и маркшейдерское искусство, распознавание руд, рудных жил, земель, камней, солей и вод, способен основательно преподавать механику, в которой он, по отзыву знатоков, очень сведущ». Трудно сказать, что́ больше заставило Генкеля дать такой отзыв о Ломоносове: способность возвыситься над личной антипатией и вынести объективную оценку или же стремление приписать своему наставническому искусству неизбежные (уж это-то он понимал) успехи Ломоносова в будущих исследованиях и показать таким образом, что он недаром получал деньги из Петербурга за обучение своего строптивого ученика. Теперь это уже неважно. Важно то, что с получением письма от Генкеля устранялось главное препятствие для производства Ломоносова. Но Шумахер не спешил с этим.

Между тем Ломоносов трудился над составлением «Каталога камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук». Однако ж, как это уже было в Германии, только над одной какой-нибудь проблемой его всеохватный и подвижный ум не мог работать. Параллельно с описанием минералов он трудится над созданием солнечной печи, о чем пишет «Рассуждение о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте». «Этот мемуар Ломоносова... — писал С. И. Вавилов, много времени посвятивший изучению его оптических работ, — показывает основательные его знания в области геометрической оптики и вместе с тем обнаруживает оригинальную изобретательскую мысль». Закончив эту работу, Ломоносов передает ее вместе с другой своей диссертацией («Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути...») в Академическое собрание на предмет получения профессорских отзывов.

Пока профессора Гольдбах, Крафт, Винсгейм, Вейтбрехт и др. читают его работы. Ломоносов (продолжая трудиться в Кунсткамере над «Каталогом») пишет две похвальные оды годовалому императору Иоанну Антоновичу (12 августа — на день рождения, 29 августа — в честь победы русских над шведами в битве при Вильманстранде 23 августа 1741 года). Два этих стихотворения не могут идти в сравнение с «Одой на взятие Хотина» ни по размаху идей и образов, ни по языку, ни по свободе интонации. Тем не менее в них содержится ряд впечатляющих строф, в которых получает свое первое в нашей поэзии воплощение одна из важнейших и задушевных ее тем — тема диалога России и Запада:

Войну открыли шведы нам:
Горят сердца их к бою жарко;
Гремит Стокгольм трубами ярко,
Значит в свету́ свой близкий срам.

Однако топчут, режут, рвут,
Губя́т, терзают, грабят, жгут,
Склоняют нас враги под ноги;
Российску силу взяли в плен,
Штурмуют близко наших стен,
Считают: вот добычи многи.
Да где ж? — в спесивом их мозгу.
А в деле ужас потом мочит,
И явно в сердце дрожь пророчит,
Что будет им лежать внизу.

Подобно быстрый как сокол
С руки ловцовой вверх и в дол.
Бодро́ взирает скорым оком,
На всякий час взлететь готов,
Похитить, где увидит лов
В воздушном царстве свой широком, —
Врагов так смотрит наш солдат,
Врагов, что вечный мир попрали,
Врагов, что наш покой смущали,
Врагов, что нас пожрать хотят.

Когда Ломоносов писал эти гневные строки в адрес внешних противников России, которые при звуках труб и литавр огласили 28 июня 1741 года манифест об объявлении войны России («Гремит Стокгольм трубами ярко»), «поправ» тем самым Ништадтский мир, заключенный Петром I со шведами в 1721 году и провозглашенный тогда «вечным, истинным и неразрывным», у него к этому государственному гневу неизбежно примешивалось личное негодование и на внутренних ее противников в Академии, которые, поступив на русскую службу, получая русские деньги, работали во вред русской науке. Война с Шумахером назревала неотвратимо.

Впрочем, летом и осенью 1741 года Ломоносов продолжал, помимо работы в Кунсткамере, выполнять различные задания Академии. Так, 6 октября в «Примечаниях к Ведомостям» был опубликован ломоносовский перевод большой статьи его бывшего учителя Крафта «О сохранении здравия». В октябре же он часто встречается с поэтом Юнкером, с которым познакомился еще во Фрейберге и переводил его саксонские отчеты. За месяц-полтора до смерти Ломоносов писал в «Справке о работах по соляному делу»: «Оный Юнкер... послан в Германию осмотреть все тамошние соляные заводы для пользы здешних, откуда он в 1739 году возвращаясь, был в Саксонии, в городе Фрейберге для рудных дел, где прилучились тогда российские студенты для научения металлургии, в коих числе был Михайло Ломоносов. Помяну-

тый Юнкер употреблял его знание российского и немецкого языка и химии, поручая ему переводить с немецкого нужные репорты и экстракты о соляном деле для подания в Санктпетербурге по возвращении... Когда Ломоносов в 1741 году в Россию возвратился, нашел здесь Юнкера в полном упражнении о исполнении соляного дела в России, в чем он с реченным Ломоносовым имел потому частое сношение и сверх того поручал переводить на российский язык все свои известия и проекты о сем важном деле». Как мы помним, Юнкер был историографом графа Миниха во время русско-турецкой войны («был при нем для содержания журнала», писал Ломоносов). В 1737 году Миних получил именной указ, предписывавший ему «осмотреть и поправить соляное дело» на Украине. Фельдмаршал поручил исполнение этого своему поэту и историографу, что тот и сделал, исправно и основательно. Затем Юнкер был послан в командировку для изучения постановки соляных дел в Германии. Как явствует из слов Ломоносова, и во Фрейберге и в Петербурге Юнкер использовал его не только как переводчика, но и как специалиста-химика.

Тогда же Ломоносов делает переводы еще двух больших работ Крафта («Продолжение о твердости разных тел» и «О варении селитры»), а несколько раньше начинает трудиться над самостоятельным исследованием «Элементы математической химии» (закончено в декабре).

Наконец, в начале ноября Ломоносов завершает составление «Каталога камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук». 10 ноября профессор Амман сообщает в Канцелярию: «Я уже просмотрел все каталоги минералов, составленные г. Ломоносовым, за исключением каталога янтарей, в котором не нахожу нужным делать изменения, тем более что он переписан начисто».

Казалось бы, еще одно препятствие к производству Ломоносова теперь было устранено. Тут Шумахер наконец вспомнил, что уже с августа (то есть почти четыре месяца) две ломоносовские диссертации ходят по рукам профессоров, а общей оценки им все еще не вынесено. 17 ноября он предлагает членам Академического собрания дать отзыв на работы Ломоносова и еще одного студента — Григория Николаевича Теплова (1711—1779), который впоследствии станет одним из влиятельнейших деятелей Петербургской Академии и о котором будет говорено не однажды. Шумахер писал, что отзыв «необходим и ему и студентам, чтобы сделать распоряжения о их положении в Академии наук». 20 ноября Академическое собрание постановило проэкзаменовать студентов для выдачи им аттестатов об их успехах.

Однако ж этим дело и ограничилось. 25 ноября произошел дворцовый переворот. Шумахеру и академикам стало не до экзаменов. Ломоносов же продолжал выполнять академические поручения и собственные исследования, находясь

в полнейшей неизвестности относительно своего служебного положения. В начале декабря он перевел с немецкого поздравительную оду «для восшествия на всероссийский престол» Елизаветы Петровны, написанную Якобом (Яковом Яковлевичем) Штелином (1709—1785), посредственным поэтом, профессором элоквенции, сменившим в этой должности куда более способного поэта Юнкера. (Штелин был в хороших отношениях с Шумахером, но умел оценить талант — прежде всего поэтический — Ломоносова, долгое время близко общался с ним и оставил о нем содержательные записки.) Впоследствии Ломоносов станет по обязанности постоянным переводчиком «должностных» од и надписей Штелина.

В декабре же 1741 года, переведя штелинскую оду, он завершает работу над «Элементами математической химии». Здесь он впервые реализует свой замысел применить «к химии и физике мельчайших частиц» методы математики, о чем еще за год до того писал из Марбурга в письме к Шумахеру (см. выше). «Элементы» представляют собою введение к обширному труду, план которого был дан в самом конце рукописи. В первом параграфе «Элементов» Ломоносов впервые в истории естествознания определяет химию как науку, а не искусство: «Химия — наука об изменениях, происходящих в смешанном теле, поскольку оно смешанное». Понимая, что такое утверждение не всеми будет принято, он в пояснении к своему определению пишет: «Не сомневаюсь, что найдутся многие, которым это определение покажется неполным и которые будут сетовать на отсутствие начал разделения, соединения, очищения и других выражений, которыми наполнены почти все химические книги; но те, кто проницательнее, легко усмотрят, что упомянутые выражения, которыми весьма многие писатели по химии имеют обыкновение обременять без надобности свои исследования, могут быть охвачены одним словом: смешанное тело. В самом деле, обладающий знанием смешанного тела может объяснить все возможные изменения его, и в том числе разделение, соединение и т. д.; грубые и органические, каковы раздробление и размалывание злаков, произрастание растений, обращение крови в живом теле, могут быть исключены». Определяя химию как науку, уточняя ее предмет, по-новому осмысляя ее методы, Ломоносов вместе с тем предостерегал химиков от возможного здесь крена в сторону одних практических, лабораторных исследований и специально подчеркивал, что представитель «истинной химии» — это не только хороший лаборатор, но и мыслитель, стремящийся к «философскому познанию изменений, происходящих в смешанном теле». Впрочем, эта работа при жизни Ломоносова не была напечатана (как и многие другие его труды), и все эти обращения к химикам оставались подспудно в его чувствах и уме.

В действительности же он пока что был не первопроход-

цем химической науки, открывающим новые пути перед ученым миром, а всего лишь студентом, чье дальнейшее продвижение по академической лестнице не трогалось с места, и не было известно, когда стронется.

Шел уже восьмой месяц после возвращения из Германии. Как с творческой, так и с житейской стороны дальнейшее ожидание было нестерпимо. После пятидесяти рублей, полученных сразу по приезде, ему выдавали по его просьбе еще пятнадцать, десять, шесть, снова десять рублей — и все это в счет будущего жалованья, которое по-прежнему тонуло в тумане неопределенности. Гениальный дар (Ломоносов всегда знал себе цену), обогащенный широкими познаниями, приходилось растрачивать по мелочам.... Жить приходилось, по существу, взаймы у Канцелярии... Такая «першпектива» не могла устроить Ломоносова. Он начал действовать, и вот тут-то Шумахер сделался из чиновника, выжидательно присматривавшегося к Ломоносову, его злейшим врагом.

7 января 1742 года Ломоносов составил прошение на имя императрицы, в котором «бил челом» о пожаловании его должностью:

«Всепресветлейшая, державнейшая,
великая государыня императрица
Елисавет Петровна,
самодержица всероссийская, государыня
всемилостивейшая.
Бьет челом Академии наук студент
Михайло Ломоносов,
а о чем, тому следуют пункты:

1.

В прошлом 1736 году указом е. и. в. блаженныя и вечнодостойныя памяти великия государыни императрицы Анны Иоанновны, данным из высокого Кабинета, повелено было мне, нижайшему, ехать в Германию, в город Фрейберг для научения металлургии. А по определению Академии наук послан был я, нижайший, в Марбургский университет для научения математики и философий с таким обнадежением, что ежели я, нижайший, мне указанные науки приму, то определить меня, нижайшего, здесь экстраординарным профессором, такожде и впредь по достоинству производить.

2.

Во оных городах будучи, я чрез полпята[1] года не токмо указанные мне науки принял, но в физике, химии и натуральной истории горных дел так произошел, что оным других учить и к тому принадлежащие полезные книги с новыми инвенциями писать могу, в чем я Академии наук специмены моего сочинения и притом от тамошних профессоров свидетельства в июле месяце прешедшего 1741 года с докладом подал.

[1] То есть четыре с половиной *(устар.)*.

3.

И хотя я Академию наук многократно о определении моем просил, однако оная на мое прошение никакого решения не учинила, и я, в таком оставлении будучи, принужден быть в печали и огорчении.

И дабы указом в. и. в. повелено было сие мое прошение принять и меня, нижайшего, тем чином пожаловать, которого императорская Академия наук меня по моим наукам удостоит, в котором чину я, нижайший, отечеству полезен быть и в. в. верно и ревностно служить не премину.

Всемилостивейшая государыня императрица, прошу в. и. в. о сем моем прошении всемилостивейшее решение учинить.

К сему прошению
студент Михайло Ломоносов
руку приложил».

Это свое прошение Ломоносов подал в Академическую канцелярию, и Шумахер, ознакомившись с ним, рассудил за благо не доводить дело до Сената (куда по субординации следовало его препроводить), а вынести милостивое решение своею властью. Он понимал, что Ломоносов не остановится. Шумахеру же как раз сейчас огласка в этом деле всего менее была нужна. Он планировал представить Ломоносова и других русских студентов к производству сам, чтобы показать новому двору, взявшему курс на «руссификацию» всех государственных дел, что Академия всегда пеклась о воспитании национальных научных кадров, что вот, мол, и сейчас есть молодые люди, которых производим в соответствующий чин для их самостоятельной научной работы. А Ломоносов своим прошением, обнажив истинное положение дел, лишал Шумахера важного козыря в его чиновничьей игре.

Борьба Ломоносова с Шумахером началась с победы, которая, однако, была чревата новыми боями. 8 января 1742 года Шумахер скрепя сердце подписал резолюцию Академической канцелярии, гласившую: «Понеже сей проситель, студент Михайло Ломоносов, специмен своей науки еще в июле месяце прошлого 1741 году в Конференцию подал, который от всех профессоров оной Конференции так апробован, что сей специмен и в печать произвесть можно; к тому ж покойный профессор Амман его, Ломоносова, Канцелярии рекомендовал; к тому ж оный Ломоносов в переводах с немецкого и латинского языков на российский язык довольно трудился, а жалованья и места поныне ему не определе-

но; то до дальнего указа Правительствующего Сената и нарочного Академии определения быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему сего 1742 года генваря с 1 числа по 360 рублев на год, считая в то число квартиру, дрова и свечи, о чем заготовить определение, а к комиссару указ». Впрочем, уже здесь Шумахер не упустил случая «насолить» Ломоносову: официальное извещение о его производстве в адъюнкты было послано в Академическое собрание только 11 мая 1742 года, и таким образом, Ломоносов еще целых четыре месяца не имел права присутствовать на заседаниях высшего научного органа Академии.

Если еще до получения звания адъюнкта Ломоносов добросовестно работал в Академии, то теперь, уже когда его положение в «социетете наук» определилось, его научная, литературная и просветительская активность расширилась чрезвычайно.

Уже в январе 1742 года он входит в Академическую канцелярию с предложением об учреждении первой в России химической лаборатории, где бы он (уже понимавший выдающуюся роль, которую в XVIII веке предстояло сыграть химии) «мог для пользы отечества трудиться в химических экспериментах». В августе того же года он изъявляет желание читать лекции ученикам Академической гимназии и всем интересующимся. В программе лекций говорилось: «Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; также обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов». С 1 сентября Ломоносов приступил к чтению лекций. Он пишет ряд программных работ по геологии, в том числе: «Первые основания горной науки» (которая позднее, после небольшой доработки, войдет как первая часть в его фундаментальный труд «Первые основания металлургии, или рудных дел»), «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном», «О слоях земных». Кроме того, он переводит с немецкого большую статью Крафта о различных машинах. По поручению Шумахера переводит с французского пролог к итальянской опере «Титово милосердие». Пролог написал Штелин к торжествам по случаю предстоящей в Москве коронации Елизаветы Петровны. 15 марта, посылая ломоносовский перевод (который, к сожалению, не сохранился) Штелину в Москву, Шумахер, довольный быстротой и старанием переводчика, писал в сопроводительном письме: «Если Ломоносов встретит одобрение, то это доставит мне удовольствие, потому что при переводе человек не щадил ни трудов, ни усердия». Не будем обольщаться насчет шумахерской благосклонности к Ломоносову: во-первых, сам перевод был нужнее Шумахеру, чем Ломоносову, а, во-вторых, усиленная похвала ломоносовскому переводу не могла не быть двусмысленной — ведь переводчик как-никак являлся «адъюнктом физического класса» (через пять лет Шумахер предпримет уже куда более определенные попытки очернить научную репутацию Ломоносова с тем, чтобы ограничить его деятельность рамками перевода).

За две недели до начала работы над переводом штелинова пролога к «Титову милосердию» Ломоносов в начале февраля 1742 года написал, а Академия издала отдельной брошюрой оду на прибытие из Голштинии и на день рождения великого князя Петра Федоровича (1728—1762). Сын старшей дочери Петра I Анны Петровны (1708—1728) и герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха, Петр Федорович (будущий император Петр III, муж Екатерины II) на третий день после прихода Елизаветы к власти, 28 ноября 1741 года, был объявлен наследником русского престола. 5 февраля 1742 года он был доставлен в Петербург. Все это и послужило внешним поводом к написанию оды.

Эту февральскую оду 1742 года можно назвать экспериментальной в том смысле, что здесь проходит проверку характерный художественно-воспитательный прием всех его будущих «уроков царям» в других похвальных одах. Для достижения высокого гражданственного эффекта Ломоносов создает образ кровного родства ныне действующих правителей с Петром I и одновременно, как нечто само собою разумеющееся, проводит мысль о необходимости глубокой духовной связи между ними и великим преобразователем России, которая и в этой оде и во всех других с напряженной надеждой ожидает от них скорейшего воплощения и продолжения дела Петрова. Вслед за этим Ломоносов рисует грандиозные картины будущего мирного и плодотворного процветания великой страны — картины, настолько ощутительные, осязаемо конкретные, что грань между грядущим и настоящим стирается как бы сама собою, и читатель (венценосный, придворный, просвещенный, и, в конце концов, просто грамотный) начинал верить в реальность живописуемого, не замечая «подмены» настоящего грядущим. Вот в февральской оде 1742 года Елизавета в солнечных лучах всемирной славы показывает юному Петру Федоровичу необъятное пространство «стран полночных», которые ему предстоит, унаследовав, украсить. «Отверзлась дверь» в будущее, и сердце обмирает от радостной и мирной (войну со шведами надо кончать!) картины всенародного покоя и счастья:

Я Деву в солнце зрю стоящу,
Рукою Отрока держащу
И все страны полночны с ним.
Украшена кругом звездами,
Разит перуном вниз своим,
Гоня противности с бедами.

И вечность предстоит пред Нею,
Разгнувши книгу всех веков,
Клянется небом и землею
О счастье будущих родов,
Что Россам будет непременно
Петровой кровью утвержденно.
Отверзлась дверь, не виден край,
В пространстве заблуждает око;
Цветет в России красный рай,
Простерт во все страны широко.

Млеком и медом напоенны,
Тучнеют влажны берега,
И, ясным солнцем освещенны.
Смеются злачные луга.
С полудни веет дух смиренный
Чрез плод земли благословенный.
Утих свирепый вихрь в морях,
Владеет тишина полями,
Спокойство царствует в градах,
И мир простерся над водами.

Потрясающие, роскошные стихи!.. Дело оставалось за одним: за тем, чтобы потомки Петра I выступали на уровне того, что начертано в «книге всех веков»... чтобы выполнили свой долг перед вечностью, предстоящей им, и перед страной, вверенной им... Но ждать этого пришлось всю жизнь...

К тому же, возвращаясь из грядущего, из пространств, в которых «заблуждает око», в настоящее, в Петербург 1742 года, к работе, которой «не виден край», Ломоносов редко встречал понимающий взгляд, но так часто ощущал на себе враждебное, немигающее око Шумахера, что и сам начал внимательнее присматриваться к советнику Академической канцелярии.

3

Вернувшись из Германии, Ломоносов, наряду с научными, сделал для себя несколько важных открытий практического свойства. Во-первых, он узнал, что именно Шумахер был повинен в «весьма неисправной пересылке денег на содержание» его, Виноградова и Райзера. Во-вторых, ему стала известна судьба остальных десяти выпускников Славяно-греко-латинской академии, с которыми в 1736 году он прибыл из Москвы в Петербург. Вот что писал он по этому поводу впоследствии: «По отъезде помянутых трех студентов за море прочие десять человек оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был туда вызван к ответу, и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда возвратясь в канцелярию,

главных на себя просителей, студентов бил по щекам и высек батогами, однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтоб давали помянутым студентам наставления, что несколько времени и продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие — Лебедев, Голубцов и Попов в переводчики, и прочие ж разопределены по другим местам, и лекции почти совсем пресеклись».

Постепенно для Ломоносова все яснее становились истинные цели Шумахера, методы его деятельности, а также масштабы материального и морального ущерба, нанесенного им Академии. Советник Академической канцелярии прежде всего стремился к деньгам. Своему тестю Фельтену, главному экономщику (то есть снабженцу) Академии он втридорога оплачивал выполнение академических заказов из академической же казны. Четырех своих лакеев он устроил на должность служителей в Кунсткамере с жалованьем 24 рубля в год, на что к 1743 году в общей сложности было истрачено из академических сумм более 1400 рублей. Деньги, определенные на угощение посетителей Кунсткамеры (400 рублей в год), он присваивал себе, из-за чего (опять-таки к 1743 году) Академия недосчиталась еще на 7000 рублей с лишком. И уж совершенно не поддаются учету доходы, полученные им от академической книготорговли. Шумахер не брезговал ничем.

Однако при всей тяжести его преступлений, сведенных воедино понятием «корысть», они уступали в своей опасности для русской науки другим вредоносным действием Шумахера, направленным на удушение молодых научных сил. В особую вину ему Ломоносов вменял, что «с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано российскому юношеству», что в 1740 году начавшиеся было «лекции почти совсем пресеклись», что в дальнейшем «течение университетского учения почти совсем пресеклось».

В погоне за наживой Шумахер умело разваливал Академию. Как и все проходимцы, он в неопытной, но честолюбивой молодежи видел эффективную силу, призванную сыграть одну из главных ролей в его грязной игре, и прежде всего — в подавлении умудренных «стариков», которые прекрасно знали ему цену. Громадные деньги, определенные Петром на просвещение «российского юношества», употреблялись на «затмение» его и развращение.

Если Ломоносов не мог простить Шумахеру четырех лакеев, кормившихся за счет Академии, то в этом случае, когда дело шло о прямом вреде целой России, негодованию его не было предела: «Какое же из сего нарекание следует российскому народу, что по толь великому монаршескому щедролюбию, на толь великой сумме толь коснительно происходят ученые из российского народа! Иностранные, видя сие и не зная вышеобъявленного, приписывать должны его тупому и непонятному разуму или великой лености и нерадению.

Каково читать и слышать истинным сынам отечества, что-де Петр Великий напрасно для своих людей о науках старался...»

Эти слова были написаны Ломоносовым за год до его смерти в «Краткой истории о поведении Академической канцелярии», страстном обличительном документе, в котором этому административному «корпусу» во главе с Шумахером и его преемниками предъявлялось обвинение по семидесяти одному параграфу. Но и в 1740 годы Ломоносов готов был забить тревогу.

Вот почему, когда в январе 1742 года Андрей Константинович Нартов (1680—1756), главный механик Академии, бывший токарь Петра I, представил в Сенат несколько жалоб на Шумахера от академических служащих, Ломоносов был всецело на его стороне, тем более что и в этих жалобах один из основных обвинительных пунктов гласил: «Молодых людей учат медленно и неправильно».

Сенат, рассмотрев вопрос, командировал Нартова в Москву, куда в то время отбыла на коронацию Елизавета. 30 сентября 1742 года была назначена следственная комиссия по делу Шумахера, а 7 октября его взяли под стражу.

Никогда еще Шумахеру не было так трудно. Той страшной осенью он всей кожей своей ощутил, что одно дело, когда жалуются профессора немцы, французы, швейцарцы, которых, в сущности, ничто, кроме их науки и окладов, не интересует, и совершенно другое дело, когда протестуют эти самые русские, кровно заинтересованные не только в правильной выплате им их личного жалованья, но и в выяснении истинного характера его действий, в восстановлении полной картины его преступлений. Русские сотрудники Академии обвиняли Шумахера с государственных позиций.

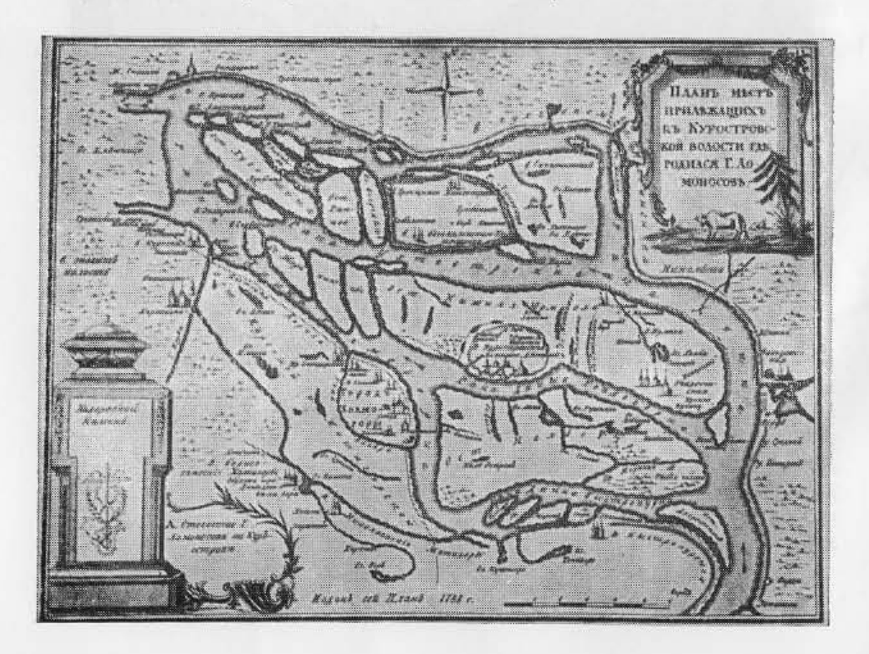
Почувствовав опасность, смертельную для своей карьеры, Шумахер принял самые энергичные меры. Его люди, которых он немало сплотил вокруг себя за двадцать лет пребывания у «кормила» Академии, хлопочут перед следственной комиссией о восстановлении патрона, называя жалобщиков «ничтожными людьми из академической челяди». За Шумахера заступается лейб-медик русской императрицы И.-Г. Лесток, выходец из Франции, подданный одного из мелких германских князьков — герцога Брауншвейг-Целльского, международный авантюрист, деятельность которого оплачивалась несколькими европейскими государствами.

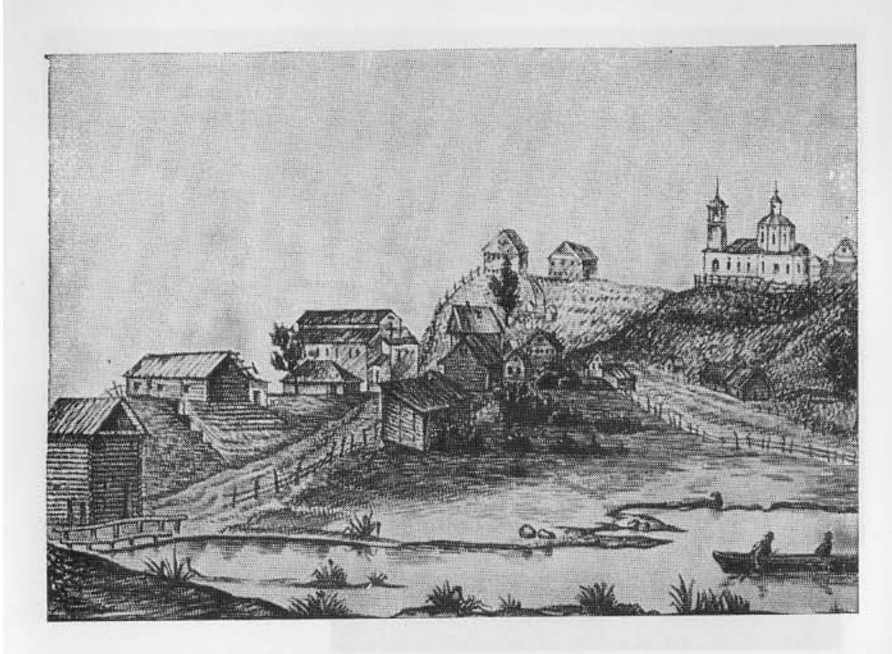
Шумахер пустил в ход весь арсенал своих грязных средств. Еще до того как была создана следственная комиссия, когда Нартов только отправлялся в Москву, Шумахер, извещенный предателем из жалобщиков (им оказался академический канцелярист, некий Худяков), экстренно организовал чтение лекций для студентов Академического университета, «для виду», как писал Ломоносов. Московские друзья Шумахера были тоже предупреждены и делали, со

М. В. Ломоносов. Бюст работы Ф. И. Шубина.

Фрагмент панорамы Архангельска. Голландская гравюра XVIII века.

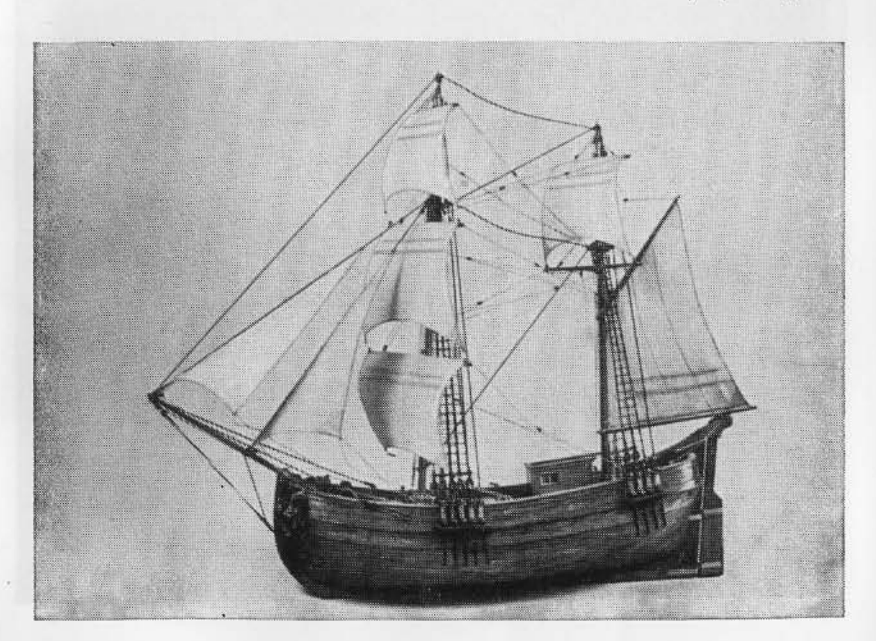
Карта мест между Архангельском и Холмогорами.





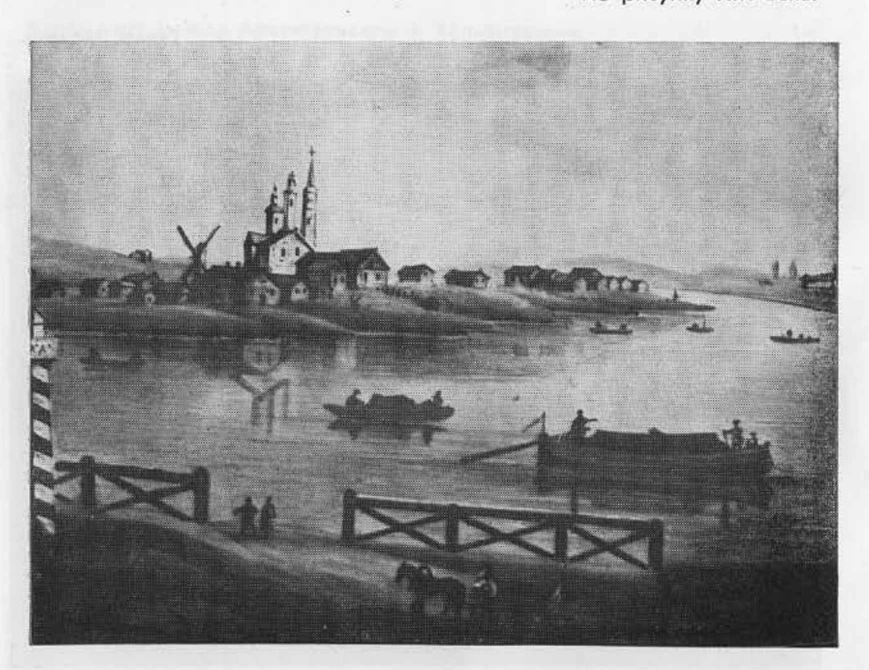
Верфи на реке Вавчуга. По рисунку XVIII века.

Гукор. Модель.



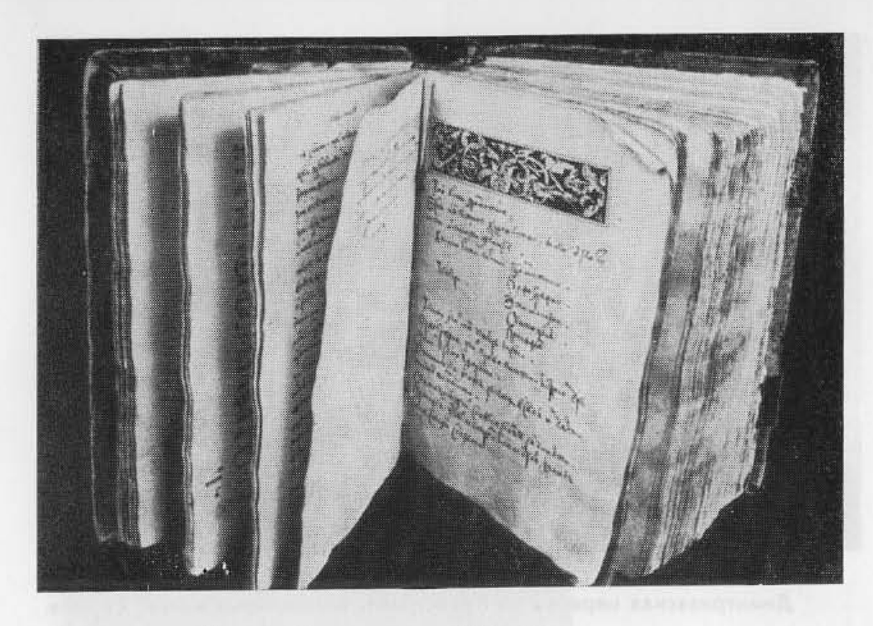
Церковь села Матигоры. Современный вид.

Деревня, в которой родился Ломоносов. По рисунку XIX века.



Димитриевская церковь на Курострове. Фотография начала XX века.

Образец юношеского почерка Ломоносова. 1725 год.



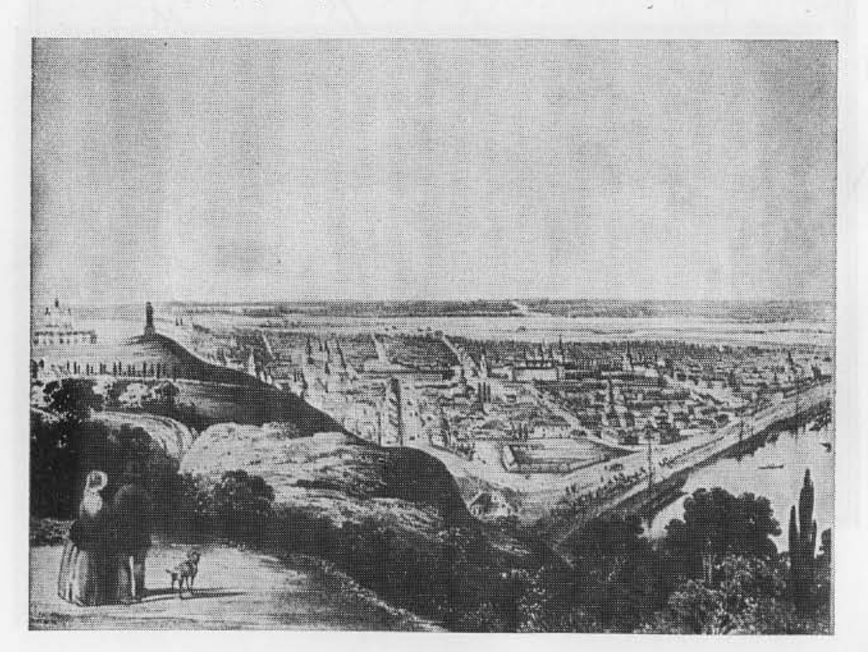
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого. 1648 год.

«Арифметика» Леонтия Магницкого. 1703 год.

Карта пути Ломоносова в Москву.

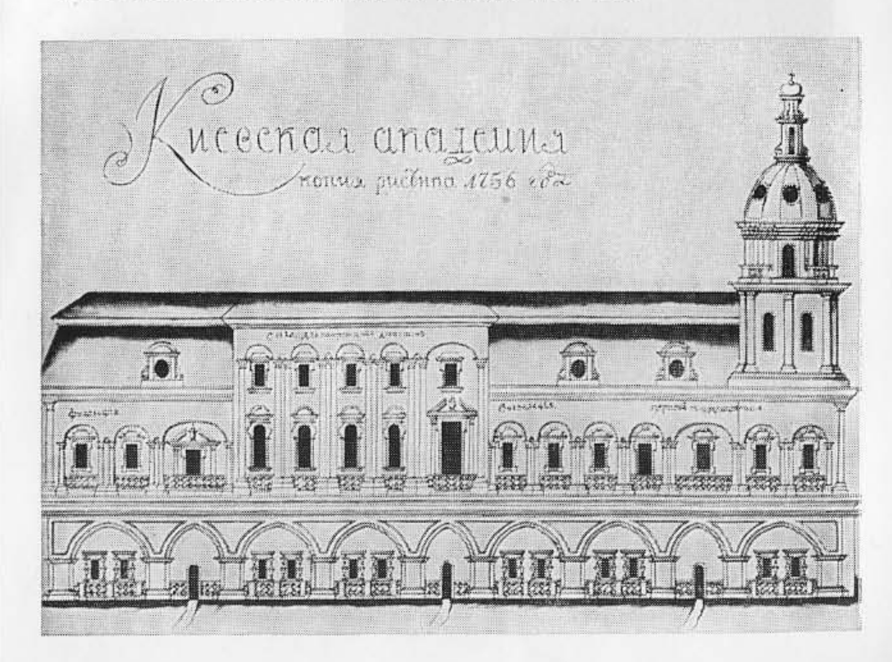
Москва. Гравюра XVIII века

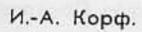
Вид Киева. С гравюры середины XIX века.



Феофан Прокопович.

Киево-Могилянская академия. По рисунку 1736 года.




И.-А. Корф.

Вид Петербурга со зданиями Академии наук.

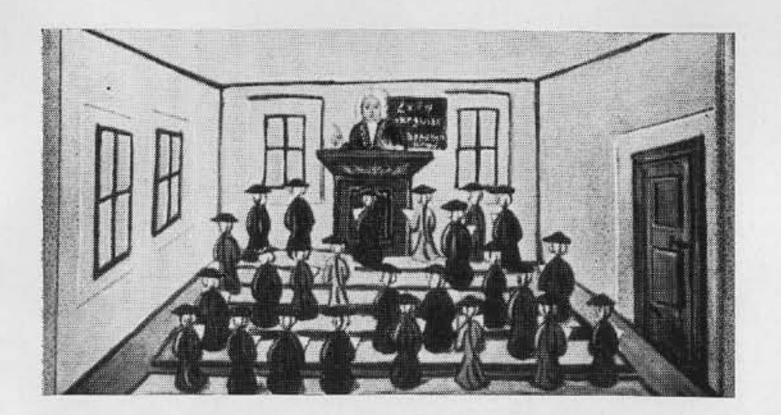
В. Е. Адодуров.

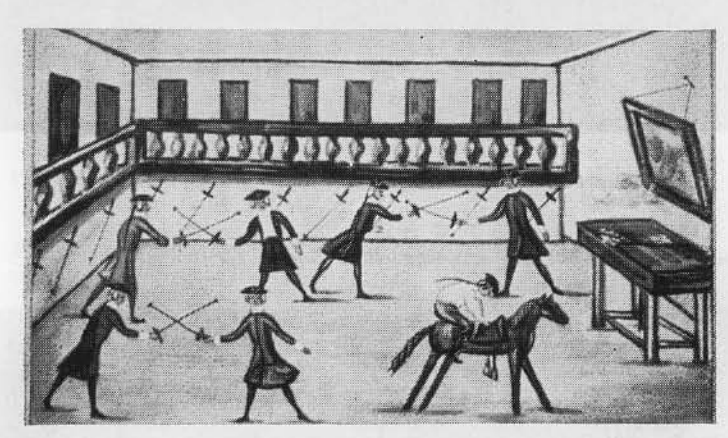
Г.-В. Крафт.

Иван VI.

Сценки из жизни студентов немецкого университета XVIII века. ▶

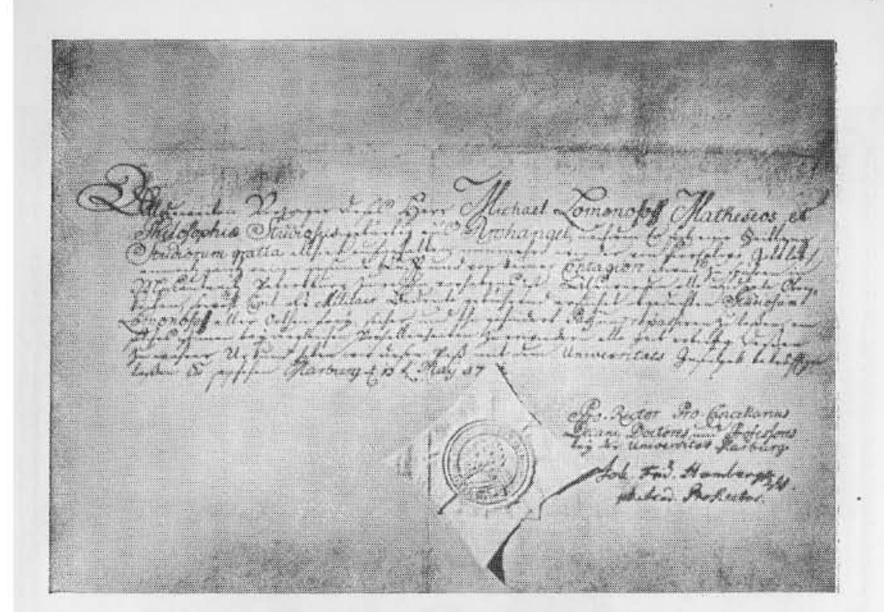
Вид г. Марбурга.





Вид г. Фрейберга. Акварель XVIII века.

Горные выработки в окрестностях Фрейберга. XVIII век.



Паспорт, выданный Марбургским университетом Ломоносову 13 мая 1741 года.

ПИСЬМО
О ПРА́ВИЛАХЪ
РОССІЙСКАГО СТИХОТВОРСТВА (*)

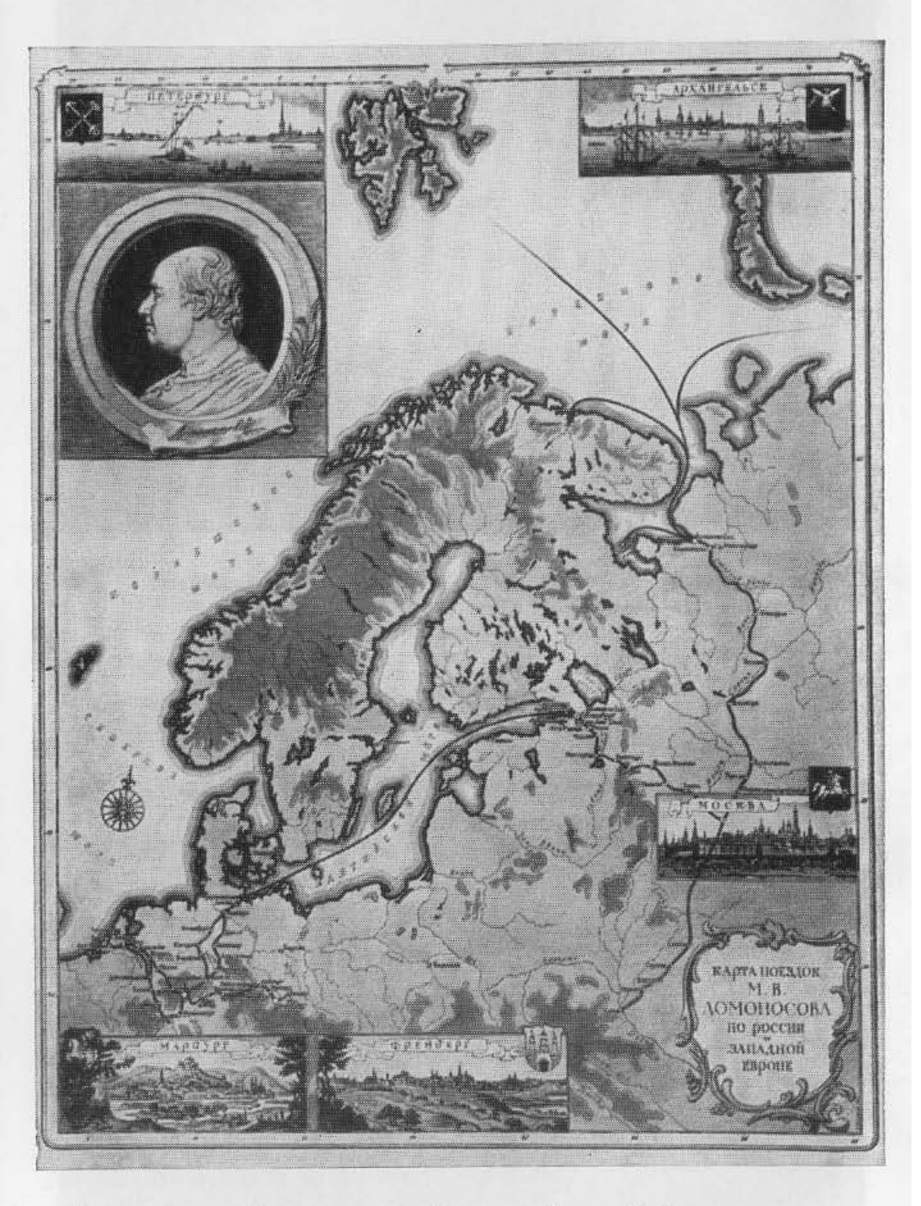
ПОЧТЕННѢЙШІЕ ГОСПОДА!

Ода, которую Вашему разсужденію вручить нынѣ высокую честь имѣю, ничто иное есть, какъ только превеликія оныя радости плодъ, которую Непобѣдимѣйшія Нашея МОНАРХИНИ преславная надъ непріятелями побѣда, въ вѣрномъ и ревностномъ моемъ сердцѣ возбудила. Моя продерзость, васъ неискуснымъ перомъ утруждать, только отъ усердныя къ отечеству и его слову любви происходитъ. Подлинно, что для ску-

А 2

(*) Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ письма сего видно, что Авторъ пи-

«Письмо о правилах Российского стихотворства». 1739 год.



Карта поездок Ломоносова по России и Западной Европе.

своей стороны, все возможное, чтобы вызволить его из беды. Наконец он наносит решающий удар: «...уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, — писал Ломоносов, — кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтобы, улуча государыню где при выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он их заставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона (Лестока. — *Е. Л.*) указала Нартова отрешить от Канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему».

Шумахер был признан виновным лишь в присвоении академического вина на сумму 109 рублей 38 копеек. «Бич» ударил по самим жалобщикам.

Ломоносов близко к сердцу принял эту победу зла над добром, лжи над правдою. Более всего его возмутило поведение ученых, поддержавших советника Канцелярии, — и прежде всего: профессора истории Миллера, профессора астрономии и конференц-секретаря Винсгейма и своего бывшего преподавателя физики Крафта (который, кстати, был родственником Шумахера), не говоря уже о подлом поступке канцеляриста Худякова.

Для Ломоносова вопрос стоял предельно благородно и просто: если Шумахер — злейший враг России (а это неопровержимо доказывалось фактами), то русский, оказавший ему услугу, достоин презрения; если Шумахер — злейший враг науки (что также безусловно подтверждалось), то ученые, защищавшие его, утратили не только свой нравственный, но и профессиональный престиж. Ведь в ситуации с Шумахером требовалось лишь одно: беспристрастное проведение расследования, то есть выяснение истины, и если бы это было сделано, интересы России, русской науки, восторжествовали сами собой. Миллер, Винсгейм, Крафт оскорбили два самых высоких для Ломоносова понятия: Истину и Россию. К таким людям он был беспощаден. В своих отношениях к Миллеру Ломоносов до самой смерти не смог преодолеть сильнейшей неприязни (несмотря на то, что этот ученый впоследствии довольно горячо выступал против Шумахера). То же чувство он испытывал к Крафту и Винсгейму.

Не имея возможности восстановить справедливость, прямодушный Ломоносов не считал нужным скрывать свое отношение к противнику.

Осенью и зимою 1742—1743 годов происходит целый ряд столкновений Ломоносова с профессорами и служащими Академии. Еще до назначения следственной комиссии по делу о шумахеровых злоупотреблениях у Ломоносова случались стычки с соседями по дому из немцев, которые сами не всегда отличались «лояльностью» по отношению к русским жильцам. Бывало, что и бесчинствовали по пьяному делу, врываясь в чужие квартиры.

25 сентября 1742 года в поисках пропавшего полушубка Ломоносов толкнулся к своему соседу, академическому садовнику Иоганну Штурму. У того были гости, и шла шумная пирушка. Появление русского «варвара» встретили недружелюбными выкриками. Тут-то он и показал, что такое «варвар» на самом деле. К тому же еще и разъяренный. Пока сам И. Штурм бегал за караулом, Ломоносов со всей «скифской» беспощадностью обрушился на оставшихся: ухватив деревянную болванку, на которую И. Штурм вешал свой парик, он выгнал гостей на улицу (при этом беременная жена И. Штурма должна была спасаться через окно), сокрушил мебель, расколотил зеркало, изрубил шпагой дверь. Порядком избитые, но пришедшие в себя гости «по-тевтонски» организованно ответили ему. Пятеро караульных со старостой, которых привел Штурм, не без труда препроводили Ломоносова на съезжую — с разбитым коленом, помятой грудной клеткой, в крови и кровью харкающего, но рвущегося в бой (правда, потом он несколько дней не мог выйти из дому). Заведенное на него дело не двинулось, ибо 30 сентября началось следствие над Шумахером. Против Ломоносова в эту пору было возбуждено еще несколько дел о «бое и бесчестии», которые не сдавались в архив вплоть до 1780-х годов, когда его уже не было на свете.

Но главные столкновения Ломоносова с Академией начались во время следствия над Шумахером. Назначенный советником Канцелярии (на место Шумахера) Нартов 9 октября включил Ломоносова в число своих помощников «для разбирания вещей». 11 октября академический сторож Глухов рассказал, что во время его дежурств унтер-библиотекарь Тауберт (родственник и соратник Шумахера), «приходя в Канцелярию и старую судейскую, берет разные письма большими связками и носит к себе вверх, в третий департамент, в данную ему каморку». Стало ясно, что люди Шумахера, находившегося под арестом, будут использовать любую возможность, чтобы замести грязные следы своего патрона. (И действительно: 14 октября группа академических служащих во главе с комиссаром Михаэлем Камером сообщила в Следственную комиссию, что Тауберт вновь выносил из опечатанной комнаты письма.)

Вот почему, когда 13 октября Ломоносов выдавал из архива Академического собрания конференц-секретарю профессору Винсгейму (из друзей Шумахера) необходимые тому бумаги, он позволил себе говорить с ним «о разных делах ругательно и с насмешками». Присутствовавшие при этом Камер и копиист Пухорт также не удержались от разных «своевольств». 14 октября Ломоносов с переводчиком Иваном Горлицким «под видом осматривания печатей» помешал Академическому собранию «продолжать свои дела». Люди Шумахера в Академическом собрании инспирировали 3 декабря подачу коллективной жалобы в Следственную комиссию на Ломоносова, Горлицкого, Камера и Пухорта. 31 декабря члены собрания подали еще одну жалобу на них.

На этой стадии конфликт Ломоносова с Академией завершился тем, что 21 февраля 1743 года Академическое собрание запретило ему посещать свои заседания до тех пор, пока Следственная комиссия не вынесет решения по жалобам, поданным на него. Тяжелее наказания и быть не могло: Ломоносова отлучили от наук. Дважды (25 февраля и 11 апреля) он пытался присутствовать в Академическом собрании, и дважды был выдворяем. Не помогло и вмешательство Нартова. 15 апреля в ответ на его запрос о причинах запрета Ломоносову быть на заседаниях конференц-секретарь Винсгейм повторил ему то, что говорилось Ломоносову: до решения Следственной комиссии он присутствовать в Академическом собрании не будет.

Вот тут-то Ломоносов сам пошел на открытый разрыв уже с академиками. До сих пор у него были стычки с академической челядью, которая, хоть и посмеивалась про себя сначала над великовозрастным студентом, потом над 31-летним адъюнктом, но не могла восприниматься Ломоносовым всерьез. Во всех предыдущих столкновениях, как бы тяжело они ни завершались, он всегда мог сказать себе: у меня есть моя наука, которая нужна моей стране; у меня столько всего впереди, что о нынешней невзгоде можно позабыть как о деле нестоящем. После того, как ему запретили посещать Академическое собрание (то есть объявили персоной нонграта[1] в самой науке), его, по существу, «прижали к стене», получалось так, что у него и впереди ничего уже не было. В ту пору мир для Ломоносова переворотился, естественный порядок вещей был нарушен: Следственная комиссия, наряженная ведать шумахерово злодейство и воровство, занялась разбором текущих жалоб и неурядиц, то есть не своим, не тем делом...

Знаменитая выходка Ломоносова в Академическом собрании 26 апреля 1743 года была жестом отчаяния загнанного в угол человека, который, сознавая свое профессиональное превосходство над большинством членов собрания, отказавшего ему в уважении, сам отказал ему в собственном уважении. 6 мая в Следственную комиссию поступила новая жалоба на Ломоносова, в которой говорилось: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов... приходил в ту палату, где профессоры для конференций заседают и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо них прошел в Географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи мимо профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный

[1] «Нежелательной» *(лат.)*.

знак самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в оный Географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, что и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором».

Для правильного понимания этого документа важны такие, например, детали: адъюнкта Трускота Ломоносов «бесчестил» за то, что тот не знает латыни и что его «Шумахер сделал»; о профессоре Винсгейме он говорил, что астрономический календарь, им составленный, никуда не годится и что он, Ломоносов, может сочинить лучше; наконец, студенты, при которых в Географическом департаменте завершилось выступление Ломоносова, были не просто студенты, но его соученики по Славяно-греко-латинской академии, то есть живые свидетели и жертвы шумахерова «воровства». Иными словами, Ломоносов вменял в вину своим противникам в этом конфликте (а один из них, Винсгейм, был ни много ни мало конференц-секретарем Академического собрания) их научную некомпетентность. По внутренней сущности своих претензий, скажем, к Винсгейму он был прав (а ведь именно Винсгейм предлагал при всех Ломоносову покинуть Академическое собрание всякий раз, когда тот после запрета являлся на его заседания). Но юридически «поругание и бесчестие», учиненные Ломоносовым 26 апреля, были все-таки поруганием и бесчестием.

Вот почему жалоба от 6 мая заканчивалась просьбой «учинить надлежащую праведную сатисфакцию, без чего Академия более состоять не может, потому что ежели нам в таком поругании и бесчестии остаться, то никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет, также и мы за недостойных признавать должны будем, без возвращения чести нашей, служить ее императорскому величеству при Академии».

Этот документ был подписан одиннадцатью академиками и адъюнктами. Вдохновителем и главою похода против Ломоносова был недавно вернувшийся из сибирской экспедиции профессор Миллер. В презрительной реплике Ломоносова о том, что Трускота адъюнктом «Шумахер сделал», Миллер (которого в двадцать пять лет профессором, несмотря на отсутствие самостоятельных исследований и согласия среди академиков по поводу его кандидатуры, «сделал» все тот же Шумахер), несомненно, видел выпад и в свой адрес. Неудивительно, что как раз Миллер стал автором формулы, выдвинутой врагами русской науки в качестве первоочередной

задачи, а именно — «освобождение Академии от Ломоносова».

28 мая Ломоносова вызвали на допрос в Следственную комиссию. Тут он решил вести себя в соответствии с буквой юриспруденции и, явившись в комиссию, наотрез отказался отвечать на ее вопросы, заявив, что «подчинен Академии наук, а не комиссии» и «по-пустому ответствовать» не намерен. Комиссия отдала приказ арестовать Ломоносова, что и было тут же исполнено.

Поведение Ломоносова в этом инциденте приводит на память его столкновение с горным советником во Фрейберге — Генкелем. Сейчас, как и тогда, Ломоносов менее всего был склонен раскаиваться в содеянном. По существу, Ломоносов, утверждая очевидное, был прав: Шумахер был вором, Трускот не смог говорить по-латыни (что для ученого в ту пору было постыдно), а Винсгейм сам дискредитировал себя, поддержав вора. Единственное чем по-настоящему был удручен Ломоносов — это невозможностью продолжать свои исследования и лекции. В июне он пишет доношение с просьбой об освобождении из-под стражи (оставаясь, как и во Фрейберге, при своей оценке случившегося):

«В императорскую Академию наук доносит тоя же Академии наук адъюнкт Михайло Васильевич Ломоносов, а о чем мое доношение, тому следуют пункты:

1

Минувшего майя 27 дня сего 1743 года в Следственной комиссии били челом на меня, нижайшего, профессоры Академии наук якобы в бесчестии оных профессоров, и по тому их челобитью приказала меня помянутая комиссия арестовать, под которым арестом содержусь я, нижайший, и по сие число, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций.

2

А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я, нижайший, других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я, нижайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении.

И того ради императорскую Академию наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить и о сем моем доношении учинить милостивое решение.

Сие доношение писал
Адъюнкт Михайло Ломоносов
и руку приложил».

Замечательно в этом документе то, что Ломоносов оценивает свое положение, прежде всего не с точки зрения личной обиды, но исходя из интересов государства. Тут не мелкое личное тщеславие ущемляло, а национальная гордость.

«Милостивого решения» не последовало. Напротив, в июле 1743 года Ломоносов был признан виновным по нескольким статьям, и ему грозило не только увольнение из Академии, но и наказание плетьми. Вот так и получилось, что теперь Шумахер — злейший враг России и науки — и до самозабвения им преданный Ломоносов были поставлены на одну доску, и дальнейшая их судьба зависела от «высочайшей воли» и «всемилостивейшего рассуждения императорского величества». В трудную для себя минуту Ломоносов обращается к поэзии. В августе 1743 года он перелагает стихами содержание 143-го псалма, в котором были выражены мысли и чувства, в высшей степени созвучные его тогдашнему настроению:

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой;
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.

Вещает ложь язык врагов,
Десница их полна враждою,
Уста обильны суетою,
Скрывают в сердце злобный ков...

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.

Только 12 января 1744 года Сенат, заслушав доклад Следственной комиссии, постановил: «Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных им продерзостях у профессоров просить прощения» и жалованье ему в течение года выдавать «половинное».

Как верно заметил один биограф Ломоносова, это была «последняя вспышка его молодости». Отбывая наказание, он о многом передумал, многое понял. Главный урок, вынесенный им из этой истории, заключался примерно в следующем: шумахерам, по сути дела, только на руку подобные взрывы искреннего негодования — посредственность легко, играючи расправляется с непосредственностью; у шумахеров нет ничего святого — им нечего терять, оттого они кажутся необоримыми; на поверку шумахеры трусливы и больше всего на свете боятся правды; правду следует отстаивать не перед ними — она им не нужна; правда нужна России, и в этом ее сила; поэтому надо всю свою деятельность построить так, чтобы правда (в самом широком смысле) стала ее достоянием: правда науки, поэзии, истории и, конечно же, и сама эта правда о шумахерах...

ГЛАВА II

Тогда-то грянул новый блеск с высот...
Данте

Вновь и вновь обозревая начальную, столь бурную и драматическую, пору самостоятельной работы Ломоносова в Академии, нельзя не заметить, что именно непобедимая любовь к Истине и самозабвенная любовь к России, эта *двуединая* центростремительная сила всей его Судьбы заставляла его вести себя так, как он вел, а не иначе. Вспыльчивый темперамент его, «благородная упрямка» (как он сам определял потом эту свою черту), непосредственность натуры — все это величины, как бы производные от названной Любви. Сперва она обернулась для него нетерпением, и только. Нетерпением всевытесняющим, абсолютным, когда кажется, что, если сейчас, сию минуту не сокрушить врагов Истины и России, то завтра уже будет поздно. Тут все шло в ход — вплоть до «болвана, на чем парики вешают»... Затем она же, все та же Любовь, заставила его пройти через унижение и произнести предписанную формулу извинения: «Присутствующих знаменитых академиков, так же как и отсутствующих, униженнейше прошу и заклинаю благосклонно простить меня, сознающего чудовищные размеры моего непростительного проступка и самым честным образом обещаю исправиться». И все это при сознании глубокой неправоты и порочности оппонентов. Вот тут-то Любовь и укрепила его терпением. Он увидел, что любовь нетерпеливая чревата разрушительными последствиями и для Истины и для России, что она, быть может, — и не к Истине и не к России, а более — к себе самому. Такая любовь зиждилась на непрочном основании. Иными словами, этическую задачу, вставшую перед Ломоносовым в начале 1740-х годов, можно определить примерно следующим образом: быть в своей Любви на уровне ее предмета, построить и творчество и поведение свое так, чтобы вся его деятельность обернулась благими последствиями и для Истины и для России. Победить вредное можно, лишь *утверждая* благое. Победить Шумахера можно, лишь утверждая себя в Академии. Для этого же надо сперва победить самого себя. Так или иначе, 27 января 1744 года, когда в Академическом собрании Шу-

махер, Винсгейм, Миллер и все остальные недруги с удовлетворением выслушивали его покаяние, думая, что Ломоносов сломлен, ослаблен и подавлен, именно тогда-то он и начал подниматься в полный рост, чтобы утвердиться в Академии неколебимо и прочно. «Славнейшую победу получает тот, кто себя побеждает», — напишет Ломоносов впоследствии.

Да и то сказать: идеи и догадки, уже тогда тревожившие «сию душу, исполненную страстей», как писал о Ломоносове А. С. Пушкин, были настолько грандиозны, сулили такие перспективы для русской науки и человеческого познания вообще, что он просто не имел права ставить их под удар. Сами идеи лишали его этого права.

Попробуем перечитать наиболее важные и характерные страницы из написанного Ломоносовым в бурные и опасные для его академической карьеры 1741—1744 годы. Это поможет не только объективнее и глубже понять метаморфозы его поведения в Академии в ту пору, но и по достоинству оценить совершенно феноменальную быстроту созревания его гения. Так стремительно, как ломоносовский гений, в истории всей новой русской культуры созревал только гений Пушкина. Причем здесь имеется в виду именно стремительность *созревания,* которое предполагает *полное выражение* гения в достойных его величия созданиях, а не только блестящий, ошеломляющий, но до поры просто многообещающий дебют. Кстати, дебют-то Ломоносова, по нынешним понятиям, был достаточно поздним (в поэзии и языке — в двадцать восемь лет, в естествознании — в тридцать). А вот стремительность полного созревания его феноменальна.

Обратимся сначала к ломоносовскому естественнонаучному наследию той поры. Причем здесь более всего интересен Ломоносов-мыслитель и его отношение к борьбе идей в тогдашнем естествознании, ибо сам же он в эти годы (да, впрочем, и в дальнейшем) настаивал на том, что естествознание (будь то физика, химия, или физическая химия, основоположником которой он был, или натуральная история и т. д.) должно стремиться к «философскому познанию» вещей и их отношений.

1

Классическое естествознание, на котором зиждется и современная наука, сформировалось в XVI—XVIII веках. Великие географические открытия в эпоху Возрождения, деятельность Николая Коперника, Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоганна Кеплера, Галилео Галилея, Френсиса Бэкона, Рене Декарта, Блеза Паскаля, Христиана Гюйгенса, Исаака Ньютона, Антони Левенгука, Готфрида Лейбница и многих других ученых — все это не только «загрунтовало» старую картину мира, начав новую, неизмеримо сложнейшую, но и показало тяжелую для человечества неизбежность фундаментальной перестройки самого образа мышления, более того: неизбежность коренного перерождения этических отношений человечества не только внутри себя, но и к природе и универсальным законам, управляющим всем мировым развитием. Сами открытия уже свидетельствовали о том, что процесс этот начался: столь стремительное и мощное накопление новых, в полном смысле слова научных данных о мире было бы невозможно без перестройки умов.

Между тем истины, открытые наукой, были жестоки. Целых семь тысячелетий человечество было уверено в том, что Земля является центром мира, а человек — главным на ней существом. Со стороны бога (богов) человечество и дом его пользовались преимущественным вниманием. Вне этой веры человеческое познание было бессмысленно, превращалось в коллективное многовековое безумие. И вот под этот, казалось бы, незыблемый фундамент всеобщего мировосприятия в 1543 году было подведено взрывное устройство поистине страшной разрушительной силы: Коперник доказал, что это не так и что по меньшей мере еще шесть планет претендуют на равное внимание со стороны вседержащей и всевидящей силы.

Чтобы дать поэтически конкретное представление о том начальном ужасе вселенского одиночества, который овладел тогда умами, мы позволим себе, отчасти забегая вперед, привести здесь ломоносовские строки, живо выражающие смятение человека перед зрелищем непознанной мировой бездны (строки, написанные в 1743 году, когда конфликт с Шумахером и Академией достиг кульминационной точки):

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен.

К последним двум строкам у Ломоносова были варианты, из которых самым пронзительным по силе, скажем так, познавательного отчаяния был следующий:

Как персть между высоких гор,
Так гибнет в ней мой ум и взор.

Сразу заметим, что у Ломоносова эти мысли и чувства не являются выражением окончательного отношения к непознанной вселенной. Это у него лишь начало, за которым следует трудный путь восхождения по ступеням познания. Но вот то, что Ломоносов выражает здесь не только свои переживания и размышления, но и общечеловеческие, необходимо иметь в виду. Мы еще не раз увидим, как в поэзии Ломоносова целые эпохи культурной истории человечества, их образ мыслей найдут свой поэтический образ.

Смятение, овладевшее умами на рубеже XVI—XVII веков, разрешилось в двух главных направлениях европейской мысли нового времени: в философском оптимизме и философском пессимизме, связанных прежде всего с вопросом о границах и возможностях познания. Великие имена, символизирующие разные акты высокой трагедии познания, стоят у истоков современного естествознания.

Джордано Бруно, воспевший в своей поэзии «героический энтузиазм», который у него всегда сопутствует созерцанию бесконечной вселенной, бесстрашно устремившийся своею мыслью к отдаленным мирам, возможно, обитаемым, не знавший сомнений в этом захватывающем дух полете, сгорает — увы! — на костре, который в то же время был высоким костром любви к Истине. Здесь трагедия, происходящая от столкновения непоколебимого внутри себя сознания с рутиной старых представлений о мире.

Обратная сторона этого героического энтузиазма обнажается в «Мыслях» Паскаля, который не удовлетворился одной только естественнонаучной истиной и попытался соотнести перемены в физической картине мира с жизнью души человеческой. В той беспощадности, с которой он обрисовал космическое сиротство человека, было не меньше героического энтузиазма и не меньше поводов для столкновений с господствующей рутиной мышления (и хотя до физического уничтожения Паскаля дело не дошло, жизнь его была исполнена не только и не столько телесных, сколько духовных страданий, происходивших как от губительного соприкосновения с внешними силами, так и от внутреннего смятения, не менее губительного). Вот, если так можно выразиться, монолог главного героя паскалевой трагедии, буквально потрясающий душу: «Я не знаю, кто меня послал в мир, что такое я. Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мое тело, чувства, душа, что такое та часть моего «я», которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте, почему то короткое время, в которое дано мне жить, назначено именно в этой, а не в другой точке целой вечности, предшествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом; я как тень, продолжающаяся только мгновение и никогда не возвращающаяся. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть; но чего я больше всего не знаю, это смерть, которой не умею избежать. Как я не знаю, откуда пришел, так же точно не знаю, куда уйду... Вот мое положение: оно полно ничтожности, слабости, мрака».

За всем этим вставал вопрос: в состоянии ли человеческая мысль, освобождавшаяся от церковной опеки, охватить все многообразие зримого мира, полно и гармонично объяснить пугающе сложную картину природных явлений, которая вырисовывалась на основе данных, поставляемых новым естествознанием? Отсюда непосредственно вытекал другой важный вопрос: не означает ли освобождение философии и науки нового рабства, а именно: слепого, самоубийственного подчинения непознанной природе, которую, быть может, люди никогда (во всей совокупности прошлых, нынешних и будущих поколений) не сумеют постичь до конца?

Проблема соотношения веры и знания, религии и науки стала одной из самых главных в эпоху Просвещения и осмыслялась как важнейшая этическая задача мыслящего человечества, решение которой в первую очередь зависело от ответа на вопрос о пределах человеческого познания. В творческом наследии великих философских и научных умов XVII—XVIII веков гносеология всегда шла об руку с этикой.

Тот, кто представляет себе борьбу науки и религии в ту пору таким образом, что существовал-де единый и сплоченный стан ученых-безбожников в злобном окружении мракобесов-церковников, сознательно или бессознательно облегчает работу своей души, предпочитает иметь дело с желаемым, а не действительным положением вещей и, «выпрямляя» трудный путь познания, по которому шли великие мыслители, подходит к ним с неадекватными критериями, поступает по отношению к ним попросту некорректно. Церковники вели ожесточенную борьбу с учеными вовсе не потому, что те все сплошь отвергали Бога, а потому, что, даже умирая с мыслью о Боге, они в качестве альтернативы вере выдвигали знание как единственно реальное средство постижения мира и творца, следовательно, спасения рода человеческого. В количественном пределе церковь оказывалась ненужной и, почуяв смертельную опасность, действительно повела атаку на новую науку. Что же касается самих ученых, то ни один из них в ту пору идеи Бога, повторяем, не отвергал (деизм) и не мог, подобно Лапласу, сказать, что ему «не приходилось испытывать нужду в этой гипотезе».

Эпоха титанов отбушевала и остановилась на полпути между небом и едва опознанной Землею, оставив своим пре-

емникам решать задачи колоссального нравственного значения.

«Знание есть сила», — в этом афоризме Френсиса Бэкона встретились две великие эпохи: философ, живший на рубеже XVI и XVII веков, одною фразой примирил в высшем единстве противоречие между отбушевавшей стихийной *силой* Возрождения и грядущим ясным *знанием* Просвещения. Вся философия Бэкона глубоко уходит своими корнями в «только что открытую» Ренессансом землю: предпосылкой достоверного знания он считает объяснение мира из самого мира. Выводя науку из круга теологических дисциплин, ставя ее лицом к лицу с природой, Бэкон закладывает принципиально новые основы познания.

Вместе с тем Бэкон и не думал отвергать Бога. «Философия, — писал он, — если ее зачерпнуть немного, уводит от Бога; если зачерпнуть глубже — приводит к нему». Вот почему симбиоз науки и религии был явлением отнюдь не редким в ту пору: «Бойль писал богословские трактаты и учредил особую кафедру для «научной» борьбы с атеизмом. Знаменитый математик Уоллис... издал множество богословских сочинений; учитель Ньютона Барроу был священником. Гук написал богословское исследование о «Вавилонском столпотворении». Многие ученики и друзья Ньютона были одновременно богословами. Ньютон не представлял исключения в этом смысле...» С этой характеристикой, данной академиком С. И. Вавиловым предшественникам и современникам Ньютона, трудно не согласиться.

Аналогичное положение было не только в Англии XVII века, но и в других странах. Будет ли хоть когда-нибудь доступно человеческому сознанию то, что доступно сознанию Бога? — этот вопрос мучил ученых Европы постоянно, и чем больше естественнонаучных открытий они делали, тем мучительнее он звучал. Галилей, размышляя над этим вопросом, пришел к знаменательному выводу: «Божественный разум знает... бесконечно больше истин, ибо он объемлет их все, но в тех немногих, которые постиг человеческий разум, я думаю, его познание по объективной достоверности равно божественному, ибо оно приходит к пониманию их необходимости, а высшей степени достоверности не существует».

В этом высказывании Галилея выразилось новое представление о критериях научной истины и о самом характере ее: наивно было бы полагать, что посредством науки один человек или человечество в целом сможет однажды достичь абсолютного, все объясняющего и «закрывающего» все вопросы, итогового понятия о вселенной. Наука только доказывает, что «человечество не обладает научной истиной и что последняя является лишь его отдаленной целью», она заменяет, по выражению известного историка науки Л. Ольшки, «успокоительное убеждение о существовании уже законченного знания природы волнующим представлением об ис-

тине как результате времени, сомнений, прогресса в отдаленном будущем».

Перестройка в умах необходимо проявилась и в поисках новых методов познания. На смену средневековой схоластике, где истина задана наперед, а ученые лишь изощряются в ее безупречном доказательстве, пришел индуктивный метод, провозглашенный Бэконом. В «Новой Атлантиде» он проиллюстрировал роль правильного метода в науке и одновременно ответственность науки перед людьми (поскольку она уже успела показать свою общественную полезность и должна была неизбежно увеличить ее в будущем) посредством такого сравнения: «...хромой калека, идущий по верной дороге, может обогнать рысака, если тот бежит по неправильному пути. Даже более того, чем быстрее бежит рысак, раз сбившись с пути, тем дальше оставит его за собой калека». Для философии нового времени эта притча о калеке и рысаке стала чем-то вроде принадлежащей философу Зенону Элейскому знаменитой эпории (притчи) об Ахилле и черепахе в пору античности. Она приобрела всеобщее значение (впрочем, к Ломоносову она применима лишь постольку, поскольку ее можно варьировать: он, если так позволительно выразиться, был «рысаком», но устремившимся как раз по правильному пути).

Выдающуюся роль в перестройке умов с точки зрения методологии мышления сыграла философия и физика Декарта, который в «Началах философии» писал: «Нужно прежде всего освободиться от наших предрассудков, подготовиться к тому, чтобы откинуть все взгляды, принятые некогда на веру, пока не подвергнем их новой проверке». Принцип радикального сомнения, сформулированный и последовательно проведенный Декартом, «открыл дорогу к вольному философствованию и вящему наук приращению», как скажет о нем Ломоносов именно в 1740-е годы (о чем речь еще впереди). Все подвергать сомнению — этот картезианский лозунг дерзко был направлен против полуторатысячелетней всеевропейской веры в абсолютную безупречность теологических трактовок мира. Подобно шекспировскому поэту, Декарт «дал имя и место» тому, что носилось в атмосфере XVII века. Можно смело утверждать, что сомнение являлось важнейшей составляющей частью интеллектуального потенциала того типа личности, который начал формироваться в новое время.

Освобождаясь из-под власти старых представлений о мире, человеческая мысль закономерно начинает новый период своей истории с сомнения во всем, что раньше принималось на веру. Человек нового времени, вступая на широкий простор «вольного философствования и вящего наук приращения», отстаивает свое право сомневаться, которое в его глазах едва ли не равнозначно духовной свободе. Причем сомнение, как его понимал Декарт, ни в коем случае не следует путать с тотальным скепсисом или с «нерешительно-

стью», «рефлексией» и прочими «неудобствами» интровертной личности более позднего времени. Рациональное сомнение в принципе противостоит подобному идейно-психологическому комплексу. Оно у Декарта не является последним словом гносеологического убеждения, но служит необходимой предпосылкой, принципиальным условием любого исследования, любой попытки осмыслить мир — методологическим залогом эффективности и достоверности человеческого познания во всех его формах.

Правильно поставленный метод позволил ему утвердить в своей физике идею материального единства вселенной и дискредитировать, как писал видный советский философ В. Асмус, «одну из характернейших мыслей средневековья — убеждение *в качественной иерархичности*, качественной разнородности материального мира», абсолютной уверенности в том, что «различные сферы мира разнородны по существу, радикально, глубоким образом». Средневековое учение о стихиях (воде, земле, воздухе и огне) с их постепенным приближением к божественному свету (в огне уже нет почти ничего земного, это почти свет) заменялось учением о материальной и духовной субстанциях мира, о вихревом движении как универсальном способе существования неживой материи, о системе «случайных причин», посредством которых соединяются два мировых начала и становится возможным появление сознающей себя материи.

Декарт считал одним из важнейших средств познания научную гипотезу и выдвинул свое предположение о вихревом происхождении Солнечной системы (Солнце увлекло за собою часть мировой материи, которая последовала за ним, и воронки ее завихрений стали планетами). Он был основоположником и рациональной интуиции как одного из инструментов познания. «К числу величайших ошибок... следует причислить, быть может, ошибку тех, кто хочет определить то, что должно только просто знать», — писал Декарт и приводил пример: «...было бы бесполезно определять, что такое белизна, чтобы сделать ее понятной слепому, тогда как для познания ее нам достаточно открыть глаза и увидеть белое...»

Ньютон, обмолвившийся однажды, что все достигнутое им было возможно, ибо он «стоял на плечах гигантов», против одного из этих гигантов — Декарта — выступил самым решительным образом именно по вопросу о методах познания: «Я не измышляю гипотез. Все же, что не выводится из явлений, должно называться *гипотезою;* гипотезам же метафизическим, механическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной философии». Физика как философия эксперимента (понимаемого широко: и в качестве опыта, и в качестве скрупулезного исследования), основанная на прочном фундаменте математики, нашла свое выдающееся воплощение в «Математических началах натуральной философии» Ньютона, которые были бы невозможны без необходимой «предуготовляющей» работы, проделанной гигантами XVI—XVII веков в особенности. «В истории естествознания, — писал С. И. Вавилов, — не было события более крупного, чем появление «Начал» Ньютона. Причина была в том, что эта книга подводила итоги всему сделанному за предшествующие тысячелетия в учении о простейших формах движения материи. Сложные перипетии развития механики, физики и астрономии, выраженные в именах Аристотеля, Птолемея, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, поглощались и заменялись гениальной ясностью и стройностью «Начал».

Книга Ньютона поражала прежде всего в этическом отношении, а именно: своею дерзостью. Человек смело вторгался в сферы, дотоле находившиеся в полной, неоспоримой компетенции творца. Оказалось, что человеческий разум в состоянии создать такую систему мира (третья книга «Начал» так и называлась «О системе мира»), которая по своей величественности, простоте, отлаженности, стройности и красоте едва ли не конгениальна творению самого Бога. Ученые, философы, поэты — все ошеломлены грандиозностью выполненной задачи. Эпитеты «несравненный», «божественный» сопровождают имя Ньютона в устах современников до самой его смерти. Выдающийся английский просветитель, поэт Александр Поуп точно и просто выразил это восхищение гениальной личностью Ньютона в следующем двустишии:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! — и вот явился Ньютон.

(Перевод С. Я. Маршака)

Как бы отвечая на этот шум вокруг его имени, Ньютон писал: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камень более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время как великий океан истины простирается передо мной неисследованным». В отличие от своих апологетов (как некомпетентных, так и компетентных) он далек был от мысли праздновать триумф. Громадный вопрос о причине всемирного тяготения в его безупречной системе оставался без ответа. В поисках его Ньютон долго колебался. Верный своему девизу «Я не измышляю гипотез», он стремился и здесь быть максимально объективным, следовать данным опыта, а не собственной склонности в пользу того или иного ответа на этот важнейший из вопросов. И если в конце жизни Ньютон все-таки пришел к тому, что, по словам С. И. Вавилова, «серьезно полагал пустое пространство наполненным Богом..., регулирующим всемирное тяготение, то

его дорога к этому выводу была вымощена сомнениями, и еще в 1693 году он писал: «Тяготение должно вызываться агентом, постоянно действующим по определенным законам. Является ли, однако, этот агент материальным или нематериальным, *решать это я предоставил моим читателям»* (подчеркнуто мною. — *Е. Л.*).

Приглашая своих читателей самих в путешествие по «великому океану истины», который по-прежнему «простирался» перед человечеством «неисследованным», Ньютон тем самым показывал, что новая наука не для тех, чей ум жаждет пристани, что Истина одна на всех, но каждый к ней приходит по-своему. Это было совершенно в духе времени (в подтверждение можно привести факт открытия дифференциального исчисления Ньютоном и Лейбницем независимо друг от друга).

Словом, революционность переворота в умах в XVI—XVIII веках, о колоссальном этическом подтексте которого надо помнить всегда, далеко не исчерпывалась одним только «информативным» аспектом (количественное накопление новых знаний о мире). Ведь освобождавшиеся науки на языке философских аксиом, теорем, математических символов высказывали *идеи, которые позволяли человеку не только подняться* на новую ступень в постижении природы, но и себя самого понять по-новому. Бунт разума был гуманистичен в высоком смысле слова. В афоризме Бэкона «Знание — сила», в аксиоме Декарта «Я мыслю, следовательно — существую», в положении Лейбница о том, что любая монада (от низших вплоть до самой совершенной, то есть Бога) является «живым зеркалом вселенной», содержались черты принципиально иной (по сравнению со средневековой) концепции человека. Что же касается истории собственно научного мышления, то здесь величайшим завоеванием стали размышления о методе познания Бэкона, Декарта, Ньютона. В сущности, реальной альтернативой вере имела шансы стать только такая наука, которая зиждилась на правильном методе. Неслучайно именно по этому вопросу велась тогда ожесточенная полемика, которой не миновал и не мог миновать Ломоносов в начале своего научного творчества.

2

«Россия молодая» ничего подобного не знала. В допетровскую эпоху элементы философской и научной мысли были растворены в едином потоке общественного сознания, религиозного в своей основе, — точнее сказать — еще не выделялись из него. Просветительские реформы первой четверти XVIII века создали культурную ситуацию, в которой в принципе стало возможным зарождение новой традиции мысли, отличной от религиозной, равно как и появление соответствующих проблем. Но, чтобы проблемы сделались актуальным фактом умственной жизни целого общества, а не отдельных его представителей, нужно было время для основательного внедрения в общественное сознание новых представлений о мире и человеке. Иначе говоря, предстояло еще накопить материал для полемики. Необходимую «предуготовляющую» работу в этом направлении проделали Феофан Прокопович и А. Д. Кантемир. И хотя Ломоносов, как мыслитель и естествоиспытатель, в сущности, мало им обязан, их философско-просветительская деятельность должна быть здесь учтена, ибо показывает накопление нового электричества в культурной атмосфере России первой половины XVIII века и неизбежность колоссального грозового разряда, именуемого Ломоносовым.

Феофан уже в раннем своем творчестве открывает доступ в литературу достижениям естественнонаучной мысли и философии. Так, в известном латинском стихотворении, обращенном к папе римскому в защиту Галилея, он сталкивает церковную и научную интерпретации мира, утверждая победу за последней и выражая эмоциональное сочувствие великому мыслителю: «Зачем ты мучишь, о нечестивый папа, усердного служителя природы? Чем, о жестокий тиран, заслужил этот старец такую участь? Папа, ты безумствуешь! Ведь он не трогает твоих миров и не вторгается со злым умыслом в твои священные области... Его земля истинная, твоя же ложная, его звезды создал Бог, а твои — обман». Здесь мы имеем дело с первой в русской литературе попыткой художественно воплотить деистическое отношение к миру. Явления природы выступают здесь как следствия божественной первопричины; изучая их, Галилей не вторгается в сферы, лежащие за пределами его научной компетенции, не подрывает оснований веры; нравственная оценка его деятельности недвусмысленная: борьба за истину есть подвиг. Здесь Феофан предвосхищает сходную постановку вопроса — о разделении, если так можно сказать, «сфер влияния» науки и религии, — с которой мы столкнемся впоследствии у Ломоносова в его работе «Явление Венеры на Солнце» (1761).

Еще более последовательным апологетом деистического мировоззрения выступает младший современник Феофана и его соратник по «Ученой дружине» Антиох Кантемир. У него получает дальнейшее развитие мысль Феофана о том, что в новое время утверждается новый критерий нравственной оценки человеческой жизни: просвещенный человек, стремящийся к познанию мира и себя в нем, добродетелен; невежда, ограничивающий себя лишь материально доступной сферой, низменен и слеп в своей вере в творца и потому — порочен. «Обыкновенное невежд мнение есть, — читаем в примечаниях к I сатире, — что все, которые многому книг чтению вдаются, напоследок не признают Бога. Весьма то ложно, понеже сколько кто величество и изрядный порядок

твари познает, что удобнее из книг бывает, столько больше чтить творца природным смыслом убеждается...».

Вообще роль творчества Кантемира в истории русского философского просветительства весьма велика. В примечаниях к сатирам, в переводе «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1730) Кантемир знакомил публику с различными философскими и научными системами древности и нового времени, излагал в популярной форме учения Птолемея и Коперника, Декарта и Ньютона, Сенеки и Пуффендорфа и многих других мыслителей, исходя из объективной оценки тогдашней культурной ситуации: «Мы до сих пор недостаточны в книгах философских...». Иными словами, Кантемир-просветитель (друг Монтескье и корреспондент Вольтера) видел свою задачу в приобщении читателей к богатствам мировой мысли, а через это — в привитии современникам вкуса к философскому осмыслению действительности.

Тот факт, что сатиры и перевод книги Фонтенеля поначалу были известны в списках, а многие годы спустя выпущены отдельными изданиями (кстати, второе издание «Разговоров» осуществлялось при участии Ломоносова), то есть вновь стали предметом всеобщего обсуждения, позволяет сделать вывод об их «сугубом» влиянии на интеллектуальную жизнь России (не только 1730-х, но и позже — 1740—1760-х годов).

Появление перевода Кантемира, в котором было дано популярное изложение основ гелиоцентрического мировоззрения, имело большое значение. Книга, разделенная на 6 частей («вечеров»), в «удобопонятной» форме живой беседы рассказывала о том, что Земля вращается вокруг своей оси и Солнца (I), о свойствах Луны как спутника Земли (II), об особенностях Венеры, Меркурия, Юпитера, Марса и Сатурна (IV), о том, что дальние звезды суть солнца со своими планетами, о космогонической гипотезе Декарта (V) и т. д.

Однако самое значительное произведение Кантемира натурфилософского характера — «Письма о природе и человеке» (1742), увидело свет лишь много более столетия спустя после его смерти и, таким образом, осталось недоступным для современников. Тем не менее историко-литературное значение «Писем» достаточно велико, ибо главная мировоззренческая проблема, затронутая в них, — проблема соотношения веры и знания, оказалась в высшей степени актуальной для всей русской мысли 1740—1760-х годов. Если в примечаниях к сатирам и в переводе «Разговоров о множестве миров» эта проблема рассматривалась в ряду других, то в «Письмах» она выдвигается на первый план, становится основным предметом философских раздумий автора.

Надо сказать, что «Письма о природе и человеке» не являются вполне оригинальным произведением Кантемира. В работе над ними он широко использовал главные положения сочинения Фенелона «Трактат о существовании и атрибутах Бога» (1713). Этот «Трактат» представляет собою характерный образчик «примирительного» решения вопроса о соотношении веры и знания. Общая его оценка содержится в «Истории русской общественной мысли» Г. В. Плеханова. Правда, Плеханов адресует свою оценку одному только Кантемиру и ни слова не говорит о Фенелоне (в его время еще не было известно о французском источнике «Писем»), но к тому, что он пишет о главной философской задаче произведения, которую совершенно справедливо усматривает в «физико-теологическом доказательстве» бытия Бога, следует прислушаться самым внимательным образом.

Плеханов считает, что сама идея использования данных науки для теодеции (то есть для доказательства бытия Божия) отражает исторически сложившийся культурный предел миропонимания не только русских (Кантемир), но и западноевропейских мыслителей (например, Ньютон). Далее он указывает на методологическую уязвимость подобного подхода, так как «для доказательства правильности физико-теологического довода Кантемир заранее предполагает его правильным». Наконец, Плеханов подчеркивает, что Кантемир был не первым и не последним, кто посвятил себя этой неблагодарной задаче, и что Кантемиру известным оправданием могла служить тогдашняя культурная ситуация в России: «Даже между передовыми французскими просветителями второй половины XVIII века, — и даже между деятелями великой революции, — очень немного было людей, достаточно смелых духом для того, чтобы совсем не оставить места «сокровенной силе» в своем представлении о вселенной. Совершенно несправедливо было бы требовать подобной смелости от русского просветителя первой половины этого столетия».

Впоследствии к «Трактату» Фенелона обратился Тредиаковский, взяв его за основу в своей работе над теолого-философской поэмой «Феонтия» (1754), где вопрос о соотношении веры и знания, религии и науки был решен в пользу веры и религии.

Так или иначе, к 1740-м годам основные проблемы, волновавшие философскую и научную мысль Западной Европы XVI—XVII веков, стали актуальными и для России. Причем собственно русская специфика постановки и решения этих проблем заключалась в том, что к ним обращались люди, далекие от естествознания. Феофан был в высшей степени компетентен в богословии и хорошо знал философию Просвещения, но перед ним стояла задача подчинения и той и другой государственному принципу (наука третировалась только как служанка монархии). Кантемир, хотя и был основательно осведомлен в истории философии и естествознания (о чем свидетельствуют примечания к сатирам и перевод «Разговоров о множестве миров»), но это была основатель-

ная осведомленность гуманитария, серьезного и умного дилетанта, который понимал науку вообще только как эмпирическую дисциплину, но не как новое мировоззрение со своим инструментарием познания, со своею внутренней логикой развития, со своим подходом к всеобщей и единственной Истине, которую ищет все человечество (ограниченность подобной трактовки науки вполне обозначилась в «Письмах о природе и человеке»). Точно так же позднее и Тредиаковский, имевший прежде всего превосходную гуманитарную подготовку (с уклоном в теологию и филологию), не сумел и не пожелал признать за новой наукой позитивное мировоззренческое содержание и все свои предпочтения отдал богословию, этой, с его точки зрения, науке наук.

Короче говоря, до выхода Ломоносова на самостоятельный творческий путь не было в России деятеля, который видел бы в науке созидательное культурное начало, открывающее и приумножающее величественность, осмысленность и красоту мира и, в процессе всего этого, духовно раскрепощающее человека. Как мы увидим, такой взгляд на науку был присущ ему с самого начала до самого конца его пути.

3

Ломоносов не оставил после себя в собственном смысле слова, философских сочинений. Однако характер и объем его культурной работы настоятельно требовали от него именно универсально философского осмысления всех многообразных ее направлений, что было бы невозможно, если бы ломоносовский духовный потенциал не заключал в себе того изначального (пожалуй, даже донаучного, априорного) качества, которое академиком С. И. Вавиловым было определено как «глубокое понимание неразрывной связи всех видов человеческой деятельности и культуры».

Несмотря на то, что в каждой отдельной области Ломоносову приходилось решать задачи весьма специальные, требующие основательных специальных же познаний, эта отличительная черта его творческой индивидуальности, эта органичная целостность взгляда на мир и человеческую культуру сопутствовали ему во всех его общих и частных просветительских начинаниях. Помимо чисто субъективных (гениальная одаренность, почти фанатическое трудолюбие и т. п.) причин того, что Ломоносов — поэт, ученый, государственный деятель — умел видеть мир «в дивной разности», не дробя при этом самой целостности восприятия, здесь имелись и объективные причины. Главной среди них следует назвать прежде всего прогрессивную *методологию* ломоносовского мышления.

Проблема выработки философского метода, адекватного новой картине мира, которая вырисовывалась на основе естественнонаучных данных в XVI—XVIII веках, требует особого рассмотрения. Будучи важной сама по себе, эта проблема должна быть поставлена здесь хотя бы потому, что ее рассмотрение, думается, помогает ответить на такой немаловажный вопрос: почему ни Феофан, ни Кантемир, ни, скажем, Тредиаковский (несмотря на энциклопедичность их познаний и широту творческих устремлений) не заняли в истории русской культуры того уникального места, которое по праву принадлежит Ломоносову, и только ему?

Будучи, по выражению С. И. Вавилова, «одним из величайших практических умов своего времени, Ломоносов всегда рассматривал мир с позиции естественного стихийного материализма». При этом у Ломоносова его стихийный материализм никогда не оборачивался заурядным, вульгарным эмпиризмом. Это тем более важно отметить, что в первой половине XVIII века многие философы и ученые слишком буквально, «по-вагнеровски» (если воспользоваться термином Гёте) воспринимали научное кредо Ньютона: «Я не измышляю гипотез». Направленное против последователей Декарта, ставивших на первое место в процессе познания дедуктивную работу разума (воображение, рациональную интуицию), это положение во времена Ломоносова грозило затормозить развитие философского и научного поиска, ограничить человеческое познание лишь пределами эмпирически постигаемой действительности.

Ломоносов уже в самом начале своего творческого пути с поразительным в молодом мыслителе чувством меры отдает должное и «картезианскому» и «ньютонианскому» подходу, не будучи удовлетворен ни тем, ни другим в отдельности, и пытается найти свой метод познания, в котором диалектически совместились бы рациональное и чувственное, теоретическое и практическое, интуитивное и опытное начала: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением. Но считаю необходимым сообразовать опыты с нуждами физики. Те, кто, собираясь извлечь из опыта истины, не берут с собой ничего, кроме собственных чувств, по большей части должны остаться ни с чем: ибо они или не замечают лучшего и необходимейшего, или не умеют воспользоваться тем, что видят или постигают при помощи остальных чувств».

Точно таким же чувством меры отмечено первое высказывание Ломоносова о месте «вышнего творца» в системе научного познания. Вопрос этот весьма сложен. Наивно было бы делать из Ломоносова атеиста, что, к сожалению, достаточно назойливо проделывается в научно-популярной литературе о нем. Идеи Бога он не отвергал, но понимал ее посвоему. Для Ломоносова с самого начала характерен гносеологический пафос отношения к Богу, творцу естественных законов: «У многих глубоко укоренилось убеждение, что метод философствования, опирающийся на атомы, либо не может объяснить происхождение вещей, либо, поскольку мо-

жет, отвергает Бога-творца. И в том, и в другом они, конечно, глубоко ошибаются, ибо нет никаких природных начал, которые могли бы яснее и полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения, и никаких, которые с большей настоятельностью требовали бы существования всемогущего двигателя. Пример объяснения творения дают следующие примеры». Примечательна последняя (никак, впрочем, не распространенная) фраза в этом высказывании: Ломоносов уже готовится к неизбежному, как он понимает, спору с церковниками, который со всей остротой и издержками того времени разгорится у него в 1750 — начале 1760-х годов.

Но самое главное здесь: как бы вскользь брошенное точное определение своей, скажем так, научно-методологической базы — «метод философствования, основанный на атомах». Ломоносов, уже в начале пути выступая убежденным атомистом, видит в этом атомистическом мировоззрении единственную возможность универсального истолкования физических процессов, характеризующих мировую бесконечность. Этим-то и было продиктовано следующее его высказывание, показывающее, насколько тесно связана будущая успешная реализация всех гениальных задатков его личности с правильным философским методом, благодаря которому сама реализация и стала возможной и который так рано был им выработан: «Сколь трудно полагать основания! Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний... Я однако отваживаюсь на это, опираясь на положение или изречение, что природа крепко держится своих законов и всюду одинакова».

Все эти высказывания взяты из записок Ломоносова, которые он вел для себя в первые годы по приезде из Германии и которые в дальнейшем, при систематизации его рукописного наследия, получили название «276 заметок по физике и корпускулярной философии» (1741—1743). Свою грандиозную программу «испытания натуры» Ломоносов начал составлять в ту пору, когда его положение в Петербургской Академии наук было в высшей степени неопределенным. Он думает о том, как избежать в своем методе крайностей картезианского и ньютонианского подходов — задача, достойная ученого высшего академического ранга, а его выдерживают студентом. Он размышляет о том, как посредством «метода философствования, опирающегося на атомы», «объяснить сущность материи и всеобщего движения» и постичь законы, по которым действует «всемогущий двигатель», а общаться ему приходится с Шумахером, который, со своей стороны, пытается постичь его самого, чтобы приспособить уже к своим законам, и потому сначала выжидает, но, убедившись в невозможности такого приспособления, начинает чинить ему препятствия. Он намеревается «полагать основания» и уже отваживается «охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний», а ему даже не позволяют присутствовать на заседаниях ученого собрания (с 8 июня 1741 года по 11 мая 1742 года вследствие шумахеровых проволочек, а потом — уже по собственной вине). Когда читаешь все созданное и задуманное Ломоносовым в 1741—1743 годах и соотносишь это с тогдашними обстоятельствами его работы в Академии, вывод о неизбежности взрыва напрашивается сам собою. Слишком уж велика была разница в давлениях! «Клокочущее сердце» Ломоносова (вспомним это эмоционально точное определение Радищева) выдерживало колоссальные перегрузки. Если давление, нормальное для Шумахера, Винсгейма, Крафта и др., принять за единицу, то для Ломоносова, для той области, в которой его «я» чувствовало себя привычно и обретало способность к плодотворному самовыражению, нормальным было давление в десятки раз большее. Диву даешься, как его натура вообще выдерживала столь резкие перепады.

«276 заметок» — один из важнейших документов не только раннего, но и всего научного творчества Ломоносова. Они вводят нас в лабораторию ломоносовского мышления, показывают, что диалектичность его философского и научного метода, будучи стихийной (врожденной), была еще и всерьез осознанной. Отличительной внешней чертою ломоносовского метода было соединение парадоксальности и здравомысленности. Точнее: парадоксальность его выводов (которую, кстати, в последующие годы Эйлер всегда вменял ему в достоинство) происходила от его замечательной здравомысленности.

Так, в одной из заметок Ломоносов пишет: «Не следует выдумывать много разных причин там, где достаточно одной; таким образом, раз центрального движения корпускул достаточно для объяснения теплоты, так как оно может увеличиваться до бесконечности, то не следует придумывать других причин». Общая посылка здесь сродни ньютоновскому высказыванию: «Природа проста и не роскошествует излишним количеством причин». Она служит Ломоносову достаточным основанием для беспощадно критической постановки вопроса о теплотворной материи или теплороде, особом веществе, посредством которого объяснялась в ту пору теплота. Движения молекул вполне достаточно для удовлетворительного объяснения теплоты, тем более что теория теплорода требует делать слишком много различных допущений, которые привносят дополнительные, «выдуманные» сложности в проблему, и без того сложную.

Правильная исходная установка ломоносовских рассуждений основана на правильных наблюдениях явлений, противоречащих теории теплорода. «Тела, удельно более тяжелые, нагреваются сильнее, чем удельно более легкие», — записывает Ломоносов. Теория объясняет это тем, что «тела

удельно более тяжелые принимают в себя больше теплотворной материи, чем удельно более легкие». Ломоносов вскрывает внутреннюю ошибочность теории, основываясь на ее внутренней логике, а не на деспотическом противопоставлении своего, правильного, взгляда: «Далее, тела удельно более легкие имеют более вместительные поры, следовательно, **принимают в себя больше теплотворной материи, чем удельно более тяжелые,** что нелепо». Ломоносов подбирает целый ряд примеров, «неудобных» для апологетов теплорода, готовясь к аргументированной и сокрушающей ошибочную теорию полемике, которую он поведет с ними в следующем десятилетии. Уже сейчас ему ясно, что посредством теплорода нельзя объяснить слишком многих очевидных вещей. Например: «Положим, что при самом сильном морозе, под арктическим кругом, ударяется сталь о кремень. Мигом выскочит искра, т. е. материя теплоты». Это ж сколько «разных причин» надо выдумать, чтобы объяснить наличие теплотворной материи «под арктическим кругом», которая то никак себя не обнаруживает, то вдруг «мигом выскочит»! В конце своих заметок Ломоносов еще раз обращается к этой пресловутой материи — на этот раз, чтобы прямо противопоставить ошибочной теории свое понимание теплоты: «Животное тело непрерывно испускает теплоту, но никогда не принимает ее в себя, следовательно, теплота не зависит от сосредоточения посторонней материи, а есть некоторое состояние тела».

Параллельно с конкретными научными проблемами Ломоносов в своих заметках вновь и вновь обращается к вопросам, связанным с методом. Он затрагивает их с разных точек зрения. В высшей степени важным для Ломоносова был здесь тот аспект этих вопросов, в котором наглядно проступала взаимозависимость метода и стиля исследования, изложения и поведения науки: «Что касается тех мистических писателей, которые уклоняются от сообщения своих знаний, то они с меньшим уроном для своего доброго имени и с меньшей тягостью для своих читателей могли бы скрыть это учение, если бы вовсе не писали книг, вместо того, чтобы писать плохие». Это ироническое развенчание «жреческого комплекса» иных ученых основано все-таки на завидном умении Ломоносова проникать во внутреннюю логику оппонентов. Лишь после такого вот развенчания лжи изнутри он дает ей внешнюю оценку: «Те, кто пишут темно, либо невольно выдают этим свое невежество, либо намеренно, но худо, скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют». Здесь Ломоносов из области физики и корпускулярной философии уже переходит в область языка, и приведенные только что слова напрямую соотносятся со следующим его высказыванием из «Российской грамматики» (1755): «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, по недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем».

К заметкам по физике и корпускулярной философии Ломоносов приложил план научных работ, в которых намеревался развить замыслы и наблюдения, изложенные в заметках конспективно. Первыми и наиболее значительными из них для начального периода ломоносовского творчества стали «Опыт теории о нечувствительных физических частицах тел и вообще о причинах частных качеств», относящийся к концу 1744 года, «Размышление о причине теплоты и холода» (написано в 1744 году, опубликовано в 1747 году), «О действии химических растворителей вообще» (1743). В этих работах Ломоносов предпринимает успешную попытку привести в систему свое атомистическое мировоззрение, поставив перед собой в качестве главной задачи «сыскать причины видимых свойств, в телах на поверхности происходящих, от внутреннего их сложения».

В ту пору, когда подавляющее большинство физиков и химиков все, что было неясно из опытов, по существу, почти все явления объясняли гипотетическими тонкими жидкостями, неразличимыми и невыделяемыми (ср.: материи теплоты, электричества, тяжести, света), Ломоносов придал «методу философствования, основанному на атомах» универсальное значение и именно через его посредство дерзнул истолковать все «многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира». Материя, по Ломоносову, состоит из «нечувствительных физических частиц» (то есть невидимых). Они, в свою очередь, подразделяются на элементы (то, что мы теперь называем атомами) и корпускулы (то, что теперь называют молекулами). Здесь Ломоносов смотрел более чем на сто лет вперед: только в 1860 году международный съезд химиков дал точные определения атома и молекулы.

Ломоносов доказывает, что «тела не могут ни действовать, ни противодействовать взаимно без движения», что вообще «никакое изменение не может произойти без движения». Движение бывает трех видов: поступательное, колебательное и вращательное («коловратное», по терминологии Ломоносова). Теплоту он объясняет «коловратным» движением и не оставляет в своей физической картине мира места для огненной материи (теплорода, теплотвора). Прекращение движения означает предельную степень холода (абсолютный нуль). Заполняющий пространство мировой эфир передает теплоту на расстояние (например, от солнца к земле).

Было бы неверно представлять себе дело таким образом, что Ломоносов вплоть до мельчайших деталей предугадал

современный взгляд на вещи. Ни мы, ни тем более Ломоносов в этом не нуждаемся: смысл истории науки — не в предугадываниях более или менее удачных (хотя это так любопытно и, главное, легко — свести все к наитию, интуитивным прозрениям и т. п.), а в трудном и не всегда стремительном, но неуклонном продвижении к объективной истине, в борьбе идей, добытых неимоверной работой души и ума, борьбе, полной драматизма. С этой, исторической точки зрения, вклад ученого в развитие науки определяется не столько известным числом гениальных догадок (впрочем, и по этой части за Ломоносова можно быть спокойным), а тем, насколько он повысил общий уровень эпохи в постижении мира по сравнению с прошлым, насколько усовершенствовал методы познания, насколько освободил человеческую мысль от предрассудков предшественников для потомков. Ведь предел ее совершенствования стремится к бесконечности, а наше нервное внимание к внезапным озарениям, на столетия или даже тысячелетия опережающим время, в дилетантской подоснове своей есть не что иное, как лень душевная, неосознанное поползновение за чужой счет решить свои проблемы, — например, за счет ученых, которые гениально угадывают их решение и таким образом достигают предела совершенствования, что невозможно.

Скажем, Ломоносову уже в 1741—1743 годах абсолютно была ясна кинетическая природа тепла, но он ее связывал только с «коловратным» движением частиц, а не с беспорядочным, как мы это делаем теперь. Элементы и корпускулы Ломоносова — это **не совсем** атомы и молекулы в современном смысле. Точно так же и «абсолютный нуль» указан Ломоносовым как **возможная** крайняя степень холода, а не как количественная величина. Главное не в этом. Главное в том, что названные выводы Ломоносова —не догадки даже, а логические следствия из его общей атомистической концепции строения вещества. Они не были неожиданны, они были неизбежны.

Неизбежной была и полемика его с Лейбницем и Вольфом (которого он прямо не называет) по вопросу о «физических монадах», которые Ломоносов в полном соответствии с его общим воззрением считал протяженными, закрывая таким образом путь метафизическому осмыслению частиц. Равно неизбежным стало его выступление против Бойля, считавшего, что увеличение веса при прокаливании металлов происходит за счет присоединения к металлам огненной материи. В § 44 «Опыта теории о нечувствительных физических частицах тел» он подбирался и к «Началам» Ньютона в связи с вопросом о причинах всемирного тяготения, который, как мы помним, был оставлен великим англичанином на усмотрение читателей. «Здесь мы не оспариваем мнения мужей, имеющих большие заслуги в науках, которые принимают кажущуюся силу притяжения как явление,

объясняющее другие явления; в этом им можно уступить по тому же основанию, по какому астрономы предполагают суточное движение звезд вокруг Земли для определения кульминаций, восхождений и т. д. Знаменитый Ньютон, установивший законы притяжения, вовсе не предполагал чистого притяжения». То, что Ломоносов готовился к основательному разговору по поводу «Начал» Ньютона, подтверждается его прошением в Академическую канцелярию, написанным 23 июля 1743 года, когда, находясь под арестом, он работал над «Опытом»: «Потребна мне, нижайшему, для упражнения и дальнейшего происхождения в науках математических Невтонова Физика и универсальная Арифметика, которые обе книги находятся в книжной академической лавке».

Такое отношение к научным авторитетам было в диковинку. Когда Ломоносов представил «Рассуждение о причине теплоты и холода», академики по прочтении выразили ему свое неодобрение именно в связи с неучтивым «поношением» признанных имен: «Г-ну адъюнкту было... указано, чтобы он не старался поносить Бойля, весьма знаменитого в ученом мире, выбирая из его сочинений именно те места, в которых тот несколько поддается воображению, и обходя молчанием очень много других мест, в которых он дает образцы глубокой учености. Г-н адъюнкт уверял, что он это сделал без умысла». Академики не учли одного оттенка: Ломоносов нападал не на Бойля (к которому относился с уважением), а на его ошибочные объяснения; и, поскольку он писал не речь о Бойле, а диссертацию о причинах теплоты и холода, он **должен** был «выбирать из его сочинений именно те места», где Бойль ошибался.

Этическая сторона научного процесса была очень важна. Научный переворот XVI—XVIII веков ущемил многие самолюбия. При таких руководителях науки, как, например, Шумахер, научная полемика (о чем уже говорилось выше) грозила обернуться нескончаемыми дрязгами. Вот почему, начиная с 1740-х годов, Ломоносов не упускал случая, подчеркнуть, что научная критика направлена не на личности, а на убеждения. Спорить надо «в правде», тогда выступление против корифеев будет не пороком, а добродетелью, не «поношением», а отвагой. В этом смысле образцом для подражания Ломоносов считал Декарта: «Славный и первый из новых философов Картезий осмелился Аристотелеву философию опровергнуть и учить по своему мнению и вымыслу. Мы, кроме других его заслуг, особливо за то благодарны, что тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению. На сие взирая, коль много новых изобретений искусные мужи в Европе показали и полезных книг сочинили!»

Это из предисловия Ломоносова к переводу «Волфианской

экспериментальной физики», выполненному в 1744 году (само же предисловие было написано двумя годами позже, при подготовке книги к изданию). Читая своим студентам, будущим академикам Симеону Кирилловичу Котельникову (1723—1806) и Алексею Протасьевичу Протасову (1724—1796) лекции, он пользовался в качестве пособия книгой Тюммига, в которой физика Вольфа излагалась сокращенно и удобопонятно. Ломоносов, и сам в свое время обучавшийся по ней, решил подарить российскому учащемуся юношеству хороший учебник: «Сия книжица почти только для того сочинена и переведена на российский язык, чтобы по ней показывать и толковать физические опыты». Чтобы дать молодому поколению верные научные ориентиры, а также правильный этический настрой, он и написал предисловие.

Здесь он дал краткий очерк развития нового европейского естествознания за двести лет. Решающее отличие современности от средневековья он видит прежде всего в том, что мыслящий человек судит не об истине по авторитетам, а об авторитетах по истине: «Мы живем в такое время, в которое науки, после своего возобновления в Европе возрастают и к совершенству приходят. Варварские веки, в которые купно с общим покоем рода человеческого и науки нарушались и почти совсем уничтожены были, уже прежде двухсот лет окончились. Сии наставляющие нас к благополучию предводительницы, а особливо философия, не меньше от слепого прилепления ко мнениям славного человека, нежели от тогдашних неспокойств претерпели». В числе таких авторитетов, к мнениям которых слепо «прилеплялись» ученые средневековья, Ломоносов называет прежде всего Аристотеля, а также Птолемея и Гиппарха (II в. до н. э.), Платона и Сократа.

Им противостоят (кроме названного первым Декарта) Лейбниц, Локк, Бойль, Галилей, Кеплер, Гюйгенс, «великий Невтон» и другие ученые, среди которых особо выделен Вольф. Благодаря их деятельности картина мира в корне изменилась: «...ежели бы ныне Иппарх и Птоломей читали их книги, то бы они тое же небо в них едва узнали, на которое в жизнь свою толь часто сматривали». Ломоносов шутливо замечает, что если бы нынешние ученые поступали по примеру Пифагора, однажды принесшего в жертву Зевсу сто быков за геометрическое открытие, то на всей земле не нашлось бы скота в нужном количестве — так резко шагнула вперед наука со времени Возрождения: «Словом, в новейшие времена науки столько возросли, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться».

Главную причину этого Ломоносов видит в новом методе научного творчества: «...ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве». Следовательно, «в правде спорить» с авторитетами можно, лишь полагаясь на опытные исследования. В противном случае критические выступления против именитых обернутся «продерзостями», а новые идеи — «пустыми речами», то есть главным пороком старой, схоластической науки. «Мысленные рассуждения, — подчеркивает Ломоносов, — произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов».

Все предисловие к «Волфианской экспериментальной физике» пронизано светом обретенной истины. Изложение — кратко, внятно и свободно, в иных местах отмечено легкой иронией (как, например, выше, когда шла речь о Пифагоре). В основе ломоносовской иронии лежит спокойная уверенность в собственной правоте. Даже такой сложный вопрос, как создание новой научной терминологии на русском языке, ставится здесь без излишнего энтузиазма — гений просто улыбается, зная, что путь, проложенный им, единственно верный: «...принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут».

В завершение Ломоносов выражает пожелание, в котором определен национально-государственный смысл его труда: «Окончевая сие, от искреннего сердца желаю, чтобы по мере обширного сего государства высокие науки в нем распространились и чтобы в сынах российских к оным охота и ревность равномерно умножилась».

Что можно сказать в итоге о самостоятельной научной деятельности Ломоносова в начальную, трудную для него пору 1741—1744 годов?

За период менее трех лет (к тому же осложненный такими «отвращающими от наук» обстоятельствами, как проволочка с производством в должность, стычки с клевретами Шумахера, наконец, арест) Ломоносов блестяще дебютировал как ученый, заложив основы своих открытий, не утративших значения и по сей день, в трех фундаментальных областях естествознания, а именно — начал разработку учения о теплоте, учения о строении вещества и количественных методов в химии (превращая последнюю из искусства в науку). Все это произошло благодаря тому, что уже в самом начале пути Ломоносов выступил убежденным атомистом. Краеугольный камень всего здания ломоносовского научного мировоззрения был прочен и, главное, найден своевременно.

В это же время он начинает хлопоты по возведению — в буквальном смысле слова — здания, вполне конкретного, без которого грандиозное «мысленное» здание было бы возвести куда как трудно. Мы имеем в виду настоятельные

просьбы и напоминания Ломоносова о необходимости устройства при Академии наук Химической лаборатории, где бы «испытание натуры» из риторической фигуры, из эмоционально переживаемой необходимости стало реальным делом, каждодневно приближающим к Истине, наполняющим пока что бесплотный, хотя и явственный, образ ее живым и безусловным содержанием химических формул, подтвержденных экспериментально.

Ломоносов дважды (8 января 1742 года, то есть в день получения звания адъюнкта, и 28 мая 1743 года, то есть уже находясь под караулом) подавал в Канцелярию прошение об устройстве лаборатории и получил отказ, потому что «за неимением при Академии денег и за неподтверждением штата по сему его доношению ничего сделать не можно». Впрочем, так считала Канцелярия. Ломоносов был другого мнения на этот счет и отступать не собирался.

Однако в первые годы после возвращения из Германии, о которых идет речь, он, вполне понятно, еще не мог успеть в этом. К тому же, как и во все времена его неимоверно активной деятельности, естествознание было не единственной точкой приложения «живых сил» ломоносовского гения.

4

Мысль о единстве мира, единстве законов, управляющих природой и человеком, неразлучная с Ломоносовым, настоятельно требовала от него добывать себе подтверждения не только в виде научных определений. Человек органичный и непосредственный, он постигал Истину не одной какой-то стороной сознания, а всем своим духовным организмом. Он не столько усматривал, сколько **переживал Истину.** Точнее, непосредственное ее усмотрение всегда сопровождалось у него мощнейшим эмоциональным аккомпанементом, который блистательно определил Н. В. Гоголь, говоря о Ломоносове — «чистосердечная сила восторга».

Обращение такого человека, как Ломоносов, к поэзии было неизбежно и благотворно. Он не был поэтом по должности. Не понять этого значит с самого начала заказать себе пути в его поэтический мир.

В 1741—1743 годах Ломоносов создал стихотворения, которые и по сей день сохраняют не только историко-литературное, но и художественное свое значение, почти не утратив за два с половиной столетия способности воздействовать на души, эстетически и нравственно отзывчивые. Главным среди них должно назвать «Оду на прибытие ее величества великия государыни императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации». Она по своей поэтической силе, несомненно, превышает все созданное им в этом жанре до тех пор. Ни две оды 1741 года, посвященные Иоанну Антоновичу, ни декабрьское «Всеподданнейшее поздравление» 1741 года Штелина, обращенное уже к Елизавете по случаю восшествия на престол и дня рождения и переведенное Ломоносовым, ни ода 1742 года Петру Федоровичу, ни «Венчанная надежда» Юнкера, переведенная Ломоносовым в том же 1742 году — ни одно из этих произведений (несмотря на отдельные хорошие стихи и даже строфы) не может сравниться с «Одой на прибытие». Ее можно соотнести лишь с «хотинской» одой как по размаху и глубине идей, так и в связи с тем примечательным обстоятельством, что написана она (подобно «Оде на взятие Хотина») без малейшего «нажима» извне, по собственному почину и вдохновению (в то время как во всех остальных случаях внешнее побуждение или даже почти прямая «подсказка», говоря языком нашего времени, со стороны Шумахера более чем вероятна, а переводы из Юнкера и Штелина — те так просто делались — по «должности»).

«Ода на взятие Хотина» («сие первородное чадо стремящегося воображения по непреложному пути», по выражению А. Н. Радищева) была торжественной увертюрой ко всему поэтическому творчеству Ломоносова. Здесь, как уже говорилось в своем месте, он обозначил исторические границы того процесса, который привел к перевороту всего жизненного уклада России в начале XVIII века (от Ивана Грозного до Петра), и воспел, воспользовавшись более или менее значительным поводом, современную военно-государственную мощь России как результат титанической деятельности царя-преобразователя, царя-просветителя. Великолепные батальные картины, в которых мастерство в создании пластически-рельефных образов и прежде всего гениальный метафорический дар Ломоносова празднуют свой настоящий триумф, завершаются отрадными картинами мирной жизни, покоя, тишины, воцаряющейся на месте недавнего сражения, положившего конец чуждому господству:

Казацких поль заднестрский тать
Разбит, прогна́н, как прах, развеян,
Не смеет больше уж топтать,
С пшеницей где покой насеян.
Безбедно едет в путь купец,
И видит край волнам пловец,
Нигде не знал, плывя, препятства.
Красуется велик и мал;
Жить хочет век, кто в гроб желал:
Влекут к тому торжеств изрядства.

Пастух стада гоняет в луг
И лесом без боязни ходит;
Пришед, овец пасет где друг,
С ним песню новую заводит,
Солдатску храбрость хвалит в ней,
И жизни часть блажит своей,
И вечно тишины желает

Местам, где толь спокойно спит,
И Ту, что от врагов хранит,
Простым усердьем прославляет.

Словом, в «хотинской» оде Россия предстает мощным государством великого народа, которое устремилось к грандиозным целям, указанным венценосным просветителем, которое сметает на своем пути к культурному усовершенствованию внешние препятствия, но которому для полного и скорейшего успеха на этом пути, быть может, всего нужнее покой, тишина, мир (о чем так непритязательно и свидетельствуют заключающие оду картины, простые и отрадные). Если же учесть при этом совершенно уникальный ломоносовский дар патетического самовыражения и его выдающееся мастерство в словесной живописи (никем до Державина не превзойденное), то станет ясно, отчего эхо первого впечатления, произведенного «Одой на взятие Хотина», прокатилось через все столетие, и тот же Радищев уже на пороге XIX века писал: «Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение».

Но в «хотинской» оде, открывшей историю новой русской поэзии, утверждалось только то, что уже было: победа над турками, Петр с его «нетщетным» трудом, а до него — Иван Грозный, со времен которого, по мысли Ломоносова, началось подспудное движение всех составляющих частей государства, приведшее в итоге к петровским преобразованиям. Никаких конкретных перспектив перед новыми правителями России Ломоносов не выдвигал, никаких «уроков царям» (как это стало в дальнейшем) не преподал. Это была, если так можно выразиться, программная ода без просветительской программы. Поэтическая программа здесь налицо: «парение» и «великолепие» слога, принципиальная установка на метафоричность, «восторг» как эмоциональный знак завершения напряженной познавательной работы поэтической мысли (или, употребляя новомодный термин, «восторг» как знак эвристического состояния). Ведь не только же по поводу взятия Хотина этот восторг возникает. Здесь не менее важен восторг от того, что поэт (как уже говорилось выше) может сопрягать конец с началом в трудном процессе государственного и культурного совершенствования Родины и, понимая, что все было «нетщетно» в тех двух веках, которые прошли от Ивана Грозного до Петра, может увидеть смысл в страшных и бессмысленных, казалось бы, событиях, заполнивших эти два века. Восторг ломоносовский — это сиюминутное в своей конкретности переживание Истины. Но, повторяем, в «хотинской» оде нет (да и не могло быть) преобразовательной культурной программы.

Во-первых, находясь в Германии, Ломоносов только еще приближался к своему пониманию того, что́ нужно России для дальнейшего претворения в жизнь петровских начинаний, равно как к государственному осмыслению в полном объеме самих этих начинаний и их глубокой этической подосновы: все это придет к нему позже, в 1750—1760 годы. Во-вторых, даже если бы он обрел это понимание в самом начале, ему не к кому было обратить морально-политические уроки, построенные на этом понимании: ни Анна Иоанновна, ни Анна Леопольдовна, ни их правительства не представляли собою силы, плодотворно восприимчивой к подобным урокам. Только в ноябре 1742 года забрезжила надежда иметь такую силу в лице «Петровой дщери». И именно к этому времени гений Ломоносова достаточно созрел для того, чтобы указать мощным поэтическим жестом общую перспективу государственно-политического и культурно-просветительного преобразования России на основе петровских начинаний.

Можно себе представить, как мучила Ломоносова творческая ревность к теме, когда в начале декабря 1741 года он переводил посредственную оду Штелина «для восшествия на всероссийский престол» Елизаветы. А то, что Штелин, по мнению Ломоносова (которому время от времени вменялось в обязанность переводить его сочинения на русский), был слабым стихотворцем, подтверждается позднейшим (22 апреля 1748 года) ломоносовским свидетельством о стихах этого профессора поэзии: «Хотя должность моя и требует, чтобы по присланному ко мне ордеру сделать стихи с немецкого, однако я того исполнить теперь не могу, для того что в немецких виршах нет ни складу, ни ладу. Итак, таким переводом мне себя пристыдить весьма не хочется и весьма досадно, чтобы такую глупость перевесть на российский язык...» Но в 1741 году он (студент!) еще не мог позволить себе отказаться от перевода вялых, «должностных» штелиновых похвал новой императрице.

С гораздо большим тщанием работал Ломоносов над переводом «Венчанной надежды» Юнкера, который — повторим еще раз — был действительно способным поэтом и в своих стихотворных похвалах Елизавете в апреле 1742 года высказал ряд точных оценок и мыслей (например, о «ложной дружбе» Франции, которая на деле стремится извлечь для себя максимум преимуществ из войны, затеянной тогда Швецией против России, и др.). Особенное внимание Ломоносова в стихах Юнкера должны были привлечь образы, построенные на естественнонаучных ассоциациях, как, скажем, в следующем обращении к Елизавете (картезианском в своей физической подоснове):

Будь как начальный луч в средине всех планет,
Что сам собой стоит и круг себя течет
И столько тяжких тел пространным вихрем водит,
Что каждое из них чрез вечный путь свой ходит.

Надо думать, переводя (причем безупречно как с формальной, так и с содержательной стороны) «Венчанную надежду», Ломоносов, хорошо знавший ее автора, не очень обольщался насчет искренности расточаемых здесь похвал. Миллер писал, что Юнкер «брался за все, что ему ни поручали», писал стихи, «не приготовляясь, на всякий представлявшийся ему случай», и «был более чем счастливый стихотворец».

Тем более что и бесталанный Штелин, и способный Юнкер, и, главное, вдохновлявший их обоих и поручавший Ломоносову перелагать на русский результаты их лояльного немецкого вдохновения Шумахер — преследовали одну цель: показать Елизавете, утвердившейся на престоле вследствие активизации русской верхушки общества, что вся эта немецкая команда как в Академии, так и за ее стенами верно предана новой власти и что устранять ее нет необходимости. С этой точки зрения, даже ода Юнкера была льстива и только, и имевшиеся в ней точные мысли обесценивались.

Назначение Следственной комиссии по делу Шумахера, последующий арест советника, основательное знакомство Ломоносова с размерами ущерба, нанесенного русской науке Шумахером и его приспешниками, — все это уже непосредственно предшествовало созданию «Оды на прибытие», многие стихи которой, по мнению Г. Р. Державина, отмечены «гневным вдохновением».

Это была ода, программная и с поэтической и с политической точки зрения. Здесь восторг поэта — не внезапный («пленил» и «ведет на верьх горы высокой»). Поэт сам ждет его с нетерпением, сам просит Музу подняться ввысь, откуда видно далеко, во все концы света, и обозримы все времена — как прошедшие, так и грядущие. Чтобы постичь смысл происходящих ныне перемен в России, надо обрести соответствующую высоту обзора и не утрачивать ее в своих дальнейших размышлениях над судьбами Родины:

Взлети превыше молний, Муза,
Как Пиндар, быстрый твой орел,
Гремящих Арф ищи союза
И вверьх пари скорее стрел...

Дерзай ступить на сильны плечи
Атлантских к небу смежных гор,
Внушай свои вселенной речи,
Блюдись спустить свой в долы взор,
Над тучи оным простирайся
И выше облак возвышайся,
Спеши звучащей славе вслед.

Эти строки стали для Ломоносова-поэта чем-то вроде марки мастера, по ним узнавали его безошибочно несколько

поколений русских читателей, современники либо восторгались ими, либо высмеивали и пародировали их. Сам Ломоносов менее всего воспринимал их как призыв отрешиться от забот юдольных. Заклинание, обращенное к Музе («Блюдись спустить свой в долы взор»), преследует одну цель — преодолеть ограниченно-обыденную точку зрения на происходящее «в долах». Критерии, принятые в каждодневных «человеческих обращениях», несовершенны. Их должно отрясти, поднимаясь к Истине, чтобы с ее точки зрения судить и перестраивать сами эти «обращения». Ведь там, на высоте «превыше молний», свершаются таинственные дела, от которых захватывает дух:

Священный ужас мысль объемлет!
Отверз Олимп всесильный дверь.
Вся тварь со многим страхом внемлет.

Иначе и быть не может: ведь открывается механика миропорядка и судеб людских. Только «многий страх» всего творения и только «священный ужас» мысли могут быть ответом на появление творца законов, по которым развивается мир и располагаются судьбы отдельных людей и целых народов. «Встать! Высший суд идет!» — таков примерно пафос идущего далее обращения Бога к Елизавете:

Утешил Я в печали Ноя,
Когда потопом мир казнил,
Дугу поставил в знак покоя
И тою с ним завет чинил.
Хотел Россию бед водою
И гневною казнить грозою,
Однако для заслуг Твоих
Пробавил милость в людях сих,
Тебя поставил в знак завета
Над зна́тнейшею частью света.

Никогда еще в русской поэзии Бог не изъяснялся столь величественно, внятно и достойно, сообразно своему положению. Этот нюанс очень важен: «адъюнкт физического класса» Михайло Ломоносов вкладывает в уста самого Всевышнего слова наставления новой императрице: не забывай, перед тобою Россия была на краю гибели; и ты и «все твои с тобою люди, что вверил власти Я Твоей», должны быть на уровне моего избрания. Этот мощный мотив ответственности высшей земной власти за судьбы вверенного ей народа звучит как-то по особенному лично, патетически и одновременно задушевно:

Мой образ чтят в Тебе народы
И от Меня влиянный дух;
В бесчисленны промчится роды

Доброт Твоих неложный слух.
Тобой поставлю суд правдивый,
Тобой сотру сердца кичливы,
Тобой Я буду злость казнить,
Тобой заслугам мзду дарить;
Господствуй, утвержденна Мною;
Я буду завсегда с Тобою.

Ломоносов преподает здесь Елизавете урок государственной и просто человеческой этики, по силе и страстности не имеющий себе подобия во всей его последующей одической поэзии (за исключением оды 1762 года, обращенной к Екатерине II по поводу ее недавнего восшествия на престол). Трудно отделаться от искушения предположить, что местоимение «Я» в этой строфе он вполне сознательно относил не только к своему герою, «ветхому деньми» Богу, но и к самому себе. Это он, Михайло Ломоносов, вливает в Елизавету вначале ее царствования дух ответственности за судьбу России. Это он собирается через посредство императрицы утвердить в стране справедливость, наказать зло и воздать заслугам по достоинству. Это он передает векам созданный им образ Елизаветы. Здесь нет «дежурной лести» (как в одах Штелина и Юнкера): ведь все глаголы в приведенном энергичном высказывании Ломоносова стоят в будущем грамматическом времени — «промчится», «поставлю», «сотру», «буду». Значит, и слух о добротах императрицы только лишь имеет быть «неложным». Впрочем, с течением лет Ломоносов не однажды мог убедиться в иллюзорности своих надежд, столь грандиозных. Но все это будет потом. Сейчас же каждое его слово о Елизавете наполнено реальным содержанием.

Надежды, питаемые «адъюнктом физического класса», не казались ему беспочвенными. Страна переживала важный поворот в своей судьбе, он переживал момент Истины.

Приоткрыв завесу над тем, что свершалось на высоте «выше облак», поэт и его Муза «спускают свой в долы взор». Теперь это можно сделать, теперь все происходящее на земле видится по-новому, в свете открывшейся исторической перспективы.

Точно так же, как во внутренней жизни страны немецкое засилье не могло рассчитывать на окончательную победу («гневною казнить грозою» русских бог только лишь «хотел»), и поползновения внешних врагов России не имеют шансов на успех. Более того, обогащенный знанием вещей и их отношений, почерпнутым в только что оставленных высях, поэт ясно видит скрытые причины бурных событий, в которые втянута Россия помимо ее воли. Вот как он оценивает недавно окончившуюся успешно для русских войну, развязанную Швецией за возврат Выборга и Кексгольма, войну бесперспективную с военной и вероломную с морально-политической точки зрения (нарушение обязательств по Ништадтскому миру):

Стокголм, глубоким сном покрытый,
Проснись, познай Петрову кровь,
Не жди льстецов своих защиты,
Отринь коварну их любовь:
Ты всуе Солнце почитаешь
И пред Луной себя склоняешь;
Целуй Елисаветин меч,
Что ты принудил сам извлечь:
Его мягчит одна покорность,
Острит кичливая упорность.

Здесь «глубоким сном покрытый» означает не «сонный», а скорее всего «подверженный глубокой грезе», навеянной «льстецами» и «коварной их любовью». Солнце здесь — это Франция, намек вполне понятный, если вспомнить прозвище Людовика XIV, со времени смерти которого минуло всего два с небольшим десятилетия, Луна — Турция, опять-таки вполне прозрачный намек на мусульманский полумесяц. Французская дипломатия в ту пору настойчиво толкала Швецию и Турцию к союзу против России. Не случайно здесь напоминание об отце Елизаветы (и его Полтавской победе) и намек на недавнее поражение турок при Анне Иоанновне, по поводу которого Ломоносов роскошествовал (другого слова не подберешь) в победительных стихах своей «хотинской» оды:

Целуйте ногу ту в слезах,
Что вас, Ага́ряне, попрала,
Целуйте руку, что вам страх
Мечом кровавым показала.

Впрочем, в «Оде на прибытие», Ломоносов отходит от этого восточно-изощренного этикета, памятуя о том, что теперь перед ним западный противник, и, сообразно этому, триумфальный ритуал предлагается другой: «Целуй Елисаветин меч». В обращении к новому противнику больше достоинства, потому что теперь поэт знает о борьбе России с ее врагами нечто недоступное ему раньше («Россию сам Господь блюдет»). Вот почему идущие далее картины воинской доблести русских в борьбе против «готов» — шведов изображаются в масштабах поистине всемирных, вызывающих «священный ужас»:

Уже и морем и землею
Российско воинство течет
И сильной крепостью своею
За лес и реки Готов жмет.
Огня ревущего удары
И свист от ядр летящих ярый
Сгущенный дымом воздух рвут
И тяжких гор сердца трясут;
Уже мрачится свет полдневный,
Повсюду вид и слух плачевный.

Там кони бурными ногами
Взвивают к небу прах густой,
Там смерть меж Готскими полками
Бежит ярясь из строя в строй,
И алчну челюсть отверзает,
И хладны руки простирает,
Их гордый исторгая дух;
Там тысящи валятся вдруг.
Но если хочешь видеть ясно,
Коль Росско воинство ужасно,

Взойди на брег крутой высоко,
Где кончится землею понт;
Простри свое чрез воды око,
Коль много обнял Горизонт;
Внимай, как Юг пучину давит,
С песком мутит, зыбь на зыбь ставит,
Касается морскому дну,
На сушу гонит глубину
И с морем дождь и град мешает:
Так Росс противных низлагает. <...>

Всяк мнит, что равен он Алкиду
И что, Немейским львом покрыт
Или ужастную Эгиду
Нося, врагов своих страшит:
Пронзает, рвет и рассекает,
Противных силу презирает.
Смесившись с прахом, кровь кипит;
Здесь шлем с главой, там труп лежит,
Там меч, с рукой отбит, валится,
Коль злоба жестокó казнится!

Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что эти стихи содержат в себе зародыш всей нашей будущей батальной поэзии; в них корни и героических од Г. Р. Державина, и «Полтавы» А. С. Пушкина, и «Бородина» М. Ю. Лермонтова. Ломоносов создает «пристойные и вещь выражающие речи», которые впоследствии войдут в художественные миры крупнейших наших поэтов как их собственные — настолько он «гармонически точен», если воспользоваться пушкинским словом, в создании и первоначальном употреблении этих речей, этих, по определению самого Ломоносова, поэтических «корпускул», уже навсегда вошедших в нашу духовную атмосферу. А приглядевшись более пристально к приведенным стихам Ломоносова, можно увидеть, как в них проступают некоторые характерные черты соответствующих стихотворений К. Н. Батюшкова, Ф. Н. Глинки, Н. М. Языкова и др.

Столь впечатляющее описание ужасного лика войны и смерти служит в «Оде на прибытие» необходимым фоном для главного призыва, с которым поэт обращается к людям, в следующей строфе. Обращается как носитель высшей Истины, как посредник меж землей и небесами. Если императрицу бог увещевал его устами напрямую, то к людям он взывает, пересказывая, что называется, своими словами Глагол небес. Поэт, подобно герою-резонеру на мировом театре, с указующим перстом, направленным на страшное месиво из обрубков тел и обломков оружия, из крови и праха — на эти жуткие итоговые проявления безумия, вызванного злобой, коварством, алчностью, ложью и именуемого войною, — произносит свой страстный монолог, который разносится по всему земному кругу и исполнен высокой патетики, сострадания к человеку, сознания своей правоты:

Народы, ныне научитесь,
Смотря на страшну гордых казнь,
Союзы разрушать блюдитесь,
Храните искренню приязнь;
На множество не уповайте
И тем небес не раздражайте:
Мечи, щиты и крепость стен —
Пред Божьим гневом гниль и тлен:
Пред ним и горы исчезают,
Пред ним пучины иссыхают.

Россия в «Оде на прибытие», восстанавливая попранную справедливость, «отраду с тишиной приводит», «любя вселенныя покой... дарует мирные оливы». Но побежденная «Война при Шведских берегах с ужасным стоном возрыдает», оттого что ей пришлось прервать свой кровавый пир. Ей противостоит мир, названный в оде «Союзом вожделенным». Он «глас возносит к ней смиренный», и в своих увещеваниях не оставляет никакого будущего для нее, смертоносной:

Мечи твои и копья вредны
Я в плуги и серпы скую;
Пребудут все поля безбедны,
Отвергнув люту власть твою.
На месте брани и раздора
Цветы свои рассыплет Флора.
Разить не будет серный прах
Сквозь воздух огнь и смерть в полках.

Если в «Оде на взятие Хотина» мир выступал как нечто желанное, то в «Оде на прибытие» мир выступает как должное, как государственная и гуманистическая программа. Причем здесь в намеке уже присутствует мысль о том, что деятельной попечительницей о материальной мощи государства (без чего и мир не может быть прочным) является наука. Вот, например, поэт упоминает в обращении к Елизавете совсем еще свежее известие (29 октября 1742 года) о победе науки во славу России — об успешном достижении русской морской экспедицией В. Беринга и А. И. Чирикова 7 декабря 1741 года американских берегов:

К тебе от восточных стран спешат
Уже Американски волны
В Камчатский порт, веселья полны.

Вот толпа стихотворцев, завидующих поэту (ибо его слог «сложен из похвал правдивых» в отличие от их слога, «исполненного басней лживых»), восклицает:

Всех жен хвала, Елисавет,
Сладчайший Музам век дает.
В ней зрятся истинны доброты,
Геройство, красота, щедроты.

То, что «истинны доброты» и т. д. соотнесены с именем Елизаветы, — это, так сказать, похвала «авансом». А вот то, что все эти блага соотнесены с Музами, — это уже связь реальная, объективная. И чем скорее власть это поймет, тем сильнее и славнее она станет. Причем здесь имеются в виду все музы, все девять богинь, покровительниц не только искусства, но и науки.

Толпа стихотворцев в конце оды возникает, надо думать, не случайно. Ломоносов вполне сознавал свое коренное отличие от присяжных панегиристов императрицы: его похвалы идут от сердца, и в этом смысле они правдивы. Свою задачу он видит в том, чтобы воспитать в высшей власти дух ответственности за судьбу вверенного ей народа, чтобы указать ей пути достижения «величества, могущества и славы», чтобы мир, покой, тишину представить и как цель и как средство всей государственной деятельности, чтобы вдохновить власть на утверждение «сладчайшего века» искусствам и наукам и, наконец, чтобы, воспитав в ней все это, такую власть воспеть. Ни Штелин, ни Юнкер в таких масштабах, с такой страстью и с таким бескорыстием, как Ломоносов, конечно же, не переживали поворотный момент в жизни сознательной части русского общества, связанный с приходом Елизаветы к власти. И уж не в них ли метил Ломоносов в последней строфе своей оды:

Красуйся, дух мой восхищенный,
И не завидуй тем творцам,
Что носят лавр похвал зеленый;
Доволен будь собою сам.

Впрочем, это высказывание Ломоносова, будучи благородно-правдивым само по себе (ведь он для новой власти покуда еще никто, и все, что им написано, выношено в душе вдали от трона и еще не согрето его лучами), интересно не только этим своим, злободневно-личным смыслом. Ведь здесь мы имеем еще и первое в русской поэзии воплощение одной из самых задушевных ее идей — идеи о том, что она, поэзия,

проникнутая высоким духовным и гражданским содержанием, не нуждается во внешнем поощрении. В дальнейшем гениальные вариации на эту тему создаст Г. Р. Державин, так или иначе она отзовется у Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, Н. И. Гнедича, А. А. Дельвига, Е. А. Боратынского и др., а высшую свою и исчерпывающую разработку получит в поздней поэзии А. С. Пушкина.

Поэт в этой ломоносовской оде выступает как бы посредником меж землей и небесами или, лучше, вестником, несущим свыше слово великой и благотворной правды. Пытаясь увлечь людей (прежде всего, конечно, адресат — Елизавету) к высотам, доступным ему, поэт и сам увлекается. Интонация оды порывистая, импульсивная. Он торопится уместить в одном стихотворении материал, для разработки которого может не хватить целой жизни. Здесь косвенно отразилась непрочность его положения в Академии в первые месяцы по прибытии из Германии. Ему в этой оде надо было успеть сказать все. Вот почему так увеличен ее объем (44 строфы) — вдвое по сравнению с предыдущим и более поздними одами, в которых в среднем содержится 22—23 строфы.

Ломоносову не удалось напечатать оду по ее написании. Но он, судя по всему, особенно любил это свое произведение и считал ознакомление возможно большего числа читателей с ним делом весьма важным. Он включил двадцать строк из этой оды в качестве примеров в «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия», сочиненное им в бурном 1743 году. Однако ж и этот труд не был напечатан тогда. Рукопись читали Штелин и Миллер. 16 марта на заседании Академического собрания Миллер огласил свой официальный отзыв о ней, который был одобрен и в котором говорилось, что ее должно написать на латинском языке, сопроводив русским переводом, а также обогатить примерами из современных «риторов» (Ломоносов приводил примеры только из древних авторов да еще из своих собственных сочинений). Согласившись пересмотреть рукопись и внести в нее изменения, Ломоносов спустя четыре года действительно переработал эту «Риторику», а по существу написал совершенно новое произведение, почти в пять раз превышающее ее по объему — «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» (1747). Впрочем, написал он новую свою «Риторику» вновь по-русски, и все примеры в ней вновь были из старых писателей и из собственных сочинений. Здесь Ломоносов процитировал уже около пятидесяти строк из «Оды на прибытие... Елисаветы Петровны». В 1748 году «Риторика» была отпечатана и мгновенно разошлась (о ней еще предстоит особый разговор в дальнейшем). Наконец, в 1751 году выйдет «Собрание разных со-

чинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова», где любимая ода его получит подобающее ей место и откроет собою в первом томе раздел похвальных од.

В 1743 году, когда конфликт Ломоносова с Академией принял открытую и особенно опасную для него форму, он создает поэтические произведения, в которых вполне обнажается буквально космогонический процесс, происходивший в самых тайных глубинах его могучего духа, частично нашедший отражение в его научных сочинениях начального периода (в заметках по физике и корпускулярной философии, «Элементах математической химии», «Рассуждении о причине теплоты и холода», предисловии к вольфианской физике), но властно требовавший полнокровно художественного воплощения. Если в похвальной одической поэзии начала 1740-х годов («Ода на взятие Хотина», «Ода на прибытие Елисаветы Петровны») Ломоносов показал исключительность положения поэта в мире (вестник Истины, посол от небес к земле), то в «Преложении псалма 143», «Утреннем размышлении о Божием величестве» и «Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния», к которым мы теперь обратимся, он показывает, скажем так, чего стоило его «внутреннему человеку» (В. Г. Белинский) занять это исключительное положение, стать носителем Истины. Если в первом случае мы имеем ломоносовское самостоянье в действии, в конкретных проявлениях (которое, по слову А. С. Пушкина, есть «залог величия»), то во втором случае — трудный путь к нему...

Одно из этих стихотворений частично уже цитировалось там, где говорилось об аресте Ломоносова. Это «Преложение псалма 143». Скорее всего оно и написано-то было, когда он содержался под караулом. История его создания вкратце такова.

Как мы помним, Ломоносова арестовали 27 мая 1743 года. Затем, 8 августа, он заболел, и вследствие болезни содержание под стражей при Следственной комиссии было ему заменено домашним арестом, под которым он находился уже до конца января 1744 года, когда вышел указ Сената о его освобождении. Таким образом, на гауптвахте он пробыл около двух с половиной месяцев. Достоверно известно, что за это время, кроме доношений об освобождении и прошений о выдаче денег «для крайних нужд», он написал только оду на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича и еще, быть может, закончил диссертацию «О действии растворителей на растворяемые тела». А между тем, 31 августа канцелярия Академии наук выпустила распоряжение напечатать книгу «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо». Авторами этой книги были Ломоносов,

Тредиаковский и молодой А. П. Сумароков. Так что промежуток от 27 мая по середину или конец августа — наиболее вероятное время работы Ломоносова над своим вариантом переложения, ибо до ареста никаких упоминаний о подготовке названной книги или об отдельных ломоносовских попытках переложить 143-й псалом не сохранилось. Впрочем, одно косвенное свидетельство о том, что Ломоносов не был равнодушен к этому тексту, имеется: одна строка из «Оды на прибытие... Елисаветы Петровны» («Рассыпь врагов своих пределы») является точным переводом соответствующего места из библейского стихотворения и **почти** полностью повторена в переложении, напечатанном в «Трех одах парафрастических» и в прижизненных собраниях сочинений 1751-го и 1757 года (но в этом **почти** так много смысла, что о нем чуть ниже и чуть подробнее).

Появление «Трех од парафрастических», в общем, было закономерно для первых лет утверждения нового стихотворства и вообще для литературно-общественной жизни первых лет царствования Елизаветы.

Тредиаковский, в свое время встретивший ломоносовское «Письмо о правилах российского стихотворства» более чем критически, продолжал отстаивать свой вариант реформы стихосложения. Еще в феврале 1740 года он написал письмо от имени Российского собрания при Академии с возражениями против ломоносовских выводов, но тогда было решено «сего, учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж на почту денег напрасно не терять». И вот теперь, по возвращении Ломоносова из Германии, Тредиаковский вступает с ним в очный спор.

В 1743 году к этому спору подключается начинающий поэт, выпускник Шляхетного кадетского корпуса Александр Петрович Сумароков (1718—1777), который в 1750-е годы станет одним из самых непримиримых противников поэзии Ломоносова и демократического по своему содержанию ломоносовского просветительства. Но в начале знакомства их связывало «короткое» обхождение, как вспоминал потом Сумароков: «Жаль того, что в кое время мы с ним были приятели и ежедневные собеседники и друг от друга здравые принимали советы».

Действительно, характер и обхождения и полемики друг с другом между Ломоносовым, Сумароковым и Тредиаковским в 1743 году определялся творческим и научным существом предмета спора, а не сугубо личными симпатиями или антипатиями (как станет десятилетие спустя). Это была именно литературная полемика, чему во многом способствовали и внешние условия. При дворе еще не произошло размежевания противоборствующих сил. Елизавета только что взошла на престол. Петр Федорович, ставший наследником, только приехал в Россию, а София-Фредерика-Августа, прин-

цесса Ангальт-Цербтская, будущая жена его и будущая императрица Екатерина II, еще сидела с матерью у себя в Штеттине и о русской короне не помышляла. Это потом Ломоносов станет человеком Елизаветы Петровны и братьев Шуваловых, Сумароков человеком великой княгини Екатерины Алексеевны и братьев Паниных, а Тредиаковский старательным помощником Святейшего Синода. Потом, поневоле вовлеченные в междоусобную, скрытую борьбу этих сил, они перейдут на «личности», частью сознательно, а частью бессознательно служа интересам этих сил, а подчас и забавляя их непримиримостью друг к другу.

Да и Академия еще пребывала в полной неопределенности относительно того, что нужно новой власти, и на всякий случай, «впрок», поддерживала те или иные начинания, исходившие от русских ученых. Так что выход книги «Три оды парафрастические» не был осложнен какими-нибудь радикальными трудностями. Словом, здесь был тот редкий для того времени случай, когда литературная борьба носила принципиально творческий характер, когда стремление к отысканию Истины по самой сути своей было бескорыстно исследовательским.

Основной спор между Ломоносовым, Тредиаковским и Сумароковым шел о художественно-выразительных возможностях различных стихотворных размеров. Ломоносов и принявший в ту пору его сторону Сумароков считали ямб наиболее подходящим для важных материй размером. Тредиаковский же совершенно справедливо полагал, что «ни которая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение».

Этот теоретический спор попытались решить посредством своеобразного поэтического состязания. Все трое переложили 143-й псалом русскими стихами (Ломоносов и Сумароков — ямбом, Тредиаковский — хореем). Так появилась книжка «Три оды парафрастические», в предисловии к которой Тредиаковский, назвав имена «трех стихотворцев», умолчал о том, «который из них которую оду сочинил». Ответить на этот вопрос предлагалось читателям: «Знающие их свойства и дух, тотчас узнают сами, которая ода через которого сложена». Несмотря на то, что в теории Тредиаковский оказался гораздо ближе к истине, чем Ломоносов (последний несколько лет спустя тоже попробовал переложить один псалом хореем), на практике в 1743 году безусловную художническую победу одержал Ломоносов. Его переложение 143-го псалма лаконичнее, торжественнее, по духу гораздо ближе к древнему подлиннику. Именно от ломоносовского переложения 143-го псалма берет свое начало мощная традиция русской философской и гражданской лирики — традиция переложения псалмов, представленная в дальнейшем именами Г. Р. Державина, поэтов-декабристов, Н. М. Языкова и др.

Что же касается позиции Тредиаковского в споре о выразительных возможностях стихотворных размеров, то она получила свое высшее художественное оправдание в философских стихотворениях А. С. Пушкина («Жил на свете рыцарь бедный...»), Ф. И. Тютчева, переводах В. А. Жуковского, которые по-настоящему реабилитировали хорей с точки зрения его способности вмещать в себя не только легкое, шутливое, но и серьезное содержание.

В своем месте мы уже приводили отрывок из ломоносовского переложения 143-го псалма, а именно — тот, где звучит тема врагов. С этой точки зрения, библейский текст удивительно точно совпадал с общим настроением Ломоносова в период наибольшего ожесточения его схваток с академическими противниками. Но совпадение тут прослеживается не только чисто биографическое, событийное. При чтении этого произведения необходимо учитывать еще и тот стремительный взлет научной мысли Ломоносова, то этическое раскрепощение его сознания, то высокое напряжение патриотической идеи, — короче, тот небывалый духовный подъем, который он переживал в 1741—1743 годы и который нашел свое воплощение в рассмотренных выше диссертациях, заметках и поэтических сочинениях.

Если сравнить помещенные под одной обложкой стихотворения Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского, то можно легко убедиться в том, что ломоносовская вариация на библейскую тему выгодно отличается от соперничающих с нею благородством и естественностью интонации, выдержанностью и гармонией стиля и, скажем так, торжественно-весомым немногословием (в переложении Ломоносова — 60 строк, Сумарокова — 66, Тредиаковского — 130). Все это не в последнюю очередь объясняется духовным самостояньем Ломоносова, которое к этому времени уже было им обретено.

Идущие вначале размышления о суетности и бренности существования людей, погруженных в юдольные заботы, передаются тремя поэтами по-разному, и в том, как они передаются, видно, что все трое находятся на разных ступенях духовного освобождения.

Вот Сумароков, более всего озабоченный мимолетностью и хрупкостью человеческой жизни, скорой погибелью «нашей красоты» (буде есть некоторая):

Правитель бесконечна века!
Кого Ты помнишь! человека.

Его днесь век, как тень преходит:
Все дни его есть суета.
Как ветер пыль в ничто преводит,
Так гибнет наша красота.
Кого Ты, Творче, вспоминаешь!
Какой Ты прах днесь прославляешь!

Вот Тредиаковский, в самое сердце пораженный мыслью об абсолютной ничтожности и слабости человека перед творцом:

Но смотря мою на подлость
И на то, что беден и мал,
Прочих видя верьх и годность,
Что ж их жребий не избрал,
Вышнего судьбе дивлюся,
Так глася, в себе стыжуся:
Боже! кто я, нища тварь?
От кого ж и порожденный?
Пастухом определенный!
Как? О! как могу быть Царь?

И вот Ломоносов, озабоченный не хрупкостью живой красоты или «подлостью», «бедностью», «малостью» человека, а именно суетностью и тщетой жизни, в которой отсутствует смысл и нет даже малейшего поползновения к его отысканию, в которой все однообразно и пусто:

О Боже, что́ есть человек,
Что ты ему себя являешь,
И как его ты почитаешь,
Которого толь краток век?

Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень.

Но главное отличие Ломоносова от его соперников заключается в том, что он не включает своего героя в число людей, проводящих жизнь «во тщетных помыслах», как это делают Сумароков («гибнет **наша** красота») и Тредиаковский («Боже! кто я нища тварь?»). Он **собеседует**, а не простирается ниц. Он свободнее и как поэт и как человек. Впрочем, здесь Ломоносов точно следует подлиннику.

Но далее, когда речь заходит о врагах героя (и его «народа святого»), Ломоносов позволяет себе нечто такое, такую творческую дерзость, что просто диву даешься, а духовное пространство, отделяющее его от Сумарокова и Тредиаковского, становится огромным, просто непреодолимым для них. Вот герой призывает «зиждителеву власть» на землю, чтобы сокрушить врагов:

Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.

И молнией твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов твоих пределы,
Как бурей, плевы разжени.

Здесь Ломоносов позволил себе, казалось бы, незначительный, почти незаметный отход от подлинника. Но как значительны последствия! Ведь в подлиннике стоит: **их** («смети их»), — библейский герой просит отмстить врагам, наносящим обиду и вред **ему** (Сумароков и Тредиаковский так и перелагают). Ломоносовский герой прямо называет тех, с кем он борется, врагами самого зиждителя: это **твои** враги, я веду с ними смертельную борьбу; ты **должен** вступиться, ибо, хоть я и родствен тебе своею нравственной и духовной природой, во мне бьется человеческое сердце, оно может не выдержать, жизни моей может не хватить, чтобы победить зло. «Простри длань», «Спаси меня», — говоря это, я **не своего** прошу, но **твое** отстаиваю; мне не защита, а правда нужна.

Повторяем, самостоянье Ломоносова сказалось в этом стихотворении вполне. Ощущение мощи своего духа, который в состоянии «одним взглядом охватывать совокупность всех вещей», ясное понимание самобытности того «дела», которое он намерен «петь», сознание абсолютной новизны тех истин, которые открыты его внутреннему взору — все это наполняет Ломоносова радостью и желанием поделиться с людьми тем многим, что есть в его душе. По Ломоносову, жизнь человеческая, если она не одухотворена, не озарена высокими идеалами, если в ней отсутствует святое стремление постичь смысл всего прошедшего, происходящего и имеющего произойти, — бесцельна, пуста, скучна, безбожна. В существовании людей, погруженных только в юдольные, земные заботы, людей, позабывших о небесах, заглушивших в себе искру небесного огня, есть нечто трагически противоестественное, глубоко, коренным образом чуждое человеческой природе, нечто порочащее высокое родовое предназначение человека, которое состоит в познании мира и себя.

От такой жизни — бесцельной и неосознанной — Ломоносов зовет людей в путешествие по бескрайним просторам знания, открывшегося ему. Человек новой формации, вполне постигший нравственную сущность происшедших в России перемен, он мечтает о том, чтобы все люди приобщились к великим тайнам природы: ведь в этом приобщении, в самом стремлении познать причины вещей и явлений происходит духовное «выпрямление» человечества, его раскрепощение:

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Это начало «Утреннего размышления о Божием величестве», написанного примерно тогда же, когда подготавливалась книга «Три оды парафрастические».

Учеными уже давно отмечено, что здесь Ломоносов замечательно энергичными стихами сумел изложить свою научную трактовку физических процессов, происходящих на солнце. Однако же сводить все значение «Утреннего размышления о Божием величестве» (1743), откуда взяты приведенные строки, только к этому — значило бы непозволительно обеднить его художественное и гуманистическое содержание.

Гоголь, внимательно изучавший поэзию Ломоносова, высказал удивительно верные слова по поводу тех его стихотворений, где преобладает научная тематика: «В описаниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта».

Ломоносов, в сущности, никогда не писал сухих научных трактатов в стихах. Прирожденный поэт, он дает в своих произведениях, прежде всего, глубоко взволнованное, глубоко лиричное переживание той или иной темы, мысли, догадки, чувства, поразивших его, заставивших передать это свое душевное состояние бумаге. В данном случае одинаково важно то, что Ломоносов, с одной стороны, непосредственно и ясно усматривает научную истину, живописуя в образах физическую картину солнечной активности, а с другой — выражает свое искреннее желание сделать достоянием всех людей эту истину, доступную только ему. Вознесенный силою своей мысли на недостижимую доселе высоту, Ломоносов не посматривает презрительно или иронически («свысока») на простых смертных, помыслами своими прибитых к земле, — он испытывает тоску по человечеству. Ему одиноко на той высоте, и хотя это одиночество первооткрывателя (то есть вполне понятное, пожалуй, вполне достойное, а на иной гордый взгляд, возможно, даже и отрадное одиночество), Ломоносову оно не приносит удовлетворения и радости. Ибо у него слишком прочна, точнее, неразрывна связь с землей, взрастившей его, вскормившей живительными соками органичную мысль его. Ломоносовская мысль потому и мощна, потому и плодотворна, что умеет гармонически совместить в себе небесное и земное начала: полный отрыв от земли иссушил бы, убил бы ее. Вот отчего так естествен в «Утреннем размышлении» переход от грандиозных космических процессов к делам земным, делам повседневным:

Сия ужасная громада
Как искра пред тобой одна.

О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что ты творить нам повелел!

Ломоносов не загипнотизирован ни величием «ужасной громады» Солнца, ни «Божием величеством». Высшая зиждущая сила — творец — требует от своих созданий, прежде всего, творческого отношения к миру. Бог не может быть страшным для «смертных», если они сознают простую и великую истину, что быть человеком в полном смысле слова — значит быть творцом, созидателем, приумножающим красоту и богатство окружающего мира. По сути дела, эти стихи Ломоносова — о необходимости «Божия величества» в каждом человеке.

Как прекрасно и непосредственно сказалась в «Утреннем размышлении» личность Ломоносова! Повторяем: здесь говорится не только о физическом состоянии солнечного вещества. Ведь это необъятный и могучий ломоносовский дух грандиозными протуберанцами извергается из пылающих строф, ведь это о нем, снедаемом жаром созидания, сказано:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся...

Он воистину могуч, ибо в состоянии переплавить, перетопить в себе, словно в солнечной топке, все бесчисленные разнородные, сырые и грубые впечатления бытия и превратить их в ясное знание, в качественно новое понятие о мире. Все стихотворение пронизано этой радостью ясного знания — «веселием духа», как пишет сам Ломоносов. Свет истины, рождаемый ценою предельного напряжения, предельного горения всех сил души, столь же ярок и живителен, что и свет Солнца. Именно так: живая истина, способная преобразить мир, не может родиться от одного лишь интеллектуального усилия. Тут весь духовный организм человека: ум, воля, совесть, талант, — все сгорает на предельных температурах, не погибая вовсе, но превращаясь в новый вид духовной энергии, в великую идею, плодотворно воздействующую на природу и человека. Эта идея не знает кастовой ограниченности и, подобно солнцу, освещает всю Землю, всех людей:

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись
Исполненны твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик Зиждитель наш, Господь!

Для Ломоносова очень важна нравственная сторона познания. Жизнь сложнее самой сложной теории, самой

подробной и разветвленной схемы. Необходимо уметь пойти на поправки в теории, если она противоречит действительному положению вещей. Упорствовать в своих ошибках — значит проявлять позорное малодушие перед лицом истины. Чтобы не оказаться во власти представлений умозрительных и ложных (и не ввести тем самым в заблуждение других людей), чтобы познать мир во всей его сложности, надо иметь моральную силу и смелость не дробить своего мировосприятия, но каждый элемент, каждое явление, мельчайшую пылинку живой и неживой природы рассматривать как средоточие мировых связей, как место действия универсальных законов, управляющих всей вселенною. Конечно, гораздо легче оторвать понятие от предмета, явление от сущности и манипулировать философскими и научными абстракциями, уже не соотнося их с реальной действительностью. Но на этом пути человеческую мысль ожидает застой, очерствение, смерть от недостатка воздуха.

Живая мысль подмечает в окружающем мире такие чудеса, такие парадоксы, такие соотношения, перед которыми схоластика и рассудочность просто бессильны. Вот почему не к простым смертным обращена ирония Ломоносова, а, прежде всего, к тем из людей, которые, по общему признанию, являются носителями земной мудрости, а с высоты, открывшейся ему, представляются ни больше ни меньше как сухими «книжниками», безнадежно далекими от действительной, живой истины:

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает книгу вечных прав,
Которым малой вещи знак
Являет естества устав:
Вам путь известен всех планет;
Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?

. . . .

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?..

Эти вопросы из «Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743) обращены к представителям западноевропейской натурфилософии, весьма падким на умозрительные гипотезы относительно всевозможных явлений природы (здесь: северных сияний). Критика Ломоносова тем убедительнее, что основана на более полном и глубоком знании предмета. Он, еще с детства знакомый с «пазорями» (так поморы называли полярные сияния), идет от наблюдений к обобщениям, от практики к теории, а не наоборот. Так, например, гипотезу своего марбургского учителя Христиана Вольфа, видевшего причину загадочного явления в образующихся глубоко под землей сернистых и селитряных «тонких испарениях», которые, поднимаясь, начинают ярко полыхать в верхних слоях атмосферы — гипотезу наивную, но поддержанную многими учеными, Ломоносов разбивает искренне недоуменным и замечательно здравомысленным вопросом: «Как может быть, чтоб мерзлый пар Среди зимы рождал пожар?» В его сознании уже забрезжила догадка об истинной природе северных сияний — догадка, основанная на многочисленных наблюдениях и личном опыте: как помор он знал, что «матка» (компас) всегда «дурит» на «пазорях», как ученый он склонен был объяснять это колебаниями атмосферного электричества. В «Вечернем размышлении» он как бы невзначай, среди чужих ответов на поставленные им вопросы, предлагает и свой собственный:

Иль в море дуть престал зефир:
И гладки волны бьют в эфир.

Отчетливое понимание ошибочности гипотез и мощное предчувствие своей правоты как раз и составляет эмоциональный пафос «Вечернего размышления».

Однако же вновь приходится отметить, что самое замечательное в приведенных стихах Ломоносова о Солнце и северном сиянии не собственно-научная их сторона. Ломоносов мог и ошибаться в своих догадках, а наука могла не подтвердить его идей. В науке сплошь да рядом случается такое: сегодня та или иная теория деспотически повелевает умами, она — монархиня, а завтра происходит научная революция, и новые «гвардейцы» науки возводят на престол новую царицу — но не навсегда, а всего лишь до следующего переворота. Вот почему гораздо важнее подчеркнуть ту поэтическую непосредственность, с которой Ломоносов выражал (а не формулировал) новые истины.

Существует мнение, что Ломоносов является представителем так называемой «научной поэзии», что он в своем творчестве «гармонично соединял» (или «органично синтезировал») несоединимое: науку и поэзию. Спорить с этим трудно. Но, пожалуй, все-таки стоит.

«Научная поэзия» существовала и до Ломоносова, и при нем, и после него. Старший его современник — выдающийся английский поэт Александр Поуп (1688—1744) написал, к примеру, огромную поэму «Опыт о человеке», в

которой чеканным ямбом запечатлел все известные ему философские доктрины, касающиеся нравственной сущности человека в ее отношениях к природе и обществу. Вот уж кто действительно соединял науку и философию с поэзией, причем соединял сознательно и методично. И преуспел в этом. Позднее Вольтер, находившийся в начале своего пути под сильнейшим влиянием Поупа, сочинил «Поэму о естественном законе» (1754), где дал, по сути дела, поэтический конспект некоторых важных положений физики Ньютона и философии Локка и Лейбница и на основе этих взаимоисключающих учений пришел к выводу о необходимости для человечества следовать во всем религии разума, а не веры, — «естественной религии», как он сам ее называл. Более древние времена тоже дают примеры поэзии в этом роде. Так, римский поэт Лукреций обстоятельно изложил материалистическое учение греческого философа Эпикура в поэме «О природе вещей». То, что названные поэты перелагали стихами чужие теории, нисколько не умаляет значения их произведений: каждое из них сыграло выдающуюся просветительскую роль для своей эпохи, каждое из них имеет большое историко-литературное значение и известную научную ценность (поэма Лукреция — тем более, что от наследия Эпикура остались только фрагменты). Если же к этому добавить их несомненные эстетические достоинства, то присоединение ломоносовской поэзии в этот литературный ряд выглядит вполне уместным и даже вполне достойным.

И все-таки Ломоносов в корне противостоит традициям «научной поэзии» в том их виде, как они сложились к моменту его творческого созревания. Для Лукреция, Поупа, Вольтера характерно, прежде всего, позитивное изложение чужих учений. Перед ними действительно стояла проблема «гармонического соединения», «органического синтеза» поэзии и науки. Поэзия для них — свое, наука — внешнее, в поэтическом изложении происходило снятие этого противоречия. *Ломоносов же интересен тем, что в его сознании наука и поэзия не были антагонистически разорваны.* В стихах его выражено прежде всего лирическое переживание истины, явившейся ему, пронизавшей все его существо, — истины, облеченной не в понятие, а в художественный образ. Причем этот образ истины сразу начинает жить своею жизнью, управляет всем произведением. Ведь строго рассуждая, в «Утреннем размышлении» физическая картина состояния солнечного вещества вовсе даже и не аргументирована научно, а угадана художественно. Здесь не гипотеза, а образ. Точно так же и в «Вечернем размышлении» не разбор различных ученых мнений о природе северных сияний лежит в основе произведения (это было бы приличнее для «специмена», диссертации), но, говоря словами Ломоносова, «священный ужас» перед неисчислимым разнообразием таинственных, еще не объясненных явлений природы. Не

случайно он предваряет свои вопросы к «книжкам» такими стихами, в которых выражено недоумение по поводу того, что природа нарушает свой же «устав»:

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

Так, несколькими энергичными мазками Ломоносов создает художественный образ занимающихся полярных сполохов. Это не детальное научное описание северного сияния, но именно художественная картина его. Реальное явление здесь с самого начала растворено в переживании. Здесь, по сути, нет физической проблемы, есть проблема духовная. И хотя дальше Ломоносов задает «книжникам» вопросы, связанные с физикой, главное в них — смятение души, во что бы то ни стало стремящейся к раскрытию тайны: разрешите же сомнение! «Скажите, что нас так мятет»!

Ломоносову не нужно было «синтезировать» или «соединять» в своем творчестве науку и поэзию, ибо они у него еще не были разъединены. Ломоносовская мысль на редкость целостна и органична в самой себе. В ней стремление к познанию, нравственной свободе и красоте — эти три главных «движителя» духа не механически совмещены, а химически связаны. Ломоносов выступил на историческую арену в ту пору, когда в России разделение единого потока общественного сознания на отдельные «рукава» только еще начиналось. Именно благодаря Ломоносову, его деятельности, мы можем говорить о поэзии, науке, философии и т. д. как отдельных, совершенно самостоятельных дисциплинах. Собственно, с Ломоносова этот процесс и начинался. Сам же он — поэт и ученый, живописец и инженер, педагог и философ и т. д. и т. п. — остался един во всех лицах.

Эта оригинальность ломоносовской личности и ее места в культуре XVIII века имеет и общеевропейское основание. Ведь Россия — как великая держава — активно включилась в европейскую жизнь в ту пору, когда в культуре развитых стран (Англии, Голландии, Франции) процесс дифференциации, дробления общественного сознания шел уже полным ходом. Ньютон не писал стихов, Спиноза не создавал мозаичных картин, Мольер не налаживал технологии стекольного производства. (Правда, Вольтер, например, пробовал, помимо поэзии и драматургии, заниматься философией, физикой, химией, другими науками, но в этих занятиях дальше популяризации чужих идей не пошел.) Ломоносов же, в силу особенностей русской культурной ситуации начала XVIII века, должен был принять на себя выполнение всех тех задач, ко-

торые в дальнейшем решали уже разные специалисты в разных областях. Требования исторической необходимости в данном случае идеально совпали с потребностями духовного развития самого Ломоносова — широта и величие исторических задач с широтой и величием его устремлений.

Поэзию Ломоносова (уже самые ранние его произведения) трудно понять в полной мере, опираясь на данные одной только историко-литературной науки. По типу личности Ломоносов весьма далек от своих европейских современников. Не с Вольтером и Поупом его следовало б сопоставлять, а с великими деятелями Возрождения — Леонардо да Винчи, Френсисом Бэконом и т. п. И если уж дело идет о ломоносовской поэзии, то фигура, скажем, Джордано Бруно, в пламенных стихах выражавшего свое ощущение «героического энтузиазма» перед лицом неисследованной Вселенной, дерзкой мечтой устремившегося к иным мирам, по духу стоит гораздо ближе к нашему поэту.

«Героический энтузиазм» — вот, пожалуй, наиболее верное определение той эмоциональной приподнятости, которую ощутил в себе Ломоносов, когда по возвращении из Германии писал: «Сколь трудно полагать основания!.. Я, однако, отваживаюсь на это...» Это ощущение героического энтузиазма не покинуло Ломоносова в течение всей его жизни, чем бы он ни занимался. Точно так же, как никогда не покидало его понимание самобытности, уникальности того дела, которое он отстаивал и претворял в жизнь как представитель русской культуры. То же самое можно сказать и о единстве, органичности его необъятных творческих устремлений — личность его всегда была цельной.

Есть непреложный закон в поэзии. Если поэт как человек достаточно глубок и содержателен, если он прочно связан со своим временем, если он в раздумьях над коренными вопросами бытия умеет прийти к своим выводам, это рано или поздно воплощается в его творчестве в каком-то излюбленном образе, который с различными видоизменениями переходит из стихотворения в стихотворение, — в некий сквозной символ его поэзии, в котором самобытность художника выражается предельно последовательно и полно.

Когда заходит разговор о поэзии Ломоносова, то чаще всего как пример такого излюбленного образа приводят «парение», «взлет», стремление ввысь. Обычно это наблюдение подкрепляют цитатами из похвальных од Ломоносова (вспомним начало «хотинской» оды: «Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верьх горы высокой...»). Это в принципе верно. Однако же все подобные примеры не отражают полностью ломоносовского представления о мире. И «парение», и «взлет», и стремление ввысь выполняют у Ломоносова, как правило, строго определенную роль: это прежде всего выражение духовного подъема, вдохновения, восторга. Парение души — это одно из главнейших нравственных состояний человека в поэтическом мире Ломоносова, когда человек становится свидетелем и соучастником космических событий, когда его внутреннему взору открываются величайшие мировые тайны и т. д. Чаще всего метафора «парения» употребляется Ломоносовым сознательно, с намеренной целью выразить этот духовный подъем. Но, повторяем, все это не отражает исчерпывающе поэтических воззрений Ломоносова на мир.

Если привлечь к рассмотрению не только похвальные оды Ломоносова, но всю поэзию в совокупности, то мы увидим, что ее сквозным символом является огонь. Образы, построенные на ассоциациях с огнем — начиная с «Оды на взятие Хотина» (1739) и кончая последней миниатюрой «На Сарское село» (1764), — присутствуют в подавляющем большинстве поэтических произведений Ломоносова. Сейчас перед нами — начальные стихотворения Ломоносова. Тем знаменательнее тот факт, что уже на заре своей поэтической деятельности Ломоносов отвел огню совершенно выдающуюся роль в своем художественном мире. Огонь — это центр Вселенной, податель жизни, главнейшее и единственное условие существования мира (достаточно вспомнить «Утреннее размышление»). Через посредство огня человек у Ломоносова выполняет и свою великую миссию познания природы вещей («озарение» у него всегда предшествует «парению»).

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!

(Только после этого следует: «Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь...»)

Еще в глубокой древности люди пришли к убеждению: увидеть — значит познать. Во времена античности Гераклит Эфесский учил, что мировой порядок «всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим, мерами угасающим», и залогом достоверного знания о мире считал зрение, «ибо глаза более точные свидетели, чем уши». В эпоху Возрождения об этом же писал Леонардо да Винчи: «Глаз, называемый окном души, — это главный путь, которым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные творения природы». Ломоносовский мир освещен из конца в конец, у Ломоносова даже ночь — светла («Вечернее размышление»). Мир этот — познаваем, оттого и радостен. От «героического энтузиазма» перед непознанным до «веселия духа» перед открытым, постигнутым — таков эмоциональный диапазон переживания человеком этого необъятного мира.

Можно смело утверждать, что до появления Пушкина не было на Руси поэта более светлого, более солнечного, чем Ломоносов. Именно в поэзии Ломоносова русская мысль на «стыке» двух великих эпох — средневековья и нового времени — пережила свой момент озарения. Именно в поэзии Ломоносова Россия, выходившая на всеевропейский простор, прочувствовала все величие своего будущего. И конечно же, не случайно то, что это ощущение благоприятности грядущих судеб вольно или невольно выражалось Ломоносовым в «огненных» образах, как, например, в следующих стихах из «Краткого руководства к риторике» (1743):

Светящий солнцев конь
Уже не в дальний юг
Из рта пустил огонь,
Но в наш полночный круг.

ГЛАВА III

Другой погрешил чем-то против меня? Пусть сам смотрит свой душевный склад, свои действия. А я сейчас при том, чего хочет от меня общая природа, и делаю я то, чего хочет от меня моя природа.

Марк Аврелий

1

Вступление Ломоносова в пору строгой творческой зрелости совпало по времени с важным событием в его личной жизни. В ноябре 1743 года, когда он еще находился под стражей, к нему в Петербург переехала его жена Елизавета-Христина с дочерью Екатериной-Елизаветой и со своим братом Иоганном Цильхом.

Трудными были первые годы ее замужества. Конфликт «Михеля» с бергратом Генкелем не мог не смутить тревогой за будущее едва возникшей семьи. Ведь с октября 1740 года по май 1741 года ее 29-летний муж проживал в доме ее матери инкогнито. Когда он отправился в свой Петербург, прочное, обеспеченное будущее рисовалось ему только в желаниях его, в мечте. На самом же деле он ехал в полную неизвестность. Эта же неизвестность, да еще непредвидимо долгая разлука с ее «Михелем» легла тяжким грузом на ее плечи. Да еще естественная тревога матери за дитя: двухлетнюю Екатерину-Елизавету. К тому же она ждала еще одного ребенка, которого отец так и не увидел: родившийся 22 декабря 1741 года сын, названный при крещении Иваном, умер в январе 1742 года. Двусмысленное положение то ли

брошенной жены, то ли вдовы, конечно, тяготило дочь покойного пивовара Генриха Цильха. Эта полная неизвестность о муже, тяжелая сама по себе, была просто невыносимой в бюргерском окружении. Ломоносов, со своей стороны, не мог сразу же выписать семью к себе: ведь первые семь месяцев по приезде в Петербург он оставался студентом, а потом следствие по делу Шумахера, собственный арест и при всем том неимоверная внешняя загруженность академической работой, равно как и доходящая до самозабвения внутренняя увлеченность великими идеями в науке и в поэзии, всецело подчинили его себе. Быть может, прав был Даниил Бернулли, человек равного творческого темперамента и увлеченности, не позволивший себе обзавестись семьей и целиком посвятивший свою долгую жизнь науке.

Так или иначе, Елизавета-Христина решила действовать. В феврале 1743 года она обратилась к русскому посланнику в Гааге графу А. Г. Головкину (тому самому, который в свое время отказался заниматься ломоносовским делом) с просьбой переслать ее письмо к мужу. А. Г. Головкин отправил письмо канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину. Тот передал его профессору Штелину (который, будучи наставником в науках великого князя Петра Федоровича, часто находился при дворе).

В начале марта Ломоносов получил письмо жены. Штелин, поведавший нам всю историю с письмом, свидетельствует, что Ломоносов при этом воскликнул: «Боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину!» Ломоносов всегда помнил жену, то есть действительно «никогда не покидал ее» в своих мыслях — просто обстоятельства были таковы, что он скорее всего не решался написать ей. А если бы и решился, то, рассуждая чисто по-мужски, — чем бы он мог ее обрадовать? Теперь же, когда дело сдвинулось с места, он тут же пишет письмо Елизавете-Христине в Марбург с настоятельной просьбой приехать к нему в Петербург, приложив к письму 100 рублей. Ломоносовское послание благополучно проделало тот же путь, что и письмо жены, но в обратном порядке: Петербург, Гаага, Марбург.

Переезд Елизаветы-Христины в Петербург (теперь она стала Елизаветой Андреевной, а ее брат Иоганн — Иваном Андреевичем) вполне прояснил для нее положение, в котором находился ее муж. О материальном благополучии семьи можно было только мечтать. Первые недели после приезда жены Ломоносов был под домашним арестом. Последовавшее в январе 1744 года освобождение сопровождалось, как мы помним, финансовым взысканием — усекновением наполовину его адъюнктского жалованья в течение года. И хотя эта мера была приостановлена через шесть месяцев, до благополучия все еще было далеко. Так, если до приезда жены Ломоносова за занимаемые им две «каморки» платила Академия, то, по распоряжению Канцелярии от

4 июля 1744 года, с него стали удерживать за них 2 рубля ежемесячно, начиная как раз с ноября 1743 года.

В ту пору Ломоносов постоянно нуждался в деньгах. Буквально накануне приезда семейства, 24 октября, он подает в Канцелярию прошение о выдаче 30 рублей в счет жалованья: «Имею я, нижайший, необходимую нужду в деньгах как на мое содержание, так и для платежу долгов приезжим людям, которые на сих днях отсюда отъехать намерены и от меня платежу по вся дни требуют неотступно». И без того бедственное положение Ломоносова усугублялось еще тем, что Канцелярия постоянно задерживала выплату жалованья профессорам и адъюнктам. Часто при расчете вместо денег использовались книги, которые стоили дорого и которые можно было продать. 29 ноября того же, 1743 года (то есть уже по приезде жены) Ломоносов вновь обращается в Канцелярию с просьбой выдать для «пропитания» и «для расплаты долгов» задержанное жалованье «из Книжной палаты книгами, какими мне потребно будет, по цене на восемьдесят рублев». Трудности, связанные с «пропитанием» и «расплатой» долгов, еще не один год будут преследовать Ломоносова.

Словом, начало новой жизни на родине мужа было для Елизаветы Андреевны, по существу, безотрадным. Дочь их Екатерина-Елизавета скорее всего умерла сразу же по приезде, ибо никаких упоминаний о ее дальнейшей судьбе не сохранилось. Да и о самой Елизавете Андреевне, об их супружеских отношениях с Ломоносовым известно очень и очень мало. Впрочем, несмотря на то, что тогдашние материальные трудности были мало вдохновляющим обстоятельством, Елизавета Андреевна, надо думать, не испытывала разочарования в связи с переездом к мужу. Он все еще был молод, энергичен и полон надежд, многие из которых вскоре начали сбываться. Что же касается устройства своего быта, то, судя по имеющимся данным, Михайло Васильевич и Елизавета Андреевна были одинаково неприхотливы: было б самое необходимое. Пушкин, основываясь на устном предании, сохранил для нас такое вот свидетельство: «В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? Не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредиаковский, Василий Кириллович, — вот этот был почтенный и порядочный человек».

Мы уже говорили о более существенных различиях между Тредиаковским и Ломоносовым. Если бы все питали к Василию Кирилловичу хотя бы крупицу того уважения, каким его отметила старая профессорша! Но в то суровое время завоевывать себе уважение, отстаивать свое достоинство надо было иначе, надо было ни на вершок не поступаться своими убеждениями, надо было обладать твердостью духа, а подчас и почти атлетической силой.

Штелин приводит в своих записках эпизод, относящийся к началу 1740-х годов и показывающий, что Ломоносова никогда не покидало присутствие духа, что он был готов к любым капризам судьбы, — и суровому веку ни разу не удалось застать его врасплох. «Однажды, — пишет Штелин, — в прекрасный осенний вечер пошел он один-одинехонек гулять к морю по большому проспекту Васильевского острова. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться и он проходил лесом по прорубленному проспекту, выскочили вдруг из кустов три матроса и напали на него. Ни души не было видно кругом. Он с величайшею храбростию оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но даже долго не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что он весь в крови изо всех сил побежал в кусты; а третьего ему уж не трудно было одолеть; он повалил его (между тем как первый, очнувшись, убежал в лес) и, держа его под ногами, грозил, что тотчас же убьет его, если он не откроет ему, как зовут двух других разбойников и что хотели они с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить и потом отпустить. «А! Каналья! — сказал Ломоносов, — так я же тебя ограблю». И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел своим собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полунагого матроса по ногам, так что он упал и едва мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечо узел, пошел домой со своими трофеями, как с завоеванною добычею...» Читаешь эти строки и ловишь себя на мысли о том, что, окажись в свое время Ломоносов на месте Тредиаковского, Волынский никогда не посмел бы избить его. Казнить мог бы, но избить и после этого заставить писать стихи к «дурацкой свадьбе» — никогда.

На иной взгляд может показаться, что Ломоносов потому и умел жить в суровом веке, что сам был не в меру суров. Однако же это не так, и мы еще будем иметь возможность не однажды убедиться в том, что он был способен на самое искреннее и действенное сострадание к людям. Просто он был сильным человеком во всеобъемлющем смысле слова: и телом, и волей, и духом. Сильным от природы и вдвойне сильным от того, что во всем поступал по правде, отличался какою-то особой щепетильностью в соблюдении справедливости. Сила, которая зиждется на таком основании, не нуждается в поддержке суровости, жестокости и т. п., союзников весьма сомнительных.

Вот почему, испытывая в первые годы работы острейший недостаток в деньгах, он ни разу не поступился совестью или профессиональным кредо, ни разу не продал ни

того, ни другого. Он просил о деньгах. Просил, правда, «нижайше», но того требовала условность той поры. Он, однако, просил не чужое за свои «приватные» услуги, а свое — то, что принадлежало ему по праву. Это были чаще всего просьбы о выдаче разных сумм вперед, в счет будущего жалованья, или о выплате задержанного.

Постоянные задержки жалованья понудили его 13 января 1746 года (вместе с Тредиаковским и Винсгеймом: как видим, когда дело шло о деньгах, противники Ломоносова могли принять его сторону) сделать предложение Академическому собранию обратиться с письмом в Статс-контору, чтобы она причитающееся ученым жалованье не пересылала в Канцелярию (где распорядителем всей суммы становился Шумахер, который и задерживал выплату), а оставляла бы его у себя. Присутствующие одобрили это предложение. С 7 апреля по 17 июня Ломоносов и другие академики свои денежные дела вели непосредственно в Статс-конторе, а потом все опять пошло по-прежнему. Впрочем, были здесь и свои отрадные просветы в тучах. 13 февраля 1746 года он подал в Канцелярию строго обоснованное прошение о выдаче 290 рублей 39 с половиной копеек, недоплаченных ему во время обучения в Германии. О радость! — 25 февраля Канцелярия распорядилась выдать ему 380 рублей 10 с половиной копеек «германских» денег книгами. Он даже просчитался, подавая прошение! На следующий день он получил в академической книжной лавке разных книг на 229 рублей 99 с половиной копеек. Остальные же 150 рублей 11 копеек пошли на погашение его долгов Академии. Однако же и этот подарок судьбы не закрыл, должно быть, брешь в семейном бюджете, ибо 1 октября того же года Ломоносов одолжил у некоего купца Серебренникова 100 рублей. Да и этой суммы, видно, хватило ненадолго: в августе 1747 года он вновь просит у Канцелярии выдать «для его крайних нужд» жалованье за июль и август досрочно. Получив просимое 2 сентября, он возвращает в октябре долг Серебренникову, а 2 ноября подает новое прошение в Канцелярию о досрочной выдаче жалованья за сентябрь и октябрь, указывая, что жена его больна, «а медикаментов купить не на что».

Ломоносов и сам в эту пору за болезнью не однажды пропускал заседания Академического собрания. Это могли быть и обычные недомогания вроде простуды. Но вот 30 сентября 1748 года, прочитав в Академическом собрании свою диссертацию «Опыт теории упругости воздуха», он сообщил коллегам, что Канцелярия разрешила ему впредь не посещать заседания Академического собрания, пока у него не утихнут боли в ногах. Это первое документальное упоминание о болезни, которая спустя 17 лет сведет его в могилу. Что это за болезнь и с чем она связана, ответ могут дать только медики, хотя из-за недостатка точных свидетельств даже специалистам трудно здесь разобраться. Возможно, это

была какая-то сосудистая патология: из писем Ломоносова явствует, что он одно время был завзятым курильщиком, но к началу 1750-х годов резко и бесповоротно бросил курить. Возможно, еще что-то... Но так или иначе, начиная с 37 лет, Ломоносов постоянно жалуется на «лом в ногах».

В августе 1747 года Ломоносову разрешено было временно занять по тем временам скромную — всего-навсего пятикомнатную квартиру бывшего профессора ботаники Сигизбека. Это жилье досталось Ломоносову от прежнего владельца в печальном состоянии: «В тех покоях от печи скрозь кровли потолки и от мокроты гзымзы (кирпичи.— *Е. Л.*), також и двери и в некоторых местах полы, — ветхие. Да идучи со двора в сенях потолки ветхие ж. Також и трубы растрескались». Тем не менее «в тех покоях» было намного просторнее, чем в двух каморках, которые Ломоносов получил по возвращении из Германии. К тому же вскоре его семейство увеличилось.

21 февраля 1749 года Елизавета Андреевна родила Ломоносову дочь, получившую при крещении имя Елены. Он показал себя заботливым отцом. 1 ноября 1761 года в записке «О сохранении и размножении российского народа» он вспоминал о трудах «великого медика» Фридриха Гофмана (1660—1742), о его наставлениях для излечения младенческих болезней, «по которым, — писал Ломоносов, — я дочь свою дважды от смерти избавил». Пройдет время, Елена Михайловна Ломоносова (1749—1772) выйдет замуж за Алексея Алексеевича Константинова (1728—1808), бывшего студента Академического университета, библиотекаря Екатерины II. Одна из их дочерей, Софья Алексеевна, станет женою знаменитого генерала Н. Н. Раевского. Их дочь Мария Николаевна (правнучка Ломоносова) последует за своим мужем декабристом Сергеем Волконским в Сибирь. Пушкин, который, как известно, был в молодости увлечен Марией Волконской, посвятит ей поэму «Полтава» (1828), намеренно позаимствовав у Ломоносова краски для описания скачущего перед войсками Петра I и вообще батальных сцен; кроме того, по стечению обстоятельств (случайному ли?) датой начала работы Пушкина над «Полтавой» станет 4 апреля (день памяти Ломоносова).

Первые годы совместной семейной жизни Ломоносова с Елизаветой Андреевной были, повторим, трудны: постоянный недостаток в средствах, смерть первой дочери, рождение и болезни второй, недомогания Елизаветы Андреевны, собственная болезнь. Причем болезнь эта уже тогда была достаточно серьезна. После разрешения от 30 сентября 1748 года пропускать заседания Академического собрания можно привести здесь и такой пример: 31 мая 1750 года Ломоносов получил президентское указание посещать Ботанический сад Академии наук. Дело в том, что Ботанический сад примыкал к дому, в котором вместе с другими академи-

ческими служащими жил Ломоносов. Ходить в присутствие и обратно через Ботанический сад было короче, но входить на его территорию не работающим там не разрешалось. Вот Ломоносов и обратился за соответствующим разрешением и получил его. Не исключено, что здесь свою роль сыграли боли в ногах, время от времени обострявшиеся: сделать лишний «крюк» 38-летнему мужчине, если он абсолютно здоров, едва ли было бы обременительно.

Впрочем, все эти житейские трудности не были безысходными. Их скорее можно назвать трудностями подъема. Семейная жизнь, быт семейный, который хотя с трудом, но налаживался, обеспечивали Ломоносову «тылы» в его академической и литературной борьбе, в середине и второй половине 1740-х годов вступающей в новую, плодотворную для него полосу. К тому же в эту пору в деятельности самой Академии происходят важные перемены, заявляют о себе новые люди.

2

К моменту освобождения Ломоносова из-под стражи кафедра химии Петербургской Академии наук, по существу, бездействовала. Возглавлял ее, как уже говорилось, профессор Гмелин, выдающийся ботаник, имевший отношение к химии лишь постольку, поскольку она касалась основного предмета его исследований. Кроме того, именно в 1744 году он начал хлопотать о своем увольнении из Академии, ссылаясь на здоровье, подорванное во время сибирской экспедиции. Ломоносов глубоко уважал Гмелина как серьезного ученого и как человека, в отличие от многих иностранцев благосклонного к учащемуся российскому юношеству. От Степана Крашенинникова, вместе с Гмелином, Миллером и географом де ла Кройером работавшего в той же экспедиции, Ломоносов знал «о Гмелинове добром сердце и склонности к российским студентам», о том, что «он давал им в Сибире лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал». Со своей стороны, и Гмелин тепло относился к Ломоносову, с пониманием и сочувствием следил за его научной работой, полагая, что единственным реальным и достойным кандидатом на освобождающуюся профессорскую вакансию по кафедре химии был именно Ломоносов.

«Священный ужас мысль объемлет» даже при самом общем взгляде на объем, сосредоточенность и интенсивность научной работы, проделанной Ломоносовым во второй половине 1740-х годов. Эта работа в полном смысле слова поразительна как по «чрезъестественному» рвению, так и по результатам.

В мае 1744 года он проводит ряд экспериментов, показывающих, что прокламированная им в «Элементах математической химии» и других ранних диссертациях необходимость

применения количественных методов в естественных науках еще на рубеже 1730—1740-х годов мыслилась им в виде конкретной программы исследований, а не как отвлеченная философская перспектива. 4 мая он начал серию из трех опытов по определению растворимости солей в воде и металлов в кислотах. Опыты проводились в Физическом кабинете Академии наук в присутствии адъюнкта по химии Христлиба Эрготта Геллерта (1711—1795), который составил о них записки, оглашенные 25 июня в Академическом собрании профессором Крафтом. Вот как описывал Геллерт последний опыт Ломоносова: «Медную монету, так называемую денежку, весом в 120 гранов, клал в крепкую водку (т. е. азотную кислоту. — *Е. Л.*), освобожденную от воздуха, на 10 минут; то, что оставалось, весило 46 гран. Подобной же монете в 104 грана он давал раствориться в течение 10 минут, не освобожденной от воздуха; остаток весил 19 гранов. Таким образом, крепкая водка, не освобожденная от воздуха, растворила на 11 гранов меди больше». Это было первое в химической науке применение количественного метода, результаты которого легли в основу ломоносовской диссертации «О действиях растворителей на растворяемые тела».

Эту свою диссертацию вместе с двумя другими («О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном» и «Физическими размышлениями о причинах теплоты и холода») 7 декабря 1744 года Ломоносов представил на рассмотрение Академического собрания. За время ареста он понял, что его радение о русской науке заслуживает лучшего применения, нежели рукопашные схватки с ее врагами, он повел основательную и серьезную осаду шумахеровой твердыни в Академии, справедливо рассудив завоевать в ней для начала «химический» бастион. Три названные работы Ломоносова, по их одобрении Академическим собранием, давали ему юридическое право претендовать на должность профессора химии (тут надо сказать, что Шумахер именно их взял себе на заметку и некоторое время спустя попытался дискредитировать их с научной стороны, о чем еще будет сказано). С января по апрель 1745 года Ломоносов читал свои диссертации в Академическом собрании. Причем работа о растворителях вызвала особенный интерес академиков, прежде всего экспериментами, на которых она основывалась. В академических протоколах за 22 марта 1745 года сохранилась следующая запись: «Адъюнкт Ломоносов закончил чтение своей «Диссертации о действии растворителей на растворяемые тела». Так как в ней встречаются опыты, то было постановлено, чтобы они были повторены г-ном адъюнктом на ближайшей конференции». Ломоносов с успехом повторил то, что было им проделано ранее в присутствии одного Геллерта, теперь уже перед всеми академиками.

Тогда же, в марте 1745 года, он подает очередное, третье по счету прошение об учреждении (и проект) Химической

лаборатории. Но и на этот раз решения не воспоследовало. Ломоносов вновь и вновь убеждался, что успех всех его начинаний и планов зависел от положения, которое он занимал в Академии. Как и во всей его деятельности, и на этот раз его личный интерес идеально совпадал с интересами дела.

Наконец, 30 апреля 1745 года Ломоносов представляет в Канцелярию прошение о назначении его профессором химии. В этом документе он приводит внушительный перечень работ, выполненных им в Академии после назначения «адъюнктом физического класса»: переводы «Волфианской экспериментальной физики», статей Крафта (о машинах, о селитре и пр.) и Г. Гейнзиуса (о комете, явившейся в 1744 году), стихотворений Юнкера и Штелина, оригинальные научные труды «Первые основания металлургии или рудных дел», «Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное», упомянутые выше три диссертации, обучение студентов Протасова и Котельникова (будущих академиков), изучение сотен книг «славных авторов», находящаяся в работе диссертация на тему «О составляющих природные тела нечувствительных физических частицах» и другие исследования. Не забывает Ломоносов в своем прошении и о необходимости создания Химической лаборатории. По существу, это даже и не прошение, а отчет об огромной проделанной работе и уверение в еще больших и плодотворнейших трудах на будущее в случае необходимого «ободрения»: «В бытность мою при Академии наук трудился я, нижайший, довольно в переводах физических, химических, механических и пиитических с латинского, немецкого и французского языков на российский и сочинил на российском же языке «Горную науку» и «Риторику» и сверх того в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых химических опытов, сколько за неимением лаборатории быть может, и в сочинении новых диссертаций с возможным прилежанием упражняюсь, чрез что я, нижайший, к вышепомянутым наукам больше знания присовокупил, но точию по силе оного обещания (т. е. данного при отправке в Германию. — *Е. Л.*) профессором не произведен, отчего к большему произысканию оных наук ободрения не имею».

Напомним, что с 1741 года в Академии не было президента, и президентские обязанности в административно-хозяйственных и кадровых вопросах исполняла Канцелярия, а по существу, один человек — Шумахер. Если к этому добавить, что с момента основания Академия не имела и Регламента, то станет ясно, от кого в первую очередь зависело, какой ход будет дан ломоносовскому прошению. Впрочем, в докладе Блюментроста Петру I об учреждении Петербургской Академии наук предполагалось утвердить за Академическим собранием право «ныне или со временем» «градусы академиков давать». Император, рассматривая доклад, написал по этому поводу 22 января 1724 года: «Позволяется». Итак, позволение было, но воспользоваться им Академическому собранию в продолжение первых двадцати лет не позволяли: профессора назначались президентами, и очень редко — по соглашению с высшим научным органом Академии.

Вот почему Ломоносов не ограничился только официальным прошением о назначении на должность профессора. 1 мая 1745 года он пишет (по-немецки) письмо самому Шумахеру, исполненное благородной непримиримости к адресату и спокойного, даже величавого сознания своей правоты, а значит — и силы:

«Мне хорошо известно, что ваше благородие заняты многими и более важными делами, так что мое прошение не могло быть тотчас же рассмотрено в Канцелярии. Между тем моя покорнейшая просьба к вашему благородию не простирается далее того, чтобы о моем прошении чем скорее, тем лучше было доложено Конференции, чтобы я знал наконец, как обстоит дело со мною, и признан ли я достойным того, на что долгое время надеялся. Ваше благородие изволили дать мне понять, что мне следовало бы повременить вместе с другими, которые тоже добиваются повышения. Однако мое счастие, сдается мне, не так уж крепко связано со счастием других, чтобы никто из нас не мог опережать друг друга или отставать один от другого. Я могу всепокорнейше уверить ваше благородие, что милостью, которую вы легко можете мне оказать, вы заслужите не только от меня, но и от всех знатных лиц нашего народа большую благодарность, чем вы, быть может, предполагаете. В самом деле, вам принесет более чести, если я достигну своей цели при помощи вашего ходатайства, чем если это произойдет каким-либо другим путем. Я остаюсь в твердой уверенности, что ваше благородие не оставите мою нижайшую и покорнейшую просьбу без последствий, а, напротив, соблаговолите помочь моему повышению скорой резолюцией».

Шумахер необычайно скоро отозвался на ломоносовские увещевания. Уже на следующий день, 2 мая, Канцелярия обратилась в Академическое собрание с просьбой дать оценку научных достоинств Ломоносова в видах присвоения ему профессорского звания. Поспешность Шумахера объясняется, во-первых, тем, что он знал о покровительстве, которое к этому времени уже оказывал Ломоносову граф М. И. Воронцов (один из активных деятелей переворота 25 ноября 1741 года), а во-вторых, тем, что положение его самого в Академии к этому же времени вновь осложнилось. Даже те профессора, которые во время следствия над Шумахером в 1742—1743 годах поддерживали его, теперь не только отвернулись от него, но и активно выступали против. Восстановленный после следствия во всех своих правах Шумахер вел

себя по отношению к ученым во много раз деспотичнее, чем прежде. В 1745 году они объединились, чтобы дать ему отпор, ограничить в пределах должности, нейтрализовать его бюрократическую активность, вредоносную для науки. Пока президентская должность вакантна, всею полнотой власти должно обладать Академическое собрание — такова была точка зрения ученых. Канцелярия, естественно, делала все, чтобы сохранить всю полноту власти в своих руках.

История с присвоением Ломоносову нового ученого звания не только стала продолжением личного поединка между ним и Шумахером, но и знаменовала собой поединок между Шумахером и Академическим собранием, то есть вообще между бюрократией и наукой. В этом поединке Шумахер рассчитывал на всегдашние разногласия в среде академиков, а также на личную неприязнь многих из них к Ломоносову. Поэтому-то он так быстро передал ломоносовское прошение на рассмотрение Академического собрания. Таким образом, он вроде бы вел себя лояльно по отношению к Ломоносову (дал ход делу сразу же, без проволочек) и одновременно потрафил самолюбию академиков. В случае отрицательного результата Ломоносов должен был бы адресовать свои претензии Академическому собранию. Но Шумахер просчитался в главном. Академическое собрание (в том числе и самые ярые ломоносовские противники) выступило на стороне адъюнкта физического класса, а не советника Канцелярии, которому оставалось теперь уже самому чинить препятствия по ломоносовскому делу — мелкие и жалкие, но затягивающие всю процедуру.

3 мая Академическое собрание, рассмотрев ломоносовское прошение, предложило ему «как можно скорее» подать еще одну диссертацию — «из области науки о металлах». Ломоносов в феноменально короткий срок, уже 29 мая, представил новую работу «О металлическом блеске» (написанную на основе его студенческого специмена 1740 года «Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути»). Ломоносову было позволено «вне очереди» зачитать ее перед Академическим собранием, что он и сделал 14 июня. Формальным препятствием для получения Ломоносовым профессорского звания было то, что кафедру химии по-прежнему возглавлял Гмелин. Но препятствие это было сразу же устранено, как только Гмелин сделал заявление, «что он означенную профессию (т. е. химию. — *Е. Л.)* г-ну адъюнкту совершенно уступает, тем паче что для всегдашнего упражнения в истории натуральной, химию оставить принужден был, и для того еще, что в прошедшем году декабря 7 дня Канцелярии объявил, что он, оставя Академию, возвратится в отечество свое».

Это произошло в Академическом собрании 17 июня. Ломоносова, присутствовавшего на заседании, попросили покинуть Конференцию, чтобы в его отсутствие вынести решение по его делу. Протокол заседания от 17 июня 1745 года (переведенный соучеником Ломоносова по Славяно-греко-латинской академии Василием Лебедевым) гласил: «По выходе г. адъюнкта Ломоносова из Конференции, советовано о его учении и успехе в оном и общим согласием определено, что поданные от г. адъюнкта учения его специмены достойны профессорского звания. И понеже учению г. адъюнкта профессия пристойна более химическая, то почтенный г. Гмелин в собрании объявил, что он означенную профессию помянутому г. адъюнкту совершенно уступает». Впрочем, академики не успели договориться в тот день, «каким образом г. адъюнкта профессором произвесть и объявить и другие подобные тому случаи», — то есть неясен был сам бюрократический механизм производства в должность. Вот почему ломоносовское дело было «оставлено до другого собрания», на которое решено было пригласить и Шумахера.

Вот тут-то советник Канцелярии и наверстал свое. На «другое собрание», состоявшееся 21 июня, Шумахер не явился. Окончательное решение дела о ломоносовском профессорстве вновь было отложено. Пришлось назначить на следующий день экстраординарное заседание. Но Шумахер не явился и на этот раз. Академики отважились закрыть вопрос без него. Записав — 22 июня в протоколе: «Дело о Ломоносове было решено окончательно», — они постановили обратиться в Сенат, уведомив этот высший исполнительный орган государственной власти о том, что Академическое собрание считает Ломоносова достойным профессорского звания. Сами академики не осмелились непосредственно снестись с Сенатом — это входило в компетенцию президента. В его отсутствие Академию в Сенате представлял Шумахер. Академическое собрание постановило поручить ему поставить Сенат в известность об избрании Ломоносова профессором. Несколько дней ушло на составление соответствующего письма в Сенат, которое было утверждено в Академическом собрании 28 июня. В письме говорилось о том, что решение о Ломоносове носит окончательный характер. В сущности, Шумахеру отводилась роль курьера от Академии в Сенат. По иронии судьбы, письмо академиков отправлял Шумахеру конференц-секретарь Винсгейм (тот самый, с которым Ломоносов схлестнулся в 1743 году и который тогда был на стороне Шумахера). Теперь ситуация в Академии отражала истинное положение вещей: воюя с Ломоносовым, Шумахер воевал с Академией.

Письмо академиков, подписанное Винсгеймом, он оставил без ответа и без последствий. Ломоносову, потребовавшему от него объяснений, Шумахер объявил, что этого письма недостаточно и необходима выписка из протокола Академического собрания. 1 июля Ломоносов получил ее и представил Шумахеру, который на сей раз заявил, что выписка

должна быть препровождена ему эфициально, через конференц-секретаря Винсгейма. 4 июля Винсгейм направил Шумахеру требуемую выписку. Только 18 июля Шумахер подал ломоносовское дело в Сенат (эти две недели бумага лежала у него без движения уже без всякого внешнего оправдания). Сенат в тот же день распорядился: «По указанному Канцелярии Академии наук представлению и по удостоинству профессоров быть при той Академии Ломоносову профессором химии». 25 июля было доложено императрице, которая дала Сенату устный указ о назначении Ломоносова на должность профессора. 26 июля на заседании Сената этот указ был объявлен Ломоносову, специально вызванному.

12 августа 1745 года постановление Сената (в переводе на латинский язык) было оглашено в Академическом собрании. Вместе с Ломоносовым были произведены Степан Крашенинников (из студентов в адъюнкты натуральной истории) и Тредиаковский (в профессора латинского и российского красноречия). Однако производство Тредиаковского (в отличие от Ломоносова и Крашенинникова) произошло в обход Академического собрания: по его делу в Сенате фигурировал аттестат, выданный ему Святейшим Синодом, а не свидетельство академиков. Так или иначе, 12 августа 1745 года — день знаменательный в истории Академии наук: через двадцать лет после ее основания два «природных россиянина» наконец-то получили «место среди профессоров».

Потерпев поражение в этой схватке с Ломоносовым и Академическим собранием, Шумахер отнюдь не был сломлен окончательно. Он терпеливо ждал своего часа, чтобы расквитаться с русским выскочкой и другими академиками, непутем возомнившими о себе слишком много. Он чиновничьим нутром своим чувствовал, что этот час пробьет рано или поздно. Впрочем, конец 1745 года, казалось бы, не сулил ему никаких надежд. И виной тому был «нововыпеченный» профессор химии.

Академики, забыв былую неприязнь к Ломоносову, почувствовали в нем человека, который должен возглавить борьбу, начатую ими против Шумахера. Уже 9 августа (когда высочайший указ о производстве Ломоносова имелся, но в Академии еще не был оглашен) Ломоносов вместе с другими профессорами подписал доношение в Сенат о непорядках в Академии и самоуправстве Шумахера. Дальше — больше. 4 сентября он подписывает новое письмо о Шумахере, дополнившее фактами предыдущее. В середине сентября он участвует уже в составлении нового доношения о шумахеровых злоупотреблениях. 2 октября Ломоносов, прекрасно понимая, что по-настоящему обезвредить Шумахера возможно лишь с помощью действенных контрмер, знакомит Академическое собрание с отрывками из своего проекта нового штата Академии наук, то есть начинает наносить

Шумахеру удары в главном пункте, выбивая у него почву из-под ног: составление и утверждение нового штатного расписания с четким разграничением различных академических «классов» (и соответственно четким же указанием их прав и обязанностей) было бы решающим моментом в единоборстве академиков с Шумахером, в ограничении власти Академической канцелярии.

3 октября Ломоносов (вместе с Миллером!) по поручению Академического собрания приносит в Сенат последнее по времени доношение о провинностях Шумахера перед Академией: о постоянных задержках жалованья, о плохом обучении студентов и гимназистов, об «умалении» «чести профессоров» и т. п. 28 ноября последовало новое доношение в Сенат все о том же Шумахере. Надо думать, советнику Академической канцелярии той осенью не раз припоминался былой арест его, не такой уж и недавний. Главными противниками Шумахера в 1745 году были, кроме Ломоносова, Миллер (который не мог простить Шумахеру обмана: постоянно обещая историографу выплатить двойной оклад за работу в сибирской экспедиции, советник Канцелярии в конце концов «отказал вовсе») и астроном Жозеф Делиль (который с самого своего приезда в числе первых академиков в Петербург просто не выносил Шумахера и не считал нужным скрывать своего презрения к нему). Вспоминая ситуацию, сложившуюся в Академии к концу 1745 года, Ломоносов спустя двадцать лет писал: «Какие были тогда распри или лучше позорище между Шумахером, Делилем и Миллером! Целый год почти прошел, что в Конференции, кроме шумов, ничего не происходило. Наконец, все профессоры единогласно подали доношение на Шумахера в Правительствующий Сенат в непорядках и обидах, почему оный Сенат рассудил и указал, чтобы до наук надлежащие дела иметь в единственном ведении Профессорскому собранию».

Казалось бы: полная победа ученых над бюрократом! Но Шумахер ждал своего часа. А ждать он умел...

Что же касается Ломоносова, то он, за всеми этими схватками с Шумахером, не забывал ни на минуту о своих собственных, «до наук надлежащих делах». 25 октября он подал четвертое по счету доношение о необходимости создания при Академии Химической лаборатории с приложением ее проекта. 30 октября, рассмотрев это дело, Академическое собрание решило направить в Сенат соответствующее прошение. Текст его взялся составить сам Ломоносов. 15 декабря Академическое собрание одобрило новую бумагу о Химической лаборатории, написанную Ломоносовым. Однако Шумахер и здесь прибег к проволочкам, мотивируя невозможность окончательного решения тем, что президентская должность все еще оставалась вакантной.

Вскоре в жизни Академии произошло наконец событие, которого ждали давно и которое, не вызвав коренного пере-

ворота в академических делах, хотя бы частично решило наболевшие вопросы, из которых главными для Ломоносова были утверждение Регламента Академии и создание Химической лаборатории.

3

«За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должно, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в сем пространном государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение имел, когда первое основание положил сей Академии, соединив оную с университетом» — с такими отрадными и многообещающими словами обратился к Академическому собранию в своей как бы «тронной речи» (ее можно назвать и «выходной арией») граф Кирила Григорьевич Разумовский, назначенный именным указом от 21 мая 1746 года президентом Академии наук.

В ту пору ему было всего лишь восемнадцать лет. За три года до того, вызванный старшим братом, фаворитом Елизаветы (тайно с нею обвенчанным) Алексеем Разумовским, с родного хутора под Черниговом в Петербург, он был отправлен в обучение за границу в сопровождении Григория Теплова — того самого, который в свое время вместе с Ломоносовым подавал в Академическое собрание работы для производства из студентов в адъюнкты. Под наблюдением своего молодого наставника (Теплову не было тридцати лет) Кирила Григорьевич приобщился к изящным искусствам, галантному обхождению, выучил два иностранных языка, слушал лекции известных ученых (в том числе и Леонарда Эйлера) и по возвращении в Россию получил президентское кресло в Академии.

Говорить о том, что Академия обрела наконец президента в полном смысле слова, можно лишь с весьма и весьма существенными оговорками. Наставничество Теплова долгое время продолжалось и в Петербурге. Вскоре это всем в Академии стало ясно. Так, например, в 1749 году в Тайной канцелярии разбиралось дело одного из низших академических служащих, который о юном президенте говорил, что тот-де, как появится в Академии, то, «облокотясь на стол, все лежит и никакого рассуждения не имеет, и что положат, то крепит без спору, а боле в той Академии имеет власть той Академии асессор Григорий Теплов».

Сын истопника, бывший ученик Невской духовной семинарии Григорий Николаевич Теплов (1711—1779) так же, как Ломоносов, Тредиаковский (и президент Академии Разумовский), не был человеком знатным. Поддержанный в свое время, как, впрочем, и Ломоносов, Феофаном Прокоповичем, тоже не благородных «кровей», и будучи человеком, безусловно, одаренным, он вполне мог бы «произойти в науках», но, едва вкусив от «чаши познания», быстро утолил свою духовную жажду. Адъюнкт ботаники, свои понятия о земной флоре он предпочел ограничить рамками цветочной оранжереи. Сын истопника, он был снедаем необоримым, рабским, по сути, желанием самому стать владельцем богатых покоев, которые согревались бы его собственным истопником (совершенно своеобразная вариация на тему «теплого местечка»). «Природный россиянин», он во время следствия над Шумахером в своих видах не погнушался поддержать этого главного «недоброхота наук российских».

Вот почему, когда новая академическая администрация в лице Теплова (он стал асессором Канцелярии) приступила к разбору накопившихся за время безначалия дел (в основном это были жалобы профессоров на Шумахера), «сапожник» (так прозвали Шумахера русские служащие Академии, попросту переведя его фамилию с немецкого) вновь ушел от расплаты. Президентский указ по этому поводу гласил: «Советник Шумахер во всех своих поступках перед профессорами прав». Более того: Шумахер не просто одержал личную победу над жалобщиками, но спас и утвердил окончательно сатанинскую идею, творцом и апологетом которой был на протяжении двух десятилетий, — идею бюрократической опеки над наукой. Канцелярия в том виде, в каком ее выпестовал и укрепил Шумахер, в тех масштабах, какие приобрело ее влияние на академическую жизнь под умелым руководством Шумахера, необходима Академии — вот вывод, к которому пришли юный президент и его наставник. Если до сих пор Шумахер действовал де-факто, то теперь он получал возможность действовал и де-юре. В Регламенте, наконец-то составленном и прочитанном в Академическом собрании 13 августа 1747 года, о Канцелярии было сказано буквально следующее: «Канцелярия утверждается по указам ее императорского величества, и оная есть департамент, президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в которой члены быть должны по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при Академии и в небытность президента корпусом так, как президент сам, управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела собою не вступать, но о всем представлять Канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение».

Обращает на себя внимание оговорка о том, что члены Академической канцелярии «быть должны по нескольку искусны в науках и языках». Впечатление такое, что она специально сделана для Шумахера и Теплова, которые в науках и языках были искусны именно «по нескольку» (впрочем, то же самое можно сказать и о президенте). По Регла-

менту выходило, что они, практически не имея основательной научной подготовки, получали право не только заседать в Академическом собрании, но и подавать свой голос в пользу того или иного труда, проекта, мнения, а «ученым людям» проникать в сферы, подлежащие компетенции Академической канцелярии, не позволялось. Можно было лишь «о всем представлять Канцелярии», окончательное же решение принималось ею и утверждалось президентом. Семнадцать лет спустя после утверждения Регламента Ломоносов совершенно точно охарактеризовал бюрократическую «кухню», в которой были изготовлены новый штат и Регламент Академии. Основываясь только на глубоком анализе содержания и стиля этих документов, он пришел к выводам, которые впоследствии были подтверждены документально: «По вступлении нового президента сочинен новый штат, в коем расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю (Теплову. — *Е. Л.*) советы, что из многих его духа признаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить в высшие чины несомненно явствует. Оный штат и регламент в Собрании профессорском по получении прочитан однажды, а после даже до напечатания содержан тайно».

Вот почему все предшествовавшие коллективные и индивидуальные жалобы Ломоносова, Гмелина, Миллера, Рихмана, Делиля и других профессоров на Шумахера (на задержки жалованья, на прочие постоянные утеснения, на то, что он сделал своего зятя Тауберта «надсмотрщиком над профессорами и адъюнктами») заранее были обречены на неуспех. И вот почему после принятия Регламента несколько профессоров вынуждены были покинуть Академию, в их числе — Гмелин, Делиль и профессор древностей и истории литеральной Христиан Крузиус. По поводу первых двух, ученых знаменитых, Ломоносов писал, что «Делиль, будучи с самого начала Академии старший, по справедливости искал первенства перед Шумахером и, служа двадцать лет на одном жалованье, просил себе прибавки, и как ему отказано, хотел принудить требованием абшида (отставки. — *Е. Л.*), который ему и дан без изъяснения и уговаривания, ибо Шумахер рад был случаю, чтобы избыть своего старого соперника», а Гмелину, по свидетельству Ломоносова, «Шумахер чинил многие препятствия в сочинении российской флоры, на что он жаловался».

Отъезд этих ученых и глухой ропот оставшихся теперь уже мало волновали Шумахера. Достигнув полного взаимопонимания с Тепловым, сохраняя, впрочем, почтительную дистанцию в личных отношениях с ним, Шумахер писал президентскому наставнику об академиках в одном из писем 1749 года: «Вы подивитесь, милостивый государь, чувствам гордости и заносчивости этих педантов. Им не я, Шумахер, отвратителен, а мое звание. Они хотят быть господами, в знатных чинах, с огромным жалованьем, без всякой заботы обо всем остальном». Вот так, свысока, люди, лишь «по нескольку искусные в науках и языках», посматривали на ученых: не имея ни разумения, ни желания для того, чтобы проникнуть в сферы, доступные и животрепещущие для академиков, которые в лице лучших своих представителей, забывая о себе, трудились во славу науки, эти люди предпочли обвинить ученых в стремлении к легкому обогащению, в тщеславии и т. п. Ведь при таком толковании бюрократ не просто был необходим, он становился едва ли не «праведником», чем-то вроде оплота бескорыстия и совести (!) посреди гордецов, бездельников и приобретателей. «Вы хорошо делаете, милостивый государь, — обращается Шумахер к такому же, по его мнению, как и он, ревнителю долга Теплову, — работая с жаром для Академии. Вы, подобно мне, со временем покажете плоды своих трудов; они будут заключаться не в богатствах, но в спокойствии души — плоде чистой совести».

Казалось бы, с назначением президента, с утверждением Регламента и нового штата Академия должна была воспрянуть. Внешне так оно и было, возможно. Но на деле... На деле — лучшие ученые продолжали покидать Академию, ее Канцелярия укрепилась юридически, Шумахер нашел общий язык с Тепловым и к тому же готовил себе не менее зловещую, чем сам он, замену в лице зятя своего, Ивана Ивановича Тауберта, пока еще унтер-библиотекаря, а в недалеком уже будущем — советника Академической канцелярии.

В сущности, Академией управляли два человека, как тогда говорили, «попавшие в случай», опираясь при этом на помощь проходимца из Страсбурга, подавшегося в Россию, употребляя лермонтовское слово, «на ловлю счастья и чинов». Действительно: Кирила Григорьевич Разумовский так и остался бы пастухом Кирилой Розумом на черниговском хуторе Лемёши, если бы его старший брат Алексей в свое время не был замечен одним придворным, случайно услышавшим его красивый голос в церкви соседнего с хутором села, где этот придворный заночевал проездом из Венгрии, куда был направлен закупить токайские вина к столу тогдашней императрицы Анны Иоанновны, и не только замечен, но и взят в Петербург в придворную капеллу, и если бы не приглянулся там цесаревне Елизавете Петровне. «Случай» Кирилы Григорьевича целиком зависел от «случая» Алексея Григорьевича. В свою очередь, маленький «случай» Теплова целиком зависел от большого «случая» Разумовских. «Случайным» людям, имеющим облегченное, дилетантское понятие о целях и задачах «ученого корпуса», помощники типа Шумахера были необходимы — насущно.

Став во главе Академии, К. Г. Разумовский более занимался устройством своих дел. В 1746 году он женился на Екатерине Ивановне Нарышкиной (1729—1771), родственнице Елизаветы Петровны. 5 июня 1750 года он был назначен гетманом Украины (как потом оказалось, последним) и с этого времени стал подолгу отлучаться из Петербурга в Батурин, свою гетманскую резиденцию. В его отсутствие академическими делами заправляли Теплов с Шумахером. Причем довольно часто всем вершил один Шумахер, ибо Григорий Николаевич с головой окунулся в придворные интриги в видах упрочения своего положения в верхах: зависеть только от Разумовских (сегодня «в случае» — а завтра?) он не хотел и, не порывая установившихся связей, энергично завязывал новые. Скажем, с «малым двором» великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II.

Как смотрел на все это Ломоносов и какие отношения установились у него с новым академическим руководством? Для ответа на эти вопросы надо уяснить себе, что, будучи выходцем из низшего сословия, Ломоносов все-таки не имел черт выскочки. Достаточно вспомнить, как он шел к своему профессорству, скольких трудов, превратностей и прямых лишений оно ему стоило. Да и шел ли он к профессорству именно? Он был честолюбив, но не тщеславен. Возвышения он добивался лишь постольку, поскольку оно помогало утвердить его великое просветительское дело, «дело Божие и Государево», как он выскажется через пятнадцать лет в письме (1761) к Теплову, имея в виду под «Государевым» «Петрово». Была ли зависть у него, сына черносошного крестьянина, к сыну реестрового казака и сыну дворцового истопника? Была. И зависть — огромная (как и все у Ломоносова). Так легко возвыситься и так мало и бездарно воспользоваться своим возвышением для «утверждения наук в отечестве», для «торжества любимых идей»! Но К. Г. Разумовский и Теплов в науках были «искусны» лишь «по нескольку», а идей своих у них как раз не было (единственная большая работа Теплова «О качествах стихотворца рассуждение» наполнена тривиальными мудрствованиями, общими местами морализаторского, резонерского толка). Для них задача заключалась в упрочении и охранении достигнутого, а не в продвижении вперед. Все это не следует забывать, вникая в сущность личных отношений, установившихся между Ломоносовым и президентом. Вообще братья Разумовские, по свидетельствам современников, вызывали характерную симпатию к себе. Суровый в оценках князь М. М. Щербатов, автор истории «О повреждении нравов в России», писал о старшем брате, что он «был внутренно человек добрый, но недальнего рассудку». Что же касается Кирилы Григорьевича, то он, «человек беспечный», замечательно аттестован в «Записках» княгини Е. Р. Дашковой (характеристика относится к 1762 году): «Граф Разумовский любил свою родину, насколько ему это позволяли его апатия и лень. Он командовал Измайловским полком, где пользовался всеобщей любовью... Он был чрезвычайно богат, имел все чины и ордена, ненавидел какую бы то ни было деятельность...»

Словом, Кирила Григорьевич, как и его брат, «внутренно был человек добрый» и к Ломоносову относился в общем благожелательно. Но, поскольку он еще был и «человеком беспечным», благожелательность его, во-первых, мало чем оборачивалась для начинаний Ломоносова (и потому мало чего стоила в его глазах), а во-вторых, вследствие более чем беспокойного ломоносовского нрава (становившегося невыносимо беспокойным, когда разговор шел о деле), часто сменялась досадой и раздражением.

А Ломоносов, со своей стороны, порою относился к президенту с оттенком добродушной иронии (которой отмечены и свидетельства М. М. Щербатова и Е. Р. Дашковой). Так, записки с распоряжениями, исходившие от Разумовского и Теплова, он, вышучивая малороссийское происхождение президента, называл «цедульками».

В 1750 году, когда Разумовский сделался гетманом Украины, Ломоносов откликнулся на это событие идиллией «Полидор», в которой муза Каллиопа, «днепрская нимфа» Левкия и «тамошний пастух» Дафнис ведут разговор о достоинствах Полидора (то есть Разумовского) на лоне осиротевших «днепрских» берегов. Здесь Ломоносов вкладывает в уста Дафниса (который недавно побывал в «великом граде» и видел Полидора в славе его) весьма двусмысленную, чтобы не сказать колкую, оценку бывшего пастуха:

Вчерась меня кругом обстали
Пастушки с красных наших гор
И с жадностию понуждали:
«Каков, скажи нам, Полидор?»
Я дал ответ: «Он превышает
Собой всех здешних пастухов».

Лишь спустя более ста лет после написания «Полидора» одним из историков было высказано (да и то с оговоркой) предположение, что Ломоносов здесь смеется над Разумовским: «Пастораль эта как-то сквозит иронией, которая, впрочем, может быть, не приходила на мысль Ломоносову. Полидор, «превышающий собой всех здешних пастухов», слишком явно напоминал бывшего пастуха лемёшевского стада».

Можно смело утверждать, что ирония здесь присутствует без всяких оговорок и направлена она не столько на происхождение Кирилы Григорьевича, сколько именно на его достоинства. Странно было бы, если бы Ломоносов, сам будучи

выходцем из «низов», вышучивал пастушеское прошлое Разумовского: здесь ирония по поводу того, что человек, который «превышает» «всех здешних пастухов», еще и «Верьхи Парнасски украшает» (то есть главенствует в «храме Муз», в Академии), а для этого мало «превышать» черниговских дафнисов — нужны и соответствующие способности и соответствующая подготовка, более основательные, чем у брата императрицына любовника, «внутренно человека доброго, но недального рассудку». Ломоносов, неизмеримо выше Разумовского стоящий в интеллектуальном и вообще в культурном отношении, просто смеется здесь над ним, и смеется беззлобно, добродушно.

Когда же дело шло об отстаивании великих просветительских принципов, которыми Академия должна была руководствоваться в своей деятельности, добродушие уступало место гражданскому возмущению, выражаемому с достоинством, строго и нелицеприятно. Ломоносов понимал, что многого от Разумовского и нельзя требовать, но он совершенно справедливо полагал, что президент, если бы только с его стороны было побольше «ревности» и «рачения», даже с его скромными дарованиями мог бы принести существенную пользу Академии, вообще просвещению России. Незадолго до смерти Ломоносов печально свидетельствовал: «...нынешний президент, его сиятельство граф Кирила Григорьевич Разумовский, будучи от российского народу, мог бы много успеть, когда бы хотя немного побольше вникал в дела академические, но с самого уже начала вверился тотчас в Шумахера, а особливо, что тогдашний асессор Теплов был ему предводитель, а Шумахеру приятель».

4

Тем не менее и то немногое, что Разумовский успел сделать по своем вступлении в президентскую должность, позволило Ломоносову хотя бы отчасти продвинуть вперед некоторые из его начинаний.

2 июня 1746 года президент через Шумахера передал ему о своем желании присутствовать на его публичных лекциях по экспериментальной физике. Вследствие этого обстоятельства лекции Ломоносова приобретали действительно публичный характер. Он составил их программу, которая 19 июня была отпечатана в Академической типографии. В этой программе говорилось: «...блаженства человеческие увеличены и в высшее достоинство приведены быть могут яснейшим и подробнейшим познанием натуры, которого источник есть натуральная философия, обще называемая физика. Она разделяет смешение, различает сложение частей, составляющих натуральные вещи, усматривает в них взаимные действия и союз, показывает оных причины, описывает непоколебимо утвержденные от создателя естественные уставы и в уме во-

ображает, что от чувств наших долготою времени, дальностию расстояния или дебелостию великих тел закрыто, или для безмерной тонкости оным не подвержено.

Сея толь полезныя и достохвальныя науки основанием суть надежные и достоверные опыты над разными телами и оных действиями, с надлежащею осторожностию учиненные, из которых выводят и поставляют мысленные физические предложения, показывают и доводами утверждают причины натуральных перемен и явлений. Для того приступающим к учению натуральной философии предлагаются в академиях прежде, как подлинное основание, самые опыты, посредством пристойных инструментов, и присовокупляют к ним самые ближние и из опытов непосредственно следующие теории».

20 июня 1746 года в аудитории Физического кабинета Академии наук состоялась первая в России публичная научно-популярная лекция. Тот факт, что сам президент поддержал идею этого мероприятия, обусловил небывало большое стечение слушателей от двора, Академии, Сухопутного шляхетного корпуса и т. д.

24 июня «Санктпетербургские ведомости» поместили отчет о ломоносовской лекции: «Сего июня 20 дня, по определению Академии наук президента, ее императорского величества действительного камергера и ордена св. Анны кавалера его сиятельства графа Кирилы Григорьевича Разумовского, той же Академии профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной на русском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал».

Очевидно, ломоносовская лекция понравилась, и 5 августа «Санктпетербургские ведомости» напечатали объявление о новых его лекциях, которые предполагалось проводить по пятницам, с трех до пяти часов дня. Впрочем, никаких упоминаний о продолжении чтения лекций Ломоносовым не сохранилось. Должно быть, и науки Разумовский любил лишь настолько, «насколько ему это позволяли его апатия и лень»: в дальнейшем он совершенно охладел к «физике экспериментальной». Соответственно и Академическая канцелярия тут же оставила попечение о ломоносовских лекциях.

А вот в деле с учреждением Химической лаборатории Разумовский, питавший к Ломоносову «невольное почтение», серьезно помог ему. Именно стараниями президента 1 июля 1746 года Елизавета Петровна подписала указ о построении Химической лаборатории при Академии наук «по приложенному при том чертежу» — причем «на счет Кабинета ее величества». Однако и после этого (не без участия Шумахера) много времени ушло на всевозможные проволочки. Только в августе 1747 года было указано место для постройки лабо-

ратории (рядом с домом, в котором жил Ломоносов). Целый год потребовался еще на утверждение окончательного проекта и сметы. Наконец 3 августа 1748 года состоялась закладка здания, и ярославский крестьянин «Михаил Иванов сын Горбунов», победивший в торгах и подрядившийся со своей артелью исполнить работу за 1344 рубля, начал строительство под наблюдением Ломоносова, которому было поручено от Академии «над оным всем строением смотрение иметь». Прошло всего лишь три с небольшим месяца после закладки (и почти семь лет после подачи Ломоносовым первого прошения), и здание Химической лаборатории было закончено строительством.

Можно себе представить, с каким нетерпением Ломоносов «над оным всем строением смотрение имел» и с каким отрадным чувством (и опять-таки нетерпением) принимал он работу у Михаила Горбунова и его артельщиков. При всем том, что здание Химической лаборатории, по нынешним понятиям, было невелико (около четырнадцати метров длины, восемь с половиной ширины, при высоте в пять метров), оно как нельзя лучше соответствовало своему научно-прикладному назначению. Собственно лаборатория, занимавшая самое большое помещение, и две маленьких «каморки» (в одной — кабинет Ломоносова, где он готовил вещества для опытов и записывал их результаты, а также читал лекции студентам; в другой — «кладовая для хранения сырых материалов) — эти-то три сводчатые комнаты общей площадью сто квадратных метров да еще чердак, на котором хранились материалы, приборы и химическая посуда, составляли предмет постоянных напоминаний Ломоносова Академической канцелярии и стали поприщем его интенсивной исследовательской и педагогической деятельности.

В сущности, только теперь Ломоносов получал возможность реализовать на практике свою общую установку на количественный подход к химическим превращениям, случающимся в природе. Для этого необходимо было укомплектовать лабораторию хорошим оборудованием, инструментами, посудой. Ломоносов не пренебрег здесь ни единой возможностью, использовав на этот предмет городские аптеки, Монетную канцелярию, Санктпетербургский арсенал, академические мастерские, Сестрорецкий оружейный завод, частных поставщиков. Постепенно лаборатория оживала, словно настоящее живое существо. Ее грудная клетка и внутренняя полость наполнялась прочными и действенными органами: печами, пробирными досками и весами, иглами, муфелями, тиглями, изложницами, чугунными ступами, колбами, ретортами, трубками, чашками, воронками, пузырьками, бочками, горшочками, мехами для раздувания огня, банками и т. д. и т. п., — всего около пятисот названий. Ломоносов строго следил за изготовлением и установкой оборудования, вникал в тонкости, проверял точность инструментов, во многих слу-

чаях созданных с учетом его новаций, и все-таки — торопил, торопил поставщиков, мастеров и подмастерьев. В иных случаях хлопотал о поощрении изготовителей (например, печников Академии), но чаще подгонял, громогласно возмущался в связи с задержками. Скажем, по вине Академической канцелярии, а также по другим причинам выполнение ломоносовских заказов на изготовление некоторых важнейших приборов (пирометра, «папиновой махины») затянулось на срок от трех до пяти лет. Вот почему на пятом году работы Химической лаборатории (в марте 1753 года), упрекая Канцелярию, Ломоносов писал в одном из своих отчетов: «Читал химические лекции для студентов, показывая им опыты химические и употребляя при том физические эксперименты, которых мог бы еще присовокупить больше, если бы требуемые инструменты поспели».

Помимо добротного оборудования и инструментов для нормальной работы и эффективной научной отдачи, лаборатории требовалось постоянное и бесперебойное оснащение ее различными препаратами и реактивами. Кроме того, Ломоносов придавал большое значение их чистоте, без чего нельзя было поручиться за точность результатов, получаемых в ходе опытов. Утверждение количественных методов в химии на практике означало для Ломоносова каждодневную черновую работу по доставанию и очищению нужных реактивов, вплоть до того, что он сам должен был «заготовлять разные спирты и другие простые продукты». Для ожившего организма лаборатории все это было кровью и пищей одновременно, посредством которых работали ее внутренние органы, работали четко и плодотворно, поставляя неопровержимые доказательства к теоретическим выкладкам ученого, поднимая русскую и европейскую химию на уровень науки в современном смысле слова.

Усилиями Ломоносова в России была создана Химическая лаборатория, одна из лучших во всей тогдашней Европе. Он повысил культуру эксперимента настолько, что филигранная точность его химических опытов и сегодня не может вызвать упрека у самого придирчивого экспериментатора. Так, чувствительность «опытовых весов», выполненных для Ломоносова в 1747 году сестрорецкими оружейниками, при проверке советскими учеными спустя более двухсот лет, не превышала пяти стотысячных долей единицы. Все разновесы, имевшиеся в Химической лаборатории, были сделаны только из меди и серебра (причем предпочтение отдавалось серебряным как более точным). Хранились они в закрытых ящичках, специально для того приспособленных, и брать их позволялось лишь пинцетами. Для достижения возможно большей точности результатов Ломоносов экспериментировал с «уменьшенным весом»: за пуд брался золотник, который соответственно разбивался на сорок долей. Употребляя каждую такую сороковую часть золотника вместо фунта, Ломо-

носов достигал уменьшения веса в 3840 раз. Самый маленький разновес, имевшийся в лаборатории, позволял взвешивать препараты с точностью до четверти «уменьшенного золотника» (0,0003 грамма).

Кроме того, Химическая лаборатория стала аудиторией, в которой Ломоносов читал лекции и проводил практические занятия со студентами, устремившимися к нему под воздействием его идей и объяснявшими свое стремление в ломоносовском духе просто и основательно, «понеже химия есть полезная в государстве наука». К этому следует добавить, что лаборатория не замыкалась в кругу только «чистой» науки, но активно выполняла множество прикладных задач (изготовление новых красителей, оптические работы, пиротехнические заказы, экспертизы драгоценностей по поручению Кабинета императрицы и т. п.).

Научно-исследовательское и учебное учреждение с практическим уклоном — такова была первая русская Химическая лаборатория, любимое детище, выношенное, в муках произведенное на свет и выпестованное Ломоносовым. Уже одного этого дела достаточно, чтобы увидеть, что профессором химии он стал и по призванию и по праву. Словом, Гмелин, уступивший ему кафедру химии, мог «отъехать в отечество» со спокойной душою, не опасаясь за то, что Ломоносов окажется ниже его, Гмелина, положительной аттестации.

А вот сам Гмелин в год открытия Химической лаборатории причинил Ломоносову сильнейшее беспокойство. Обстоятельства, сопутствовавшие этому, таковы, что о них стоит рассказать подробнее.

В июле 1747 году Гмелин, посетив Ломоносова на его квартире, обратился к нему с просьбой о поручительстве, которое состояло в том, что если он, Гмелин, выехав из России на год, не вернется к указанному сроку, то Ломоносов вместе с Миллером должны будут выплатить Академии деньги, полученные Гмелином при отъезде в сумме 715 рублей. Дело в том, что еще с 1744 года Гмелин хлопотал о своем увольнении из Академии наук, объясняя его причины плохим состоянием здоровья, подорванного в Сибирской экспедиции. Хлопоты Гмелина об отставке были безуспешными. 27 января 1747 года истек его контракт, и Гмелин был освобожден от должности профессора химии, ранее уже занятой Ломоносовым. Впрочем, 1 июля того же года Гмелин заключил новый контракт с Академией сроком на пять лет и опять был принят на службу профессором ботаники. В контракте оговаривалось право Гмелина на годичный отпуск, которым он тут же и решил воспользоваться, выехав на время отпуска в свой родной город Тюбинген.

Ломоносов и Миллер в июле 1747 года, подписали поручительство за Гмелина, и тот уехал в Германию (на год, как все полагали), взяв с собою материалы, собранные пятнадцать лет назад в экспедиции, чтобы продолжить работу над своим фундаментальным трудом «Флора Сибири, или История сибирских растений».

Однако по истечении отпуска Гмелин в Россию не вернулся, а написал президенту К. Г. Разумовскому письмо, в котором сообщил, что остается в Германии, ибо назначен профессором ботаники Тюбингенского университета. С Ломоносова и Миллера начали удерживать половину их жалованья как с поручителей за Гмелина. К тому же Ломоносов задолжал Академии (так же, как и Миллер) сумму, которой поручился за Гмелина при его отъезде. Она составляла 315 рублей 83 копейки.

В этих обстоятельствах беспокойство Ломоносова вызвано было соображениями не столько материального (хотя это надо иметь в виду), сколько морального порядка. Ломоносов, как уже говорилось, очень высоко ценил научную добросовестность Гмелина и уже по этой причине питал к нему чисто человеческую симпатию. Кроме того, нельзя забывать, что после отъезда Делиля Гмелин был, пожалуй, единственным крупным, по-настоящему авторитетным ученым из иностранцев в Петербургской Академии наук. К тому же, нарушив новый контракт, Гмелин, хотел он того или нет, наносил моральный урон Академии, а тем самым — и России, как, впрочем, и себе самому. Ломоносов был ошеломлен как патриот, как ученый, просто как человек.

1 октября 1748 года он берется за перо, чтобы высказать Гмелину все, что он думает по поводу случившегося. В его «бешеном» (как выскажется потом сам Гмелин) письме к бывшему петербургскому, а теперь тюбингенскому профессору обращает на себя внимание такая характерная черта: возмущаясь действиями адресата, он борется не с ним, а за него. В дальнейшем все письма Ломоносова, написанные по сходному поводу (к И. И. Шувалову, Г. Н. Теплову), будут отмечены таким же воспитательным пафосом, своеобразной, беспощадной заботой об оппоненте. Насколько можно судить, данная особенность ломоносовской нравственной позиции как-то ускользала от внимания исследователей и читателей. Вот почему, думается, есть смысл повнимательнее вчитаться в это ломоносовское письмо (подлинник на немецком языке), которое представляет собою первый образец воспитательной эпистолярной публицистики Ломоносова:

«Несмотря на то, что я на Вас должен быть сердит с самого начала, потому что Вы забыли мою немалую к Вам расположенность и не прислали за весь год ни одного письма ко мне, и это, наверное, потому, чтобы я в моем письме-ответе к Вам не смог бы напомнить Вам о Вашем возвращении в Россию, у меня все же есть причина, которая меня не только заставляет, будучи на Вас в раздражении, писать Вам то, что обычно не пишут людям с чистой совестью. Я воистину не перестаю удивляться тому, как Вы без всякого стыда и совести нарушили Ваши обещания, контракт и клятву и за-

были не только благорасположенность, которой Вы пользовались в России, но и, не заботясь о своих собственных интересах, чести и славе и ни в малейшей степени о себе, Вы пришли к мысли об отказе от возвращения в Россию...

Все Ваши отговорки ничего не значат. В Германии человека не держат силой, если это не злодей. Ваши новые обязательства не имеют никакой силы, потому что они имели место после подписанного здесь договора, а Вы России обязаны в сто раз больше, чем Вашему отечеству. Что же касается болезней, то эти Ваши старые сибирские отговорки давненько всем известны... Еще есть время, все можно еще смягчить, и Вы по прибытии будете работать по Вашему договору. Вам предлагается сейчас два пути; один — что Вы без промедления передумаете и вернетесь в Россию честно и, таким образом, избежите своего вечного позора, будете жить в достатке, приобретете своими работами известность во всем мире и по истечении Вашего договора с честью и деньгами сможете по Вашему желанию вернуться в Ваше отечество.

В противном случае все те, кому ненавистны неблагодарность и неверность, покроют Вас ненавистью и вечными проклятьями. Вас всегда будет мучить совесть, Вы потеряете всю Вашу славу, которую Вы приобрели здесь у нас, и будете жить в конце концов в вечном страхе и бедности, которые будут окружать Вас со всех сторон. Из этих двух возможностей каждый выбрал бы первую, если он не потерял свой разум. Однако же если Вы серьезно решили не иметь ни стыда, ни совести и забыть благодеяния со стороны России, Ваше обещание, контракт, клятву и самого себя, то постарайтесь прислать причитающиеся мне 357 ½ рублей и все работы и зарисовки передать профессору Крафту, как только Академия прикажет ему получить их. Это, однако, должно произойти без всякого отлагательства, так как из-за Вас я вынужден жить в крайней нужде...

Ваш

Вами очень обиженный друг и слуга

Михайла Ломоносов».

Когда писалось это «бешеное» письмо, Ломоносов действительно был уверен в том, что болезнь Гмелина — это лишь отговорка. «Бешенство» его можно понять: он не хотел платить из своего кармана за чужую безответственность. Вплоть до января 1749 года, пока не пришел ответ Гмелина, Ломоносов носил в себе это горькое чувство своей моральной правоты — горькое, потому что он всегда уважал в Гмелине и серьезного ученого, и честного человека. С получением гмелинова письма все стало на свои места: здоровье его действительно было подорвано во время странствий по Сибири; что же касается долга Ломоносову и Миллеру, а также сибирских коллекций, увезенных в Тюбинген, то все это было возвращено. Гмелин на протяжении ряда лет по частям высылал свои работы в Петербург. Они и составили его классический труд «Флора Сибири», законченный изданием в 1769 году, уже после его смерти. Несмотря на резкий характер ломоносовского письма, Гмелин не изменил своего дружеского отношения к великому русскому ученому, ибо понимал, что того побудило к резким выпадам не озлобление, но оскорбленное гражданское и патриотическое чувство (для которых Ломоносов субъективно имел достаточное основание).

Впрочем, в случае с Гмелином всегдашняя вспыльчивость Ломоносова усиливалась тем обстоятельством, что он этот случай (до ответного письма из Тюбингена) рассматривал в ряду других, таивших в себе тревожные для него предзнаменования и приходившихся как раз на первые годы его профессорства, когда так трудно продвигалось дело с Химической лабораторией, когда и самое профессорство его, едва начавшись, по существу, оказалось под угрозой.

Если вспомнить, что именно Ломоносов и накануне и сразу после назначения президентом К. Г. Разумовского выступал ходатаем от Академического собрания по всем делам, касающимся ограничения власти, а буде возможно, и вообще нейтрализации Канцелярии, то станет ясно, что Шумахер просто не мог оставить его своим зловещим попечением.

5

Еще в самый разгар обсуждения кандидатуры Ломоносова на должность профессора химии и в канун решения вопроса об учреждении Химической лаборатории, 25 мая 1745 года, Шумахер в одном из своих писем излагал такой вот план распределения профессорских обязанностей, связанных с «химической профессией»: «Обдумав дело г. Каау, я нахожу, что нет ничего легче, как доставить ему место профессора в Академии, если пожелает он взять на себя анатомию и в то же время направлять занятия Ломоносова, который уже сделал успехи в химии и которому назначена по этой науке кафедра». Понимая, что дело о профессорстве Ломоносова, по существу, решено, Шумахер уже продумывал, как ограничить и направить его действия в нужное для него, Шумахера, русло, иными словами, — как лишить Ломоносова инициативы, научной вообще и внутриакадемической в частности. С этой целью он и думал, назначив своего ставленника врача Авраама Каау-Бургава (1715—1758) профессором анатомии и физиологии, вменить ему в обязанность контроль над действиями кафедры химии, возглавляемой Ломоносовым.

Однако ж для того, чтобы подобный контроль над Ломоносовым имел хоть какое-то внешнее оправдание, надо было посеять сомнение в научной квалификации нового профессора химии. И вот, когда Ломоносов уже начал активную

работу по организации химических исследований, когда уже были выделены средства на строительство лаборатории, Шумахер и решает нанести ему чувствительный удар. Ломоносов вспоминал в 1764 году: «Для отнятия сего всего (то есть профессорства и лаборатории. — *Е. Л.*) умыслил советник Шумахер и асессора Теплова пригласил, чтобы мои, апробованные уже диссертации в общем Академическом собрании послать в Берлин, к профессору Ейлеру, конечно, с тем, чтобы их он охулил, а приехавшему тогда из Голландии доктору Бургаву-меньшему было сказано, что он при том и химическую лабораторию примет с прибавочным жалованьем. И Бургав уже не таясь говорил, что он для печей в Химическую лабораторию выпишет глину из Голландии».

Впрочем, Бургав, «уведав, что ему химическую профессию поручают в обиду Ломоносову, от того отказался». Что же касается ломоносовских диссертаций, то они решением Канцелярии от 7 июля 1747 года действительно были посланы в Берлин. Причем, сделав это, Шумахер, по существу, оскорблял не только Ломоносова, но Академическое собрание, ставя под сомнение компетенцию всех работавших в Петербурге академиков. Ведь они еще в 1745 году одобрили работы «О действии растворителей на растворяемые тела» и «Физические размышления о причине теплоты и холода», которые теперь были представлены Ломоносовым для публикации в «Комментариях», печатном органе Академии. Но в 1747 году Шумахер был сильнее, чем в 1745 году, когда в ожидании нового президента Академическое собрание выступало против Канцелярии единым фронтом. Если в 1745 году мнения петербургских академиков было достаточно, чтобы на основе указанных диссертаций (с прибавлением работы «О металлическом блеске») произвести Ломоносова в профессора, то теперь такого мнения о тех же работах было недостаточно даже для их публикации. Найдя общий язык с новым академическим руководством, Шумахер решает ломоносовские диссертации «послать к почетным Академии членам Эйлеру, Бернулию и к другим, какое об оных мнение дадут и можно ли оные напечатать, ибо о сем деле из здешних профессоров ни один основательно рассудить довольно не в состоянии». Выступая против Ломоносова, советник Канцелярии выступал против всех ученых.

Шумахеру пришлось пережить сильнейшее разочарование и досаду, когда через четыре месяца он получил от Эйлера ответное письмо, в котором о работах Ломоносова сказано было так: «Я чрезвычайно восхищен, что эти диссертации по большей части столь превосходны, что «Комментарии» имп. Академии наук станут многим более замечательны и интересны, чем труды других академий». К письму Эйлер приложил, кроме того, еще и отдельный отзыв о диссертациях Ломоносова, который нельзя было утаить: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств. При сем случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин Ломоносов».

Отзыв Эйлера переведен самим Ломоносовым. Случилось это так. Когда пришел восторженный отзыв из Берлина, расстроенный Шумахер показал его Г. Н. Теплову и, признавшись, что в случае отрицательной оценки диссертации Ломоносова собирался использовать его в Академии только как переводчика, а от профессорства отстранить, теперь же, мол, этого сделать нельзя. Теплов тайком от Шумахера показал письмо Эйлера Ломоносову. Тот взял его на время, чтобы снять с него копию для себя (отсюда и перевод). Отдав письмо, Теплов испугался, что об этом станет известно Шумахеру, и, во избежание неприятностей, решил как можно скорее забрать злополучные листки обратно. Тогда к Ломоносову пришла, как писал он, «от Теплова цедулька, чтобы аттестат (то есть письмо Эйлера. — *Е. Л.*) отослать неукоснительно назад и никому, а особливо Шумахеру, не показывать: в таком он был у Шумахера подобострастии».

Хотя двуличие Теплова вновь смутило Ломоносова, оно не могло отравить ему радость в связи с превосходным отзывом Эйлера. Теперь во всем, что касалось собственно научных начинаний Ломоносова, Шумахер навсегда прикусил язык: и в дальнейшем все свои зловредные нападки на него вел только со стороны административно-хозяйственной: слишком велик был авторитет Эйлера. Что же до Ломоносова, то он в начале февраля 1748 года направил Эйлеру благодарственное письмо, в котором радость от того, что всемирно известный ученый своим мнением поддержал его, равняется радости от того, что эта поддержка не по личным мотивам (Эйлер не был с ним знаком), а по справедливости. Письмо в Берлин писал не человек, еще недавно опасавшийся за свое место и теперь успокоившийся, а человек, истосковавшийся по полнокровному и равному общению с такими же, как и он сам, поборниками истины. Человек, уставший говорить с оппонентами на их языках, жадный до разговора на родном для всех ученых языке — языке Истины: «Письмо ваше, знаменитейший муж, на имя его сиятельства нашего президента, где вы соблаговолили отозваться наилучшим образом о моих работах, доставило мне величайшую радость. Считаю, что на мою долю не могло выпасть ничего более почетного и более благоприятного, чем то, что мои научные занятия в такой степени одобряет тот, чье достоин-

ство я должен уважать, а оказанную мне благосклонность ценить превыше всего, тот, у кого велики в ученом мире и заслуги и влияние. Поэтому, прочитав переданное нашим почтеннейшим коллегой Тепловым свидетельство ваше обо мне, я решил, что нельзя было не осудить меня, если бы я обошел молчанием столь великое ваше одолжение. Отплатить за ваше благодеяние не могу ничем иным, как только тем, что, храня благодарную память, буду продолжать дело, которое вы по вашей исключительной доброте одобряете, и непрестанно прославлять во всяком месте и во всякое время вашу справедливость в оценке чужих трудов».

Эйлер продолжал заинтересованно следить за развитием ломоносовского гения, всегда восхищавшего его неожиданностью предлагаемых решений. Он еще не успел получить письма Ломоносова с выражением благодарности, а уже 31 января 1748 года писал в Петербург о намечаемом в 1749 году Берлинской Академией конкурсе на лучшую работу о происхождении селитры, особо оговаривая желательность участия в этом конкурсе Ломоносова: «Я не сомневаюсь, чтобы об этом кто-нибудь мог представить лучше, чем г. Ломоносов, которого я прошу убедить взяться за эту работу. Было бы, конечно, весьма почетно, если бы член имп. Академии, да к тому же русский, удостоился нашей премии».

25 апреля 1749 года Эйлер нетерпеливо осведомляется в письме к Шумахеру: «Я слышал от нашего химика, что из присланных на соискание премии о селитре статей одна очень хороша и основательна. Автор ее мне неизвестен, но я хотел бы, чтобы им был господин Ломоносов. Поскольку все статьи присланы недавно и в одно время, хотелось бы знать, уверен ли господин Ломоносов, что его рукопись получена, и имеет ли он в этом расписку». Эйлер относился к Ломоносову как к своему открытию. И хотя впоследствии ломоносовская работа о селитре, направленная в Берлин, не получила премии, высокое мнение Эйлера о нем не поколебалось. Он продолжал следить за успехами Ломоносова. В январе 1750 года он выразил в письме к Шумахеру свое восхищение похвальным словом Ломоносова Елизавете Петровне, произнесенном на латинском языке в публичном собрании Академии наук 26 ноября 1749 года: «Мне было очень приятно узнать о блестящем успехе последней публичной ассамблеи императорской Академии: речи, произнесенные по этому случаю, заслужат похвалы всего ученого мира. Это особенно относится к «Панегирику» г. Ломоносова, который мне представляется настоящим шедевром в своем роде». А в феврале 1751 года Эйлер в очередном письме к Шумахеру нанес ему, сам того не подозревая, мучительную рану: «...я представляю себе, что место г. Теплова не без великой пользы будет занято г. советником Ломоносовым...» Кроме того, Эйлер аккуратно отвечал на все ломоносовские письма. В начале Семилетней войны России с Пруссией их переписка прекратилась на четыре с лишним года (вследствие чисто внешних трудностей пересылки писем), но потом возобновилась.

Что же касается Ломоносова, то он сдержал данное Эйлеру обещание прославлять во всяком месте и во всякое время его научную справедливость. В 1749 году он перевел на русский его предисловие к знаменитой «Морской науке». В конце Семилетней войны Ломоносов через канцлера М. И. Воронцова исхлопотал Эйлеру возмещение убытков, понесенных им во время штурма Берлина русскими войсками. А в письмах к Эйлеру Ломоносов постоянно делился с ним самыми значительными своими идеями и замыслами (о которых речь еще пойдет). А в своем последнем письме к Эйлеру (незаконченном и неотправленном) за два месяца до смерти Ломоносов вспоминал о событиях почти двадцатилетней давности, положивших начало их переписке: «Когда Конференция избрала меня в профессоры и аттестовала, и покойная императрица это утвердила, Шумахер послал вам мои, уже одобренные диссертации, надеясь получить дурной отзыв. Но вы поступили тогда как честный человек».

Так что мысль Шумахера направить диссертации на отзыв Эйлеру сыграла счастливую роль в судьбе Ломоносова, который благодаря этому обстоятельству приобрел большой вес в Академии, поднялся в глазах президента, стал не по зубам противникам, но самое главное — получил возможность без дополнительных внешних препятствий в конце 1740-х годов поднять великие научные и литературные труды, положившие начало его бессмертию.

ГЛАВА IV

> *Я хочу строить объяснение природы на известном, мной самим положенном основании, чтобы знать, насколько я могу ему доверять.*
>
> *М. В. Ломоносов*

Наступила пора, знаменательная в творческом становлении Ломоносова. Если в начальный период самостоятельного развития (конец 1730 — первая половина 1740-х годов) гений его заявлял о себе грандиозными, но порывистыми, внешне спонтанными вспышками, которые занимались в самых разных сферах, ему доступных, как-то вдруг, почти ослепляя своей неожиданностью, то теперь, во второй половине 1740-х годов, он разгорается вполне, разгорается мощно, ровно и всеохватно. Все, что было создано до сих пор в естествознании («Элементы математической химии», «276 за-

меток по физике и корпускулярной философии», «Размышления о причине теплоты и холода» и т. д.), в филологии («Письмо о правилах Российского стихотворства», «Краткое руководство к риторике»), в поэзии («Ода на взятие Хотина», «Ода на прибытие... Елисаветы Петровны из Москвы», «Утреннее» и «Вечернее размышление», переложение 143-го псалма) — все это именно вспышки гения. Языки пламени в потемках. Протуберанцы, выбрасываемые в пространство мощным источником энергии, принцип действия которого пока что не обнаружил себя. Теперь же наступает очередь и для него, и тут выясняется, что «вспышки», «языки», «протуберанцы» — это не самые главные его проявления. Теперь становится ясно, что, помимо них, зримых, этот источник духовной энергии в глубинах ломоносовского гения посылает в окружающее пространство еще и незримые волны, и эти волны суть свет.

Одно дело — огонь, сверкающий в бесконечной тьме непознанного («Как мала искра в вечном льде»). Это мысль, способная озарить бесконечность и не способная постичь ее, могучая и слабая одновременно. И совсем другое дело — свет, пронизывающий тьму, которая вследствие этого перестает быть бессмысленной. Это уже — область духа. Говоря математическим языком, Свет по отношению к Огню является его пределом, стремящимся к бесконечности, точно так же как и Дух — это предел Мысли, который стремится к той же бесконечности.

Впрочем, Ломоносов не любил отвлеченностей. Как естествоиспытатель проблему света он попытается решить вполне реалистически. 5—10 лет спустя в своих теоретических работах по оптике и «борьбу со тьмой» также поведет предельно конкретно, изобретя знаменитую «ночезрительную трубу». Но как поэт и оратор он постоянно прибегал к метафорам и сравнениям (что, думается, отчасти оправдывает некоторую риторичность всего только что сказанного).

Так или иначе, во второй половине 1740-х годов Ломоносов создает работы, в которых впервые отчетливо, последовательно и широко выявляется, выступает на поверхность единый принцип, по которому его гений творил и раньше, но который не обнаруживал себя явно. Причем они со всей очевидностью показывают, что принцип этот носит универсальный характер и распространяется как на духовную сферу, так и на природу, что на его основе можно и объяснить «видимый сей мир», и постичь умственный и чувственный механизм человеческого познания, и сотворить эстетический образ всего этого материально-духовного мира, по отношению к которому человек выступает и частью его и вместилищем его (иными словами, перетворить творение).

Это работы по общим вопросам естествознания, по теории красноречия, а также поэтические произведения, объединенные в первом собрании сочинений Ломоносова.

1

В естественнонаучных открытиях Ломоносова конца 1740-х годов, помимо их совершенно выдающегося собственного и очевидного научно-исторического значения, обращает на себя внимание их неизбежно последовательная связь с его ранними работами. Ломоносовская мысль развивается органично, как могучее древо из малого семени, — вглубь, вширь и ввысь, жадно вбирая в себя все, что могут представить три среды — земля, влага, воздух. Казалось бы: чем больше сфера соприкосновения этого древа познания с непознанным, тем больше возникает вопросов, на которые нельзя дать незамедлительные ответы, и тем, следовательно, бесполезнее — продолжая сравнение — его рост. Но ломоносовская мысль именно органична, она не подвержена философскому скептицизму: чем больше непознанного, тем естественнее и свободнее она растет. Вопросы без ответов, несмотря на их все увеличивающееся число, не иссушают, не подтачивают, но питают ее, и она уже не может остановиться в своем росте, делаясь со временем все мощнее, глубже, шире и выше. Однако и это было бы невозможно, если бы в том малом семечке, из которого развилось все древо, не содержалось четкой и ясной «генетической» программы будущего роста. Таким семечком, уже содержащим в себе могучее древо, стала программа научной атомистики, заложенная в ранних работах. Теперь же настало время сбора первых плодов.

Развивая свою раннюю теорию о нечувствительных частичках, Ломоносов в 1748—1749 годы пишет два исследования «Опыт теории упругости воздуха» и «Прибавление к размышлениям об упругости воздуха», в которых придает законченный вид одному своему учению, упредившему развитие науки почти на столетие.

Упругость воздуха, по Ломоносову, — это способность сжиматься при увеличении давления и расширяться при уменьшении его, ибо нечувствительные частички воздуха при этом соответственно сближаются либо удаляются друг от друга. Частички воздуха находятся далеко друг от друга (из опытов следует, что воздух можно сжать до одной тридцатой начального объема), но для того, чтобы она могла действовать одна на другую (без чего воздух не обладал бы упругостью), надо, чтобы они взаимно соприкасались. Ломоносов объясняет этот парадокс тем, что в каждую данную единицу времени все частички данного объема не могут находиться в одном и том же состоянии: одни из них сейчас сталкиваются с другими, стремительно сближаются до мгновенного соприкосновения, а некоторые в это же время так же стремительно отталкиваются и, разлетаясь в разные стороны, вновь отталкиваются от них. Равнодействующая этих

частых, хаотических взаимных столкновений всегда направлена вовне.

Нечувствительные частички воздуха все же имеют массу, поэтому их столкновения происходят так, что верхние падают на нижние. Поскольку невозможно, чтобы первые всегда попадали точно в верхнюю часть расположенных ниже частичек, то отталкивание верхних от нижних должно происходить вскользь, по наклонным линиям (вот почему упругость воздуха уменьшается с высотою, а точка, в которой сила тяжести верхних частичек выше силы отталкивания нижних, будет означать верхнюю границу земной атмосферы). Упругость воздуха, кроме того, зависит от температуры. Чем он теплее, тем больше «коловратное» движение частичек, тем больше сила их взаимного отталкивания, тем выше упругость воздуха. Так как абсолютный холод на земле невозможен, воздушные частички всегда находятся в движении, следовательно, воздух всегда обладает упругостью.

Когда «Опыт теории упругости воздуха» обсуждался в Академическом собрании (30 сентября 1748 года), Ломоносов «не дал объяснения того, почему упругость воздуха пропорциональна его плотности». В мае 1749 года Ломоносов представил упоминавшиеся уже «Прибавления к размышлениям об упругости воздуха», где он проанализировал опыты Д. Бернулли с определением высоты поднятия ядра из вертикально стоящих пушек. На основании своих опытов Д. Бернулли пришел к выводу, что при очень большом давлении воздух сжимается не пропорционально давлению. Ломоносов, исходя из своей теории упругости воздуха, объяснил, почему это происходит. Поскольку частицы воздуха материальны, они имеют не только массу, но также протяженность и объем. При больших давлениях их столкновения настолько чаще и хаотичнее, что простой пропорциональностью между давлением и объемом здесь ничего объяснить нельзя и что для этого надо вычесть объем, занимаемый частицами, из объема свободного пространства, в котором они движутся.

Учение о природе упругости воздуха стало совершенно новым словом в естествознании. Один из известнейших биографов Ломоносова, Б. Н. Меншуткин, сам к тому же крупный ученый-химик, пишет: «Так подробно, до мельчайших деталей разработанная Ломоносовым картина состояния частичек в воздухе — не что иное, как современная «кинетическая теория» газового состояния, излагаемая в каждом руководстве физики. В этой теории у Ломоносова были предшественники, высказавшие (но не развившие) основные мысли, положенные в основание разработки Ломоносова, который, наоборот, дал вполне законченную и совершенно аналогичную нынешней теорию».

Из предшественников Ломоносова в этой области впоследствии «вспомнили» о Д. Бернулли, перепечатав в 1857 году

сначала в научном журнале, потом отдельном изданием соответствующее место из его «Гидродинамики». Это произошло в связи с общим оживлением интереса к названной проблеме, когда немцы Крениг, Р. Клаузиус самостоятельно высказали мысль о кинетической природе газового состояния, а затем Дж. К. Максвелл и Л. Больцманн детально разработали ее и придали ей завершенный вид теории. Что касается ломоносовских работ, то они были извлечены из-под спуда профессором Б. Н. Меншуткиным лишь в 1904 году.

Почти одновременно с «Опытом теории упругости воздуха» Ломоносов работал над произведением, один из выводов которого (правда, вновь с более чем столетним опозданием) золотыми буквами вписан в историю естествознания. Причем оно было написано как бы в подтверждение той высокой оценки, которую незадолго до этого дал диссертациям Ломоносова Эйлер и в официальном отзыве, и в письме к Шумахеру, и в письме к самому их автору от 23 марта 1748 года (перевод Ломоносова): «Сколь много проницательству и глубине Вашего остроумия в изъяснении претрудных химических вопросов я удивлялся, так равномерно Ваше ко мне письмо (от 16 февраля 1748 года — *Е. Л.*) было приятно. Из Ваших сочинений с превеликим удовольствием я усмотрел, что Вы в истолковании химических действий далече от принятого у химиков обыкновения отступили и с препространным искусством в практике высочайшее основательной физики знание везде совокупляете. Почему не сомневаюсь, что нетвердые и сомнительные основания сея науки приведете к полной достоверности...»

Переписка между учеными в ту пору считалась не менее значимым способом обмена информацией, оценок, заявлений об изобретениях и открытиях, чем публикация в научном журнале. Вот почему ответное письмо Ломоносова Эйлеру от 5 июля 1748 года может быть названо и, по существу, было самостоятельным научным произведением. Здесь Ломоносов, подводя итоги более чем полуторатысячелетнему развитию физических представлений о неуничтожимости материи и движения от Лукреция до Декарта, формулирует свой «всеобщий закон природы» в замечательно простых терминах: «...все случающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается от чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правило движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Характерно, что, излагая именно всеобщий закон природы, Ломоносов здесь не разделяет мир на физический и

человеческий: человек — часть природы, а ведь природа, как писал он в свое время, «крепко держится своих законов и всюду одинакова». Мысль об изначальном единстве мира неразлучна с Ломоносовым. Он и здесь предельно последователен в проведении этой мысли.

Впрочем, справедливость требует указать и на одно ошибочное утверждение Ломоносова, которое содержится в письме к Эйлеру и которое он еще в течение девяти лет безуспешно пытался отстаивать. Ломоносовское заблуждение, о котором идет речь, непосредственно не вытекало из открытого им «всеобщего закона природы», хотя он и опирался здесь на него. Дело в том, что, совершенно справедливо придав универсальный характер своему закону сохранения материи и движения, Ломоносов полагал, что движение от одного тела к другому передается только через непосредственное прикосновение. Все другие виды передачи движения и взаимодействия между телами на расстоянии он не принимал в расчет. Вот почему, отвечая на вопрос о причине тяготения (один из важнейших в классической механике), он вынужден был постулировать существование некой «тяготительной материи», что позволяло ему, опираясь на свой закон, объяснять тяготение тем, что тело, получившее вследствие тяжести скорость, «отбирает» ее у окружающей его «тяготительной материи», порождающей скорость. Но в таком случае ставился под сомнение или, вернее, отвергался открытый Галилеем и экспериментально подтвержденный Ньютоном закон пропорциональности массы и тяжести. И Ломоносов пошел на это. Однако видеть здесь лишь субъективную погрешность физического мышления Ломоносова было бы неверно и некорректно. В рамках физики XVIII века удовлетворительно ответить на вопрос о причине пропорциональности массы и тяжести не удалось никому. А ведь Ломоносов был озабочен именно причиной тяготения (вопрос, как уже говорилось ранее, оставленный Ньютоном открытым) и в письме к Эйлеру обосновывал необходимость причинного подхода к проблеме:

«Я не буду вступать в спор с тем, кто считает тяготение тел одним из существенных атрибутов, и потому полагает, что и исследовать его причину нет надобности; но я без всякого колебания признаю, что как всякое вообще движение и стремление в каком бы то ни было направлении, так и тяготение, представляющее собой разновидность такового, может у всякого тела без нарушения его сущности отсутствовать, точно так же, как и то количество движения, которое порождается из приращения скорости падающих тел. Так как, следовательно, должно существовать достаточное основание, в силу которого ощутимым телам свойственно скорее устремляться к центру земли, чем не устремляться, то приходится исследовать причину тяготения».

Еще эмоциональнее Ломоносов подчеркнет мысль о необходимости найти физическую причину тяготения в диссертации «О тяжести тел и об известности первичного движения», написанной в том же году, что и письмо к Эйлеру, но не опубликованной при жизни: «...приписывать это физическое свойство тел (т. е. тяготение. — *Е. Л.*) божественной воле или какой-либо чудодейственной силе мы не можем, не кощунствуя против Бога и природы...»

Убеждение в том, что существует единый принцип, управляющий жизнью природы и человека, и что через его посредство («на известном, мной самим положенном основании») можно объяснить мир и не только объяснить, но и изменить, приумножив его величие и красоту, никогда не покидало Ломоносова. Открыв «всеобщий закон природы», он уже не знает покоя, отыскивая конкретные подтверждения ему в физике, химии, других науках. Если опытных данных недостаточно, он смело выдвигает гипотезы, пусть иногда и рискованные (как, например, в случае с «тяготительной материей»), ищет новые аргументы в пользу им «самим положенного основания» на границе разных наук. Он использует любую возможность, чтобы поделиться своим убеждением с максимально большим числом людей. При этом он справедливо полагает, что если существуют «всеобщие законы», универсальные принципы, то любое явление, вплоть до мельчайшей пылинки, должно подчиняться их действию. Все в «видимом сем мире» исполнено универсального смысла, и каждая наука, будучи поставлена на верном основании (прежде всего, избавлена от «цеховой» ограниченности, односторонности), может дать соответственное понятие о «дивной разности» Вселенной, о единстве в многоразличии.

Блестящим образцом такого научного просветительства, которое основано на «глубоком понимании неразрывной связи всех видов человеческой деятельности и культуры» (С. И. Вавилов), стало «Слово о пользе Химии», произнесенное Ломоносовым 6 сентября 1751 года в публичном собрании Академии наук. Посвятив свое сочинение прославлению, казалось бы, одной только химической науки, Ломоносов на самом деле приобщает аудиторию к широкому взгляду на мир, воспитывает в ней вкус к универсальному мышлению.

Высшим благом человеческой жизни названа здесь творческая способность, помноженная на приобретенное трудом знание: «Рассуждая о благополучии жития человеческого, слушатели! не нахожу того совершеннее, как ежели кто приятными и беспорочными трудами пользу приносит. Ничто на земли смертному выше и благороднее дано быть не может, как упражнение, в котором красота и важность, отнимая чувствие тягостного труда, некоторою сладостью ободряет; которое, никого не оскорбляя, увеселяет неповинное сердце и, умножая других удовольствие, благодарностию оных возбуждает совершенную радость. Такое приятное, беспорочное и полезное упражнение где способнее, как в учении, сыскать можно? В нем открывается красота многообразных вещей и

удивительная различность действий и свойств, чудным искусством и порядком от всевышнего устроенных и расположенных».

Гениальный оратор, Ломоносов, увлекая слушателей, и сам увлекается: «Желал бы я вас вывести в великолепный храм сего человеческого благополучия; желал бы вам показать в нем подробно проницанием остроумия и неусыпным рачением премудрых и трудолюбивых мужей изобретенные пресветлые украшения; желал бы удивить вас многообразными их отменами, увеселить восхищающим изрядством и привлещи к ним неоцененною пользою...»

Здесь он не только манит и интригует слушателей, но дает им понятие о целом «великолепном храме» знания и, приглашая их «в един токмо внутренний чертог сего великого здания», в котором хозяйкою Химия, рассчитывает на их «собственную ума остроту», то есть на сотворчество. Следовательно, Ломоносов хочет видеть в своих слушателях людей, во-первых, почитающих знание высшим благом, во-вторых, имеющих хотя бы общее представление обо всей системе человеческого знания, в-третьих, способных к совместному поиску истины.

Оговорив перед аудиторией условия дальнейшего сотрудничества (каждое свое публичное выступление он именно так и рассматривал), Ломоносов приступает к изложению главного предмета «Слова». Польза и своеобразие Химии особенно явственно выступают, если учесть, что знание человеческое развивается одновременно в двух направлениях — исследовательском и прикладном: «Учением приобретенные познания разделяются на науки и художества. Науки подают ясное о вещах понятие и открывают потаенные действий и свойств причины; художества к приумножению человеческой пользы оные употребляют. Науки художествам путь показывают; художества происхождение наук ускоряют. Обои общею пользою согласно служат. В обоих сих коль велико и коль необходимо есть употребление Химии, ясно показывает исследование натуры и многие в жизни человеческой преполезные художества».

Ломоносов был едва ли не единственным ученым в Европе середины XVIII века, понимавшим, какую выдающуюся роль предстоит сыграть химии уже в недалеком будущем, имея в виду недоступное в ту пору другим наукам исследование «самых малейших и неразделимых частиц», неразличимых даже в микроскопы, «в нынешние веки изобретенные». Своими «умными очами» он проницает время: «...подлинно по сие время острое исследователей око толь далече во внутренности тел не могло проникнуть. Но ежели когданибудь сие таинство откроется, то подлинно Химия тому первая предводительница будет; первая откроет завесу внутреннейшего сего святилища натуры».

Ломоносов выступает подлинным поэтом химической науки. Его отличает какое-то немыслимое сейчас, целомудренно-чувственное отношение к Истине. В своем стремлении овладеть Ею он напоминает влюбленного — умного и страстного, сильного и трепетного, нетерпеливого и властного в себе одновременно: «...Рассуждая о бесчисленных и многообразных переменах, которые смешением и разделением разных материй Химия представляет, должно разумом достигать потаенного безмерною малостию вида, меры, движения и положения первоначальных частиц, смешенные тела составляющих. Когда от любви беспокоящийся жених желает познать прямо склонность своей к себе невесты, тогда, разговаривая с нею, примечает в лице перемены цвету, очей обращение и речей порядок; наблюдает ея дружества, обходительства и увеселения, выспрашивает рабынь, которые ей при возбуждении (то есть пробуждении. — *Е. Л.*), при нарядах, при выездах и при домашних упражнениях служат; и так по всему тому точно уверяется о подлинном сердца ея состоянии. Равным образом прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая ея служительница и наперсница и в самые внутренние чертоги вход имеющая Химия; и когда она разделенные и рассеянные частицы из растворов в твердые части соединяет и показывает разные в них фигуры, выспрашивать у осторожной и догадливой Геометрии; когда твердые тела на жидкие, жидкие на твердые переменяет и разных родов материи разделяет и соединяет, советовать с точною и замысловатою Механикою; и когда чрез сливание жидких материй разные цветы производит, выведывать чрез проницательную Оптику. Таким образом, когда Химия пребогатыя госпожи своея потаенные сокровища разбирает, любопытный и неусыпный натуры рачитель оные чрез Геометрию вымеривать, через Механику развешивать и через Оптику высматривать станет, то весьма вероятно, что он желаемых тайностей достигнет».

Можно понять изумление такого проницательного и тонкого критика, как поэт К. Н. Батюшков, когда он спустя более полувека по поводу приведенного отрывка писал: «Здесь удивляюсь, первое, красоте и точности сравнения, второе — порядку всех мыслей и потому всех членов периода, третье — точности и приличию эпитетов: все показывает, что Ломоносов писал от избытка познаний. В самом изобилии слов он сохраняет какую-то особенную строгую точность в языке совершенно новом. Каждый эпитет есть плод размышлений или отголосок мыслей: догадливая геометрия, точная и замысловатая механика, пронидательная оптика». Хотя эта восторженная оценка более касается «слога» Ломоносова, в ней важно указание на «избыток познаний» как мощный творческий стимул.

Абсолютно свободное владение предметом, насыщенность научными и просветительными идеями, риторическая простота изложения, отличающие «Слово о пользе Химии», изумляют и по сей день. Так, например, говоря о том, что для решения задач по исследованию «состояния первоначальных частиц» «требуется весьма искусный Химик и глубокий Математик в одном человеке», Ломоносов иллюстрирует эту очевидную для него, но мало понятную для аудитории мысль замечательно доступным и точным, «вещь выражающим» сравнением: «Бесполезны тому очи, кто желает видеть внутренность вещи, лишаясь рук к отверстию оной. Бесполезны тому руки, кто к рассмотрению открытых вещей очей не имеет. Химия руками, Математика очами физическими по справедливости назваться может». Это высказывание, а также идущее ниже утверждение, что, «в бесчисленных телах умножая и умаляя между частьми союзную силу взаимного сцепления, великое множество разных путей любопытному Физику отверзает», содержат в общей форме идеи, которые будут развиты Ломоносовым во «Введении в истинную физическую химию» (1752—1753), «Опыте физической химии» (1754), отчасти в «Слове о происхождении света» (1756).

Но сейчас он перед внимающим собранием продолжает развертывать великолепный свиток со списком наук, ремесел, искусств, в которых Химия играет роль первой помощницы: физиология, медицина, фармакология, металлургия, геология, производство красителей, живопись и мозаичное искусство, пороходелие, за которым Ломоносов закрепляет принципиально оборонительные задачи: «Не смеет ныне внезапный неприятель тревожить покоящихся народов, но боится, чтобы... не токмо своей добычи, но и жизни не лишиться», ибо «Химия сильнейшим оружием (изобретением пороха. — *Е. Л.*) умалила человеческую пагубу и грозою смерти многих от смерти избавила!»

Философской кульминацией «Слова о пользе Химии» является страстный панегирик огню, занимающий центральное место и с точки зрения содержания, и с точки зрения его расположения. Здесь стремление и способность Ломоносова к построению универсальной концепции мира на им «самим положенном основании» празднует свой настоящий триумф. Огонь — это не только инструмент и одновременно предмет познания. Это еще и главное условие существования мира. Это — время вселенной. Это — грандиозная метафора способа и смысла жизни:

«Долго исчислять и подробну толковать будет, что чрез Химию в натуре открылось и впредь открыто быть должно. Того ради одно только самое важнейшее в сем ея действие ныне вам представляю. Огонь, который в умеренной своей силе теплотою называется, присутствием и действием своим по всему свету толь широко распростирается, что нет ни

единого места, где бы он не был: ибо и в самых холодных, северных, близ полюса лежащих краях, среди зимы всегда оказывает себя легким способом; нет ни единого в натуре действия, которого бы основание ему приписать не было должно: ибо от него все внутренние движения тел, следовательно, и внешние происходят. Им все животные и зачинаются, и растут, и движутся; им обращается кровь и сохраняется здравие и жизнь наша... Без огня питательная роса и благорастворенный дождь не может снисходить на нивы; без него заключатся источники, прекратится рек течение, огустевший воздух движения лишится, и великий Океан в вечный лед затвердеет; без него погаснуть солнцу, луне затмиться, звездам исчезнуть и самой натуре умереть должно. Для того не токмо многие испытатели внутреннего смешения тел не желали себе почтеннейшего именования, как Философами чрез огонь действующими называться, не токмо языческие народы, у которых науки в великом почтении были, огню божескую честь отдавали, но и само Священное писание неоднократно явление Божие в виде огня бывшее повествует. Итак, что из естественных вещей больше испытания нашего достойно, как *сия всех созданных вещей общая душа* (курсив мой. — *Е. Л.*), сие всех чудных перемен, во внутренности тел рождающихся, тонкое и сильное орудие? Но сего исследования без Химии предпринять отнюд невозможно. Ибо кто больше знать может огня свойства, измерить его силу и отворить путь к потаенным действ его причинам, как все свои предприятия огнем производящая Химия?»

Замечательно в этом панегирике то, что он совершенно естественно, как бы сам собою возникает из разговора о пользе Химии. Как уже говорилось, Ломоносов был великим оратором. Ему не было равных в XVIII веке в умении подчинять себе аудиторию, которое неотделимо от феноменальной способности развивать предмет, основываясь на его внутренней логике, — развивать энергично, неожиданно, всесторонне. Так, в конце «Слова о пользе Химии», когда слушатели, уже целиком находясь во власти оратора, прошли вслед за ним по всем ступеням познания и готовы следовать всюду, куда их поведет его «прихотливая» мысль, Ломоносов обрывает свою страстную речь (не по прихоти, конечно, а потому что предмет, в сущности, исчерпал себя) и напоминает о том, что было сказано в начале «Слова»,— о способности к творческому познанию как о высшем благе человеческой жизни и об участии всех наук в достижении этого блага.

Круг замкнулся, слушатели вернулись в пункт, с которого началось путешествие, уже другими, обогащенными новым знанием. Если же среди них есть такие, кто не умеет следить за внутренним ходом мысли, то и для них Ломоносов приберег сюрприз: «Предложив о пользе Химии в на-

уках и художествах, слушатели, предостеречь мне должно, дабы кто не подумал, якобы все человеческой жизни благополучие в одном сем учении состояло и якобы я с некоторыми нерассудными любителями одной своей должности с презрением взирал на прочие искусства. Имеет каждая наука равное участие в блаженстве нашем, о чем несколько в начале сего моего слова вы слышали».

Каждое свое публичное выступление Ломоносов строил как поединок со слушателями, в котором он должен был победить, но плоды победы, богатейшие трофеи ее доставались бы побежденным.

2

Столь высокое мастерство и столь явный успех Ломоносова-оратора были обусловлены его многолетней фундаментальной подготовкой в трудной и древней науке красноречия. Впрочем, и в этой области, как во всех других, ему доступных, Ломоносов, решая задачи чисто практические, умел придать своей интенсивной деятельности, помимо прикладного, высокий мировоззренческий и историко-культурный смысл.

Как уже довольно говорилось, Ломоносова на всех уровнях его неимоверной по объему работы, в сущности, волновала одна великая проблема — проблема, отыскания, точнее, создания реальной культурной основы («мной самим положенного основания»), на которой стало бы возможным восстановление единства мировосприятия, разрушенного в области духа достижениями «вольного философствования и вящего наук приращения» в XVI—XVIII веках, в области нравственно-социальной петровским переворотом всего жизненного уклада России. Он, вдохновенно приветствовавший и то и другое, был призван обойти неминуемо возникавшие крайности и издержки того и другого, создать новую интерпретацию мира и человека по законам новой гармонии, когда можно «как бы одним взглядом охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний». В естественных науках ко второй половине 1740-х годов он сделал грандиозные шаги в этом направлении, открыв «всеобщий закон природы», наметив широкую программу будущих исследований, сулившую новые невероятные открытия. И тогда же он обращается к области, которая самым чутким, самым болезненным образом откликается на перевороты, подобные упомянутым выше, — к области языка и мышления. В 1747 году он завершает работу над «Кратким руководством к красноречию».

В своем месте в общих словах уже говорилось о том, как отреагировали академики-немцы на первый вариант этой книги, написанной в 1743 году. Объяснимся теперь подробнее, поскольку история работы над «Риторикой» и отношения к ней современников помогают отчетливее уяснить грандиозность ломоносовского замысла.

16 марта 1744 года Миллер зачитал в Академическом собрании следующую свою записку: «Написанное по-русски Краткое руководство по риторике адъюнкта Академии Михаила Ломоносова я просмотрел. Хотя ему нельзя отказать в похвальном отзыве ввиду старательности автора, проявленной им в выборе и переводе на русский язык риторических правил древних, однако краткость руководства может вызвать подозрение, что в нем опущено многое, включаемое обычно в курсы риторики. Такое руководство, если дополнить его, применяясь к вкусу нашего времени, материалом из современных риторов, могло бы служить для упражнений не только в русском, но и в латинском красноречии. Поэтому я полагаю, что следует написать автору свою книгу на латинском языке, расширить и украсить ее материалом из учения новых риторов и, присоединив русский перевод, представить ее Академии. Благодаря этому и прочие славнейшие академики получат возможность вынести заключение о ценности труда и о том, следует ли ее напечатать для нужд Гимназии. Ведь если пренебречь этой целью и напечатать книгу для людей, занимающихся риторикой вне Академии, то едва ли можно надеяться на достаточное количество покупателей, которые возместили бы Академии издержки по печатанию. Не предвосхищаю суждения славнейших коллег, которое я не откажусь подписать, если оно наведет меня на лучшие мысли».

Академическое собрание предложило Ломоносову переработать «Краткое руководство к риторике», написав его на латинском языке и добавив примеры из новых авторов. Точка зрения Миллера, поддержанная академиками, не учитывала широкого просветительского замысла Ломоносова, а вернее — просто игнорировала его. Сужение будущего адреса «Риторики» академическими рамками (ученики Гимназии) противоречило целям, указанным Академии ее венценосным основателем, который, как мы помним, вменял ей в особую обязанность просвещение общества, «чтоб не токмо художества и науки размножились, но и чтоб народ от того пользу имел». Категорическое требование писать «Риторику» на латинском языке (с последующим ее переводом на русский) было неприемлемо еще и потому, что Ломоносов рассматривал свой труд именно как пособие для возможно большего числа русских читателей, научающее (в ближайшем, прикладном замысле) «о всякой предложенной материи красно говорить и писать», а если взять шире — призванное внести упорядоченность, строй в самый образ понятий русского человека, потрясенный и разрушенный петровским переворотом. К. Н. Батюшков в «Вечере у Кантемира» нарисовал впечатляющую картину этого потрясения старых жизненных устоев в России первых десятилетий XVIII века, беспорядоч-

ного и бесприютного метания умов, трагического раскрепощения нравов, в высшей степени противоречивого, взбаламученного начала новой эпохи русской истории, когда переворот уже свершился, а уклад еще не начался: «Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственных людей низких и недостойных: они являлись и — исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противуположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу...»

Помимо всеобщего смятения, так живо представленного, здесь очень важна отмеченная К. Н. Батюшковым как характерная черта тогдашнего «наблюдателя человечества и страстей его» потребность «отыскать счастливую середину вещей». Ломоносов не был «равнодушным наблюдателем». Для него отыскание «счастливой середины вещей» не могло связываться с горацианским идеалом — «Малым будь доволен». Но сама проблема «середины», смысла и меры вещей и их отношений, как они сложились в России после Петра, и перед ним стояла остро. В основе ее лежал вопрос о «новом языке», *далеко еще не сложившемся и именно поэтому* не способном «изменить древних людей». В языке, в образе мыслей так же, как в общественной жизни, еще не была отыскана «счастливая середина вещей», еще царила неразбериха: слова и обороты вступали в самые прихотливые и непрочные связи; иные из старых держались особняком, упрямо противостоя натиску «новоманирных»; из этих последних было много слов — «временщиков», которые недолго, но властно господствовали в умах; в целом же не было строя, не было как бы единого силового поля, которое придало бы всему этому смешению порядок и прочность. «Русский литературный язык начала 1740-х годов, — справедливо писали комментаторы первого варианта «Риторики» в седьмом томе Полного собрания сочинений Ломоносова, — был полон стилистических и лексических противоречий. Между различными стилями литературного языка и между различными литературными жанрами еще не наметилось определенных границ. Церковно-книжный строй речи перемежался оборотами письменной и разговорной русской речи. Засорившие литературный язык иностранные слова чередовались с «приказными», народные, просторечные — с церковнославянскими, зачастую неудобопонятными. Появление при этих условиях теоретического труда, утверждавшего некоторые основные начала литературной речи, удовлетворяло одну из самых насущных потребностей русского общества».

Конечно же, ни Миллер, ни поддержавшие его академики не думали обо всем этом. Но, отвергнув первый вариант ломоносовского сочинения, они парадоксальным образом помогли автору точно так же, как спустя 125 лет Русское музыкальное общество во главе с Э. Ф. Направником помогло М. П. Мусоргскому в его работе над «Борисом Годуновым», отклонив первоначальную редакцию, в результате чего появился на свет еще один акт музыкальной драмы с гениальной «Сценой под Кромами». Не имея представления о великой задаче, стоявшей перед Ломоносовым, Академическое собрание поставило его перед необходимостью основательно доработать «Риторику» 1743 года, в которой, впрочем, как заявка на будущее уже содержалось то важное, что войдет в «Риторику» 1747 года, — четкая иерархия понятий и ценностей в таких высоких сферах жизни, как государственная, религиозно-философская и общественная. Кроме того, в ней Ломоносов повел борьбу за отказ от «старых и неупотребительных речений, которых народ не разумеет», прокладывая, таким образом, дорогу своей гениальной «теории трех штилей», которая получит завершение в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1758).

Новый вариант «Риторики» был закончен к январю 1747 года. Теперь рукопись называлась «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии». К концу 1747 года книга была набрана и полностью отпечатана тиражом 606 экземпляров. Но 5 декабря 1747 года в здании Кунсткамеры, где также находились Книжная лавка и склад Академии наук, вспыхнул большой пожар, в пламени которого погибли галерея с богатейшей энтографической коллекцией («разные китайские вещи, платье сибирских разных народов, их идолы и сим подобные вещи»), обсерватория («со всеми находившимися в оной махинами, часами, моделями, небесными картами, зрительными трубами, компасами» и т. д.), подаренный Петру I герцогом Голштинским Готторптский большой глобус (диаметром 3 метра 36 сантиметров, своего рода «музей в музее»), другие помещения и экспонаты, а вместе с ними — отпечатанные, но несброшюрованные листы «Риторики», находившиеся «в верхнем академическом магазейне, у башни», частью сгоревшие, частью упавшие вниз («иные зама-

раны, затоптаны и подраны»). Три с половиной листа пришлось набирать и перепечатывать заново, на что ушло пять месяцев. Наконец, 5 июля 1748 года в «Санктпетербургских ведомостях» появилось объявление о том, что книга поступила в продажу.

«Краткое руководство к красноречию» быстро разошлось, и уже через два года комиссар Академии по книжной торговле рапортовал в Канцелярию о том, что купцы-книгопродавцы ломоносовскую книгу «беспрестанно спрашивают». 26 ноября 1750 года Канцелярия постановила издать «Риторику» вторично тиражом 1200 экземпляров, то есть вдвое большим. Впрочем, дело затянулось, и 23 января 1756 года уже сам Ломоносов рапортовал в Канцелярию: «Понеже многие охотники почти ежедневно спрашивают и желают иметь у себя изданной мной в свет Риторики первого тома, который ныне в Академической книжной лавке за употреблением в продажу уже давно не имеется, того ради сим представляю, дабы Канцелярия Академии наук благоволила приказать оной Риторики еще потребное число для удовольствия охотников вновь напечатать». Теперь Канцелярия ответила уже прямым отказом, благо предлог имелся: «Понеже в Типографию много книг давно печатанием зачато, токмо еще и поныне не окончены, того ради приказали: пока оные зачатые книги окончены не будут, печатанием той Риторики обождать». Но времена изменились: уже начал действовать Московский университет, детище Ломоносова, куда тот и переправил «Риторику». Она вошла в состав второго тома его «Разных сочинений в стихах и в прозе», вышедших в 1759 году. Здесь у нее появилось посвящение великому князю Петру Федоровичу, отсутствовавшее в издании 1748 года. В посвящении Ломоносов четко определил просветительскую, организующую сверхзадачу своего капитального сочинения: «Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство, каковому в других удивляемся. Сим обнадежен, предприял я сочинение сего руководства, но больше в таком намерении, чтобы другие, увидев возможность, по сей стезе в украшении российского слова дерзновенно простирались».

Однако и нового издания «Риторики» оказалось недостаточно. Наконец и Академическая канцелярия (после неоднократных напоминаний того же комиссара по книжной торговле, что «Риторики» в продаже нет и что ее «многие желают») в мае 1764 года постановила переиздать ломоносовское руководство. С печатанием не торопились: наборщики только в январе 1765 года занялись «Риторикой», и лишь к 1 апреля (за три дня до смерти Ломоносова) ее тираж, 1200 экземпляров, был полностью отпечатан. Все эти три

прижизненных издания расходились очень скоро. Их явно не хватало. «Многие охотники» переписывали «Риторику» для себя от руки (труд немалый и кропотливый — в книге около 11 печатных листов). Так что Миллер оказался плохим пророком: именно вне Академии (на что, кстати, как раз и рассчитывал Ломоносов) «Риторика» нашла своего внимающего и благодарного читателя. И это неудивительно.

Читательский успех «Риторики» ясно показывал, что предпринятый Ломоносовым труд по упорядочению синтаксиса и лексического строя русского литературного языка, его попечение о «довольстве пристойных и избранных речений к изображению своих мыслей», вообще его забота о собирании воедино и законосообразной организации живых сил языка, — все это самым непосредственным образом отвечало одной из острейших потребностей тогдашнего общественно-культурного развития. Понимая, что новая русская литература находится «еще во младенчестве своего возраста», Ломоносов строил свое сочинение не только как свод общих рекомендаций начинающим ораторам, но и как собрание образцовых произведений ораторского искусства (отрывки из собственных произведений и древних авторов). В сущности, это была первая в России хрестоматия по мировой литературе.

Как мы помним, Миллер советовал Ломоносову расширить «Риторику» за счет примеров из новейших авторов. Но Ломоносов, надо отдать должное его вкусу, не откликнулся на этот совет. Он включил в «Риторику» отрывки только из двух новейших проповедников: француза Валантена-Эспри Флешье (1630—1710) и немца Иоганна-Лоренца Мосгейма (1693—1755). В остальном весь иллюстративный ряд представлен стихами и прозой Ломоносова либо стихами и прозой старых писателей в переводах Ломоносова. Около ста авторов упомянуто, осмыслено, процитировано в «Риторике». Это был настоящий пир разума для русских читателей. С ними по-русски беседовали греки Гомер и Гесиод, Алкей и Сафо, Пифагор и Гераклит, Платон и Аристотель, Эзоп и Пиндар, Геродот и Плутарх, Анакреон и Феокрит, римляне Цицерон и Корнелий Непот, Плавт и Теренций, Апулей и Гораций, Вергилий и Овидий, Сенека-старший и Сенека-младший, Лукреций и Марциал, Тит Ливий и Тацит, Плиний-старший и Плиний-младший, Петроний и Светоний, Квинтилиан и Ювенал, византийцы Григорий Назианзин и Иоанн Златоуст, Андрей Критский и Иоанн Дамаскин, португалец Камоэнс, итальянец Маффеи, шотландец Барклай, французы Лафонтен и Буало и многие-многие другие писатели.

Но самое главное, весь этот богатейший материал был подчинен единой идее — теоретической и практической одновременно, долженствующей внести строй в мысли русского человека и в их изложение.

Красноречие, по Ломоносову, «есть искусство о всякой

данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». Для овладения этим искусством «требуются пять следующих средствий: первое природные дарования, второе наука, третие подражание авторов, четвертое упражнение в сочинении, пятое знание других наук». Требование подражать авторам менее всего преследует цель *подавления творческой индивидуальности обучающегося.* Ломоносов специально подчеркивает: «Подражание требует, чтобы часто упражняться в сочинении разных слов». То есть: не копировать слепо приемы образцовых ораторов, а подражать им в трудолюбии, в постоянном совершенствовании своего мастерства. «От беспрестанного упражнения, — продолжает Ломоносов, — возросло красноречие древних великих витий... Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой острить чрез беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одне правила и чтение авторов...» Ни о каком призыве к «подражательству» в отрицательном смысле не может быть и речи. Именно от него и предостерегает Ломоносов.

«Материя риторическая есть все, о чем говорить можно, то есть все известные вещи в свете» — из этого общего определения предмета риторики следует, что «ежели кто имеет большее познание настоящих и прешедших вещей, то есть чем искуснее в науках, у того большее есть изобилие материи к красноречию». Рассказать обо «всех известных в свете вещах» можно прозой и стихами. Риторика предписывает правила обоим этим видам устной и письменной речи.

По замыслу Ломоносова, весь труд в окончательном виде должен был составить три книги: «Риторику», «Ораторию» и «Поэзию». Напечатана была только первая часть — «Риторика», то есть «учение о красноречии вообще, поколику оно до прозы и до стихов касается». Что касается «Оратории» («наставления к сочинению речей в прозе») и «Поэзии» («о стихотворстве учении»), то Ломоносов напряженно работал над ними, о чем свидетельствуют его академические отчеты, но никаких рукописей этих произведений не сохранилось. Впрочем, и то, что было завершено, неизмеримо подвинуло вперед дело по созданию литературной нормы русского языка, повысило культуру (в частности, дисциплину) мышления широкого круга русских людей.

«Риторика» состояла из трех частей, в которых излагались: 1. учение об «изобретении», 2. учение об «украшении», 3. учение о «расположении».

Под изобретением Ломоносов понимал «собрание разных идей, пристойных прилагаемой материи». Далее следовали простые и ясные определения: «Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем...» Идеи подразделялись на «простые» и «сложенные», и это подразделение тут же пояснялось примером: «Ночь, представленная в уме,

есть простая идея. Но когда себе представишь, что ночью люди после трудов покоятся, тогда будет уже сложенная идея: для того что соединится пять идей, то есть о дни, о ночи, о людях, о трудах и о покое».

Среди «главных душевных дарований» оратора и писателя Ломоносов особо выделял «совображение»: «Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу совображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные...» Эта способность, «будучи соединена с рассуждением, называется остроумие» (вспомним отзыв Эйлера о ломоносовских диссертациях).

Ломоносов всячески старался привить своим читателям вкус к самостоятельному, неординарному мышлению. Развивая тезис о «силе совображения» и «остроумии» (не путать о «острословием»!), он допускал, даже приветствовал и неожиданное, парадоксальное развитие темы: «...должно смотреть, чтобы прииcканные идеи приличны были к самой теме, однако не надлежит всегда тех отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты: ибо оне иногда... могут составить изрядные и к теме приличные сложенные идеи». Это сопряжение «далековатых» идей было отличительной чертой прозаического и поэтического стиля самого Ломоносова, чем-то вроде марки мастера.

Чтобы показать, как «изобретаются» одни только простые идеи (которые подразделяются на «первые», «вторичные» и т. д.), Ломоносов берет в качестве примера тему «Неусыпный труд препятства преодолевает». Для удобства и «яснейшего понятия» он приводит следующую таблицу:

Термины	Первые идеи	Вторичные идеи
Неусыпность	Надежда Послушание Подражание	(Другие страсти, любовь, желание), ободрение, исполнение, отчаяние, как сон.
	Богатство	Золото, камни дорогие, домы, сады, слуги, Бог, друзья, от своих трудов, убожество.
	Честь	Доступ до знатных, похвала, власть.
	Утро	Возбуждение, скрытие звезд, заря, восхождение солнца, пение птиц.

Термины	Первые идеи	Вторичные идеи
	Вечер	Темнота, холод, роса, звери, из нор выходящие.
	День	Теплота, свет, шум, взирание на праздных.
	Ночь	Дремание, молчание, луна, звезды.
Неусыпность	Река	Быстрина, жидкость, прозрачность, берега, суда, рыбы, омытие, напоение.
	Леность	
	Гульба	Веселие, весна, ясные дни, сады, луга, игры, свидение.
	Сила	Самсон, Геркулес.
Труд	Начало, средина и конец	
	Пот	
	Упоение	
	Пчелы	Летание по цветам, собирание меда.
Препятства	Страх	Бледность, трясение членов, как листы от ветра в осень.
	Зима	Мороз, снег, град, дерева, лишенные плодов и листов, отдаление солнца.
	Война	Лютость неприятелей, мечи, копья, огонь, разорение, слезы разоренных.
	Горы	Вышина, крутизна, расселины, пещеры, ядовитые гады.
	Пустыни	Лесы, болота, пески, скука, разбойники, звери.
	Моря	Непостоянство, волнение, камни, пучины.
Преодоление	Радость	Восклицания, плески, как прохлаждение после зноя.
	Воспоминание	Извещение приятелям, их увеселение, печаль и зависть недругов.

По существу, здесь дан «школьный» пример того, как должно «одним взглядом охватывать совокупность всех вещей». Ломоносов приучал читателей к тому, чем сам обладал в высшей степени, — к способности видеть мир и каждое его явление в сквозной перспективе, в его неисчислимых связях и прямо-таки головокружительном многообразии. Каждый термин в заданной теме мертв, пуст и гол сам по себе, но оживает, наполняется смысловыми и эмоциональными оттенками, украшается различными ассоциациями, порой неожиданными, благодаря «силе совображения», вдохнувшей в них «душу живу». Ломоносов как бы говорит своим ученикам — дерзайте, учитесь каждое понятие видеть в «дивной разности», во всем богатстве смыслов, пульсирующих в нем: «В сем примере хотя только первые и вторичные идеи и те из немногих мест риторических к терминам приложены, однако ясно видеть можно, что чрез сии правила совображение человеческое иметь может великое вспоможение и от одного термина произвести многие идеи».

Последующие главы первой части («О изобретении») знакомили читателей с основами логики и синтаксиса, что видно уже из их названий: «О сопряжении простых идей», «О пополнении периодов и распространении слова», «Об изобретении доводов».

Шестая глава первой части посвящена одному из основных разделов ораторского искусства и называется «О возбуждении, утолении и изображении страстей». Здесь показано, какою трудной ценой дается убеждение аудитории в правоте своего мнения, как много надо знать для того, чтобы, выведя слушателей из состояния душевного равновесия, подчинить их правому мнению: «...чтобы сие с добрым успехом производить в дело, то надлежит обстоятельно знать нравы человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих».

В идеале оратор, владеющий аудиторией, должен соответствовать следующим требованиям: «Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению страстей: 1. когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный ласкатель и лукавец, 2. ежели его народ любит за его заслуги, 3. ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не притворно их страстными учинить намерен... 4. ежели он знатен породою или чином, 5. с важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и повелительство некоторым образом дает сама натура».

Такой оратор должен учитывать следующие «главные слушателей свойства»: 1. возраст, 2. пол, 3. воспитание, 4. образование (у людей «обученных» «надлежит возбуждать

страсти с умеренною живостию», а «у простаков и у грубых людей должно употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей: для того, что нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютна у медведей»).

Важное место в первой части «Риторики» занимает глава седьмая «О изобретении витиеватых речей», в которой говорится одновременно о важности этого приема и о необходимости соблюдать меру в пользовании им. «Витиеватые речи, — пишет Ломоносов (которые могут еще называться замысловатыми словами или острыми мыслями), — суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или и чрезъестественным образом, и тем составляют нечто важное или приятное...» Затем приводится целый ряд примеров, заимствованных у древних авторов и своих собственных, показывающих, насколько действенным может быть этот прием: «Глупостию бедный приводит в смех, а сильный в слезы», «Праведный гнев есть милосердие», «Гомер, когда прославлял других своими стихами, тогда и сам себя вечной памяти предал», «Когда тебя уязвит безумный поношением, раны лечить не старайся, то скоро исцелеешь» и т. д. Однако ж «витиеватые речи» опасны тем, что могут незаметно для оратора из средства превратиться в цель. Вот почему, отдавая должное этому приему как одному из основных в ораторском искусстве, Ломоносов все-таки пишет: «Ни в чем красноречие так не утверждается на примерах и на чтении и подражании славных авторов, как в витиеватом роде слова... ибо не токмо сие требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверх того за ними излишно гонючись не завраться, которой погрешности часто себя подвергают нынешние писатели: для того что они меньше стараются о важных и зрелых предложениях, о увеличении слова чрез распространения или о движении сильных страстей, нежели о «витийстве». Вместо «нынешних писателей» (вспомним рекомендации Миллера) Ломоносов предлагает будущим ораторам в качестве примеров соблюдения такта в употреблении «витиеватых речей» византийских авторов Иоанна Дамаскина, Андрея Критского, Григория Назианзина.

Вторая часть «О украшении» интересна прежде всего мыслями Ломоносова, в которых уже вырисовываются очертания его будущей теории «трех штилей». В § 165 читаем: «Чистота штиля зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. В первом способствует прилежное изучение правил грамматических, во втором выбирание из книг хороших речений и выражений, в третьем старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают. Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу.

Сие все каждому за необходимое дело почитать должно: ибо кто хочет говорить красно, тому надлежит сперва говорить чисто и иметь довольство пристойных и избранных речений к изображению своих мыслей».

Здесь в высшей степени важно указание на необходимость устной речевой практики для «чистоты штиля», которая в данном случае выступает едва ли не синонимом литературной нормы языка. Точно также знаменательна здесь рекомендация обогащать свой словарный запас за счет церковнославянской лексики, которая при соблюдении соответствующей меры может дать автору «изобилие речений», не противоречащее «чистоте штиля».

Весь дальнейший материал второй части охватывает теорию и употребление различных «тропов речений» (метафора, синекдоха, метонимия и т. д.), синтаксиса («тропы предложений»), вопросы произношения, ударения, благозвучия и т. п. — короче все то, в чем, по Ломоносову, заключается «течение слова», «великолепие и сила оного». Вместе с «чистотою штиля» эти компоненты и составляют «украшение риторическое».

Венчает «Риторику» третья часть «О расположении». Если первая часть («О изобретении») имеет дело со строительным материалом» ораторского искусства — идеями, облеченными в слово, вторая («Об украшении») с его «инженерной» и эстетической обработкой, то третья касается высшей сферы риторики — «архитектурной». Здесь Ломоносов не просто излагает основы риторической композиции, не только объясняет, что такое хрия и расположение по силлогизму, он прежде всего приучает читателей к системному мышлению, дает им средство для формирования и выражения общего взгляда на вещи. Помимо того, что это было необходимо «мудролюбивым российским отрокам» и «разного чина людям», устремившимся к знаниям, это находилось в русле собственных устремлений Ломоносова, именно во второй половине 1740-х годов приступившего к систематизации своих научных предположений и вообще культурных начинаний. И именно Ломоносов должен был, предваряя разговор о секретах риторической композиции, написать: «Расположение есть изобретенных идей соединение в пристойный порядок. Правила о изобретении и украшении управляют совображение и разбор идей, предводительство рассуждения есть о расположении учение, которое спискателям красноречия весьма полезно и необходимо нужно. Ибо что пользы есть в великом множестве разных идей, ежели они не расположены надлежащим образом? Храброго вождя искусство состоит не в одном выборе добрых и мужественных воинов, но не меньше зависит и от приличного установления полков».

Из двух разновидностей расположения («натурального» и «художественного») главным и наиболее трудным для освоения является художественное. Если натуральное расположе-

ние напрашивается само собою и зависит от времени («...в римской истории прежде предлагают о Пунической, нежели о Македонской войне...»), места («...о верхних говорят прежде, нежели о нижних, о передних прежде, нежели о задних»), достоинства («...о золоте должно предлагать прежде прочих металлов»), то расположение художественное требует приведения в действие, по существу, всех ораторских навыков, о которых говорилось ранее: «Художественное расположение есть, которое утверждается на правилах. Из оных главные суть следующие: 1. Предложенную тему должно изъяснить довольно, ежели она того требует, к чему служат распространения из мест риторических и избранные парафразисы. 2. По изъяснении оную доказать несомненными доводами, которые располагаются таким образом, чтобы сильные были напереди, которые послабее, те в середине, а самые сильные на конце. 3. К доказательствам присовокупить возбуждение или утоление страсти, какой материя требует. 4. Между всеми сими рассевать должно по пристойным местам витиеватые речи и вымыслы, первые больше в изъяснениях и в доказательствах, последние в движении страстей».

Ломоносовское руководство не только отличалось ясностью изложения теоретических и практических рекомендаций, но, как говорилось выше, было чем-то вроде хрестоматии по мировой литературе. Примеры, иллюстрирующие тот или иной риторический прием, имели не только прикладное, но и выдающееся эстетическое значение. В иллюстративной части «Риторика» представляла собой увлекательное и поучительное собрание мудрых и высокохудожественных произведений.

Иные параграфы в «Риторике» похожи на миниатюрные книжки афоризмов на все случаи жизни. Говоря, скажем, о «фигурах предложений», Ломоносов одну из таких фигур (изречение) поясняет следующим образом (§ 212):

«Изречение фигура есть краткое и общее предложение идей, особливо до нравоучения надлежащих, например:

Сокровенный гнев вредит, объявленный без мщения теряется.

Счастие сильных боится, ленивых угнетает.

О том сам не сказывай, о чем другим молчать повелеваешь.

Кто боязливо просит, тот учит отказывать.

Кто лютостию подданных угнетает, тот боящихся боится, и страх на самого обращается.

Ежели кто, имея власть, другому грешить не возбраняет, тем самым грешить повелевает.

Те уже не так боятся, которым пагуба перед глазами.

Счастливое беззаконие нередко добродетелью называют.

Кто породою хвалится, тот чужим хвастает.

Что трудно терпеть, то сладко вспоминать».

Обучая ораторскому искусству, Ломоносов учил своих читателей морально-политической ответственности. Цивилизация мыслей и чувств современников — вот одна из главных просветительских целей, которую преследовал Ломоносов, подбирая примеры к правилам риторическим. Наряду с прямыми поучениями (как в приведенном выше примере), Ломоносов прибегает и к опосредованным. Зачастую художественные примеры, взятые из разных авторов, оказавшись в одном параграфе, создают новый контекст, у читателя возникает иллюзия некоего диалога на важную нравственно-философскую тему. Вот Ломоносов, говоря о необходимости умелого сочетания таких фигур, как изречение, вопрошение, заимословие (прямая речь), присовокупление, приводит два прозаических примера из «Истории Александра Великого» Курция Руфа и два поэтических — из «Энеиды» Вергилия, а в итоге получается своеобразный диалог о нравственной природе силы и власти (§ 311).

Сначала приводится пример того, как благая цель может и слабого сделать сильным: «И так хотя уже отвсюду македонское оружие блистало и неприятели сугубым злоключением угнетаемы были, однако весьма жестоко против них стояли. Ибо нужда поощряет и непроворных, и отчаяние бывает часто причиною надежды».

Затем показывается, как сила может быть подчинена моральной слабости и употреблена во вред самому обладателю силы:

> Он злато силой взял, убивши Полидора.
> Проклято лакомство, к чему ты не приводишь?

Далее идет еще один пример из «Энеиды», рассказывающий о легендарном царе Флегее, поджегшем храм Аполлона и за это наказанном богами заточением в подземное царство (под горой, которая, казалось, вот-вот рухнет на него и раздавит). Флегей — это символ наказанного произвола (то есть силы, уверовавшей в свою безнаказанность):

> Иные на горы катают тяжки камни,
> Иные к колесу привязаны висят.
> Тезей сидит, к горе прикован раскаленной,
> И будет век сидеть. Флегей в геенском мраке
> Ревет и жалостно других увещевает:
> «Вы сильны на земли, на казнь мою взирайте,
> Судите праведно и бога почитайте».

Казалось бы, вопрос решен: сила без твердых нравственных оснований вредна для окружающих и к тому же саморазрушительна. Но Ломоносов в конце параграфа приводит последний пример (на «употребление присовокупления»), который вызывает ощущение как раз незаконченности разговора, продолжения размышлений на тему уже в сознании слушателей: «Между тем как они такими размышлениями себя беспокоили, ночь наступила и страх умножила». Ины-

ми словами, вопрос остается открытым для каждого слушателя и читателя, каждый должен сам найти свой ответ.

Вообще, с этической точки зрения вся «Риторика» ориентирована на пробуждение и обеспечение риторическим инструментарием индивидуального, самобытного начала в читателях, на привитие им потребности и вкуса к самостоятельному мышлению. Неудивительно поэтому, что и личность самого Ломоносова замечательно ярко запечатлелась на страницах «Риторики». Здесь нашли свое отражение и научно-философские, и поэтические, и нравственные воззрения его, и даже его размышления и переживания в связи с злоключениями его личной судьбы. Вряд ли случайно завершается «Риторика» отрывком из Цицерона, в котором Ломоносов нашел выражение отчаяния, не однажды владевшего им во время борьбы с врагами русской науки в Академии, со своими врагами: «Доносят те, которые в его пожитки нахально вступали; отвечает тот, кому они, кроме беды, ничего не оставили. Доносят те, которым принесло прибыль Росциева отца убиение; отвечает тот, кому отеческая смерть принесла не токмо плач и рыдание, но и крайнюю бедность. Доносят те, которые его самого умертвить весьма желали; отвечает тот, который и перед суд сей пришел под охранением, чтобы здесь пред очами вашими убит не был. Наконец, доносят те, которым весь народ казни желает; отвечает тот, который от беззаконного их убийства один остался».

Наивно было бы ставить знак равенства между подзащитным Цицерона Росцием и Ломоносовым, а также между его врагами и приспешниками Шумахера, но общее эмоциональное настроение приведенного отрывка как нельзя более точно соответствует переживаниям Ломоносова в трудные минуты обострения его поединка с противниками Истины.

Эта способность Ломоносова заимствовать *свое* у самых разных авторов и позволила ему создать совершенно самобытное произведение об ораторском искусстве, преследующее конкретные цели собственно русского культурного развития. Вся предшествующая мировая теоретическая традиция была приспособлена и подключена Ломоносовым к обслуживанию самобытно-русских культурных потребностей. Все, что Ломоносов слышал на занятиях у Порфирия Крайского в Славяно-греко-латинской академии и Иоганна-Адольфа Гартмана (1680—1744), профессора истории и красноречия в Марбургском университете, все, что он усвоил, читая «Риторики» Аристотеля, Квинтилиана (35—138), Лонгина (ум. 273), Никола Коссена (1583—1651), Франсуа Помея (1619—1673), Иоганна-Кристофа Готшеда (1700—1766), Феофана Прокоповича и других писателей, — все это самым плодотворным образом было использовано Ломоносовым для создания отчетливо-индивидуального, новаторского руководства по красноречию, предназначенного не для узкого круга авторов, изощряющих свое формальное мастерство, а для широкой массы

читателей, нуждающихся не столько в «цеховых» секретах риторических, сколько в общих указаниях на то, какою должна быть новая русская речь, выражающая новый образ понятий, новое отношение к миру и человеку.

3

Бросая общий взгляд на итоги первого периода самостоятельной творческой деятельности Ломоносова, нельзя не прийти к выводу о том, что наиболее полно созидательное качество его гения, нацеленность на универсальный подход к миру, а также взволнованное переживание красоты, стройности и познаваемости мира выразились в его поэзии. Причем здесь так же, как в естествознании (открытие «всеобщего закона природы») и гуманитарных науках («Риторика»), этот период завершается грандиозным созданием (в полном смысле слова конгениальным его научным трудам) — первой книгой «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова», вышедшей в 1751 году. Это именно книга, а не случайное собрание. Она не сложена, а сотворена как единое произведение, продуманное и выверенное в своих составляющих частях, пронизанное светом всепроникающей и всеобнимающей Идеи. Десять лет Ломоносов шел к этой книге. И вот как он шел к ней, мы теперь и попробуем проследить. Во-первых, это важно в связи с творческим путем самого Ломоносова. Во-вторых, это нужно сделать хотя бы потому, что в ту пору всеобщего увлечения стихотворством (даже Елизавета Петровна грешила этим) мало кто рассматривал поэзию как средство создания образа мира. Иными словами, подавляющее число пишущих, сочиняя стихи, мыслило в масштабах одного произведения. Мыслить в масштабах книги, в которой каждое произведение, кроме собственного смысла, имеет и дополнительный, в общем контексте, тогда еще не умели (незначительные исключения будут оговорены ниже). Ломоносов и здесь выступил первопроходцем.

До сих пор, говоря о ломоносовской поэзии, мы касались его стихотворений в основном постольку, поскольку они отражали поступательное движение его индивидуальности, то есть в основном по мере их написания. Теперь наступило время подытожить развитие некоторых настойчиво звучащих в ней мотивов, повторяющихся образов и попытаться дать им более или менее удовлетворительное истолкование.

Прежде всего наше внимание должен привлечь образ поэта, переходящий из стихотворения в стихотворение и меняющийся от стихотворения к стихотворению.

Первая же строка «хотинской» оды, с которой началась новая русская поэзия, вводит нас в эмоциональный мир поэта, подчиняет его энтузиастическому состоянию («восторг

внезапный ум пленил»). И первое, что обращает на себя внимание уже в этой оде, — вездеприсутствие поэта в созданном мире и одновременно его как бы нездешняя природа. О нем можно сказать словами М. Ю. Лермонтова, что он именно «как божий дух носился над толпой». Затем в «Оде на прибытие Елисаветы Петровны» (1742) его устами заговорит Бог, обращаясь к императрице: «Мой образ чтят в Тебе народы...» Потом в переложении 143-го псалма (1743) он уже будет беседовать с небесами на равных и своих врагов рассматривать как врагов самого Бога. В «Утреннем» и «Вечернем» размышлениях (1743) он окончательно утвердится в качестве посредника между небесами и землей. Теперь уже о нем можно сказать словами Д. В. Веневитинова, что он перед читателями является «С дарами выспренних уроков, С глаголом неба на земле».

В «Риторике» (выше уже говорилось об умении Ломоносова выбирать свое в наследии других поэтов) содержатся еще два примера (переложения из Овидия и Горация), не оставляющие никакого сомнения в том, что Ломоносов закрепляет за поэтом роль вестника боговдохновенных истин, что себя самого он считал прежде всего именно таким вестником, избранником, а не присяжным панегиристом царствующих особ. В § 239, разъясняя, что он понимает под «восхищением» (или восторгом, этой неотъемлемой чертой стихотворца, находящегося в высочайшем градусе творчества), Ломоносов пишет: «Восхищение есть, когда сочинитель представляет себя как изумленна в мечтании, происходящем от весьма великого, нечаянного или странного и чрезъестественного дела. Сия фигура совокупляется почти всегда с вымыслом и больше употребительна у стихотворцев...» В подтверждение этого он приводит следующий отрывок из «Метаморфоз» Овидия, говорящий сам за себя:

Устами движет Бог; я с ним начну вещать.
Я тайности свои и небеса отверзу,
Свидения ума священного открою.
Я дело стану петь, несведомое прежним;
Ходить превыше звезд влечет меня охота,
На облаках нестись, презрев земную низкость.

Это начало монолога Пифагора из пятнадцатой, последней книги «Метаморфоз». Овидий создал образ великого философа и ученого древности, посредством которого попытался придать единство своей поэме, рассказывающей о длинной цепи превращений в мире природы и людей, внешне никак между собою не связанных. Пифагор с его учением о многократном переселении душ после смерти был необходим Овидию именно в конце «Метаморфоз» и именно для придания высшего смысла прежде описанным превращениям. Интересно, как Овидий представляет своего героя. Рассказ о деятельности Пифагора, предваряющий его монолог, во многом объясняет, почему как раз это место из поэмы Овидия привлекло ломоносовское внимание:

Постигал он высокою мыслью
В далях эфира-богов; все то, что природа людскому
Взору узреть не дает, увидел он внутренним взором.
То же, что духом своим постигал он и бдительным тщаньем,
Все на потребу другим отдавал и толпы безмолвных,
Речи дивящихся той, великого мира началам,
Первопричинам вещей, пониманью природы учил он:
Что есть Бог; и откуда снега; отчего происходят
Молнии — Бог ли гремит, иль ветры в разъявшихся тучах;
Землю трясет отчего, что движет созвездия ночи;
Все, чем таинственен мир.

(Перевод С. В. Шервинского)

«Мечтание, происходящее от весьма великого, нечаянного или странного и чрезъестественного дела» — такова сила, полностью подчиняющая себе поэта, «восхищающая» его (то есть возносящая). Только «представляя себя как изумленна в мечтании», поэт попадает в родную себе высь и начинает видеть во все концы света, проницать время и вообще «все, чем таинственен мир». Ему становится все доступно:

Мой дух течет к пределам света,
Любовью храбрых дел пленен,
В восторге зрит грядущи лета
И древних грозный вид времен.

(Ода, 1743)

Душа его становится вместилищем противоречивых, несовместимых с обыденной точки зрения вещей:

Мне вдруг ужасный гром блистает,
И купно ясный день сияет!
То сердце сильна власть страшит,
То кротость разум мой живит!
То бодрость страх, то страх ту клонит,
Противна мысль противну гонит!

*(Ода на прибытие
Елисаветы Петровны, 1742)*

Эти отрывки уже из своих стихотворений Ломоносов приводит в добавление к стихам Овидия, им переведенным, чтобы показать многовидность поэтического «восхищения», «восторга», озарения. Это состояние наивысшего эмоционального взлета, когда все существо поэта одухотворено, когда нет ни одной частички в его сознании, которая не ощущала бы в себе «Божия величества», — это состояние никто из

современников Ломоносова не мог выразить так грандиозно и многообразно, как он, но главное: никто с такой настойчивостью и таким постоянством, как он, не обращался к воспеванию этого состояния.

Скорее всего именно под его влиянием и современники почувствовали вкус к переживаниям такого рода. В. К. Тредиаковский, постоянно полемизировавший с Ломоносовым начиная с 1740 года (с «Письма о правилах Российского стихотворства»), не мог избежать мощнейшего ломоносовского воздействия как в формальном отношении (скажем, он, «дактило-хореический витязь», со временем «подобрел» к ямбу, апологетом которого выступал Ломоносов), так и с точки зрения идейно-эмоционального содержания своего творчества. В 1752 году в первом томе «Собрания разных сочинений как стихами, так и прозою Василья Тредиаковского» появилось стихотворение «Парафразис вторыя песни Моисеевой», в котором послышались необычные для него интонации благородного спокойствия, уверенности, какой-то величавости даже, выражаемые с необычными для него внятностью и благозвучием:

Вонми, о небо, и реку!
Земля да слышит уст глаголы!
Как дождь, я словом потеку
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы.

Впрочем, для того чтобы такое содержание и такие интонации стали привычными, надо было накрепко сжиться с сознанием своего избранничества, а не доказывать себе, а еще более друзьям и недругам, читателям и властям, что ты — избранник (как это делали В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков).

Вот почему перевод оды Горация «К Мельпомене», помещенный Ломоносовым в § 268 «Риторики» как пример расположения по «неполному силлогизму или энтимеме», — это не просто перевод и, конечно же, не просто пример применения риторического правила. Это, кроме того (а возможно, и прежде всего), программное стихотворение, в котором Ломоносов дает себе и читателям ясный, исполненный достоинства и мудрого самосознания отчет в том, что он как избранник совершил и в чем высшее оправдание его перед небесами:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи Эольски
И перьвому звенеть Алцейской Лирой,
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

Это удивительное произведение! Ломоносовская способность брать у других авторов свое выразилась здесь вполне. Причем он взял у Горация свое, не разрушая неповторимой самобытности римского подлинника. Как достоверна эта спокойная уверенность великого римлянина во всемирном смысле всего содеянного им! Как исторически-конкретен образ славы поэта, вырастающий на реальной основе военно-экспансионистских представлений Римской империи! И как не случайно то, что Ломоносов выбрал у Горация именно это стихотворение, написанное в ту пору, когда громадная эпоха в истории мировой цивилизации завершалась — грандиозно, кроваво, конвульсивно — и должна была уступить дорогу новому жизнепониманию, новому отношению к человеку! Ведь недавно происшедший переворот всего жизненного уклада России, огромной страны (которая сама по себе — и географически и культурно — есть целый мир), являлся, если так можно выразиться, «соавтором» Ломоносова и в выборе и в переводе этого стихотворения.

Вот почему несмотря на то, что ломоносовское стихотворение представляет собою перевод, близкий к подлиннику, в нем есть несколько намеков на чисто русскую действительность. «Авфид» (Нева), «Давнус царствовал в простом народе» (Петр I), «внесть в Италию стихи Эольски» и т. д. (намек на стихотворную реформу, завершенную Ломоносовым), «беззнатный род» (вновь ломоносовская черта). Все стихотворение, не порывая связей с античностью, в принципе могло восприниматься как русское. В нем уже заключена возможность иных, собственно русских, вариаций на тему итоговой самооценки поэта с общенациональной или всемирной точки зрения. Но для того чтобы разглядеть в ломоносовском стихотворении эту возможность, надо было обладать таким же, как у него, высоким чувством поэтического достоинства, происходящим от глубокого понимания исторических судеб своей страны, ее места в судьбах человечества, а также от ощущения своей совершенной слиянности с нею, Только два величайших наших гения дерзнули развить, претворить в действительность то, что в ломоносовском стихотворении содержалось как возможность. Державин русифицировал в своем «Памятнике» почти все римские реалии, оставив от Горация только «пирамиды», «металлы», «ветр», «времени полет» (да и то в свободном пересказе, а не в точном

переводе), и, как говорили в XVIII веке, «склонил» «на русские нравы» весь идейный и эмоциональный пафос римской оды. Пушкинский «Памятник», русский от начала до конца, но принадлежащий уже всему человечеству, завершил развитие этой темы в нашей классической поэзии (хотя попытки в данном направлении предпринимались и в дальнейшем, но оригинального ничего не было создано: «Non exegi monumentum» Г. С. Батенькова, «Памятник» В. Я. Брюсова, конечно же, не в счет).

Так или иначе, Ломоносов, одновременно с великими открытиями в естествознании и с началом не менее грандиозной работы по упорядочению языка (то есть самого механизма мышления), к концу 1740-х годов и в поэзии своей вполне закрепляет за собой миссию основоположника, избранника, причем мысль об этом получает у него четкое, рельефное, в точном смысле слова монументальное воплощение.

Учение о расположении идей, сформулированное в «Риторике», не было просто данью риторической традиции — оно отражало насущную потребность собственно ломоносовского творческого развития. Организующее или, говоря иначе, «инженерно-архитектурное» свойство ломоносовской мысли получало теоретическое обоснование в положениях автора «Риторики» об «остроумии», которое определялось как «совображение» плюс «рассуждение» (то есть ассоциативное мышление, результаты которого подвержены разумному истолкованию).

Дело теперь стояло за воплощением собственных теоретических установок в своем же поэтическом творчестве. Ломоносов был не из тех гениев, которые не ведают, что творят, подчиняясь неконтролируемым силам в себе, наитию, что ли. Представить себя «как изумленна в мечтании» он мог. И мог — как никто. Но — именно представить. Сознание своей исключительности, так мощно проявившееся в его лирике, неотделимо в Ломоносове от сознания ответственности перед своей исключительностью. В поэзии Ломоносов представлял собою такого избранника, который и сам умеет избирать. Конечно же, он был стихиен в своей гениальности, но он умел заключать свою гениальную стихию в стройные формы и, понимая, что не все может быть равнозначным в стихийном самовыражении, строго отделял высокохудожественное от слабого, программное от случайного, сиюминутного. В этом смысле его работа над первым томом «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе» дает богатую пищу для размышлений. Не все, далеко не все из ранее написанного Ломоносовым вошло в эту книгу. Да и расположение материала в ней также весьма показательно. Впрочем, обо всем по порядку.

Как мы помним, освободившись в 1744 году от наказания, Ломоносов первое время целиком был занят академическими

делами — получением профессорского звания, химическими и физическими исследованиями, хлопотами о Химической лаборатории и т. д. Поэзия для него оказалась как бы в тени. В 1745 году он написал только одну «Оду на день бракочетания... Петра Феодоровича и... Екатерины Алексеевны». В 1746-м — всего лишь две оды Елизавете (на день восшествия на престол и на день рождения). Однако же все это время шла работа над окончательным вариантом «Риторики», и когда книга вышла в свет, читатели могли познакомиться почти с сотней новых ломоносовских стихотворений (переводы и оригинальные вещи как в отрывках, так и целиком). Кроме того, в 1747 году он написал сразу же ставшую классикой оду на день восшествия Елизаветы на престол («Царей и царств земных отрада...»), а также две надписи «на иллуминацию» по случаю «торжественного дня тезоименитства» Елизаветы и не менее «торжественного дня восшествия на всероссийский престол».

В 1748 году продолжается составление надписей, сочинена ода, написаны кое-какие мелочи, из которых достойна упоминания короткая эпиграмма на сумароковскую переделку «Гамлета» Шекспира — еще один пример того, как тонко Ломоносов умел вышучивать своих современников (ср. стих о «Полидоре»-Разумовском). Эпиграмма, о коей речь, — более раннее и более яркое свидетельство того, что ломоносовский смех был убийствен не язвительностью (что сплошь да рядом встречаем у его современников), а веселостью своею.

Александр Петрович переводил «Гамлета» с французского перевода. Его оптимистический классицистский ум не мог примириться с некоторыми неразумными поворотами шекспировского сюжета и, конечно же, с гнетущим финалом трагедии, не содержавшим никакого внятного и общественно-полезного нравоучения. Вот почему «наш Расин», в целом высоко ценивший Шекеспира, хотя не просвещенного», коечто поправил у него, сам будучи поэтом просвещенным: оставил в живых и принца, и мать его, и невесту, даже благословил Гамлета и Офелию на брак. Впрочем, он много, до последней минуты работал над стилем своего перевода.

Вы все свидетели моих безбожных дел,
Того противна дня, как ты на трон восшел,
Тех пагубных минут, как честь я потеряла
И на супружню смерть безжалостно взирала...

Перед самой отправкой рукописи на рецензию в Академию наук Сумароков в этой речи Гертруды исправил «безжалостно» на «не тронута», решившись дать кальку с французского toucher. Рукопись рецензировали Тредиаковский и Ломоносов. Первый пометил приведенные слова Гертруды, как «негладкие и темные», а в 1750 году в подробном критическом разборе произведений Сумарокова вновь коснулся

этого вопроса: «Кто из наших не примет сего стиха в следующем разуме, именно ж, что у Гертруды супруг скончался, не познав ее никогда в рассуждении брачного права и супруговы должности?» Само выражение «быть тронутым», против которого восстал Тредиаковский и которое, как теперь выясняется, первым в России употребил Сумароков, впоследствии привилось в русском языке. Но первое-то его употребление напрочь дискредитировано было контекстом (и здесь Тредиаковский, безусловно, прав).

Ломоносов, не вдаваясь в филологические тонкости, отозвался на двусмысленную строчку сумароковского «Гамлета» стихами, которые искрятся мудрой и одновременно беззлобной, какою-то веселой иронией истинно «пушкинского» свойства:

Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет.
И, не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись, оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала.

В 1749 году Ломоносов стихов написал немного: помимо естественнонаучных исследований, он был занят сочинением «Слова похвального... Елисавете Петровне», которое, как мы помним, заслужило высокую похвалу Эйлера. Однако ж скорее всего именно в эту пору он усиленно трудился над переложением библейских текстов, которые войдут в Собрание сочинений 1751 года.

В 1750—1751 годах, кроме различных надписей, мелких стихотворений и уже упоминавшегося «Полидора», Ломоносов пишет «Оду, в которой Ея Величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Царском Селе Августа 27 дня 1750 года» (выйдет в 1751 году отдельным изданием и будет к тому же включена в состав собрания сочинений), но самое главное — создаст две большие трагедии «Тамира и Селим» и «Демофонт», из которых наибольший интерес как по идеям, так и по художественным достоинствам представляет первая.

В журнале Академической канцелярии под 29 сентября 1750 года была сделана такая вот запись:

«Сего числа Академии наук г. президент объявил именной ее императорского величества изустный указ, коим ему, г. президенту, повелено: профессорам Тредиаковскому и Ломоносову сочинить по трагедии и о том им объявить в Канцелярии, и какие к тому потребны будут им книги, из Библиотеки оные выдать с распискою и по окончании того возвратить в Библиотеку по-прежнему». Эта запись, а также ломоносовская пометка на черновике трагедии «Тамира и Селим» (ее-то как раз и сочинил Ломоносов по именному «изустному указу»): «Начато 29 сентября после обеда», — долгое время подавали повод к иронии по адресу Ломоносова-драматурга. Между тем все здесь было не так легко и весело, как того хотелось потомкам.

Во-первых, пометка о «послеобеденном» начале работы относится не ко всей трагедии, а к окончанию второго акта. Во-вторых, «изустный указ» Ломоносов получил до того, как была сделана соответствующая запись в канцелярском журнале (вполне возможно, что «Августа 27 дня 1750 года», когда в Царском Селе ему была оказана «высочайшая милость»), ибо в отчете о работе, проделанной за майскую треть (по август) 1750 года он писал, что «начал сочинять трагедию, которую именным ее императорского величества указом сочинять повелено».

Так или иначе, уже 29 октября 1750 года Канцелярия приказала «к трагедии профессора Ломоносова виньет вырезать», а 1 ноября указала «оной трагедии напечатать 600 экземпляров на заморской комментарной бумаге, да 25 на заморской же александрийской средней руки бумаге». Таким образом, работа над «Тамирой и Селимом» продолжалась около двух месяцев. Трагедия была дважды представлена при дворе силами актеров-любителей из Сухопутного шляхетного корпуса: 1 декабря 1750 года и 9 января 1751 года. В январе же 1751 года было распродано первое ее издание и затеяно второе, которое разошлось также быстро (к январю 1753 года в Книжной лавке Академии наук оставалось только два экземпляра книги).

В основу сюжета своей трагедии Ломоносов положил вымышленный им поход «царевича Багдатского» Селима против крымского хана Мумета, который обещал свою дочь Тамиру в жены хану Мамаю. Сама же Тамира полюбила осадившего ее родной город Кафу царевича Селима. Ее отец ожидает на помощь своего сына Нарсима, которого он послал вместе с войском Мамая в поход на Русь. Таким образом, судьба Муметова ханства и судьба любящих друг друга Тамиры и Селима зависят от исхода... Куликовской битвы. В разработке «куликовского» мотива трагедии Ломоносов активно использовал сведения, содержащиеся в таких памятниках, как «Побоище великого князя Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем» и «Повесть о Мамаевом побоище» [1].

Конечно, Ломоносов не был драматургом в полном смысле слова. Но, возможно, именно это обстоятельство и вызвало ряд нововведений, имеющихся в «Тамире и Селиме». Во-первых, трагедия была написана необычным для того времени стихом — шестистопным ямбом с перекрестным чередованием женских и мужских рифм, а не александрийским стихом, как того требовал канон (и как будет написан «Демо-

[1] Подробнее о летописных источниках «Тамиры и Селима» см. в кн.: Г. Н. Моисеева. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.

фонт)». Стих «Тамиры и Селима» исполнен вследствие этого какой-то особой, величавой энергии, торжественности и мощи. Это воистину роскошный стих:

В одном Селиме я надежду всю имею,
Когда слезами я отца не умягчу.
Но в страхе трепещу, смущаюсь, цепенею!
Ах! что, продерзкая, ах, что начать хочу?
Уйду, отечество, родителя оставив,
И брата, и сей дом, и стыд свой позабыв,
И царский род во всей вселенной обесславив,
И кровного родства законы преступив?
Но каждо место мне отечество с Селимом;
Селим мне будет брат, отец и все родство.
Оставить всех и быть в житьи неразделимом
С супругами велит закон и естество. (...)
Спеши, спеши от мест, Мамаем зараженных,
Спеши за Понт, за Тигр, за Нил, за Океан.
И как уж будешь ты в странах толь удаленных,
И там покажется, что близко сей тиран!
О промысл! о судьба! слезами умягчитесь!
О небо! о земля! о ветры! о моря!
На жалость, на тоску, на вопль мой преклонитесь,
Покройте от руки свирепого царя.
А вы, места, где мы любовию пленились.
Затмитесь, чтоб отцу на память привести,
Что строгостью его Тамиры вы лишились!
Прости, дражайшее отечество, прости!

Во-вторых, Ломоносов по-своему строит характер главной героини. Из приведенного монолога Тамиры видно, что в завещанном классицистской традицией столкновении чувства долга и личного чувства Ломоносов заставляет ее предпочесть второе, что как раз противоречило традиционному решению коллизии. Впрочем, внутренний выбор, сделанный Тамирой («...каждо место мне отечество с Селимом»), не повлек за собою ее внешнего столкновения с враждебными обстоятельствами и одновременно — превращения ломоносовской трагедии в «слезную драму» или, того больше, в драму романтическую, поскольку судьбы героев «Тамиры и Селима» в конечном счете зависят не столько от противоборства их страстей, сколько от силы, не подвластной ни их разуму, ни их воле, — от Истории.

В этом-то пункте и заключено еще одно, пожалуй, важнейшее новшество ломоносовской трагедии. Исход Куликовской битвы, если так можно выразиться, стал одним из самых главных ее героев, который оказывает решающее действие и на исход нравственно-психологической битвы, происходящей между персонажами: Мамай повержен, Мумет соединяет свою дочь с ее возлюбленным. Битва на поле Куликовом настолько зримо, почти осязательно описана в монологе Нарсима (брата Тамиры, который, как мы помним, сражался в Мамаевом войске), что кажется происходящею пе-

ред глазами. В поэтической живописи Ломоносов достигает здесь высот, недосягаемых для современников (только Державин, Пушкин, Лермонтов и отчасти Батюшков и Федор Глинка смогут с ним соперничать впоследствии). Вот стихи, которые Батюшков приводил в пример того, «какую силу получают самые обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте», и ставил их в один ряд с батальными описаниями в «Освобожденном Иерусалиме» Т. Тассо (и имел на то все основания):

Уже чрез пять часов горела брань сурова,
Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч.
В густой крови кипя, тряслась земля багрова,
И стрелы падали дожжевых гуще туч.
Уж поле мертвыми наполнилось широко;
Непрядва, трупами спершись, едва текла.
Различный вид смертей там представляло око,
Различным образом поверженны тела.
Иной с размаху меч занес на сопостата,
Но, прежде прободен, удара не *скончал;*
Иной, забыв врага, прельщался блеском злата,
Но мертвый на корысть желанную упал.
Иной, от сильного удара убегая,
Стремглав наниз слетел и стонет под конем.
Иной пронзен угас, противника пронзая,
Иной врага поверг и умер сам на нем. (...)
Внезапно шум восстал по воинству везде.
Как туча бурная, ударив от пучины,
Ужасный в воздухе рождает бегом свист,
Ревет и гонит мглу чрез горы и долины,
Возносит от земли до облак легкий лист, —
Так сила Росская, поднявшись из засады,
С внезапным мужеством пустилась против нас;
Дождавшись таковой в беде своей отрады,
Оставше воинство возвысило свой глас.
Во сретенье своим Россияне вскричали,
Великий воспылал в сердцах унывших жар.
Мамаевы полки, увидев, встрепетали,
И ужас к бегствию принудил всех Татар.

Кроме высоких художественных достоинств этих стихов, важна их почти документальная точность: Ломоносов здесь строго следует названным выше средневековым памятникам. Вообще, тема Куликовской битвы и сам образ Димитрия Донского живо волновали ломоносовское воображение. В 1747 году он набросает два стиха, которые, очевидно, должны были стать началом большой поэмы о Димитрии Донском (замысел, оказавшийся не воплощенным не только в творчестве Ломоносова, но и во всей русской поэзии вплоть до появления блоковского цикла «На поле Куликовом»):

Войну воспеть хочу в донских полях кроваву
И князя, что воздвиг попранну нашу славу.

Что же касается «Тамиры и Селима», то здесь Ломоносов, помимо дорогой для него патриотической идеи, выразил устами героев и другие свои задушевные мысли. Вот, к примеру, его страстная инвектива против алчности и властолюбия, которые, по его глубокому убеждению, всегда были причиною такого ужасного разрушительного и противоестественного явления, как война (монолог Надира, «брата Муметова»):

Несытая алчба имения и власти,
К какой ты крайности род смертных привела?
Которой ты в сердцах не возбудила страсти?
И коего на нас не устремила зла?
С тобою возросли и зависть и коварство;
Твое исчадие — кровавая война!
Которое от ней не стонет государство?
Которая от ней не потряслась страна?
Где были созданы всходящи к небу храмы
И стены — труд веков и многих тысяч пот, —
Там видны лишь одне развалины и ямы,
При коих тучную имеет паству скот. (...)
Лишь только зазвучит ужасна брань трубою,
Мятутся городы, и села, и леса,
Любовнического исполненные вою,
И жалоб на удар жестокого часа.
Что может быть сего несноснее на свете.
Когда двоих любовь и радость сопрягла,
Однако в самом дней младых прекрасном цвете
Густая жадности мрачит их пламень мгла;
Когда родители обманчивой корысти
На жертву отдают и совесть и детей.
О небо, преклонись, вселенную очисти
От пагубы такой, от скверной язвы сей!
Коль дало красоту и младость человеку
И нежны искры в нем любовные зажгло,
Чтоб в радости прожить дражайшую часть веку,
То долго ль на земли сие попустишь зло?

Поэтическое творчество Ломоносова в рассматриваемый период достигает того знаменательного уровня, на котором утверждается внутренняя стилевая завершенность его гения. Завершенность не в смысле прекращения какого бы то ни было развития, а в смысле обретения соразмерности. Россия (ее прошлое, настоящее и будущее, равно исполненные величия), ясное сознание исключительности своего гения (и в связи с этим — энтузиазм ответственности перед грандиозностью задач, которые предстоит выполнить), человеческая натура в разнообразии ее проявлений (от героически высоких, до непритязательно повседневных) — диапазон осмыслений переживаний всего этого, а также стилевая непринужденность и соответственность в их выражении поэтическим словом не могут не вызвать восхищения перед Ломоносовым. Ведь новая русская поэзия только начиналась. Перед поэтами стояла страшной трудности задача — дать словесную форму тому, что еще не обрело своей формы. Старые идеалы рухнули, о новых еще не имели адекватного представления. Создать стиль эпохи мог лишь тот, кто постиг высший смысл происходящего, чей гений воспринимал сиюминутность в большой, национально-государственной перспективе.

Ломоносов, как никто, был подготовлен к решению этой литературно-общественной задачи, ибо, как никто, всесторонне осмыслял сущность культурных преобразований Петра I. То, что это так, со всей очевидностью подтверждает собрание сочинений, подготовленное им в 1751 году. В отличие от своих современников Ломоносов не просто собрал под одной обложкой произведения, которые показались ему лучше других написанными или более других подходящими для публикации именно в данный момент. Не это здесь главное: Ломоносов делал не сборник, а книгу. Иными словами, такой сборник, который представляет собою единое произведение. Тут не только отбор, но и расположение произведений важно, и Ломоносов проделал всю работу, необходимую для создания именно Книги.

25 января 1751 года он написал, а 9 февраля представил в Канцелярию доношение с просьбой издать его оды и другие произведения: «Намерен я все мои оды и некоторые другие мои сочинения отдать в печать, для того что весьма много охотников, которые их спрашивают. Для того прилагаю при сем оных собрание и Канцелярию Академии наук прошу, чтоб соблаговолено было оные напечатать».

11 февраля было принято решение о напечатании од и других сочинений Ломоносова отдельной книгой. В июле 1751 года «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова. Книга первая» было отпечатано в количестве 1325 экземпляров (тираж по тем временам просто огромный — другого слова не подберешь).

Ломоносов не только собрал воедино действительно лучшие на ту пору свои сочинения: он еще самым тщательным образом продумал композицию всей книги (которая была воспроизведена и во втором прижизненном собрании ломоносовских произведений).

Стихи были расположены по трем разделам: 1. Оды духовные, II. Оды торжественные и похвальные, III. Надписи. Казалось бы: типичный пример расположения по жанровому принципу. Внешне так оно и было. Однако этому внешнему разделению у Ломоносова соответствуют своя, внутренняя иерархия идей и свое, внутреннее их движение, придающее всем стихам, разбитым на три части, характер единого произведения.

Ключевым разделом книги стали «Оды духовные». Надо думать, не случайно именно о стихотворениях, вошедших в этот раздел, А. С. Пушкин (в целом строго, порою беспощадно, оценивавший ломоносовскую поэзию) писал: «Слог

его ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему преложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. Они останутся вечными памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему...»

В «Оды духовные» вошли следующие произведения в таком порядке: «преложения» псалмов 1, 14, 26, 34, 70, 143, 145, «Ода, выбранная из Иова», «Утреннее размышление о Божием Величестве», «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния». Этот состав и эта последовательность не случайны. Ломоносов не включил сюда перевод 116-го псалма (имеющийся в «Риторике»), а также поместил «Оду, выбранную из Иова» вслед за псалмами (в Библии книга Иова предшествует Псалтири). Если, кроме того, учесть, что псалмы для перевода он выбирал (в отличие от Симеона Полоцкого до него, Тредиаковского и Сумарокова после него, которые переводили Псалтирь целиком), и обратить внимание на характер ломоносовских отступлений от оригинала, то станет очевидной тщательная продуманность и отбора и расположения материала, — иными словами, принципиальная самостоятельность всего раздела «Оды духовные». Это нечто вроде «пролога на небесах» к земной миссии поэта, просветительской и гражданской, одействотворенной в «Одах торжественных и похвальных», а так же в «Надписях». В известном смысле «Оды духовные» — это пушкинский «Пророк», развернутый на пространстве более чем в 700 строк. Впрочем, не будем забывать о том, что Ломоносов создавал свои произведения за три четверти века до Пушкина...

Сюжет «Од духовных» (вследствие совершенно самостоятельного отбора и расположения стихотворений мы можем говорить здесь именно о сюжете) определяется развитием, точнее, совершенствованием представлений лирического героя Ломоносова о мире и истине, наполняющей смыслом и этот мир, и жизнь самого героя. Проследуем вслед за ним по ступеням совершенствования.

Мир, в котором живет и действует лирический герой, есть мир нравственный:

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным вслед ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать,

Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всем
И сердцем оный наблюдает
Во всем течении своем.

Творец присутствует в этом мире как изначальный организующий принцип, объективная нравственная закономерность — «Божий закон». По отношению к нему люди выступают как «праведные» (законопослушники) и как «грешные» (законоотступники). Лирический герой относит себя, естественно, к первым.

Участники грядущей драмы (Бог, лирический герой, праведные и грешные) как бы замкнуты каждый в своей сфере: грешник грешит, праведник не грешит («к злым в совет не ходит» и т. д.), Бог не обнаруживает себя в каком-нибудь конкретном деянии, лирический герой просто всматривается в этот мир. Присутствующее в мире зло еще не стало фактом его биографии. Отсюда — его внешнее спокойствие.

Но он тяготится своим спокойствием. Он внутренне динамичен. Он склонен торопить события. Он ждет награды за добрые дела уже сейчас. Вот какою видится ему перспектива жизни праведника, и при этом перспектива — ближайшая:

Он узрит следствия поспешны,
В незлобивых своих делах;
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищенный прах.

Именно в этом месте Ломоносов допускает принципиальное отступление от церковнославянского текста. В Библии первым двум строкам соответствует: «...и вся, елика аще творит, успеет» (то есть: во всяком деле ему будет сопутствовать успех). Как мы помним, еще в 1743 году Ломоносов в работе над переложением 143-го псалма позволил себе отступить от подлинника. Перелагая 1-й псалом в 1751 году, он вновь прибегает к этому уже освоенному приему.

Вообще, приведенная строфа является ключевой как в переложении 1-го псалма, так и во всем разделе «Оды духовные». Здесь поставлены лицом к лицу две полярные силы нравственного мира: праведные и грешные. Здесь же смутно вырисовывается и такая характерная особенность лирического героя, как исключительность его положения в мире. С одной стороны, он соотнесен с праведниками: ему насущно близка их программа (не ходить в совет к злым, не ступать вслед грешным и пр.), он, как и они, следует «Божию закону» — и уже по этой причине его нельзя соотносить с грешниками. Но, с другой стороны, он не может всецело слиться с праведниками, отождествить себя с ними, ибо их награда — справедливый суд «вышнего творца» в будущем, а он как вполне реальную перспективу допускает возможность «поспешных следствий» в настоящем. Для него остается один выход — обращение к Богу.

Именно с этого обращения и начинается следующее стихотворение цикла (переложение 14-го псалма). На первый взгляд в этом стихотворении не содержится ничего принци-

пиально нового. Действительно, внешне 14-й псалом в переложении Ломоносова представляет собой дальнейшее расширение и разработку в деталях этической платформы праведных, намеченной в предыдущем стихотворении. Но из всех заповедей добродетельному человеку, которые перечислены здесь у Ломоносова, одна нуждается в комментарии. В четвертой строфе поэт пишет, что праведник

Презирает всех лукавых,
Хвалит вышнего рабов
И пред ним душею правых
Держится присяжных слов.

В двух последних строках говорится о присяге Богу. В этом пункте своей нравственной программы лирический герой Ломоносова оригинален. В подлиннике стоит следующее: «Уничтожен есть пред ним лукавнуяй, боящыя же ся господа славит; кленыйся ближнему своему и не отметаяся».

Следующее стихотворение цикла, переложение 26-го псалма, открывает новую ступень в развитии лирического героя. Если до сих пор стихия зла сохраняла лишь силу отрицательного примера, то теперь она активизировалась: лирический герой выдерживает первую схватку с врагами и побеждает их благодаря заступничеству Бога. Главная ценность этой победы, с точки зрения лирического героя, состоит в том, что между ним и творцом устанавливается двусторонняя духовная связь, и этим лишний раз подчеркивается исключительность его положения в мире:

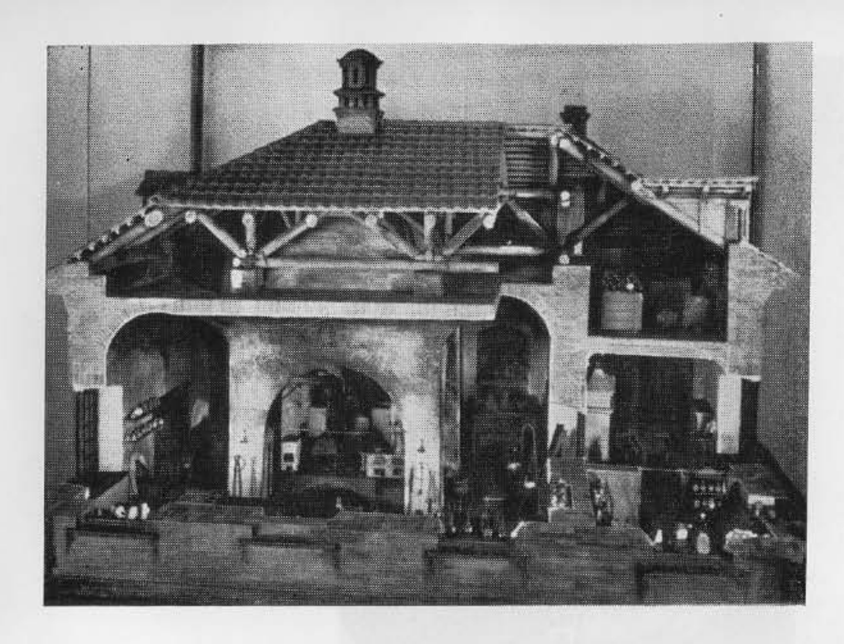
Ко свету твоего лица
Вперяю взор душевный
И от всещедрого Творца
Приемлю луч вседневный.

Эта строфа — результат оригинального творчества Ломоносова (в подлиннике: «Тебе рече сердце мое: Господа взыщу; взыска тебе лице мое; лица твоего, Господи, взыщу»).

Выше уже говорилось, что лирический герой нетерпелив в желании видеть «поспешны следствия» своих добрых дел. Теперь же, в положении Божьего избранника, он имеет моральное право надеяться на большее:

Я чаю видеть на земли
Всевышнего щедроты
И не лишиться николи
Владычния доброты.

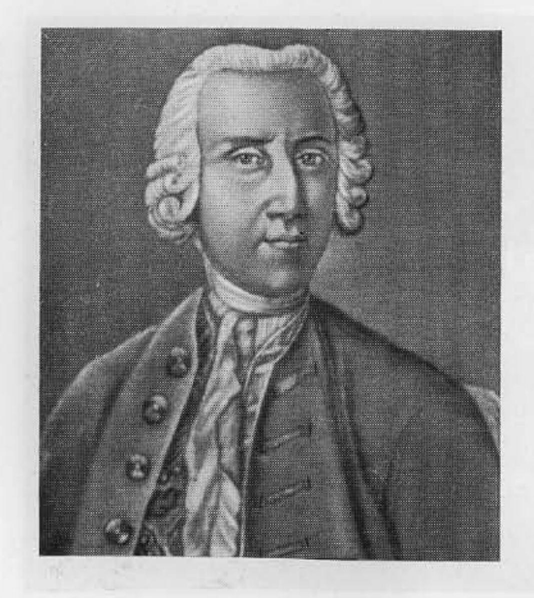
Но, пожалуй, самое главное здесь то, что эти надежды сопряжены с первыми сомнениями, колебаниями в его душе. Только с этой точки зрения становится понятным истинный смысл обращений к Богу:



Химическая лаборатория. Макет. Музей М. В. Ломоносова.

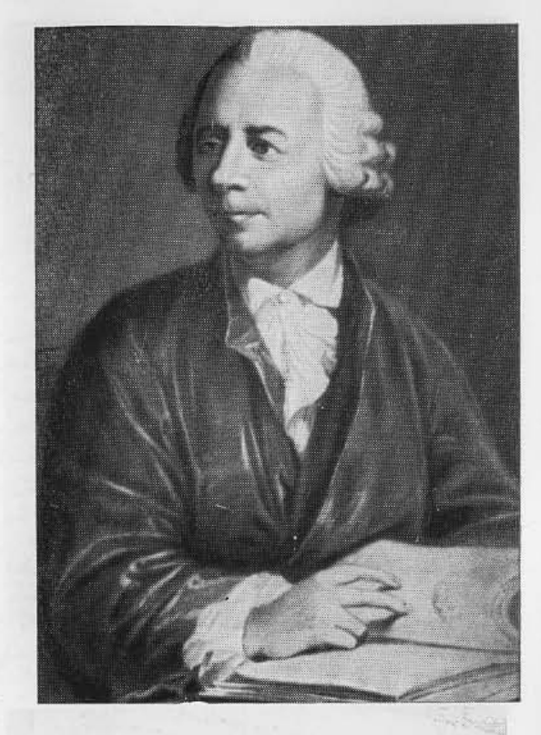
Дом на Васильевском острове, в котором жил Ломоносов с 1741 по 1757 год. Макет. Музей М. В. Ломоносова.

И.-Г. Гмелин.



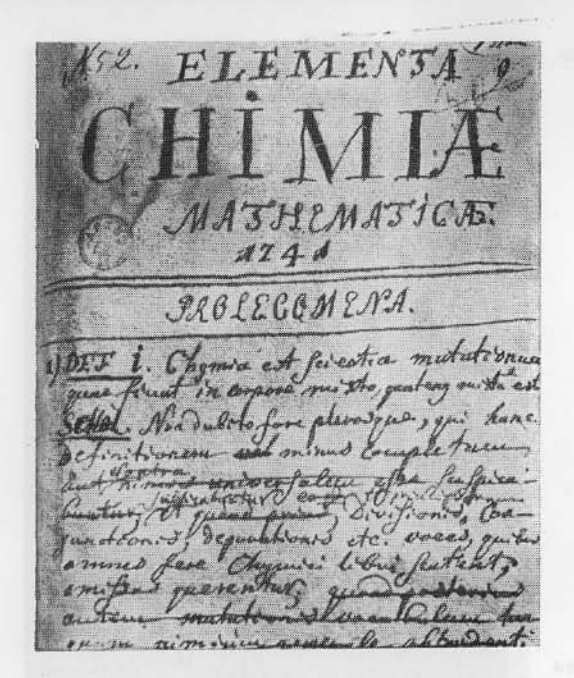
Г.-В. Рихман.

Л. Эйлер



Диплом Ломоносова на звание профессора химии Петербургской Академии наук. 1745 год.

Serenissimae ac Potentissimae Imperatricis
ELISABETHAE AUGUSTAE
totius Russiae Autocratoris



ELEMENTA CHIMIAE MATHEMATICAE 1741

PROLEGOMENA.

Титульный лист «Волфианской экспериментальной физики». 1746 год.

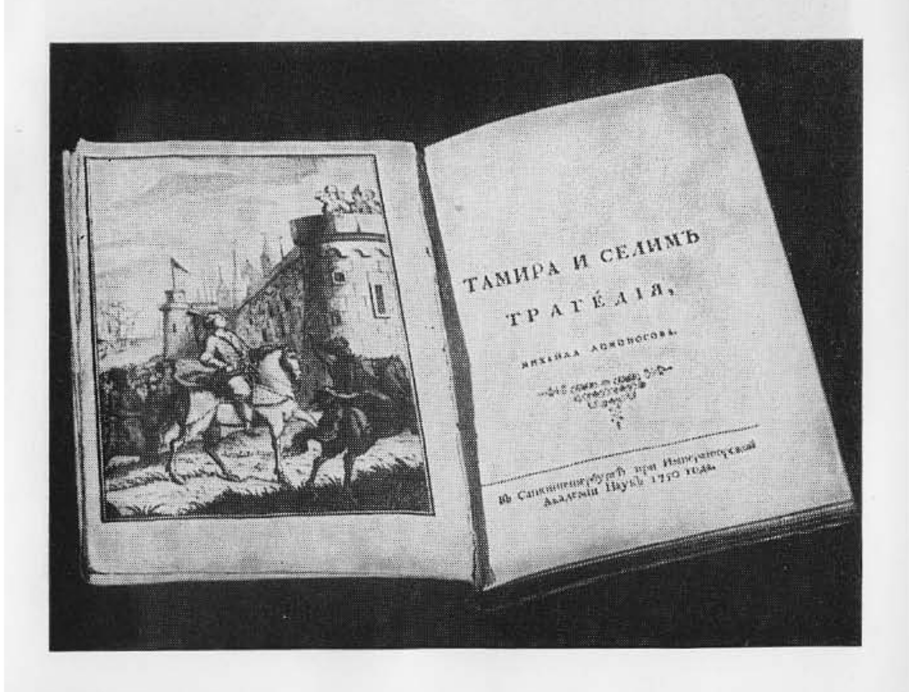
Письмо Ломоносова к Л. Эйлеру от 5 июля 1748 года. ▶

Титульный лист трагедии «Тамира и Селим». ▶

ВОЛФІАНСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА съ нѣмецкаго подлинника на латинскомъ языкѣ сокращенная, съ котораго на россійскій языкъ перевелъ Михайло Ломоносовъ Императорской Академіи Наукъ Членъ и Химіи Профессоръ. ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ при Императорской Академіи Наукъ 1746.

Титульный лист рукописи Ломоносова «Элементы математической химии». 1741 год.

corpus A impingat in corpus B, adeoque nec
ut versus idem moveatur necesse est; et cum
reliqui motus ejus secundum quamcunque dire-
ctionem aliam ad movendum corpus B nil
conferre possunt; sequitur ergo corpus A in ab-
soluta quiete positum movere posse corpus B.
Hoc autem movebitur versus corpus A. accedet igi-
tur illi novum aliquid, hoc est motus versus corpus
A, qui ante in eo non fuit. Omnes autem, quae in
rerum natura contingunt, mutationes ita sunt
comparatae, ut siquid alicui rei accedit, id alteri
derogetur. Sic quantum alicui corpori materiae
additur, tantundem decedit alteri, quot horas
somno impendo, totidem vigiliae detraho etc.
Quae naturae lex cum sit universalis, ideo etiam
ad regulas motus extenditur: corpus enim, quod
impulsione ad motum excitat aliud, tantum
de suo amittit, quantum alteri a se moto imper-
tit. Igitur vi hujus legis, motus, qui versus corpus A



Елизавета Петровна.
Мозаика Ломоносова.

В. К. Тредиаковский.

К. Г. Разумовский.

И. И. Шувалов.
Скульптор
Ф. И. Шубин.

Письмо Ломоносова к И. И. Шувалову об учреждении Московского университета. Июнь — июль 1754 года. ▶

Первое здание Московского университета у Воскресенских ворот Кремля. Рисунок 1781 года.

университетской Библіотеки; между тѣмъ иметь судной и дельной планъ государственныхъ учрежденій, послѣ чего разсматривать оной снова представляя и просить о прибавкѣ суммы.

2) Профессоровъ въ Московскомъ университетѣ меньше двенатцати быть не можно, въ трехъ факультетахъ.

Въ Юридическомъ три.

i. Профессоръ всей юриспруденціи вообще, который учить долженъ натуральныя и народныя права, также и узаконенія Римской древней и новой имперіи.

ii. Профессоръ юриспруденціи Россійской, который кромѣ вышеписанныхъ долженъ знать и преподавать внутреннія Государственныя дѣла.

iii. Профессоръ Политики, который долженъ показывать взаимныя поведенія, союзы и поступки Государствъ и Государей между собою, какъ были въ прошедшихъ вѣкахъ и какъ состоятъ въ нынѣшнее время.

Въ Медицинскомъ 3 же.

i. Докторъ и профессоръ Химіи.
ii. Докторъ и профессоръ натуральной Истори.и.
iii Докторъ и профессоръ Анатоміи.

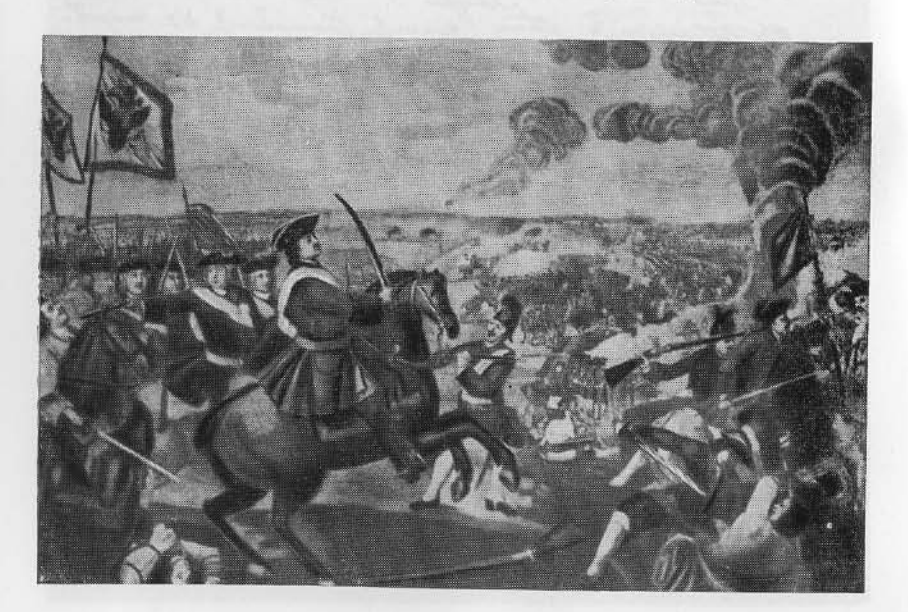
Въ философскомъ шесть.

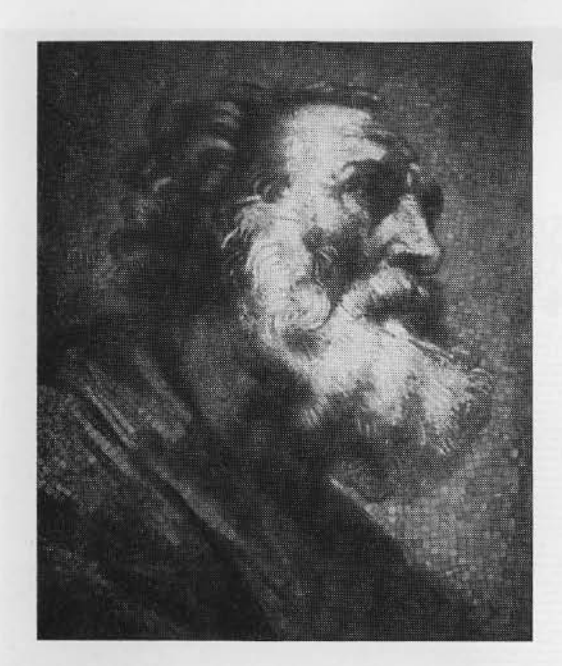
i. Профессоръ философіи.
ii. ——— физики.
iii. ——— Ораторіи.
IV ——— Поэзіи.
V ——— Исторіи.
VI ——— древностей и критики.

Петр I. Мозаика Ломоносова.

«Жалованная грамота», выданная Ломоносову на владение землями в Копорском уезде. 1756 год. Общий вид. ▶

«Полтавская баталия». Общий вид.





Святой апостол Петр.
Мозаика Ломоносова.

Александр Невский.
Мозаика Ломоносова.

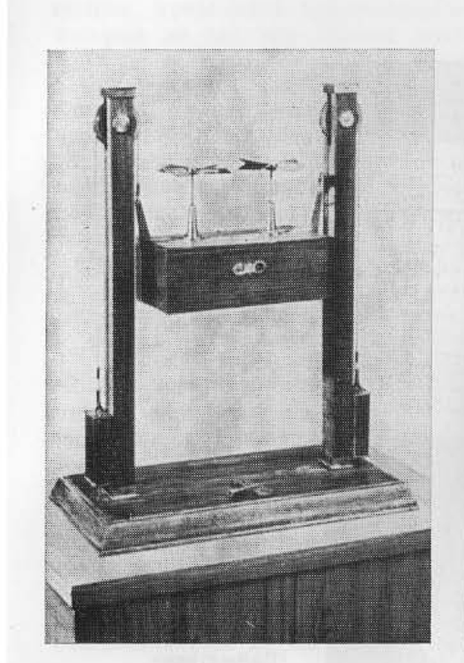
П. И. Шувалов.
Мозаика Ломоносова.

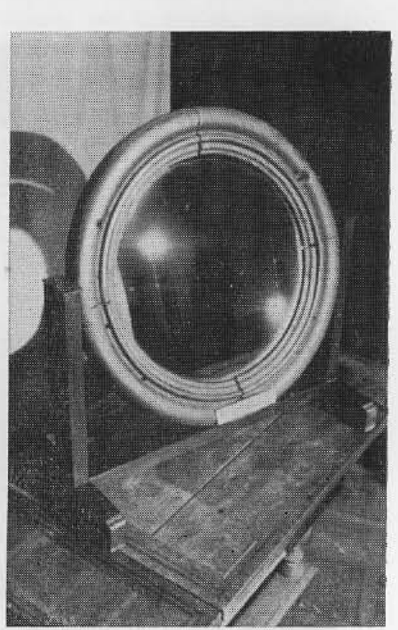
М. И. Воронцов.
Мозаика Ломоносова.

А. С. Строганов.

И. П. Елагин.

Приборы, изобретенные Ломоносовым.





СОБРАНІЕ
РАЗНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ
въ стихахъ и въ прозѣ
МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ 1757. года.

Титульный лист «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова», 1757 год.

Титульные листы «Краткого руководства к красноречию» и «Российской грамматики».

Настави, Господи, на путь
Святым твоим законом,
Чтоб враг не мог поколебнуть
Крепящегося в оном, —

и к самому себе: «бедствием не колеблись». Так, постепенно светлое настроение начала стихотворения («Господь, спаситель мне и свет: «Кого я убоюся?») и атмосфера уверенности («Хоть полк против меня восстань») сменяются ощущением непрочности одержанной победы, и финал стихотворения отмечен тревожными предчувствиями новых испытаний.

И действительно: в переложении 34-го псалма события разворачиваются так стремительно, что нравственная вселенная оказывается приведенной на грань катастрофы. Здесь все дано в предельном развитии.

Вероломная стихия зла заполняет собою все пространство этой вселенной. Ее натиску противостоит один лирический герой. Один — потому что пассивность мира добродетели тоже дана здесь в своем пределе: праведники ждут исхода, не вступая в борьбу. Он один — еще и потому, что высшая нравственная инстанция, Бог, являет собой предельную степень невмешательства в земные дела. В такой ситуации родовое качество лирического героя (его исключительность, избранность) может переживаться им только как полное, предельное одиночество в борьбе с силами зла. Нити, которые до сих пор прочно связывали его с Богом, рвутся одна за другой. Он жил мечтой о «поспешных следствиях», о «щедротах» и «добротах» Бога, а видит вокруг себя только зло. Он слепо верил в то, что «незлобивость» — этот краеугольный камень мира добродетели — является гарантией «благоденства». Теперь же он воочию убеждается, что «незлобивость» может быть и источником бед. И это прозрение смущает его дух:

Как брату своему я тщился,
Как ближним, так им угождать...
Они однако веселятся...
Смятенный дух во мне терзают,
Моим паденьем льстя себя.

Лирический герой видит, что из всех связующих нитей между небесами и им самим не оборвалась только одна: его собственная верность присяге «вышнему Творцу». И вот, трагическое, роковое сознание того, что лишь на ней и держится весь нравственный мир (включая Бога), дает ему моральное право вести разговор с небом на равных. Он знает, что сейчас только от него зависит, быть или не быть этому миру, — и потому, если и просит помощи у Бога, то как поборник, но не как раб его.

В лирическом герое «свершился акт сознания»: он наконец возжаждал не награды от Бога («вышней доброты»), но

«святой правды», «святой истины», которая есть уже сама по себе награда. Он понял, что Бог нечто иное, чем только «щедрота» или «гроза», понял, что моральные характеристики, хотя и применимы к его миру, однако сфера их действенности ограничена — они не объясняют всего.

Все последующие стихотворения показывают, как (сначала исподволь, а потом все более последовательно) в ломоносовский цикл проникает естественнонаучная тематика. Уже в переложении 70-го псалма налицо попытка осмыслить Бога по-новому («...ныне буди препрославлен Чрез *весь* тобой созданный свет»), отчетливо проявляется тенденция петь ему хвалу не за «щедроты» и «доброты», а за «правоту» его. Превосходство «святой истины» над «вышней щедротой», равно как и новое восприятие Бога (через весь его мир), указывает на то, что лирический герой нашел почву, на которой стало возможным восстановление единства мира. Границы универсума расширились: мир земной оказался лишь одной из его координат. Представления людей (как грешников, так и праведников) ограничены, ибо их мир существует только в двух измерениях: это мир на плоскости, в нем живут не люди, а силуэты людей, — он бессмыслен, *нереален. Сам же лирический герой существует на рубеже* мира этики и мира природы. Он причастен тайнам, которые недоступны другим. Он понял, что мир объемен, пространство открывшейся ему вселенной трехмерно. Новый мир неизбежно требует к себе нового отношения: вот почему меняется интонация стихотворений и существование зла в мире, продолжающийся натиск врагов, не воспринимаются теперь как мировая катастрофа:

Враги мои чудясь смеются,
Что я кругом объят бедой,
Однако мысли не мятутся,
Когда Господь — заступник мой.

Самое представление о Боге-заступнике ассоциируется теперь с представлением о Боге-союзнике (ср. в 3-й строфе этого же стихотворения: «Поборник мне и Бог мой буди...»).

В переложении 143-го псалма лирический герой уже с полным сознанием дистанции, отделяющей его от остальных людей, которые обречены на безвыходное вращение в кругу «тщетных помыслов», призывает на землю не щедроту Бога, а грозу:

Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.

Это требование «второго пришествия» показывает, что лирический герой окончательно уверовал в святую истинность своего дела. Обращаясь к Богу, он прямо требует: «Рассыпь врагов твоих пределы...»

Поэтому неудивительно, что интонация всего стихотворения — поразительно спокойная, несмотря на традиционно мрачную тему.

В переложении 145-го псалма сведена воедино вся нравственная проблематика «псаломской» части цикла. Композиционно это стихотворение соотносится с переложением 1-го псалма, и его можно было бы рассматривать как очередную вариацию на тему о том, что Бог всенепременно должен покарать грешников. Однако отличие здесь есть, и отличие принципиальное: в этом стихотворении лирический герой Ломоносова впервые обращается не к Богу, а к людям, обращается как носитель высшей правды, как посредник между Богом и людьми:

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть Князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.

Переложением 145-го псалма завершается «псаломская» часть цикла. Новой фазе в развитии героя соответствует «Ода, выбранная из Иова» и два «Размышления».

В «Оде, выбранной из Иова», обнажающей онтологические глубины бытия, именно его устами вещает Божество. Ему же принадлежит практическая сентенция финала, обращенная к «смертному»:

В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.

Человек, который только ропщет «в горести», не больше как простой смертный. Он необходимо и слепо должен подчиниться объективным следствиям своего собственного ограниченного представления о мире и его творце. Именно поэтому ропот его напрасен, бессмыслен, а удел его — терпение. Творец требует и ждет от человека другого:

Яви премудрость ты свою.

Вот почему в контексте всего цикла «Ода, выбранная из Иова» — как ни парадоксально такое заключение — ориентирует на активное отношение к действительности. Ибо здесь пафос не в борьбе зла и добра, грешников и праведников, а в борьбе тьмы и света, незнания и знания.

Став носителем высшей истины, недоступной простым смертным, лирический герой не противопоставляет себя им, и тема вражды в каком бы то ни было виде здесь отсутствует. И хотя он по-прежнему одинок, в его одиночестве уже нет слепого отчаяния и безысходности — необходимость этого одиночества вполне осознана им. Он понимает, что он выше простых смертных, но в нем живет жгучая потребность поделиться с ними тем многим, что есть у него: он как бы

приглашает их с собой в путешествие по бескрайним просторам знания, открывшегося ему («Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь...» и т. д.). Обремененный тайнами, которые ему открыла в природе ее высшая зиждущая сила (Творец), осужденный жить среди людей, не понимающих его, — он ждет и в принципе не теряет надежды, что будет понят. Больше того: он на это рассчитывает и потому ставит перед смертными вопросы, вопросы, вопросы («Вечернее размышление...»)... Процесс его становления закончился — он вышел со словом истины к людям.

В полном соответствии с поэтической «онтологией» духовных од развивается и имманентная им этическая концепция. В основе ее лежит идея духовной свободы человека, вернее — его духовного освобождения. Сначала мир человеческих отношений дан в антиномичном противостоянии двух линий — добра и зла («грешных» и «праведных»). Недифференцированность этих понятий обрекает лирического героя на безвыходность в решении мировой дилеммы: добро или зло? Он всецело на стороне праведников, но присущая ему потребность в свободном нравственном суждении не позволяет ему деспотически проводить свою точку зрения, решить проблему *в одностороннем порядке. Возникает новое отношение к добру и злу*: пассивная добродетель, наравне с пороком, уже не удовлетворяет лирического героя. Конечный вывод, к которому приходит он, — это мысль о том, что освобождение человека происходит лишь в деятельном познании мировых закономерностей. В противном случае даже самый добродетельный человек — не более как слабый «смертный».

Второй раздел первой книги собрания сочинений, как уже говорилось, состоял из торжественных и похвальных од. Торжественные были посвящены знаменательным дням из жизни Елизаветы (восшествия на престол, рождения), похвальные — знаменательным дням из жизни великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны. О некоторых из этих од разговор уже шел в своем месте (ода 1742 года Елизавете, оды 1742-го и 1743 года Петру Федоровичу, «хотинская» ода). Но до сих пор мы имели с ними дело как с отдельными произведениями, по мере их написания. Теперь же, собранные вместе, дополненные одами 1746—1751 годов и помещенные вслед за «Одами духовными», они неизбежно предстают перед нами в новом качестве.

Теперь это уже не просто и не только стихотворения на случай. Теперь это грандиозная программа просветительских преобразований, принадлежащая поэту, чей дух прошел через горнило сомнений, даже отчаяния, и закалился, укрепив в себе веру в существование непреложного универсального закона, постижение которого, он это знает, является родовой задачей человечества. Только в свете этого закона

становится ясным то место, которое занимает поэт в человеческом мире, изображенном на страницах торжественных и похвальных од. Мир этот — весь в противоборстве людей с темными силами природы, правды с ложью, добра со злом, человеколюбия с человеконенавистничеством. Поэт обращается к миру, говоря словами Д. В. Веневитинова,

С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.

Все это необходимо учитывать, вникая в идейное содержание и гражданский пафос второй части. Уже само название жанра (торжественные и похвальные оды) заставляет задуматься над спецификой ломоносовской гражданственности. Ломоносов как поэт-гражданин занимает особое место в русской поэзии. Мы приучены традицией к тому, что гражданственность начинается с обличения социальных и нравственных пороков, что страстное отрицание зла составляет самую суть ее. Однако Ломоносов не писал (в отличие от Кантемира или, скажем, Сумарокова) сатир. У него вместилищем гражданственности стала именно похвальная ода.

Созидание — благо, разрушение — зло. Такова общая мировоззренческая установка Ломоносова. Он менее всего был склонен отрицать нечто в окружающей действительности с позиции своего идеала: он самый идеал стремился утвердить. Это и только это должно было стать действительным, плодотворным отрицанием существующего в обществе зла. Одно лишь обличение социальных противоречий, одно лишь остроумное осмеяние порока не могло удовлетворить Ломоносова. Ему необходимо было положительное претворение в жизнь его грандиозных замыслов. Могут возразить, что ведь можно же и средствами сатиры, и через остроумное осмеяние, — так сказать, методом от противного — утверждать идеал. Однако ж такое утверждение идеала страдало в глазах Ломоносова одним существенным недостатком: оно убедительно и впечатляюще показывало, как не надо жить, и не давало ясного понятия о том, как жить — надо. Ленин писал в «Философских тетрадях»: «Остроумие схватывает противоречие, высказывает его, приводит вещи в отношения друг к другу, заставляет «понятие светиться через противоречие», но не выражает понятия вещей и их отношений» [1].

Ломоносов, конечно же, не отвергал сатиру (достаточно вспомнить убийственно саркастический «Гимн бороде», высмеивающий церковников, где он дал исключительный по силе воздействия на общество образец истинно сатирической поэзии). Просто в его гражданской позиции пафос утверждения преобладал над пафосом отрицания. Дело в том, что

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 28, с. 129.

социальный идеал его был в высшей степени демократичен и учитывал интересы не только привилегированных сословий, но и народных низов. Сумароков, например, исходил из того, что просвещать следует, прежде всего, истинных «сынов отечества», то есть дворян, а уж они, просветившись и поставив превыше всего общегосударственную пользу, сами позаботятся о других сословиях. Ломоносов в принципе отвергал подобный подход, в котором все строилось на признании общественной и культурной неполноценности «подлого» народа. Просвещение всего народа, об исключительной важности которого не уставал твердить Ломоносов, было настолько грандиозной и актуальной задачей, что он попросту не мог позволить себе роскошь решать ее «способом от противного». Необходимо было скорейшее претворение идей в жизнь.

Не исключено, что в прохладном отношении Ломоносова к сатирическому освоению действительности сказалось и его «мужицкое» происхождение (над которым, кстати, постоянно иронизировал тот же Сумароков). В народной среде, конечно же, любили и веселую шутку, и злое словцо. Но — на досуге. Когда идет работа, когда дело делается, «шутнику» (если он вздумает в это время отвлечь всех язвительными частушками и прибаутками) может сильно не поздоровиться.

Почти все русские поэты XVIII века считали свое творчество не только фактом собственной духовной биографии, но и делом государственной важности. Того требовало время. Тредиаковский, к примеру, из последних сил старался доказать, что все его творчество насущно необходимо России. А это не всегда соответствовало действительности. Россия, например, не нуждалась в той прокрустовой системе правописания («ортографии»), которую он предлагал ввести. Однако ж Тредиаковский ни на минуту не мог допустить мысли о ее общественной бесполезности и самый отказ следовать ей воспринимал едва ли не как досадный просчет во внутренней политике России. Также и Сумароков каждую свою оду рассматривал не больше не меньше как очередной законопроект, выносимый дворянством на утверждение государыни, а сатиру или басню как судебный вердикт, наказывающий носителей тех или иных пороков (то есть людей, ведущих себя антиобщественно). Отсюда — его борьба на грани исступления за то, чтобы общество жило в соответствии с его, Сумарокова, указаниями. Вот почему для его сатирической поэзии было смерти подобно нежелание порочного общества менять свои привычки, и он (как человек государственный) готов был даже отказаться от нее, лишь бы только порок понес достойное наказание. И вот в тот самый момент, когда катастрофический разрыв между мечтою и реальностью становится для него очевидным (то есть когда выяснялось, что его сатира утрачивает свои права над

реальностью), мучительное переживание этого разрыва исторгало из его сердца поистине потрясающие стихи:

Грабители кричат: бранит он нас!
Грабители, не трогаю я вас;
Не в злобе — в ревности к отечеству дух стонет;
А вас и Ювенал сатирою не тронет.
Тому, кто вор,
Какой стихи укор?
Ворам сатира то: веревка и топор.

Эти строки (предвосхищающие пушкинские «Бичи, темницы, топоры») интересны тем, что Сумароков здесь свое «понятие вещей и их отношений» высказывает не косвенно, не «от противного», а прямо, положительно. Общественно полезная рекомендация исходит в данном случае уже не от сатирического, а от лирического поэта. (В связи с этим интересно напомнить, что почти все крупные русские сатирики XVIII века — Кантемир, Сумароков, Фонвизин — пережили в конце своего творческого пути тяжелейший духовный кризис, не в последнюю очередь связанный именно с односторонностью сатиры как средства художественного освоения действительности и воздействия на нее.)

Вот почему выдающейся заслугой Ломоносова следует признать то, что именно он сделал лирику (и оду как главный лирический жанр) полномочной представительницей гражданственного начала, которое в поэзии XVIII века было неотделимо от начала государственного. Здесь так же, как и во всем, проявилась исключительная самостоятельность Ломоносова-поэта.

В западноевропейской поэзии XVII—XVIII веков ода занимала довольно скромное место. Гораздо более общественно ценным жанром считалась сатира (так писал сам Никола Буало в «Поэтическом искусстве»!). В России автором сатир стал Кантемир, старательно следовавший в своем творчестве теоретическим заветам Буало и его поэтической практике. Однако, будучи человеком выдающегося ума и яркой индивидуальности, Кантемир умел придать своим сатирам самобытный характер. Он выступал в них не только как гневный публицист, обличающий невежество и мракобесие, но и как знаток общественных нравов, незаурядный педагог, тонкий художник-психолог, «искусный живописец людей порочных» (Жуковский). И все-таки сатира не стала в России тем, чем она была во Франции. Причин было несколько. Тут надо иметь в виду и то, что Кантемир даже после реформы Ломоносова — Тредиаковского упорно писал свои произведения силлабическим стихом, и то, что дипломатическая служба увела его за пределы России, а следовательно, он был оторван от литературной и общественной жизни страны, и то, что сатиры его при жизни не были опубликованы, а распространялись в списках. Но главною причиной была русская

действительность, которая властно требовала от поэтов не одной лишь дискредитации отрицательных сторон жизни, но и утверждения новых идеалов на расчищенном уже пространстве. «Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым», — совершенно точно замечено у Пушкина.

Первую в России оду в полном соответствии с западноевропейскими образцами написал Тредиаковский (и здесь упредивший Ломоносова, но не победивший его). Вышла она отдельной книжкой в 1734 году и называлась «Ода торжественная о сдаче города Гданска». В ней Тредиаковский в качестве объекта для подражания выбрал оду Буало на взятие Намюра, канонизированную в Западной Европе как непогрешимый образец хвалебного жанра. Вот что писал Василий Кириллович по этому поводу: «Признаюсь необыкновенно, сия самая ода подала мне весь план к сочинению моея о сдаче города Гданеза; а много я в той взял и изображений, — да и не весьма тщался, чтоб мою так отличить, дабы никто не знал: я еще ставлю себе в некоторый род чести, что возмог несколько уподобиться в моей столь громкому и великолепному произведению... Что ж до моея, коль я ни тщался, однако, ведая мое бессилие, не уповаю, чтоб она столько ж сильно была сочинена, сколько Боалова, которой моя есть подражание. Довольно с меня и того, что я несколько возмог оной последовать».

При таком подходе наши поэты вряд ли когда-нибудь решили бы задачу создания новой лирической формы, в которой можно было бы отлить положительные идеалы новой русской жизни. Необходима была самобытная практическая разработка этой проблемы, что и сделал Ломоносов.

Не менее Тредиаковского начитанный в западноевропейской поэзии, Ломоносов не пошел по пути рабского подражания: он привлек к рассмотрению и отечественную традицию хвалебной, так называемой «панегирической», поэзии XVII (Симеон Полоцкий) и XVIII веков (Феофан Прокопович). Но гораздо важнее было то, что Ломоносов во главу угла поставил не умозрительные рассуждения (в чем и кому подражать, что и у кого заимствовать, что «привнести» от себя и т. п.), а ту сумму новых идей, творцом и выразителем которых он по праву себя считал. Именно это новое содержание, которое нес Ломоносов, само нашло свою форму, а встречающиеся в ломоносовских одах переклички с одами французскими и немецкими, с русскими панегириками отразились уже задним числом.

Итак, в собрании сочинений 1751 года торжественные и похвальные оды Ломоносова впервые были сведены им воедино. Вначале шли оды, посвященные Елизавете (1742, две 1746, 1747, 1748, 1751 гг.), затем оды, обращенные к Петру Федоровичу (1742, 1743), ода на бракосочетание его с Екатериной Алексеевной (1745), и завершалась вторая часть «Одой на взятие Хотина» (1739). Конечно, такое расположение было продиктовано соображениями придворного этикета, а не поэтической композиции. И все-таки удивительно: как удачно внешняя логика совпала здесь с логикой внутренней! Ведь вся эта часть собрания сочинений оказывается как бы объятой двумя программными произведениями Ломоносова — одой к Елизавете 1742 года и «хотинской» одой, о которых было уже достаточно говорено выше. В сущности, здесь все идейное и гражданское содержание, весь художественный мир этой части вращается вокруг оси, проходящей между этими двумя полюсами.

Образ огромной страны заполняет собою все поэтическое пространство торжественных и похвальных од. Россия у Ломоносова

> В полях, исполненных плодами,
> Где Волга, Днепр, Нева и Дон,
> Своими чистыми струями
> Шумя, стадам наводят сон,
> Седит и ноги простирает
> На степь, где Хину (то есть Китай. — *Е. Л.)* отделяет
> Пространная стена от нас;
> Веселый взор свой обращает
> И вкруг довольства исчисляет,
> Возлегши локтем на Кавказ.

Это страна нетронутых девственных лесов, неиспользованных природных ископаемых, полная всевозможных богатств:

> Коль многи смертным неизвестны
> Творит натура чудеса,
> Где густостью животным тесны
> Стоят глубокие леса,
> Где в роскоши прохладных теней
> На пастве скачущих еленей
> Ловящих крик не разгонял;
> Охотник где не метил луком;
> Секирным земледелец стуком
> Поющих птиц не устрашал.

Она в буквальном смысле слова изнемогает по сильным, умным, энергичным хозяевам, по мудрым, многознающим ученым, которые открыли бы «неизвестны чудеса» «натуры» и поставили бы их на службу простым смертным:

> О вы, которых ожидает
> Отечество от недр своих
> И видеть таковых желает,
> Каких зовет от стран чужих,
> О ваши дни благословенны!
> Дерзайте ныне ободренны
> Раченьем вашим показать,
> Что может собственных Платонов
> И быстрых разумом Невтонов
> Российская земля рождать.

Ломоносов ставит практические задачи перед каждой отдельной наукой. Он не может замкнуться в кругу абстрактных призывов к просвещению. Механика, геология, химия, география, метеорология — все эти области знания должны принести конкретную пользу России.

...О вы, счастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.

Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

Интересна поэтическая символика этого огромного «росского» мира, созданного гением Ломоносова. Здесь противоборствуют две мощные силы, равно распространяющиеся на природу и «человеческие обращения». В сущности, это два сквозных символа не только торжественных и похвальных од Ломоносова, но и всей его поэзии. Причем они не были плодом умозрения, а вырастали, что называется, из самой жизни. Чтобы вполне уяснить важность этих символов для поэтической философии Ломоносова, а также закономерность их появления, обратимся к некоторым фактам из истории Петербурга. Кроме того, этот экскурс, возможно, развеет все еще бытующее среди ученых и читателей убеждение, что поэзия XVIII века была насквозь абстрактна и не имела ничего общего с реальной действительностью.

Молодая столица почти с самого своего основания оказалась во власти стихий, и жизнь ее населения не раз подвергалась серьезной опасности. В 1706 году Петр писал А. Д. Меншикову из Петербурга: «Третьяго дня ветром вестзюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм и по городу и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках. Однако ж не долго держалась: менее трех часов. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели — не точию мужики, но и бабы».

Наводнения случались в Петербурге постоянно. Нева сносила мосты, размывала береговые укрепления. После описанного Петром I случая Нева выходила из берегов в 1713-м, 1715-м, 1720-м, 1721-м, 1725-м, 1726-м, 1729-м и 1732 годах. 10 сентября 1736 года, когда Ломоносов, Виноградов и Райзер должны были отплыть из Кронштадта в Германию, Нева снова затопила весь Петербург.

По возвращении из-за границы Ломоносов сам не раз был свидетелем больших петербургских наводнений. В 1744 году

пресловутый юго-западный ветер дважды (17 августа и 9 сентября) нагонял наводнения. 22 октября 1752 года вода в Неве поднялась почти на полторы сажени, и весь город (за исключением той части, которая прилегала к Невскому монастырю) вновь был «по пояс в воду погружен», причем на этот раз вода держалась в течение 6 суток, и затопление сопровождалось жесточайшим штормом. При жизни Ломоносова Петербург еще четырежды страдал от наводнений: в 1755-м, 1756-м, 1762-м и 1764 годах.

Бессмысленное, безумное свирепство водной стихии, наводившее на людей ужас, делавшее их существование непрочным, не могло не дать Ломоносову обильную пищу для размышлений: бунтующая вода представлялась ему аналогом всего буйного, не контролируемого, не подвластного разуму, всего темного и разрушительного в человеке.

Но не только частые наводнения, эти роковые приступы бешенства балтийской и невской воды, привлекали к себе внимание Ломоносова. Начальная история Петербурга знает несколько примеров ужасных пожаров, последствия которых были тем тяжелее, что на первых порах строения в столице были по преимуществу деревянными. Однако в отличие от наводнений пожары в большинстве своем происходили не «от органических причин», а вследствие злого человеческого умысла. Так, в 1710 году в Петербурге за одну только ночь дотла сгорел Гостиный двор, подожженный грабителями (11 человек были арестованы, четверо из них — повешены). 1 августа 1727 года сгорели все магазины вдоль невских берегов и множество смежных с ними домов, а также 32 баржи (с грузом на 3 миллиона рублей); при этом погибло около 500 человек, и вновь повинными в бедствии оказались злоумышленники. 11 августа 1736 года загорелся дом персидского посла, а от него вскоре вспыхнули все дома по берегу Мойки. Страшный пожар вновь обратил в пепел весь район Мойки 24 июня 1743 года. В том же году большие пожары были и в других частях города, и опять им предшествовали поджоги. В 1748 году пожары вновь участились (и вновь были найдены поджигатели). Бушевало пламя на петербургских улицах и в 1761 году, и в 1763 году...

Идея борьбы гуманного и антигуманного, патриотического и антипатриотического начал, воплощенная в торжественных и похвальных одах в теме «брани» огня и воды, составляет символическую подоснову ломоносовской гражданственности.

Так, многолетнее господство иностранцев при дворе, направленное на подавление всего русского, это противоестественное, уму не постижимое господство, поселявшее страх в «искренних сердцах» «россиян верных», изображалось Ломоносовым как стихийное бедствие великого государства:

Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,

Земля стенала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром,
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнить хребты гор с влажным дном.

Воцарение Елизаветы, положившее конец «оному ужасу», вселило уверенность и бодрость духа в русские сердца. Теперь по отношению к враждебным России силам (опять-таки ассоциирующимся с водной стихией) патриоты настроены на активную, более того — отрадную борьбу. Сознание, что теперь эти силы в принципе могут быть подчинены России, наполняет сердце поэта радостью и благодарностью «виновнице» счастливых перемен — Елизавете:

Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

Что же касается самого образа России и ее монархини, которая выступает в одах Ломоносова последовательной защитницей патриотических интересов, то здесь мы находим поистине ослепительный ряд метафор, построенных на ассоциациях с огнем, светом, сиянием, блеском и т. п. Обращаясь к Елизавете, Ломоносов пишет:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

Блеснула на российском троне
Яснее дня Елисавет...
Российско Солнце на восходе
В сей обще вожделенный день
Прогнало в ревностном народе
И ночи и печали тень.

Божественно лице сияет
Ко мне и сердце озаряет
Блистающим лучем щедрот!.. и т. д.

Пристрастие Ломоносова к образам огня и солнца заставляет вспомнить русские фольклорные традиции. Народ в своих песнях, былинах, сказках, поверьях отводил солнцу (небесному огню) исключительное место. Причем в народном творчестве дневное светило, как правило, является не только подателем жизни и всевозможных земных благ, но и «карателем всякого зла, то есть по первоначальному воззрению — карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла — неправды и нечестия» [1]. Аналогичное отношение к огненному началу мира встречаем и у Ломоносова. Россия в оде 1748 года говорит:

Се нашею, — рекла, — рукою
Лежит поверженный Азов;
Рушитель нашего покою
Огнем казнен среди валов.

Мысль о том, что огонь — всегда союзник справедливого начала, особенно драматически и впечатляюще выражается Ломоносовым в тех случаях, когда по роковому стечению обстоятельств огонь оказывается в руках неправедных людей, нравственно не достойных обладания им. Так, в оде 1742 года на прибытие Елизаветы в Петербург после коронации, описывая русско-шведскую войну, для характеристики шведов («готфов»), вероломно нарушивших мир, он использует древнегреческий миф о самонадеянном юноше Фаэтоне, который мнил себя достаточно сильным, чтобы править огненной колесницей отца своего Гелиоса, но в результате не смог удержать коней в повиновении и так низко спустился к земле, что едва не спалил ее дотла:

Но что страны вечерни тмятся
И дождь кровавых каплей льют?
Что Финских рек струи дымятся
И долы с влагой пламень пьют?
Там, видя выше горизонта
Всходяща Готфска Фаэтонта
Против течения небес
И вкруг себя горящий лес,
Тюмень в брегах своих мутится
И воды скрыть под землю тщится.

Трагично, когда чистый факел справедливости, попав в руки злоумышленников, грозит уничтожить достижения человеческого разума. Во время пожара 1747 года, начавшегося от руки злоумышленников, загорелось здание Академии наук, и часть академической библиотеки была уничтожена. В оде 1748 года Ломоносов писал:

Годину ту воспоминая,
Среди утех мятется ум!
Еще крутится мгла густая,
Еще наносит страшный шум!
Там буря искры завивает,
И алчный пламень пожирает
Минервин с громким треском храм!

[1] Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу, т. 1. М., 1865, с. 68.

Как медь в горниле, небо рдится!
Богатство разума стремится
На низ к трепещущим ногам!

Идея просвещения, необходимости выработать непоколебимые нравственные и социально-политические критерии, которые позволили бы русскому государству вполне развить свои духовные и материальные ресурсы и привести в конечном счете к общественному благоденствию, становится главной идеей гражданской поэзии Ломоносова: огнем должны владеть честные и разумные люди и использовать его надо в гуманных целях, а не на удовлетворение слепых прихотей. Польза России выдвигается на первый план.

Для претворения в жизнь грандиозных планов, выдвинутых Ломоносовым, был необходим — и он прекрасно понимал это — прочный мир. Вот почему трудно найти у Ломоносова оду, где он не прославлял бы «любезную», «возлюбленную тишину». Один из любимейших поэтических образов его — это образ радуги, которую, по библейскому преданию, Бог воздвиг на небе в знак окончания всемирного потопа. Не исключено, что Ломоносов влагал в этот образ и свой особый смысл: ведь преломление солнечного света в водяных парах после грозы или бури означало для него гармоническое примирение извечных противников в его поэтическом мире — огня и воды. Светлая и радостная страна, насквозь пронизанная солнцем, — страна, в которой совершаются только мирные подвиги, — вот о какой России мечтал Ломоносов:

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Но, кроме «покоя» и «возлюбленной тишины», по глубокому убеждению Ломоносова, нужен был еще достаточно мудрый и энергичный государь. Здесь Ломоносов выступал вполне на уровне социально-политических воззрений своего века. Однако в его концепции «просвещенного монарха» было и нечто свое, продиктованное не только размышлениями над нравственно-философскими трактатами ученых мужей, в которых излагались различные теории просвещенного абсолютизма, но и его поморским происхождением, и его глубокой связью с народными представлениями о «добром» царе. Как помор Ломоносов мечтал не только о государе-философе или государе-праведнике, но и о государе-хозяине, крепком, рачительном, работящем, властном.

Он выдал авансом много похвал разным монархам, но никто из них и близко не подходил к его идеалу просвещенного государя — Петру Великому.

Впервые появившись в «Оде на взятие Хотина», образ Петра присутствует во всех без исключения торжественных и похвальных одах Ломоносова (как до, так и после 1751 года). Присутствует как напоминание, как образец для подражания, как идеальное совмещение в одной личности индивидуального и общественного. В оде 1743 года, обращенной к мрачно знаменитому тезке гениального царя-просветителя, Ломоносов так формулирует свое отношение к Петру Великому:

Он Бог, он Бог твой был, Россия...

Черты его грозного облика проступают даже в «Одах духовных»:

Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.

Вот почему третий раздел собрания сочинений 1751 года так закономерно (и с точки зрения этикета, и с точки зрения идейного содержания) открывается пятью стихотворными надписями, посвященными Петру I. Вкупе с упоминаниями Петра в торжественных и похвальных одах эти произведения представляют собою, по сути дела, стихотворный конспект будущих программных обращений Ломоносова к образу царя-просветителя — «Слова похвального Петру Великому» (1755) и поэмы «Петр Великий» (1756—1761).

Если в торжественных и похвальных одах Петр выступал как русский бог во плоти, бог-творец нового мира, то в надписях он предстает в человечески конкретной ипостаси: как бог-отец, пекущийся о своих созданиях, непосредственно воздействующий на судьбы своих детей:

Се образ изваян премудрого Героя, —
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к Скипетру простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда Он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;
И, словом, се есть Петр, отечества Отец.
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть Ему обязанных сердец.

. Впрочем, как уже было говорено в своем месте, мера идей и оценок, содержащихся во всей книге, дана в ее первом разделе — «Одах духовных». Этот цикл насквозь пронизывает своим светом все идейное содержание первого собрания сочинений Ломоносова и, конечно же, досягает до третьего раздела — «Надписи». И апологетика Петра I, и государственный восторг, выражаемый в надписях на маскарады и «иллуминации» в честь Елизаветы, — все это дóлжно воспринимать с поправкой на то, что было сказано о людской власти вообще в «Одах духовных»:

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть Князей земных;
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.

В целом собрание сочинений Ломоносова 1751 года стало первым опытом создания книги стихотворений, морально-политический пафос которой характеризуется противоборством добра и зла, света и тьмы как в душе отдельного человека, так и в культурно-общественной сфере. В этой книге впервые в русской поэзии в общих чертах сформировался образ поэта-пророка, точнее, глашатая высоких истин, долженствующих переделать человека на разумных основаниях, сотворить мир новых культурных (духовных и материальных) ценностей.

Период 1741—1751 годов и в жизни самого Ломоносова был отмечен напряженным и плодотворным противоборством как внутренним, так и внешним. В науке это было противоборство с устоявшимися предрассудками. Закончилось оно ослепительной победой — открытием «всеобщего закона природы». В сфере языка — созданием «Риторики», книги, определившей общие закономерности нашего мышления, «пристойного» выражения мыслей и чувств, организации нашего словаря и синтаксиса. В поэзии — выходом первой книги собрания сочинений, в которой поэтически непосредственно отразилось все, что волновало на протяжении целого десятилетия «сию душу, исполненную страстей», как писал о Ломоносове Пушкин.

Наконец, и в служебно-организационной сфере, преодолев в себе стихию анархического протеста, он выходит победителем: становится сначала адъюнктом, а потом профессором, добивается учреждения Химической лаборатории. Кроме того, 4 марта 1751 года Академическая канцелярия получила из Сената указ о «пожаловании» Ломоносова в коллежские советники с жалованьем 1200 рублей в год. Это означало, что Ломоносов стал дворянином, — событие исключительной важности для сына черносошного крестьянина. Ведь академические должности и звания не давали никаких сословных

привилегий. Теперь свое личное достоинство честолюбивый Ломоносов мог охранять, опираясь на поддержку закона.

Таким образом, во всех отношениях десятилетие 1741—1751 годов завершалось удачно для Ломоносова. Были заложены основы главных направлений научной и поэтической деятельности, а также будущих государственных начинаний Ломоносова (чин коллежского советника и с этой точки зрения был как нельзя более кстати).

Место под фундамент было расчищено. Фундамент был заложен. Предстояло возводить само здание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«ЕДИНОДУШНЫЙ ЛЕГИОН ДОВОДОВ»

1751—1761

ГЛАВА I

Я выпросил ему деревушку в 40 душ за Ораниенбаумом, но как засел он там, так и пропал...

И. И. Шувалов

1

По сравнению с Анной Иоанновной и Екатериной II Елизавете Петровне везло на фаворитов в том смысле, что они были равнодушны к политике. В отличие от герцога Курляндского Эрнеста-Иоганна Бирона или светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического граф Алексей Григорьевич Разумовский не был властолюбив: обвенчавшись с императрицей, он окружил себя певчими и рожечниками и вел жизнь пристойную, по придворным понятиям, даже скромную (князь М. М. Щербатов, как мы помним, был очень мягок в характеристике А. Г. Разумовского). Младший брат фаворита, Кирила Григорьевич, хоть и получил президентское кресло в Академии и гетманскую булаву, тоже не ознаменовал свою деятельность сколько-нибудь значительным политическим поступком (о чем с добродушной иронией говорится в упоминавшихся выше «Записках» княгини Е. Р. Дашковой).

Новый фаворит Елизаветы — Иван Иванович Шувалов (1727—1797) — к политике тоже не стремился. За него это делала его родня.

Фамилия Шуваловых принадлежала к мелкому костромскому дворянству. Вряд ли они заняли бы то выдающееся положение в России середины XVIII века, если бы не женитьба Петра Ивановича Шувалова (двоюродного брата ломоносовского покровителя) на Мавре Егоровне Шепелевой — женщине сварливой, злобной и уродливой, которая вдобавок была старше его. Удачным же этот брак считался

потому, что Мавра Егоровна была статс-дамою, весьма близкой к императрице (Елизавета, боявшаяся заговорщиков, окружила себя многочисленным женским штатом, в обязанности которого входило развлекать ее во время бессонницы). Будучи при всех своих недостатках женщиной неглупой, Мавра Егоровна имела довольно сильное и устойчивое влияние на императрицу в вопросах житейских. Муж ее быстро выдвинулся в число самых крупных деятелей при дворе. Чтобы укрепить свое положение, Петр Шувалов решил использовать молодость и красоту Ивана. Мавра Егоровна не преминула обратить внимание сорокалетней Елизаветы на двадцатидвухлетнего юношу. Через три месяца (в октябре 1749 года) И. И. Шувалов был уже произведен в камергеры. «Попал в случай», как тогда говорили.

Его увлекали науки, поэзия, художества и вообще все изящное. Да и сам он был изящен. Женщины из придворного круга украшали своих собачек ленточками светлых тонов, так любимых им. Фридрих II говорил о нем: «Помпадур мужского рода». В такой оценке доля правды перемешана с долею пристрастия. Не закрывая глаза на его истинное положение при дворе, должно отметить, что «кавалер и камергер» видел смысл своего существования не в одних удовольствиях роскоши. Он не был чужд и удовольствий ума.

Здесь-то как раз и пролегает психологическая граница, которая одновременно смежает и разделяет Шувалова и Ломоносова. Меценат много читал (Екатерина II говорила впоследствии, что всегда его видела с книгой в руках). Он брал уроки стихосложения у Ломоносова, наблюдал его научные опыты. Он подолгу жил за границей, особенно любил Италию. Он переписывался с Вольтером. И во всем этом находил удовольствие. Для Ломоносова же наука, поэзия, искусство были делом и условием всей его жизни.

Есть большой искус представить отношения Ломоносова с покровителем таким образом, что ученый-де находился «под пятою вельможи». Это было бы глубоко неверно. Сословную дистанцию между ними, безусловно, надо учитывать. Но Ломоносов был старше Шувалова на шестнадцать лет, стоял неизмеримо выше в культурном отношении и, конечно же, оказывал на молодого фаворита Елизаветы, тянувшегося к наукам и искусствам, весьма сильное и — о чем обычно забывают — благотворное влияние. Ведь только благодаря Ломоносову любовник императрицы, не занимавший никакого официального государственного поста, превратился фактически в министра просвещения тогдашней России. Ломоносов пробудил в Шувалове, насколько возможно, гражданское чувство. Все многочисленные письма Ломоносова к нему буквально пересыпаны настойчивыми напоминаниями о благе России, о необходимости постоянно служить этой великой цели, использовать любую возможность для «приращения наук» и т. д.

Все это были послания наставника к ученику. Причем к ученику не безнадежному. Ведь Шувалов откликнулся на многое из того, чему его учил Ломоносов, дал ход его начинаниям, поддержал его в борьбе с Шумахером и другими «неприятельми наук российских». Нельзя забывать и о том, что Шувалов мог вообще не помогать Ломоносову в этих предприятиях. И если Ломоносов сумел пробудить в Шувалове стремление ко всему, что выходило за круг его личных интересов, значит, что-то такое «дремало» и в самом вельможе.

Их личные отношения определялись еще и тем, что Шувалов был баловнем судьбы, а Ломоносов ее избранником. Баловень мог многое себе позволить: например, быть запросто с избранником. Сохранился рассказ племянницы Ломоносова о частых посещениях Шуваловым ломоносовского дома на Мойке: «Дай бог царство небесное этому доброму боярину!.. Мы так привыкли к его звездам и лентам, к его раззолоченной карете и шестерке вороных, что, бывало, и не боимся, как подъедет он к крыльцу, и только укажешь ему, где сидит Михайло Васильевич, — а гайдуков своих оставлял он у приворотни».

Избранник не имел права (причем не социального, но именно морального права) отвечать баловню в том же роде. Подчеркнем: тот факт, что Ломоносов, со своей стороны, сохранял дистанцию в отношениях с Шуваловым, обусловлен не «мужицким» происхождением его. Во-первых, в нем было высоко развито понятие о чести и достоинстве, а во-вторых, интересы России, живым воплощением которых он выступал, в равной мере не позволяли ему ударяться в амикошонство. Со стороны Ломоносова слишком много было поставлено на карту: судьбы русской словесности, науки, народного образования.

Но если баловень заходил в своей вседозволенности слишком далеко, если он, «как бы резвяся и играя» в своей досужей веселости, ставил под угрозу личное достоинство и святые понятия, орудием которых выступал избранник, — последний разговаривал с баловнем (нет, не на равных!) с той высоты, на которую подняла его судьба. Пушкин верно заметил: «Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей».

Начало знакомства Ломоносова с Шуваловым относится к 1750 году. Уже в августе этого года 39-летний Ломоносов пишет дружеское стихотворное послание своему 23-летнему меценату, исполненное почтительной простоты, умеренной непосредственности и непринужденности, какого-то характерного изящества даже. Читая это послание, нельзя забывать, что оно первое в своем роде, что именно с него начинается богатейшая традиция этого жанра в русской поэзии, долженствующая получить свое высшее воплощение в творчестве Пушкина и его круга:

Прекрасны летни дни, сияя на исходе,
Богатство с красотой обильно сыплют в мир;
Надежда радостью кончается в народе;
Натура смертным всем открыла общий пир;
Созрелые плоды древа отягощают
И кажут солнечным румянец свой лучам!
И руку жадную пригожством привлекают:
Что снят своей рукой, тот слаще плод устам...
Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елисавет;
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет,
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасный вид
И принуждает вверх скакать высоко воду,
Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит.
Толь многи радости, толь разные утехи
Не могут от тебя Парнасских гор закрыть.
Тебе приятны коль Российских муз успехи,
То можно из твоей любви к ним заключить.
Ты, будучи в местах, где нежность обитает,
Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды,
Воспомяни, что мой покоя дух не знает,
Воспомяни мое раченье и труды:
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь;
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.
Однако лето мне с весною возвратится,
Я оных красотой и в зиму наслаждусь,
Когда мой дух твоим пригожством ободрится,
Которое взнести я на Парнас потщусь.

Так приветствовал Ломоносов Шувалова, направлявшегося с Елизаветой на отдых в Царское Село. В этом стихотворении рядом с отвлеченными картинами «натуры» на исходе лета щедро разбросаны совершенно конкретные указания на царскосельскую оранжерею («Цейлон в севере»), на пристрастие императрицы к фонтанам, в изобилии устроенным «хитростью мастерства» в ее летней резиденции, на благосклонное отношение Шувалова к наукам и искусствам. Но главное здесь — упоминание Ломоносова о собственных «раченье и трудах» в Химической лаборатории («меж стен и при огне»). Именно в эту пору он начал грандиозную по размаху и в высшей степени впечатляющую по результатам работу, в процессе которой его разносторонний и одновременно сосредоточенный в себе гений одержал ослепительный ряд выдающихся творческих побед.

В марте 1750 года Ломоносов направил в Канцелярию «репорт» следующего содержания: «По учиненным мною опытам в Химической лаборатории нашлось немалое число таких стекол, которые в мусию (то есть в мозаику. — *Е. Л.*) годятся, а для лучшего оных виду должно их оточить и с одной стороны вышлифовать. Того ради Канцелярию Академии наук прошу оные приказать точить и шлифовать и в Лабораторию отдавать, чтобы я мог оных целый комплект предложить оной Канцелярии».

Это первый документ, касающийся работ Ломоносова по мозаичному и вообще стекольному делу. В 1746 году граф М. И. Воронцов привез из Рима образцы итальянской мозаики. Ломоносов заинтересовался ими и как человек с тонким эстетическим вкусом, и как ученый-химик, и как технолог, и в определенной мере как предприниматель. Явилось желание воспроизвести эти образцы. Однако итальянцы строго хранили секрет изготовления смальт (непрозрачных разноцветных стекол). На Руси технология их производства была давно забыта (Ломоносов в эту пору неоднократно вспоминал о «киевской мусии», которую он видел в соборах Киева во время своего паломничества в тамошнюю академию в 1734 году). После открытия Химической лаборатории в 1748 году Ломоносов твердо решил разработать свою собственную технологию изготовления цветного стекла и в течение трех лет все свое свободное время отдавал напряженнейшей работе по отысканию наиболее эффективного и практичного способа окраски стекол. Более 4000 опытов поставил он, прежде чем добился наконец успеха. Ему, например, удалось найти свой метод получения рубинового стекла, окрашенного соединениями золота (до Ломоносова золотые рубины умели делать древние ассирийцы, еще при царе Ашшурбанипале, да один немецкий химик XVII века, скончавшийся в 1703 году, однако и после них не осталось никаких рецептов; на Западе только в 40-е годы XIX века вновь начали производить золотые рубины).

Но одною лишь химией дело не ограничилось.

Ломоносов создает художественную мастерскую по изготовлению мозаичных картин. Он ведет длительные хлопоты по устройству отечественной фабрики цветного стекла, о которых уже говорилось. Но и это еще не все. Параллельно со стекольным производством и созданием мозаик Ломоносов занимается разработкой некоторых важнейших проблем оптики: как в сугубо научном (теория света и цвета), так и в прикладном плане (изготовление оптических инструментов).

Ломоносов построил более десятка принципиально новых оптических приборов, среди которых наиболее оригинальной была его знаменитая «ночезрительная труба», законченная в 1756 году, но отвергнутая Академией (что, впрочем, не помешало академикам по достоинству оценить аналогичную ломоносовской трубу, полученную из Англии в 1759 году),

а также его телескоп с новым отражателем, показанный им академикам в мае 1762 года. Идею своего телескопа, полемическую по отношению к принципу, лежавшему в основе самого эффективного на ту пору телескопа Грегори — Ньютона, Ломоносов сформулировал в «Химических и оптических записках» (1762—1763): «Новоизобретенная мною катадиоптрическая зрительная труба тем должна быть превосходнее невтонианской и грегорианской, что 1) работы меньше, для того что малого зеркала ненадобно; а потом 2) и дешевле, 3) не загораживает большого зеркала и свету не умаляет, 4) не так легко может испортиться, как вышенаписанные, а особливо в дороге, 5) не тупеют и не нуждаются в малом зеркале (коего нет и ненадобно) лучи солнечные, и тем ясность и чистота умножаются, 6) новая белая композиция в зеркале к приумножению света способна». Лишь более четверти века спустя идея Ломоносова будет использована (независимо от него) выдающимся английским астрономом Гершелем в его телескопе-рефлекторе. В сущности, она учитывается при создании астрономических труб этого типа и по сей день. Академик С. И. Вавилов, многие годы отдавший изучению оптических трудов Ломоносова, дал им следующую итоговую оценку: «...по объему и оригинальности своей оптико-строительной деятельности Ломоносов был... одним из самых передовых оптиков своего времени и безусловно первым русским творческим опто-механиком».

Параллельно с практической оптикой Ломоносов усиленно занимается и оптической теорией. Здесь вопросом вопросов для всех европейских ученых была проблема происхождения света. Поиски ее решения определялись противоборством двух точек зрения: теории истечения, предложенной Гассенди и детально разработанной Ньютоном, и волновой теории, философски обоснованной Декартом и физически утвержденной Гюйгенсом. Ломоносов так же, как и его «добрый гений» Эйлер, выступил, в сущности, адептом волновой теории. 1 июля 1756 года он произнес в торжественном публичном собрании Академии наук «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее». Излагая свою теорию, Ломоносов вступил в противоречие с очевидными, экспериментально доказанными фактами. Он, например, вопреки Ньютону, показавшему части спектра, на которые распадается белый цвет, считал, что белое состоит лишь из трех элементарных цветов: красного, желтого и голубого. При этом ломоносовская аргументация носила скорее риторический, чем научный характер: «Живописцы употребляют цветы главные, прочие через смешение составляют: то в натуре ли положить можем большее число родов эфирной материи для цветов, нежели она требует и всегда к своим действиями простых и коротких путей ищет». Как оратор Ломоносов здесь безупречен: зачем природе семь элементарных цветов, когда даже человек обходится тремя? И по-

том: не сам ли Ньютон писал, что «природа проста и не роскошествует излишним количеством причин»? С. И. Вавилов замечал по этому поводу: «Ясно, конечно, что Ломоносов смешал физические характеристики элементарных цветов, найденные Ньютоном (различное преломление и различную длину волны света), с их физиологическими характеристиками». Причем Ломоносов до конца жизни защищал свою ошибочную точку зрения. Но наряду с нею в «Слове» была высказана очень перспективная догадка о резонансе между светом и веществом. Кроме того, Ломоносов всерьез размышлял над электрической природой света (предвосхищая мысли Фарадея по этому поводу) и ставил перед собой, например, такие экспериментальные задачи: «Отведать в фокусе зажигательного стекла или зеркала электрической силы»; «Будет ли луч иначе преломляться в наэлектризованной воде или наэлектризованном стекле».

Но, повторяем, наиболее впечатляющим образом гений Ломоносова в рассматриваемое десятилетие проявился в работах, так или иначе связанных с цветным стеклом. Открыв секрет окраски стекол, Ломоносов рассудил за благо поставить свое изобретение на широкую практическую ногу. Памятуя о разрешении 1723 года, подписанном рукою Петра I, «всякого чина людем в России... фабрики и манифактуры заводить и распространять», Ломоносов в октябре 1752 года обратился в Сенат с прошением, в котором говорилось: «Во уповании на такое высочайшее обнадеживание желаю я, нижайший, к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи».

С помощью Шувалова Ломоносову удалось получить просимое разрешение. 17 декабря 1752 года Мануфактур-контора решила выдать Ломоносову на устройство фабрики беспроцентную ссуду 4000 рублей со сроком погашения в пять лет. Из них 500 рублей он получил сразу же, а остальные ему выдавались по мере наличия свободных денежных средств в конторе.

Ломоносов, когда какая-нибудь идея овладевала им, служил ей самозабвенно и артистически. Так было, когда он двенадцати лет с особой «ломкостию» в голосе читал односельчанам книги, когда он, уже девятнадцатилетний, со слезами на глазах умолял караванного приказчика взять его с собою «посмотреть Москвы», когда, обманом завербованный в рейтары, всем видом своим показывал послушание, но уже знал, что совершит побег из везельской крепости, что «послушание» необходимая часть подготовки к побегу. Так было и на сей раз. Сохранилось правдоподобное предание о том, что Ломоносов в пору его увлечения стекольным делом

носил камзол со стеклянными пуговицами, намеренно вызывая удивление окружающих. Его убежденность в великих пользах стекла, недооцененных людьми, материализовалась многоразлично. В конце 1752 года он написал дидактическую поэму «Письмо о пользе Стекла», в которой доказывал, что

> Неправо о вещах те думают, Шувалов,
> Которые Стекло чтут ниже Минералов,
> Приманчивым лучом блистающих в глаза.
> Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.

И хотя значение этой поэмы нельзя свести только лишь к талантливой рекламе стекольного дела (в своем месте разговор о «Письме» еще предстоит), игнорировать рачительно-хозяйственный подход бывшего помора ко всем своим начинаниям было бы глубоко неверно. Его активность по устройству фабрики цветных стекол служит ярким подтверждением его энергичной предприимчивости.

2

Деньги, выданные Ломоносову Мануфактур-конторой, ничего еще не решали. Необходим был земельный участок и люди. Лишь тогда деньги могли стать фабрикой. Но землю и крестьян даровать могла только императрица. 17 февраля 1753 года Ломоносов обратился в Канцелярию с просьбой о разрешении выехать в Москву (где в ту пору находился двор) на 29 дней без вычета жалованья по делам, связанным с организацией фабрики, а также с целью ознакомления с мозаиками в старых церквах: «...сверх того надлежит мне для лучшего произведения мозаики при Академии художеств видеть в московских соборах и в других церквах, также и в Новгороде старинные мозаичные образы греческой работы, того ради Канцелярия Академии наук да благоволит послать Ямской канцелярии в контору о даче подвод требование».

Шумахер, как и следовало от него ожидать, ответил решительным отказом. Ломоносов, нарушая субординацию (К. Г. Разумовский тоже был в это время в Москве), подает прошение уже в Сенат и 22 февраля получает в сенатской конторе разрешение на выезд в Москву сроком на один месяц.

Известив Академическую канцелярию о своем отбытии, а также о том, что в его отсутствие «в Химической лаборатории сделано расположение таким образом, что никакой остановки в производимых в ней делах быть не имеет», Ломоносов уже на следующий день, 23 февраля, выехал в Москву. Президент, увидев неожиданно в первопрестольной своего предприимчивого профессора, не стал любопытствовать, что привело его туда, и «принял ласково и во всю бытность оказывал ему любление». Не было никаких препят-

ствий и со стороны императрицы. Судьба в который уже раз награждала Ломоносова за его настойчивость. 15 марта 1753 года, то есть еще в Москве, ему был вручен императрицын указ, в котором говорилось: «...понеже есть довольно отписных на нас по размежеванию в Ингерманландии земель и крестьян, того для повелеваем нашему Сенату дать ему, Ломоносову, для работ к той фабрике в Копорском же уезде из Коважской мызы от деревни Шишкиной сто тридцать шесть душ и из деревни Калише двадцать девять душ, из деревни Усть-Рудиц двенадцать душ, от мызы Горье-Валдаи из деревни Перекусихи и Липовой тридцать четыре души, всего двести одиннадцать душ, со всеми к ним принадлежащими по отписным книгам землями. И повелеваем нашему Сенату учинить по сему нашему указу и о том куды надлежит послать наши указы».

Через неделю «помещик» Ломоносов — уже в Петербурге и рапортует в Академическую канцелярию: «Сего марта 23 дня, исправив потребные нужды в Москве, возвратился и Лабораторию нашел в добром состоянии». Однако теперь и Шумахер дождался своего часа: Ломоносов может сколько ему угодно делать вид, что ничего не произошло, но в Москву-то он ездил, в сущности, без разрешения. Что из того, что главноначальствующий в Петербурге адмирал князь М. М. Голицын дозволил ему отлучиться, а Сенатская контора выдала документы на проезд? Ломоносов служит в Академии и подчинен президенту, а в его отсутствие — Академической канцелярии (то есть ему, Шумахеру). Вот почему в Петербурге Ломоносов получил вскоре от К. Г. Разумовского (в Москве, как было говорено, оказывавшего «к нему любление») «репримaнд в ослушании». Не был забыт и М. М. Голицын, который при встрече показывал Ломоносову полученный им «вежливый репримaнд от президента в форме письма от советника Теплова, что он в чужую должность вступился, отпустив в Москву реченного Ломоносова».

Впрочем, все это были уже мелкие уколы, мелкие доказательства того очевидного и привычного для Ломоносова факта, до какой педантичной степени «противны были Шумахеру его успехи». Ломоносов достиг главного: теперь мозаичное дело можно было поставить на широкую ногу.

16 апреля 1753 года последовало распоряжение Вотчинной конторы о выделении Ломоносову земель для постройки фабрики в Копорском уезде. Вместе со своим «управителем Иваном Цылг» (то есть Иваном Андреевичем Цильх, родным братом жены Елизаветы Андреевны) Ломоносов внимательнейшим образом обследовал свои земли. (Здесь, как всегда, Ломоносов, казалось бы, занимаясь только одним делом, в принципе нацелен на всестороннее изучение. Он исследовал свои земли не только как автор проекта будущей фабрики, но и как естествоиспытатель. Когда в 1761 году он просматривал только что вышедшую книгу С. П. Крашенинникова «Флора Ингрии», в которой описывались растения окрестностей Петербурга (506 названий), он не встретил в ней упоминания о «колокольчике широколистном». В дополнениях к «Флоре Ингрии» это название было указано со ссылкой на Усть-Рудицу.) Фабрику решено было ставить в деревне Усть-Рудица, недалеко от Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Здесь сливались две речушки (Рудица и Черная). Крестьян можно было переселить из других деревень, а вот проточную воду в другие деревни не подведешь. Ломоносов же с самого начала решил строить фабрику с использованием водяных механизмов.

Спустя три недели, 6 мая, фабрика была начата строительством, а уже через десять месяцев, в феврале 1754 года, выдала первые образцы продукции и летом того же года была пущена на полную мощность.

К этому времени деревня Усть-Рудица заметно изменилась. Архитектурным центром ее стал «двор для приезду» — двухэтажный дом с мезонином, поставленный на фундаменте из красного кирпича. Здесь Ломоносов жил и работал во время своих частых приездов на фабрику. К дому прилегали поварская, людская и черная избы, погреб, баня, а также конюшня, хлев и «прочие надобности». По одну сторону от дома располагалась лаборатория, а напротив нее — мельница в три колеса: «первое для двух рам пильных, чтобы пилить доски к фабричному строению и впредь для пристроек, починок и ящиков под материалы; второе колесо для машин, которыми молоть, толочь и мешать материалы, в стекло потребные, и шлифовать мозаику, для которых кругов в мельнице два покоя особливые; третьим колесом ходят жернова для молотья хлеба, на котором содержат фабричных людей». По другую сторону от дома стояла мастерская. За домом был сад, по краям которого находилось несколько служебных построек и среди них кузница. Чуть в стороне вниз по течению Рудицы встала слобода, в которой жили крестьяне, трудившиеся на фабрике.

Ломоносов с самого начала поставил себе задачей обучить фабричных крестьян ремеслу. 20 апреля 1754 года в ломоносовском репорте в Мануфактур-коллегию о состоянии работ на фабрике говорится: «...из данных мне крестьян молодые люди обучались на здешних стеклянных заводах: двое — стеклянной работе, а особливо вытягивать стеклянные стволики к поспешному деланию бисера, пронизок и стекляруса, третий — горшечному делу, чему они и обучались; для изучения жжению осиновой золы, которая в состав стекла потребна, посылан был особливый в Новгородский уезд, что, переняв уже на заводах, в действие производит и золу приготовляет; живописному мастерству для делания мозаики, также слесарному и столярному мастерству, без чего при заводах обойтись нельзя, как здесь, так и на заводах у мастеров обучаются. Бисер и пронизки делать трое нарочито

обучились, чего прилагаю при сем некоторый опыт бисеру и пронизок, деланных ими из здешних материалов в малых печках, когда в большой печи и горшках составленная и доспелая материя прежде в стволики, а потом в бисер и пронизки переделываться будет, что с Божиею помощию в приближающемся маие месяце в действие произведено быть имеет».

Самых способных молодых крестьян Ломоносов отбирал для обучения более сложному делу. Так, например, было с Игнатом Петровым. 14 февраля 1755 года Ломоносов подал следующее доношение в Академическую канцелярию: «Желаю я человека моего Игната Петрова обучать при Академии барометренному и термометренному художеству, которое потребно для дела разных касающихся до того художества на моей бисерной фабрике вещей. Того ради Канцелярия Академии наук да благоволит указать объявленного человека моего Игната Петрова подмастерью Ивану Беляеву тому художеству обучать на моем коште». Около девяти месяцев И. Петров постигал секреты «барометренного и термометренного художества» под руководством Ивана Ивановича Беляева (1710—1786), лучшего специалиста по оптическому делу, одного из тех, кто принес общеевропейскую славу мастерским Петербургской Академии наук. Вернувшись в Усть-Рудицу, И. Петров полгода работал на фабрике, а затем в апреле 1756 года был вновь направлен Ломоносовым (и вновь за его счет) теперь уже в Рисовальную палату к «живописному мастеру» Академии Иоганну Эмасу Гриммелю (1703—1759) для обучения «рисовальному художеству». Более года проучившись у него, И. Петров окончательно возвращается в Усть-Рудицу и в полной мере показывает свое искусство «у разных стеклянных работ» — и как оптик и как мозаичист. Когда в 1762—1763 годах Ломоносов, намереваясь развить положения, выдвинутые им в «Рассуждении о большей точности морского пути», работал над усовершенствованием оптических инструментов, он поручал И. Петрову делать «оправки глазных стекол, к ним апертуры, печи и горшки», а однажды доверил весьма ответственное дело — «лить новое зеркало». И. Петров стал одним из лучших специалистов в ломоносовской мастерской мозаичного искусства. Когда шла работа над знаменитой «Полтавской баталией», он «мозаичный набор лучше исправлял», чем остальные подмастерья. После смерти Ломоносова И. Петров выполнил его мозаичный портрет, а также портрет великого князя Павла (по мнению современников, «довольно хорошо и похоже»). Это были последние работы И. Петрова (местонахождение их в настоящее время неизвестно). Четырнадцать лет, с 1754-го по 1768 год (когда Усть-Рудицкая фабрика была закрыта), И. Петров успешно постигал секреты ремесла, нужного и для большой науки и для большого искусства, но странного для крепостного крестьянина Копорского уезда,

а потом, уже став отличным специалистом оптического и мозаичного дела, должен был вернуться к землепашеству.

Если И. Петров был мастеровым-исполнителем, то Матвей Васильев и Ефим Мельников, ученики Академической рисовальной школы, о переводе которых на свою фабрику Ломоносов просил Академическую канцелярию 3 мая 1755 года, предназначались для руководства младшими мозаичистами из крепостных. 11 мая М. Васильев и Е. Мельников канцелярским определением были отпущены к Ломоносову на три года, как и значилось в его прошении. Ломоносов вдвое увеличил им годовой оклад жалованья по сравнению с академическим: вместо 18 рублей из канцелярской казны они стали получать по 36 рублей из ломоносовских средств (кроме того, еще и бесплатный хлеб). Это были молодые люди 20—23 лет, из «разночинцев»: М. Васильев — сын матроса, а Е. Мельников — сын мастерового Придворной конторы. Интересная и с творческой, и с технологической, и с организационной точек зрения работа, а также неплохое содержание (вспомним, что сам Ломоносов в их возрасте получал всего лишь 10 рублей в год) — все это не могло не побуждать ломоносовских подмастерьев к «раченью и трудам». Они так и остались в ломоносовской мастерской, год от года совершенствуясь в мастерстве. Росли и их оклады. Так, в 1763 году за работу над «Полтавской баталией» Ломоносов выплатил М. Васильеву 150, а Е. Мельникову 120 рублей. Эта разница не случайна: М. Васильев, вне всякого сомнения, был даровитее и трудолюбивее своего товарища. Ломоносов незадолго до смерти указал его (наряду с И. А. Цильхом) в числе лиц, которым можно доверить в дальнейшем ведение мозаичного дела, специально подчеркнув: «...старший мозаичный мастер Матвей Васильев... с самого начала мозаичного дела упражнялся со мною в сей практике, и можно положить на него благонадежно произведение такого дела».

Всего на ломоносовской фабрике работало в разные годы от 30 до 40 человек. Например, в августе 1757 года, подавая в Мануфактур-коллегию ведомость о работе своей фабрики, Ломоносов так писал о ее штате: «Мастеровым людям прилагается следующий реестр: 1) Яким Михайлов, подмастерье выдувального стеклянного дела, 2) старшие ученики: Ефим Мелников да Матвей Васильев, 3) у разных стеклянных работ: Игнат Петров, Григорий Ефимов, Михайло Филипов, Андрей Никитин, Кирило Матфеев, Тимофей Григорьев, Юрье Томасов, Петр Андреев, Андрей Яковлев, Михайло Семенов, 4) да у кузнечного, слесарного, плотничного и столярного дела: Михайло Филипов другой, Дмитрий Иванов, Андрей Матфеев — всего 16 человек, да для разных фабричных нужд, как-то: для рубления дров и других грубых работ имеются при фабрике работников от 15 до 20 человек по переменам». Крепостные люди, указанные в 3-м и 4-м

пунктах реестра, регулярного жалованья не получали, но, как писал в одном из своих «репортов» Ломоносов, и им «денежное награждение бывает для ободрения кто лучше в научении успех имеет, по рассмотрению». Кроме того, как и положено рачительному хозяину, Ломоносов одевал, обувал и кормил своих фабричных людей.

С получением привилегии на фабрику у Ломоносова появилось множество новых, крайне обременительных забот: постоянный недостаток средств, прошения в Сенат о выдаче денежных ссуд, а затем прошения об отсрочке их погашения, и кроме того, отчеты, ведомости, «репорты» о состоянии работ на фабрике в подтверждение того, что ссуды расходуются не зря. К финансово-производственным заботам прибавлялись еще и хлопоты по избавлению своих крестьян от некоторых казенных повинностей: освобождению от постоя, увольнению от почтовой гоньбы и т. п. А однажды (зимой 1754 года) Ломоносову пришлось вступиться как за свою собственность, так и за крестьян в связи с форменным разбоем, учиненным мужиками из соседнего, Ропшинского имения, которые по наущению тамошних управителя и подрядчика занялись порубкой леса подле бисерных заводов на Коважской мызе, также принадлежавшей Ломоносову. Напомним, что словом «мыза», чаще всего в Прибалтике, но и поблизости от Петербурга также, обозначалось имение с домом его владельца. В доношении в контору Мануфактур-коллегии Ломоносов описал, как усть-рудицкие крестьяне, посланные на Коважские заводы, заметили порубщиков, и что за этим последовало: «...отпущенные от меня крестьяне пять человек на оные заводы с материалами, приезжая к вышеписанной деревне (т. е. Коважской мызе. — *Е. Л.*), увидели, что в близком расстоянии от заводов рубят в моем лесу бревна человек с пятьдесят со многими подводами, и стали им запрещать словами, но оные, видя свое множество, напали на них с дубьем и обухами и били нещадно, так что рудицкий крестьянин Роман Пантелеев лежит при смерти, а брата его, Ивана Пантелеева, взяли на том месте и увезли в Ропшу, где по сие число содержится в цепях жестоким образом, а посланные от меня материалы и стеклянная посуда были в немалой опасности». Мануфактур-контора потребовала от Вотчинной канцелярии освободить Ивана Пантелеева и сделать необходимое внушение управляющему Ропшинского имения. Кроме того, был послан указ в Петербургскую губернскую канцелярию с тем, «чтобы имеющиеся комиссары и прочие управители фабричных его, Ломоносова, крестьян ни к каким ответам без указу Мануфактур-конторы не требовали и от фабрики не отлучали и ничем их, кроме важных и криминальных дел, по силе Мануфактур-коллегии регламента, не ведали». После этого соседи притихли.

И. И. Шувалов, вспоминая на склоне лет эту пору своих отношений с Ломоносовым, написал слова, вынесенные в эпиграф этой главы.

Меценат не совсем точен: деревушка была не одна, как мы помним, и не «в 40 душ», а в 211, — очевидно, он имел в виду одну только Усть-Рудицкую фабрику. Кроме того, получить привилегию на нее помогал не только И. И. Шувалов, но и тогдашний вице-канцлер граф М. И. Воронцов, о чем свидетельствует ломоносовское письмо к нему от 25 марта 1753 года из Петербурга в Москву, написанное сразу по возвращении ученого в Академию из Белокаменной: «Дай господи Вам столько здравия, сколько Вы милости и снисходительства мне оказали». Равно как и немедленный (уже 4 апреля) ответ М. И. Воронцова: «Благодарствую за доброе Ваше о мне напоминание, а паче радуюсь, что Вы о доброхотстве моем к Вам уверены, и желаю, чтоб впредь лучше и в самом деле мог Вас удостоверить, что я завсегда пребываю Ваш доброжелательный слуга».

Но в главном И. И. Шувалов был, безусловно, прав. Ломоносов действительно «пропадал» в Усть-Рудице часто и надолго (впрочем, по всей форме отпрашиваясь у Канцелярии). Если попытаться в современных категориях определить обязанности, возложенные на себя Ломоносовым в Усть-Рудице, то можно сказать, что он был и автором проекта, и прорабом, а потом и директором, и главным инженером, и главным технологом, и заведующим конструкторским бюро, и заведующим художественными мастерскими, и главным снабженцем фабрики, и наставником фабричной молодежи.

Основное оборудование фабрики разместилось в здании лаборатории. Это были: «печь на 15 пуд материи, каленица, три финифтяные печи, пережигательная и плавильная печи, бисерная печь о шести устьях с муферами; всего девять печей». Прежде чем попасть в печи, исходные материалы растирались, а также измельчались путем толчения. В больших объемах растирание производилось посредством механизмов, которые приводились в движение водяным колесом. Но полностью механизировать эту работу не удалось, и на ломоносовской фабрике, естественно, применялся и ручной труд «для толчения мастики». Этой цели служили «иготи чугунны» (ступы) с чугунными же пестами весом до двух пудов. Для перетирки мастики использовались простые стеклянные ступки. Во время стекловарения, а также в ходе мозаичного набора в дело употреблялось множество других инструментов: железные щипцы, сковороды, «уполовники железные длиной 2,5 аршина», «ухваты железные, которыми горшки ставят в печь и вынимают из печи», «ножи малые для счищения мастики», кочерги, крючья, шилья и т. п.

Фабрика производила различную стеклянную продукцию, которую предполагалось немедленно реализовывать, чтобы окупить затраты (и немалые). Прежде всего это был бисер,

при производстве которого Ломоносов стремился к тому, чтобы он был «ровен, чист и окатист». Кроме того, фабрика выпускала стеклярус в большом количестве. Причем Ломоносов нашел способ производить «алый стеклярус», чего не могли добиться западноевропейские поставщики от своих мастеров. К тому же это был «скорый способ»: в Усть-Рудице выделывалось до 2 пудов стекляруса в полугодие (в 1748—1762 годах ввоз стекляруса из-за границы колебался от 7 фунтов до 29 пудов). Ломоносов всерьез предполагал конкурировать с зарубежными предпринимателями.

Со временем фабрика стала выпускать разнообразную стеклянную посуду и другую, необходимую в быту продукцию: кружки, стаканы, подносы, табакерки для нюхательного табака, чашки, штофы, чернильницы с песочницами, пуговицы, подвески к серьгам, бусы, литые столовые доски и т. п. Причем Ломоносов добился небывалого разнообразия цветовых оттенков при производстве всех этих изделий — до него на русских заводах изготовлялось лишь белое, синее и зеленое стекло.

Сделавшись фабрикантом, Ломоносов неминуемо должен был внедриться и в такую далекую от его прежних интересов область, как сбыт (по возможности выгодный) готовой продукции. Погашать задолженности и выпрашивать отсрочки в погашении становилось все труднее. В сентябре 1757 года он подал в Контору Мануфактур-коллегии прошение на имя императрицы о разрешении открыть в Петербурге лавку для продажи изделий своей фабрики, объясняя необходимость этого следующими причинами: «...заводы мои состоят от Санктпетербурга в отдалении и товары суть разных родов, которых всех оптом купцы не покупают, отчего в продаже чинится крайняя остановка». Рассмотрев это ломоносовское прошение, Мануфактур-контора 15 октября направила в Контору Главного магистрата бумагу о том, чтобы Ломоносову было разрешено «по желанию его, где пристойно, в ряде купить или нанять лавку». Там бумага и была погребена. Ломоносов напоминал Мануфактур-коллегии о своем прошении. Наконец и Контора Мануфактур-коллегии сняла с себя всякое попечение о ломоносовском деле, определив в протоколе своего заседания от 17 ноября 1760 года: «...к нему, Ломоносову, послать указ, в котором написать, дабы он о покупке или о найме лавки просил в Магистратской конторе, а впредь Мануфактур-конторе якобы в неудовольствии нарекания не чинил».

Словом, предприниматель из Ломоносова не получился. Надо думать, если бы он, забросив остальные дела, употребил все свои силы лишь на стеклярус, бисер, стеклянную посуду, он, вне всякого сомнения, стал бы — с его дарованиями и волей — одним из богатейших людей России. Но в Ломоносове, «сей душе, исполненной страстей» (А. С. Пушкин), не нашлось места для страсти к деньгам. Тысячи, которые

он брал в долг у Мануфактур-коллегии и не знал, как вернуть их, были нужны ему для приведения в «вожделенное течение» дела научного, промышленного и художественного, столь необходимого, по его глубокому убеждению, всей России — не сейчас, так в будущем. К тому же бисер, стеклярус и прочее с самого начала мыслились им лишь как побочная продукция фабрики.

3

Одним из главных последствий создания Усть-Рудицкой фабрики стало возрождение мозаичного искусства, уже несколько веков как утраченного русскими мастерами. Еще до постройки фабрики, 4 сентября 1752 года, Ломоносов преподнес Елизавете мозаичный образ Богоматери, который «с оказанием удовольствия был всемилостивейше принят». Эта мозаика (к сожалению, не сохранившаяся), была составлена с оригинала, написанного итальянским художником Франческо Солименой (1657—1747). Пять с половиной месяцев Ломоносов собственноручно без чьей-либо помощи трудился над своим произведением. «Всех составных кусков, — писал он в «репорте» в Академическую канцелярию от 15 сентября 1752 года, — поставлено больше четырех тысяч, все моими руками...» Если бы не лекции и другие академические заботы, считал он, эту мозаику можно было бы закончить вдвое быстрее. Вот почему в том же «репорте» он просил о выделении ему «в научение достойного ученика». Академическая канцелярия, зная о том, что образ Богоматери понравился императрице, распорядилась: «Для объявленного научения мозаичного выбрать ему, г. советнику и профессору Ломоносову самому, лучших и способных к тому делу двух человек из рисовальных учеников из ведомства мастера Гриммеля». Тогда-то Ломоносов и отобрал для себя Матвея Васильева и Ефима Мельникова. Кроме того, он преподнес жене П. И. Шувалова еще одну свою мозаичную работу, на медной доске которой было вырезано: «Сей нерукотворный образ Христа Спасителя нашего по желанию сиятельнейшия графини Мавры Егорьевны Шуваловой в начинании опытов мозаичного художества в Санктпетербурге 1753 года».

После этих двух работ, знаменовавших «начинание опытов мозаичного художества», Ломоносов трудится над портретом Петра I и к концу 1755 года заканчивает его. Столь долгий срок был обусловлен как творческими, так и административно-хозяйственными причинами. Так или иначе, к тридцатилетию памяти императора мозаика была готова и поднесена Сенату (ныне находится в Эрмитаже). Запись в Журнале Сената за 12 декабря 1755 года так повествует о церемонии поднесения: «Впущен был... проф. М. Ломоносов и собранию

Правительствующего Сената доносил, что он в знак благодарности за пожалованную ему бисерную фабрику сделал из мозаиковых камней портрет блаженныя и вечной славы достойныя памяти государя императора Петра Великого, который притом объявя, просил, чтобы повелено было оный портрет у него, Ломоносова, в Правительствующий Сенат принять, который тогда же у него, Ломоносова, и принят, а ему, Ломоносову, от собрания Правительствующего Сената объявлено, что Сенат таким употребленным его трудом доволен».

Потом последовали заказы (весьма, впрочем, немногочисленные) от двора. Ломоносов выполняет мозаичные портреты: сестры императрицы, русской цесаревны и герцогини шлезвиг-голштинской Анны Петровны (1708—1728), ее сына, наследника престола, великого князя Петра Федоровича, графа П. И. Шувалова и, конечно же, самой императрицы Елизаветы Петровны (пожалуй, наиболее выразительная и совершенная в художественном отношении работа из всей портретной серии ломоносовских мозаик). Эти произведения, относящиеся ко второй половине 1750-х годов, создавались уже коллективом мозаичистов, о которых говорилось выше, под общим руководством Ломоносова.

Недостаток в заказах не мог не тревожить. Осенью 1757 года Ломоносов подает на имя Елизаветы прошение об обеспечении фабрики государственными заказами. Это прошение может служить лишним подтверждением того, как неразрывно личный интерес его был связан с общественным, насколько учитывал он национально-государственные культурные потребности. Необходимость изыскивать средства на погашение ссуды, взятой в Мануфактур-коллегии, зарождает в его уме художественные и просветительские идеи, весьма актуальные для XVIII века, но получившие свое полное развитие и распространение в искусстве и архитектуре лишь в XX веке. Внешне в ломоносовском прошении все, казалось бы, вплотную связано с сиюминутными потребностями и обстоятельствами: «...оными неувядающими цветами (то есть мозаикой. — *Е. Л.*) могу и желаю я, нижайший, как для церквей Божиих святые образы, так и для других публичных строений изображать на моих заводах лица и дела великих ваших предков, <...> которое дело производить имею по данным оригиналам или рисункам со всяким требуемым совершенством за надлежащую цену». Но стоит обратить внимание: мысль об украшении «публичных строений» картинами дел «предков» Елизаветы — это мысль, высказанная не столько верноподданным, сколько просветителем — художником и историком одновременно. В сознании Ломоносова уже созрела целая программа творческих начинаний, связанная с именем Петра I (которую он не замедлит детально изложить через год с небольшим). Что же касается самой идеи украшения «публичных строений» мозаиками,

то она будет претворена в жизнь именно лишь в XX веке (в размерах поистине грандиозных).

По определению Сената от 3 октября 1757 года, Академическая канцелярия должна была, «рассмотря, оную мозаическую работу освидетельствовать». Месяц спустя группа художников-немцев, возглавляемая академиком Я. Я. Штелином, представила следующий, лестный для авторского самолюбия Ломоносова отзыв: «Понеже... со удивлением признавать должно, что первые опыты такой мозаики без настоящих мастеров и без наставления в самое малое время столь далеко доведены, то Российскую империю поздравляем с тем, что между благополучными успехами наук и художеств, под всемилостивейшею державою е. и. в. процветающими, и сие благородное художество изобретено и уже столь далеко произошло, как в самом Риме и других землях едва в несколько сот лет происходить могло». Получив этот отзыв, Сенат постановил «в Канцелярию от строений и в прочие места, где публичные здания со украшением строятся, <...> послать указы, чтоб его, Ломоносова, для убрания оных, где потребно будет, мозаикою за надлежащую цену призывать». Впрочем, ни одно государственное учреждение не «призвало» Ломоносова: «убрание» зданий «мозаикою» не стало «потребно», тратить деньги на необычное дело никто не решился.

Все это время Ломоносов не переставал размышлять и о тематике будущих мозаичных картин, которые могли украсить «публичные здания», коль скоро дело дошло бы до заказов. Среди «предков», о которых он говорил в прошении на имя Елизаветы, первым, кто заслуживал монументального живописного воплощения, был, вне всякого сомнения, ее великий отец. Общаясь со своими влиятельными покровителями И. И. Шуваловым, П. И. Шуваловым, М. И. Воронцовым, Ломоносов весь свой ум и энтузиазм употреблял на то, чтобы его идея прославления необычного императора необычным искусством стала в полном смысле слова их идеей.

Наконец всесильный тогда Петр Шувалов 30 января 1758 года внес в Сенат предложение украсить изнутри Петропавловский собор мозаичными картинами, которые изображали бы основные события жизни Петра I, принесшие ему всеевропейскую славу преобразователя России. Предложение поступило как нельзя более кстати. Начиная с 30 апреля 1756 года, когда молния, ударившая в шпиль колокольни Петропавловского собора, вызвала пожар и причинила серьезный ущерб всему зданию, шли поиски наиболее оптимального проекта его восстановления. Четыре проекта, представленные за это время, были отклонены. На сей раз Сенат рекомендовал Академической канцелярии «сочинить прожект, снесшись с ним, советником Ломоносовым, для способного сочинения, тако ж дабы он мог сочинить между тем смету». Такая рекомендация была уже как нельзя более кстати для

самого Ломоносова: всего за четыре дня до обсуждения в Сенате предложения П. И. Шувалова, 26 января 1758 года, Мануфактур-контора отказала Ломоносову в отсрочке возврата ссуды.

Однако в Академии рассудили за благо не отдавать украшение Петропавловского собора на откуп одному Ломоносову. Академик Я. Штелин, ведавший всеми художественными службами Академии, и свой проект составил, и еще трем художникам предложил сделать то же самое: живописцу Д. Валериани, скульптору И.-Х. Дункеру и архитектору И.-Я. Шумахеру (который, кстати, в 1756 году «отрешен» был от академической службы «за пьянство»). И все-таки из пяти проектов (пятый — ломоносовский) Сенат 7 апреля 1758 года выбрал проект Ломоносова и поручил ему, «яко изобретателю мозаики и всего вышеописанного украшения», возглавить работы по возведению монумента. Сенат утвердил и ломоносовскую смету: «Для строения того всего по описанию и по смете его, Ломоносова, деньги 148 682 руб., разделя ровно на 6 частей, выдавать погодно из Штатс-конторы». Впрочем, решение Сената подлежало утверждению императрицей. Только после этого Штатс-контора начала бы финансировать работы. Дело затянулось еще на два года. Двор колебался. Смета казалась слишком высокой, и в условиях начавшейся Семилетней войны лишних полтораста тысяч рублей сыскать было непросто. Но, с другой стороны, именно в эту пору воздвигнуть небывалый памятник Петру I означало бы поднять политический престиж петербургского двора в глазах всей Европы. Так или иначе, поскольку дело затянулось, над Ломоносовым нависла угроза принудительного взыскания ссуды, выданной ему в свое время Мануфактур-конторой. Мучительной была для него и мысль о том, что грандиозный творческий замысел его оставался невоплощенным. Он страдал и как предприниматель, которому грозило банкротство, и как художник, которого лишили возможности выпестовать свое детище.

А замысел был и впрямь грандиозен: «Среди Петропавловского собора, под куполом, поставить гробницу на возвышении, подымающемся ступенями и уступами. Около оныя колоннад из четырех пар столбов со всеми украшениями римского ордена, без особливых педесталов; на оном возвышении тумб, украшенный гирляндами, содержит на себе гробницу, на которой статуя отходящего от света Петра Великого в вечность одною рукою указует кверху, другою подымает под плече; по другую сторону гениус, российское желание являющий, на шаре, российский свет представляющем, удержать его тщится за руку прискорбным видом; герой, отходя бодрым видом, ступает ногою на облако, а на гениуса оглянувшись, оставляет ему щит с изображенным на нем солнцем, яко защититель, купно и просветитель».

По четырем сторонам монумента Ломоносов предполагал

поставить аллегорические статуи: Правосудие, Премудрость, Мужество и Милосердие. Ниже, «при ступенях» должны были помещаться четыре скульптурные группы: 1. «две женские сидячие статуи: Россия и Благодарность с их признаками, якобы между собою разговаривающие». 2. Воспоминание и Удивление «в таком же виде». 3. «Просвещение, опровергающее Варварство». 4. «Трудолюбие, одолевающее Зависть». Между этими скульптурными группами, «на цоккеллях» (то есть в нижней, цокольной части), должны были встать «четыре гениуса, изображающие главные государевы охоты: один с книгою, как символ всякого учения; другой с циркулом и науголником, знак математики; третий с домкратом показует механику; четвертый с радиусом и компасом являет мореплавание». Напротив каждого из «гениусов» — карикатурные фигуры побежденных Петром I противников: шведа, поляка, турка, перса.

В верхней части центрального пролета собора («сверх корниша») по проекту предполагалось установить статуи Веры, Надежды, Любви, Славы («поправшей смертную косу»), Правды и Верности — вперемешку с различными геральдическими украшениями. На самом верху помещалась императорская корона.

Основание всего этого величественного сооружения должно было составить 65 квадратных метров, общая высота — 14 метров. Поскольку весь монумент в старом здании собора, которое к тому же сильно пострадало от пожара, разместить было нельзя, Ломоносов в своем проекте предусмотрел необходимую его перестройку, составив и подробный план ее.

Крайние пролеты собора предназначались Ломоносовым для размещения в них мозаичных картин, изображающих основные события жизни Петра I, следовательно, — новейшей истории России: 1. «Начатие службы великого государя». 2. «Избавление от стрельцов». 3. «История строения начинающегося флота». 4. «Сообщение с иностранными». 5. «История отъезда государева в чужие краи». 6. «Зачатие и строение Санктпетербурга, Кронштата и Петергофа». 7. «Левенгауптская баталия» (битва при Лесной 15 сентября 1708 года, названная Ломоносовым по имени разбитого шведского генерала Левенгаупта). 8. «Полтавская баталия». 9. «Учреждение Правительствующего Сената». 10. «Турецкая акция» (Прутский поход 1711 года). 11. «Ангутская баталия» (битва при Гангуте 27 июля 1714 года). 12. «Правление четырех флотов». 13. «Баталия со Штейном» (то есть победа 30 января 1713 года над главнокомандующим шведской армией Штейнбоком в северной Германии). 14. «Заключение мира со шведами». 15. «Учреждение Святейшего Синода». 16. «Взятие Дербента». 17. «Погребение государево». Закончить эту мозаичную панораму Ломоносов обязался в течение шести лет.

Но претворение всего этого в жизнь, как уже говорилось,

зависело теперь от высочайшей воли. Между тем 4000 рублей, взятые Ломоносовым в 1753 году в Мануфактур-конторе, требовалось возвратить: как мы помним, в отсрочке возврата 24 января 1758 года ему было отказано. И вот в феврале 1759 года, то есть год спустя после того рокового для него отказа и почти столько же после подачи в Сенат проекта монумента Петру I и перестройки Петропавловского собора, Ломоносов вновь пишет прошение об отсрочке погашения злополучной ссуды, но теперь уже не в Мануфактур-контору, а в Сенат. Поскольку, как полагал Ломоносов, высший государственный орган Российской империи одобрил его проект и смету, он вполне может выступить поручителем в его, Ломоносова, платежеспособности перед Мануфактур-конторой.

Мучительно тянется время, а Ломоносов уже второй год живет под угрозой описи фабрики, а возможно, и личного имущества в уплату долга. Получив его прошение, Сенат запрашивает Мануфактур-контору о состоянии ее расчетов с Ломоносовым. Проходит еще месяц. Наконец, 27 марта 1759 года Сенат своим определением удовлетворяет просьбу Ломоносова, отсрочив возврат ссуды до «конфирмации» Елизаветой сенатского доклада о ломоносовском проекте монумента Петру I, «а в случае невоспоследования оной» устанавливался новый срок погашения — четыре года. Казалось бы, теперь можно вздохнуть свободнее. Но не тут-то было: прошло еще два месяца, прежде чем был составлен сенатский указ, извещавший обо всем этом Мануфактур-контору. Только в июне 1759 года Мануфактур-контора получила столь ожидаемый Ломоносовым документ.

Но как раз в июне, в ту пору, когда тревога Ломоносова как за судьбу своего проекта, так и за состояние своих финансовых дел достигла наивысшего напряжения, ему был нанесен коварный и болезненный удар его литературными противниками. В июньской книжке журнала «Трудолюбивая пчела», издававшегося Сумароковым, появилась статья под названием «О мозаике», в которой говорилось нечто такое, что могло заронить сомнение в самой целесообразности мозаичного украшения петровского монумента (ведь высочайшая «конфирмация» проекта все еще была под вопросом): «Живопись, производимая малеванием, весьма превосходнее мозаичной живописи, по рассуждению славного в ученом свете автора, ибо невозможно, говорит он, подражать совершенно камешками и стеклышками всем красотам и приятностям, изображаемым от искусныя кисточки на картине из масла, или на стене, так называемою фрескою из воды по сырой извести».

Статья была подписана двумя буквами В. Т. Автором ее был не кто иной, как В. К. Тредиаковский, которого, несмотря на всегдашние с ним раздоры, Сумароков привлек в свой журнал, чтобы вместе выступить против Ломоносова (возможно, имея вполне определенную цель: помешать получению им правительственной субсидии на реализацию проекта).

Ломоносову не составило труда угадать автора. Кроме того, он совершенно справедливо заподозрил в соучастии в этом деле, наряду с Тредиаковским и Сумароковым, еще и шумахерова зятя, И. И. Тауберта. Журнал «Трудолюбивая пчела», хотя и издавался Сумароковым единолично, должен был проходить цензуру в Академии наук. Тауберт (которого одновременно с Ломоносовым, 1 марта 1757 года, ввели в состав Академической канцелярии), конечно же, мог поставить Ломоносова в известность относительно содержания злополучной июньской книжки «Трудолюбивой пчелы», но не сделал этого. Все было затеяно в расчете на внезапность удара.

Обескураженный вероломством и «явным бессовестием» своих недоброхотов, Ломоносов 8 июля 1759 года пишет И. И. Шувалову письмо, в интонации которого растерянность жертвы и негодование гражданина сливаются воедино: «В Трудолюбивой так называемой Пчеле напечатано о мозаике весьма презрительно. Сочинитель того Тредиаковский совокупил свое грубое незнание с подлою злостию, чтобы моему рачению сделать помешательство; здесь видеть можно целый комплот. Тредиаковский сочинил, Сумароков принял в Пчелу, Тауберт дал напечатать без моего уведомления в той команде, где я присутствую (то есть в Академической канцелярии. — *Е. Л.*). По сим обстоятельствам ясно видеть Ваше высокопревосходительство можете, сколько сии люди дают мне покою, не престая повреждать мою честь и благополучие при всяком случае! Умилосердитесь надо мною, милостивый государь, освободите меня от таких нападков, которые, меня огорчая, не дают мне простираться далее в полезных и славных моих отечеству упражнениях. Никакого не желаю мщения, но токмо всеуниженно прошу оправдан быть перед светом высочайшею конфирмациею докладу от Правительствующего Сената о украшении Петропавловской церкви, чего целый год ожидая, претерпеваю, сверх моего разорения, посмеяние и ругательство».

Ломоносовские покровители советовали ему отвечать на нападки равнодушием либо презрением. Недавно ставший государственным канцлером М. И. Воронцов, который так же, как и И. И. Шувалов, получил от Ломоносова письмо по поводу статьи в «Трудолюбивой пчеле», писал ему в своем ответе 10 июля 1759 года: «Государь мой Михайло Васильевич. Я усматриваю, что содержание сообщенной мне от вас печатной пиесы о мусии не имеет другого основания, как только от одной жалузии (то есть зависти. — *Е. Л.*), почему и не можно сумневаться, что все просвещенные люди, пренебрегая тщетные сего славного художества охуления, не престанут отдавать справедливость вашим похвальным стараниям и опытам в изыскании и произведении оного в России, к немалой пользе и особливому имени вашего прослав-

лению в ученом свете. Я весьма согласен с учиненными примечаниями на помянутую пиесу и не думаю, чтоб кто ни есть тому спорить стал; итак, остается только презирать то, что ничего, кроме презрения, не заслуживает. Тем одним предуспеете вы уже принудить недоброжелателей ваших к молчанию; а что от меня зависеть будет, я, конечно, употреблю все возможное, дабы вас удовольствовать явным засвидетельствованием той аппробации, которую вы себе ревностию, искусством и трудами вашими издавна приобрели».

Вольно было М. И. Воронцову давать доброжелательные советы; ему не угрожала опасность насильственного взыскания непосильной для него суммы. Вот если бы он поспешил «употребить все возможное, дабы... удовольствовать явным засвидетельствованием» своей доброжелательности! Конфирмация сенатского доклада о монументе Петру I — вот, что нужно было Ломоносову, и чем скорее, тем лучше.

А что касалось недоброжелателей, то здесь Ломоносову презрения было не занимать — ни у канцлера, ни у кого другого. В ту тяжелую для себя пору он сочинил эпиграмму, в которой высмеял своих противников под вымышленными именами. Тредиаковского он назвал здесь Сотином (от французского sot — глупец), намекая на прозвище, данное Тредиаковскому его нынешним союзником Сумароковым в комедии «Тресотиниус». Самого же Сумарокова он назвал здесь Аколастом (по-гречески — нахальный невежда). Под именем «лешего» в эпиграмме был выведен Тауберт. Но из всей этой троицы более всего в своей эпиграмме Ломоносов потешался над Ако́ластом — Сумароковым, напоминая ему о его недавней непримиримой вражде с Тредиаковским и его былом пиетете перед Пробином (от латинского probus — честный), то есть перед ним, Ломоносовым. Он цитирует здесь «Епистолу П. О стихотворстве» (1748) Сумарокова, где о Тредиаковском, выведенном тогда под именем Штивелиуса, говорилось: «А ты, Штивелиус, лишь только врать способен», — между тем как строкою выше о Ломоносове было сказано с почтением: «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен». Даже характерные особенности поведения Сумарокова, который в минуты сильного волнения производил впечатление помешанного, нашли свое отражение в ломоносовской эпиграмме, которая представляет собою яркий образец пристрастной сатиры XVIII века, непривередливой в отношении приемов (надо отдать справедливость и Сумарокову: он не остался в долгу перед Ломоносовым и неоднократно печатно и устно поносил его, о чем еще будет идти разговор):

С Сотином — что за вздор? — Аколаст примирился!
Конечно, третий член к ним, леший, прилепился,
Дабы три фурии, втеснившись на Парнас,
Закрыли криком муз российских чистый глас.

Коль много раз театр казал насмех Сотина,
И у Аколаста он слыл всегда скотина.
Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал,
Картавил, шепелял, качался и мигал,
Сотиновых стихов рассказывая скверность,
А ныне объявил любовь ему и верность,
Дабы Пробиновых хвалу унизить од,
Которы вознося российский чтит народ.
Чего не можешь ты начать, о зависть злая!
Но истина стоит недвижима святая.
Коль зол, коль лжив, коль подл Аколаст и Сотин,
Того не знает лишь их гордый нрав один.
Аколаст написал: «Сотин лишь врать способен»,
А ныне доказал, что сам ему подобен.
Кто быть желает нем и слушать наглых врак,
Меж самохвалами с умом прослыть дурак,
Сдружись с сей парочкой: кто хочет с ними знаться, —
Тот думай, каково в крапиву испражняться.

Однако эпиграмма эта дала только лишь выход досаде и раздражению, ничуть не облегчив бремени забот и ожидания, которое ему пришлось нести еще ровно два года. 26 октября 1760 года двор наконец одобрил сооружение монумента Петру I, высказав, однако, Сенату ряд замечаний, на устранение которых ушло немало времени. Ломоносову по распоряжению Сената пришлось составить новую смету. И вот лишь 14 июня 1761 года Сенат окончательно утвердил проект и смету в сумме 80 764 рубля 10 копеек, а также определил выдать ему, Ломоносову, 6000 рублей в счет сметной суммы.

Только теперь Ломоносов получил возможность расплатиться с Мануфактур-конторой и начать наконец работу над созданием мозаичной панорамы жизни и дел Петра I. После этого Ломоносову было положено выдавать по 13 460 рублей 68 копеек ежегодно. Впрочем, эта годовая сумма была выдана ему полностью только однажды — в 1763 году.

Первой картиной для внутренних стен Петропавловского собора была намечена «Левенгауптская баталия», которую предполагалось набирать «с оригинала славного живописного мастера Натиера». Француз Жан-Марк Натье (1685—1776) написал свою картину «Битва при Лесной» в 1717 году (ныне она хранится в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве). Долгое время ее считали изображением битвы под Полтавой, но Ломоносов, как видим, точно знал, какое событие живописал французский художник. Впрочем, тогда же, в 1761 году, Ломоносов приступил к работе над знаменитой «Полтавской баталией», отложив первоначальное намерение изобразить поражение Левенгаупта при деревне Лесной (а впоследствии и отказавшись от него вовсе).

Как свидетельствовал Ломоносов, «с 1762 г., майя с по-

следних чисел, началось действительное мозаикою ставление первой картины — Полтавская победа».

«Лицо самой главной особы», Петра I, было нарисовано для картины «с гипсовой головы, отлитой с формы, снятой с самого лица блаженныя памяти великого государя, каков есть восковой портрет в Кунст-камере». Ломоносов хотел быть не только вдохновенным, но по возможности и документально точным художником, когда дело шло о Петре I. То же самое можно сказать и о «птенцах гнезда Петрова», изображенных на картине. Голову Петра, а также «облики» Я. В. Брюса, Б. П. Шереметева, М. М. Голицына набирали знакомые нам талантливые мастера Матвей Васильев и Ефим Мельников. Остальные мозаичисты, среди которых были и усть-рудицкие крестьяне (все тот же Игнат Петров, Андрей Никитин, Федор Петров и др.), набирали все, «кроме лиц». В начале 1763 года дело шло уже о «приведении к совершенному окончанию мозаичной великой картины Полтавская баталия», о «строении к оной картине позолоченных рам». Ломоносов предполагал закончить ее ко дню годовщины Полтавской победы — 27 июня 1763 года, но по разным причинам работа затянулась. 9 мая 1764 года Ломоносов сообщал М. И. Воронцову: «Мозаичное изображение Полтавской победы уже в марте месяце составлением окончено и теперь на месте отшлифовывается». И лишь за три месяца до смерти Ломоносова, в январе 1765 года, «Полтавская баталия» была отполирована и вставлена в медную позолоченную раму.

Из других мозаичных картин петровского цикла Ломоносову не удалось создать ни одной. Причем картина «Азовское взятие» была уже начата набором, а еще к четырем — «Начало государевой службы в малолетстве», «Сообщение с иностранными», «Спасение из Риги», «Ангутская морская победа» — были сделаны подробные эскизы. Работа над ними (так же, впрочем, как и над «Полтавской баталией») была затруднена переменами при дворе, последовавшими после смерти Елизаветы в 1761 году, а потом и пресеклась вовсе смертью самого Ломоносова.

Сошли со сцены ломоносовские покровители, ценители мозаичного искусства М. И. Воронцов, Иван и Петр Шуваловы. Пришли новые люди. Президент Академии художеств при Екатерине II Иван Иванович Бецкой (1704—1795), который еще возглавлял и Канцелярию от строений, «ведая мозаику», пришел к выводу, что сама идея убранства Петропавловского собора мозаичными украшениями порочна и что ломоносовским картинам «в том соборе быть неприлично». Работы в ломоносовской мастерской были приостановлены. Фабрику в 1768 году закрыли. Крепостных мозаичистов вновь «обратили в хлебопашество», а мастера из вольных с 1769 года остались не у дел. И те и другие никому не смогли передать своего мастерства. Когда в 1786 году Контора строений,

с одобрения И. И. Бецкого, окончательно вознамерилась перевести ломоносовских «мастеров» в другое правление, выяснилось, что переводить уже некого: из всех, кто начинал с Ломоносовым, в живых остался только престарелый шурин его Иван Андреевич Цильх. «Полтавская баталия» оказалась заброшенной в неприглядном сарае...

Сейчас ломоносовские мозаики выставлены в лучших музеях страны — Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее и др. «Полтавская баталия» украшает верхнюю площадку парадной лестницы главного здания Академии наук СССР в Ленинграде. Даже если бы Ломоносов не создал ничего, кроме «Полтавской баталии» или такого шедевра мозаичного искусства, как портрет Елизаветы (картон для которого делал Ф. С. Рокотов), даже в этом случае он обессмертил бы свое имя. Как и во всех других областях культуры, Ломоносов работал здесь, сознавая уникальность своего опыта, иными словами, работал на века, ибо то, что самобытно, — всегда ново, интересно и поучительно для потомков. Доказательством тому — ломоносовские мозаики,

Которы ввек хранят Геройских бодрость лиц.
Приятность нежную и красоту девиц;
Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся.

ГЛАВА II

Что может смертным быть ужаснее удара,
С которым молния из облак блещет яра?
М. В. Ломоносов

Что зыблет ясный ночью луч?
М. В. Ломоносов

У Ф. И. Тютчева, много размышлявшего над судьбою и наследием Ломоносова, есть удивительной силы и простоты четверостишие о Природе. О великом искушении познания:

Природа — Сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Когда обозреваешь все сделанное Ломоносовым, поневоле приходишь в «содрогательное удивление». Но когда начинаешь вчитываться в его научные труды, поэтические произведения, письма, заметки, наброски, постепенно приходишь

к мысли, что Ломоносов, в сущности, — это Сфинкс без загадки. Настолько естественным, само собою разумеющимся начинает казаться чудо. Чудо его всеобъемлющей гениальности. Чудо его вездеприсутствия в нашей культуре. Просто он старался не оставлять без ответа вопросы, которые у него возникали. Именно поэтому он ушел из своей деревни в Москву, а потом в Киев, а потом опять в Москву, а дальше в Петербург, в Германию... Число вопросов растет, а он по-прежнему ни одного старается не оставить без ответа. И ничего с собою не может поделать. Возможно, эта-то воплощенная непобедимость желания ответить на все вопросы и есть Ломоносов в своей сокровенной и откровенной сути.

Тут вот что стоит заметить: каждый из нас, особенно в детстве, бывает обуреваем этой жаждой ответов. Но подавляющее большинство, видя, в какой неимоверной прогрессии возрастают вопросы, рано или поздно начинает убеждать себя, что на все вопросы ответить нельзя, что необходимо избирать себе те или иные реальные, удобовыполнимые задачи. И во все времена на людей, подобных Ломоносову, современники (из тех, кто мыслит приземленно-реально) смотрели с недоумением, опаской, раздражением, тревогой: ведь на их глазах происходили только поиски ответов, а сами ответы отнюдь не гарантировались. Даже если ответы добывались, оценить их мало кто мог. Иначе говоря — посторонний глаз видел прежде всего эмоциональные издержки либо приобретения на пути к ответу — отчаяние, нетерпение, энтузиазм, восторг. Неслучайно петербургские академики за спиной Ломоносова называли его «бешеным мужиком» (конечно же, здесь не только манеры имелись в виду, но и страсть, с которой профессор химии брался «не за свои дела»).

Ломоносовские доброжелатели, при всем их восхищении перед необъятностью его интересов, и те опасались, не слишком ли много он на себя берет. У Ивана Шувалова, который очень часто выступал как бы посредником между Ломоносовым и императрицей, к этим чисто личным ощущениям прибавлялись соображения внешней необходимости. Однажды он пожурил Ломоносова за недостаточно быстрое продвижение его в работе над «Древней российской историей», которую тот начал по желанию Елизаветы. В высшей степени интересно и поучительно посмотреть, как Ломоносов «извинялся» за энциклопедизм своих устремлений в ответном письме к меценату (1753): «Что до других моих, в физике и в химии, упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ниже возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостьми или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался, затем что не нашел в них ничего, кроме скуки.

Итак, уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение Российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют; и сверьх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли перьвой».

Вот так просто и с достоинством сам Ломоносов поведал о неизбежности своего энциклопедизма (а заодно и 24-летнему покровителю наставительно намекнул, что не должен «искать себе с гостьми или домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами» тот, кто действительно хочет служить просвещению). Когда вчитываешься в ломоносовские документы, подобные этому, чудо кажется настолько естественным и объяснимым, что его как будто и вовсе нет. Это примерно так же, как в природе: мы знаем, почему парит орел, знаем, насколько целесообразно устроена эта огромная птица, — и кости-то полые внутри, и строение крыла-то нам известно, и воздушные потоки восходящие мы держим в уме. Словом, никаких загадок, все понятно. Однако, когда видишь, как парит орел, эти сведения, поставляемые нам наукой и детально, но в частностях, объясняющие механику полета, забываются и в конце концов все вновь становится необъяснимым. И для объяснения уже самой этой непостижимости и величественности полета (которая не менее очевидна, чем данные орнитологии и аэродинамики) вновь обретает силу и точность старая, добрая «терминология» — загадка, тайна, чудо. Так же и с Ломоносовым: когда от детального изучения его отдельных трудов возвращаешься к исходной точке, вновь (и, пожалуй, еще в большей степени, чем прежде) буквально содрогаешься от удивления: и как же только вся эта громада знаний и дел оказалась доступной и посильной одному человеку! И тут уже не тютчевские строки о Природе, цитированные выше, приходят на память, а слова самого Ломоносова (с которыми, возможно, Тютчев и спорил):

Коль многи, смертным неизвестны,
Творит Натура чудеса!

1

Одним из таких неизвестных чудес Натуры в 1750-е годы, несмотря на выдающиеся опыты и открытия, сделанные физиками к этому времени, продолжало оставаться атмосферное электричество. Ломоносов еще в предыдущее десятилетие заинтересовался этой проблемой. Тогдашний его интерес выразился прежде всего в том, что он начал постоянно «чинить электрические воздушные наблюдения», делая запи-

си в своем журнале, размышляя над ними, штудируя соответствующую литературу. Наблюдения эти касались двух атмосферных явлений: гроз и северных сияний. Сколь сильно в ту пору волновало Ломоносова все связанное с атмосферным электричеством, свидетельствует его «Вечернее размышление» (1743), где он, еще не будучи готовым к изложению своих физических идей в форме диссертации или «специмена», высказал догадку о природе полярных сияний, которую впоследствии развил уже научно, ссылаясь при этом на свое стихотворение: «...ода моя о северном сиянии, которая сочинена 1743 года, а в 1747 году в Риторике напечатана, содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние движением Ефира произведено быть может».

Впрочем, академические обстоятельства поначалу стимулировали его занятия в основном грозовым электричеством. В письме от 15 августа 1744 года Л. Эйлер известил Петербургскую Академию наук о том, что Берлинская Академия объявила конкурс на решение задачи о причинах электрических явлений. На ту пору петербургские ученые уже вели самостоятельную работу по этим проблемам. Наиболее активными были Ломоносов и Георг-Вильгельм Рихман (1711—1753), один из ломоносовских наставников по Академическому университету в 1736 году. Начиная с 26 апреля 1744 года Ломоносов вел регулярные записи своих наблюдений над грозами. В том же году занялся электричеством и Рихман. Письмо Л. Эйлера помогло им активизировать свои исследования, в конечном счете и объединить их.

Но не только общность научных интересов подтолкнула Рихмана к Ломоносову. Это произошло во многом еще и благодаря тому обособленному положению, которое занимал Рихман во внутриакадемической расстановке сил: не будучи русским, он и иностранцем не был.

Родился Рихман в лифляндском городе Пернове (ныне эстонский город Пярну), который всего лишь за несколько месяцев до того был взят войсками графа Б. П. Шереметева и присоединен к России. Первоначальное образование Рихман получил в Ревеле (ныне Таллинн), а затем «на собственном иждивении» обучался физике и математике в Германии — в университетах Галле и Йены. Впрочем, в 1735 году, не закончив ни того ни другого университетского курса, не удовлетворенный уровнем преподавания (вспомним конфликт Ломоносова с Генкелем!), он приезжает в Петербург и зачисляется студентом в Академию «для занятий физическими науками» под руководством профессора Крафта. Год спустя у Крафта начал учиться и Ломоносов, приехавший из Москвы: вполне вероятно, что они не однажды встречались в ту пору, но подружиться, конечно же, не могли, так как вскоре Ломоносов был направлен в Германию. В 1740 году Рихман становится адъюнктом, а еще через год — уже профессором физики. Работами по калориметрии, теплообмену и испарению жидкости он завоевал европейский авторитет. Им была выведена формула определения температуры смеси жидкостей («формула Рихмана»), и по сей день одна из основных в теплофизике. Он выполнил целый ряд важных экспериментов по теплоемкости и теплопроводности «твердых тел, окруженных воздухом» и показал, что «наибольшую способность удерживать теплоту имеют латунь и медь, затем идет железо, после чего олово и, наконец, свинец из всех исследованных... тел имеет наименьшую способность удерживать теплоту». Кроме того, Рихман изобрел несколько новых научных приборов: гидравлический испаритель для точного определения количества испаряемой воды, термометр для измерения среднесуточной температуры воздуха, барометр особой конструкции.

Когда Рихман и Ломоносов приступили к изучению электрических явлений, эта область физики была на пороге поистине революционных преобразований.

Вплоть до середины XVIII века европейские ученые имели дело лишь с «кабинетным» электричеством и, по существу, не прибавили ничего качественно нового к представлениям древних греков, открывших само явление электризации, наблюдая за способностью янтаря в результате трения притягивать к себе легкие тела. Впрочем, со временем в недрах неторопливых экспериментов стали вызревать ростки новых представлений об электричестве и на рубеже XVI—XVII веков начали пробиваться на поверхность.

В 1600 году была опубликована книга английского физика Вильяма Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земля», в которой на основе проведенных опытов был значительно расширен круг тел, поддающихся электризации при натирании (кроме янтаря, сюда вошли стекло, хрусталь, алмаз, сера и др.), было введено в связи с этим разделение всех физических тел на электрические и неэлектрические, а также была высказана догадка об электрических и магнитных полях. В 1672 году немецкий физик Отто фон Герике описал свои знаменитые опыты с «магдебургскими полушариями» в книге «Новые, так называемые магдебургские опыты, относящиеся к пустому пространству». Этот труд знаменовал собою начало в физике эры электростатических машин. Их прототип образца 1672 года выглядел так: «Желающий пусть возьмет сферический стеклянный сосуд величиной с детскую голову, наполнит его размельченной серой и расплавит ее; после охлаждения разобьет сосуд и вынет шар, который нужно хранить в сухом месте, а если желательно, то можно в шаре пробуравить отверстие, в которое вставить железный стержень, чтобы удобно было вращать шар вокруг него, как вокруг оси». Шар, вращаемый вокруг оси и натираемый ладонью, не только притягивал к себе пушинку, но и отталкивал ее от себя. Кроме того, он светился в темноте и потрескивал

(явление, которое три четверти века спустя будет рассматриваться как аналог молнии и грома).

В начале XVIII века англичанин С. Грей открыл явление электропроводимости. В 1733—1737 годах француз Ш. Ф. Дюфе проводил опыты, позволившие ему сделать вывод о неоднородности электричества. Ученый выделял две его разновидности: «Первое электричество получается при натирании стекла, горного хрусталя, драгоценных камней, шерсти животных и др.; второе при натирании смолы, янтаря, копаловой камеди». Впоследствии электрический заряд, получаемый в первом случае («стеклянный», по терминологии Дюфе), стал называться положительным, а во втором («смоляной») — отрицательным.

Однако ж все эти исследования носили лабораторный характер и прямо не затрагивали проблем, связанных с электричеством атмосферным. Между тем в глубокой древности люди чисто эмпирически, не предпринимая каких-либо попыток научно объяснить грозовые явления, пришли к пониманию природы этих явлений. В Древнем Египте, как показали раскопки, было известно, что от молний можно защититься высокими столбами, покрытыми листовым металлом и заостренными вверху. Иосиф Флавий свидетельствовал, что храм Соломона в Иерусалиме был снабжен медными водосточными трубами, уходящими в подземные резервуары (за тысячу лет не было ни одного разрушения, вызванного молнией). Плиний Старший в «Естественной истории» поведал о том, что в старину люди защищались от молний посредством высоких металлических столбов, врытых в землю (возможно, в этом предании содержался глухой отзвук молвы об изобретенных египтянами мерах защиты от молнии).

В начале XVIII века мысль о сродстве свечения и треска во время электрических экспериментов с молнией и громом во время гроз все настойчивее овладевала умами ученых. В 1716 году разрозненные догадки в этом направлении поддержал своим авторитетом великий Ньютон. Но были и противники подобного взгляда на природу грозовых явлений, и среди них такой крупный физик, как голландец Питер Мушенбрек, изобретатель прообраза современных электрических конденсаторов — так называемой «лейденской банки». В 1748 году он попытался разбить оппонентов следующими здравомысленными доводами: «Весь удар молнии вибрирует в воздухе, образуя змеевидные линии, а прохождение электричества осуществляется через пустоту и никогда не проходит через воздух... Молния мгновенно расплавляет и пробивает металлы, электричество же не способно расплавить тончайшие листы меди, золота или серебра; молния в воздухе с треском разряжается одна, без наличия какого-либо тела, электричество же, как замечено, одно в воздухе никогда не производило треска».

Однако ж в ту самую пору, когда П. Мушенбрек пришел к своему умозаключению, не оставлявшему, казалось бы, никаких шансов сторонникам электрической природы гроз, на другом конце Земли, в Западном полушарии, а точнее — в североамериканском городе Бостоне, великий самоучка Бенджамен Франклин уже два года как плодотворно трудился в своем физическом кабинете над доказательством обратного. Летом 1750 года он попытался опубликовать результаты своих исследований в письмах, направленных в Лондонское королевское общество. В них говорилось, что обкладки изобретенной П. Мушенбреком «лейденской банки» заряжены противоположным электричеством и что заостренный металлический стержень отбирает электричество от заряженного кондуктора. Кроме того, Б. Франклин предлагал экспериментально установить идентичность атмосферного и лабораторного электричества. С этой целью, писал он, надо поставить на высоком месте будку, из которой должен был идти наружу высокий (двадцать футов) заостренный железный стержень. Человек, сидящий в будке на скамейке со стеклянными ножками, держа «за сургучную ручку» конец заземленной проволоки, должен во время грозы прикоснуться им к внутреннему концу железного стержня. Появление искр в точке соприкосновения и будет означать идентичность атмосферного и лабораторного электричества.

Лондонское королевское общество отказалось печатать сообщение Б. Франклина. Впрочем, его знакомый, один из членов этого авторитетного ученого собрания, в конце 1751 года издал его письма в частной типографии, и они стали, таким образом, известны в научных кругах Европы. Первая же экспериментальная проверка идей Б. Франклина, осуществленная в мае 1752 года французским физиком Т. Далибаром (да простится неизбежный здесь каламбур), с блеском и треском подтвердила их правоту: железный шест в сорок футов вышины дал в Марли, под Версалем, во время случившейся там сильной грозы изумительно яркие и крупные искры. А немного погодя и сам Б. Франклин добился успеха, запустив во время грозы воздушный змей с прикрепленным к нему металлическим острием (это отступление от своих же рекомендаций было вызвано тем, что Б. Франклин жил в местности низменной, и будка, им описанная, была бы неэффективна; между тем Т. Далибар проводил свой опыт в точном соответствии с описанием Б. Франклина). Тогда же Б. Франклин сконструировал первый громоотвод. Спустя столетие Александр Гумбольдт так оценивал открытия Б. Франклина: «...с этого периода электрические процессы переходят из области спекулятивной физики в область мировоззрения, из тесноты кабинетов на просторы природы».

Ломоносов и Рихман очень скоро узнали об опытах Т. Далибара и Б. Франклина. Новые данные необходимо бы-

ло соотнести с направлением собственных исследований. Рихман соорудил у себя на дому модернизированный вариант незаземленной установки Франклина (или «громовой машины», как удачно назвал ее Ломоносов). Уже 21 июля 1752 года в газете «Санктпетербургские ведомости» появилась заметка, в которой рассказывалось и о самой машине и о том, для чего она была сделана Рихманом: «Из середины дна бутылочного выбил он иверень (т. е. кусок. — *Е. Л.*) и сквозь бутылку продел железный прут длиною от 5 до 6 футов, толщиною в один палец, тупым концом и заткнул горло ее коркою. После велел он из верхушки кровли вынуть черепицу и пропустил туда прут, так что он от 4 до 5 футов высунулся, а дно бутылки лежало на кирпичах. К концу прута, который под кровлею из-под дна бутылочного высунулся, укрепил он железную проволоку и вел ее до среднего апартамента все с такою осторожностию, чтобы проволока не коснулась никакого тела, производящего электрическую силу. Наконец, к крайнему концу проволоки приложил он железную линейку, так что она перпендикулярно вниз висела, и к верхнему концу линейки привязал шелковую нить, которая с линейкою параллельно, а с широчайшею стороною линейки в одной плоскости висела...»

Отсюда явствует, что «громовая машина» Рихмана была снабжена простейшим электрометром его же системы. Далее в заметке сообщалось, что Рихман ежедневно с самого начала июля следил за тем, «отскочит ли нить от линейки и произведет ли потому какую электрическую силу, токмо не приметил ни малейшей перемены в нити. Чего ради с великою нетерпеливостию ожидал грому, который 18 июля в полдень и случился. Гром, по-видимому, был не близко от строения, однако ж он после первого удара тотчас приметил, что шелковая нить от линейки тотчас отскочила, а материя с шумом из конца линейки в светлые искры рассыпалась и при каждом осязании причиняла ту же чувствительность, какую обыкновенно производят электрические искры...» Подчеркнув, что «не надобно к тому опыту ни электрической машины, ни электризованного тела» и что «гром совершенно служит вместо электрической машины», газета подводила следующий итог: «Итак, совершенно доказано, что электрическая материя одинакова с громовою материею, и те раскаиваться станут, которые преждевременными маловероятными основаниями доказывать хотят, что обе материи различны».

Сам Рихман об итогах опыта доложил коллегам в Академии месяц спустя в других, менее патетических выражениях: «18 июля, после полудня, когда слышны были раскаты грома, я наблюдал то, что до той поры тщетно ждал, не только отталкивание нити от линейки, но и электрический огонь, с шипением вырывавшийся из конца железной линейки; из проволоки также извлекались с треском электрические искры при прикосновении к ней, где бы ее ни касались, — не иначе, как бывает это при искусственной электризации проволоки посредством электрической машины». Рихман высказал весьма плодотворные мысли о том, что вследствие идентичности атмосферного и лабораторного электричества молнию в принципе можно изучать в физическом кабинете и что существует неразрывная связь между электрическими и магнитными явлениями, что наэлектризованные тела окружены электрическими полями.

В поэме «Письмо о пользе Стекла» (обстоятельный разговор о которой все еще впереди) Ломоносов по свежим следам (поэма писалась в конце 1752 года) воспел опыты Далибара, Франклина и своего друга Рихмана:

> Внезапно чудный слух по всем страна́м течет,
> Что от громовых стрел опасности уж нет!
> Что та же сила туч гремящих мрак наводит,
> Котора от Стекла движением исходит,
> Что, зная правила, изысканны Стеклом,
> Мы можем отвратить от храмин наших гром.
> Единство оных сил доказано стократно.
> Мы лета ныне ждем приятного обратно:
> Тогда о истине Стекло уверит нас,
> Ужасный будет ли безбеден грома глас?
> Европа ныне в то всю мысль свою вперила
> И ма́хины уже пристойны учредила.

Ломоносов и сам к тому времени проводил исследования по изучению атмосферного электричества. В одном из отчетов о проделанной работе он писал: «В 1752 году... в физике: 1) чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностию...» Но к концу года, надо полагать, они с Рихманом решили объединить свои усилия, о чем, собственно, и свидетельствует косвенным образом строчка из поэмы: «Мы лета ныне ждем приятного обратно».

Именно лето 1753 года стало кульминационной точкой и совместных их исследований, и личной их дружбы. Как и положено настоящему поэту, Ломоносов был пророком. Вопрос, заданный им в «Письме о пользе Стекла»: «Ужасный будет ли безбеден грома глас?» — оказался роковым.

Впрочем, обо всем по порядку.

2

«Электрические воздушные наблюдения» в 1752 году Ломоносов проводил в основном у себя на дому и в Химической лаборатории, где была установлена «громовая машина», подобная той, которую имел Рихман. А в 1753 году он устанавливает еще одну — в Усть-Рудице. Хотя строительство фабрики только началось, и, как мы помним, «приятное лето» 1753 года было для него весьма и весьма жарким

не столько даже с метеорологической, сколько с практической точки зрения, тем не менее Ломоносов, презрев деловую свою загруженность, не упускал и в Усть-Рудице случая наблюдать грозовые явления.

Ломоносов и Рихман обменивались сообщениями о ходе проводимых ими опытов. В публичном акте Академии, намеченном к проведению в сентябре 1753 года, они должны были вместе докладывать о новейших достижениях физики в области электричества. «Оный акт, — сообщал Ломоносов в письме к И. И. Шувалову от 31 мая, — буду я отправлять с г. профессором Рихманом: он будет предлагать опыты свои, а я — теорию и пользу, от оной происходящую, к чему уже я приуготовляюсь».

В том же письме Ломоносов рассказал о некоторых своих наблюдениях: «...приметил я у своей громовой машины 25 числа сего апреля, что без грому и молнии, чтобы слышать или видеть можно было, нитка от железного прута отходила и за рукою гонялась; а в 28 число того же месяца, при прохождении дождевого облака, без всякого чувствительного грому и молнии происходили от громовой машины сильные удары с ясными искрами и с треском, издалека слышным, что еще нигде не примечено и с моею давною теориею о теплоте и с нынешнею о электрической силе весьма согласно и мне к будущему публичному акту весьма прилично».

12 июля 1753 года в Усть-Рудице Ломоносов наблюдал за атмосферой уже во время грозы. Причем характерная деталь: не имея под рукой металлической проволоки, в опыте с «громовой машиной» он использовал на этот раз... «прилучившийся топор» (стройка в Усть-Рудице шла полным ходом). Для сравнения заметим, что Франклин, экспериментируя с воздушным змеем, тоже применял «подручное средство» — обычный дверной ключ. Наука об электричестве была еще молода, не избалована ассигнованиями на эксперименты и, возможно, поэтому так гениально непосредственна и сметлива в добывании истины, а заодно — так эмоциональна и живописна в выражениях, о чем отчасти свидетельствует ломоносовское описание его усть-рудицкого опыта: «Первое: выскакивали искры с треском беспрерывно, как некоторая текущая материя из самых углов, в расстоянии неполного дюйма, когда, топор приводя, рукою держал за железо. Но когда, к нему не прикасался, тогда конический шипящий огонь на два дюйма и больше к оному простирался. Второе: в сем состоянии внезапно из всех углов неравных бревен, бок окна составляющих (дом-то усть-рудицкий еще не достроен. — *Е. Л.*), шипящие конические сияния выскочили и к самому аршину достигли и почти вместе у него соединились. Продолжение времени их не было больше одной секунды; ибо великим блеском, с громом почти соединенным, все, как бы угаснув, кончилось».

Как видим, первые шаги молодой науки вдобавок ко всему были в большой степени еще и небезопасны, и приведенные выше слова Ломоносова о том, что он «чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностию», не были преувеличением.

Между тем наступил роковой день 26 июля 1753 года. Ломоносов и Рихман, как обычно, явились в Академию к десяти часам утра, то есть к тому времени, когда по обыкновению начиналось заседание Академического собрания. Вместе с другими профессорами они слушали сообщения по вопросам, входившим в повестку, и, кроме того, обсуждали детали будущего совместного выступления на публичном акте. Ближе к полудню Рихман заметил в окно приближение большой грозовой тучи. Вместе с Ломоносовым они попросили разрешения покинуть собрание и заторопились по домам к своим установкам. Рихман при этом захватил с собою «грыдыровального мастера» Ивана Соколова.

Ломоносов жил совсем рядом с Академией и пришел домой быстрее. Он сразу же направился к «громовой машине» осмотреть ее перед опытом, а Елизавета Андреевна тут же стала распоряжаться насчет обеда. Рихман жил значительно дальше и добирался до дома дольше. Пошел второй час пополудни.

О том, что произошло в эту пору в доме Рихмана, спустя неделю поведали «Санктпетербургские ведомости»: «Когда г. профессор, посмотревши на указателя электрического, рассудил, что гром еще далеко отстоит, то уверил он грыдыровального мастера Соколова, что теперь нет еще никакой опасности, однако когда подойдет очень близко, то-де может быть опасность. Вскоре после того, как г. профессор, отстоя на фут от железного прута, смотрел на указателя электрического, увидел помянутый Соколов, что из прута, без всякого прикосновения, вышел бледно-синеватый огненный клуб, с кулак величиною, шел прямо ко лбу г. профессора, который в самое то время, не издав ни малого голосу, упал назад на стоящий позади его у стены сундук. В самый же тот момент последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было, отчего и оный грыдыровальный мастер упал на земль и почувствовал на спине у себя некоторые удары, о которых после усмотрено, что оные произошли от изорванной проволоки, которая у него на кафтане с плеч до фалд оставила знатные горелые полосы».

Сам Ломоносов об этом трагическом событии сразу же написал И. И. Шувалову. Его письмо прекрасно характеризует в нем и ученого и человека. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин заметил: «...Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана!» Оно стоит того, чтобы привести его целиком:

«Милостивый государь Иван Иванович!

Что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо

почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был посылан. Он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в Конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линеи с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, затем что он еще был тепл, однако голова его повреждена, и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер г. Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастии плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора

до смерти своей пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Ему жалованья было 860 руб. Милостивый государь! исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки и

вашего превосходительства
всепокорнейшего слугу в слезах
Михайла Ломоносова.

Санктпетербург
26 июля
1753 года».

Но в этом письме обезоруживает не только подчеркнутое Пушкиным добродушие Ломоносова, не только его трогательная «податливость к сиротам», которую, как мы помним, односельчане отмечали и у его отца. Здесь интересно не только вполне понятное и вполне обоснованное его опасение, что трагический конец Рихмана недоброжелателями русского просвещения может быть «протолкован противу приращения наук». Поразительно в этом искреннем человеческом документе еще и то, что, несмотря на всеобщее потрясение и горе (зрелище двух несчастных женщин, плач детей, «великое множество сошедшегося народа»), несмотря на собственную печаль о погибшем, несмотря на леденящую мысль о том, что и он сам бы мог разделить его участь, несмотря на всю эту обстановку, казалось бы, никак не располагающую к подведению итогов научного эксперимента, сознание Ломоносова как бы помимо его воли отмечает детали события, имеющие самое непосредственное и важное касательство к существу и задачам этого эксперимента: «красно-вишневое пятно видно на лбу», «вышла электрическая сила из ног в доски», «башмак разодран, а не прожжен», «электрическую силу отвратить можно»: «шест с железом должен стоять на пустом месте». Ломоносовская мысль не знала покоя!

При всем том она была удивительно цельна внутри себя. Это только для удобства истолкования приходится иногда вычленять в ней отдельно — собственно научный и непосредственно этический аспекты, как и было сделано в только что приведенном случае. В действительности же и забота о том, чтобы «сей случай не был протолкован противу приращения наук», и хлопоты о дальнейшей судьбе вдовы и детей Рихмана, — все это развитие **единого** содержания ломоносовской мысли, в которой познавательное и гуманное начала неразрывны. Ломоносов с одинаковой страстью боролся за назначение пожизненной пенсии вдове и за проведение публичного академического акта по намеченной теме, несмотря ни на какие препятствия.

Препятствия же возникли сразу. И сразу по обоим пунктам.

Ну, во-первых, начались проволочки с пенсией. Шумахер даже в этом, казалось бы, таком очевидном, таком христианском деле занял резко враждебную позицию, поскольку инициатива исходила от Ломоносова. Время шло, а о бедной вдове в Академической канцелярии и думать забыли. Больше того: у нее вычли из жалованья мужа даже за тот трагический день 26 июля, несмотря на то, что Рихман в течение первой половины его не только был жив, но и присутствовал в Академическом собрании. По истечении первого месяца после похорон друга и коллеги Ломоносов обращается с новым письмом, теперь уже к вице-канцлеру М. И. Воронцову:

«Сиятельнейший граф,

милостивый государь Михайло Ларионович!

Ваше сиятельство, милостивого государя нижайшим прошением утруждать принимаю смелость ради слез бедной вдовы покойного профессора Рихмана. Оставшись с тремя малыми детьми, не видит еще признаку той надежды о показании милости, которую все прежде ее бывшие профессорские вдовы имели, получая за целый год мужей своих жалованье. Вдова профессора Винсгейма, которая ныне за профессором Штрубом, осталась от первого мужа небедна и детей не имела, однако не токмо тысячу рублев мужнее жалованье по смерти его получила, но сверх того и на похороны сто рублев. А у Рихмановой и за тот день жалованье вычтено, в который он скончался, несмотря на то, что он поутру того же дни был в Собрании. Он потерял свою жизнь, отправляя положенную на него должность в службе е. в., то кажется, что его сирот больше наградить должно. Ваше сиятельство как истинный о благополучии наук рачитель великое милосердие с бедными учините, ежели его сиятельство, милостивого государя графа Кирила Григорьевича к показанию ей милости преклонить изволите. Между тем, поздравляя вас с пресветлым праздником тезоименитства всемилостивейшия государыни, с беспрестанным высокопочитанием пребываю

вашего сиятельства
всепокорнейший и усерднейший слуга
Михайло Ломоносов

Из Санктпетербурга
Августа 30 дня
1753 года».

М. И. Воронцов помог лишь отчасти: 16 сентября Академическая канцелярия определила выдать вдове единовременно сто рублей, а затем, в два срока, выплатить ей годовое жалованье умершего мужа (860 р.). Что же касается пожизненной пенсии, на которой настаивал Ломоносов, то в ней вдове было напрочь отказано «за неимением таких примеров». При этом Академическая канцелярия во главе с Шумахером не дала себе труда задуматься над тем, что и «таких примеров», какой показал Рихман, пожертвовав жизнью ради науки, тоже ведь не имелось за все без малого тридцатилетнее существование Петербургской Академии.

Что же касается тревожных предчувствий Ломоносова относительно того, что трагический конец Рихмана может вызвать опасные последствия для наук, в частности, повлиять на проведение публичного акта в Академии (к которому он продолжал готовиться), то и они имели под собою более чем достаточно оснований. Общество было взбудоражено и торжествовало в своем суеверном страхе. Убеждение большинства в том, что человек, который вторгается в сферы, подлежащие компетенции Бога, неизбежно должен быть наказан свыше, получило патриархально-этическое, летописно-спокойное выражение в «Записках» одного из тогдашних вельмож генерала В. А. Нащокина: «Июля 26 убило громом в Санкпетербурге профессора Рихмана, который машиною старался о удержании грома и молнии, дабы от идущего грома людей спасти; но с ним прежде всего случилось при той самой сделанной машине». Даже среди ломоносовских доброжелателей из высшей знати случай с Рихманом «был протолкован противу приращения наук». Так, брат вице-канцлера граф Роман Илларионович Воронцов (отец княгини Е. Р. Дашковой), относившийся к Ломоносову покровительственно, не одобрял предпринятое им с Рихманом «дерзкое испытание природы», не понимал ломоносовского интереса к атмосферному электричеству и вообще, как писал о нем вице-президент Адмиралтейской коллегии граф И. Г. Чернышов в письме к И. И. Шувалову, «ненавидел электрическую машину и прежде, когда мы еще не знали, что она смертоносна».

Учитывая эти настроения в верхах, Шумахер 5 августа сделал представление К. Г. Разумовскому о необходимости отменить публичный акт, назначенный на 5 сентября. Мотивировать свою позицию в данном случае было легче легкого: смерть Рихмана, по его мнению, снимала вопрос о диспуте по электричеству и потому, что показывала неясность, нерешенность проблемы с научной точки зрения (следовательно, преждевременность ее вынесения на публику), и еще потому, что лишала главного докладчика, Ломоносова, его оппонента (следовательно, и с организационной точки зрения акт был не подготовлен). Разумовский согласился с Шумахером и отменил торжественный акт.

Ломоносов — в который раз! — не смирился с волей «высокого начальства». 18 августа он пишет Шумахеру письмо, в котором возражает по самому основному пункту: «Вашему высокородию известно, что моя речь может представлять нечто большее, чем ответ на чью-либо другую, почему она довольно хорошо подойдет в качестве главной речи; на это может воспоследовать короткий ответ какого-либо ака-

демика, который может вместе с тем предложить и напечатание его. Господин профессор Гришов как секретарь Конференции будет, по моему мнению, для сего наиболее подходящим».

Профессор астрономии и с 1751-го по 1754 год конференц-секретарь Академии Августин-Нафанаил Гришов (1726—1760), которого Ломоносов предложил своим оппонентом, был приятелем Шумахера. *Это необходимо иметь в виду*, читая шумахерский ответ, написанный сразу же по получении ломоносовского письма: «В настоящую минуту имею честь высказать мое мнение в ответ на ваше письмо. Разумно, чтобы статья вашего высокородия была главною... Только об этом надобно решить в Конференции. Я также опасаюсь, чтобы г. профессор Гришов не уклонился от этого за краткостью времени или, Бог знает, по каким причинам. Не угодно ли будет вашему высокородию переговорить с ним об этом до Конференции, чтобы расположить его к тому. Его сиятельству г. президенту это будет очень приятно, а я со своей стороны ничего не имею против этого возразить». Другими словами, Шумахер предлагал Ломоносову вести дальнейшие переговоры о публичном акте на его, Шумахера, условиях: это хорошо, что вы сами выбрали оппонентом А.-Н. Гришова, но как человек сторонний рекомендую вам переговорить с ним загодя (кто знает, что ему может прийти в голову, вдруг откажется); президенту я доложу, и, надо думать, ему ваше предложение придется по вкусу; сам я не намерен чинить вам никаких препятствий. И ни слова о том, что президенту уже отослано предложение об отмене торжественного собрания, что президентский ответ (скорее всего согласный с мнением Шумахера) ожидается в Петербурге со дня на день, что А.-Н. Гришов посвящен во все детали, покуда неизвестные Ломоносову.

Впрочем, пять дней спустя и Ломоносов знал о том, что затеял Шумахер у него за спиной. Уже 23 августа он сообщил И. И. Шувалову об интригах своего врага: «Публичное действие после Рихмановой смерти обещал неоднократно произвести в дело и часто ко мне присылал о поспешении, а как я ныне читал, то он сказал, что из Москвы не имеет известия, будет ли актус. Между тем слышал я от профессора Гришова, которому он сказал, что актус будет отложен».

Выяснив истинное положение дел с публичным актом, Ломоносов не ограничился обычными в подобных случаях просьбами о помощи к И. И. Шувалову. Он дважды обращается с прошениями уже непосредственно к К. Г. Разумовскому, доказывая необходимость проведения намеченного как с моральной (почтить память покойного), так и с научно-государственной точек зрения (в условиях, когда вся Европа занялась атмосферным электричеством, русская наука не должна опоздать: ведь ее престиж — это в определенном смысле престиж России вообще). Ломоносов даже предлагает новую

дату проведения торжественного собрания Академии наук — 25 ноября, день восшествия Елизаветы на престол.

Однако и Шумахер со своей стороны делает все, чтобы похоронить ломоносовскую идею. Он согласен даже, раз уж Ломоносов так жаждет познакомить научную общественность со своими опытами и открытиями, опубликовать готовую ломоносовскую речь в виде статьи в «Комментариях» Академии. *7 октября, посылая* И. И. *Шувалову копию своей речи*, Ломоносов объясняет, почему он не пойдет на это: «Переписанную речь мою к вашему превосходительству переслать принимая смелость, еще вас, милостивого государя, прошу, чтобы о произведении оной к 25-му ноября постараться, ибо мне дают наветки, что ее в «Комментарии» напечатать, однако я тем отнюд не могу быть доволен и за прямой отказ почесть должен. Она таким образом сочинена, чтобы говорить в Собрании и после особливого случая. В других обстоятельствах должен я буду много переменить и выкинуть, что мне много труда стоит. Сверх того с «Комментариями» выйдет она весьма поздно».

Воля Ломоносова вновь превозмогла все преграды: 11 октября К. Г. Разумовский отменил свое прежнее распоряжение и предписал Шумахеру перенести публичное заседание Академии на 25 ноября, «дабы г. Ломоносов с новыми своими изобретениями между учеными в Европе людьми не упоздал, и чрез то труд бы его в учиненных до сего времени электрических опытах не пропал». В тот же день А.-Н. Гришов был утвержден официальным оппонентом Ломоносова.

Сразу же после этого президентского распоряжения Ломоносов (впрочем, еще не зная о нем) начал читать свою речь в Академическом собрании на предмет ее обсуждения. 18 октября чтение было закончено, и тогда же в Академическую канцелярию пришел ордер К. Г. Разумовского о проведении публичного акта 25 ноября. Теперь, по существу, Шумахер лишался возможности основательно содействовать провалу ломоносовской речи. В ход была пущена «малая артиллерия»: оставалась еще надежда повлиять на итоги обсуждения. Если отзыв ученых о ломоносовской речи будет отрицательным, то публичный акт не состоится даже вопреки президентскому ордеру. 26 октября обсуждение состоялось, но дальше отдельных «сумнительств», высказанных в письменных рецензиях профессоров А.-Н. Гришова, И.-А. Брауна и Н. И. Попова, дело не пошло. И хотя речь Ломоносова не была утверждена в этот день окончательно, стало ясно, что в целом она, даже при самом пристрастном и придирчивом прослушивании или прочтении, может быть произнесена в публичном акте.

Готовясь к ответу на замечания рецензентов, Ломоносов не мог преодолеть все возраставшего гнева на Шумахера. 1 ноября он писал И. И. Шувалову: «Что я письмами вашего превосходительства ныне не оставлен, сие служит мне к великому утешению в нынешних обстоятельствах. Советник

Шумахер, пренебрегая то, что он от его сиятельства г. президента присланным ордером о произведении публичного акта изобличен был в своих неправедных поступках в рассуждении моей речи, употребил еще все коварные свои происки для ее остановки. Правда, что он всегда был высоких наук, а следовательно, и мой ненавистник и всех профессоров гонитель и коварный и злохитростный приводчик в несогласие и враждование, однако ныне стал еще вдвое, имея двойные интересы, то есть прегордого невежду, высокомысленного фарисея, зятя своего Тауберта. Все ныне упражняющиеся в науках говорят: не дай бог, чтобы Академия досталась Тауберту в приданое за дочерью Шумахеровой. Обоих равна зависть и ненависть к ученым, которая от того происходит, что оба не науками, но чужих рук искусством, а особливо профессорским попранием подняться ищут и ныне профессоров одного на другого подущать и их несогласием пользоваться стараются. Я о всем писал к его сиятельству г. президенту нарочито пространно и всепокорнейше просил, чтобы сделать конец двадцатилетнему бедному Академии состоянию и избавить от приближающегося конечного разорения». Ломоносов доказывал необходимость передачи всех дел, касающихся науки, из рук Канцелярии в ведение Академического собрания. Это тем более необходимо было, что Шумахер готовил себе замену в лице своего зятя «Ивана Ивановича» (Иоганна-Каспара) Тауберта. Ломоносов с нетерпением ожидал, как отнесется президент к его предложениям.

Все это необходимо иметь в виду, чтобы представить себе, в каких условиях проходило обсуждение ломоносовского ответа рецензентам и уточнение организационных вопросов, касающихся заседания 25 ноября. Дебаты в Академическом собрании состоялись 1, 3, 11, 16 и 19 ноября. Ломоносов всерьез опасался, что говорение о подробностях торжественного заседания может затянуться. До намеченного срока оставалось всего три недели, а дебатам, которыми руководил Шумахер, еще не предвиделось конца. Ломоносов пребывал на пределе своего терпения. И вот 4 ноября он не выдержал и дал наконец выход своим чувствам. Не в силах бороться с искушением протеста и вызова академическим рутинерам во главе с Шумахером он, как в молодые годы, резко и недвусмысленно заявил о своей оценке происходящего. Когда архивариус Иван Стафенгаген подал протокол последнего заседания Академического собрания на подпись Ломоносову, тот, взглянув на список академиков в конце протокола и увидев свою фамилию после Тауберта, совершил поступок, о котором помянутый архивариус подал рапорт в Канцелярию, а именно — «свое имя из вышеписаного числа вычернил и приписал тут резоны свои, для чего он то сделал, и имя свое подписал на самом верху выше всех».

Так же, как во время его первых столкновений с Шумахером после возвращения из Германии, 4 ноября 1753 года вопрос для Ломоносова стоял предельно естественно, благородно и просто: именно потому, что погиб коллега, самой смертью своею способствовавший приближению к научной истине, ученое сообщество должно было и в уважение к его памяти, и во имя истины провести публичный акт. Вновь этика и гносеология неразрывны в сознании Ломоносова. Его «резоны» таковы: кто не со мной, а с Шумахером, тот действует на руку подлецам и мракобесам, ибо проволочка с утверждением речи грозит обернуться «остановкой» публичного акта, а тогда окажется, что смерть Рихмана произошла непонятно для чего, то есть оказалась не только трагичной, но бессмысленной, нелепой. Речь... должна все объяснить... Ведь они же читали ее и не могли не признать, что все сообщаемое в ней ново, добыто на основе опытов, никем еще не проводившихся. Чтобы увидеть это, не надо обладать специальными познаниями — достаточно простого общего кругозора просвещенного человека. На «сумнительства» коллег, более или менее компетентных в вопросах электричества, ответ дан. Но — говорение продолжается. Так получайте же и знайте, кто на самом деле первый ученый Академии!..

Шумахер тут же уселся за составление рапорта президенту. Можно себе представить, с каким удовлетворением выводил он слова о том, что виною всех академических непорядков — «характеры, некоторым академикам сверх профессорского их достоинства данные», что без соблюдения субординации и научные результаты деятельности Академии будут плачевными, что для искоренения «прекословий и раздоров» необходимо раз и навсегда указать, чтобы «профессоры, характер имеющие... должность свою исправляли по академическому регламенту». Трудно сказать, чем бы все кончилось для Ломоносова, если б как раз в ту пору не пришло из Москвы распоряжение К. Г. Разумовского о том, что ко всем делам между академиками Канцелярия впредь никакого касательства не имеет.

Больше того: именно 4 ноября, когда Ломоносов так смутил архивариуса И. Стафенгагена своими исправлениями в протоколе Академического собрания, президент направил в Петербург предписание срочно закончить все подготовительные работы к торжественному заседанию Академии 26 ноября (уточненная дата), а также ускорить печатание речи Ломоносова, с которой он уже ознакомился по авторскому тексту, присланному в Москву.

Теперь Шумахер выступает уже как бы «сторонником» Ломоносова. 10 ноября, за две недели до публичного акта, после того, как в течение трех с половиной месяцев он принял все доступные ему меры к «остановке» ломоносовской речи и самого акта, Шумахер посылает Ломоносову письмо, в котором... торопит его: «По приказанию его сиятельства г. гетмана, речь вашего благородия должна быть произнесе-

на в торжественном собрании 26 числа, напечатана, переплетена и к сроку доставлена в Москву, а между тем время для того очень коротко, почему дружески прошу вас поспешить корректурой или же дать согласие на то, чтобы речь, которую ваше благородие послали его сиятельству, была напечатана. Так как его сиятельству угодно было еще приказать, чтобы задачи были установлены в Конференции, решено завтра утром около 11 часов созвать заседание, на которое ваше благородие также будете приглашены».

Оказалось, что при желании все можно сделать. И сделать — быстро. Успели и с подготовкой заседания, и с печатанием книжки. Она была издана под заглавием «Торжество Академии наук... празднованное публичным собранием на другой день восшествия на престол ее императорского величества, то есть ноября 26 дня 1753 года» и включала в себя: 1. «Программу», в которой объявлялась задача на премию Петербургской Академии наук 1755 года — «сыскать подлинную электрической силы причину и составить точную ее теорию»; 2. «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» Ломоносова; 3. «Августина Нафанаила Гришова профессора астрономии ответ именем академиков на речь господина советника и профессора Ломоносова и Рассуждение о необыкновенных воздушных явлениях, им самим примеченных»; 4. «Изъяснения, надлежащие к слову о электрических воздушных явлениях» Ломоносова.

3

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие торжественному собранию Академии наук 26 ноября 1753 года. Они, так же как оживленные толки и пересуды вокруг трагической смерти Рихмана, еще не утихшие к этому времени, нашли отражение в речи Ломоносова.

Сейчас уже трудно определить, кого было больше в академическом конференц-зале, — противников или сторонников Ломоносова, когда он встал, чтобы сказать свое «Слово». По-видимому, в основном там сидели люди, далекие от науки, а среди слушателей речи, хотя бы отчасти разбиравшихся в предмете, были и такие, кто сочувствовал ему, и те, кому была глубоко безразлична его борьба с Шумахером, но важна научная сторона происходящего, и, разумеется, те, кто всеми силами своих низких душ желал ему провала... Но так уж получилось, что интересы и чувства всех присутствующих (будь то праздное любопытство профанов, или страстное пожелание успеха, переполнявшее соратников, или настороженная любознательность кабинетных ученых, или же злорадное предвкушение краха, снедавшее недоброхотов) сходились в одной точке.

Смерть Рихмана... Все ждали, что скажет Ломоносов об этом.

Когда начинаешь читать «Слово о явлениях воздушных», держа в памяти все, что ему предшествовало и чем сопровождалась работа над ним, неизбежно возникает почти физическое ощущение присутствия самого Ломоносова, преисполненного нетерпения и спокойствия одновременно, восторга и сосредоточенности, негодования и ответственности. Ощущение, что сейчас решаются и личная судьба его и ближайшие судьбы русского просвещения. В общем-то, вся сознательная жизнь Ломоносова состояла из дней, подобных 26 ноября. Правда, люди не всегда были при этом. Но сам он, должно быть, всегда их видел перед собой — и современников и потомков, ради которых и свершался его просветительский подвиг. Пожалуй, лучше и точнее, чем А. Н. Радищев, нельзя сказать о ломоносовском энтузиазме в подобные минуты: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным?»

Ломоносов начал «Слово» с того, что было ожидаемо всеми. И каждый получил свое. Рихман — достойный его реквием и вечную память. Враги просвещения — достойную отповедь. Друзья — новое подтверждение неодолимости ломоносовского духа. Праздная публика — обильную пищу для размышлений над великими чудесами натуры и высокой трагедией познания.

«У древних стихотворцев обычай был, слушатели, что от призывания богов или от похвалы между богами вмещенных героев стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрести больше красоты и силы...» — так начал Ломоносов, оратор и проповедник. Он смотрит на собравшихся в зале (а при составлении речи видел их «в мечтании»). Он успокаивается. Публика же настораживается, напрягает внимание. Он уже в самом начале сильнее ее, ибо она — в неизвестности, а он — знает, что́ ей предстоит, куда он поведет ее, в какие глубины низвергнет и до каких немыслимых высот вознесет. К тому же публике с самого начала дан соответствующий эмоциональный настрой и предварительное указание на то, какого уровня предстоит разговор. «Боги» и «герои» — вот ключевые слова в зачине. Когда Ломоносов писал оды, он в подобные моменты прямо восклицал:

Се хощет лира восхищенна
Гласить велики имена.

Теперь же, сказав о «древних стихотворцев обычае», он сразу дает понять, какие «велики имена», подобные «богам» и «героям» древности, он намерен возгласить: «Приступая к

предложению материи, которая не токмо сама собою многотрудна и неисчетными претнновениями превязана, но сверх того скоропостижным поражением трудолюбивого рачений наших сообщника много прежнего ужаснее казаться может к очищению оного мрака, который, как думаю, смертным сим роком внесен в мысли ваши, бо́льшую плодовитость остроумия, тончайшее проницание рассуждения, изобильнейшее богатство слова иметь я должен, нежели вы от меня чаять можете. Итак, дабы слову моему приобретена была важность и сила и взошло бы любезное сияние к изведению из помрачения прежнего достоинства предлагаемой вещи, употреблю имя героя, которого едино воспоминание во всех народах и языках внимание и благоговение возбуждает».

Имя погибшего ученого упоминается рядом с именем императора. Рихман был одним из тех, на кого возлагал надежды Петр, который является примером для всех сидящих в зале независимо от того, высокую ли, низкую ли ступеньку в государственной иерархии они занимают. Примером самозабвенной преданности к наукам и невиданной дотоле щедрости к ним: «Было ли где великолепное узорочных вещей собрание, или изобильная библиотека, или почтенных художеств произведение, которых бы он не видел, и всего взору своего достойного не выспросил и не высмотрел. Были ли тогда человек, учения славою знатный, которого бы великий сей гость не посетил и, насладясь его ученым разговором, благодеянием не украсил. Коль великие употребил иждивения на приобретение вещей драгоценных, многообразною натуры и художества хитростью произведенных, которые к распространению наук в отечестве удобны быть казались! Какие обещал воздаяния, ежели кто великое что или новое в исследовании натуры либо икусства знание за собою сказывал или изобрести обещался!»

Публика уже начинает понимать, что людей, подобных Рихману и самому Ломоносову, такие люди, как Петр, оценивают иначе, чем ей казалось в ее суеверном страхе. В те сферы, в которые всех сейчас уносит Ломоносов, Шумахерам и Таубертам нет доступа. Испытание натуры — не досужее развлечение досужих людей, но часть государственной политики, освященной великим именем, залог культурного и политического престижа России в Европе. А вы создаете препятствия наукам одно другого несноснее, и, присвоив себе щедроты, предназначенные тем же наукам, доходите до самого подлого, что может только представить себе человек, — обираете сирот погибшего героя. Прочь! Прочь, рабы душою и непосвященные! «Коварники» и «лукавцы»! Прочь, ханжи и «клеанты»! Свершается Великое дело... Да умолкнут людское суеверие, страхи и всякая низость! Здесь провозглашается вечная слава Героям, чьи великие души сгорают на чистом огне Любви к Истине:

«...Когда употребление наук не токмо в добром управлении государства, но и в обновлении, по примеру Петра Великого, весьма пространно, того ради истинным сим доказательством уверенным нам быть должно, что оных людей, которые бедственными трудами или паче исполинскою смелостию тайны естественные испытать тщатся, не надлежит почитать продерзкими, но мужественными и великодушными, ниже́ оставлять исследования натуры, хотя они скоропостижным роком живота лишились. Не устрашил ученых людей Плиний, в горячем пепле огнедышащего Везувия погребенный, ниже́ отвратил пути их от шумящей внутренним огнем крутости. Смотрят по вся дни любопытные очи в глубокую и яд отрыгающую пропасть. Итак, не думаю, чтобы внезапным поражением нашего Рихма́на натуру испытающие умы устрашились и электрической силы в воздухе законы изведывать перестали; но паче уповаю, что все свое рачение на то положат, с пристойною осторожностью, дабы открылось, коим образом здравие человеческое от оных смертоносных ударов могло быть покрыто».

Вот только теперь, когда над чувствами и предрассуждениями публики одержана окончательная победа, Ломоносов приступает к изложению научных проблем своей речи. Их, собственно, три: природа гроз, северных сияний и комет. Как явствует из названия речи, все эти явления Ломоносов считает «от электрической силы происходящими».

Теория грозы, предложенная Ломоносовым в «Слове о явлениях воздушных», по-прежнему показывает в нем убежденного атомиста и сторонника опытной науки, объясняющего подобные явления подобными же причинами: «Двояким искусством электрическая сила в телах возбуждается: трением и теплотою, что физикам довольно известно. Явления и законы, которые электрическою силою, в недре натуры рожденною, производятся, совершенно сходствуют с теми, которые показывают искусством учиненные опыты. Но как натура в произвождении многообразных дел тщива и расточительна, а в причинах их скупа и бережлива, и сверх того, те же и одинакие действия тем же одним причинам приписывать должно, того ради нет сомнения, что натуральной в воздухе электрической силы суть те же причины, то есть трение или теплота, розно или совокупно».

Ломоносов сразу же оговаривается, что не всякое движение воздуха способствует возникновению атмосферного электричества: ветры, например, участия в этом не принимают. Аргументация Ломоносова проста и убедительна: «Когда отягощенные молниею тучи ни случаются, почти всегда ясная и тихая погода пред ними бывает. Вихри и внезапные бурные дыхания, с громом и молниею бывающие, без сомнения от оных туч рождаются. Противным образом, когда стремительные ветров течения целые земли провевают и нередко над одним местом в противоположенные стороны дышат, что по движению облаков познается, тогда должно бы им было меж-

ду собою пресильно сражаться и тереться, следовательно, в облачную и ветреную погоду блистать молнии, греметь грому или хотя признакам на электрическом указателе являться, если бы сии движения атмосферы были источник происходящей в воздухе электрической силы. Но сие едва когда случается».

В основе ломоносовской теории лежит мысль о **вертикальных** движениях воздуха как главной причине атмосферного электричества: «...я некоторую благодарность заслужить себе уповаю, когда движения воздуха, о которых, сколько мне известно, нет еще ясного и подробного познания, или, по последней мере, толь обстоятельного истолкования, какого они достойны, когда движения воздуха, к горизонту перпендикулярные, на ясный полдень выведу, которые не токмо гремящей на воздухе электрической силы, но и многих других явлений в атмосфере и вне оной суть источник и начало».

Благодаря погружению верхних слоев воздуха в нижние происходит трение частиц друг о друга, чем и вызывается атмосферное электричество. «Двоякого рода материи, — говорит Ломоносов, — к сему требуются: первое, те, в коих электрическая сила рождается, второе — которые рожденную в себя принимают». Вода более других веществ способна вбирать в себя электричество, а вот порождают его, по мнению Ломоносова, «жирные материи», появляющиеся в воздухе в «великом множестве» от телесных испарений животных и человека, от горения и гниения всевозможных органических соединений. Активное механическое взаимодействие паров этих двух материй и порождает электричество в воздухе: «...жирные шарички горючих паров, которые ради разной природы с водяными слиться не могут и ради безмерной малости к свойствам твердого тела подходят, скорым встречным движением сражаются, трутся, электрическую силу рождают, которая распространяясь по облаку, весь оный занимает».

Если мысль Ломоносова об участии «жирных материй» в образовании атмосферного электричества не получила подтверждения в дальнейшем, то все остальные его соображения оправдались полностью. Прежде всего это касается гипотезы о восходящих и нисходящих потоках воздуха, а также предположение о том, что электричество, «распространяясь по облаку, весь оный занимает», то есть весь объем грозового облака (вплоть до конца XIX века считалось, что туча заряжена лишь по поверхности).

Когда Ломоносов от механизма возникновения атмосферного электричества переходит в своем «Слове» к электрическим разрядам в воздухе (молниям прежде всего), а затем — к способам защиты от них, он вновь становится проповедником. Шумахер, конечно, знал, что делал, предлагая Ломоносову ограничиться публикацией статьи в «Комментариях» Академии — ведь тогда бы и патетический зачин «Слова», и

следующее далее страстное обращение к суеверам в рясах были изъяты, и рухнул бы весь просветительский замысел торжественного публичного акта: «Не одни молнии из недра преизобилующия натуры на оную (то есть жизнь человека.— *Е. Л.*) устремляются, но и многие иные: поветрия, наводнения, трясения земли, бури, которые не меньше нас повреждают, не меньше устрашают. И когда лекарствами от моровой язвы, — плотинами от наводнений, крепкими основаниями от трясения земли и от бурь обороняемся и притом не думаем, якобы мы продерзостным усилованием гневу Божию противились, того ради какую можем мы видеть причину, которая бы нам избавляться от громовых ударов запрещала?.. Посему должно ли тех почитать дерзостными и богопротивными, которые, для общей безопасности, к прославлению Божия величества и премудрости величия дел его в натуре молнии и грома следуют? Никак! Мне кажется, что они еще особливою его щедротою пользуются, получая пребогатое за труды свои мздовоздаяние, то есть толь великих естественных чудес откровение».

Объяснив причину гроз, то есть «явлений воздушных, от электрической силы происходящих» в атмосфере, Ломоносов приступает к рассмотрению других «великих естественных чудес», теперь уже «вне оной», — северных сияний и комет.

Впервые мысль об электрической природе северных сияний Ломоносов высказал еще за два года до того, на одном из заседаний Академического собрания. Почти одновременно с ним на эту тему размышляли Б. Франклин, англичанин Ж. Кэнтон и норвежский священник Э. Понтопидан. Ломоносов был знаком лишь с выводами Франклина, по поводу которых замечал: «Франклинова догадка о северном сиянии... от моей теории весьма разнится».

И вот теперь в «Слове» он эту свою теорию и развивает на основе уже сформулированной теории атмосферного электричества. И опять с опорой на экспериментальный метод («моделирование», как мы говорим теперь, в лабораторных условиях природного явления и на этой основе истолкование его): «Возбужденная электрическая сила в шаре, из которого воздух вытянут, внезапные лучи испускает, которые во мгновение ока исчезают, и в то же почти время новые на их места выскакивают, так что беспрерывное блистание быть кажется. В северном сиянии всполохи или лучи хотя не так скоропостижно происходят по мере пространства всего сияния, однако вид подобный имеют, ибо блистающие столпы северного сияния полосами от поверхности электрической атмосферы в тончайшую или весьма в чистый эфир перпендикулярно почти простираются; не иначе, как в помянутом электрическом шаре от вогнутой круглой поверхности к центру сходящиеся лучи блистают».

Перемещение восходящих и нисходящих воздушных потоков по всей вертикали атмосферы в полярных областях

(чаще всего в прибрежной полосе) и вызывает в прилежащем к верхним слоям эфире северные сияния: «Итак, когда подземная теплота, сообщаясь открытым морем лежащему на нем воздуху, его нагревает и столько расширяет, что он пропорциональною тягостию верхнему уступить должен, в то время верхняя атмосфера мешается с нижнею, которая встает верхней встречу, рождается электрическая сила, до самой поверхности атмосферы простирается, и в свободном эфире сияние производится».

Замечательно, что Ломоносов в 1753 году попытался (и весьма успешно, с точностью для тех лет удивительной) измерить высоту одного такого сияния, о чем сообщил в «Изъяснении» к «Слову о явлениях воздушных»: «Северное сияние нарочито порядочное, октября 16, сего года, приметил я здесь, в Санктпетербурге, и, сколько возможно было смерив, вышину нашел 20, ширину 136 градусов; откуда выходит вышина верхнего края дуги около 420 верст». То есть около 450 километров. Это в точности сходствует с современными измерениями: сейчас нижняя граница сияний определяется в 95—100 километров, а «вышина верхнего края» — от 400 до 600, как правило, но иногда и до 1000—1100 километров.

Вообще в том, что говорил Ломоносов 26 ноября 1753 года по поводу северных сияний, есть положения (из основных), которые выдержали проверку временем и уже не могут быть отменены. Это, во-первых, мысль о принципиальном сходстве сияний с газовым разрядом, и, во-вторых, утверждение, что они светятся выше атмосферы. Но, объясняя их природу земными причинами, Ломоносов ошибался. Впрочем, ошибка его стоит иного открытия, коль скоро выводы, построенные на общем основании, не подтвержденном дальнейшими исследованиями, блестяще подтвердились. Кроме того, Ломоносов после «Слова о явлениях воздушных» и не думал прекращать работ по изучению сияний. Незадолго до смерти в набросках фундаментального труда по северным сияниям он записал: «Меран о солнечной атмосфере». Французский ученый Ж. де Меран в 1733 году познакомил научные круги со своими экспериментальными исследованиями, в результате которых обнаружилась любопытная связь: число крупных северных сияний в среднем соответствовало числу солнечных пятен. И вот спустя двадцать-тридцать лет Ломоносов вспоминает о работе Ж. де Мерана. Очевидно, некоторые из собственных позднейших наблюдений требовали дополнительного объяснения; например: «Сияние чаще случалось видеть в ветреную погоду сквозь прерывистые облака». С точки зрения современных физических воззрений, закономерность эта объясняется тем, что во время магнитных бурь (то есть активизации Солнца), когда сияния особенно часты и интенсивны, давление воздуха становится переменчиво, а это сопровождается сильными и порывистыми ветрами. Не менее интересно и такое свидетельство Ломоносова: «Из моих наблюдений... оказалось, что в начале осени и в конце лета, тяжкого многократными грозовыми тучами, чаще северные сияния являются, нежели по иных летах». Автор недавно вышедшей у нас книги о полярных сияниях Л. Алексеева так комментирует эти записи Ломоносова: «В выводах современных исследователей проступает связь электрического поля в нижней атмосфере с состоянием космоса, а полярные сияния непосредственно отражают это состояние. Не навела ли эта подмеченная связь — как мы теперь понимаем, связь между космосом и атмосферой — его (то есть Ломоносова. — *Е. Л.*) на мысль о земной причине полярных сияний? И вполне возможно, что вместе с ошибкой он сделал «преждевременное» открытие».

Между тем не должно забывать, что во времена Ломоносова бытовали совершенно наивные трактовки северных сияний (отражение огня исландского вулкана Гекла во льдах северных морей и его проекция на ночное небо, возгорание сернистых, селитряных и других паров в верхних слоях атмосферы и т. п.). Ломоносов, «родившись и жив до возраста в таких местах, где северные сияния часто случаются», находился в более выгодных условиях по сравнению с другими учеными, писавшими об этом непонятном явлении природы (например, своим учителем Хр. Вольфом), — первоначальное знакомство его с «пазорями» произошло не по книгам, а по личным впечатлениям. Все существовавшие гипотезы не могли удовлетворить его хотя бы потому, что не объясняли, отчего «сполох трещит — словно из ружей палят». Этот характерный звуковой аккомпанемент сияния, издавна известный поморам, свидетельствовал об участии электричества в «естественном фейерверке» (так называл сияние другой учитель Ломоносова, профессор Г. Крафт). Иными словами, Ломоносов не только внутренней логикой своего научно-творческого развития, но и личным жизненным опытом был подготовлен к выработке идей об электрической природе северных сияний. Что же касается «ошибки» Ломоносова (он не учитывал участия земного магнетизма, а также космического воздействия в образовании сияний), то ведь ошибки ошибкам рознь. Ошибались, как мы только что видели, и его современники. Но если их ошибочные утверждения можно, к примеру, уподобить различным средневековым руководствам по мореплаванию, разным космографиям и топографиям, полагавшим Землю плоской, то заблуждение Ломоносова сродни заблуждению Колумба, опровергнувшего старые концепции мира, положившего начало новому взгляду на Землю, но весьма своеобразно оценившего свое открытие. Короче говоря, ломоносовские утверждения касательно северных сияний, выдержавшие проверку временем, характеризуют самого Ломоносова, а его заблуждения — уровень научных представлений эпохи.

То же самое можно сказать по поводу заключительной части ломоносовского «Слова», посвященной кометам. В ту пору существовало три авторитетных мнения, объяснявших наличие у комет хвостов. Почти за полтора века до Ломоносова Иоганн Кеплер (1571—1630) выдвинул гипотезу, согласно которой хвост — это струя кометного вещества, выталкиваемая из тела кометы солнечными лучами. Позже польский астроном Ян Гевелий (1611—1687) попытался объяснить наличие хвостов законами оптики: солнечные лучи, пронизав комету, расходятся от нее пучком, в котором светятся частицы пыли, движущиеся в мировом пространстве. Наконец, последняя теория кометных хвостов, поддержанная большинством тогдашних ученых, принадлежала Ньютону: под воздействием солнечных лучей из атмосферы кометы вытягивается светящийся газовый шлейф.

Первым серьезным подступом Ломоносова к изучению комет следует назвать его работу над переводом «Описания кометы, которая видима была 1744 года», составленного на немецком языке профессором астрономии Петербургской Академии наук Готтфридом Гейнзиусом (1709—1769). В этом «Описании» были изложены результаты авторских наблюдений за кометой необычной яркости, появившейся над Петербургом в начале января 1744 года и взбудоражившей население столицы суеверными предчувствиями касательно будущего. С этого момента Ломоносов (и как ученый и как просветитель) уже не выпускал проблему комет, их физической природы из поля зрения, пока наконец спустя десять лет не пришел к своим выводам и не изложил их в «Слове о явлениях воздушных».

Ломоносов выступил против кометной теории Ньютона, заявив: «...бледного сияния и хвостов причина недовольно еще изведана, которую я без сомнения в электрической силе полагаю». Оговорка, сделанная Ломоносовым при этом, характерна: «Правда, что сему противно остроумного Невтона рассуждение, который хвосты комет почел за пары, из них исходящие и солнечными лучами освещенные; однако ежели б в его время из открытия электрической силы воссиял такой, как ныне, свет в физике, то уповаю, что бы он прежде всего то же имел мнение, которое ныне я доказать стараюсь». То есть Ломоносов считает себя продолжателем идей Ньютона (несмотря на опровержение его), в большей мере, чем выступившие в защиту великого англичанина ломоносовские оппоненты на предварительном обсуждении «Слова о явлениях воздушных» — Гришов, Попов и Браун. (Замечательно, что Эйлер в негативной части рассуждений Ломоносова был совершенно с ним согласен, о чем и сообщил ему в письме от 30 марта 1754 года: «Не знаю, видели ли Вы, что я писал интересного по поводу кометных хвостов, в которых я отрицаю всякое наличие пара».)

В природе комет и сейчас не все ясно до конца. Тем ценнее те выводы Ломоносова, которые спустя более двух веков начинают получать неожиданные и замечательные подтверждения. Утверждая исключительно электрическую природу свечения хвоста кометы, Ломоносов говорил: «...хвосты комет здесь почитаются за одно с северным сиянием, которое при нашей земле бывает, и только одною величиною разнятся. Подлинно, что, кроме доказательств предложенной теории, сии два явления удивительные сходства в знатнейших обстоятельствах имеют, так что их согласие вместо сильного довода служить может. Ибо, что до положения надлежит, обое показывается на стороне, от солнца отвращенной». Только во второй половине XX века стало ясно, как далеко смотрел Ломоносов. Исследования, проведенные искусственными спутниками Земли, показали, что земной хвост простирается на расстоянии более чем 100 тыс. км и заполняет пространство внутри эллиптического параболоида с осью симметрии, расположенной в плоскости эклиптики. И хотя Ломоносов настаивал только на электрической природе и земного и кометных хвостов, само направление его мысли (которая основывалась на правильно поставленном методе) было безошибочным. Оно не противоречит тем научным данным, которые накоплены ныне специалистами (одно из фундаментальных современных понятий в физике Земли и ближнего космоса — магнитосфера — трактуется в образах, не противоречащих ломоносовским: как хвост заряженных частиц, тянущийся в противосолнечную сторону на тысячи земных радиусов).

Изложив существо своих новых идей, Ломоносов обращается к побежденной им публике уже запросто: «...остановить течение моего слова великость материи, утомив меня, принуждает...». Это — передышка перед заключительным аккордом: «...великим основателем насажденная Академия под покровом истинныя его наследницы да распространится и процветет к бессмертной ее славе, к пользе отечества и всего человеческого рода».

Впрочем, завершая свою речь, Ломоносов вряд ли знал о том, что Шумахер еще до публичного акта взял из типографии несколько свежеотпечатанных экземпляров ее для рассылки их за границу почетным членам Петербургской Академии, в том числе и Эйлеру. Так же, как в 1747 году, он и в этот раз лелеял надежду на неблагоприятные для Ломоносова отзывы.

Но и теперь его ждало разочарование. Прочитав «Слово о явлениях воздушных», Эйлер в письме от 29 декабря 1753 года писал: «Сочинения г. Ломоносова об этом предмете я прочел с величайшим удовольствием. Объяснения, данные им, относительно внезапного возникновения стужи и происхождения последней от верхних слоев воздуха в атмосфере, я считаю совершенно основательными. Недавно я сделал подобные же выводы из учения о равновесии атмосферы. Прочие догадки столько же остроумны, сколько и вероподобны,

и выказывают в г. авторе счастливое дарование к распространению истинного познания естествознания, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы редки, так как большая часть остаются только при опытах, почему и не желают пускаться в рассуждения, другие же впадают в такие нелепые толки, что они в противоречии всем началам здравого естествознания. Поэтому догадки г. Ломоносова тем большую имеют цену, что они удачно задуманы и вероподобны».

Получив столь недвусмысленный ответ, Шумахер не успокоился и направил Эйлеру письмо, в котором указывал, что, по мнению петербургских академиков, идеи Ломоносова не новы, что «Слово о явлениях воздушных» пронизано «высокомерием и тщеславием», что в объяснениях, данных оппонентам, автор вышел за рамки приличия: «В особенности не намерены они простить ему, что в своих примечаниях он дерзнул нападать на мужей, прославившихся в области наук».

Очередная попытка опорочить Ломоносова (теперь уже с точки зрения научного этикета) не удалась. 23 февраля 1754 года Эйлер ответил Шумахеру: «После того, что вы сообщили мне о г. Ломоносове, я прочитал его сочинение и нигде не мог приметить, чтобы он презрительно писал о великих людях».

Благородный, умный и чуткий Эйлер прекрасно понял, каково было Ломоносову выслушивать подобные упреки от своих коллег, и 30 марта того же года написал ему письмо, начало которого представляет собою яркий пример бескорыстной радости по поводу чужого успеха, образец профессиональной и чисто человеческой солидарности одного гения с другим: «Я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях. Вы объясняете явления природы с исключительным успехом при помощи теорий, и я с великой радостью усмотрел из Ваших писем, доставивших мне большое удовольствие, что замечательные заслуги Ваши встречают все большее признание и по достоинству награждены августейшей императрицей. От души поздравляю Вас с этой исключительной милостью, желаю Вам совершенного здоровья и сил достаточных, чтобы выносить такие труды и превзойти ожидания, которые Вы возбудили относительно себя». И хотя внешне это был ответ на письмо Ломоносова, где тот рассказывал об экспериментах по цветному стеклу и о получении привилегии на Усть-Рудицкую фабрику, все-таки многое здесь написано с поправкой на письмо Шумахера, где тот ставил под сомнение научную компетенцию и корректность Ломоносова. Высказавшись далее о некоторых физических, химических и философских вопросах, Эйлер завершает свое письмо прощальным приветствием, которое, будучи вроде бы необходимой формальностью эпистолярной, пронизано какою-то особой теплотою: «Прощайте, муж славнейший, и не оставляйте меня и впредь Вашей дружбой, для меня всего драгоценнейшей».

Признанный всем миром Эйлер тем самым признал своего коллегу в Петербурге во всем равным себе.

Однако ж все это последовало потом. А тогда, в конце ноября 1753 года, сразу же после выступления на публичном акте Ломоносов с высот, на которых гремят грозы, образуются северные сияния и летают кометы, спустился на землю и с головой окунулся в будничные дела. «Воспомяни, что мой покоя дух не знает, Воспомяни мое раченье и труды...»

1 декабря он обращается в Канцелярию с просьбой отпустить ему для Химической лаборатории 100 кулей угля, чтобы в его отсутствие все там шло без перебоев, и уже через несколько дней мчится в Усть-Рудицу, оставляя в Петербурге своих оглушенных завистников с их мышиной возней.

Нет, не по зубам им был этот человек. Громогласный и очистительный, как гроза. Величественный и прекрасный, как северное сияние. Стремительный и непонятный, как комета...

ГЛАВА III

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут...

М. В. Ломоносов

1

Опасения Ломоносова, что трагический конец Рихмана может быть «протолкован противу приращения наук», касались не только научных исследований. Под «приращением наук» он имел в виду целый круг мероприятий, направленных на просвещение народа в самом широком смысле.

На протяжении всей первой половины 1754 года Ломоносов, параллельно с напряженными трудами в Академии (физико-химические опыты, работа над «Российской грамматикой» и «Древней Российской историей» и т. д.) и хлопотами в Усть-Рудице, ведет с И. И. Шуваловым беседы и споры относительно нового великого начинания, обессмертившего имя ученого в истории русского просветительства. Именно в это время вынашивалась идея создания Московского университета.

Ломоносов прекрасно видел, что университет и гимназия при Академии наук в Петербурге выполняют свою основную

задачу — готовят национальную научную смену — из рук вон плохо, «производят студентов коснительно». Создание учебного заведения, находящегося вне юрисдикции Академической канцелярии (в течение тридцати лет губившей на корню великое просветительское и государственное дело, освященное именем Петра), было если не окончательным выходом из положения, то прекрасным началом, открывавшим отрадную перспективу для «приращения наук» в отечестве.

Тот факт, что до самой революции честь создания Московского университета приписывалась одному И. И. Шувалову, не должен и не может заслонить от нас истинное распределение ролей между ним и Ломоносовым в претворении в жизнь великого начинания. Продолжая аналогию в театральных терминах, автором действа и главным постановщиком до революции считали И. И. Шувалова, Ломоносова же — собирателем материала и консультантом. На самом же деле автором и постановщиком был именно Ломоносов, а Шувалов — способным актером, который произносил в Сенате и перед императрицей впечатляющие и убедительные монологи, написанные и отрепетированные Ломоносовым. Всегда корректный, но и педантичный во всем, что касалось научного или литературного первенства, Ломоносов свидетельствовал незадолго до смерти, что он не только был «участником при учреждении Московского университета», но и «первую причину подал к основанию помянутого корпуса». Сохранившиеся документы неопровержимо показывают правоту Ломоносова в этом пункте.

В своих воспоминаниях профессор Харьковского университета, писатель И. Ф. Тимковский (1772—1853) сообщал со слов И. И. Шувалова, что «с ним он (Ломоносов. — *Е. Л.*) составлял проект и устав Московского университета. Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского с несовместными вольностями». Последнее утверждение подтверждается словами Ломоносова из письма к И. И. Шувалову: «...тех совет вашему превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются». Ломоносов, размышляя над устройством будущего Московского университета «по примеру иностранных... что весьма справедливо», намеревался использовать некоторые организационные особенности не только Лейденского, в котором он побывал во время своих скитаний по Германии после ссоры с Генкелем, но и Марбургского университета, в котором он учился. И. Ф. Тимковский писал, что в беседах Ломоносова и И. И. Шувалова обговаривались даже такие детали, как выбор места под университетское здание: «Судили и о том, у Красных ли ворот к концу города поместить его, или на середине, как принято, у Воскресенских ворот; содержать ли гимназию при нем, или учредить отдельно».

В начале лета 1754 года, на основе предварительных обсуждений и споров, Шувалов составил черновое доношение в Сенат и направил его к Ломоносову на прочтение и редактирование. В конце июня — начале июля Ломоносов ответил ему знаменитым письмом, которое и легло в основу проекта университетского устава, оглашенного Шуваловым в Сенате.

Прочитав шуваловский набросок, Ломоносов не был удовлетворен и с характерными оговорками предложил свой вариант проекта: «...желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского университета...»

Основной принцип устройства университета (о чем и раньше он говорил Шувалову) сводится, по мысли Ломоносова, к тому, «чтобы план Университета служил во все будущие роды». Для этого, считает Ломоносов, при составлении университетского штата нужно исходить из необходимого для основательного обучения числа факультетов, кафедр и профессоров, а не из реально имеющегося числа специалистов, способных сейчас преподавать науки на должном уровне. Даже если окажется слишком много вакансий, свободные средства можно будет употребить с пользой, лишь бы с самого начала поставить все дело на широкую и твердую ногу: «Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплет наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы».

Далее Ломоносов переходит к структуре и штату университета. Он предлагает учредить три факультета: юридический, медицинский и философский. Хотя Ломоносов и считал, что опыт иностранных университетов будет небесполезен для Московского, но не включил в число факультетов богословский, имевшийся во всех западноевропейских учебных заведениях подобного рода.

На этих трех факультетах должно быть не меньше двенадцати профессоров. На юридическом — три: 1) «профессор всей юриспруденции вообще» (естественное право, право народов, римское право), 2) «профессор юриспруденции российской», 3) «профессор политики» (политическая история и современные межгосударственные отношения). На медицинском — три: 1) «доктор и профессор химии», 2) «натураль-

ной истории», 3) анатомии. На философском — шесть: 1) профессор философии, 2) физики, 3) «оратории» (теория и история ораторского искусства), 4) поэзии (теория и история поэзии), 5) истории, 6) «древностей и критики» (то есть археологии).

Кроме того, Ломоносов настаивает на создании университетской гимназии, способной готовить для нее будущих студентов: «При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь предложить, но времени краткость возбраняет».

Ломоносов определенно чувствует, что Шувалову не терпится поскорее закончить начатое дело и сорвать быстротечную славу создателя первого русского университета по примеру европейских. Поэтому он хочет сам обстоятельно и серьезно довести задуманное до кондиции: «Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу...»

Шувалов «обождать» не захотел. Уже 19 июля 1754 года он представил в Сенат окончательный проект университета, который тогда же был принят и направлен на конфирмацию Елизавете. В основе его лежал ломоносовский документ (пятый параграф шуваловского проекта университетского устава почти дословно повторяет то место из цитированного письма Ломоносова, где говорится о распределении профессоров по кафедрам). Изменения, внесенные Шуваловым, свелись к сокращению числа кафедр с двенадцати до десяти (кафедра поэзии соединилась с кафедрой красноречия, а кафедра древностей с кафедрой истории) и к введению нового предмета — геральдики — науки о гербах княжеских и дворянских родов, городов и земель. 12 января (25 января по новому стилю) 1755 года, в Татьянин день, императрица подписала ломоносовско-шуваловский проект, который отныне стал именоваться «Указом об учреждении в Москве университета и двух гимназий». Этим же указом И. И. Шувалов был назначен куратором университета.

Как видим, ломоносовская мысль о необходимости гимназии при университете была принята Шуваловым. Ломоносов, со своей стороны, сдержал слово, данное в письме к меценату, и в течение, правда, не «полдесятка» дней, а примерно двух-трех месяцев разработал «целый полный план» гимназического обучения. «Проект регламента Московских Гимназий», законченный Ломоносовым в период между подписанием «Указа об учреждении» (12 января) и торжественным открытием университета (26 апреля), тоже был использован Шуваловым — теперь уже при составлении инструкции первому директору Московского университета А. М. Аргамакову (ум. 1757).

Идея раздельного обучения детей дворян и разночинцев,

положенная в основу проекта, не принадлежит собственно Ломоносову: она была узаконена «Указом» от 12 января, в котором говорится о «двух гимназиях». Ломоносову пришлось исходить из нее, хотя сам он выступал против всякой кастовости при обучении. Во всем же остальном «Проект регламента Московских Гимназий» представляет собою явление выдающееся, резко индивидуальное в тогдашней педагогике, основополагающее для всего дальнейшего процесса народного образования в России.

В этом документе подробно разработаны не только общие принципы первоначального обучения, но и мельчайшие подробности, касающиеся обеспечения, быта, поощрения и наказаний учеников и т. д. Проект состоит из семи разделов: 1. «О приеме школьников в Гимназию», 2. «О содержании жалованных школьников» (то есть находящихся на казенном жалованье: всего таких учеников должно было быть пятьдесят), 3. «О наставлении школьников», 4. «О экзерцициях гимназических» (то есть о классных и домашних занятиях), 5. «О экзаменах, произведениях и выпусках школьников», 6. «О книгах, по которым обучать в школах», 7. «О награждениях и наказаниях».

Информационный взрыв, потрясший на рубеже XVII—XVIII веков европейскую и в особенности русскую культуру, был не менее мощным, чем тот, который переживаем мы в XX веке. Применительно к задачам школьного образования основную проблему, возникающую в связи с этим важным обстоятельством, можно определить так: не раздавить юное сознание обилием новых фактов, но внедрить в него самое необходимое, чтобы дальнейшее его, уже во многом самостоятельное, развитие шло не вопреки, а в соответствии с возросшим средним уровнем научных сведений и представлений эпохи. Вот почему, говоря о «наставлении» гимназистов, Ломоносов специально подчеркивает: «...при обучении школьников паче всего наблюдать должно, чтобы разного рода понятиями не отягощать и не приводить их в замешательство».

Ломоносов составляет «табель по школам и классам», то есть поденное расписание («поутру и ввечеру по три часа») нижнего, среднего и верхнего классов. Он указывает круг предметов, необходимых в гимназиях: арифметику, геометрию, географию, «философии первые основания». Большое внимание уделено преподаванию языков: кроме латинского, который наряду с русским был основным, школьники («смотря по остроте, по летам и по охоте») должны были изучать немецкий, французский, английский, итальянский. Причем Ломоносов считал, что в гимназиях обучение языкам необходимо отличать от гувернерского натаскивания: «Сим языкам обучать не так, как обыкновенно по домам принятые информаторы одною практикою, но показывать и грамматические правила. Притом излишним оных множеством не отя-

гощать, особливо сначала практику употреблять прилежно, слова и разговоры твердить, упражняться в переводах и сочинениях».

Преподавание литературы Ломоносов строит во многом в соответствии со своим личным опытом на основе сочетания традиционных приемов и источников с новыми методами и новым материалом: «...в первом классе обучать российской грамоте обыкновенным старинным порядком, то есть азбуку, часослов и псалтырь, потом заповеди просто... Потом учить писать по предписанному доброму великороссийскому почерку и приучивать читать печать гражданскую». Во втором и третьем классах школьники должны были проходить «в прозе и в стихах российские сочинения, те особливо, которые... к знатному исправлению российского штиля на свет вышли». При этом Ломоносов особо подчеркивает необходимость для гимназистов «прилежно читать славенские книги церьковного круга и их держаться как великого сокровища, из которого знатную часть великолепия, красоты и изобилия великороссийский язык заимствует» (мысль, которую он вскоре разовьет в одном из самых главных своих филологических произведений).

Детально был продуман Ломоносовым список литературы для латинских классов. Сюда он включил, по мере приближения к концу обучения, «Разговоры» Эразма Роттердамского, избранные сочинения Цицерона, Корнелия Непота, Светония, Курция, Вергилия, Горация, Овидия, Тита Ливия, Тацита и др. Из немецких писателей Ломоносов рекомендовал Готшеда, Мосгейма, Коница, Гюнтера и др., из французов — Фенелона, Мольера и Расина.

Преподавание «первых оснований нужнейших наук» Ломоносов предлагал вести, опираясь на пособия своего марбургского учителя Вольфа. Для этого он планировал «во втором классе употреблять из Волфова сокращения «Арифметику» и «Геометрию» (которые нарочно с немецкого перевесть и напечатать)». Логику, метафизику, физику должно было преподавать по ломоносовскому переводу «Волфианской физики» Тюммига, вышедшему еще в 1746 году.

Для управления учебным процессом Ломоносов вводит свою систему отметок, наказаний и поощрений. Отметки предполагались следующие: 1. В. И. — «все исполнил», 2. Н. У. — «*не знал* уроку», 3. Н. Ч. У. — «*не знал* части уроку», 4. З. У. Н. Т.— «знал урок нетвердо», 5. Н. З.— «не подал задачи», 6. Х. З. — «худа задача», 7. Б. Б. — «болен», 8. Х. — «не был в школе», 9. В. И. С. — все исполнил с избытком», 10. Ш. — «шабаш». Наказания (приватные и публичные) полагались за неусердие на уроках, а также провинности в поведении и варьировались по тяжести проступка, от простых выговоров и предупреждений («угроз») до битья «по рукам ферулею» (линейкой) и порки «лозами по спине». Но, не в пример другим авторам гимназических инструкций из Петербургской Академии — Г.-Ф. Миллеру, Г. Н. Теплову, И.-Э. Фишеру, И.-Д. Шумахеру, — Ломоносов не ограничился одними только наказаниями. Он предусмотрел целый ряд разнообразных поощрительных мер — устные похвалы, награждение книгами и инструментами, серебряными медалями. Была предусмотрена и такая, например, характерная форма поощрения отличившихся и одновременно наказания провинившихся учеников: «...чтоб им те кланялись в школе, которые то должны делать вместо штрафа».

Было и еще одно важное отличие ломоносовского московского проекта от регламентов и инструкций, принимавшихся в Петербурге. Оно содержалось в § 3: «В обоих гимназиях на жалованье в комплете не должно быть иностранных больше пятой доли...» Эта оговорка была очень важна, ибо Ломоносов по своему опыту знал, как обстояли дела в гимназии при Академическом университете в Петербурге: там на протяжении первых двадцати лет число детей иностранцев постоянно составляло почти половину от общего числа («комплета») учащихся, а, скажем, в 1737-м, 1738-м, 1739-м, 1743 годах в Академическую гимназию вообще принимались только иностранцы.

Ломоносов действительно составил «целый полный план», в котором подробнейшим образом было даже расписано, как тратить положенные на каждого казеннокоштного ученика годовые деньги (в полтора раза больше, чем сам он получал в Славяно-греко-латинской академии):

«Определенные 15 рублев в год каждому школьнику употребить на их одеяние и на другие потребности, чему всему реестр положен с ценами в следующей табели на два года.

	Рубли	Копейки
Кафтан с камзолом суконный и с лосиными штанами	8	—
Шуба баранья, покрытая крашеною льняною материею	2	—
Епанча	3	—
Две шляпы по 30-ти копеек	—	60
8 пар башмаков по 25 копеек	2	—
Шапка	—	50
Сапоги	—	50
6 рубашек по 30-ти копеек	1	80
На черные фроловые галстуки	—	50
Тюфяк	—	50
Одеяло	—	40
Две простыни	—	80
Кровать	—	15
Две подушки	—	35
Прачке	1	—

Платки, полотенца, мыла	1	—
На баню	—	50
Запонки, пряжки, подвязки	—	50
Всего:	24	10

Остальные от каждого школьника 3 руб. 60 коп., а от 50-ти 180 руб. в два года употреблять им на свечи, на бумагу, на перья и чернило и на покупку самых нужнейших книг, по которым должны они обучаться».

Вот так — с размахом и одновременно в подробностях — продумал Ломоносов подготовку гимназистов, или, по его выражению, семян для университетской пашни.

В сообщении из Москвы от 1 мая «Санктпетербургские ведомости» рассказали о торжественном открытии Московского университета. Среди его профессоров были два ученика Ломоносова, которые выступили на торжестве. Антон Алексеевич Барсов (1730—1791), занявший должность профессора математики и красноречия, обратился к гимназистам с «Речью о пользе учреждения императорского Московского университета», в которой в полном соответствии с утилитарными воззрениями века Просвещения поставил перед юными слушателями вопрос: «Что может причиною нашего быть благополучия, и отчего оное как действие последовать может?» И отвечал, что только науки, а из них только «философия приобучает разум к твердому познанию истины, чтобы оный напоследок знать мог, в чем наше истинное благополучие заключается». Трудно сказать, до конца ли поняли юные слушатели глубокий смысл речи А. А. Барсова. Но со временем они (каждый, правда, на свой манер) разобрались в поставленном вопросе и ответили на него всей своей последующей жизнью. Ведь среди них были в тот день — одиннадцатилетний Николай Новиков, десятилетний Денис Фонвизин и его девятилетний брат Павел (в будущем тоже писатель и один из директоров Московского университета). Был там и шестнадцатилетний Григорий Потемкин. Сюда же следует добавить имя еще одного мальчика, Александра Радищева (который через несколько лет поселится в семье первого директора университета А. М. Аргамакова и начнет проходить гимназический курс на дому под руководством университетских профессоров). Это были семена, сулившие могучие всходы, бурный рост и обильный, но трудный урожай, пожинать который придется уже девятнадцатому веку.

Другой и, пожалуй, самый любимый из учеников Ломоносова, блестящий поэт и переводчик Николай Никитич Поповский (1730—1760), ставший профессором философии и элоквенции, произнес торжественную речь, которая одновременно была и первой лекцией по философии, то есть по его основному курсу. В отличие от Барсова он построил свое выступление на более общих основаниях. Ораторское мастерство его в этой «Речи», говоренной при начатии философических лекций при Московском университете» показывает в нем внимательного читателя ломоносовской «Риторики», а также заставляет вспомнить лучшие страницы «Слова о пользе Химии». Кроме того, необходимо иметь в виду, что около трех месяцев спустя, когда речь Поповского готовилась к напечатанию в академическом журнале «Ежемесячные сочинения» (1755, август, с. 177—186), Ломоносов прочитал ее и внес ряд поправок.

Широко и величаво, риторически безупречно развивает Поповский центральный образ своей речи, объясняющий слушателям, что же такое философия и чем она занимается: «Представьте в мысленных ваших очах такой храм, в котором вмещена вся Вселенная, где самые сокровеннейшие от простого понятия вещи в ясном виде показываются; где самые отдаленнейшие от очес наших действия натуры во всей своей подробности усматриваются; где все, что ни есть в земле, на земле и под землей, так как будто на высоком театре изображается; где солнце, луна, земля, звезды и планеты в самом точном порядке, каждая в своем круге, в своих друг от друга расстояниях, с своими определенными скоростями обращаются; где и самое непостижимое Божество, будто сквозь тонкую завесу, хотя не с довольною ясностию всего непостижимого своего существа, однако некоторым возбуждающим к благоговению понятием себя нам открывает; где совершеннейшее наше благополучие, которого от начала света ищем, но сыскать не можем и по сие время, благополучие, всех наших действий внешних и внутренних единственная причина, в самом подлинном виде лицо свое показывает; одним словом, где все то, что только жадность любопытного человеческого разума насыщаться желает, все то не только пред очи представляется, но почти в руки для нашей пользы и употребления предается. Сего толь чудного и толь великолепного храма, который я вам в неточном, но только в простом и грубом начертании описал, изображение самое точнейшее есть философия».

В этом панегирике в честь философии влияние Ломоносова прослеживается не только в риторической манере, но и в существе высказываемых идей. Прежде всего это относится к излагаемой чуть ниже мысли Поповского о том, что философию следует преподавать на русском языке, а не на латыни и что русский язык достаточно развит для этого: «Что ж касается до изобилия российского языка, в том пред нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить *было* невозможно. Что же до особливых надлежащих к философии слов, называемых терминами, в тех нам нечего сумневаться».

Сам Ломоносов, должно быть, еще в Марбурге размышлял о необходимости преподавать философию на русском языке. Вольф, наставлявший его в этом предмете, сам, как

уже говорилось, не был оригинальным философом, учил удобопонятным вещам (например: все в мире устроено целесообразно, всякая вещь чему-нибудь да служит), популяризировал идеи своего гениального коллеги Лейбница, гуманно упрощая их (все в мире и без того хорошо, а должно быть еще лучше). Но в чем была совершенно выдающаяся, великая роль Вольфа в истории немецкой философии, так это в том, что он первым в Германии начал писать философские сочинения и преподавать свой предмет на живом родном языке. Именно это в XIX веке поставит ему в решающую заслугу Гегель в третьем томе своей «Истории философии» и укажет, что любой народ только тогда становится действительно просвещенным, культурно полноценным, когда свое понятие о мировом духе выражает своими же словами. Все это, вне сомнения, надо иметь в виду, говоря о Ломоносове, основателе храма наук, и просветительской активности молодой профессуры Московского университета.

Тем более что именно в 1755 году, через пять месяцев после его торжественного открытия, Ломоносов заканчивает работу над капитальным трудом, которым он занимался в течение последнего года (в параллель с другими великими трудами), когда и эта мысль о необходимости «вольного философствования» на русском языке получила свое убедительное обоснование.

2

До 1755 года единственным практическим руководством для русских людей, желавших научиться грамоте, была «Славенская Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648), по которой сам Ломоносов когда-то овладевал азами языковой науки. Правда, один из первых академических учителей Ломоносова, В. Е. Адодуров, написал краткий грамматический очерк русского языка как приложение к немецко-латинско-русскому лексикону, выпущенному Академией в 1731 году. Но эта работа Адодурова, в сущности, не имела практического значения для русских, ибо вышла на немецком языке и, кроме того, следовала в основном общим установкам книги М. Смотрицкого.

Вообще «Грамматика» М. Смотрицкого, будучи для своего времени явлением и необходимым и значительным, по прошествии более чем ста лет после своего появления безнадежно устарела и как практическое руководство, и как научный труд. Не отрицая ее несомненного просветительского значения как своеобразной энциклопедии гуманитарных наук, надо сказать со всей определенностью, что со специально грамматической точки зрения эта книга покоилась на порочном, схоластическом основании: М. Смотрицкий, по существу, заполнял каркас греческой грамматики русскими и вообще славянскими примерами. Перед этим обстоятельством даже тот факт, что книга была написана на церковнославянском языке (и, следовательно, со временем становилась все труднее для восприятия), безусловно, отступает на второй план.

Один из видных советских лингвистов, Б. А. Ларин, признавался: «Я уверен, что ни один из нас не одолел бы этого огромного труда, по крайней мере, очень скоро признал бы свою полную неспособность понять содержание этой премудрой книги. Я могу так говорить на том основании, что читал эту книгу уже далеко не студентом, и все-таки это было, пожалуй, самое мучительное чтение из всей древнерусской письменности и литературы. Должен сказать, что мне и теперь приходится иногда трижды и четырежды перечитывать какую-нибудь фразу Смотрицкого, и я не всегда уверен, что я ее до конца и как следует понимаю. Этот трактат гораздо легче было бы читать, если бы он был написан на латинском или греческом языке, потому что Смотрицкий из тех ученых, которые мыслили по-латыни и по-гречески и переводили себя на славянские языки, причем довольно плохо».

Главное препятствие, которое «Грамматика» М. Смотрицкого создавала для последующих лингвистических работ, заключалось в самой идее приноравливания живого материала одного языка к грамматическому строю другого.

На рубеже XVII—XVIII веков сложилось парадоксальное положение: иностранцы, не знавшие схоластических грамматик, могли создать и создавали простые и внятные грамматические руководства по русскому языку. Такова, например, «Русская грамматика» Г. Лудольфа, вышедшая в 1696 году в Оксфорде, — краткая, верная, удобная. Ломоносов не знал этой книжки. Идея создания новой русской грамматики вызревала в нем самостоятельно, постепенно и неотвратимо, как важнейшая составная часть его общей просветительской программы.

В «Риторике» (1748) Ломоносов писал, что «чистота штиля» зависит «от основательного знания языка» и «прилежного изучения правил грамматических» (§ 165). Но еще во время работы над ней, в 1746 году, он, полемизируя с Тредиаковским по вопросам славянской грамматики, написал «Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен». А в мае 1749 года в письме к Эйлеру Ломоносов уже сообщал, что целый год «был занят совершенствованием родного языка». То есть мы можем предположить, что в 1746—1747 годах, когда шла работа над вторым вариантом «Риторики», Ломоносов начал, а с 1748 года продолжил широкую подготовку материалов для самостоятельного труда по русской грамматике. В отчете президенту о работе за 1751—1756 годы он под 1751 годом замечает, что «собранные прежде сего материалы к сочинению Грамматики начал приводить в порядок», а под 1753 годом указы-

вает, что «для Российской Грамматики глаголы привел в порядок».

Собственно, писать «Грамматику» Ломоносов начал скорее всего в 1754 году, а во второй половине лета 1755 года вся работа была уже завершена вчерне. 31 июля он просил Академическое собрание выделить ему писца для перебелки рукописи. Копиистом к Ломоносову назначили его ученика, поэта И. С. Баркова (1732—1768), который через полтора месяца закончил всю работу. 20 сентября 1755 года Ломоносов, получив на то «позволение президента», преподнес переписанную набело «Российскую грамматику» великому князю Павлу Петровичу, которому в тот день исполнился год.

Сразу же после столь важной по тогдашним нормам процедуры начались хлопоты по напечатанию книги. Ломоносов очень серьезно отнесся к подготовке всего издания. Вместе с полным черновиком рукописи он представил в Академическую канцелярию собственный проект фронтисписа будущей книги, справедливо полагая, что первое издание «Российской грамматики» должно стать событием не только в научной, но и в национально-государственной жизни. «Представить, — напутствовал академического гравера Ломоносов, — на возвышенном несколько ступеньми месте престол, на котором сидит Российский язык в лице мужеском, крепком, тучном, мужественном и притом приятном; увенчан лаврами, одет римским мирным одеянием. Левую руку положил на лежащую на столе растворенную книгу, в которой написано: Российская грамматика; другую простирает, указывая на упражняющихся в письме гениев, из которых один пишет сии слова: Российская история, другой: Разные сочинения. Подле сидящего Российского языка три нагие грации, схватясь руками, ликуют и из лежащего на столе подле Грамматики рога изобилия высыпают к гениям цветы, смешанные с антиками и с легкими инструментами разных наук и художеств. Перед сим троном, на другой стороне стоят в куче разные чины и народы, Российской державе подданные, в своих платьях. Наверху, над всем сим ясно сияющее солнце, которое светлыми лучами и дышащими зефирами прогоняет туман от Российского языка. В средине солнца — литера Е под императорскою короною. Позади солнца — следующий на восходе молодой месяц с литерою П, который принятые от солнца лучи испускает от себя на лежащую на столе Российскую грамматику».

Нетрудно заметить в этой идее фронтисписа, насколько серьезную роль отводил Ломоносов Российскому языку в консолидации «народов, Российской державе подданных». Российский язык возведен Ломоносовым на престол. Нынешняя власть в лице Елизаветы («литера Е») и будущая в лице Павла («литера П») призваны осветить русскому языку, который есть вместилище духовного опыта народа, путь к законосообразному совершенствованию (что и символизирует «Российская грамматика»), разгоняя от него «туман», то есть невежество и вообще всякую тьму. Кроме того, такой фронтиспис отразил бы и просветительский вклад самого Ломоносова в культурную сокровищницу России: «Российская грамматика», «Российская история», «Разные сочинения» — это ведь его собственные, вполне конкретные труды. Именно по ним, выходит, должны были обучаться «разные чины и народы». «Российская грамматика» уже написана: «переворотив титульный лист, по ней уже можно начать обучаться правильному языку незамедлительно. «Российская история» — в работе. «Разные сочинения» — это второе издание «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова», которое уже готово и будет напечатано через год после «Российской грамматики» в типографии Московского университета.

Впрочем, академическая цензура внесла свои поправки в идею фронтисписа, в результате которых пострадали два главных героя предложенной Ломоносовым картины: Российский язык и сам Ломоносов (точнее, названия его сочинений). Вместо «лица мужеска, крепкого и тучного» было предложено изобразить женщину (правда, тоже «крепкую и тучную»), то есть не иначе как императрицу Елизавету. Что же касается названий ломоносовских трудов, то четко прочитывается в окончательном варианте гравюры только «Российская грамматика». Но до того, как оттиснут эту, уже измененную картинку, было еще далеко.

Пока И. С. Барков на дому у Ломоносова вновь переписывает рукопись набело (уже для наборщиков). По ходу переписки Ломоносов внес в текст некоторые исправления, а также снабдил ее указаниями, связанными с дополнительным шрифтовым оснащением академической типографии: нужны «литеры с акцентами», нужны «абиссинские и эфиопские слоги» (которые он сам и выполняет с большим каллиграфическим мастерством) и т. д.

Наконец, 9 января 1757 года Типография сообщила в Канцелярию, что печатание «Российской грамматики» закончено. Через четыре дня Ломоносов получает первый авторский экземпляр, а к 30 января, то есть почти через полтора года после поднесения рукописи Павлу Петровичу, весь тираж книги в количестве 1200 экземпляров поступил в Книжную лавку Академии наук. Несмотря на задержку с выпуском, на титульном листе стояло: «Печатана в Санкт-Петербурге при имп. Академии наук 1755 года». Тем же годом были помечены и все последующие издания «Российской грамматики» в XVIII веке, а их было еще четыре — одно прижизненное, отпечатанное буквально за несколько дней до смерти Ломоносова (1765), и три посмертных (1771, 1777, 1784). Кроме того, было предпринято издание ломоносовской «Грамматики» в переводе на немецкий язык (1764).

Величественно начало книги. Оно призвано исполнить сердца читающих ее достоинством и ответственностью за то духовное богатство, которым наделила их судьба, сделав русский язык родным их языком: «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе». Пройдет семьдесят лет, и Пушкин, завершавший начатую Ломоносовым работу по созданию литературной нормы русского языка, скажет о судьбе его, по сути дела, в ломоносовских выражениях, но главное — в полном согласии со своим предшественником: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива». Впрочем, к Пушкину мы еще не однажды вернемся в связи с языковыми воззрениями Ломоносова и его поэзией. Покамест последуем за текстом «Российской грамматики».

«Невероятно сие покажется иностранным, — продолжает Ломоносов, — и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто, не упрежденный великими о других мнениями, простpет в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится». И сразу после этого идет знаменитое высказывание, не однажды цитированное на протяжении двух столетий и не утратившее от этого ни своей свежести, ни своей силы, ни своего риторического изящества. Ломоносов не только указывает вообще на достоинства русского языка, но и показывает их конкретно, в построении собственной речи: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, италиянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». Идеально построенный период. Вчитайтесь: в нем нет ни одного лишнего слова.

Дальше Ломоносов делает характерную и ответственную оговорку: «Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет». В течение года после выхода «Российской грамматики» он как раз и будет занят «обстоятельным всего сего доказательством», то есть филологическим обоснованием заявленного тезиса о «величии перед всеми в Европе» русского языка — путем его сравнения с другими (об этом несколько ниже).

Наконец, исполнив мощную и одновременно изощренную риторическую увертюру, Ломоносов от образов переходит к понятиям, чтобы выразить все ту же мысль о «довольствии» и «величии» русского языка: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». Эта мысль сквозила в «Риторике», об этом говорил ломоносовский ученик Поповский на открытии Московского университета, теперь она обретает вечную жизнь в печатном слове.

Вступление к книге, написанное в форме посвящения великому князю, Ломоносов завершает педагогическим напутствием читателям: «И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному в нем искусству приписывать долженствуем. Кто отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющие море. Отважась в оное, сколько мог я измерить, сочинил малый сей и общий чертеж всея обширности — Российскую грамматику, главные только правила в себе содержащую». В последней фразе Ломоносов не интересничает — «малый сей... чертеж» сказано всерьез, ибо сказано, по существу, не о том, что сделано, а о том, что предстояло еще сделать. Впрочем, и уже сделанное Ломоносовым не может не изумить проницательностью и новизной его лингвистической мысли.

«Российская грамматика» стала глубоко новаторским произведением не только по отношению к книге Смотрицкого, служившей в течение века образцом для всех русских грамматических пособий, но и по отношению к лучшим грамматикам западноевропейских языков, существовавшим на ту пору. Так, Ломоносов хорошо знал французскую философскую всеобщую грамматику Пор-Рояля (1660), авторы которой пришли к очень важному выводу о том, что во внутреннем строении всех человеческих языков имеются общие черты, суммировав которые можно создать универсальную грамматику единого языка человечества. В высшей степени характерно то, что этот вывод принадлежит теоретикам рационалистического века. Ломоносов в своем труде, не отвергая вовсе подобного взгляда, пошел по иному пути. Он, наряду с общечеловеческими началами, равное внимание уделяет специфически национальным свойствам языка. Это позволило ему избежать многих деспотических издержек французских рационалистов, которые, например, видя, что живой язык сплошь и рядом не соответствует логическим нормативам, настаивали на переделке языка в соответствии с логикой.

В этом смысле Ломоносов стоит неизмеримо выше своего современника и соперника в филологии Тредиаковского. В «Разговоре об ортографии» Тредиаковский выступил убежденным проповедником воспринятого во Франции рациона-

листического подхода ко всем нормам языка, в частности, к орфографическим. Он основывается на том соображении, что «умеющий человек несколько чужих языков знает, что в каждом языке живущем есть два способа, как им говорить. Первый употребляют люди, знающие силу в своем языке; а другой в употреблении у подлости и крестьян». Нормой, по убеждению Тредиаковского, должно стать употребление «умеющего человека». Он пишет: «...я объявляю, что то токмо употребление, которое у большей и искуснейшей части людей, есть точно мною рожденное; а подлое, которое не токмо меня, но и имени моего не разумеет, есть не употребление, но заблуждение, которому родный отец есть незнание». Ломоносов же в подобных случаях исходил не из «обыкновений», принятых в «изрядной компании», а из речевой практики всех слоев народа, и одна из самых регулярных ссылок, проводимых в ломоносовской грамматике, — ссылка на то, «как все говорят».

Таким образом, две лингвистические крайности предстояло преодолеть Ломоносову в «Российской грамматике», — с одной стороны, — наивный эмпиризм Смотрицкого и его последователей, а с другой — гипертрофированный рационализм французских теоретиков и их последователей. Он блестяще справился с этой задачей, полагаясь на свою совершенно удивительную языковую интуицию, помноженную на отличное знание древних, западноевропейских, славянских и восточных языков, но самое главное — на уважительное, исследовательски бережное отношение к родному языку, к внутренней логике его развития. Единственный путь создания языковой нормы — не предписывать законы языку, а выявлять их в языке. Вот что примерно стоит за ломоносовской установкой на то, «как все говорят».

Кстати, «Российская грамматика» написана на редкость ясным и внятным языком в отличие от книги Смотрицкого и филологических сочинений Тредиаковского. Это пособие в прямом смысле слова. Оно состоит из шести глав или «наставлений»: «Наставление первое. О человеческом слове вообще», «Наставление второе. О чтении и правописании российском», «Наставление третие. О имени», «Наставление четвертое. О глаголе», «Наставление пятое. О вспомогательных или служебных частях слова», «Наставление шестое. О сочинении частей слова» (в последнем случае речь идет, конечно же, не о словотворчестве, а о синтаксисе).

Не все выдержало проверку временем в конкретных лингвистических построениях Ломоносова. Так, например, он говорил о десяти временах русских глаголов (кстати, глава о глаголе самая большая в сочинении). Но такую серьезную, с сегодняшней точки зрения, ошибку ни в коей мере нельзя относить на индивидуальный счет Ломоносова. «Российская грамматика» отражала объективное положение дел в русском языке: в ту пору в самом языке дифференциация

форм времени и вида еще далека была от полного завершения. Ломоносов объяснял проникновение формы двойственного числа в русский язык обилием в Древней Руси переводов с греческого (сейчас это объяснение выглядит наивным). Но форму двойственного кисла Ломоносов отвергал как чуждую грамматическому строю русских имен, и в этом его заслуга. Вот почему, говоря о просчетах «Российской грамматики», необходимо постоянно иметь в виду, что все они лежат как бы на периферии ломоносовской мысли, где-то в области отдельных частностей. На главном же направлении Ломоносов остается глубоко прав и по сию пору.

Впрочем, частности частностям рознь. В «Российской грамматике» в таком обилии разбросаны частные и глубоко верные наблюдения над живым народным словоупотреблением, свежие, чреватые глубоким лингвистическим смыслом примеры, что им не перестают удивляться языковеды вот уже более двухсот лет. Ломоносов на основе этих частностей и подробностей приходил к новаторским выводам, например, о том, что инфинитив может употребляться в значении повелительного наклонения («быть по сему»), что с добавлением частицы «было» тот же инфинитив имеет неопределенное значение («Мне было говорить») и т. д. Великий русский филолог XIX века Ф. И. Буслаев писал об этой стороне «Российской грамматики»: «Эти подробности, впервые собранные из уст народа с необыкновенной проницательностью, ученою и артистическою тонкостью художника и впервые искусно приведенные в стройную систему, составляют самое существенное достоинство этой книги. С точки зрения современной лингвистики, не удивительно было бы найти слабые стороны в книге, составленной еще в то время, когда не знали ни истории языка, ни сравнительной грамматики. Напротив того, гораздо удивительнее то, как ее гениальный автор умел предупредить грозившую ему в будущем ученую критику, удержавшись от теоретических ошибок своего времени и ограничившись скромною задачею — точно и метко объяснять для практики только свою родную речь. И в этом-то именно отношении «Грамматика» Ломоносова не только не утратила своего ученого значения, но и до сих пор по частям передается в обучении новым поколениям по позднейшим руководствам, для которых выдержки из этой книги составляют лучшее украшение».

А вот мнение, высказанное почти сто лет спустя уже упоминавшимся выше историком русского языка Б. А. Лариным. Высказанное с пафосом, не вполне привычным для лингвиста, но вполне понятным в данном случае: «Российскую грамматику» все должны прочесть. Просто стыдно русскому филологу не знать этого замечательного трактата середины XVIII века, который, несомненно, во многом опередил современные ему грамматики западноевропейских языков и определил развитие русского языкознания на сто лет».

Ломоносов глубоко понимал стоявшие перед ним лингвистические задачи. Исследователь и просветитель в нем неразрывны. «Слово, — писал он, — дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать другому». Объединяющая роль грамматики в системе общественной мысли была для него очевидна: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики».

Впрочем, проблема косноязычия, неопрятности и сомнительности выражения стояла в ту пору не только перед гуманитарными дисциплинами. Еще в 1746 году в предисловии к «Волфианской физике» он признавался: «...принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут». Большинство научных терминов, введенных Ломоносовым «для наименования физических действий, инструментов и натуральных вещей», действительно стали «знакомее» и прочно утвердились в языке. Сейчас мы произносим их, даже и не вспоминая об их творце Ломоносове (парадоксально, но факт — высшего признания и быть не может): опыт, материя, движение, электричество, наблюдения, градус, явление, атмосфера, частицы, термометр, земная ось, воздушный насос, преломление лучей, возгорание, равновесие тел, зажигательное стекло, негашеная известь, магнитная стрелка, кислота, обстоятельство и др.

Огромна роль Ломоносова в утверждении орфоэпических (произносительных) норм живого русского языка, в основе своей принятых и поныне. В этом пункте Ломоносов вновь схватился с Тредиаковским. Оба они были выходцами из окраинных районов России. Перед обоими в равной степени стояла проблема отношения к областным произносительным особенностям, которые они усвоили с рождения. Тредиаковский по многим вопросам орфоэпии выступал апологетом южнорусского произношения.

В самый разгар работы над «Российской грамматикой» Ломоносов, который к этому времени уже нашел орфоэпическую меру, нацеленную на преодоление областной произносительной стихии, написал веселое стихотворение, где вышучивал приверженность своего оппонента к южной экзотике в произношении (Тредиаковский требовал произносить звук Г как «гортанный», как принято на юге России и на Украине, наподобие латинского h):

Бугристы берега, благоприятны влаги,
О горы с гроздами, где греет юг ягнят,
О грады, где торги, где мозгокружны браги
И деньги, и гостей, и годы их губят.
Драгие ангелы, пригожие богини,
Бегущие всегда от гадкия гордыни,

Пугливы голуби из мягкого гнезда,
Угодность с негою, огромные чертоги,
Недуги наглые и гнусные остроги,
Богатство, нагота, слуги и господа,
Угрюмы взглядами, игрени, пеги, смуглы,
Багровые глаза, продолговаты, круглы;
И кто горазд гадать и лгать, да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать,
Ногаи, бо́лгары, гуроны, геты, гунны,
Тугие головы, о иготи чугунны,
Гневливые враги и гладкословный друг,
Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг,
От вас совета жду, я вам даю на волю:
Скажите, где быть га и где стоять глаголю?

Поистине среди современников Ломоносова ему не было равных в свободе владения языковыми и поэтическими формами: в стихотворении из девяноста пяти знаменательных слов восемьдесят три содержат в себе букву «г». Ломоносов-истец обращается к ним как к свидетелям на Форуме в доказательство своей правоты (твердого произношения «г»). И они свидетельствуют — не только его правоту, но и очевидную глупость оппонента-ответчика, который, судя по всему, из тех, у кого «тугие головы», поскольку он не может понять очевидного.

Между тем современники воспринимали ломоносовскую борьбу за единые нормы русского языка как попытку противопоставить всем известным областным и литературным особенностям свое севернорусское употребление. Сумароков в статье «О правописании» прямо обвинял Ломоносова в том, что он хочет основать русский язык «на колмогорском наречии».

Это была в высшей степени неверная оценка как общего направления лингвистических поисков Ломоносова, так и его конкретных выводов. Он совершенно справедливо полагал, что «поморский диалект», привычный и родной ему, «несколько склонен ближе к старому славянскому». Те же нормы русского произношения он строил, опираясь на «московское наречие» как наиболее оптимальный вариант из всех русских говоров: «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы «О» без ударения», как «А», много приятнее». Иными словами, в одном из самых главных пунктов Ломоносов сознательно отступил от «колмогорского наречия»...

Вообще время, последовавшее за окончанием «Российской грамматики», отмечено грандиозными филологическими замыслами. Они перечислены Ломоносовым в его наброске «Филологические исследования и показания, к дополнению Грамматики надлежащие» и относятся примерно к 1755—1758 годам. Список говорит сам за себя: «1. О сходстве и переменах языков. 2. О сродных языках российскому и о ны-

нешних диалектах. 3. О славенском церковном языке. 4. О простонародных словах. 5. О преимуществах российского языка. 6. О чистоте российского языка. 7. О красоте российского языка. 8. О синонимах. 9. О новых российских речениях. 10. О чтении книг старинных и о речениях нестеровских, новгородских и проч., лексиконам незнакомых. 11. О лексиконе. 12. О переводах».

Некоторые пункты этой программы Ломоносов со свойственными ему последовательностью и нетерпением сразу же начал воплощать в действительность. В рапорте президенту Академии о своих трудах за 1755 год он указывает, что «сочинил письмо о сходстве и переменах языков», а в 1764 году в итоговой росписи своих трудов и сочинений вновь упоминает, что им написано «Рассуждение о разделениях и сходствах языков», а также «собраны речи разных языков, между собою сходные». Скорее всего «письмо» и «рассуждение» — это одна и та же работа. И хотя она до сих пор не отыскана, у нас есть все основания назвать Ломоносова первопроходцем русского сравнительного языкознания. Точно так же его можно считать родоначальником отечественной диалектологии, ибо, помимо имеющихся в «Российской грамматике» указаний на диалектные различия в словоупотреблении и произношении, он в плане присовокуплений к ней, а также в классическом «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» убедительно покажет необходимость специального изучения «диалектов российских». Все пункты намеченной Ломоносовым программы получили в той или иной степени освещение в «Предисловии о пользе книг церковных».

Исключение составляют лишь восьмой, одиннадцатый и двенадцатый пункты. Впрочем, о синонимах достаточно говорилось еще в «Риторике» (§ 175, где рассматриваются «двузнаменательные речения»). К тому же Ломоносов начал собирать нечто вроде материалов для словаря синонимов. Что касается замечания «О лексиконе», то и здесь Ломоносов был предельно сосредоточен. Он с 1747 года курировал работу академического переводчика К. А. Кондратовича (1703—1788) по составлению многоязычного словаря (частично был использован в конце XVIII века при создании знаменитого Словаря Российской академии). Неудовлетворенный работой К. А. Кондратовича, Ломоносов помечает в черновых записях: «Положить проект, как сочинить лексикон». В высшей степени интересен набросок сочинения «О переводах», сделанный в развитие двенадцатого пункта. Ломоносов формулирует здесь свой основной принцип искусства и науки перевода: «Переводить лучше с автографов» (то есть с оригинала). И уж просто на вес золота ломоносовское замечание, касающееся, собственно, не переводческих принципов, а вопроса об иноязычных заимствованиях: «NB. Ныне принимать чужих не должно, чтобы не упасть в варварство, как

латинскому. Прежде прием чужих полезен, после вреден». Иными словами, неизбежный при Петре I поток варваризмов из немецкого, голландского, английского и других языков должен быть приостановлен: задача, злободневность которой и два с половиной века спустя не уменьшилась.

Столь напряженные и многообразные филологические размышления и начинания Ломоносова сразу же после завершения работы над «Российской грамматикой» объясняют ту удивительную быстроту, с которой было написано главное его *сочинение в области языка и стиля* — «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1758). Все эти годы Ломоносов был, что называется, в материале. Идеи, одна плодотворнее другой, посещали его. Попытка привести их в систему в «Филологических исследованиях и показаниях, к дополнению Грамматики надлежащих» носила лишь предварительный характер, лишь намечала общее направление будущей работы. Необходим был внешний повод (как, например, в случае с мозаиками, привезенными М. И. Воронцовым из Италии), чтобы все эти многообещающие идеи сконцентрировались вокруг одного какого-нибудь вопроса, не утрачивая при этом своей собственной значимости. Вскоре такой повод представился.

Летом 1758 года в типографии Московского университета шло печатание первой книги «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе г. коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова». Сам он с 22 июля находился на фабрике в Усть-Рудице. В ту пору по Петербургу и Москве ходили списки антицерковного сатирического «Гимна бороде», сочиненного Ломоносовым. Предполагают, что И. И. Шувалов вызвал его из деревни и предложил ему написать предисловие к собранию сочинений, чтобы обезопасить себя от нападок Синода. Наивно было бы считать, что «Предисловие» появилось на свет лишь вследствие тактических соображений: вопрос о церковнославянской лексике в русском языке слишком серьезен. Тем не менее вернувшись из Усть-Рудицы в Петербург, Ломоносов в течение четырех дней, 13—16 августа, написал «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», которое в составе первой книги «Собрания разных сочинений» было быстро отпечатано, а в октябре книга уже поступила в продажу.

Впрочем, этим четырем дням предшествовало двадцать лет скрупулезных филологических разысканий, которые необходимо рассматривать в русле общих культурных задач, стоявших перед Ломоносовым.

Вопрос о языке не был только научным вопросом: в большой мере он был еще и вопросом общественно-государственным. Петр I был непримиримым противником «славенщизны», невнятных переводов, вообще использования славянских слов и оборотов в законах, приказах, донесениях и т. п. Новые жизненные ценности несли с собою новые слова. Язык

русский эпохи петровских реформ пребывал в трудном процессе перестройки, не только грамматической, но и лексической. Проблема славянизмов отражала в себе один из важнейших аспектов более широкой, исторически глубокой и больной проблемы, а именно: проблемы соотношения двух культур, средневековой и новой, самобытной и европеизированной, во всем дальнейшем развитии послепетровской России. В языке острее всего ощущалась необходимость изжить отрицательные культурные последствия петровского переворота. Ломоносов принял на себя выполнение этой задачи. Изменения в грамматическом строе русского языка по сравнению со средневековым периодом были осмыслены и подытожены в «Российской грамматике». Теперь, в «Предисловии о пользе книг церковных», Ломоносов решал задачу отыскания оптимальной меры, определяющей соотношение различных лексических пластов в выражении нового культурного содержания, мировоззрения нового человека.

«Предисловие» решает три филологических задачи: 1. Задачу сочетания церковнославянской и собственно русской лексики, 2. Задачу разделения литературных стилей и 3. Задачу разграничения литературных жанров.

Вопрос о славянизмах ставится Ломоносовым в связи с историческим развитием русского языка. Вот краткий, но широкий и энергичный очерк истории русского языка, сделанный мощной ломоносовской кистью: «В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей и действий, ученым людям известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия Божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители. На нем, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, витийствовали великие христианския церкви учители и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к Богу. Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке; коль много мы от переводу Ветхого и Нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцев канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно».

Пройдет около семидесяти лет, и Пушкин, завершая начатое Ломоносовым великое дело создания литературной нормы русского языка, оглянется на его историю, охарактеризует ее проще и лаконичнее, но при этом не оспорит ни одного из пунктов, выдвинутых Ломоносовым в цитированном высказывании. В пушкинской статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» читаем: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и **такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».**

Пушкинская мысль о том, что наш язык «имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими» и что это превосходство заключается в избежании им «медленных усовершенствований времени», вне всякого сомнения навеяна чтением «Предисловия о пользе книг церковных». Развивая свое утверждение о том, что «довольство российского слова» не только «своим достатком велико», но и «к принятию греческих красот посредством славенского сродно», Ломоносов показывает на примерах, насколько трудной была судьба других языков, подверженных, если воспользоваться пушкинским словом, медленным усовершенствованиям: «Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большой части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим».

Итак, старославянский язык как язык священных книг не отделен от русского столь непроходимой гранью, какою церковная латынь отделена от немецкого и тем более польского. Старославянские слова органично вошли в состав русского языка. Ломоносов строит свою стилистическую теорию, сообразуясь со степенью их присутствия в том или ином лексическом слое: «Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные степени, **высокий, посред-**

ственный и низкий». В первом лексическом слое находятся старославянские слова, «которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны», например: **бог, слава, рука, ныне, почитаю»**. Во втором — славянизмы, которые малоупотребительны, «однако всем грамотным людям вразумительны, например: **отверзаю, господень, насажденный, взываю»**. Устаревшие слова типа **«обаваю, рясны, овогда, свене** и сим подобные» сюда не включаются. В третьем находятся собственно русские слова, «которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: **говорю, ручей, который, пока, лишь»**, за исключением вульгаризмов, вообще непристойностей.

Общая схема следующей далее теории «трех штилей» не является оригинальным изобретением Ломоносова. Трехчастные стилистические построения в изобилии встречаются в риториках и поэтиках XVI—XVII веков (например, в «Поэтике» Феофана Прокоповича, которую Ломоносов хорошо знал). Оригинально ломоносовское истолкование традиционной схемы.

Прежде всего, большой заслугой Ломоносова стало четкое разграничение таких понятий, как стили языковые («разные степени языка», «роды речений») и стили литературные («штили»). Без этого было бы невозможно столь строгое и удобопонятное изложение главной идеи «Предисловия», которая непосредственно вырастает из всего вышеуказанного: «От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля, **высокий, посредственный и низкий**. Первый составляется из речений славено-российских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых... Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных.

Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова; однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость...

Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще неупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материй...»

Другая заслуга Ломоносова заключается в решительном размежевании понятий стиля и жанра. Высокому штилю, по Ломоносову, соответствуют героические поэмы, оды, похвальные прозаические речи. Средним штилем пишутся все театральные сочинения, стихотворные дружеские послания, сатиры, эклоги, элегии, прозаические «описания дел достопамятных и учений благородных». Низкий штиль — это языковая стихия комедий, эпиграмм, песен, прозаических дружеских писем и «описаний обыкновенных дел».

Своим рассуждением о штилях Ломоносов оказал огромную услугу всем русским писателям допушкинского периода: «Установленные Ломоносовым правила чередования элементов русского разговорного языка с элементами языка церковнославянского, имевшего иную стилистическую окраску, дали в руки русским писателям прекрасное средство для отчетливой передачи стилевых оттенков в пределах господствовавших тогда литературных жанров. Благодаря этому созданное Ломоносовым учение о трех стилях оказало решающее и притом чрезвычайно здоровое влияние на дальнейшую историю русской литературы и русского литературного языка, ощущавшееся вплоть до пушкинского времени». С таким определением одного из современных исследователей творчества Ломоносова трудно не согласиться.

С теорией «трех штилей» непосредственно связаны и другие в высшей степени значительные мысли, высказанные в «Предисловии о пользе книг церковных». К ним относится прежде всего утверждение о стойкости основного словарного фонда русского языка, о его удобопонятности всем русским людям, несмотря на неизбежные диалектные особенности. Ломоносов справедливо видит в этом специфическую черту русского языка, которая отличает его от других европейских языков и которая обусловлена давним его взаимодействием с языком старославянским. Иными словами, польза от старых церковных книг обусловлена не только тем, что они помогают новому человеку полнее и точнее выражать высокие понятия (вообще все связанное со сферой духа), но и тем, что выходит за пределы чистой стилистики, а именно: объединяющей ролью славянизмов, их высокой национально-государственной миссией в судьбах русского и других народов, воспринявших ценности мировой культуры через посредство старославянского языка.

«Народ российский, по великому пространству обитающий, — пишет Ломоносов, — не взирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и в селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того ж немецкого народа.

Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славянского поколения, которые греческого исповедания держатся. Ибо хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность».

Кроме того, по мысли Ломоносова, эта особенность русского языка обусловила еще и особую отчетливость, полноту и непрерывность исторической памяти народа: «...российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время».

Умелое, тактичное сочетание в речи русских и старославянских слов, сверх того, должно помочь поставить заслон бездумным и вредным заимствованиям из иностранных языков, широким и мутным потоком хлынувшим в русские головы в эпоху Петра и сразу после нее: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков...»

Ломоносовское «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» подвело итог почти двадцатилетним теоретическим и литературным поискам в области русского слова. Сам Ломоносов прекрасно отдавал себе отчет в исключительно важной практической роли «Предисловия» для формирования нормы русского языка и внимательно следил за стилистическими изменениями в журнальных статьях, книгах, устных речах после публикации его главного филологического труда. Незадолго до смерти он с законной гордостью вменял себе в заслугу, что его попечением «стиль российский в минувшие двадцать лет несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражению идей трудных».

Во всех этих трудах Ломоносова воодушевляла великая цель, о которой он, завершая «Предисловие о пользе книг церковных», сказал следующее: «Сие краткое напоминание довольно к движению ревности в тех, которые к прославлению отечества природным языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа... Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами. Ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедающих дела своих героев...»

Язык — это бессмертие духовного опыта народа. Бессмертие во плоти. Ломоносов только трудами о языке мог увековечить свое имя. Ведь в естественных науках с течением времени одни истины сменяются другими, которые, в свою очередь, тоже отменяются. Заслуга Ломоносова в области языка неотменяема **в принципе.** Отдельные люди, сословия, народы отмирают. Язык — остается. Три великих имени — Ломоносов, Карамзин, Пушкин — освятили язык, на котором мы сейчас говорим, на котором будут говорить наши ближние и дальние потомки. Но даже когда и они исчезнут, останется вековая летопись духовного и исторического опыта народа во всей совокупности его поколений. Некто сможет извлечь ее из забвения, только выучив наш язык, очищенный и сбереженный «искусными в нем писателями», среди которых первым по праву стоит Ломоносов.

3

Впрочем, Ломоносов никогда не оставлял своим самым ревностным попечением науки естественные. 50-е годы XVIII века (помимо достижений в области химии и физики стекла, мозаичного искусства и атмосферного электричества) отмечены другими выдающимися открытиями. Подчас совершенно неожиданными, но внутренне — в высшей степени логичными.

В протоколе Академического собрания от 1 июля 1754 года была сделана такая запись: «Почтеннейший советник Ломоносов показал изобретенную им машину, называемую аэродромической, пользоваться которой надо следующим образом. С помощью крыльев, движущихся горизонтально в разных направлениях благодаря пружине, какие обычно бывают в часах, воздух сдавливается и машина поднимается по направлению к более высокому слою воздуха, для того, чтобы можно было с помощью метеорологических приборов, которые прикрепляются к этой аэродромической машине, исследовать состояние верхнего воздуха. Машина была подвешена на веревке, перекинутой через два блока, и поддерживалась в равновесии гирьками, привешенными с противоположной стороны. Когда заводили пружину, машина сразу поднималась вверх. Таким образом, она обещала желаемый эффект. Этот эффект, по мнению изобретателя, еще больше увеличится, если будет увеличена сила пружины, если расстояние между обоими парами крыльев будет больше и коробка, в которой скрыта пружина, будет для уменьшения веса сделана из дерева. Он обещал позаботиться об осуществлении этого».

Мысли о создании подобной машины, по существу, непосредственно вытекали из теории опускания верхних слоев воздуха в нижние, изложенной в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Как мы знаем, для Ломоносова положить основание теории означало «охватывать совокупность всех вещей». Иными словами, утверждать закон и одновременно видеть следствие закона. Вот почему, уже обосновывая свою теорию воздушных слоев (которая, напомним, показалась Эйлеру наиболее интересной и перспективной для всего «Слова»), Ломоносов думал не только о природе атмосферного электричества, но и о причинах погоды, например. Уже тогда он указывал на то, что море

оказывает смягчающее действие на климат прибрежных районов. Надо полагать, уже тогда родилась у него и идея использовать восходящие потоки для исследования верхних воздушных слоев, без чего невозможно было бы научное «предзнание погод», которое Ломоносов считал вполне реальной и выполнимой задачей уже тогда. И вот, наконец, почему уже тогда была им задумана, а спустя чуть более полугода продемонстрирована первая в мире опытная модель вертолета. Итак, в этом пункте Ломоносов как теоретик выступил предтечей современной метеорологии, которая началась в конце XIX века с изучения верхних слоев атмосферы (правда, посредством шаров-зондов), а как приборостроитель — провозвестником авиации XX века (несмотря на то, что, как отмечал сам Ломоносов, его летающая машина «к желаемому концу не приведена» была).

Метеорологические проблемы в ту пору волновали Ломоносова еще и в связи с его занятиями географией, одной из самых «государственных» наук для России с ее необозримыми пространствами. В отчете президенту Академии он помечал (все под тем же 1754 годом), что им «деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может; при том были разные химические растворы морожены для сравнения». А год спустя он «сочинил письмо о Северном ходу в Остындию Сибирским океаном» и уже до самой смерти не переставал заниматься этим вопросом (о котором еще предстоит разговор в последней части нашей книги). В 50-е годы им были также «изобретены некоторые способы к сысканию долготы и широты на море при мрачном небе». В 1759 году он читал в Академическом собрании свое «Рассуждение о большей точности морского пути» с демонстрацией изготовленных по его проектам навигационных инструментов.

В тесной связи с географическими начинаниями Ломоносова находились его работы по геологии. 6 сентября 1757 года он произнес в публичном собрании Академии наук «Слово о рождении металлов от трясения земли». Это был второй опубликованный геологический труд Ломоносова (первым был Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук, напечатанный по-латыни в 1745 году; о нем уже шла речь). Как это часто бывало у Ломоносова, «Слово», с одной стороны, нацелено на решение просветительских и государственных задач, а с другой, ориентировано на злободневную научно-философскую полемику, на конкретные события, память о которых свежа и причина которых не отыскана.

Так же, как «Слово о явлениях воздушных», Ломоносов и на этот раз начал свое выступление с того, что бросил своих слушателей в самое пекло вопроса, взбудоражившего ученых и неученых европейцев за два года до того. Ломоносов вызывающе парадоксален: «Когда ужасные дела натуры в

мыслях ни обращаю, слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них толь страшного, нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило». В подтверждение этого странного для публики заявления он приводит в пример «громовою электрическою силою наполненные тучи», которые «плодоносным дождем» оживляют растения, напоминает о заслуге «рачительных натуры испытателей», которые «действие электрической силы» своими трудами «изъяснили». Он пока что ведет публику только по краю бездны: явления природы и разрушительны и одновременно благотворны для человека, их надо познавать, познание сопряжено с потерями (здесь намеренное напоминание об одном из «рачительных натуры испытателей» Рихмане). Ломоносову важно привлечь слушателей на свою сторону — на сторону того мнения, что познание, само по себе будучи, как и явления природы, гибельным и благотворным в равной мере, еще и неизбежно. И лишь показав «истину сего дела», он приступает к тому, чтобы «новым доказательством присовокупить... новую сей правде важность». Лишь теперь настало время ринуться вместе со всеми в бездну: «Ради сего намерения не нахожу ничего пристойнее, как земли трясение, которое хотя сурово и плачевно, хотя недавно о городах, им поверженных, о землях опустошенных и почти о целых искорененных совоздыхали мы народах, однако не токмо для нашей пользы, но и для избыточества служит, производя, кроме других многих угодий, преполезные в многочисленных употреблениях металлы».

Ломоносов ведет поединок с сознанием слушателей на той территории, которая занята страхом и предрассудками. Ведь наряду с грозами землетрясения в середине XVIII века вызывали повышенный, «содрогательный» интерес самых широких кругов общества. Много говорилось о сильнейших землетрясениях 1745—1746 годов в Перу, но событием, буквально потрясшим всю Европу, стало знаменитое лиссабонское землетрясение.

Весть об этом стихийном бедствии достигла России через месяц после того, как оно разразилось. 5 декабря 1755 года «Санктпетербургские ведомости» поместили следующее сообщение из Парижа: «С приехавшим из Мадрита курьером получена ведомость, что первого числа ноября месяца по Гишпанским берегам и во всем Португальском Королевстве было ужасное трясение земли, от которого... больше половины Португальской столицы Лиссабоны развалилось, и тем в несколько минут около 100 000 народу задавило». Это известие с суеверным энтузиазмом обсуждалось в Петербурге и Москве. Большинство видело в нем знак немилости Господней. Впрочем, лиссабонская катастрофа и по нынешним понятиям явление страшное.

Чтобы более или менее определенно представить себе, что́

творилось в умах людей в связи с происшедшим в Лиссабоне, послушаем И.-В. Гёте, которому было шесть лет, когда распространилась ужасная весть, и который уже глубоким стариком в «Поэзии и правде» вспоминал: «...величайшее мировое бедствие в первый раз нарушило душевное спокойствие мальчика. Первого ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, вселившее беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою. Ужаснейшая катастрофа обрушилась на Лиссабон, пышную королевскую резиденцию, большой порт и торговый город. Земля колеблется и дрожит, море вскипает, сталкиваются корабли, падают дома, на них рушатся башни и церкви, часть королевского дворца поглощена морем, кажется, что треснувшая земля извергает пламя, ибо огонь и дым рвутся из развалин. Шестьдесят тысяч человек, за минуту перед тем спокойные и безмятежные, гибнут в мгновенье ока, и счастливейшими из них приходится почитать тех, что уже не чувствуют и не осознают беды.

...Люди богобоязненные тотчас же стали приводить свои соображения, философы — отыскивать успокоительные причины, священники в проповедях говорили о небесной каре...

Мальчик, которому пришлось неоднократно слышать подобные разговоры, был подавлен. Господь Бог, вседержитель неба и земли, в первом члене символа веры представший ему столь мудрым и благостным, совсем не по-отечески обрушил кару на правых и неправых. Тщетно старался юный ум противостоять этим впечатлениям; попытка тем более невозможная, что мудрецы и ученые мужи тоже не могли прийти к согласию в вопросе, как смотреть на сей феномен».

Вольтер откликнулся на это событие страстной «Поэмой о гибели Лиссабона», исполненной растерянности и негодования, отчаяния и сострадания, скорби и протеста. Проклиная философов-оптимистов Лейбница и Поупа, забыв о своем собственном увлечении оптимистическим девизом «Все к лучшему в этом лучшем из миров», он назвал Бога мучителем и пронзительно прокричал на всю Европу: «Природа — царство зла, обитель разрушенья»... Жан-Жак Русо направляет Вольтеру письмо с опровержениями столь радикальных и поспешных выводов. Высказывается на эту тему Иммануил Кант. Короче, мыслящая Европа бурлит.

Ломоносов подошел к вопросу как естествоиспытатель. Легковерному оптимизму и мгновенному пессимизму Вольтера он противопоставил свой мужественный оптимизм ученого. Он черпал знания о природе не из вторых рук, как Вольтер, который, хотя и занимался философскими проблемами естествознания и даже опыты химические проводил, был все-таки дилетантом в природоведении и имел несвободное представление о природе. Обстоятельно и вместе с тем кратко рассказывает он о четырех различных видах землетрясений: 1. «когда дрожит земля частыми и мелкими ударами и трещат

стены зданий, но без великой опасности», 2. когда земля, «надувшись, встает кверху и обратно перпендикулярным движением опускается», 3. когда «поверхности земной, наподобие волн, колебание бывает весьма бедственно, ибо отворенные хляби на зыблющиеся здания и на бледнеющих людей зияют и часто пожирают» и 4. «когда по горизонтальной плоскости вся трясения сила устремляется, тогда земля из-под строений якобы похищается».

Живописуя «подземные стенания, урчания, иногда человеческому крику и окружающему треску подобные звучания», а также «дым, пепел, пламень», которые «совокупно следуя, умножают ужас смертных», Ломоносов приглашает свою аудиторию к раздумиям над вопросом: каков же реальный смысл подобных явлений природы, помимо суеверного? Отвечая на этот вопрос, он излагает свою излюбленную идею изменчивости мира, идею развития, непрекращающегося движения всего «созданного естества». «Таковые частые в подсолнечной перемены объявляют нам, что земная поверхность ныне совсем иной вид имеет, нежели каков был издревле. Ибо нередко случается, что превысокие горы от ударов земного трясения разрушаются и широким расседшейся земли жерлом поглощаются, которое их место ключевая вода, кипящая из внутренностей земли, занимает или оное наводняется влившимся морем. Напротив того, в полях восстают новые горы, и дно морское, возникнув на воздух, составляет новые островы».

С точки зрения обыденного сознания, здесь высказана дерзкая, кощунственная мысль о том, что вся история Земли — это непрекращающийся «всемирный потоп» или цепь «всемирных потопов», геологических катаклизмов разной степени. В основе этих ужасных процессов — Ломоносов не дает опомниться слушателям — действует «подземный огонь», который «по разным местам путь себе вон отворяет». В результате чего образуются огнедышащие горы и происходят землетрясения.

Образование самородных металлов и рудных жил Ломоносов объясняет тем, что возникающие в результате землетрясений трещины в земной коре заполняются вулканическими массами, которые приходят в сложное взаимодействие с горными породами, а также поверхностными и грунтовыми водами. Рождение металлов — результат этого взаимодействия.

Развитие геологической науки в XIX веке подтвердило ломоносовскую гипотезу о том, что рудные жилы образуются за счет горных пород, точно так же, как и его утверждение о различном возрасте рудных жил. То же самое можно сказать и о третьей, по классификации Ломоносова, разновидности землетрясений — о волнообразных колебаниях («поверхности земной наподобие волн колебаниях»), научное представление о которых было введено в геологию лишь более полу-

века спустя английским ученым Т. Юнгом (1773—1829). В начале XX века академик В. И. Вернадский указал на важность выдвинутой Ломоносовым идеи о «нечувствительных землетрясениях».

Впрочем, в «Слове о рождении металлов от трясения земли» было высказано многое из того, что принадлежало только XVIII веку и не понадобилось в дальнейшем развитии науки. Прежде всего это относится к его основному положению, касающемуся, собственно, химического объяснения геологической картины землетрясений и образования металлов, которая столь смело, прозорливо и точно была обрисована Ломоносовым. Причиной «подземного огня», вызывающего землетрясения, он, как и большинство ученых XVIII века, считал сгорание серы, которая, как они думали, содержится в земных недрах в таком «преизобилии», что ее достанет на поддержание «внутреннего сего зноя» в течение тысяч и тысяч лет. «Изобильная сия материя, — говорил Ломоносов о сере, — по самой справедливости между минералами первое место имеет... и ясными признаками оказывается, что ни один металл без нее не рождается». Однако само стремление объяснить геологические явления химическими процессами в глубинах земли, по мнению историков естествознания, было весьма прогрессивным и со временем привело к возникновению такой науки, как геохимия.

Вообще же во всем требовать от Ломоносова безошибочного предвосхищения более поздних открытий — некорректно. А ведь именно так ставится вопрос почти во всех популярных книгах и статьях о нем. Такого рода апологеты Ломоносова оказывают ему медвежью услугу. На этом пути неизбежны всевозможные натяжки, недомолвки, подчас и искажения. Например, Ломоносов начиная с 1748 года настойчиво оспаривал открытый Галилеем закон пропорциональности массы и веса тела. В рассматриваемое здесь десятилетие он несколько раз пытался выступить с его опровержением (в 1754, 1755, 1757 гг.). Ученик Ломоносова С. Я. Румовский в одном из писем к Эйлеру писал с иронией: «Г. Ломоносов хочет издать рассуждение, которым намеревается ниспровергнуть все, что до сих пор успели открыть, потому что он доказывает, что тяжесть тел не пропорциональна количеству вещества и что количество движения не пропорционально массе, помноженной на квадрат скорости». Упоминание о последней его попытке в этом направлении находим в академическом протоколе от 30 января 1758 года: «Ломоносов показал собранию диссертацию об отношении массы и веса, которая сообщается коллегам для прочтения дома». Больше Ломоносов уже не пробовал открыто подвергать сомнению этот закон, хотя критическое размышление над ним продолжалось, точно так же, как продолжались эксперименты по гравиметрическим приборам, создание которых было тесно связано с общим направлением его тогдашних раздумий о со-

отношении массы и веса, силе тяжести, вообще о природе тяготения. С некоторыми из созданных им приборов (центроскопическим маятником, универсальным барометром, показывающим не только изменяющуюся тяжесть атмосферы, но и изменение веса в телах) Ломоносов ознакомил современников 8 мая 1759 года на публичном собрании Академии наук, где он произнес «Рассуждение о большей точности морского пути».

Судя по всему, Ломоносову на собственном опыте пришлось убедиться в правоте своего изречения: «С величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов». Гениям, как и всем людям, свойственно заблуждаться. Главное — не упорствовать в своих заблуждениях, не навязывать их природе, выдавая желаемое за действительное. Впрочем, Ломоносов не нуждается ни в чьей защите. Ему есть что предложить потомкам, кроме своих заблуждений.

Десятилетие 1751—1761 годов завершилось великим открытием в астрономии.

Начиная с осени 1760 года европейские ученые стали готовиться к редкому событию — прохождению Венеры по диску Солнца (в следующий раз такое прохождение ожидается лишь в 2004 году). Завязалась оживленная переписка между академиями об организации экспедиций в разные точки земного шара, где можно было бы наблюдать это явление без помех. Наблюдения были необходимы для установления точного расстояния между Солнцем и Землей.

Петербургская Академия решила с этой целью направить три экспедиции в Сибирь: две возглавили русские астрономы С. Я. Румовский и Н. И. Попов, во главе третьей стоял французский астроном Шапп Д'Отерош. Кроме того, предполагалось провести наблюдения в самом Петербурге, на Академической обсерватории. Сибирские экспедиции постигла неудача из-за неблагоприятной погоды, о чем Румовский написал Ломоносову из Селенгинска: «Ежели бы 26 день майя был ясный и мне бы удалось сделать надежное примечание над Венерою, то я бы без всякого сомнения остался в здешнем наихудшем всей Сибири городе до того бы времени, пока определил аккуратно длину сего места. Но мое **наблюдение того не стоит»** (последние слова были подчеркнуты рукою Ломоносова.— *Е. Л.*). Наблюдения в Петербурге были осложнены вследствие скандала, возникшего по инициативе Тауберта, между академиком Эпинусом и академическими «обсерваторами» А. Д. Красильниковым и Н. Г. Каргановым.

Ломоносов наблюдал за Венерой дома. Причем само явление интересовало его больше с точки зрения физики, а не астрономии. Он, по его собственному признанию, «любопытствовал у себя больше для физических примечаний, употребив зрительную трубу о двух стеклах длиною в $4^1/_2$ фута». Может быть, именно это обстоятельство (то, что Ломоносов

был настроен на «примечание» и осмысление прежде всего физических характеристик явления) помогло ему сделать вывод, который не пришел в голову ни одному из многих западноевропейских астрономов, увидевших то же самое, что и он.

А увидел он, что при выходе Венеры из диска Солнца, «когда ее передний край стал приближаться к солнечному краю и был около десятой доли Венериного диаметра, тогда появился на краю солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила». Объяснить такую картину, по мысли Ломоносова, можно только тем, что «планета Венера окружена знатною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного», ибо, продолжал он, «сие не что иное показывает, как преломление лучей солнечных в Венериной атмосфере». Идея Ломоносова была настолько неожиданной, что европейские астрономы и физики оказались в состоянии воспринять ее лишь в 90-е годы XVIII века, спустя тридцать лет, да и то в изложении англичанина У. Гершеля или немца Шретера, которые пришли к аналогичному выводу, наблюдая «удлинение рогов» серпа Венеры. Так что в астрономии, как и в химии (вспомним дилемму Ломоносов — Лавуазье), Ломоносову не повезло с признанием его приоритета.

Это тем более странно, что, в отличие от закона сохранения вещества (который, хотя и был изложен в 1748 году в письме к Эйлеру, а затем в 1756 году подтвержден экспериментально в Академическом собрании, все-таки не попал в научную печать), вывод о наличии атмосферы у Венеры был опубликован в отдельной брошюре «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской Академии наук майя 26 дня 1761 года», вышедшей в том же году сразу на русском и немецком языках. Интересно, что речь Румовского «Изъяснения наблюдений по случаю явления Венеры в Солнце, в Селенгинске учиненных» (а ведь в письме к Ломоносову он признавал, что, в сущности, наблюдений-то не было), произнесенная в сентябре 1762 года, и ряд его статей, опубликованных в «Новых комментариях» Петербургской Академии в 1762—1764 годах, а также в журнале «Ежемесячные сочинения» (1764, апрель), получили два похвальных отзыва в «Мемуарах» Парижской Академии за 1764 год (вышли в свет в 1767 году). Ломоносовская же брошюра не удостоилась даже упоминания в научных хрониках.

Что касается отечественных откликов на нее, то Ломоносов совершенно справедливо полагал, что они обязательно воспоследуют, но не в научных кругах, а в обществе. Ломоносов понимал, что его открытие могло вызвать у публики нежелательные, с церковной точки зрения, мысли о возможности существования на Венере живых созданий (чему в немалой степени могло способствовать такое косвенное обстоятельство, как выход в свет второго издания Фонтенелевых

«Разговоров о множестве миров» в переводе Кантемира, которое было осуществлено при непосредственном участии Ломоносова). Вот почему, упреждая нападки Синода, Ломоносов счел необходимым присовокупить к научной части книжки философско-публицистическое «Прибавление», в котором касается одного из больнейших вопросов, выдвинутых всем ходом научной революции, начиная с эпохи Возрождения.

Это вопрос о соотношении веры и знания. На Западе над ним бились Декарт и Паскаль, Френсис Бэкон и Галилей, Лейбниц и Спиноза и многие другие выдающиеся умы. В России он был поставлен Феофаном в его проповедях и стихотворном обращении к папе в защиту Галилея, разработан в сатирах Кантемира и примечаниях к ним, а также в «Письмах о природе и человеке», затем подхвачен Тредиаковским в его философском трактате «Слово о мудрости, благоразумии и добродетели». Ломоносовский ответ на этот вопрос вопросов XVIII века вбирает в себя всю западноевропейскую и русскую предысторию его и просто обезоруживает (иначе не скажешь) своею убедительностью, простотой, здравым смыслом, свободой, каким-то мудрым изяществом даже.

Итак, не противоречит ли новое открытие Священному писанию? Как опытный ритор Ломоносов учитывает возможную реакцию своей «аудитории» на это открытие. Точек зрения на «редко случающиеся явления» существует как минимум — три. Этим трем точкам зрения соответствуют три ступени приближения к истине, следовательно: три ступени духовного освобождения, преодолеваемые человечеством в процессе познания.

На первой ступени находятся люди, пребывающие в плену «неосновательных сомнительств и страхов», всяческого «суемыслия», люди «не просвещенные никаким учением». Вторая ступень — «люди грамотные», «чтецы писания», «ревнители» религии, книжники, которые способны понимать писание только «в точном грамматическом разуме», и они духовно не свободны: находясь в рабской зависимости от буквы священных книг, они делают духовными рабами и других, проповедуя свое ограниченное представление об истине. Наконец, третья ступень доступна тем, кто «натуру исследовать тщится» и в процессе самого исследования приходит к выводу, что «Священное писание не должно везде разуметь грамматическим, но нередко и риторским разумом».

От лица духовно свободных людей выступает и сам Ломоносов. Интересен ряд его единомышленников, то есть тех, кто приблизился к истине. Излагая с присущей ему широтой взгляда историю вопроса о гелиоцентризме и множестве миров, Ломоносов включает в этот ряд Никиту Сиракузянина, Филолая, Аристарха Самосского (философов-язычников), Коперника, Кеплера, Ньютона (ученых), Василия Великого, Иоанна Дамаскина (отцов церкви) и всех их противопостав-

ляет церковникам, которые не могут и не хотят выйти за рамки «грамматического разума».

Объединение столь разных мыслителей в одну группу не случайно. Всех их, по мнению Ломоносова, роднит умение подходить к миру (сознательно или стихийно — это уже другой вопрос) с адекватными критериями, судить о зримом мире по его закону, не навязывая ему собственных ограниченно умозрительных трактовок. У Ломоносова и Василий Великий «о возможности многих миров рассуждает». Причем не потому, что так хочется нашему просветителю, а потому, что в произведениях отца православной церкви действительно есть высказывания, позволяющие сделать именно такой вывод (и Ломоносов тут же подтверждает это выписками из «Шестоднева»). Точно так же и Дамаскин под пером Ломоносова предстает мыслителем, обладающим философской широтою взгляда на *«видимый сей мир»*, допускающим в принципе возможность не только птоломеевой картины его, но и коперниковой и иных, — «ибо, упомянув разные мнения о строении мира, сказал: **Обаче аще тако, аще же инако: вся Божиим повелением бьгша же и утвердишася».**

Ломоносов ведет свой спор с церковниками на языке, доступном им (еще одно доказательство его духовной свободы, потому что он может «перевести» свое слово о мире на «чужой» язык; позиция же церковников от начала до конца не свободна: отмечена ограниченностью и нетерпимостью). На это обратил внимание в конце XIX века историк русской литературы Л. Н. Майков: «Противники Ломоносова строили свои мнения на приемах господствующей в наших школах схоластики, Ломоносов, возражая им, как бы вспоминал уроки Славяно-греко-латинской Академии и отвечал в духе схоластической диалектики». Это обстоятельство, безусловно, необходимо учитывать, когда мы встречаем в произведении Ломоносова такие, например, высказывания (продиктованные, впрочем, чисто практическими просветительскими целями — защитить право ученых и философов исследовать мир без церковной опеки): «Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного всевышнего родителя, никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет». (Возможно, здесь имеется в виду Тредиаковский, который в «Слове о мудрости, благоразумии и добродетели» (1752) как раз противопоставлял религию и науку не в пользу последней.)

Вопрос о месте «всевышнего родителя» в мировоззрении Ломоносова весьма сложен. Идеи Бога он не отвергал, но понимал ее по-своему. Для Ломоносова характерен гносеологический пафос отношения к Богу, творцу естественных законов: «Воображаем себе тем явственнее Создателя, чем точнее сходствуют наблюдения с нашими предсказаниями; и чем больше постигаем новых откровений, тем громчае его прославляем». При этом следует помнить, что Ломоносова, в отличие от его современников, не волновала проблема чего-то или кого-то до мира, следовательно, и не стоял вопрос о физико-теологическом доказательстве существования Бога. Он исследует природу и Бога (ср.: Бог как законы природы). Приводимое Ломоносовым в «Явлении Венеры на Солнце» его вольное переложение из Клавдиана показывает, что его понимание Бога включало в себя и сомнения в существовании высшей силы:

Я долго размышлял и долго был в сомненье,
Что есть ли на землю от высоты смотренье;
Или по слепоте без ряду все течет,
И промыслу с небес во всей вселенной нет.
Однако, просмотрев светил небесных стройность,
Земли, морей и рек доброту и пристойность,
Премену дней, ночей, явления луны,
Признал, что Божеской мы силой созданы.

Поскольку Ломоносов не размышлял о начале мира, не волновала его и проблема конца мира. Он ставил перед собой и современниками только такие задачи, которые человеческий разум в принципе мог решить и которые в силу этого были чреваты плодотворными последствиями. Ломоносовский «несокрушимый здравый смысл» (С. И. Вавилов) в ту пору, когда сознание подавляющего большинства мыслителей (как естествоиспытателей, так и моралистов) было во власти схоластического умозрения, выгодно отличался реалистической ясностью взгляда на вещи. Религия и наука являются в корне различными видами духовной деятельности человека (в равной мере имеющими право на существование), у них разные цели, разные способы постижения мира, следовательно, «вольное философствование» не может зависеть от церкви: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. ...Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословии учитель, если он думает, что по Псалтире научиться можно астрономии или химии».

Подобное разграничение «сфер влияния» между наукой и религией не означало, однако, что «вольное философствование» само по себе находится вне морали. Как уже не раз подчеркивалось, прогресс познания («вящее наук приращение») необходимо влечет за собой, по Ломоносову, и духовное освобождение человечества. В своих взглядах на человеческую свободу Ломоносов очень близко подходит к спино-

зовской постановке вопроса (ср.: amor intellectualis как высшее моральное качество личности). Страсть к познанию, с точки зрения Ломоносова, — самая сильная страсть человеческой натуры. Познать законы природы — значит наиболее полно реализовать свою человеческую сущность и, вследствие этого, стать свободным. Аналогичную идею проводит он и в своей поэзии. О необходимости обретения человеком «Божия величества» говорится не только в его «духовных» одах («Утреннее» и «Вечернее» размышления, переложения 103-го и 143-го псалмов), но даже в «похвальных», — как например, в следующих строчках о Боге из оды 1757 года:

Его — земля и небеса,
Закон и воля повсеместна,
Поколь нам будет неизвестна
Его щедрота и гроза.

Несмотря на то, что Ломоносов не ставил себе специальной задачей писание философских трактатов и статей и воспринимался современниками прежде всего как одический поэт (о его научных трудах мало кто из них мог судить компетентно), роль его в формировании русской философско-публицистической прозы велика. Он умел быть философом и в своих, казалось бы, сугубо специальных трудах, будь то «Явление Венеры на Солнце», «Краткое руководство к красноречию» или предисловие к учебнику физики. Книги эти читали все образованные люди, их обсуждали, они вызывали желание спорить. Читатель черпал в них не только сведения по соответствующим частным вопросам, но и вбирал в себя их серьезный и злободневный философский подтекст.

ГЛАВА IV

Он человек был в полном смысле слова.
Шекспир. «Гамлет»

Ожесточенная борьба идей, которой отмечен век Просвещения, характеризовала не только взаимоотношения между наукой и религией — она определяла внутреннюю жизнь самого «вольного философствования». Естествоиспытатели, философы, поэты — представители новой традиции европейской мысли, выходившей из-под церковной опеки, были далеки от единодушия и в своей сфере. Противоборство шло, что называется, не на жизнь, а на смерть. Научная и литературная полемика эпохи выдвинула целый ряд вопросов огромного этического значения.

Главный в этом смысле вопрос, который должны были задать себе участники перед тем, как вступить в схватку, можно сформулировать примерно так: что есть «вольное философствование» — поиски истины или же поиски способов самоутверждения (пусть даже и в ущерб Истине)? Отношение к этому вопросу выявляло не только творческую возможность мыслителей, но и чисто человеческую их сущность. Дело в высшей степени осложнялось еще и тем, что век был именно веком **Просвещения.** Иными словами, сама общественно-культурная обстановка настраивала сражающихся на завоевание возможно большего количества умов. Незамедлительный, по возможности всеобщий отклик — вот цель, к которой стремится просветитель и вне которой вся его деятельность попросту теряет смысл.

Ломоносов самоутверждался в отыскании Истины. Это тот случай, когда самоутверждение равно самоотречению. Вспомним финал оды 1742 года:

Красуйся, дух мой восхищенный,
И не завидуй тем творцам,
Что носят лавр похвал зеленый:
Доволен будь собою сам.

Для человека, взыскующего Истины, это, по существу, единственный путь. Внешние похвалы не обязательны, а подчас и досадны. Не обязательны они, потому что достигнутая Истина — сама по себе награда, выше которой ничего нет. А досадны — потому что хвалят чаще всего человека, а не то, к чему он устремился и чего он достиг. Точно так же должно относиться и к непониманию или даже нападкам окружающих: Истина здесь уже будет не столько даже наградой, сколько поддержкой. Так или иначе, Ломоносов вполне отдавал себе отчет в том, что высокое равнодушие к похвалам — главное этическое условие постижения Истины. Он, вне всякого сомнения, узнал бы много своего в пушкинских стихах:

Ты царь, живи один; дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

И все-таки эта «дорога свободная» оказалась не для него. Вернее, он сам отказался от нее, ибо она — для чистых поэтов (Пушкин) и чистых ученых (Эйлер). Он же не был ни тем, ни другим в отдельности. Он был просветитель в глубоком смысле этого слова. Для него Истина могла стать наградой, по существу, лишь в том случае, если он ее не только для себя откроет, но и приобщит к ней всех людей («Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь...»).

Вот почему Ломоносов самым решительным, самым страстным образом вступал в полемические научные и литературные схватки. Общество должно получать точные знания и незамутненные понятия об Истине. Вот почему он не мог, за-

мыкаясь в кабинете или лаборатории, вдали от людей, его не понимающих, утешать себя мыслью о том, что со временем не они, так их потомки воздадут ему должное. У просветителя нет времени.

1

Обратимся сначала к научной полемике.

Летом 1754 года Ломоносов прочитал во второй части первого тома лейпцигского критического журнала по естествознанию и медицине за 1752 год резкий отзыв о его диссертациях, опубликованных в первом томе «Новых комментариев» Петербургской Академии наук. Безымянный рецензент в особенности нападал на «Рассуждение о причине теплоты и холода». После этого отрицательные рецензии появились в «Медицинской Библиотеке Р. А. Фогеля» (1752) и в «Гамбургском магазине» (1753), в которых Ломоносов вновь подвергся нападкам за свою кинетическую теорию тепла. Наконец, в ноябре 1754 года в «Гамбургских штатских и ученых ведомостях, называемых Беспристрастный Гамбургский корреспондент» он прочитал отчет об успешной защите Иоганном Христофом Арнольдом 12 октября 1754 года в Эрлангенском университете диссертации на тему «О невозможности объяснить теплоту посредством коловратного движения частей тела вокруг их оси».

Ломоносов был ошеломлен. Во-первых, все это обрушилось на него в продолжение каких-то трех-четырех месяцев. Во-вторых, все четыре зарубежных отзыва били в одну точку — в его кинетическую теорию, оригинальность и убедительность которой была в свое время засвидетельствована Эйлером. В-третьих, «Рассуждение о причине теплоты и холода» однажды уже было подвергнуто сомнению в России, в 1747 году, когда Шумахеру показалось, что и это «Рассуждение» и несколько других диссертаций Ломоносова не стоит печатать в первом томе «Новых комментариев» Петербургской Академии (благодаря чему, как мы помним, Эйлер и получил возможность дать высокую оценку ломоносовским работам). Все было предельно ясно: критика исходит от людей с ограниченным физическим мышлением, и с научной точки зрения такою критикой вполне можно было бы пренебречь. Но случайно ли то, что объектом критики стали как раз те самые диссертации, которые Шумахер не хотел помещать в первом томе «Новых комментариев»? Ведь именно те самые диссертации были в свое время поданы Ломоносовым на апробацию для получения профессорского звания... Итак, критика ничего общего с наукой не имела ни по мотивам, ни по существу. Это и предопределило полемическую тактику Ломоносова.

22 августа 1754 года он выступил в Академическом собрании. Доложив коллегам о рецензии в лейпцигском журнале, Ломоносов зачитал написанное им «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии», Академическое собрание одобрило «Рассуждение» и рекомендовало его к печати.

Затем, 28 ноября, уже познакомившись с другими нападками в немецкой прессе, Ломоносов пишет письмо Эйлеру. И это — логично: Эйлер, который высоко оценил оригинальность и глубину физических идей, высказанных в ломоносовских диссертациях, должен знать истинную цену той «критике», что обрушилась на Ломоносова. С этого, собственно говоря, и начинается письмо: «Конечно, вам, муж проницательнейший, известно, что издатель лейпцигского «Журнала естествознания и медицины» не столько из любви к науке, сколько по недоброжелательству напал на мои труды и, плохо поняв их, жестоко отделал».

Ломоносов просит Эйлера вновь помочь ему; тем более что сделать это будет нетрудно; надо только повторить то, что было сказано раньше: «...подобно тому, как вы с особенною благосклонностию оказали мне помощь в моем отечестве, то не поскучайте защитить меня своим покровительством и в чужих странах». Он рассматривает все критические выступления в свой адрес как звенья в цепи единой интриги: «Пример вышеозначенного рецензента увлек многих других, и они с яростию восстали против меня, а именно: какой-то Фогель в своей «Медицинской библиотеке», также издатель «Гамбургского Магазина» и некто Арнольд из Эрлангена, о диссертации которого я недавно читал благоприятный отзыв в гамбургской газете. Все это заставляет меня не без основания подозревать, что столь незаслуженные и оскорбительные клеветы распространяются коварством какого-то заклятого моего врага и что тут-то и зарыта собака».

Далее следует просьба к Эйлеру помочь с публикацией в каком-либо немецком журнале «Рассуждения об обязанностях журналистов» (текст был приложен к письму). Одновременно Ломоносов просил организовать в одном из немецких университетов контрдиспут в его защиту (наподобие диспута, в котором Арнольд выступил против Ломоносова) с последующей публикацией материалов. Все расходы по напечатанию Ломоносов, естественно, брал на себя. И уже в конце письма он вновь возвращается к мысли о том, что вся «критика» была затеяна в Петербурге: «Подозреваю, что и здесь есть немаловажные особы, которые принимают участие в таковом моем опорочивании».

Эйлер откликнулся через месяц. Его оценка происшедшего — яркий пример возвышенно-благородной логики чистого ученого в осмыслении околонаучной суеты. С его точки зрения, низменные нападки на истинных ученых — это неизбежное, досадное зло, но принимать его всерьез нельзя; это было бы ниже достоинства истинного ученого: «Бесстыдное поведение большинства немецких газетных писак — дело

всем настолько известное, что меня больше совершенно не удивляет, когда приходится встречаться с издевательским продергиванием ими самых блестящих произведений. Эти люди полагают, что подобным способом они приобретают особо громкое имя, втирают очки невеждам, будто им знакомы даже ничтожнейшие материи и что им принадлежит право являться судьями важнейших исследований, которые они обычно рассматривают как мелочи. Наша здешняя Академия это уже в достаточной мере испытала, ибо почти все, появляющееся в наших Мемуарах, наглым образом осмеивается, при этом обычно особо выделяется профессор Кестнер в Лейпциге, который пользуется большим влиянием не только в лейпцигских, но и в геттингенских и гамбургских научных журналах... Мой совет всегда был — относиться к этой злобе с презрением, ибо подобным людям, пишущим исподтишка, ничто не может доставить большего удовольствия, чем сознание, что их непристойности ранят и вызывают раздражение».

Тем не менее Эйлер воздает должное энергии, с которой Ломоносов внедрился в решение этой давно наболевшей проблемы: «...нужно питать особую признательность к вашему высокородию, поскольку вы весь этот вопрос извлекли из темноты и положили счастливое начало его обсуждению».

Что касалось ломоносовского предложения об организации диспута, то Эйлер высказал сомнение в его целесообразности: «...подобный диспут, как и большинство ему подобных, навсегда остался бы в неизвестности и не был бы отмечен никем из пишущих в журналах». Он счел достаточным содействовать публикации ломоносовского «Рассуждения об обязанностях журналистов»: «Тем временем я передал статью вашего высокородия нашему коллеге г. профессору Формею, который мне почти обещал вести ее защиту во французском журнале, что мне кажется единственным и лучшим путем».

Эйлер всерьез взялся помочь Ломоносову в его походе против околонаучной мелкоты, «газетных писак», которые «втирают очки невеждам». Почти одновременно с письмом к Ломоносову он направляет еще одно письмо в Петербург, теперь уже к Г. Ф. Миллеру, в котором, изложив свое отношение к немецким журналистам, говорит о том, что неплохо было бы организовать поддержку Ломоносова и в самом Петербурге: «Господин советник Ломоносов писал ко мне по поводу нелепых критик на его сочинения. Меня это дело тем менее удивляет, что я уже привык видеть, как жестоко все мои сочинения и издания здешней (то есть Берлинской. — *Е. Л.*) Академии отделываются лейпцигскими и гамбургскими рецензентами, в чем немалое участие принимает, как кажется, г. Кестнер, не умеющий держать в узде своего сатирического духа. Волноваться из-за этих людей значило бы тратить по-пустому время, тем более что они еще чванятся, когда видят, что на них досадуют. Но г. Формей хочет защитить г. Ломоносова в своем журнале. Можно бы сверх того в следующем томе «Комментариев» поместить предостережение, чтобы публика не доверяла так называемым ученым ведомостям».

Однако предостережение, о котором писал Эйлер (совершенно справедливо полагавший, что нападки на статьи Ломоносова — это одновременно нападки и на печатный орган, в котором они были помещены), не было напечатано. Очевидно, Миллер как издатель «Новых комментариев» полагал, что шумиха в немецких журналах касалась одного только Ломоносова и никак не затрагивала репутации главного печатного органа Академии.

Дальше события развивались следующим образом. Получив письмо от Эйлера, Ломоносов томился в ожидании. Положение его в Академии было именно в эту пору на редкость сложным. В декабре 1754 года он всерьез уже собрался перейти из Академии на службу в Иностранную коллегию, о чем сообщал в одном из писем к И. И. Шувалову. Несмотря на уверения в том, что академик Ж.-А.-С. Формей напечатает его «Рассуждение об обязанностях журналистов» в своем журнале «Nouvelle Bibliotheque Germanique» («Новая немецкая библиотека»; журнал печатался на французском языке). Ломоносов пребывал в неизвестности относительно сроков этой публикации. А ведь гласная поддержка была ему в ту пору нужна как можно скорее. Еще раз напомним: Кестнер и Арнольд дискредитировали диссертации, за которые Ломоносов получил профессорское звание. Пока ломоносовские зоилы не получили достойной публичной отповеди, научная репутация самого Ломоносова в Академии оказывалась под сомнением. Следовательно, падали в цене все его свершения и планы.

В этой ситуации Ломоносов идет на решительный и отчасти экстравагантный шаг. Он передает письмо Эйлера личному секретарю И. И. Шувалова барону Теодору-Генриху Чуди (1720—1769), основателю петербургского журнала «Le Caméléon Litteraire» для публикации в одном из ближайших номеров. 18 мая 1755 года письмо Эйлера в переводе на французский язык увидело свет в двадцатом номере «Литературного хамелеона». Отдавая письмо Эйлера в печать без его уведомления, Ломоносов никак не думал, что подводит великого ученого: если он столь определенно отозвался о «газетных писаках» в частном письме, то отчего же не повторить своих оценок гласно? Тем более что публично высказанное мнение такого авторитета, как Эйлер, не только реабилитировало имя Ломоносова в ученых кругах, но и ставило заслон натиску дилетантов, от которого страдала вся наука.

Теперь настало время поволноваться и для Эйлера. 5 июля 1755 года он пишет Г. Ф. Миллеру: «...мне очень больно, что г. Ломоносов напечатал мое письмо в Хамелеоне, ибо хотя всем известно, что г. Кестнер большой охотник до насмешек

и надеется возвысить свои маленькие заслуги, унижая других, однако ж я вовсе не желаю из-за этого с ним ссориться; если бы Хамелеон только опустил имя Кестнера и поставил проф..., то для Ломоносова было бы все равно, а меня бы это избавило от неприятности. Вперед, когда мне случится писать к таким людям, буду осторожнее и отложу в сторону всякую откровенность».

Как отнестись к этому инциденту в отношениях между Ломоносовым и Эйлером? Эйлер вел себя как чистый ученый: ему казалось достаточным обмолвиться в своем письме о необходимости не принимать всерьез нападки журналистов — специально оговаривать нежелательность публикации его мнения он не стал, это разумелось как бы само собою. Кроме того, здесь важна и такая деталь: за год до описываемых событий, в мае 1754 года, Эйлер предлагал в качестве кандидата на вакантное место профессора физики и механики в Петербургской Академии не кого иного, как... Авраама-Готтгельфа Кестнера, профессора математики и философии Лейпцигского университета, того самого «большого охотника до насмешек». Ломоносов же поступил как ученый-просветитель, которому требовалось скорейшее восстановление истины в полном объеме, без всяких недомолвок. В противном случае страдало просветительское дело. Он слишком много поставил на карту. Так или иначе, с 1755 года Ломоносов и Эйлер уже не обменивались письмами. Во всяком случае, не сохранилось ни одного их письма этих лет (если не считать февральского ломоносовского письма 1765 года, адресованного Эйлеру, но не законченного и не отправленного: жить Ломоносову оставалось уже месяца полтора, не больше).

Между тем академик Формей сдержал обещание и опубликовал «Рассуждение об обязанностях журналистов». В конце мая 1755 года он направил Ломоносову письмо, в котором говорилось: «Как я желаю вам сделать обязательство во всем, что от меня зависит, я то исполнил и посылаю вам при сем листки из моего журнала, где оная диссертация напечатана. Сие было должность, чтобы защитить толь праведное ваше дело от таких неправедных поносителей» (перевод Ломоносова). Впрочем, текст самого «Рассуждения» показывает, что Ломоносов защищал не только свое праведное дело, но прежде всего (и в конце концов) — праведное дело всех истинных ученых от «неправедных поносителей».

Это было страстное публицистическое выступление за чистоту «вольного философствования». Уже с самого начала Ломоносов обнажает перед читателями глубину и серьезность этических проблем, выдвинутых всем ходом развития новой науки: «Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свободная философия. Но нельзя не знать и того, что злоупотребления этой свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины».

Наука не должна выступать средством для достижения своекорыстных целей. Необходимость в подобном призыве стала ясной для Ломоносова, надо думать, задолго до того, как «немецкие газетные писаки» обрушились на него. Слишком много петербургских примеров того, как науку обращают в «орудие для заработка средств к жизни», стояло перед глазами Ломоносова. Шумахер, Тауберт, Теплов... Их тоже он имел в виду, когда писал свое «Рассуждение». Он вдвойне имел право осудить их и им подобных, ибо вышел из самых низов, но ни разу не поступился интересами Истины ради завоевания места под солнцем. Он утверждал себя в обществе вместе с Истиной, а не вопреки ей.

Развивая далее свою мысль о необходимости борьбы с околонаучной стихией ремесленничества и приобретательства, Ломоносов пишет о том, что сами академии, эти сообщества настоящих ученых, возникли именно как противовес полуграмотным проходимцам и что журналы научные должны в этом смысле брать пример с академий: «Не к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали академии своими усердными трудами и учеными работами, насколько усилился и расширился свет истины со времени основания этих благотворных учреждений. Журналы могли бы также очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них требуется. Силы — чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля — для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти».

Это тем более необходимо, что число периодических научно-популярных изданий заметно увеличилось и продолжает увеличиваться. Люди приобретают вульгарный вкус к получению знаний не из первых рук, а через посредников, которые все чаще, не утруждая себя достаточно вдумчивым чтением научных исследований, выдают свое ограниченное изложение за истинное. В качестве вопиющего примера такого прочтения Ломоносов приводит рецензию на свои диссертации, помещенную в лейпцигском журнале и подло рассчитанную на непосвященных: «В начале объявляется о замысле журналиста; оно — грозное, молния уже образуется в туче и готова сверкнуть: «Г-н Ломоносов, — так сказано, — хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты».

Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы вечно держать в одной руке щипцы, а в другой тигель и ни на одно мгновение не отходить от углей и пепла?»

Затем следует целый ряд примеров из анонимной рецензии с комментариями Ломоносова, показывающими полную глухоту и некомпетентность рецензента. К тому же еще — и недобросовестность. Наконец, Ломоносов задает совершенно убийственный для своего лейпцигского противника риторический вопрос: «Когда говорят таким образом, то что это: недостаток ума, внимательности или справедливости?» Когда так шельмуют истину, завершает свой разбор Ломоносов, это может означать только одно — «полное крушение свободы философии».

Разобрав лейпцигскую рецензию, Ломоносов в конце «Рассуждения» приводит свод правил, которыми советует пользоваться своему безымянному оппоненту и другим журналистам, подобным ему. Эти правила настолько интересны, что и в наши дни (когда перед научно-популярной журналистикой стоят не менее острые проблемы) не утратили актуальности:

«1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы. <...>

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость...

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица; вторая — те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности... Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях... просмотренных и признанных достойными опубликования людьми, соединенные познания которых должны превосходить познания журналиста. <...>

4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это — нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе.

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать их себе...

6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого...; но раз уж он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. <...>

7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений...»

Основные пороки вульгарной немецкой журналистики, отмеченные Ломоносовым — «небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность», — были известны ему, как уже говорилось, и по многим явлениям внутри академической жизни в Петербурге. То же самое можно сказать и о скрытом движителе этих пороков, который в «Рассуждении об обязанностях журналистов» назван предельно четко — отношение к науке как к «ремеслу и орудию для заработка средств к жизни». Ломоносов чаще, чем ему хотелось бы, чаще, чем позволяли интересы русского просвещения, сталкивался в Академии с ремесленниками от науки, людьми, для которых наука — это средство в продвижении вверх по иерархической лестнице.

Григорий Николаевич Теплов, о котором уже было говорено во второй части настоящей книги, являлся, пожалуй, наиболее ярким воплощением такого рода отношения к науке. С самого начала своей работы в Академической канцелярии он занял в ней исключительно прочное положение. Прежде всего он нашел общий язык с Шумахером, а затем и с Таубертом. В тех видах, которые имел Теплов и которые ничего общего со «строгим и правильным разысканием истины» не имели, этот альянс открывал ему доступ к узлу, где сходились все нити управления и даже помыкания строптивыми профессорами. Он стал не только правой, но и левой рукой юного и беспечного президента.

Ломоносов долго, очень долго присматривался к Теплову, недоумевая. Но с течением времени недоумение сменилось тревогой, а с 1757 года, когда Ломоносов сам стал членом Академической канцелярии, тревога уступает место негодованию: так много двуличия и недоброхотства тепловского увидел он вблизи. Когда же в 1760 году Ломоносов принял на себя попечение об Академическом университете и Академической гимназии, необходимость открытого объяснения с «коварником», «лукавцем» (как он называл Теплова) стала для него очевидной: ведь должен же он понять, что вследствие его двуличия поставлено под угрозу будущее русского просвещения. Но, решившись выяснить настоящую подоплеку поступков Теплова (смущавших его своею непоследова-

тельностью), Ломоносов еще пребывал в обманчивом убеждении, что все несчастья Академии происходят от засилья одних только иноземцев. Именно обратившись к Теплову в последний раз за разъяснениями и еще не потеряв окончательно надежды на то, что должна же быть в асессоре «хотя крупица русского чувства» (если воспользоваться словами гоголевского Тараса), Ломоносов должен был убедиться в *страшной, но очевидной истине: дело, конечно же,* не только в добросердечии президента и непостоянстве Теплова, объективно потакающих ломоносовским врагам, но и еще в чем-то неизмеримо большем, в некой огромной сети интриг, накинутой на русское просвещение, накинутой с помощью очень и очень могущественных сил. Во всяком случае, нужно прислушаться к мнению исследователей, полагающих, что до непосредственного обращения к Теплову «Ломоносов не знал и даже, очевидно, не подозревал, что бюрократические и дворцовые связи его чужеземных «неприятелей» были несравненно шире и глубже. Его академические враги вели за его спиной разговоры и переписку о нем со многими влиятельными особами, в том числе даже и с теми меценатствующими сановниками, которых Ломоносов считал своими искренними друзьями и покровителями».

Подобно тому, как «Рассуждение об обязанностях журналистов» стало ярчайшим образцом научной публицистики XVIII века, ломоносовское письмо к Теплову от 30 января 1761 года стало непревзойденным примером гражданской эпистолярной публицистики, положившим начало целой традиции в русской литературе. Потом будут «Философическое письмо» Чаадаева, письмо Белинского к Гоголю, письмо И. Киреевского к Вяземскому и еще многие другие «письма». Все-таки письмо это написано так, как будто Ломоносов уже знает, что Теплов уже перешел грань, из-за которой уже не возвращаются, но тем не менее зовет его оттуда. Пытается спасти того, кого уже нельзя спасти. Ломоносов проводит «строгое и правильное разыскание истины» в сфере этики и морали. Всем своим существом ощущая, что внутреннее «сложение фибров» нравственного организма Теплова разложилось, он все еще пытается вдохнуть душу живу в гражданский труп.

Как брату своему я тщился,
Как ближним, так им угождать
И, сетуя об них, крушился,
И слез моих не мог сдержать.

Давайте послушаем живой голос Ломоносова, звучащий во всей его ощутительной непосредственности и скорби на страницах этого письма, которое, если говорить о его жизненном и творческом пути, являет собою пронзительно-достоверный памятник десятилетия 1751—1761 годов, достойно

это десятилетие украшающий. Вряд ли случайно в черновике на полях сохранилась такая приписка, сделанная ломоносовской рукой: «Это письмо будут в песнях петь, и [оно будет] ходить по городу, как pièce d'éloquence» (то есть как образец красноречия). Это письмо действительно обращено не только к Теплову. Оно сработано на века:

«Неоднократно писал я к его сиятельству и к вашему высокородию от истинного усердия к расширению наук в отечестве в Москву и на Украину и представлял здесь словесно и письменно о исправлении застарелых непорядков. Однако не по мере монаршеской к наукам щедроты воспоследовали решения и успехи, затем что не отнято прежнее самовольство недоброхотам приращению наук в России; а когда злодеи ободряются, а добрые унижаются, то всегда добру вред чинится...

<...> Поверьте, ваше высокородие, я пишу не из запальчивости, но принуждает меня из многих лет изведанное слезными опытами академическое несчастие. Я спрашивал и испытал свою совесть. Она мне ни в чем не зазрит сказать вам ныне всю истинную правду. Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве, что мне всего в жизни моей дороже.

Некогда, отговариваясь учинить прибавку жалованья профессору Штрубу, писали вы к нему: L'Académie sans académiciens, la Chancellerie sans membres, l'Université sans étudians, les régles sans autorité, et au reste une confusion jusque à présent sans remude [Академия без академиков, Канцелярия без членов, Университет без студентов, правила без власти и в итоге беспорядок, доселе безысходный]. Кто в том виноват, кроме вас и вашего непостоянства? Сколько раз вы были друг и недруг Шумахеру, Тауберту, Миллеру и, что удивительно, мне? В том больше вы следовали стремлению своей страсти, нежели общей академической пользе, и чрез таковые повседневные перемены колебали, как трость, все академическое здание. Тот сегодни в чести и в милости, завтре в позоре и упадке. Тот, кто выслан с бесчестием, с честию назад призван. <...> Все сие производили вы по большей части под именем охранения президентской чести, которая, однако, не в том состоит, чтобы делать вышепомянутые перевороты, но чтобы производить дело Божие и Государево постоянно и непревратно, приносить обществу беспрепятственную истинную пользу и содержать порученное правление в непоколебимом состоянии, и в неразвратном и беспрерывном течении. <...>

Обратитесь на прошедшее время и вспомните, сколько раз вы мне на Шумахера и на Миллера жаловались. <...>. ...вспомните с другой стороны ваши споры с Шумахером,

между тем письмо о моем уничтожении к Эйлеру и ответ, что вы мне сообщили. <...>

На все несмотря, еще есть вам время обратиться на правую сторону. Я пишу ныне к вам в последний раз, и только в той надежде, что иногда приметил в вас и добрые о пользе российских наук мнения. Еще уповаю, что вы не будете больше ободрять недоброхотов российским ученым. Бог совести моей свидетель, что я сим ничего иного не ищу, как только чтобы закоренелое несчастие Академии пресеклось. Буде ж еще так все останется и мои праведные представления уничтожены от вас будут, то я забуду вовсе, что вы мне некоторые одолжения делали. За них готов я вас благодарить приватно по моей возможности. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю. Итак, ныне изберите любое: или ободряйте явных недоброхотов не токмо учащемуся российскому юношеству, но и тем сынам отечества, кои уже имеют знатные в науках и всему свету известные заслуги! Ободряйте, чтобы Академии чрез их противоборство никогда не бывать в цветущем состоянии, и за то ожидайте от всех честных людей роптания и презрения или внимайте единственно действительной пользе Академии. Откиньте льщения опасных противоборников наук российских, не употребляйте Божиего дела для своих пристрастий, дайте возрастать свободно насаждению Петра Великого. Тем заслужите не токмо в прежнем прощение, но и немалую похвалу, что вы могли себя принудить к полезному наукам постоянству.

Что ж до меня надлежит, то я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял за них смолода, на старость не покину».

2

Литературная полемика середины XVIII века была целенаправленной и одновременно сумбурной, была исполнена неуклюжего остроумия и отличалась какою-то даже задушевной ожесточенностью.

Ломоносов, сразу по возвращении из Германии выдвинувшийся на первое место среди тогдашних поэтов, вскоре сделался мишенью для нападок со стороны собратьев по поэтическому цеху, пародий, эпиграмм. Одну из первых эпиграмм на Ломоносова написал Тредиаковский, у которого еще с того момента, как в Петербурге было получено «Письмо о правилах Российского стихотворства» (1740), накопился большой счет претензий и обид: трудно было, но приходилось делить с ним первенство в стихотворной реформе; трудно было, но приходилось признавать победу «од иамбических» Ломоносова и Сумарокова на состязании по переводу 143-го псалма;

трудно было, но приходилось считаться с мнением Ломоносова об окончаниях имен прилагательных и т. д. и т. п. Раздражение против «грубого» помора, который не хотел признавать не только выстраданных им идей, но вообще — самой логики его научного и поэтического творчества вылилось в форме эпиграммы, названной, впрочем, басней «Самохвал»:

В отечество свое как прибыл некто вспять,
А не было его там почитай лет с пять,
То завсе пред людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно,
И так уж говорил, что не нашлось ему
Подобного во всем, ни ровни по всему:
А больше, что плясал он в Ро́досе исправно
И предпочтен за то от общества преславно,
В чем шлется на самих Родо́сцев ныне всех,
Что почесть получил великую от тех.
Из слышавших один ту похвальбу всегдашню
Сказал ему: что нам удачу знать тогдашню?
Ты к Ро́дянам о том, пожалуй, не пиши:
Здесь Ро́дос для тебя, здесь ну-тка попляши.

Эта басенка удивительно конкретна по биографическим подробностям, касающимся не только Ломоносова, но и самого Тредиаковского, который уже успел пережить разочарование по возвращении в Россию: вольно, мол, тебе было куражиться в Германии — тот «Родос» для тебя безвозвратно утерян теперь. Теперь твоя Германия — здесь. «Здесь ну-тка попляши». Я, мол, тоже пытался, приехав из Франции, куражиться. Но здешний «Ро́дос» — не Франция и не Германия. Попробуй-ка, «здесь ну-тка попляши». Что толку писать к тамошним «Ро́дянам» (уж не Эйлер ли имеется в виду? — Тредиаковский был в курсе ломоносовских академических перипетий)! «Здесь ну-тка попляши». В этой басенке-притче наряду с эпиграмматической очень сильна элегическая нота.

Сам Ломоносов не отреагировал на выпад Тредиаковского. За него это сделал его ученик И. С. Барков, который, имитируя характерный для Тредиаковского стихотворный размер и его в высшей степени усложненный синтаксис, написал следующую «Сатиру на Самохвала»:

В малой философьишке мнишь себя великим,
А чем больше мудрствуешь, становишься диким,
Бегает тебя всяк: думает, что еретик,
Что необычайные штуки делать ты обык.
Руки на́ лоб иногда невзначай закинешь,
Иногда закусишь перст, да вдруг же и вынешь;
Но случалось так же головой качать тебе,
Как что размышляешь и дивишься сам себе!
Мог всяк подумать тут о тебе смотритель,
Что великий в свете ты и премудр учитель.

Мнение в народе умножаешь больше тем,
Что молчишь без меры и не говоришь ни с кем;
А когда о чем [тебя] люди вопрошают,
Дороги твои слова из уст вылетают:
Правда, скажешь — только кратка речь весьма —
И то смотря косо, голову же заломя.
Тут-то глупая твоя братья все дивятся
И, в восторг пришедши, жестоко ярятся:
«Что б когда такую же голову иметь и нам —
Истинно бы нашим свет тогда предстал очам!»

Сумароков начинал свой путь в поэзии как последователь Ломоносова. В 1740-е годы он ломоносовский апологет и зоил Тредиаковского. В «Эпистоле о стихотворстве» (1748) он двумя строками кратко и исчерпывающе определяет свое отношение к обоим (Тредиаковский выведен под именем Штивелиуса):

Он[1] наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен;
А ты, Штивелиус, лишь только врать способен.

Когда две эпистолы Сумарокова (о стихотворстве и о русском языке) поступили в Академию на обсуждение и Тредиаковский (можно себе представить его чувства!) направил их к Ломоносову на отзыв, тот, возвращая сумароковские стихи, заметил в письме к Василию Кирилловичу: «Что ж до стихов Александра Петровича, то, не имея к себе прямого ордера, в Канцелярию репортовать не могу; но только на ваше письмо ответствую и думаю, что г. сочинителю сих эпистол можно приятельски посоветовать, чтобы он их изданием не торопился и что не сыщет ли он чего-нибудь сам, что б в рассуждении некоторых персон отменить несколько надобно было» (письмо от 12 октября 1748 года; последние слова мнительный Тредиаковский мог воспринять как сугубую издевку).

Но со временем отношение Сумарокова к Ломоносову начинает в корне меняться. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что в начале 1750-х годов Ломоносов вторгся в литературную сферу, в которой полновластным хозяином считал себя Сумароков. В сентябре 1750 года Ломоносову и Тредиаковскому президент Академии передал изустный приказ императрицы сочинить по трагедии. Тредиаковский, основательно потрудившись, сочинил трагедию «Деидамия», как всегда, косноязычную и громоздкую. Ломоносов же в короткий срок написал «Тамиру и Селима», содержавшую в себе множество блистательных стихов, не однажды представленную при дворе. В сумароковском кругу это событие было встречено в штыки. Ломоносова окрестили «Расином поневоле», обыгрывая название знаменитой комедии Мольера «Лекарь поневоле», и вообще всячески потешались над ним за поползновения на драматургическом поприще (в 1751 году он написал еще одну трагедию — «Демофонт»).

[1] То есть Ломоносов.

В начале 1750-х годов по Петербургу имела хождение такая вот пародийная афишка:

«От Российского Театра
объявление

758 года февр. 29 дня будет представление трагедии Тамиры. Начало представления будет в тринадцать часов по полуночи. Актриса, изображающая Тамиру, будет убрана драгоценным бисером и мусиею. В сей бисер и в сию мусию чрез химию превращены Пиндаровы лирические стихи собственными руками сего великого стихотворца.

Малая комедия.
Racine malgré lui.
Потом балет:
Бунтование гигантов.
Украшение балета.

1. Трясение краев и смятение дорог небесных.
2. На сторонах театра Осса и на ней Пинд.

Кавказ и на нем Этна, которая давит только один верх его. В средине под трясением дорог небесных Гигант, который хочет солнце снять ногою, будет танцевать соло; потом все представление окончают обще танцевальщики и певцы, поя следующее:

Середи прекрасных роз
Пестра бабочка летает.

Примечание

В трех первых тонах ошибся или капельмейстер или стихотворец, однако в оной песни для красоты мыслей это отпустительно».

Здесь высмеиваются поэтические и научные устремления Ломоносова — увлечение мозаичным искусством, «бисером и мусиею», энциклопедичность его интересов («чрез химию превращены Пиндаровы лирические стихи»), основные приметы одической поэтики его и их неуместность в драматургии («Бунтование гигантов», «Кавказ и на нем Этна», «трясение дорог небесных»), даже ломоносовское произношение («середи»).

Автором афишки был Иван Перфильевич Елагин (1725—1794), адъютант А. Г. Разумовского, писатель и поэт, один из последователей Сумарокова. Ломоносов расценивал пародию Елагина на «Тамиру и Селима» как своеобразную «похвалу от его учителя» (то есть Сумарокова) и собирался ответствовать на эту и другие нападки из сумароковского лагеря «беспристрастным молчанием без огорчения». Но ему все-таки не удалось остаться в стороне от сатирической возни вокруг его имени и произведений. Причем не пародии

и нападки Елагина вывели его из состояния равновесия, а настояния мецената, И. И. Шувалова, который потребовал от Ломоносова выступить против сумароковско-елагинской группы и у которого были на то свои причины.

«В исполнение приказания, от вашего превосходительства в нынешнем письме присланного, не могу никоим образом отказаться, по вашему убеждению, почитая вашу неоднократно объявленную мне волю» — так начинается письмо Ломоносова к Шувалову от 16 октября 1753 года. Шуваловское письмо, о котором здесь говорится, не найдено, но, судя по тому, что сказано Ломоносовым, меценат настаивал, чтобы он вступил в полемическую схватку со своими литературными противниками, которые вдобавок стали еще и противниками самого мецената.

Поначалу они нападали только на Ломоносова. Некоторое время спустя после пародийной афишки Елагин написал стихотворное послание к Сумарокову («Творцу Семиры»), где высказал ему «упрек» за то, что он положительно отзывался о Ломоносове в своих давних эпистолах о стихотворстве и русском языке:

Научи, творец «Семиры»,
Где искать мне оной лиры,
Ты которую хвалил;
Покажи тот стих прекрасный,
Вольный склад, при том и ясный,
Что в эпистолах сулил.

Где Мальгерб, тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не знаю в нем.

«Я весьма не удивляюсь, — комментирует Ломоносов в своем письме эти строки, — что он в моих одах ни Пиндара, ни Малгерба не находит, для того что он их не знает и говорить с ними не умеет, не разумея ни по-гречески, ни по-французски. Не к поношению его говорю, но хотя (то есть *желая.* — *Е. Л.*) ему доброе советовать за его ко мне усердие, чтобы хотя одному поучился».

Однако ж меценат понуждал Ломоносова к вступлению в схватку в связи с другим произведением Елагина — «Сатирой на петиметра и кокеток». Нетерпение, с которым И. И. Шувалов делал это, обычно объясняют тем, что он будто бы узнал в портрете, изображенном Елагиным, такую свою черту, как пристрастие к французским нарядам, моде, вообще ко всему французскому. По правде говоря, наблюдение соответствовало действительности, но, думается, не исчерпывало всех причин раздражения и настойчивости ломоносовского патрона. Дело в том, что слово «петиметр»

означало не только «модник», «ветреный молодой человек». Оно предполагало еще и такой оттенок значения: «ветреный молодой человек, находящийся на содержании у богатой и знатной дамы». Венецианским синонимом этого французского слова было «чичисбей». Чуть позже вошло в употребление «альфонс». Только уловив такой нюанс смысла слова, можно объяснить нетерпение, с которым требовал от Ломоносова ответных сатирических произведений 26-летний Шувалов, покровительствуемый 44-летней Елизаветой.

Впрочем, обратимся к елагинской сатире. Это произведение артистическое и вдвойне сатирическое. Оно написано вновь в форме послания к Сумарокову. Причем здесь Елагин все произносит, как бы гримируясь под Ломоносова, который в поте лица бьется над сочинением стихов (в отличие от адресата, легко находящего изящные рифмы и простые слова), завидует своему знакомцу-петиметру и втайне недолюбливает его.

Открытель таинства любовныя нам лиры,
Творец преславныя и пышныя Семиры,
Из мозгу рождшийся богини мудрой сын,
Наперсник Боалов, российский наш Расин,
Защитник истины, гонитель злых пороков,
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!
Где рифмы ты берешь? Ты мне не объявил,
Хоть к стихотворству мне охоту в сердце влил.
Когда сложенные тобой стихи читаю,
В них разум, красоту и живость обретаю
И вижу, что ты, их слагая, не потел,
Без принуждения писал ты, что хотел;
Не вижу, чтобы ты за рифмою гонялся
И, ищучи ее, работал и ломался;
Не вижу, чтоб, искав, сердился ты на них:
Оне, встречаяся, кладутся сами в стих.
А я? О горька часть, о тщетная утеха!
По горнице раз сто пробегши, рвусь, грущу,
А рифмы годныя нигде я не сыщу...
Нельзя мне показать в беседу было глаз!
Когда б меня птиметр увидел в оный час,
Увидел бы, как я по горнице верчуся,
Засыпан табаком, вздыхаю и сержуся:
Что может петиметр смешней сего сыскать,
Который не обык и грамоток писать,
А только новые уборы вымышляет,
Немый и глупый полк кокеток лишь прельщает?
Но пусть смеется он дурачеством моим
Во мзду, что часто я смеюся и над ним.
Когда его труды себе воображаю
И мысленно его наряды я считаю,
Тогда откроется мне бездна к смеху вин[1];
Смешнее десяти безумных он один.

---

[1] То есть причин *(устар.)*.

Легко, непринужденно, штрих за штрихом набрасывается сатирический эскиз общей картины отношений между незадачливым поэтом (Ломоносовым) и вертопрахом-петиметром, баловнем кокеток (Шуваловым). Очевидно, Елагину было известно из высоких источников (Разумовские) то, что мы знаем из мемуаров, а именно: то, что подчас Шувалов потешался над своим протеже («смеется он дурачествам моим»). Что же касается «немого и глухого полка кокеток», то здесь современникам не нужно было напрягать свою сообразительность: Шувалов узнавался легко — женщины при дворе волей-неволей должны были «неметь» перед избранником императрицы, этим «господином Помпадуром», по меткому и злому словцу Фридриха II.

Елагинский псевдо-Ломоносов подробно описывает внешность и убор петиметра и завершает это описание довольно смелым и небезопасным выводом:

Когда б не привезли из Франции помады,
Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады,
Потом, взяв ленточку, кокетка что дала.
Стократно он кричал: «Уж ужасть как мила!»
Меж пудренными тут летая облаками,
К эфесу шпажному фигурными узлами,
В знак милости, ее он тщится прицепить
И мыслит час о том, где мушку налепить,
Одевшися совсем, полдня он размышляет:
По вкусу ли одет? Еще того не знает,
Понравится ль убор его таким, как сам,
Не смею я сказать — таким же дуракам.

Если бы не последние две строки, можно смело утверждать, не поздоровилось бы автору сатиры: Елизавета была чисто по-женски злопамятна — французский посол Шетарди, например, был выслан из России за небрежные отзывы об императрице, которые содержались в его письмах, перехваченных канцлером Бестужевым. Однако ж последуем за елагинским петиметром. Нарядившись, он шествует «в беседу» (салон, двор?). Его окружают подобные ему кокетки и наперебой восхищаются тем, какие у него ленточки, как хорошо подведены тени у ресниц и т. п. Псевдо-Ломоносов в сердцах восклицает:

Мне лучше кажется над рифмою потеть,
Как флеровый кафтан с гирляндами надеть
И, следуя во всем обычаям французским,
Быть в посмеяние разумным людям русским...

Завершается сатира тем, с чего была начата, — обращением псевдо-Ломоносова к Сумарокову, точнее — к его музе:

Ты ж, ненавистница всех в обществе пороков,
О муза! коль тебе позволит Сумароков,
Ты дай мне, дай хоть часть Горациевых сил...

Чтоб мной отечеству то стало откровенно,
Чем он прославился вовеки несравненно.

Поразительно, с какой настойчивостью Елагин тешит сумароковское и терзает ломоносовское честолюбие! Здесь можно видеть злой намек и на ломоносовское переложение из Горация «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», конкретно — на строку «Отечество мое молчать не будет...». Попросту говоря, Елагин утверждает: если Сумароков (его талант) позволит, тогда Ломоносов еще сможет претворить в жизнь заявленное шесть лет назад в переложении Горациевой оды «К Мельпомене» (обращение «О муза!» тоже вряд ли случайно).

Впрочем, в сатире Елагина не все было гладко, и в завязавшейся ожесточенной полемике ее двусмысленности были не однажды обыграны.

Ломоносов упорно не хотел вступать в стихотворную перепалку с Елагиным. В том же письме от 16 октября он предлагал Шувалову ограничиться ответной эпиграммой на Елагина, написанной ломоносовским учеником Поповским: «...прошу, ежели возможно, удовольствоваться тем, что сочинил г. Поповский...» Стихотворение Поповского «Розражение, или Превращенный петиметр» вряд ли могло удовлетворить Шувалова, ибо в нем, хоть и было много пересмешничества, мало было настоящей сатирической соли:

Открытель таинства поносныя нам лиры,
Творец негодныя и глупыя сатиры,
Из дрязгу рождшейся Химеры глупый сын,
Наперсник всех вралей, российский Афросин[1]
Гонитель щеголей, поборник петиметров,
Рушитель истины, защитник южных ветров!
Скажи мне, кто тебя сим вздорам научил,
Которы свету ты недавно предложил...
...Совет тебе даю их больше не ругать,
Остаться, как ты был, и врать переставать.
Опомнись, что ты сам птиметром быть желаешь,
Да больше где занять ты денег уж не знаешь.

Как говорили в старину, тут много личностей («защитник южных ветров!» — это намек на елагинское адъютантство у малоросса А. Г. Разумовского). 23-летний Поповский именно превратил, переворотил елагинского «Петиметра». Это сатира-перевертыш. Не более.

Шувалов продолжал понукать Ломоносова выступить публично против Елагина. В следующем после цитированного письме к нему Ломоносов еще определеннее высказался о своем нежелании ввязываться в перебранку: «Милостивый государь! По желанию вашему все, что в моей силе состоит,

[1] Дурак *(греч.)*.

готов исполнить и токмо одного избавлен быть прошу, чтобы мне не вступать ни в какие критические споры».

Но далее в этом письме Ломоносов все-таки критикует елагинскую сатиру с формально-поэтической точки зрения, как бы давая своему меценату пищу для салонного или придворного зубоскальства. Содержательно-житейский аспект его как будто не занимает. Прочитаем (с некоторыми, правда, сокращениями) остальную часть письма, представляющую собой тонкий и ироничный стилистический анализ стихотворения Елагина:

«Много бы я мог показать бедности его мелкого знания и скудного таланта, однако напрасно будет потеряно время на исправление такого человека, который уже больше десяти лет стишки кропать начал и поныне, как из прилагаемых строчек видно, стихотворческой меры и стоп не знает, не упоминая чистых мыслей, справедливости изображений и надлежащим образом употребления похвал и примеров. Сие особливо сожалительно об Александре Петровиче (Сумарокове. — *Е. Л.*), что он, хотя его похвалять, но не зная толку, весьма нелепо выбранил. В первой строчке почитает Елагин за таинство, как делать любовные песни, чего себе А. П. как священно-тайнику приписать не позволит... «Семира пышная», т. е. надутая, ему неприятное имя, да и неправда, затем что она больше нежная. «Рожденным из мозгу богини сыном», то есть мозговым внуком, не чаю, чтоб А. П. хотел назваться, особливо что нет к тому никакой дороги. Минерва трагедий и любовных песен никогда не сочиняла: она — богиня философии, математики и художеств, в которые Александр Петрович как человек справедливый никогда не вклеплется, и думаю, когда он услышит, что Перфильевич на него взводит, то истинно у них до войны дойдет, несмотря на панегирик. «Наперсником Буаловым» назвать А. П. несправедливое дело. Кто бы Расина назвал Буаловым наперсником, то есть его любимым прислужником, то бы он едва вытерпел; дивно, что А. П. сносит. Кажется, сверстать его с А. П. — истинная обида! «Российским Расином» А. П. по справедливости назван, затем что он его не токмо половину перевел в своих трагедиях порусски, но и сам себя Расином называть не гнушается. Что не ложь, то правда. Однако ж Перфильевич, называя его защитником истины, дает ему титул больше, нежели короля английского: он пишется защитником веры, но право или нет, о том сомневаться позволено... Дважды поносит он своего благого учителя явно, в третий ругательски хвалит; поносит, что учит его, якобы скрытно, не показывая, откуда берет рифмы, и будто бы от него хочет посулов; второе, якобы все стихотворческое искусство А. П. состояло в приискании скором рифм, не смотря на мысли, в чем я сам спорю и подтверждаю его же, Елагина, словом, что А. П., ищучи рифм, сам не ломается, но как человек осторожный

лучше вместо себя ломает язык российский, правда, хотя не везде, но нередко. Наконец ругательский титул: «благий учитель!» Благий по-славянски добрый знаменует, и по точному разумению писаться надлежит для Божества, как оное свидетельствует: «Никто же благ токмо един Бог». Я не сомневаюсь, что А. П. боготворить таким образом себя не позволит. Итак, одно нынешнее российское осталось знаменование: «благой» или «блажной»: нестерпимая обида! Однако еще несноснее, что он, Аполлона столкав с Парнаса, хочет муз отдать в послушание А. П., или, по его мнению, бесстыдному мщению уже отдал, думая, что музы без Сумарокова никому ничего дать не могут».

Как видим, Ломоносов коснулся в этом письме лишь тех мест «Сатиры на петиметра и кокеток», которые имеют отношение к нему, а также Сумарокову и вообще — к делам литературным. Все, что относится к Шувалову-петиметру, он оставил без внимания. Он понимал, что здесь схлестнулись интересы влиятельнейших придворных партий. Сумароковско-елагинский литературный кружок (к которому примыкал, между прочим, и Г. Н. Теплов) отражал интересы Разумовских, поддерживавших «малый двор» великой княгини Екатерины Алексеевны. Это была придворная оппозиция партии Шуваловых-Воронцовых, людей императрицы Елизаветы. Внешне Ломоносов принадлежал к этой партии. Но всеми своими просветительскими устремлениями, всею логикой своего внутреннего развития, всею своей человеческой статью он возвышался над этой придворной борьбою групповых, фамильных и личных самолюбий. Мы видели, как упорно сопротивлялся Ломоносов требованиям Шувалова вступить в спор с Елагиным. Но вспомним, что как раз в эту пору (осенью 1753 года) он вел борьбу с Шумахером за проведение публичного академического акта, на котором ему предстояло произнести «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», исполнить долг перед погибшим Рихманом и утвердить новые идеи об атмосферном электричестве... Вспомним, что совсем еще недавно, по существу, только что (в марте 1753 года) он получил привилегию на стекольную фабрику в Усть-Рудице. К врагам академическим прибавились светские завистники. Ломоносов не мог более раздражать Шувалова, от которого так много зависело...

И все-таки Ломоносов попытался дать понять меценату, что тот требует от него обрушить на Елагина возмездие, не соразмерное проступку. А ведь Шувалов хотел руками Ломоносова попросту раздавить, растереть Елагина. В самом начале ноября 1753 года (до публичного акта остается две недели) Ломоносов посылает, наконец, к Шувалову столь вожделенные сатирические стихи на Елагина, сопроводив посылку следующей припиской: «Прошу извинить, что для краткости времени набело переписать не успел. Корректура

русской и латинской речи и грыдоровальных досок не позволяют». Речь — это «Слово о явлениях воздушных». Ломоносов как бы говорит: я занят подготовкой более важного дела, нежели сшибка с Елагиным, так что не обессудьте за присылку стихов в черновике.

В высшей степени показателен и порядок, в каком следовали стихотворения, посланные Шувалову. На первом месте стояла эпиграмма, в которой одинаково доставалось и противнику и тем, кто подталкивал поэта на поединок:

Отмщать завистнику меня вооружают,
Хотя мне от него вреда отнюдь не чают,
Когда зоилова хула мне не вредит,
Могу ли на него я быть за то сердит?
Однако ж осержусь! Я встал, ищу обуха;
Уж поднял, я махну! А кто сидит тут? Муха!
Коль жаль мне для нее напрасного труда.
Бедняжка, ты летай, ты пой: мне нет вреда.

Ломоносов более чем прозрачно намекает Шувалову, что схватился он с «Мухой» (которая ему неопасна, да и сам-то Шувалов ему от его завистника «вреда отнюдь не чает») по настоянию мецената. В этой эпиграмме содержится истинная оценка литературного инцидента самим Ломоносовым. И лишь после нее он выдает то, чего хотелось Шувалову: пытается раздавить «обухом» насекомое.

Златой младых людей и беспечальный век
Кто хочет огорчить, тот сам нечеловек.
Такого в наши дни мы видим Балабана[1],
Бессильного младых и глупого тирана,
Который полюбить все право потерял
И для ради того против любви восстал.
Но вы, красавицы, того не опасайтесь:
Вы веком пользуйтесь и грубостью ругайтесь.
И знайте, что чего теперь не смеет сам,
То хочет запретить ругательствами вам.
Обиду вы свою напрасную отмстите
И глупому в глаза насмешнику скажите:
«Не смейся, Балабан, смотря на наш наряд,
И к нам не подходи; ты, Балабан, женат.
Мы помним, как ты сам, хоть ведал перед браком,
Что будешь подлинно на перву ночь свояком,
Что будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец Княжне, сам будучи не Князь, —
Ты, все то ведая, старался дни и ночи
Наряды прибирать сверх бедности и мочи.
Но если б чистой был Диане мил твой взгляд
И был бы, Балабан, ты сверх того женат,
То б ты на пудре спал и ел всегда помаду,

[1] То есть болвана.

На беса б был похож и спереду и сзаду.
Тогда б перед тобой и самый вертопрах
Как важный был Катон у всякого в глазах».
Вы все то, не стыдясь, скажите Балабану,
Чтоб вас язвить забыл, свою лечил бы рану.

При всем том, что эпиграмма переполнена намеками на какие-то обстоятельства, нам теперь неизвестные, кое-что в ней поддается расшифровке. Там, где говорится о «нарядах» Балабана и вообще о подробностях его интимной жизни, Ломоносов опирался на факты, очевидно, известные многим в придворном кругу. Екатерина II вспоминала в своих записках, что Елагин «был женат на прежней горничной императрицы, она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами...; так как она вовсе не была богата, то можно легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины». Вообще, все, что связано с «личностью» в этой эпиграмме, нельзя отнести на счет одного только Ломоносова — все это вынужденная уступка Шувалову. Кроме того, все это вполне в традициях сатирической поэзии XVIII века, зачастую не слишком разборчивой в средствах.

Вместе с тем нельзя не отметить, что, отбывая эту поэтическую барщину, Ломоносов работал на хозяйской земле хотя и вполсилы, но по-своему. Он всегда знал, что лучший способ дискредитации противника — выявление внутренней противоречивости его установок. Что касалось Елагина как автора «Сатиры на петиметра и кокеток», то фальшь его позиции заключалась в том, что, осуждая петиметров и навязывая Ломоносову роль их поэта, он сам, по существу, был и петиметром, и певцом соответствующей жизненной философии. Именно сумароковско-елагинская группа культивировала в своем творчестве любовно-песенную, легкую (подчас эротическую) лирику, то есть тот вид поэзии, который более всего был близок петиметрам. Кроме того, намек на то, что «Балабан», по существу, находится на содержании у своей жены (то есть ее любовников), долженствовал убедить современников, что сам-то он и есть петиметр в точном (и обидном) смысле слова. Это, так сказать, критическая, отрицательная часть ломоносовской эпиграммы. В ее положительной, утверждающей части Ломоносов вполне раскован. Здесь он не шуваловский заказ выполняет, а выражает свое: лучшая пора жизни человеческой не может, не должна стать добычей моралистов и лицемеров. Недаром так афористически и так обобщенно звучат первые две строки стихотворения.

Сторонники Елагина, конечно же, не могли оставить последнее слово за Ломоносовым. Причем общий культурный уровень полемики после ломоносовского выступления заметно снизился. Ломоносов, когда отказывался подчиниться на-

стояниям Шувалова, как будто чувствовал, что противники неизбежно обвинят его во всех смертных грехах.

Мне пагубы, конечно, чая,
Все купно стали восклицать,
Смеяться, челюсть расширяя:
«Нам радостно на то взирать!»

Среди эпиграмм, рухнувших на ломоносовскую голову, выделяется одна. Ее отличает какая-то изощренная злость. В рукописных сборниках XVIII века она называется «На Телелюя Елагину. Ответ неизвестной». Сейчас трудно сказать, действительно ли она написана тогдашней поэтессой (а их было довольно), или кто-то умело стилизовал свою речь под возмущенный голос светской женщины, которая согласна с елагинской критикой кокеток. Во всяком случае, счет, предъявляемый здесь Ломоносову («Телелюю»), чисто по-женски подробен, пристрастен и язвителен:

Развратных молодцов испорченный здесь век
Кто хочет защищать, тот скот — не человек:
Такого в наши дни мы видим Телелюя,
Огромного враля и глупого холуя,
Который Гинтера и многих обокрал
И, мысли их писав, народ наш удивлял.

Неизвестный автор, не удовлетворившись перечисленным, предполагает, что «Телелюй» вдохновлялся струею виноградной, а не Кастальской, когда писал свой ответ Елагину:

Он, знатно[1], что тогда был шумен от вина;
Бросаться ж на людей — страсть пьяницы всегда.

Дальше Елагину предлагается презирать наскоки «Телелюя». Заодно автор злобствует по поводу «подлого» происхождения объекта своих сатирических эмоций. Завершается эпиграмма таким вот обращением к Елагину:

Обиде то твоей довольно будет мщенья,
Когда ты лай его забудешь от презренья
И, слуг своих созвав, одной породы с ним,
Под штрафом учинишь заказ крепчайший им —
Похабством чтоб таким они не навыкали
И скаредным словам пол женск не научали,

А впрочем, на конце сих строк тебе моих,
Елагин! мысль скажу мою и всех честных:
На честных кто людей отныне и до век
Враждует — сатана и подлый человек!

Ах, как не хотелось Ломоносову вступать в эту полемику... Впрочем, его еще не однажды будут попрекать низкой

[1] То есть известно.

породой безотносительно к тому, подал он для этого хоть малейший повод или нет.

Что же касается итогов полемики, то их подводил не кто иной, как Василий Кириллович Тредиаковский. Ломоносов «отработав» Шувалову все его прежние одолжения, целиком сосредоточился на «Слове о явлениях воздушных» и более уже не ввязывался в перебранку, принимавшую под пером «честных» людей откровенно вульгарные формы. Это-то как раз и подметил в одной из своих эпиграмм Тредиаковский. Он в равной мере осуждает и Елагина, и Сумарокова, и Ломоносова, и Поповского как бы со стороны. Его тщеславие, столь часто попираемое, было на сей раз польщено: два его главных литературных врага — Сумароков и Ломоносов со своими клевретами — оказались под перекрестным огнем насмешек, даже издевательств. Он совершенно бесспорно полагает, что полемика уже вышла за литературные рамки и перенеслась в ту сферу, где действует уже гражданский закон, но из всего этого делает очень спорный вывод о том, что участники ее глупее всех и, конечно же, его Тредиаковского:

Что бешенство ввелось у нас между писцами?
Иль пред последними се сделалось годами? <...>
Да так, юстиция сие чтоб разобрала,
Довольство тотчас бы обиженну подала,
Но вместо прав нашлись какие-то судейки,
Без привилегии судят все, как затейки;
Согласия в них нет, в них только что раздор;
Какими-то стишки чинят свой приговор,
И в людях хулят все и в тех, кто их умнее,
А не признают то, что сами всех глупее.

Тем не менее вскоре и Тредиаковскому пришлось принять участие в полемике. Только — в другой, гораздо более серьезной. Причем его участие в ней совершенно справедливо будет осуждено и высмеяно Ломоносовым.

Примерно в конце 1756 — начале 1757 года по Петербургу получили хождение ломоносовские стихи под названием «Гимн бороде» — смелые по мысли и очень фривольные по содержанию:

Не роскошной я Венере,
Но уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.

Название стихотворения не случайно: еще с петровских времен в России гражданскому населению запрещалось носить усы и бороду. В 1748 году Сенат в одном из постановлений специально оговаривал, что отпускать бороду запрещено всем, «оприч священного и церковного причта и крестьян».

Давнюю свою неприязнь к попам, которые в послепетровское время не только дискредитировали себя перед государством, показали свою полную беспомощность и враждебность по отношению к новым культурным завоеваниям, но и в лице своей столичной верхушки деградировали морально, Ломоносов выразил вполне раскованно, убийственно весело, с подлинным сатирическим блеском. Возможно, что здесь свою роль сыграло его юношеское знакомство с беспоповцами. Правда, в «Гимне бороде» достается и раскольникам.

Ломоносов, который, по отнюдь не бесспорному, но заслуживающему самого серьезного внимания утверждению одного из исследователей — А. В. Попова, «новую науку... принял как религию», в своем стихотворении (так же, впрочем, как и во всей своей просветительской деятельности) отказывает духовенству в праве повелевать умами и душами людей. Он осуждает и суеверие раскольников, их фанатическое упрямство, их самосожжения («Скачут в пламень суеверы...»), и не менее жестокий фанатизм ортодоксов (которые даже если окажутся на какой-нибудь другой планете, «в срубе там того сожгут», кто станет утверждать, что на Земле есть жизнь), их мздоимство (они наживаются на конфискации имущества раскольников), их наклонность к откровенно мирским наслаждениям и суете.

«Гимн бороде», этот выдающийся образец стихотворной сатиры XVIII века, сразу приобрел огромную популярность у современников, о чем свидетельствует множество списков с него, обнаруженных впоследствии в Петербурге, Москве, Костроме, Ярославле, Казани, а также в Сибири — в Красноярске и Якутске.

Высшее духовенство ударило в набат. 6 марта 1757 года Синод подал Елизавете «всеподданнейший доклад», в котором говорилось:

«В недавнем времени появились в народе пашквильные стихи, надписанные: Гимн бороде, в которых не довольно того, что пашквилянт под видом якобы на раскольников крайне скверные и совести и честности христианской противные ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал; но и тайну

святого крещения, к зазрительным частям тела человеческого наводя, богопротивно обругал, и через название бороду ложных мнений завесою всею святых отец учения и предания еретически похулил. <...>

Из каковых нехристианских, да еще от профессора академического пашквилев не иное что, как только противникам православныя веры и к ругательству духовного чина явный повод происходит и впредь, ежели не пресечется, происходить может. А понеже, между прочими Вседражайшего Вашего Императорского Величества Родителя блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великого правами, жестокие казни хулителям закона и веры чинить повелевающими, Военного артикула, главы 18, 149-м пунктом пашквилей сочинителей наказывать, а пашквильные письма через палача под висилицею жечь узаконено: того ради со оных пашквилев всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству подносит Синод копии и всенижайше просит, чтоб Ваше Императорское Величество, яко Богом данная и истинная церкви и веры святой и духовному чину защитница, Высочайшим своим указом таковые соблазнительные и ругательные пашквили истребить и публично сжечь, и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносова, для надлежащего в том увещания и исправления, в Синод отослать всемилостивейше указать изволили.

Вашего Императорского Величества всенижайшие рабы и богомольцы

Смиренный Силвестр, архиепископ санктпетербургский.

Смиренный Димитрий, епископ рязанский.
Смиренный Амвросий, епископ переславский.
Варлаам, архимандрит донской».

Заступничество Шувалова оградило Ломоносова от мер, намеченных Синодом. Тогда церковники прибегли к распространению в обществе анонимных писем за подписью вымышленного лица «Христофор Зубницкий», которые порочили автора «Гимна бороде» и в качестве приложения содержали пародийное стихотворение «Передетая борода, или Имн пьяной голове». Здесь Ломоносов обвинялся в пьянстве, жадности, наглости и даже... невежестве! Между прочим, в одном из писем можно было прочитать: «Не велик перед ним Картезий, Невтон и Лейбниц со всеми новыми и толь в свете прославленными их изысканиями; он всегда за лучшие и важнейшие свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив того вред и убыток, употребляя на оные немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемой хвалы и удивления от ученых людей заслуживая хулу и поругание, чему свидетелем быть могут «Лейпцигские комментарии». Во всех науках и во многих языках

почитает он себя совершенным, хотя о некоторых весьма средственное, а о других никакого понятия не имеет; со всем тем, ежели незнающий ученых шарлатанов его послушает, легко поверить может, что он в свете первый полигистор». Здесь поневоле припоминаются слова Ломоносова из письма трехлетней давности к Эйлеру о том, что в Петербурге «есть немаловажные особы, которые принимают участие в моем опорочивании». Он чувствовал, что отрицательные отзывы в немецкой прессе обязательно будут использованы против него.

Кто был автором писем и пародии «Передетая борода», сейчас в точности неизвестно. Пушкин, основываясь на устном предании, называл митрополита Дмитрия (Сеченова). В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» читаем: «Немногим известна стихотворная перепалка его (Ломоносова. — *Е. Л.*) с Дмитрием Сеченовым по случаю «Гимна бороде», не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о его заносчивости, как и о нетерпимости проповедника». Что касается авторства Дмитрия Сеченова, то современные исследователи склонны считать именно его наиболее вероятным кандидатом на роль создателя пародии и писем, хотя документально это никак не подтверждено. Но вот «стихотворную перепалку» Ломоносов вел прежде всего с Тредиаковским.

Во второй половине 1757 года, когда разговоры о письмах и «Передетой бороде» уже вовсю ходили по Петербургу, Ломоносов написал стихотворение, обращенное к Тредиаковскому:

Зубницкому

Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерзкий склад давно и смех нам и печаль:
Печаль, что ты язык российский развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Наплюем мы на страм твоих поганых врак:
Уже за 20 лет ты записной дурак...
Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,
Пробин, на злость твою взирая, улыбался:
Учения его и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни борода.

Это вряд ли означает, что Ломоносов считал автором писем и «Передетой бороды» Тредиаковского. Озаглавив свой стихотворный памфлет «Зубницкому» и наполнив его намеками на биографические перипетии Тредиаковского, Ломоносов лишь указывал на близость своего литературного противника к кругам, объявившим ему войну. Скорее всего за подписью «Христофор Зубницкий» скрывался не один человек: кто-то непосредственно их создавал, а кто-то поставлял необходимый «изобличающий» материал.

То, что «информатором» мог быть Тредиаковский, более

чем вероятно. «Безбожник и ханжа, подметных писем враль!..» Здесь нет ни одного слова напраслины: в 1730 году, по возвращении в Россию из Франции, Тредиаковский, как мы помним, выказывал себя вольнодумцем, в письмах к Шумахеру (!) называл русских попов «Тартюфами» и невеждами; а в 1745 году его утверждают профессором уже по настоянию Синода; в середине 1750-х годов он выступает ревнителем православия (в 1755 году, например, составил записку в Синод о вольнодумстве Сумарокова); пробовал он свое перо и в «подметных письмах» (в октябре 1755 года по Петербургу ходило анонимное письмо, полное ругательств по адресу большинства академиков; как выяснилось, его автором оказался Тредиаковский).

«Печаль, что ты язык российский развращаешь...» Ломоносов указывает Тредиаковскому и на его литературную непоследовательность. В начале творческого пути Тредиаковский призывал остерегаться «глубокословныя славенщизны», а к 1750-м годам стал употреблять в своих произведениях славянизмы часто без всякой меры, в чем его, кроме Ломоносова, обвинял и Сумароков.

«Уже за 20 лет ты записной дурак...» Это жестокий намек на участие Тредиаковского в знаменитой «дурацкой свадьбе», справлявшейся зимою 1740 года в Ледяном доме на потеху императрице Анне Иоанновне.

Пробином Ломоносов называет себя. Это имя образовано им от латинского слова probus (честный), которым в равной мере характеризуются «учение его и честь и труд», подвергшиеся нападкам со стороны Тредиаковского и духовенства.

В 1759 году противники Ломоносова, как бы развивая обвинения, выдвинутые против него в анонимных письмах, соединили усилия, чтобы въяве показать, что научная деятельность его «не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив того вред и убыток». Здесь достаточно вспомнить статейку Тредиаковского «О мозаике», появившуюся в июньском номере сумароковского журнала «Трудолюбивая пчела», и эпиграмму Ломоносова «Злобное примирение», в которой он высмеял этот странный (и вместе с тем закономерный) альянс двух его врагов с третьим (Таубертом) для атаки на Пробина — Ломоносова.

Вообще, конец 1750-х годов был отмечен усилением полемики Сумарокова с Ломоносовым. Журнал «Трудолюбивая пчела» стал трибуной рационалистически строгой и ясной философии искусства, исповедуемой его издателем.

Сумароковское требование простоты и ясности поэтического слова органически вытекало из его общего взгляда на поэзию как на важнейшее средство сословно-полезного поучения. Чтобы научить людей, слово должно заключать в себе совершенно четкий, по возможности единственный смысл. Ломоносовская поэзия с ее неожиданным и ярким метафоризмом, с ее грандиозными, ослепительными видениями,

соединяющими прошлое, настоящее и будущее, была неприемлема для Сумарокова и поэтов его круга. Ломоносов не отрицал за поэзией ее высокой воспитательной, преобразующей миссии, но в его стихах те или иные общественно-необходимые рекомендации, помимо декларативно-повелительного, получали еще и художественно-опосредованное выражение: в них всегда имеется «второй план», который распознается не сразу, требует от читательского сознания активной творческой работы.

Игнорируя это, Сумароков обвинял Ломоносова в «неестественности», «умствовании», излишней «пылкости». В статье, так и названной «О неестественности» (апрельская книжка «Трудолюбивой пчелы»), он иронизировал по поводу «тех стихотворцев, которые, следуя единым только правилам, а иногда и единому желанию ползти на Геликон, нимало не входя в страсть, и ничего того, что им предлежит, не ощущая, пишут только то, что им скажет умствование или невежество, не спрашиваяся с сердцем, или паче не имея удобства подражать естества простоте, что всего писателю труднее, кто не имеет особливого дарования, хотя простота естества издали и легка кажется». Из этого, в общем-то, бесспорного рассуждения следовал не менее бесспорный вывод: «Что более стихотворцы умствуют, то более притворствуют, что притворствуют, то более завираются...»

Спорным было то, что Сумароков ставил знак равенства между «неестественной» и «завиральной» поэзией вообще и ломоносовской одической поэзией в частности. Метафоризм для Ломоносова был наиболее естественной и простой формой выражения его совершенно необъятного содержания. «Всего важнее быть искусным в метафорах. Только этого нельзя ни у кого занять, потому что слагать хорошие метафоры значит подмечать сходство», — это положение Аристотеля о метафоре как средстве познания было близко Ломоносову и совершенно недоступно и чуждо Сумарокову. В статье «К несмысленным рифмотворцам» последний, ставя знак равенства между одой и всем непонятным, темным по смыслу, саркастически рекомендовал: «Всего более советую вам в великолепных упражняться одах, ибо многие читатели, да и сами некоторые лирические стихотворцы рассуждают тако, что никак невозможно, чтоб была ода и великолепна и ясна: по-моему, пропади такое великолепие, в котором нет ясности... Что похвальней естественныя простоты, искусством очищенной, и что глупее сих людей, которые вне естества хитрости ищут? Но когда таких людей много, слагайте, несмысленные виршеплетатели, оды; только темнее пишите».

Сумароков высмеивал на страницах своего журнала не только поэтическую манеру Ломоносова. Он нападал и на его научное творчество. Если в июньском номере Сумароков дискредитировал Ломоносова-ученого и живописца как издатель, поместив статью Тредиаковского, то в августовской книжке он печатает уже свою эпиграмму «Новые изобретения», в которой высмеивает — 1. «Рассуждение о большей точности морского пути», произнесенное Ломоносовым в торжественном заседании Академии 8 мая 1759 года, 2. Ломоносовские работы по стеклу, 3. Вообще химические его исследования:

1

Вскоре
Поправить плаванье удобно в море.
Морские камни, мель в водах переморить.
Все ветры кормщику под область покорить,
А это хоть и чудно,
Ходя немножко трудно,
Но льзя природу претворить;
А ежели никак нельзя того сварить,
Довольно и того, что льзя поговорить.

2

Разбив стакан, точить куски, а по отточке
Во всяком тут кусочке
Поставить аз:
Так будет из стекла алмаз.

3

Скажу не ложно:
Возможно
Так делать золото из молока, как сыр,
И хитростью такой обогатить весь мир,
Лишь только я при том одно напоминаю:
Как делать, я не знаю.

Конечно, дело здесь не только в личных пристрастиях Сумарокова. Он выступает здесь выразителем настроений довольно многочисленной в ту, да и более позднюю пору части русского общества — настроений антипромышленных и антинаучных. В отличие от Ломоносова, связанного с Шуваловыми и Воронцовыми (вельможами-предпринимателями, владельцами больших фабрик, на которых использовался крепостной труд), Сумароков, связанный с Разумовскими и вообще с «земледельческим» дворянством, утверждал идею пагубности для России «промышленного» пути развития. В одной из своих статей он даже попытался обосновать это, сравнивая Россию с западноевропейскими странами в данном отношении: «В моде нынче суконные заводы, но полезны ли они земледелию? Не только суконные дворянские заводы, но и самые Лионские шелковые ткани, по мнению отличных рассмотрителей Франции, меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со

излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли и много крестьян».

Рискуя заслужить упрек в вульгарном социологизме, все-таки скажем: вряд ли случайно, что, в отличие от Ломоносова, Сумароков, основываясь на такой общей социально-политической установке, именно в 1750-е годы стал культивировать в своей лирике совершенно определенные жанры: любовные песни, элегии, эклоги и т. п. с ярко выраженным пасторальным уклоном.

Короче говоря, Сумароков и Ломоносов были типичными антагонистами как в литературной, так и во внелитературной сфере. Причем «промышленный» пафос некоторых программных поэтических произведений Ломоносова, конечно же, не исчерпывал их значения, и все сводить к тривиальному противопоставлению «промышленника» Ломоносова «земледельцу» Сумарокову — значит сознательно облегчить себе задачу. Такое противопоставление недостаточно для поэзии Ломоносова — она шире по своим идеям, чем поэзия сумароковская. В ней есть место и для сумароковского содержания, и еще остается бездна пространства для иного. Здесь примерно такой же случай, как и в полемике Ломоносова с церковниками в связи с открытием атмосферы на Венере, — он может понять своих оппонентов, а они его нет.

Характерно, что сам Ломоносов именно так рассматривал свою противоположность Сумарокову — как недостаточную себе противоположность. Это вполне обнаружилось в 1760 году в одном значительном эпизоде тогдашней литературно-общественной жизни.

В самом конце 1750-х годов в Петербурге образовался франко-русский литературный салон. Его главою был молодой аристократ, поклонник (а впоследствии знаменитый покровитель) изящных искусств, зять канцлера М. И. Воронцова, барон Александр Сергеевич Строганов (1733—1811). Среди завсегдатаев салона обращали на себя особое внимание такие заметные в петербургском свете лица, как аббат Лефевр, проповедник церкви при французском посольстве в Петербурге, французский посол маркиз де Лопиталь, племянник И. И. Шувалова, молодой вельможа и литератор граф Андрей Петрович Шувалов (1735—1789), а также канцлер М. И. Воронцов и сам фаворит и камергер И. И. Шувалов. Дипломаты в этом салоне, конечно же, не только литературные интересы преследовали. Для них он был одним из каналов воздействия на русское общественное мнение в пользу Франции в пору, трудную для этой страны. Соперничество с Англией в Северной Америке, сепаратный договор, заключенный бывшим союзником французов Фридрихом II с английским королем Георгом II в 1756 году — все это подтолкнуло Францию к восстановлению в том же 1756 году дипломатических отношений с Россией, прерванных за восемь лет до этого.

В лице русских участников строгановского салона французы имели влиятельных доброжелателей. Салон решал прежде всего внешнеполитические задачи, а задачи литературные ставились в нем только лишь в зависимости от первых.

Таков был в общих чертах характер этого салона, в одном из собраний которого аббат Лефевр произнес речь под названием «Рассуждение о прогрессе изящных искусств в России». Эта речь была отмечена отчетливо выраженным стремлением сказать с похвалой о развитии изящных искусств в послепетровской России и весьма туманным представлением о том, как они (а из них прежде всего литература) действительно развивались. Благожелательный тон выступления Лефевра как нельзя более соответствовал общему тону, принятому в салоне: «Позвольте мне, милостивые государи, присоединяясь к вашим литературным трудам, занять вас вопросом о прогрессе изящных искусств в этом государстве. Истина, которая меня вдохновляет, и ваше снисхождение, ободряющее меня, позволяют мне надеяться на мои посредственные дарования. Я позволю себе, милостивые государи, напомнить вам те достопамятные времена, когда творческий гений России уловил тайну счастливых народов, чтобы открыть ее своему народу при помощи побед и преобразований нравов, при помощи торговли и всяческих искусств».

Пока проповедник-француз говорил о Петре и других государях (Елизавете, Марии-Терезии, Людовике XV), о «младой поросли» государей (великом князе Петре Федоровиче и великой княгине Екатерине Алексеевне), все у него выходило довольно гладко. Картина получалась гармоническая: даже австрийская императрица и французский король (постоянные противники) выглядели союзниками в благотворном деле просвещения народов. Иначе говоря, вышивать дипломатической гладью Лефевр умел. Но когда он подошел наконец непосредственно к изящным искусствам в России, тут-то и обнаружились узелки.

В заключительной части речи он произнес, не называя их имен, панегирик Ломоносову и Сумарокову. Но произнес как-то скороговоркой, как-то вообще. Впрочем, задача у Лефевра была дипломатическая, а не критическая. Главное, казалось ему, похвалить русских писателей. И он похвалил. О Ломоносове сказал так: «Здесь в питомце Урании изящные искусства имеют поэта, философа и божественного оратора. Его мужественная душа, отважная, подобно кисти Рафаэля, с трудом снисходит к наивной любви, к изображению наслаждений, грациозного и невинного». А Сумарокова представил русским Расином: «Они (то есть изящные искусства. — *Е. Л.*) имеют изящного писателя Гофолии в великом человеке, который первым заставил Мельпомену говорить на вашем языке». И, наконец, заключил их характеристику

такою вот фразой: «Если подобная параллель способна охарактеризовать двух гениев-творцов (deux génies — createurs), находящихся среди вас, то, милостивые государи, нам снова остается повторить: изящные искусства обладают здесь всеми своими богатствами».

Ломоносова хвалили.

Ломоносов же был возмущен! В письме к И. И. Шувалову от 17 апреля 1760 года он писал о речи Лефевра, что «она весьма нескладна» и что «все учиненные в ней похвалы России тем самым опровергаются, что он, не зная российского языка, рассуждает о российских стихотворцах и ставит тех в параллель, которые в параллеле стоять не могут». Выше уже говорилось, что не всякая похвала была приятна Ломоносову. Здесь как раз именно такой случай. Больше того: он понял, что и похвалы России, расточаемые Лефевром, ничего не стоят, ибо продиктованы небескорыстными дипломатическими интересами и основаны на полном незнании и игнорировании русской действительности. Возможно, Ломоносов знал о той политической игре, которую вел посредством строгановского салона И. И. Шувалов. Поэтому и подчеркнул, что лефевровские «похвалы России... опровергаются» в его же, Лефевра, речи. Иными словами: обольщаться ими не стоит, «милостивый государь Иван Иванович»!

Ломоносов не принял речи Лефевра и в целом и в частностях. Он даже ее «печатать отсоветывал», чем вызвал «неудовольствие» барона А. С. Строганова и о чем поведал в указанном письме к И. И. Шувалову (который, в свою очередь, вряд ли сам остался этим доволен). Но Ломоносов, принимал решения, чтобы их выполнять.

В письме к Сумарокову, который был доволен данной ему в речи оценкой, Лефевр сообщил некоторые любопытные (но не поддающиеся проверке) подробности поведения Ломоносова, когда речь уже поступила в типографию: «Мне сообщили, милостивый государь, что у вас есть враг в лице одного писателя, члена вашей Академии, который в приступе исступления, раздосадованный той справедливостью, которую я слишком слабо воздаю вам в своем посредственном труде, хотел уничтожить произведение, его автора и похвалу, произносимую в нем самою истиной в честь ваших талантов. Я узнал, что он, подобно тому как ваши казаки нападают на отряд пруссаков, обрушась на издание моей книги, с яростью разбил набор и уничтожил гранки».

Речь Лефевра «Рассуждение о прогрессе изящных искусств в России» все-таки вышла в свет отдельной книжкой в том же 1760 году. (Но фраза, в которой Ломоносов и Сумароков были поставлены в параллель, была опущена.) Вряд ли Ломоносов вел себя в типографии так, как описывает это с чужих слов посольский аббат, — иначе книжка не вышла бы так быстро. Тем не менее к своей славе бешеного хама, неблагодарного плебея, который не ценит даже похвалы в свой адрес, Ломоносов добавил еще один трофей. А ведь благодарить-то Лефевра и впрямь было не за что. «Ты не меня, ты мое полюби» — вот гениальная русская пословица, которая точнее всего выражает этический пафос мыслей и поведения Ломоносова в этом эпизоде.

3

Страсть, с которой Ломоносов (уже на пятом десятке) отстаивал свои идеи и принципы, заставляет вспомнить Ломоносова молодого. Казалось бы: достиг положения в Академии, известен при дворе, читаем и почитаем образованною публикой, в особенности молодежью... — должен бы и остепениться. Но он и не думал обуздывать свой характер, когда дело шло о вещах принципиальных, за которыми стояли общие интересы. Причем именно теперь, когда он достиг положения в Академии, которое к концу десятилетия 1751—1761 годов стало исключительно высоким.

То, что Ломоносов обладал выдающимися реформаторскими и организаторскими способностями, было ясно не только ему, но и окружающим — прежде всего его врагам. Они сделали все от них зависящее, чтобы способности эти не нашли деятельного выхода. Они старались превратить неукротимый нрав Ломоносова в главное препятствие на пути его же организационной активности. И часто преуспевали в этом. Нетерпеливость, раздражительность Ломоносова отпугнули от него наиболее слабых духом, вызвали ответную раздражительность со стороны тех, кто посильнее.

Ломоносовские друзья, безусловно, понимали, что Ломоносов у кормила академической власти может сам достичь небывалых просветительских свершений и другим дать возможность вполне и осмысленно реализовать их творческие задатки. Он мог бы уже при жизни стать не только основоположником целых направлений в различных науках, но и руководителем сразу нескольких научных школ, которые, конкретизируя в опытах и формулах его гениальные гипотезы, сами породили бы массу плодотворных идей и направлений. Интересно, что даже Эйлер, находившийся в берлинском далеке, довольно рано почувствовал это и в письме к Шумахеру (!) в феврале 1751 года писал: «...перемены, предпринятые г. президентом в Академии перед его отъездом, конечно, будут для нее очень полезны; и я представляю себе, что место г. Теплова не без великой пользы будет занято г. советником Ломоносовым, если только он будет иметь дело с Канцелярией, но это весьма помешает ему в его занятиях».

Эйлера смущало только то, что организатор помешает

ученому, ломоносовских же покровителей — Шувалова и Воронцова — во многом смущала сама организаторская активность Ломоносова, ее размеры и напор. В середине 1750-х годов Ломоносов настоятельно доказывает им необходимость своего повышения в Академии — производства либо в члены Канцелярии, либо в вице-президенты. Только посредством такого шага, справедливо рассуждал Ломоносов, стало бы возможно «пресечение коварных предприятий» Шумахера и его людей.

Однако со стороны это выглядело как стремление возвыситься самому — и только. Покровители обещали помочь, но с помощью не торопились. 30 декабря 1754 года Ломоносов в письме к Шувалову просит, если производство невозможно, перевести его в Иностранную коллегию, так как в Академии положение его невыносимо. Патетически-скорбно звучат слова Ломоносова о том, что все содеянное и намеченное им может остаться в небрежении: «Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь и чрез вас бы сотворил со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Господь помогл ми и утешил мя есть из двух единым, дабы или все сказали: камень, его же небрегоша зиждущими, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей; или бы в мое отбытие из Академии ясно оказалось, чего она лишилась, потеряв такого человека, который чрез толь много лет украшал оную и всегда с гонительми наук боролся, несмотря на свои опасности».

Определяя всю свою работу как краеугольный камень новой русской культуры, Ломоносов совершенно искренне полагает, что с его уходом обнаружится для окружающих огромная пустота в духовном пространстве, заполнить которую будет нелегко. Высокую оценку себе он выносит как бы со стороны, объективно: повысить его в чине значит не возвеличить его, а привести его положение в соответствие с тем реально выдающимся вкладом в государственную и культурную жизнь страны, который он сделал. В этом-то смысле Ломоносов действительно стремился стать человеком влиятельным и не стыдился в достижении своих целей использовать поддержку покровителей. Вот что писал Г. В. Плеханов об этой черте ломоносовской личности: «Что касается желания возвыситься, — то есть подняться выше по лестнице чиновной иерархии, — то оно вполне естественно было у человека, который стремился служить своей родине, но благодаря своему «подлому происхождению» не мог осуществить это благородное стремление без поддержки «высоких особ». Чем больше возвысился бы он сам, тем меньше нуждался он в таком покровительстве. Таким образом, желание возвыситься могло быть порождено самыми идеальными побуждениями».

Очевидно, покровители сами чувствовали, что власть их

над Ломоносовым стала бы меньше по мере его продвижения вверх. Потому и не торопились с его повышением. Только 13 февраля 1757 года Ломоносова наконец назначили (впрочем, одновременно с Таубертом) советником Академической канцелярии. Войдя в этот высший административный орган Академии, Ломоносов развил настолько бурную деятельность, выявил такое количество недостатков в его работе, что уже через год, 27 марта 1758 года, президент распорядился поручить ему «смотрение» за всеми академическими делами, «до наук надлежащими».

Ломоносов продолжал настаивать на учреждении в Академии должности вице-президента и присвоении этого звания ему. 30 декабря 1759 года он пишет об этом Воронцову, в феврале 1760 года Шувалову, в августе 1760 года вновь Воронцову. Но покровители (то ли вследствие своей медлительности, то ли вследствие противодействия К. Г. Разумовского) не помогли. А ведь должность эта нужна была Ломоносову вовсе не из престижных соображений. Он был по чину всего лишь коллежским советником, в отличие от Шумахера, статского советника: следовательно, голос Ломоносова в Канцелярии весил меньше голоса Шумахера. Вице-президентство положило бы конец этому старшинству и исключило бы подобное неравенство в будущем, когда Шумахер скончался и его место занял Тауберт.

Вот почему только отчасти был рад Ломоносов, когда 19 января 1760 года Разумовский отдал ему в «единственное смотрение» Академическую гимназию и Академический университет. Но рад был искренне: здесь уже над ним никто не был властен. Вспомним начало 1740-х годов — эти мытарства «российского юношества», эти пощечины Шумахера челобитчикам из студентов... Теперь проблема улучшения работы университета и гимназии — эта острейшая проблема, решение которой саботировалось в течение двадцати с лишним лет, — сдвинулась наконец с места. Тысячи рублей, которые раньше текли в бездонный кошелек Шумахера и его клана, пошли на жалованье профессорам, читающим лекции, на книги и учебные пособия для студентов и учеников, на их жилье, стол и платье. Ведь теперь любая бумага по финансовым вопросам, прежде чем обрести силу документа, должна была иметь ломоносовскую подпись.

В том же году к Ломоносову пришло международное признание: 30 апреля он был избран членом Шведской королевской Академии наук. 15 июля он ответствовал уважаемому ученому сообществу, присовокупив к письму «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях»:

«Удостоившись чести получения любезной и благожелательной грамоты, которой славнейшая Академия наук пожелала удостоверить избрание мое в члены, почел я за долг свой незамедлительно изъявить благодарность за столь ве-

ликую и особенную милость, от знаменитейшего общества полученную. Чтобы, однако, обратиться мне к собранию таковых мужей не с одной только пустой благодарностью, но как члену уже членскую работу предъявить, вменил я себе в обязанность предложить некий образец моей благодарности и усердия. Итак, дерзаю преподнести книжку, где вкратце изъясняются явления, свойственные родному вам и нам Северу, которые, как мне по крайней мере то ведомо, в кругу ученом известны не так, как они того заслуживают. Действительнейшим доказательством верности будет суждение о них славнейшей Королевской шведской Академии наук, милостивое внимание которой никогда не забуду чтить я благодарной душой».

Продвижение Ломоносова по службе давалось ему ценою многих потерь. Здоровья прежде всего. Так, скажем, в 1756 году он пропустил по болезни только восемь дней, а в 1757 году, когда был назначен членом Академической канцелярии, он проболел целых шестьдесят два (!) дня. Да и в последующие годы, хотя пропуски по нездоровью уменьшились, они составляли все же бо́льшую ежегодную цифру, нежели до повышения (в 1758 году — пятнадцать дней, в 1759-м — четырнадцать и т. д.), и, как правило, падали на позднюю осень и зиму.

Кроме того, возрастала загруженность Ломоносова. Он полностью вынужден был отказаться от всех занятий, связанных с «химической профессией». Еще в марте 1755 года он просил освободить его от составления проектов иллюминаций на торжественные случаи и стихотворных надписей к ним и получил просимое освобождение. 14 декабря 1754 года он поставил Канцелярию в известность, что не успеет сочинить похвальное слово Петру Великому, и президенту пришлось отменить торжественное собрание Академии, назначенное на 19 декабря, на котором Ломоносов должен был его произнести. Но даже и потом работа над этим программным сочинением затягивалась, и президент 29 марта 1755 года напомнил ему, чтобы он ускорил писание речи, над которой-де слишком давно уже трудится.

С назначением в Канцелярию объем чисто организационной деятельности его как по научным, так и по административным делам возрос неизмеримо. А когда к этому прибавились заботы по университету и гимназии, то времени для собственных научных исследований почти не осталось совсем. А ведь в эту пору Ломоносов заканчивал работу над «Древней российской историей» и «Кратким российским летописцем», намечал новые направления в географической науке, не оставлял намерения написать капитальный труд по физике и т. д. и т. п.

Деятельность в Академической канцелярии занимала у Ломоносова много времени. Но, сознавая всю важность этой деятельности, ее благотворные последствия для русского

просвещения, он не только терпеливо, но с кровной заинтересованностью продолжал ее. Вот как выглядел в это время рабочий распорядок Ломоносова за один месяц (берем май 1761 года):

2 мая. Присутствовал в Канцелярии.

3 мая. Присутствовал в Канцелярии.

4 мая. Присутствовал в Канцелярии, где попросил выделить на содержание студентов и гимназистов 400 рублей (просьба была удовлетворена). Присутствовал в Академическом собрании, где обсуждались причины испарения ртути.

7 мая. Присутствовал в Канцелярии. Присутствовал в Академическом собрании, где прочитал свою работу «Краткие размышления об испарении ртути».

10 мая. Присутствовал в Канцелярии.

13 мая. Присутствовал в Канцелярии.

15 мая. Присутствовал в Канцелярии, где рассматривался проект И. И. Шувалова об учреждении в разных городах Российской империи гимназий и школ. Здесь же сообщил, что он «в сей день» отправится в Ораниенбаум, где должен встретиться с великой княгиней Екатериной Алексеевной.

16 мая. Находился в Ораниенбауме.

17 мая. Присутствовал в Канцелярии, где распорядился исключить из гимназии учеников Баранова (за кражи) и Хаустова (за неуспеваемость).

18 мая. Присутствовал в Канцелярии, где распорядился ввести новый порядок снабжения студентов и гимназистов учебниками.

До 21 мая. Разрешил сотрудникам Академии Красильникову и Курганову производить наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца 26 мая на академической обсерватории и пользоваться ее инструментами. Вторично распорядился выселить профессора К.-Ф. Модераха из казенной квартиры. (Модерах был инспектором университета и гимназии. 24 апреля Ломоносов приказал Модераху передать все дела по университету и гимназии профессору С. К. Котельникову, «как россиянину природному, который бы имел большее попечение об учащихся, как о своих свойственниках». Передав дела другому лицу, Модерах автоматически терял право на казенную квартиру.)

22 мая. Присутствовал в Канцелярии. Получив распоряжение Сената, предлагавшее Академии наук допустить Красильникова и Курганова на академическую обсерваторию, вторично подтвердил свое разрешение им производить там наблюдения.

23 мая. Потребовал от Тауберта объяснения, почему он препятствовал Красильникову и Курганову вести наблюдения на академической обсерватории. Запросил профессора Ф.-У.-Т. Эпинуса (между прочим, одного из своих противников в Академии), не испытывает ли он недостатка в инстру-

ментах, необходимых ему для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца.

После 23 мая. Получил от Тауберта письменное объяснение Эпинуса, почему нежелательно наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца на академической обсерватории Красильниковым и Кургановым, нашел его неосновательным и написал по этому поводу свои возражения.

25 мая. Дал указание Красильникову и Курганову, чтобы они, проводя на академической обсерватории наблюдение за Венерой, допустили туда же и Эпинуса, если он этого пожелает, а одного его на обсерваторию не пускали бы.

26 мая. Наблюдал на своей домашней обсерватории прохождение Венеры по диску Солнца и установил, что «планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою».

27 мая. Начал писать работу «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-петербургской императорской Академии наук майя 26 дня 1761 года».

29 мая. Присутстовал в Канцелярии. Распорядился обратиться в Камер-коллегию с просьбой ускорить предоставление сведений, необходимых при работе над новым «Российским атласом».

30 мая. Присутствовал в Канцелярии. Купил в книжной лавке Академии сборник стихотворений древнегреческого поэта Пиндара.

31 мая. Присутствовал в Канцелярии, где подписал распоряжение, предлагавшее напомнить Петербургской и Московской губернским канцеляриям, что они должны прислать Академии наук свои ответы на ее географические запросы, необходимые для работы над «Российским атласом». По предложению Ломоносова Канцелярия приняла решение расходовать предназначенные на содержание Академического университета и гимназии средства строго по прямому их назначению и только по его, Ломоносова, личному распоряжению.

Всего один, рядовой месяц академической службы Ломоносова показывает, как органично, можно даже сказать, буднично переплетались в его деятельности научные интересы с литературными и общественными, визит к великой княгине с заботами о снабжении студентов, открытие атмосферы на Венере с приказанием о выселении из казенной квартиры немецкого профессора и т. д. И так из года в год — почти ежедневное присутствие в Академии, которое прерывалось лишь по нездоровью да во время ледоходов и ледоставов на Неве.

К этому времени Ломоносов с семьей жил уже в собственном доме. 15 июня 1756 года он получил из Главной полицеймейстерской канцелярии разрешение на владение шестью «погорелыми» местами в Адмиралтейской части по набережной Мойки, чтобы в продолжение ближайших пяти лет построить на этом обширном участке каменный дом (таково было условие). Ломоносов очень быстро, за один год, построил дом и к 9 сентября 1757 года уже переехал в него.

Скорее всего проект дома принадлежал самому Ломоносову. Незадолго до смерти, в письме к Эйлеру от 16 февраля 1765 года, он писал: «...Бог послал мне собственный дом, и я восемь лет живу в центре Петербурга в поместительном доме, устроенном по моему вкусу, с садом и лабораторней и делаю в нем по своему благоусмотрению всякие инструменты и эксперименты».

Участок, где находился ломоносовский дом, занимал то место, которое сейчас ограничено с юга домом № 61 по улице Герцена, а с севера — домом № 16/18 по улице Союза Связи. В сильно перестроенном виде дом сохранился. Сейчас на нем открыта мемориальная доска.

Это была городская усадьба человека среднего достатка. Современный исследователь так описывает ее: «Вход в главное здание, вероятно, находился в его центре со стороны двора. Против входа в глубине двора стояли ажурные узорчатые ворота. Против них в сторону Почтовой улицы (ныне улица Союза Связи) размещался прямоугольный пруд. За ним, судя по всему, обсерватория. В левом углу участка стоял двухэтажный каменный дом на семь осей, отгороженный от остального участка невысоким забором. Здесь, вероятно, жили мастера и работные люди. Вдоль ограды по Почтовой улице стояла еще одна небольшая постройка — видимо, служебное помещение. В правом углу было размещено еще одно двухэтажное здание, предназначенное для жилья. Остается неясным, где находился погреб для хранения продуктов.

Весь участок увитым плющом трельяжем, идущим параллельно линии набережной Мойки, делился на две неравные части — на меньшую, примыкавшую к парадному ансамблю, и на большую, где размещался регулярный парк с крытыми зелеными аллеями, стрижеными деревьями и кустарниками, с молодым фруктовым садом».

Вообще, надо со всей определенностью сказать, что Ломоносов, как и большинство ученых эпохи Просвещения (его учитель Вольф, например) отнюдь не был непрактичным бессребреником, этаким Дон Кихотом науки, далеким от денежных и им подобных интересов. В России, так же, впрочем, как в Англии, Германии, Франции и других европейских странах, в XVIII веке надо было стать богатым человеком, чтобы двигать просвещение вперед.

Вот что писал по этому поводу сам Ломоносов: «Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример с его стороны Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил

несколько остроумных шуток для умножения их гордости, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы, Волфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч и сверх того баронство, Слоана в Англии, который после себя такую библиотеку оставил, что никто приватно не был в состоянии купить, и для того парламент дал за нее двадцать тысяч фунтов штерлингов».

Действительно богатым человеком Ломоносов, однако, не стал. Потому что, безусловно, будучи энергичным организатором производства (проектирование, строительство и налаживание технологии стекольного дела велось им самим), будучи талантливым предпринимателем, учитывающим конъюнктуру и конкуренцию (он сразу позаботился о получении пожизненной привилегии на производство и сбыт стеклянных украшений по всей России), Ломоносов должен был, помимо всего этого, не забывать и о своих обширных академических обязанностях.

Живя в Петербурге, Ломоносов никогда не забывал своих земляков. Дом его всегда был открыт для них. П. Свиньин, литератор начала XIX века, во время поездки в Архангельск в 1827 году встретился там с племянницей Ломоносова Матреной Евсеевной и записал ее воспоминания об этом времени. Вот что ему поведала старушка: «...она с удовольствием вспоминает о своем житье-бытье у дядюшки в Петербурге, в небольшом каменном домике на берегу грязной Мойки. В особенности словоохотливо рассказывает она о гостеприимстве Михаила Васильевича, когда на широком крыльце накрывался дубовый стол и сын Севера пировал до поздней ночи с веселыми земляками своими, приходившими из Архангельска на кораблях и привозившими ему обыкновенно в подарок моченой морошки и сельди. Точно такое же угощенье ожидало и прочих горожан, приезжавших по первому зимнему пути в Петербург, с трескою. Надобно заметить, что Матрена Евсеевна играла на сих банкетах немаловажную роль, ибо, несмотря на молодые лета свои, заведывала погребом, а потому хлопот и беготни ей было немало. Точно так же в жаркие летние дни, когда дядюшка, обложенный книгами и бумагами, писал с утра до вечера, в беседке, ей приходилось бегать в западню за пивом, ибо дядюшка жаловал напиток сей прямо со льду. Из слов старушки можно заметить, что поэт весьма любил заниматься на чистом воздухе: в летнюю пору он почти не выходил из сада, за коим сам ухаживал, прививая и очищая деревья своим перочинным ножиком, как видел то в Германии. Сидя в саду или на крыльце, в китайском халате, принимал Ломоносов посещения не только приятелей, но и самих вельмож, дороживших славою и достоинствами поэта выше своего гербовника; чаще же всех и долее всех из них сиживал у него знаменитый меценат его, Иван Иванович Шувалов...

«Бывало, — присовокупляет Матрена Евсеевна, — сердечный мой так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме мартовского с куском хлеба и масла».

Размышления и пылкость воображения сделали Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во время обеда вместо пера, которое по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которою хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. «Редко, бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песку...»

Вряд ли у Ломоносова дело доходило до того, чтобы путать песок и чернила. П. П. Свиньин любил в своих воспоминаниях присочинить, по свидетельствам современников, но то, что Ломоносов стал с возрастом рассеян, не подлежит сомнению. Слишком различны были сферы, в которых приходилось ему вращаться.

Академическое собрание, лаборатория, кабинет, фабрика, кафедра... Теперь к этим привычным для него местам прибавилось присутствие в Академической канцелярии. Кроме того, десятилетие 1751—1761 годов стало временем наиболее частого выхода Ломоносова «в свет», где особенно ему, выходцу из простого народа, приходилось, что называется, «держать ухо востро». Отдохнуть, раскрепоститься можно было лишь дома, в кругу семьи, друзей, земляков. Тут можно при случае и париком вместо салфетки утереться.

Ломоносов присутствовал на многих официальных торжествах: праздниках, иллюминациях, маскарадах, торжественных спусках кораблей на воду. Ко многим из этих торжеств он сочинял стихотворные надписи, составлял проекты самих праздничных действ. И потому присутствовал как вполне официальная персона. Но в том же ряду случались события, в которых Ломоносов участвовал как частное лицо.

Так, например, 24 октября 1754 года он присутствовал на маскараде в доме И. И. Шувалова. Маскарад этот был продолжением придворных торжеств, начатых 20 сентября по случаю рождения великого князя Павла Петровича и длившихся десять дней. В октябре пышные вечера по этому поводу начали устраивать уже в своих домах петербургские вельможи. Шуваловский маскарад отличался особой пышностью. «Санкт-петербургские ведомости» так описывали иллюминацию, вспыхнувшую во дворе шуваловского дома около полуночи (возможно, автором ее проекта был Ломоносов): «Изображение на среднем большом щите представляло отверстый храм славы, в средине которого видимо было на постаменте вензловое имя ея императорского величества над короною, осияваемое свыше исходящими из треугольника лучами для изъявления Божия милосердия к ея величеству.

Внизу подписано было: благослови, умножи и утверди. На другом щите по правую сторону изображен был на оризонте знак небесный Весы, то есть месяц сентябрь, в котором всевышний к обрадованию всея России даровал великого князя Павла Петровича. В стороне видно было на щиту имя ея императорского величества, перед которым Россия, стоя на коленях, воссылала к Богу молитвы о сохранении неоцененного здравия дражайшего своего новорожденного великого князя. На щите по левую сторону представлена была благодарность, которая, получая с высоты рог изобилия, держала в руке горящее сердце, для показания искренней благодарности россиян за неописанные к ним щедроты и благодеяния милосердыя монархини».

На другой день после шуваловского маскарада Ломоносов написал обычные в таких случаях стихи:

Европа что родит, что прочи части света,
Что осень, что зима, весна и кротость лета,
Что воздух и земля, что море и леса, —
Все было у тебя, довольство и краса.
Вчера я видел все и ныне вижу духом
Музыку, гром и треск еще внимаю слухом,
Я вижу скачущи различны красоты,
Которых, Меценат, подвигл к веселью Ты.
Отраду общую своею умножаешь
И радость внутренню со всеми сообщаешь.
Красуемся среди обильных Райских рек,
Коль счастлив, коль красен Елисаветин век!

8 января 1755 года Ломоносов расписался под объявлением о маскараде, намеченном к проведению 9 января в Академии, и приписал, что будет на нем с женой. 1 июля 1756 года Ломоносов присутствовал на обеде у президента Академии К. Г. Разумовского.

Особо следует сказать о посещении Ломоносовым шуваловского дома в один из январских дней 1758 года. Шувалов познакомил его тогда с Иваном Ивановичем Мелиссино (1718—1795), вторым, «рабочим» куратором Московского университета, который привез с собою в Петербург, чтобы показать Шувалову, лучших университетских воспитанников. Мальчики были тут же, и среди них — двенадцатилетний Денис Фонвизин, который тридцать лет спустя вспоминал: Шувалов, «взяв меня за руку, подвел к человеку, которого вид обратил на себя мое почтительное внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? — По латыни, — отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием».

Впрочем, не всегда посещения домов вельмож были отрадны для Ломоносова. Часто, очевидно, слишком часто он становился в знатных домах мишенью косых взглядов, брюзгливого ворчанья, а иногда и открытых насмешек. Когда

Ломоносов в связи с речью Лефевра вступил в прямой конфликт с хозяином франко-русского салона бароном А. С. Строгановым, тот не нашел ничего лучше, как указать Ломоносову на его «низкую породу» — знай-де свое место и будь благодарен, когда тебя не только в благородный круг допускают, но еще и хвалят в этом кругу. Вы посмотрите, с какой нравственной свободой отнесся 49-летний Ломоносов к этой выходке 27-летнего Строганова, какой великий урок внесословной этики преподал он и строгановскому приятелю 32-летнему Шувалову: «...хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения. И хотя я от Александра Сергеевича мог бы по справедливости требовать удовольствия за такую публичную обиду, однако я уже оное имею чрез то, что при том постоянные люди сказали, чтобы я причел его молодости, и его приятель тогда ж говорил, что я напрасно обижен. А больше всего тем я оправдан, что он, попрекая недворянство, сам поступил не по-дворянски».

Иными словами: в отличие от всех вас, я стал дворянином («своей чести достиг»), избрав «крайнюю бедность добровольно для учения» (многие ли из вас отказались бы от своего богатства ради высокой цели?); я мог бы вызвать Строганова на дуэль, да уж больно он молод; вы, «милостивый государь Иван Иванович», может быть, думаете, что ваш знакомец не стал бы драться со мною как с бывшим мужиком? — Так знайте, что и я сам уже не вижу нужды в дуэли с бывшим дворянином.

Пройдет семьдесят лет, и другой Александр Сергеевич напишет: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем, может быть, перевесят все наши старинные родословные. Но странно было бы их потомству не гордиться сими великими именами». Пушкин через головы двух поколений протягивает руку Ломоносову. И дело здесь даже не в том, что он его имя упоминает. Дело в том, что так же, как Ломоносов, он, доводя до логического конца этику своего сословия, выходит на всечеловеческий простор. Великий плебей Ломоносов учил выходцев из родовитого дворянства: не роняйте своего достоинства. Шестисотлетний дворянин Пушкин учил всех без исключения соотечественников и продолжает учить доселе: помните своих великих предков и гордитесь ими.

Насколько выше стоял Ломоносов своего вельможного окружения в нравственном отношении показывает известная история о том, как Шувалов (не без намерения позабавить себя и знакомых) решил устроить в своем доме комедию «примирения» Ломоносова и Сумарокова.

Прекрасно разобравшись в истинных мотивах, которыми руководствовался его покровитель, Ломоносов по возвраще-

нии домой написал ему свое знаменитое письмо, которое едва ли не наизусть знал Пушкин (и цитировал и ссылался на него не однажды):

«Милостивый государь Иван Иванович.

Никто в жизни меня больше не изобидел, как Ваше высокопревосходительство. Призвали Вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вы меня отозвали и тем поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! то есть сделай смех и позор, свяжись с таким человеком, от коего все бегают; и Вы сами не ради. Свяжись с тем человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Тауберта и Миллера для того только бранит, что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав через многие случаи, и знаю, каково в крапиву... Не хотя Вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я Вам послушание; только Вас уверяю, что в последний раз... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающий и искусный, пускай делает пользу отечеству, я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, которой все протчие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне Вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет... Ежели Вам любезно распространение наук в России, ежели мое к Вам усердие не исчезло из памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отечества прошениях, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Ожидая от Вас справедливого ответа, с древним высокопочитанием пребываю

Вашего высокопревосходительства
униженный и покорный слуга

Михайло Ломоносов
1761 года
Генваря 19 дня».

Как многозначителен в письме к баловню судьбы этот каламбур: «вы имеете ныне случай!» Как показателен этот органичный переход Ломоносова от личной обиды к «распространению наук в России»! Вернее, даже и не переход

от одного к другому, но именно глубокое слияние одного в другом. Это письмо о личной обиде за русскую науку. Пафос его — воспитательный.

Тем отчетливее проступает высокая нравственность ломоносовского поведения в самом инциденте, который послужил поводом к письму. Ведь в тот январский день 1761 года, в елизаветинском Петербурге, в одном из красивейших и богатейших домов России, в светлом о семи окнах кабинете, в котором радушный хозяин так часто любил сиживать в большом кресле у столика изящной работы в окружении книг и друзей, — в этой обстановке, где все радовало взор, все располагало к возвышенным мыслям о человеке, о величии его разума, о красоте его деяний, — совершалось элементарное попрание человека разумного, его унижение, в котором просвещенная компания находила род удовольствия.

Безнравственность происходящего состояла в том, что никто из присутствующих, за единственным исключением, не считал себя тем, чем он являлся на самом деле. Это был маленький спектакль с четким распределением ролей между участниками: ради восстановления спокойствия на «российском Парнасе» «российский Меценат» мирил «российского Расина» (Сумарокова), с «российским Мальгербом» (Ломоносовым) в присутствии «российских любителей художеств». И только Ломоносов захотел остаться Ломоносовым. Не подыграл!

Отсюда, конечно, не следует, что, скажем, Сумароков, в отличие от Ломоносова, был лишен чувства собственного достоинства. Потомственный дворянин, он впитал в себя понятия о достоинстве, о чести с молоком матери. Он даже выступал в те годы одним из виднейших идеологов русского дворянства, писателем, в полном смысле слова формировавшим моральный кодекс служилого сословия: достаточно прочитать его сатиры, оды, его трагедии, в которых он выступал восторженным и одновременно требовательным проповедником чести и личного достоинства русского дворянина.

Однако, несмотря на все это, Сумароков, как отмечал Пушкин, «был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин... забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством».

Для писателя-классициста, резонера по преимуществу, сознательно делавшего в своем творчестве ставку на убеждение, на дидактику, — для такого писателя столкнуться с подобным отношением к себе и своим идеям означало трагедию, катастрофу.

Сумароков попытался впоследствии давать уроки и Екатерине II. Не ограничиваясь одами, где «воспитание» императрицы велось иносказательно, он одолевал ее записками,

в которых излагал важные, с его точки зрения, политические мысли, мечтал увидеть в ней истинно дворянскую монархиню, то есть во всем послушную воле служилого сословия. Когда императрице стало совсем невмоготу от просветительских домоганий «русского Расина», она его урезонила: «Господин Сумароков — поэт, и довольной связи в мыслях не имеет».

Но, несмотря на удручающее нежелание царицы считаться с его мнением, несмотря на сопротивление сословных братьев, упорно не хотевших перевоспитываться по его советам, Сумароков продолжал борьбу за свои идеалы с нечеловеческим напряжением всех сил души, благородно отвергая всякий компромисс, всякую возможность (хотя бы для себя!) поступиться этими идеалами. Он боролся, как трагический герой классицистской пьесы, а в глазах окружения выглядел скорее персонажем классицистской же, но комедии. В полном соответствии с канонами нормативной эстетики среда, к которой он обращался и во имя интересов которой он выступал, ревизовала нравственно-философское содержание его литературной и общественной деятельности, «уценила» его на несколько порядков и из сферы возвышенной действительности перевела его в сферу действительности низкой.

Точно так же, как классицистский герой должен был в одном и том же доме, на протяжении одних и тех же суток, в общении с одними и теми же лицами решить роковую проблему, мучительный вопрос, от которого зависит его жизнь и смерть, — Сумароков был приговорен судьбою к отысканию истины «в пределах дворянского горизонта». А вернее — он сам обрек себя на это.

Спустя несколько лет после описанной сцены «примирения» в шуваловской гостиной Сумароков в одной из статей дал четкое определение своего социального кредо, которое во многом помогает уяснить причины его нравственной катастрофы: «Рабам принадлежит раболепная покорность, сынам отечества — попечение о государстве, монарху — власть, истине — предписание законов. Вот основание общенародного российского благосостояния».

При всем своем сострадании к мужику («Они работают, а вы их труд ядите»), при всей своей взыскательности к дворянам:

Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот — земли одушевленный ком.
И если не ясняй ум барской мужикова,
То я различия не вижу никакова, —

при всей своей способности стать выше сословных предрассудков (Сумароков женился во второй раз на своей крепостной), при всем этом он отказывался видеть в «подлом народе» позитивную общественную силу. Активность «рабов», с его точки зрения, могла быть только разрушительной: «Прервала чернь узы свои: нет монаршей власти: скипетр и законы бессильны: властвуют и повелевают рабы: сыны отечества молчат и повинуются. Се мнимое естественное право, что все человеки равны!»

Вот почему, несмотря на бесчеловечные насмешки, которым поэт подвергался в домах вельмож, он вновь и вновь шел туда, вновь и вновь доказывал необходимость просвещения и нравственного перерождения дворянства, чтобы подвергаться новым издевательствам, сносить которые ему становилось все труднее и труднее...

Принципиально противоположный тип личности воплотился в Ломоносове. Правда, которую он нес, была шире и сильнее сумароковской. Он и сам, как человек, был шире и сильнее. Это точно зафиксировано у Пушкина: «Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: в доме, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где... не смели при нем пикнуть».

Ломоносов и в напудренном парике оставался помором: человеком гордым, прямодушным и сильным.

4

Поэзия Ломоносова в 1750-е годы достигает редкой даже для него силы и глубины. «Единодушный легион доводов» в пользу собственного понимания Истины, столь впечатляюще и многообразно заявивший о себе в естественнонаучных работах Ломоносова, оказавшись положенным на рифмы, не только не утратил своей убедительности, но и приобрел еще важное дополнительное качество, а именно: общую одухотворенность. Поэзия как раз и сообщила легиону **единодушие**.

В своей торжественной одической поэзии Ломоносов стал величавее и одновременно строже. Теперь он осмотрительнее и, что в высшей степени интересно, менее регулярен в похвалах Елизавете. Так, например, между 1754-м и 1757 годами он вообще не написал ни одной торжественной оды. Тем любопытнее взглянуть на «Оду... Елисавете Петровне... на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны... декабря 18 дня 1757 года».

Внешним поводом к прекращению затянувшегося молчания послужило рождение дочери у Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Но истинной причиной была назревшая необходимость выразить публично свое отрицательное отношение к изнурительной Семилетней войне, которую начала Елизавета с Фридрихом II, королем Пруссии, и которая тяжелым бременем легла на страну. Ломоносов практически

в каждой своей оде, независимо от «случая», к которому она написана, поднимал голос в защиту «возлюбленной тишины», мира. Ода 1747 года, в сущности, разрабатывала одну эту тему (все остальные являются производными от нее). И в настоящей оде факт рождения великой княгини служит лишь отправной точкой для большого разговора на самую любимую и задушевную тему: «Умолкни ныне, брань кровава...» являются ключевыми словами для всего произведения.

Но одного мира, по глубокому убеждению Ломоносова, недостаточно для исполнения высшей правды. Мир — это огромное благо. Но — благо, скажем так, предварительное, предуготовляющее. Чтобы монархи, в чьих руках судьбы миллионов, вняли голосу высшей справедливости, поэт заставляет содрогнуться и их самих, и вверенных их власти людей стихами, в полном смысле слова величественными, в свое время приводившими в восторг Н. В. Гоголя:

Правители, судьи, внушите,
Услыши, вся земная плоть,
Народы, с трепетом внемлите:
Сие глаголет вам Господь
Святым Своим в Пророках духом;
Впери всяк ум и вникни слухом:
Божественный певец Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Ради чего же весь этот гром? Ради напоминания о вещах очевидных, но преданных забвению. Вот ведь о чем правителям и народам забывать нельзя:

«Храните праведны заслуги
И милуйте сирот и вдов,
Сердцам нелживым будьте други
И бедным истинный покров,
Присягу сохраняйте верно,
Приязнь к другам нелицемерно,
Отверзите просящим дверь,
Давайте страждущим отраду,
Трудам законную награду,
Взирайте на Петрову Дщерь...»

Елизавете как бы предлагается подписать эту морально-политическую программу. Ломоносов как бы ставит ее перед фактом. Дальше Творец у него «полными устами» своих пророков произносит:

...твердо все то наблюдайте,
Что Петр, Она и Я велел.

Церковникам, которые обрушились на Ломоносова за «Гимн бороде», достаточно было открыть любую торжественную оду, чтобы уличить его в еретической гордости — настолько силен лирический «беспорядок», что бывает трудно отличить, где говорит Бог, а где — сам Ломоносов:

«В моря, в леса, в земное недро
Прострите ваш усердный труд,
Повсюду награжду вас щедро
Плодами, паствой, блеском руд.
Пути все отворю к блаженству,
К желаний наших совершенству [1].
Я кротким оком к вам воззрю,
Жених как йдет из чертога,
Так взойдет с солнца радость многа;
Врагов советы разорю».

С еще большим пафосом тема мира звучит в оде 1759 года, посвященной победе русских войск над армией Фридриха II при Куннерсдорфе. Казалось бы, здесь-то можно было бы ограничиться прославлением ратного подвига и только. Поначалу вроде бы все и клонится к этому:

Богини нашей важность слова
К бессмертной славе совершить
Стремится сердце Салтыкова,
Дабы коварну мочь сломить.
Ни Польские леса глубоки,
Ни горы Шлонские высоки
В защиту не стоят врагам;
Напрасно путь нам возбраняют:
Российски стопы досягают
Чрез трупы к Франкфуртским стенам.

С трофея на трофей ступая,
Геройство Росское спешит.
О Муза, к облакам взлетая,
Представь их раздраженный вид!..

Вот так — подробно и одновременно с размахом — можно было бы написать всю оду, гремя во славу генерала-фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова (1698—1772) и вообще «Геройства Росского». Но, проведя читателя по следам героев (то вознося его к облакам, то низвергая в самый ад сражений), он наконец открывает ему, ради чего была написана ода:

С верьхов цветущего Парнаса
Смотря на рвение сердец,
Мы ждем желаемого гласа:
«Еще победа, и конец,
Конец губительныя брани».
О Боже! Мира Бог, восстани,
Всеобщу к нам любовь пролей,

[1] То есть к свершению *(устар.)*.

По имени Петровой Дщери[1]
Военны запечатай двери,
Питай нас тишиной Твоей.

Иль мало смертны мы родились
И должны удвоять свой тлен?
Еще ль мы мало утомились
Житейских тягостью бремен?
Воззри на плач осиротевших,
Воззри на слезы престаревших,
Воззри на кровь рабов Твоих.

Вообще, нравственная подоснова побуждений, мыслей и поступков человека — будь то частное лицо, герой или правитель — именно в рассматриваемое десятилетие особенно волновала Ломоносова.

В январской книжке журнала «Полезное увеселение» за 1760 год, издававшегося при Московском университете, были опубликованы два стихотворения под общим названием — «Ода господина Руссо Fortune, de qui la main couronne[2], переведенная г. Сумароковым и г. Ломоносовым. Любители и знающие словесные науки могут сами, по разному сих обеих Пиитов свойству, каждого перевод узнать». В отличие от соревнования 1743 года, когда в переводе 143-го псалма участвовали три поэта, теперь выступают лишь двое (Тредиаковский как стихотворец в это время отходит на задний план). Ода классициста — его ни в коем случае нельзя путать с философом Жан-Жаком Руссо — Жана-Батиста Руссо (1670—1747), выбранная для перевода, создает ироничный и грустный образ века просвещения (на память вновь приходят позднейшие слова А. Н. Радищева: «столетье безумно и мудро»). Прихотливая и слепая Фортуна, которая, не разбирая дороги, прокатывается по всему миру, по всем странам и эпохам на своем колесе, вознося одних и низвергая других, становится чем-то вроде символа столетия. Г. Р. Державин, который сам в зрелые годы создаст вольную вариацию на тему оды Ж.-Б. Руссо («На счастие», 1789), разбирая переводы Ломоносова и Сумарокова, писал, что «последнего слог не соответствует высокому содержанию подлинника».

Надо думать, что Ломоносов решился последний раз вступить в поэтическое состязание с Сумароковым, вследствие принципиально творческих, а не престижных соображений. Нравственно-философское содержание подлинника — вот что скорее всего привлекло внимание Ломоносова, который в эту пору заканчивал работу над второй песнью своей героической поэмы «Петр Великий», где проблема соотношения власти и добродетели, судя по замыслу, должна была занять одно из центральных мест. Вот почему Ломоносову особенно удались строки, содержащие в себе очень непростые и тревожные вопросы, которым отныне суждено будет прочно утвердиться в русской литературе:

Доколе, счастье, ты венцами
Злодеев будешь украшать?
Доколе ложными лучами
Наш разум хочешь ослеплять? <...>

Народ, порабощен обману,
Малейшие твои дела
За ум, за храбрость чтит избранну:
Ты власть, ты честь, ты сил хвала... <...>

Почтить ли токи те кровавы,
Что в Риме Сулла проливал?
Достойно ль в Александре славы,
Что в Аттиле всяк злом признал? <...>

Слепые мы судьи́, слепые,
Чудимся таковым делам!
Одне ли приключенья злые
Дают достоинство Царям? <...>

О воины великосерды!
Явите ваших луч доброт;
Посмотрим, коль тогда вы тверды,
Как счастье во́зьмет поворот. <...>

Способность средственна довлеет
Завоевателями быть.
Кто счастие преодолеет,
Один великим может слыть. <...>

Даже с первого взгляда видно, что здесь сосредоточена этическая проблематика, которую разовьют в своих гениальных созданиях Пушкин («Медный всадник», «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» и др.), Достоевский («Преступление и наказание»), Л. Толстой («Война и мир», статьи 1900-х годов). Боже нас упаси ставить вопрос таким образом, что именно в ломоносовском переложении оды Ж.-Б. Руссо наши гении XIX века почерпнули основные идеи своей нравственной и художественной философии. Но вот то, что наши писатели XVIII века, и Ломоносов в первую голову, ставили эти проблемы и находили для них «пристойные и вещь выражающие речи», нельзя не помнить.

Ломоносов, в силу внутренней логики собственного творческого развития, вплотную подошел к их поэтическому ре-

[1] Ломоносов считал, что имя «Елизавета» происходит от древнееврейского «бог покоится» и означает покой, тишину, мир. В ономатологии (науке, изучающей имена) есть и другая трактовка смысла имени «Елизавета» — «Божья клятва» или же «обет Богу».

[2] Счастье, которое венчает *(фр.)*.

шению. Как уже было сказано, когда вышел первый номер «Полезного увеселения», Ломоносов уже заканчивал первую часть «Петра Великого», которая вышла отдельным изданием в декабре 1760 года. В июле 1761 года также отдельным изданием вышла «Песнь вторая».

Работу над поэмой Ломоносов начал примерно в 1756 году и к середине 1761 года закончил вторую часть ее. Поэма осталась незавершенной: дальше второй части работа не продвинулась, помешала исключительная загруженность в Академии наук, да и самый подход к воплощению темы и образа Петра I, наметившийся в первых двух песнях, говорил о необычайной широте и глубине замысла, что, разумеется, требовало и времени и особенного напряжения сил.

Петр I в понимании Ломоносова — это творец и одновременно символ новой России, живой человек, совершивший нечто неподвластное обыкновенному человеку, — перевернувший весь жизненный уклад огромной страны, определивший ее настоящее величие и заложивший основы величия будущего, сотворивший мир новых культурных ценностей, создавший условия для формирования нового человека и нового отношения к человеку, и (вот это-то особенно важно учитывать, говоря о Ломоносове и вообще о русском просветительстве XVIII века) сам воплотивший в себе идеал нового человека: просвещенного и страстного, сильного духом и широкого душою, увлекающегося и расчетливого и т. п.,— человека мощной индивидуальности, решающей чертой которой является соединение личного и общенационального интереса.

Поэма «Петр Великий» должна была художественно увенчать предшествующие творческие усилия Ломоносова в создании образа царя-просветителя, предпринятые в похвальных одах, надписях, ораторской прозе. Во многом благодаря этим усилиям русское просветительство XVIII века в своих общественно-политических построениях развивалось с оглядкой на великую личность Петра I (если западноевропейские просветители мыслили себе идеал государя, просвещенного монарха в неопределенном будущем, то для всех русских просветителей, за исключением Радищева, этот идеал уже был воплощен в действительности в недавнем прошлом). Причем, обращаясь к Петру I, наша общественная мысль XVIII века, начиная с Ломоносова (и опять-таки во многом благодаря ему), выделяла в этом «идеальном государе» прежде всего его деятельный характер: если на Западе «идеальный государь» в представлениях великих умов эпохи — это по преимуществу «философ на троне», то в России сама жизнь Петра I и масштабы его дел исподволь приводили к заключению, что «идеальный государь» — это «работник на троне».

Здесь Ломоносов по прямой линии является предшественником Пушкина. При этом, конечно, необходимо учитывать,

что историческая дистанция между Ломоносовым и предметом его постоянных раздумий, Петром I, была слишком мала, чтобы требовать от него пушкинского реализма, спокойствия и такта в оценках царя-просветителя. Четыре пушкинских строки:

> То академик, то герой,
> То мореплаватель, то плотник,
> Он всеобъемлющей душой
> На троне вечный был работник, —

сильнее отпечатываются в сознании современного читателя и, пожалуй, больше ему сообщают, нежели все написанное Ломоносовым о Петре I. Но если бы не грандиозная по размаху и глубине первоначальная попытка Ломоносова осмыслить «человека, каков не слыхан был от века», то мы, безусловно, не имели бы именно этой лапидарной пушкинской формулы, выраженной именно в этих, простых и конкретных, и одновременно всеобъемлющих терминах. Пушкинскому спокойствию в оценке Петра I (спокойствие здесь — в философическом, а не в житейском смысле) необходимо предшествует ломоносовский восторг. Ломоносов первым постиг «всеобъемлющую душу» «на троне вечного... работника» и испытал при этом что-то вроде «священного ужаса».

В 1755 году, непосредственно перед началом работы над поэмой, в «Слове похвальном Петру Великому» он писал: «Я в поле меж огнем; я в судных заседаниях между трудными рассуждениями; я в разных художествах между многоразличными махинами; я при строении городов, пристаней, каналов между бесчисленным народа множеством; я меж стенанием валов Белого, Черного, Балтийского, Каспийского моря и самого Океана духом обращаюсь; везде Петра Великого вижу, в поте, в пыли, в дыму, в пламени; и не могу сам себя уверить, что один везде Петр, но многие; и не краткая жизнь, но лет тысяча. С кем сравню великого государя!.. Итак, ежели человека Богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю». Здесь Ломоносов как бы расшифровывает знаменитую формулу Петра I, содержащуюся в его оде 1743 г.:

> Он Бог, он Бог твой был, Россия,
> Он члены взял в тебе плотские,
> Сошед к тебе от горьних мест...

В сущности, в «Слове похвальном Петру Великому» содержится программа будущей поэмы: выдвинув тезис о божественном характере творческой деятельности Петра I, он должен подтверждать его конкретными примерами, и постепенно эти-то конкретные примеры, в которых во всем размахе и со всей возможной детальностью обрисовывается сущ-

ность и величие Петровых дел, выступают на первый план: «...Коль великою любовию, коль горячею ревностию к государю воспалялось начинающееся войско, видя его в своем сообществе за одним столом, тую же приемлющего пищу; видя лице его, пылью и потом покрытое; видя, что от них ничем не разнится, кроме того, что в обучении и в трудах всех прилежнее, всех превосходнее».

Именно этот второй, «иллюстративный» план составляет основу повествования в поэме «Петр Великий». Прав был Д. Д. Благой, когда писал, что «свою поэму Ломоносов строил как произведение историческое». В этом пункте Ломоносов выступал как подлинный новатор: «...если Буало считал, что «эпос величавый» требует непременно «вымысла», «высокой выдумки» и «роя мифических прикрас», если он предостерегал эпического поэта от перегрузки сюжета событиями и от подражания «историкам спесивым», то Ломоносов, наперекор теории французского классицизма, заявлял, что предметом его поэмы будут «истинны дела», то есть как раз именно события, и притом подлинно исторические». Уже в первых двух песнях Ломоносов, подобно «историку спесивому», скрупулезно точен в изложении. Перед ним встает трудная задача соединения в художественное целое педантизма историка и «высокой выдумки» поэта. Вряд ли стоит гадать, удался бы ему этот синтез или нет. Здесь уместно напомнить слова И. И. Шувалова о том, что «Петр Великий» остался незавершенным, так как Ломоносов «был много занят, и время для фантазии было очень близко». Очевидно, ломоносовский патрон не только свое мнение высказывал: Ломоносов и сам должен был понимать, что хронологическая дистанция между ним и Петром I была еще «очень близка» (к тому же была жива дочь Петра!) и время для «фантазии», то есть для свободного художественного освоения материала, еще не приспело. Отношение к поэме современников и ближайших потомков было противоречивым. Н. И. Новиков причислял «Петра Великого» к произведениям Ломоносова, обессмертившим его имя. А. П. Сумароков, по обыкновению, «ругательной» эпиграммой раскритиковал поэму. Молодой Г. Р. Державин выступил в защиту Ломоносова и отвечал Сумарокову своей эпиграммой. А. Н. Радищев считал, что Ломоносов «томился в эпопее» (ср. шуваловское суждение о том, что «время для фантазии было очень близко»). Н. М. Карамзин не увидел в поэме Ломоносова «того богатства идей, того всеобъемлющего взора, искусства и вкуса, которые нужны для представления картины нравственного мира и возвышенных, ироических страстей». Высоко оценивал ломоносовскую поэму К. Н. Батюшков. Несправедлив и обиден отзыв В. Г. Белинского о «Петре Великом» как о поэме «дикой и напыщенной» (объяснить это отчасти можно тем обстоятельством, что Белинский воевал с литературными реакционерами, которые узурпировали себе право выступать от имени и во славу Ломоносова). Пушкин не оставил прямых высказываний о ломоносовской поэме, однако его недвусмысленная оценка «Петра Великого» содержится в цитированных выше «Стансах» («В надежде славы и добра...», 1826), а также «Полтаве» (1828), «Медном всаднике» (1833), «Пире Петра Первого» (1835) и «Истории Петра I» (1835).

Если бросить общий взгляд на стихотворные произведения Ломоносова 1751—1761 годов, то итоговая картина получится не совсем утешительная в том смысле, что обещанный поэтический эквивалент «единодушного легиона доводов» в них как-то не очень просматривается. Действительно: в торжественных одах свое понимание нравственно-политической истины ему приходилось приписывать, едва ли не навязывать Елизавете; поэма «Петр Великий» осталась незавершенной, а разница между портретом и моделью даже в написанных двух песнях очевидна. В общем, поэтическим доводам Ломоносова недостает именно единодушия. А ведь именно единодушие-то и было здесь обещано.

Однако ж мы до сих пор не рассматривали одного великого поэтического создания Ломоносова. Впрочем, оно было упомянуто — там, где шел разговор о мозаичных работах Ломоносова и вообще о его исследованиях, связанных со стеклом. Это произведение, написанное в 1752 году, интересно тем, что в нем Ломоносов дал позитивное художественное воплощение своего нравственного идеала, поставил в полный рост вопрос о духовной свободе и путях ее достижения (среди которых самым верным указан путь познания), а «знатных господ» (И. И. Шувалова) и «каких других земных владетелей» (Елизавету) оттеснил на периферию всего произведения, правда, со всевозможными поклонами и пышными обращениями к ним.

Итак, вернемся к той поре, когда Ломоносов только начинал свою серию из 4000 опытов по получению цветного стекла, когда в послании к Шувалову признавался:

> Меж стен и при огне лишь только обращаюсь:
> Отрада вся, когда о лете я пишу;
> О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
> И радости в одном мечтании ищу.

Давайте поразмыслим. О чем, кроме усталости, мог думать он, глядя на огонь, «меж стен» своей маленькой лаборатории? Какие мысли, сопоставления, догадки высвечивало пламя стекловаренной печи, в его бездонной памяти, в заповедных глубинах его духа, не знающего покоя? Огонь на его глазах творил чудеса: твердые тела становились жидкими, выделяя в пространство толику своего вещества, вбирая в себя элементы веществ чуждых и составляя в итоге но-

вое материальное единство, качественно отличное от исходных частей. Но, пожалуй, не этому удивлялся Ломоносов, уже открывший «всеобщий закон природы» (хотя непосредственность, способность удивляться никогда не покидала его). Да, чудо заключалось не в том, что соединения кремния вкупе с соединениями золота, пройдя через горнило, становились огненно-красными рубинами. Истинное удивление вызывало другое. Ведь не только же вещество плавилось в топке! Живая и беспокойная мысль тоже вошла в сплав его необходимым ингредиентом: она дозировала вещество, она определяла температуры, она с самого начала направляла весь процесс. Прежде чем расплавиться в печи, вещество расплавилось в мысли. Линзы, отшлифованные из стекла, изготовленного самим его создателем, и составленные в порядке, продуманном им самим, позволяли исследовать мельчайшие предметы (микроскоп), преодолевать мировое пространство (телескоп), видеть в темноте (его знаменитая «ночезрительная труба»). Ломоносов убеждался, что мысль, в буквальном смысле слова, переплавившись в огне и приняв материальное обличие, становилась условием зарождения новых идей уже в других областях знания. Оптика через посредство химии органично входила в биологию, астрономию... Мысль человеческая постоянно материализуется. Вещи, созданные человеком, необходимо вбирают в себя духовное качество. В природе огонь соединяет, разлагает и вновь соединяет материю; в человеческом мире — мысль.

Размышления об огне приобретают у Ломоносова философскую форму. 6 сентября 1751 года он произносит в торжественном собрании Академии «Слово о пользе Химии», где содержатся, как мы помним, и такие слова об Огне: «Итак, что из естественных вещей больше испытания нашего достойно, как *сия всех созданных вещей общая душа* (курсив наш. — *Е. Л.*), сие всех чудных перемен, во внутренности рождающихся, тонкое и сильное орудие?»

Возможно, об этом думал Ломоносов, производя опыты со стеклом. Рожденное в огне, оно позволяло видеть мир не искаженным, во всей его полноте — от мельчайших тварей, едва различимых под микроскопом, до самых дальних звезд.

Кроме того, оно имело почти не оцененное в ту пору хозяйственное значение. Однако ж, как только Ломоносов заводил разговор о стекле, являлись многочисленные скептики и насмешники, потешавшиеся над той страстностью, с которой он отстаивал свое «детище». Беда скептиков была как раз в односторонности их взгляда: они не могли и не хотели увидеть стекло в его материально-духовном единстве. Борясь за стекло, Ломоносов боролся за истину, ибо в те годы его представления об истине, — объективной, не искаженной никакими предрассудками («примесями»), в полном смысле слова не замутненной, — ассоциировались прежде всего со стеклом.

Чтобы выразить все это, а заодно и переубедить скептиков, показав в полном объеме те практические и духовные блага, которые заключены в стекле, Ломоносов в декабре 1752 года пишет небольшую поэму, полное название которой гласит:

ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ СТЕКЛА
К ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОМУ ГОСПОДИНУ
ГЕНЕРАЛУ-ПОРУТЧИКУ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА КАММЕРГЕРУ,
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КУРАТОРУ
И ОРДЕНА БЕЛАГО ОРЛА, СВЯТАГО АЛЕКСАНДРА И
СВЯТЫЯ АННЫ КАВАЛЕРУ
ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ,
ПИСАННОЕ В 1752 ГОДУ.

Обычно самый факт появления «Письма о пользе Стекла» связывают с хлопотами Ломоносова по устройству Усть-Рудицкой фабрики цветных стекол. Эта связь несомненна, и отрицать ее было бы просто наивно. Однако, на наш взгляд, неправомерно и преувеличение ее роли для создания поэмы. Ведь при таком подходе, вольно или невольно, значение «Письма» сводится лишь к талантливой пропаганде стекольного дела, а вся его сложнейшая мировоззренческая проблематика, высокий гуманистический пафос оказываются логически не связанными с темой.

Обратимся к тексту.

Поначалу разговор идет о стекле, с которым каждый имеет дело в повседневной практике — то есть о стекле в предметном значении этого слова и о качествах, присущих ему как реалии. Такое стекло «знают» все — и пренебрегают им. Стекло как факт реального мира активно привлекает к себе лишь поэта: с парнасской высоты оно представилось ему не меньшей ценностью, чем золото или драгоценные камни. Неоднократные «спуски» с Парнаса утвердили автора в его предположении. Но среди людей популярна другая точка зрения на Стекло, с которой он никак не может согласиться. (Стекло у него как герой поэмы — везде с прописной буквы.)

Вот завязка той драмы идей, которой предстоит развернуться в дальнейшем. Здесь элементы будущего образа даны отдельно один от другого: стекло как предмет и два противоположных мнения о нем, отражающие его двойственную природу, покамест не составляют художественного единства. Но уже на этом, по преимуществу понятийном, уровне произведения со всей очевидностью проявляется его основное, с точки зрения самодвижения художественной идеи, противоречие. Причем оно сразу же выступает как необходимо диалектическое. Ломоносов не ставит перед миром вопрос на «ребро»: Стекло вместо золота! Его точка зрения не нуждается в этом, ибо она — истина и, как таковая, включает

в себя и «неправое» мнение в качестве обязательного момента своего собственного становления. Иными словами, те, новые, неизвестные людям качества Стекла, которые открылись ему, он не отрывает от уже известных — но рассматривает Стекло как совокупность старого и нового. Мир не однозначен, каждая вещь в нем сложна и многогранна, чревата множеством проявлений. С этой точки зрения в нем одинаково «правы» и золото и стекло: «не права» лишь людская односторонность. Природа преподает человеку азы гуманности. Пренебрегать стеклом — попросту аморально.

Однако для того чтобы эта истина стала активом читателя, ее надо показать так, чтобы он «открыл» ее сам. Как выдающийся оратор, Ломоносов прекрасно знал, что, если автор не сумеет создать у своей аудитории иллюзию импровизации, не привлечет ее к сотворчеству, его произведение просто не состоится как явление искусства. Поэтому не случайно Ломоносов вводит предысторию образа в текст поэмы. Это интеллектуальная «разминка» для читателя, который активно вовлечен в творческую работу; поэма как бы рождается у него на глазах:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь;
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь.
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но Стеклу.

Ломоносов четко обозначил рубеж, за которым начинается собственно-поэтический мир его поэмы. Он развивается по своим непривычным законам. Здесь действуют свои, необычные представления о материальных и духовных ценностях. Здесь свой отсчет времени: чтобы измерить его, нужны особые часы, на циферблате которых были бы отложены не минуты, но тысячелетия, — часы, которе могли бы идти и против часовой стрелки, когда это потребуется. Стекло здесь — не только одно из соединений кремния, но и «дар божественный», средоточие всех мировых связей.

«Я возвращаюсь на Парнас» — это сигнал читателю напрячь всю силу «совображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные». Только при таком условии и возможен дальнейший разговор, иначе мир, в который входит читатель, может показаться непонятным для его обыденного сознания. Ведь «купно» со Стеклом в его предметном значении здесь приходится «совобразить» и другие вещи, лишь в данном контексте «сопряженные» с ним: прочность истинного счастья, несокрушимую жизненную стойкость, перед которой бессильна даже самая грозная стихия — огонь:

Не должно тленности примером тое быть,
Чего и сильный огнь не может разрушить,
Других вещей земных конечный разделитель.
Стекло им рождено; огонь — его родитель.

С точки зрения житейской логики эти строки (так же, как и предшествующие им) полны несообразностей, натяжек. Обыденное сознание наивно полагает, что предмет, о котором идет речь, принципиально не может вызвать подобных ассоциаций. Читатель еще не подозревает, что как раз с этой его установкой на окончательную неоспоримость его суждения и ведется борьба. При этом Ломоносов прекрасно понимает, что близкий предел читательской «философии» положен ограниченным, несвободным представлением о самом предмете, который и становится ареной борьбы, местом, где сталкиваются два мнения. Это очень важное качество ломоносовского художественного мышления. Здесь Ломоносов глубоко оригинален: во главу угла ставится не логическая дискредитация чужой точки зрения на какое-либо явление реального мира, но изображение его.

У Ломоносова физическая стихия сразу же оказывается человечески опредмеченной:

Стекло им рождено; огонь — его родитель.

Мы присутствуем при сотворении художественного мира поэмы. Стекло вступает в новую систему связей. Художественное подтверждение «родительских прав» огня дается в своеобразной космогонии произведения.

Говоря в данном случае о ломоносовской «космогонии», мы не имеем в виду намекнуть таким образом на зависимость поэмы Ломоносова от произведений Гесиода, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла. Дело обстоит гораздо сложнее. «Письмо» — настолько емкий аккумулятор исторически предшествовавших стилей, что при желании в нем можно найти стилевые отголоски не только дидактического эпоса греков, но и римской дидактической поэзии (Лукреций, Вергилий), сатирической поэзии средневековья (Клавдиан), героической поэзии Ренессанса (Камоэнс) и т. д. «Письмо» — первая русская поэма нового времени. Так же, как человек еще до появления на свет в кратчайший срок переживает всю историю Земли, — новая русская поэзия при своем зарождении вбирает в себя тысячелетний опыт мировой литературы.

Рационалистический миф Ломоносова о рождении Стекла (ст. 15—36) показывает, какую роль он отводил огню в своем произведении. О чем же говорит этот миф?

Вопрос, как и когда был создан мир, то есть вопрос о существовании чего-либо и кого-либо до мира, не стоит перед Ломоносовым. Мир всегда и везде заполнен «натурой».

В ее лоне вечно противоборствуют два враждебных начала: огонь и вода. Борьба идет за овладение природой. Одна из этих сущностных сил — огонь — проявляет себя в мощном волевом акте:

С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя,
Во мрачной глубине, под тягостью земною,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил.
Напрягся мышцами и рамена подвинул
И тяготу земли превыше облак вскинул.

Огонь выступает как рациональное начало мира: он целеустремленно активен (порывается ввысь, «собирает силы», «напрягается», «подвигает», «вскидывает» — потому что «хочет произвесть»), он почти различим («мышцы», «рамена») и все это — в противовес иррациональному Океану, который аморфен (известно только, что он — вода) и анархичен («борется», «выходит на брань» — и только).

Союз огня с натурой (которая сама по себе пассивна) — это единство, обретаемое в смертельной борьбе. Чтобы понять дальнейшее развитие внутреннего мира поэмы, очень важно уяснить, что Стекло появляется на свет как результат мировой катастрофы:

Внезапно черный дым навел густую тень,
И в ночь ужасную переменился день.
Не баснотворного здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса;
Но Этна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разженная река текла в пучину,
И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!

Здесь мы, вдобавок ко всему, видим в Ломоносове гениального стилизатора: восприятие космоса как живого организма (о чем свидетельствует почти физиологически точное описание «чудных сих родов») очень близко к античной традиции (мифы, Гесиод). О подражании здесь не может быть и речи, ибо концептуально Ломоносов намеренно отмежевывается от старой мифологии («Не баснотворного здесь ради Геркулеса...»).

Рожденное в страшных муках, на пределе созидательных возможностей натуры и огня, когда весь мир находится на волосок от гибели, — Стекло выступает как проявление мировой сущности, которая, по Ломоносову, есть не что иное, как вечная борьба разумных и неразумных сил.

Стекло внутренне противоречиво. С одной стороны, Стекло — это отраженная улыбка природы: натура улыбается самой себе, своей счастливой судьбе вечно обретать начало

в конце. Она передает Стеклу свое родовое свойство — пассивность. Поэтому Стекло нелицеприятно, равнодушно по отношению ко всему, что не есть оно само. (Пренебречь этим — значит заказать себе путь к пониманию ломоносовской концепции человека, ибо здесь дано обоснование коренной этической проблемы произведения — проблемы свободного выбора, которая именно в связи с появлением Стекла и встает перед людьми. Но об этом — ниже.)

С другой стороны, «дитя» наследует и по «отцовской» линии. «Абсолютное беспокойство» огня живет в Стекле на протяжении всей поэмы. Многочисленные видоизменения Стекла, казалось бы, приводят к тематической неразберихе. Стеклянная посуда, изделия из фарфора, мозаика, применение Стекла в устройстве оранжерей, различные виды украшений, порабощение индейцев, изготовление очков, борьба ученых с невеждами и лицемерами, крупные достижения в оптике (телескоп, микроскоп), использование Стекла в метеорологии и, наконец, опыты по изучению атмосферного электричества — все это связывается вместе каким-то непонятным («чрезъестественным», как сказал бы Ломоносов) образом. Между тем если не забывать об «огненной» природе Стекла, то в этой тематической разноголосице обнаруживается глубокое единство. Многообразная жизнь Стекла в материальной среде есть не что иное, как явленная борьба огня с его вечными противниками: водою, мраком, холодом, небытием.

Применение Стекла в медицине означает торжество «здравия и жизни» над смертью.

Фарфоровая посуда — это знак победы огня над водою (так же как огонь в свое время

Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил...

Стекло

...вход жидких тел от скважин отвращает).

Его неподверженность тлену и разрушению доказывают

...Финифти, Мозаики,
Которы ввек хранят геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц;
Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся.

Применение Стекла в устройстве оранжерей приводит к победе огня над «несносным хладом»:

Зимою за стеклом цветы хранятся живы.

Даже использование Стекла как украшений (бисер) осмысляется Ломоносовым в пределах оппозиции: тепло (то

есть огонь) — холод. Обращаясь к «сельским нимфам», он пишет:

Но чем вы краситесь в другие времена,
Когда, лишась цветов, поля у нас бледнеют
Или снегами вдруг глубокими белеют,
Без оных чтобы вам в нарядах помогло,
Когда бы бисеру вам не дало Стекло?

Что касается темы порабощения индейцев испанскими колонизаторами, то здесь Стекло выступает как антитеза небытию; жители Америки, отдавая предпочтение стеклянным украшениям, тем самым выражают свой, пускай пассивный, но — протест против смерти:

...гонят от своих бедам причину глаз.

Изготовление очков — это очередная победа огня над мраком, применение Стекла в метеорологии (барометр) — победа огня над Океаном (человек получает возможность «плавать по морю безбедно и спокойно»).

В основе той части поэмы, где повествуется о борьбе нау́ки с невежеством, — все та же идея огня, с той лишь существенной разницей, что здесь разговор идет не о какой-либо частной победе огня, но со всей очевидностью проявляется неоспоримый факт его универсального господства во Вселенной. До сих пор мы имели дело с огнем, который живет «во мрачной глубине, под тягостью земною». Стекло явилось в мир как порыв (и прорыв) его ввысь, на поверхность Земли. Теперь через детище земного огня устанавливается связь с огнем небесным. Отнюдь не случайно эта часть поэмы открывается образом Прометея, и глубоко закономерна (именно с точки зрения внутренней логики) просветительская модернизация античного мифа. Ведь в ломоносовской версии вот что важно:

Не огнь ли он Стеклом умел сводить с небес?..

Во всемирной истории, которую пишет Ломоносов, «сведение небесного огня на Землю становится событием эпохального значения. Смыкаются нижняя и верхняя сферы мира: Вселенная предстает «огненной» целостностью. Осмысление огня как бесконечности делает неизбежным прославление гелиоцентрической системы и сопряженной с ней идеи множества миров. В том, что именно Стекло подтверждает эту истину, — художественное оправдание былых усилий и упований огня «произвесть» потомство, достойное себя и натуры. Дитя сторицей воздает отцу, указывая всем и вся на его центральное положение в «истинной Системе» мира. Из глубин Земли на просторы Вселенной — таков путь огня в поэме.

Рассмотрим теперь этическую проблематику «Письма». Главный вопрос здесь: в каких отношениях прослеженная эволюция Стекла в материальной среде находится к человеческой истории поэмы? Правильно ответить на этот вопрос можно, лишь уяснив, с чего начинается в ломоносовском произведении человеческая история.

В момент катастрофы, в результате которой рождается Стекло, масса людей — это масса «смертных», находящихся в полной зависимости от природных сущностных сил. Сама по себе борьба этих сил способна породить у «смертных» только страх («И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!»), но ее конкретный результат (то есть Стекло) вызывает иную реакцию — удивление:

Увидев, смертные, о, как ему дивились!
Подобное тому сыскать искусством тщились.

В состязании с природой люди «превысили» ее «своим рачепьем». Только после этого масса «смертных» объединяется в родовое понятие «человек» (тоже «смертный», но превышающий мастерством природу).

Это место — философский узел поэмы. Стекло как воплощение победы огня над неразумным началом мира находит себе культурное соответствие в Стекле, сделанном руками людей в соревновании с природой. Создавая Стекло (то есть повторяя победу огня), люди выступают как союзники рационального мирового начала. Созданное ими Стекло, оставаясь частью природы, вбирает в себя и нечто человеческое, а именно: духовное качество. Оно поворачивается к миру сразу двумя сторонами — и материальной и духовной:

Из чистого Стекла мы пьем вино и пиво
И видим в нем пример бесхитростных сердец...

Стекло в напитках нам не может скрыть примесу;
И чиста совесть рвет притворств гнилу завесу.

Выше уже говорилось о том, как важно не упускать из виду пассивную сущность Стекла. От людей зависит сделать его активным элементом культуры.

Если подходить к Стеклу утилитарно, с точки зрения практической выгоды, то оно по сравнению, например, с золотом или серебром ничего не стоит. Но история знает примеры, когда предприимчивые люди за «стекляшки» выменивали у иных «примитивных» народов и серебро и золото.

В Америке живут, мы чаем, простаки,
Что там драгой металл из сребреной реки
Дают европскому купечеству охотно
И бисеру берут количество несчетно...

Следовательно, при известном стечении обстоятельств Стекло может стать материальной ценностью, равной «драгому металлу»? Да, если рассуждать меркантильно. Однако ж в поэтическом мире Ломоносова такая логика не подходит. Вот как он оценивает поведение индейцев:

Но тем, я думаю, они разумне нас...

В мире Ломоносова вещь становится ценностью лишь тогда, когда она одухотворена и способна одухотворять окружающее. Здесь нет «стекляшек». Есть Стекло, которое одновременно — и непритязательное украшение, и «*чиста совесть*», и «*пример бесхитростных сердец*», которое несет с собою в мир не «*ломкость лживого счастья*», а прочность истинного. Вот почему американские «простаки», по Ломоносову, совершают более выгодную сделку, чем пронырливое «европское купечество».

Что же касается моральных «привесков» к злату и серебру, то они показаны Ломоносовым в следующей, почти осязаемо жуткой картине, предваряемой скорбным возгласом:

О коль ужасно зло! на то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ли, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшел кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепого врага?
По тягостном труде, снесенном на пучине,
Где предал он себя на произвол судьбине,
Едва на твердый путь от бурь избыть успел,
Военной бурей он внезапно зашумел.
Уже горят царей там древние жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены подают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом и тиранством.
Иных, свирепствуя в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, *оковы, глад и раны,*
Что наложили им в работе их тираны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтобы тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: *лежат в ней погребенны*
Бесчастные! или поистине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук!

Утилитарный подход к Стеклу есть зло, потому что означает утилитарный подход к культурным ценностям вообще, а это, по Ломоносову, недопустимо. Не случайно завоеватель изображается Ломоносовым как варвар, разрушающий древнюю культуру. Утилитаризм несет дисгармонию и разрушение не только в мир человека, но и в мир природы. Здесь вся природа возвращается в Хаос, в буквальном смысле слова «теряет голову»: мировой разум (то есть огонь) разрушает культурные формы («Уже горят царей там древние жилища...»), становясь фактическим союзником иррациональных сил; люди поступают наравне с животными (как вороны набрасываются на трупы); горы обрушиваются в глубину; живые завидуют мертвым; невинность и варварство равно погибают — вот итоги, которые подводит этой оргии разрушения Океан, выступающий в финале всей картины:

Оставив Кастиллан невинность так попранну,
С богатством в отчество спешит по Океану,
Надеясь оным вдруг Европу всю купить.
Но златом волн морских не можно утолить.
Подобный их сердцам борей, подняв пучину,
Навел их животу и варварству кончину,
Погрязли в глубине с сокровищем своим,
На пищу преданы чудовищам морским.
То бури, то враги толь часто их терзали,
Что редко до брегов желанных достигали,
О коль великий вред! от зла рождалось зло!

Ломоносов доводит до логического конца ограниченное представление обыденного сознания о пользе. С точки зрения Ломоносова вещь принципиально перестает быть полезной, если она служит только одному человеку. Такая вещь теряет свою ценность не только для общества, но и для самого владельца:

...златом волн морских не можно утолить.

Польза только тогда есть польза, когда она — польза для всех и каждого. Всякие поиски пользы только для себя неизбежно приводят к отысканию ее противоположности:

О коль великий вред!..

В свете сказанного выявляется и глубокое понимание Ломоносовым проблемы зла. Злом он считает несвободу в двух ее главных разновидностях. Для него несвобода духовная является обязательной, неизбежной спутницей социальной несвободы. Кастиллан (то есть кастилец, испанский завоеватель), не будучи в состоянии выработать собственного свободного суждения о пользе, необходимо должен поступать как деспот и по отношению к другим, то есть быть вредным для них. Сам раб, он делает рабами и других. От одной разновидности зла происходит другая:

О коль великий вред! От зла рождалось зло!
Виной толиких бед бывало ли Стекло?

Поразительно это внезапное появление Стекла! Ведь в разбираемом отрывке оно присутствовало, но негативно. И вот теперь оно предстает перед людьми в тот момент, когда бунт темных, иррациональных сил грозит уничтожить художественный космос поэмы. Композиционно это появление Стекла соотнесено с его рождением и так же, как прежде, связано с мировой катастрофой. Если результатом былой катастрофы стало рождение Стекла, а также выход «смертных» из естественного состояния, то теперь для людей вопрос стоит об овладении миром, а для Стекла — о возрождении в качестве универсального средства познания (орудие овладения).

Опять-таки не случайно Ломоносов вводит далее краткий пассаж о «зрении» и об «очках». Читателю, если он плохо «видит», необходимо усилить «зрение ослабленных очей»; ибо

Померкшее того не представляет чувство,
Что кажет в тонкостях натура и искусство.

Ломоносов как бы намекает, что вещи, которые он собирается показать, сможет увидеть только человек с зорким взглядом.

История восхождения человека по ступеням познания возвращает нас в глубокую древность — все к той же «мифологической» эпохе, когда «из недр земных родясь, произошло», «любезное дитя, прекрасное Стекло». (Просто удивительна эта последовательность Ломоносова: он настойчиво «предлагает» искать «пружину действия» произведения в одном и том же месте.) Прометей, по Ломоносову, первым из людей именно посредством Стекла овладел небесным огнем. Ему же первому из людей страдания за этот подвиг были отпущены полной мерой. Вся последующая история овладения огнем — история борьбы со «свирепыми невеждами».

В ломоносовской трактовке человека, подвижническая деятельность титанов духа Прометея, Христа, Аристарха Самосского, Коперника — представляет вот какой интерес. Их предельное одиночество и мученическая судьба — это, по Ломоносову, вторичный момент. Они не могут не находиться в подобном положении, ибо они — духовно свободные люди, живущие среди рабов. Больше того, они сами идут на муки, так как в них любовь к истине преобладает над всеми остальными чувствами. При ближайшем рассмотрении истина оказывается гуманной в самой своей основе. Она состоит в признании и познании единства законов природы, что в конечном счете ведет к господству человечества во Вселенной:

В благословенный наш и просвещенный век
Чего не мог дойти по оным человек?

В свете этого качества истины, во всей их деятельности активное начало берет верх. Они не пассивные мученики, но борцы. Их борьба с врагами истины за людей, за их духовное освобождение, уже сама по себе есть истина. Борьба есть универсальный способ существования мира.

От страха перед земным огнем (незнанием) — к овладению «огненной» Вселенной (знание): такова нравственная и познавательная перспектива, которая открывается перед Человеком поэмы.

Ближайшая земная задача, вытекающая из этого всеобъемлющего вывода — эмпирическое постижение природы небесного огня, эффективное овладение им. И здесь залогом успеха — открытое Стеклом «огненное» единство мира:

...та же сила туч гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит...
...зная правила, изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром...
Единство оных сил доказано стократно...

Художественная идея, получив последний мощный толчок изнутри, стремительно движется дальше и приближается вплотную к своему «порогу», за которым предмет поэмы подлежит освоению уже иными, не литературными средствами.

...с Парнасских гор схожу,
На время ко Стеклу весь труд свой приложу.

Посредством образа Стекла он восстанавливает перед современниками страшную картину многовекового надругательства над истиной и ее сторонниками — надругательства, от которого в конечном счете страдает все человечество. Ломоносов защищает и прославляет Стекло как пример благотворного отношения людей к миру и друг к другу, как конкретное проявление общечеловеческой пользы. Освобождая истину из-под гнета «свирепых невежд», он освобождает человечество. Подчеркнем: не только мысль о практическом применении Стекла в хозяйстве, не только мысль о возможностях, открываемых Стеклом перед наукой, лежит в основе поэмы (все это актуально для «Письма», но не исчерпывает его содержания). Глубокая гуманистическая идея духовного освобождения всего человечества — вот нравственная ось, вокруг которой вращается внутренний мир произведения, а если точнее — его миры. Эта идея по всем законам поэтической небесной механики вносит упорядоченность в их движение, не дает произведению распасться на отдельные части.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«Я НЕ ТУЖУ О СМЕРТИ»

1761—1765

ГЛАВА I

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных.
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.

М. В. Ломоносов

1

23 июля 1761 года французский посланник в Петербурге Бретель писал в донесении своему правительству: «...несколько дней назад императрица причинила всему своему двору особое беспокойство: у нее был истерический приступ и конвульсии, которые привели к потере сознания на несколько часов. Она пришла в себя, но лежит. Расстройство здоровья этой государыни очевидно».

Это был один из многих приступов, особенно участившихся во второй половине 1750-х годов. Причем каждый из них казался последним. Екатерина II вспоминала впоследствии: «Тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать».

В такие дни из всех придворных доступ к Елизавете имел только И. И. Шувалов. В последние годы ее царствования политический вес фаворита неизмеримо возрос. Но, верный линии поведения, избранной в самом начале своего «случая», он и в это время как бы самоустранялся от большой политики. Когда М. И. Воронцов, заискивавший перед ним, предложил ему стать членом Конференции при дворе (то есть занять реально значительный политический пост: что-то вроде члена совета министров), И. И. Шувалов в письме к тогдашнему вице-канцлеру от 10 декабря 1757 года отказался от лестного предложения и объяснил свой отказ так: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности; когда я, милостивый государь, ни в каких случаях к сим вещам моей алчбы не казал в таких летах, где страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истинно и более причины нет».

Впрочем, в самые последние годы жизни и правления Елизаветы необходимости в этом уже не было. Те или иные бумаги она подписывала, принимая их из рук только И. И. Шувалова. Он, и не занимая никакого поста в правительстве, мог вершить судьбами как отдельных людей, так и страны в целом. Однако ж именно в эту пору фаворит особенно остро ощутил всю непрочность своего истинного положения при дворе. Он даже попытался вступить в контакт с «малым двором», и прежде всего с великой княгиней Екатериной Алексеевной, — на предмет переговоров о возможном изменении старого завещания Елизаветы, составленного в пользу великого князя Петра Федоровича. Тогда обсуждались разные варианты (Петр Федорович уже тогда разочаровал многих). Как одна из возможных комбинаций в случае смерти Елизаветы рассматривалась высылка Петра Федоровича, которого и Елизавета стала недолюбливать, обратно в Голштинию и передача трона малолетнему Павлу (при этом оставшаяся в России Екатерина стала бы регентшей). Тогдашний французский посланник Лопиталь (как мы помним, завсегдатай строгановского салона) писал в 1758 году: «Иван Шувалов полностью перебрался на сторону молодого двора». Позднее он поделился со своим правительством даже таким вот наблюдением: «Этот фаворит хотел бы играть при великой княгине такую роль, что и при императрице».

Ломоносов ничего не знал о сложной и рискованной игре своего мецената. К 25 ноября 1761 года, то есть к двадцатилетнему юбилею восшествия Елизаветы на престол, он по обыкновению написал большую оду.

Ода писалась, когда императрица доживала последние дни. И сам Ломоносов был серьезно болен. Государственные дела в исходе 1761 года также оставляли желать лучшего. Семилетняя война, несмотря на успехи русского оружия, затянулась и в буквальном смысле слова выматывала огромную страну, не суля надежд на скорый исход. Ставший к этому времени канцлером, М. И. Воронцов писал незадолго до создания оды: «К немалому сокрушению, нынешняя кампания ни с которой стороны к благополучному окончанию сей проклятой войны надежд не подает». Кроме того, в 1761 году оживились академические противники Ломоносова, не оставившие своих планов его удаления из Академии. Состояние духовного утомления ощущается уже в самом начале оды, которая начинается не с традиционно восторженного

обращения к музам, не с риторических вопросов к самому себе, а с неожиданно прозаической и какой-то усталой констатации:

Владеешь нами двадцать лет...

И только потом, в процессе дальнейшего повествования авторская интонация постепенно обретает свой обычный энтузиазм, который питается в этой оде воспоминаниями о том патриотическом подъеме, который сопутствовал восшествию Елизаветы на престол и вообще характеризовал русскую действительность начала 1740-х годов. При чтении оды важно учитывать еще и то обстоятельство, что к моменту ее создания Ломоносов завершил работу над первыми двумя песнями героической поэмы «Петр Великий». Четвертая строфа настоящей оды принадлежит к самому проникновенному из всего, что было написано Ломоносовым о Петре:

Безгласна видя на одре
Защитника, Отца, Героя,
Рыдали Россы о Петре:
Везде исполнен воздух воя,
И сетовали все места;
Земля казалася пуста;
Взглянуть на небо — не сияет,
Взглянуть на воды — не текут,
И гор высокость оседает;
Натуры всей пресекся труд.

Траурная патетика этих строк сообщилась всей оде. Ломоносов как будто подводит итоги и правлению и жизни Елизаветы. Победы русского оружия в Семилетней войне он прославляет на широком историческом фоне от «бодрого воина Святослава» до Петра. И все-таки высшей эмоциональной точкой оды становится прославление Елизаветы как хранительницы мира и покровительницы наук:

Великая Елисавет
И силу кажет и державу,
Но в сердце держит сей совет:
Размножить миром нашу славу
И выше, как военный звук,
Поставить красоту Наук.
По мне, хотя б руно златое
Я мог, как Язон, получить,
То б Музам для житья в покое
Не усумнелся подарить.

Редко в своих похвальных одах Ломоносов высказывался от первого лица. В 1739, 1742 году — в первой оде, посвященной Елизавете, и вот теперь — в последней оде, обращенной к ней. Прислушаемся — как раскрепощается ломоносовский дух, какая высокая и величественная поэзия рождается, когда он пишет от своего имени, когда он себя самого, наряду с Елизаветой и Петром, делает полноправным героем торжественной оды:

В войну кипит с землею кровь,
И суша с морем негодует;
Владеет в мирны дни любовь,
И вся натура торжествует.
Там заглушает мысли шум;
Здесь красит все довольства ум.
Се милость истину сретает, —
Воззрите, смертны, в высоту! —
И правда тишину лобзает.
Я вижу вечну красоту.

Финал оды интересен тем, что в нем Ломоносов косвенно высказывает свое лояльное отношение к завещанию императрицы в пользу Петра Федоровича. Ломоносов и в оде на прибытие великого князя из Голштинии (1742), и в оде на день его бракосочетания с Екатериной (1745) всячески обыгрывал совпадение имен деда и внука. Вот и теперь, заканчивая последнюю оду Елизавете, он создает аллегорический образ «Всесильного Мира», который обращается к читателям с речью, где этот двойной подтекст имени Петр очень важен:

«Петрова Дщерь вам ввек залогом.
Я жив, и обладает Петр
Пребуду вечно вашим Богом
И, как Елисавета, щедр».

Ломоносов своей поэтической интуицией верно угадал, что с приходом Петра Федоровича к власти Семилетняя война закончится. Но когда он заканчивал свою оду, он, естественно, не мог себе представить, насколько безумным и оскорбительным для русских будет этот мир...

2

25 декабря 1761 года в четвертом часу пополудни Елизавета Петровна умерла. К власти пришел голштин-готторпский принц Карл-Петер-Ульрих под именем Петра III.

Это было умственно и физически неполноценное создание, рано лишившееся родителей, запуганное и ущемленное грубым воспитателем, голштинским обер-камергером, в четырнадцать лет привезенное по прихоти венценосной тетки в Россию и объявленное наследником русского престола. В новом отечестве сознательное и подсознательное ощущение неполноценности прорвалось у него наружу, преобразившись в цинизм, жестокость, неопрятность, которые сплошь да рядом переходили границы разумного.

Время свое он проводил за чтением авантюрно-эротических романов, игрою в солдатики, глумлением над горничными и пажами, шутовскими издевками за обеденным столом над знатными гостями, садистским истязанием собак и кошек, непристойными выходками в церкви, строевыми занятиями с ротой солдат, выписанных из Голштинии, подглядыванием из укромных местечек за ночными бдениями тетки. Если к этому добавить раннее пьянство, то в общих чертах картину отрочества, юности и «зрелости» нового русского императора можно считать законченной.

Во всей этой безумной и безнравственной неразберихе поползновений было одно, которое можно назвать «верховной страстью» (термин английского поэта-философа Александра Поупа), — страсть к военному делу. Наставлявший великого князя в науках ломоносовский коллега академик Я. Я. Штелин писал, что высшим эстетическим наслаждением для его подопечного было «видеть развод солдат во время парада». Юную свою жену Екатерину Алексеевну он по целым часам заставлял стоять в карауле с мушкетом на плече у дверей своей комнаты.

Однако в силу положения, которое занимал Петр Федорович, эти психиатрические курьезы его поведения угрожали не только здоровью и достоинству окружающих, но и благосостоянию и достоинству страны, отданной ему в наследство. Он был язычески предан своему идолу, «богу войны» прусскому королю Фридриху. Став членом императорской Конференции (еще при Елизавете), он находил возможность сообщать приближенным Фридриха важные подробности затевавшихся в Семилетней войне операций, а когда в Петербург приходили те или иные известия из действующей армии, хвастался по своему слабоумию: «Все это ложь: мои известия говорят совсем другое».

Впрочем, все это в полной мере обнаружилось не сразу. По восшествии на всероссийский престол Петр III выступил с манифестом весьма пристойным и обнадеживающим: «Мы, навыкнув ее императорского величества бесприкладному великодушию в правительстве, за главное правило поставляем: владея всероссийским престолом, во всем подражать как ее величества щедротам и милосердию, так во всем последовать стопам премудрого государя деда нашего императора Петра Великого, и тем восстановить благоденствие верноподданных нам сынов Российских». Здесь на первый взгляд — и уважение к памяти Петра и Елизаветы, и попечение о благе подданных, правду сказать, серьезно подорванном и войной, и откупами, и вообще внутренней политикой вельмож-промышленников.

Ломоносов откликается на воцарение нового монарха новой одой. Увещевая, он напоминает о Елизавете и Петре и через это пытается внушить ему мысль об ответственности перед ближайшими его предшественниками на престоле.

Кроме того, он вживе показывает Петру Федоровичу, какой необычайной страной ему предстоит править:

Оставив высоту прекрасну,
Я небо вижу на земли:
Народов ревность всех согласну,
Как в веки все светила шли.
От Юга, Запада, Востока
Полями, славою широка,
Россия кажет верный дух
И, как Елисавете твердо,
Петру вдает себя усердо,
Едва лишь где достигнул слух.

Хребты полей прекрасных, тучных,
Где Волга, Дон и Днепр текут,
Дел послухи Петровых звучных
С весельем поминая труд.
Тебе обильны движут воды,
Тебе, Монарх, плодят народы,
Несут довольство всех потреб,
Что воздух и вода рождает,
Что мягкая земля питает
И жизни главну крепость — хлеб.

География отечества вновь выполняет программно-педагогическую роль, воспитывая в новом императоре, помимо чувства ответственности, еще и чувство достоинства. Ибо сразу же вслед за этим Ломоносов переходит к вопросам внешней политики. Сначала он указывает на необходимость поддержания выгодных для России отношений с великими восточными государствами — Китаем, Индией, Японией. Затем переходит к западноевропейским делам. В 1762 году вопросом вопросов было заключение мира с Пруссией и подведение политических итогов Семилетней войны. По мысли Ломоносова, позиция России должна определяться тем очевидным фактом, что германские земли, обескровленные войною, уже не чают, вследствие русских побед, достойного для себя мира и ждут любого. С помощью простого и сильного сравнения (очевидно, навеянного воспоминаниями о своем поморском детстве) Ломоносов создает для Петра Федоровича, который, разумеется, не забыл своего природного имени — Карл-Петер-Ульрих, образ поверженной Германии, напряженно ожидающей от России определения своей судьбы:

Когда по глубине неверной
К неведомым брегам пловец
Спешит по дальности безмерной,
И не является конец,
Прилежно смотрит птиц полеты,
В воде и в воздухе приметы, —
И, как уж томную главу
На брег желанный полагает,

В слезах от радости лобзает
Песок и мягкую траву.

Германия сему подобно
По собственной крови плывет,
Во время смутно, неспособно,
Конца своих не видит бед;
На Фарос сил Твоих взирает,
К Тебе дорогу направляет
Тебе себя в покров отдать;
В согласии желает стройном
В Твоем пристанище спокойном
Оливны ветьви целовать.

В приведенных строках нет и тени национально-политического злорадства по адресу немцев, есть даже сочувствие к Германии, которая «конца своих не видит бед». Но несомненно и то, что здесь Ломоносов подводит Петра III к осознанию необходимости заключить с Пруссией достойный и выгодный мир.

Ода не достигла желаемого результата. Мало того, что Ломоносов совершенно недопустимо, с точки зрения Петра III (поклонника Фридриха II), высказался в ней о Пруссии, он еще вдобавок к этому трижды помянул добрым словом «достойную супругу» императора Екатерину Алексеевну. Они с самого начала не любили друг друга, а к началу 1762 года у Петра III были все основания опасаться ее.

Сразу после смерти Елизаветы Петр III направил к Фридриху курьера с письмом, в котором содержалась униженно-заискивающая просьба о «возобновлении, распространении и постоянном утверждении между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы». 10 мая 1762 года на торжественном обеде по случаю заключения мира с Пруссией Петр III то и дело провозглашал здравицу в честь Фридриха и даже позволил себе преклонить колени перед его портретом, чем привел в смущение как своих придворных, так и иностранных гостей.

Академические противники Ломоносова из немцев оживились: Петр III собирался реформировать Академию по своему усмотрению (о чем он без обиняков сообщил своему бывшему наставнику Я. Я. Штелину). Ломоносов на время приостанавливает борьбу против «недоброхотов российским ученым», обескураженный, пораженный в самое сердце «голстинским» презрением императора ко всему русскому. Возможно, в эту пору его не однажды посещала мысль о бесплодности подобных выступлений вообще. «Теперь трудно сказать, — писал по этому поводу в прошлом веке историк Академии П. П. Пекарский, — поступал ли так Ломоносов, имея в виду особенную склонность Петра III ко всем немцам, или же он хорошо видел, что в постоянную сумятицу, которою отличалось это кратковременное царствование, бесплодно было бы продолжать нападки, не имевшие успеха и в более спокойные времена».

Смиряя гнев и досаду, превозмогая болезнь (в феврале и марте 1762 года он был прикован к постели), Ломоносов продолжал свои научные труды. В те дни он работал над созданием однозеркального телескопа, речь о котором должен был произнести на торжественном собрании Академии в Петров день, 29 июня. В речи, написанной на латинском языке, обращает на себя внимание почти полное отсутствие славословий в адрес Петра III. В ней лишь соблюдена формула официального поклонения монарху, и только. В заключительной части речи, обращенной непосредственно к императору, Ломоносов больше говорит о Петре I, чем о Петре III, и даже с именинами поздравляет больше покойного деда, нежели царствующего внука: «Августейший дом Петра, по укрощении военной бури, как солнце среди движения планет и умиритель, да привлечет к себе, как к центру, все тела в системе целого мира, от него свет и теплоту заимствующие. Сии живейшие желания наши соединим с обетами всей империи российской в сей день, который уже почти целое столетие после рождения Петра Великого празднуется верноподданными при громогласных восклицаниях, рукоплесканиях и плясках. Сей день Петра, отца отечества и сына, возлюбленнейшего государя, радостный и счастливый, с удвоенным торжеством да возвращается навсегда более радостным, более счастливым и да принесет в позднейшее потомство общее ненарушимое веселие».

Все эти «живейшие желания» и пожелания касаются грядущего. А вот грядущего-то у Петра III было куда как мало. Ломоносову даже не пришлось произносить свои сдержанные поздравления. Ровно за день до предполагавшегося публичного академического акта совершился тайный политический акт, которому, впрочем, предшествовало полугодовое почти откровенное ожидание перемен.

3

28 июня 1762 года Петр III был свергнут с престола его женой Екатериной Алексеевной. В тот же день она выпустила манифест, написанный Г. Н. Тепловым, который, перечислив все прегрешения императора, обосновал неизбежность совершенного переворота.

Прежде всего Петр III обвинялся в стремлении разрушить нравственно-религиозную основу всей жизни вверенного ему народа: «Закон наш православный греческий перво всего восчувствовал потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона». Не менее тяжким преступлением Петра III,

чем намерение ввести протестантство, было оскорбительное для России преклонение перед Пруссией со всеми вытекающими отсюда последствиями: «Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самим ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение». Третьим главным пунктом общего обвинения было то, что при Петре III оказались «внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, испровержены».

Об «испровержении» Петром III «внутренних порядков» в манифесте говорилось много и подробно: «Законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе об них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал не полезными, но вредными государству издержками, <...> возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие, превращать их начал в обряды неудобьносимые, которые не только храбрости военной не умножали, но паче растравляли сердца болезненные всех верноподданных его войск, и усердно за веру и отечество служащих и кровь свою проливающих. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, два полка иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единодушие».

В заключительной части манифеста 28 июня обосновывалась неизбежность всеобщего протеста против такого государя, равно как и неизбежность совершенного переворота: «...неутомимые и безрассудные... труды в таковых вредных государству учреждениях столь чувствительно напоследок стали отвращать верность Российскую от подданства к нему, что ни единого в народе уже не оставалося, кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил его и кто бы не готов был на пролитие крови его».

Затем последовал манифест от 6 июля, в котором излагалась позитивная политическая программа новой императрицы: 1) «соблюдение нашего православного закона», 2) «укрепление и защищение любезного отечества», 3) «искоренение и всяких неправд и утеснений», 4) узаконение «таких государственных установлений, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело». Это последнее обещание было особенно важным: впоследствии оно позволило Екатерине II поддерживать свое обаяние в глазах русских и западноевропейских мыслителей, поверивших в искренность монаршего поползновения к введению в России твердых законов, которые удерживали бы мирскую власть на всех ее ступенях в «принадлежащих границах».

Наконец, 7 июля Екатерина выпустила специальный манифест о смерти Петра III, причиной которой назван был «геморроидический припадок». Как бы забыв о том, что всего за десять дней до того она готовила общественное мнение к известию о «пролитии крови», теперь Екатерина лицемерно и в то же время со страхом призывала зла не помнить: «Всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы».

Пока сочинялись все эти императрицыны манифесты, Ломоносов напряженно работал над своим манифестом, посвященным восшествию Екатерины на престол, и к 8 июля закончил его.

Ода 1762 года Екатерине II писалась почти так же быстро, как и предыдущая, обращенная к Петру III, — в течение нескольких дней. Сильнейшее разочарование, пережитое Ломоносовым за полгода, истекшие с той поры, бросает длинную и грустную тень на его новое произведение, которое показывает, что приход к власти Екатерины II не столько вдохновил Ломоносова, сколько заставил насторожиться, внутренне собраться и выступить скорее с наставлением, чем со славословием.

Ломоносов — поэт, мыслитель и ученый — находится в поре строгой зрелости. Он знает, как много просветительских начинаний Петра I еще не претворено в жизнь. То же самое он знает и о своих собственных начинаниях. Монархи, несмотря на все его страстные обращения к ним, внимают только лести, содержащейся в одах, и не желают усваивать уроки, преподаваемые им в стихах. В царствование предшественника Екатерины дело даже дошло до того, что немецкая партия уже, как сейчас говорят, в рабочем порядке решала вопрос об удалении Ломоносова из Академии. Ломоносов устал. С Екатериной он говорит лишь о том, что является жизненно важным для России в морально-политическом аспекте. Он ничего не ищет для себя: даже любимая им тема науки звучит в оде 1762 года не столь мощно, как в предыдущих. Он только хочет, чтобы новая монархиня поняла, что успех ее правления (как и вообще любого правления) зависит от того, сможет ли она направить всю свою деятельность на благо вверенного ей народа, сможет ли она каждый свой акт, каждое свое слово основать на уважении к людям, ей подвластным. По отношению к этому главному этическому вопросу развиваются в оде четыре ее темы: войны и мира, культурных преобразований, иностранцев, находящихся на русской службе, и, наконец, тема связи между монархом и народом.

Никогда еще ломоносовские «уроки царям» не были столь глубоко продуманы. В его предшествующих одах Анне, Елизавете, Петру III говорил человек, искренне любящий Россию, авансом выдающий похвалы ее правителям, пекущий-

ся о важных направлениях развития страны (и прежде всего, науки), но — человек более эмоционального, нежели государственного склада. Этот человек уже тогда выступал не от себя, но от лица всей нации. Однако в его выступлениях, при всей их страстности и в подавляющем большинстве случаев — глубине, не было организующего стержня, не было сквозной государственной идеи, в которой получили бы оправдание и высшее осмысление разочарования и упования России.

Вспомним «Оду на взятие Хотина», в которой, обозрев развитие русской истории от Грозного до Петра, Ломоносов уловил некую фундаментальную закономерность этого развития, понял, что все было «нетщетно», и воскликнул:

Восторг внезапный ум пленил...

С тех пор минула четверть века. Время восторга прошло, наступило время раздумий. И вот Ломоносов от лица всего народа выражает уже не эмоции, не отдельные пожелания, но идеи, в которых национальное сознание, оценив почти сорокалетний период от смерти Петра до воцарения Екатерины (период не менее драматичный, чем период, охваченный в «хотинской» оде). поднимается на новую ступень. Ломоносов, по сути дела, вновь восходит «на верьх горы высокой». Что же он видит теперь?

Краеугольным камнем государственного здания является, по Ломоносову, морально-политическое единство власти и народа:

О коль монарх благополучен,
Кто знает россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.

Ломоносов считает, что из русских монархов только Петр по-настоящему «знал владеть россами». Но если в «хотинской» оде Петр был удовлетворен ходом русской истории и полон надежд на будущее, то в 1762 году Ломоносов заставляет его произнести следующие горькие слова:

«Я мертв терплю несносну рану!
На то ли вселюбезну Анну
В супружество я поручил,
Дабы чрез то моя Россия
Под игом области чужия
Лишилась власти, славы, сил?..»

Вся послепетровская история, с точки зрения Ломоносова, — это цепь антинациональных государственных актов, которая при Елизавете оказалась отчасти ослабленной для «российских истинных сынов», но при Петре III, сведшим к нулю победы русских над Пруссией, вновь сковала их.

Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот!

Дело в том, считает Ломоносов, что Петр III (так же, как в свое время Бирон) вероломно эксплуатировал одно из коренных свойств русского народа:

Российский род, коль ты ужасен
В полях против своих врагов;
Толь дом твой в недрах безопасен.
Ты вне гроза, ты внутрь покров.
Полки сражая, вне воюешь;
Но внутрь без крови торжествуешь.
Ты буря там, здесь тишина.

Но «российский род» тих и покорен внутри страны до известного предела и известной поры. Он может стать «ужасен» не только для внешних врагов, но и для внутренних. Вот почему, обращаясь к Екатерине с непосредственным назиданием, Ломоносов призывает вполне постичь это главное свойство вверенного ей народа и, если так можно выразиться, по-государственному уважительно отнестись к нему (ведь в конечном счете от этого зависит ее собственное благополучие и историческая репутация):

Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То бог благословит ваш дом.

Ломоносов ввел в свою оду несколько глубоко личных строф исключительной силы, посвященных господству в русской жизни людей типа Шумахера — принципиально чуждых России подлецов-приобретателей, озабоченных только собственной выгодой. Петр III низложен, но эти люди остались. Обращаясь к ним, Ломоносов гневно восклицает:

А вы, которым здесь Россия
Дает уже от древних лет
Довольство вольности златыя,
Какой в других державах нет,
Храня к своим соседам дружбу,
Позволила по вере службу
Беспреткновенно приносить;
На толь склонились к вам монархи

И согласились иерархи,
Чтоб древний наш закон вредить?

Вы не имеете права, продолжает Ломоносов, платить черной неблагодарностью за доверие и блага, оказанные вам, не имеете права глумиться над Россией

И вместо, чтоб вам быть меж нами
В пределах должности своей,
Считать нас вашими рабами
В противность истины вещей.

Если же такое, дикое, противоестественное злоумышление способно помрачить чей-то разум, то Ломоносов искренне советует:

Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте,
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя
В суде, в полках, в морях и в селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого олтаря.

Надо ли говорить о том, что Ломоносов не отличался ненавистью к иностранцам? Он был женат на немке, он неизменно восхищался гением Леонарда Эйлера, хранил самые теплые чувства к Христиану Вольфу, глубоко уважал профессора Георга-Вильгельма Рихмана или, например, профессора логики И.-А. Брауна, «которого всегдашнее старание о научении российских студентов и при том честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны». Но он был беспощаден к врагам России.

Мысль о национальном достоинстве пронизывает всю оду 1762 года. Интересно, что ее последняя строфа (небывалый случай) посвящена не императрице, а русским участникам июньского переворота. Вот эти стихи, в которых Ломоносов, воспевая «орлов Екатерины», выступает непосредственным провозвестником державинской эпохи в русской поэзии:

Герои храбры и усерды,
Которым промысл положил
Приять намерения тверды
Противу беззаконных сил,
В защиту нашей героине
Красуйтесь, веселитесь ныне:
На вас лавровые венцы
В несчетны веки не увянут,
Доколе россы не престанут
Греметь в подсолнечной концы.

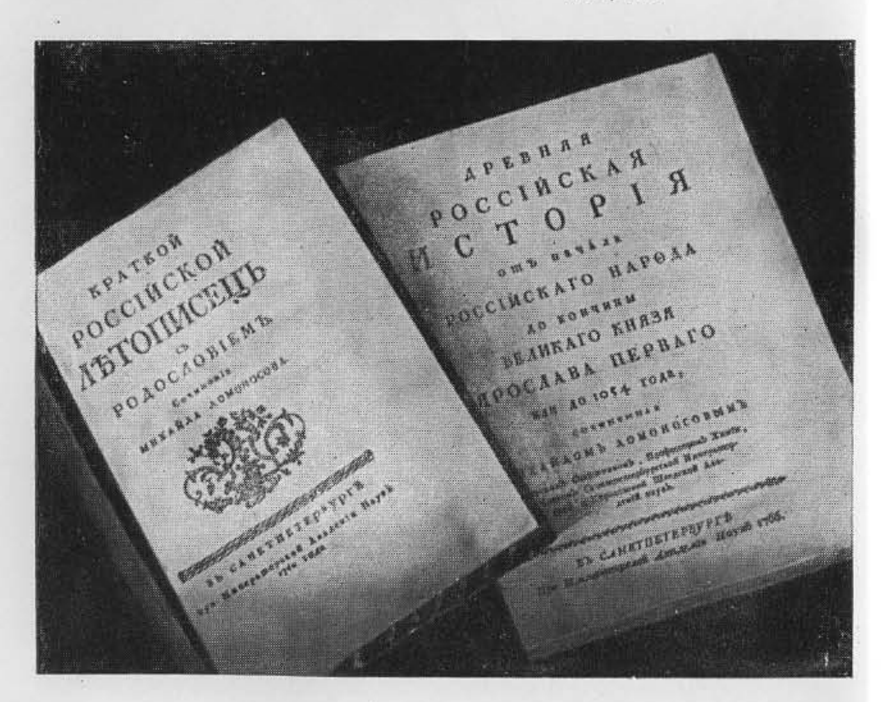
Ломоносов. Гравюра Э. Фессара — X. Вортмана. Стихи Н. Н. Поповского. 1757 год.

Петр III.

Хр. Вольф.

Екатерина II.

Ломоносов.
Барельеф работы
С. Т. Коненкова.



Титульные листы «Краткого Российского летописца» и «Древней Российской истории».

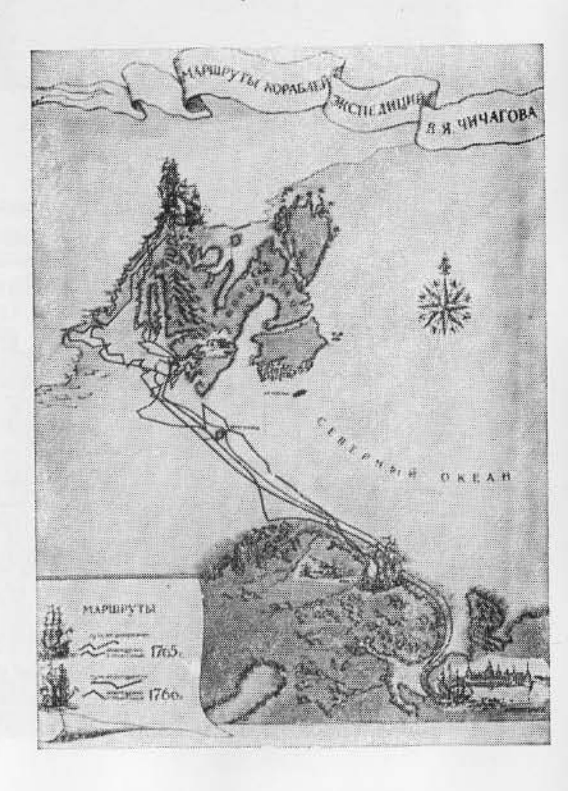
Г.-Ф. Миллер.

А.-Л. Шлецер

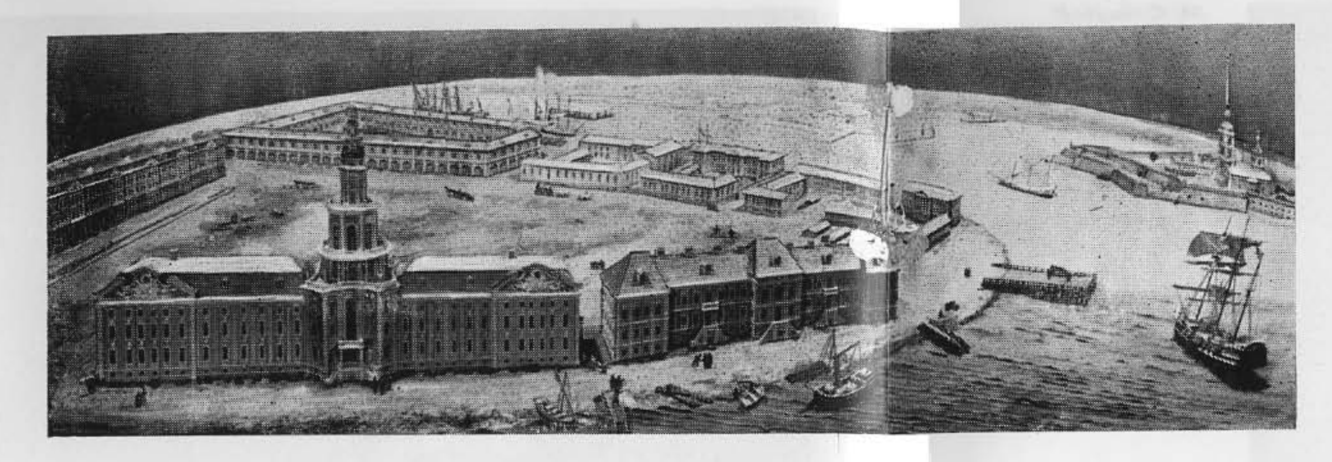
Дом Ломоносова на Мойке. Рисунок 1757 г.

Дом Ломоносова на Мойке. Современный вид (ул. Герцена, 61).

Титульный лист и страница с картой работы Ломоносова «Краткое описание разных путешествий».



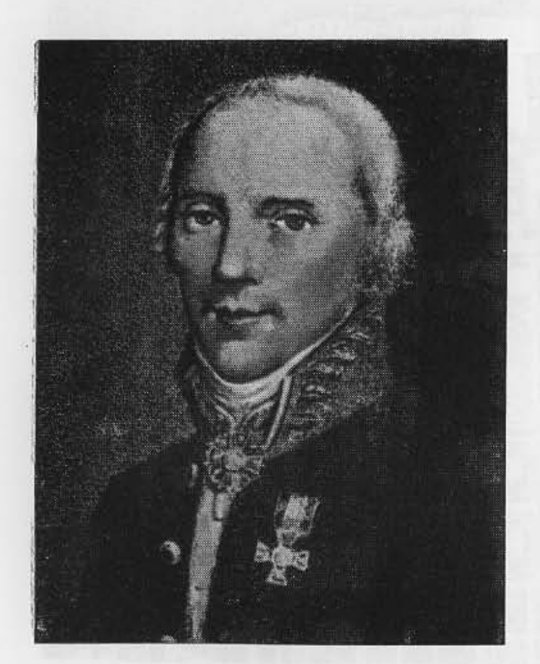
Карта маршрутов экспедиций В. Я. Чичагова.



Стрелка Васильевского острова со зданиями Академии наук, университета и гимназии. Диорама. Музей М. В. Ломоносова.

План части Васильевского острова со зданиями Академии наук, изданный в 1753 г.

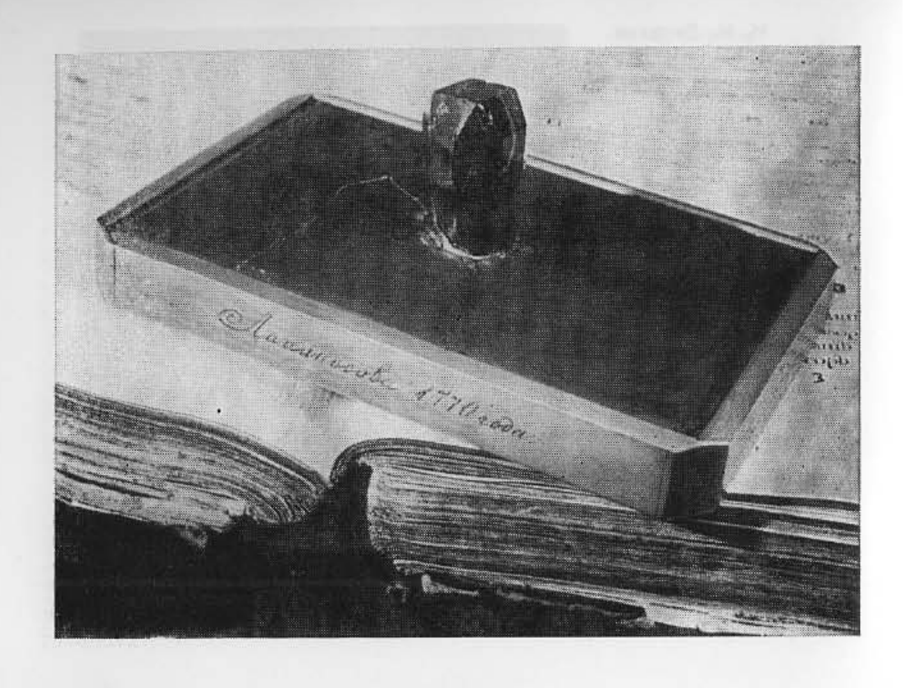
И. С. Барков.

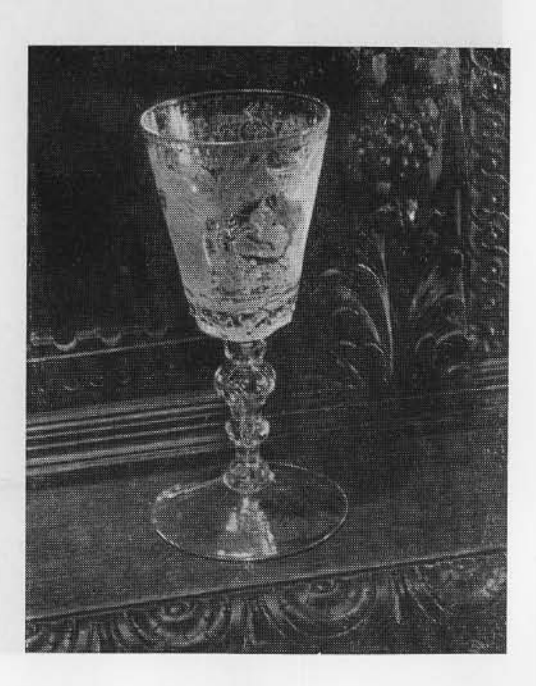


П. Б. Иноходцев.

И. И. Лепехин.

С. Я. Румовский.





Личные вещи
Ломоносова.

Памятник на могиле Ломоносова. Некрополь XVIII века. Александро-Невская лавра.

С. А. Раевская, внучка Ломоносова.

М. Н. Волконская, правнучка Ломоносова.

Памятник М. В. Ломоносову возле МГУ.

4

15 июня 1764 года в «Санкт-петербургских ведомостях» было помещено следующее сообщение: «...Сего июня 7 дня пополудни в четвертом часу благоизволила ея императорское величество с некоторыми двора своего особами удостоить своим высокомонаршеским посещением статского советника и профессора господина Ломоносова в его доме, где изволила смотреть производимые им работы мозаичного художества для монумента вечнославныя памяти государя императора Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты, чем подать благоволила новое высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в отечестве. При окончании шестого часа, оказав всемилостивейшее свое удовольствие, изволила во дворец возвратиться».

Поводом к визиту Екатерины послужило избрание Ломоносова в марте 1764 года членом Болонской Академии наук за его работы в области цветных стекол и мозаики. Однако отношения Ломоносова с Екатериной к этому времени уже имели свою историю (вспомним его поездку в Ораниенбаум 15 мая 1761 года) и были — сложными...

Когда в 1762 году Екатерина пришла к власти, притихшие было Тауберт и другие противники Ломоносова (Шумахер умер в 1761 году) опять подняли голову и повели на него новую атаку, по-своему логично рассчитав, что его положение как «человека Елизаветы», «человека Шуваловых» должно теперь пошатнуться. Поначалу так оно и было. После июньского переворота на противников Ломоносова в Академии пролились немалые щедроты. Злейший враг Ломоносова, его коллега по Академической канцелярии, Тауберт, который был на шесть лет моложе его и на три года позднее его получил чин коллежского советника, сделался статским советником. Это делало его в Академической канцелярии старшим по отношению к Ломоносову. К тому же именно в это время Ломоносов только что перенес тяжелый и затяжной приступ болезни ног.

24 июля 1762 года, измученный духовно и физически, Ломоносов подал на имя Екатерины прошение об отставке. В тот же день он направил письмо графу М. И. Воронцову, где раскрыл причины, побудившие его к этому: «...ныне всего несноснее я обижен, что г. Тауберт в одной со мною команде, моложее меня, коллежским советником восемь лет, пожалован статским советником без всякой передо мною большей заслуги, да лучше сказать, за прослуги и за то, что он беспрестанно российских ученых гонит и учащихся утесняет и мне во всех к пользе наук российских учиненных предприятиях всевозможные ставил препятствия. Итак, все мои будущие и бывшие рачения тщетны. Бороться больше не могу; будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой ста-

рости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления, но вовсе отставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке подал я челобитную...»

Ждать ответа на свое прошение об отставке Ломоносову пришлось около 10 месяцев. Между тем 28 января 1763 года ему стало известно, что президент Академии граф К. Г. Разумовский, по наущению Тауберта и Теплова, распорядился, чтобы он передал руководство Географическим департаментом Миллеру. Наступление «недоброхотов», участившиеся боли в ногах, требования Мануфактур-коллегии возвратить ссуду в 4000 рублей, взятую ранее на строительство стекольной фабрики (и просьбы об отсрочке платежа), ежедневные научные и литературные труды, работа над мозаичной картиной «Полтавская баталия»... Никогда еще Ломоносов не чувствовал себя так тяжело.

2 мая 1763 года императрица подписала указ о присвоении ему чина статского советника и о «вечной от службы отставке с половинным по смерть жалованием». Но уже 13 мая от нее приходит в Сенат записка: «Есть ли указ о Ломоносова отставке еще не послан... то сейчас его ко мне обратно прислать». Ломоносов вернулся в Академию. Возможно, здесь сыграло свою роль заступничество Григория Орлова, который еще в июле 1762 года обещал Ломоносову помощь.

Так или иначе, Екатерина II какое-то время колеблется в своем отношении к Ломоносову. Присматривается к нему. На одном из приемов Ломоносов вручил ей свой план мероприятий, необходимых для составления «Российского атласа». Наконец 15 декабря 1763 года императрица подписывает указ о «пожаловании» Ломоносова статским советником с окладом 1875 рублей в год.

В известном смысле это можно считать началом «потепления». Уже через десять дней, 25 декабря, просмотрев написанное Ломоносовым «Известие о сочиняемой Российской Минералогии», где излагалась широкая программа изучения и освоения природных богатств страны, Екатерина написала прямо на экземпляре своему статс-секретарю Олсуфьеву: «Адам Васильевич! Прикажите дать Ломоносову все известия, которые у нас, и с рудами. А которых нет, прислать с заводов и сказать Шлаттеру (президенту Берг-коллегии. — *Е. Л.)*, чтоб также с других заводов отпустили к Ломоносову».

Можно с уверенностью предположить, что Екатерина первой из высоких особ, сама, без чьего-либо «предстательства», увидела и отчасти даже оценила в Ломоносове государственного человека. Ведь указание помочь ему в его геологических разысканиях говорит о том, что направление ломоносовской научной деятельности совпало с хозяйственными потребностями страны.

Мы не знаем, о чем беседовали Ломоносов и Екатерина 7 июня 1764 года, когда она смотрела его мозаики, но нет сомнения, что императрица не могла не увидеть в Ломоносове человека государственного склада ума, которому не было равных в России по грандиозности устремлений, основанных на глубоком знании страны, народа, потребностей хозяйственного и культурного развития, по кровной заинтересованности в процветании не одного какого-нибудь общественного слоя, но всего государства.

Конец 1750 — начало 1760-х годов — это период дерзких начинаний Ломоносова, для которых характерен именно государственный уклон. «Узаконения для учащихся» (1759), представление в Сенат о необходимости собрать «надежные и обстоятельные географические известия» «изо всех городов Российского государства», «отчего неотменно воспоследует не *токмо Российской географии превеликая польза, но и* экономическому содержанию всего государства сильное вспомоществование» (1759); записка «О сохранении и размножении Российского народа» (1761); «Общая система Российской минералогии» (1763); проект нового устава Академии наук (1764) и т. д. Это перечисление показывает, что в последние годы жизни Ломоносов выступал и как деятель просвещения, и как крупнейший социолог, и как выдающийся организатор науки.

Пушкин, который на протяжении почти двух десятилетий напряженно размышлял над творчеством и судьбою Ломоносова, обращаясь то к поэтическому, то к научному его наследию, в 1835 году пришел к знаменательному выводу, открывшему новый угол зрения на ломоносовский феномен: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения». Именно так: не между Кантемиром и Сумароковым или Тредиаковским и Новиковым и т. д., но между Петром и Екатериной!

ГЛАВА II

Посмотрим мысленно на прежни времена...
М. В. Ломоносов

Все ломоносовские начинания и свершения в химии, физике, металлургии и горном деле, астрономии, географии, этнографии, народном просвещении, истории, языкознании, ораторском искусстве и поэзии, помимо своих собственных достоинств, имели, как сказано, выдающееся государственное значение. Больше того, Ломоносов даже в тот момент, когда решал сугубо теоретические научные задачи, выступал как государственно мыслящий человек, нацеленный на

единение духовных и материальных ресурсов огромной страны для возведения народа, населяющего ее, «на высочайший степень величества, могущества и славы». Для Ломоносова собственно научные достоинства любой из его работ не мыслились вне государственного их значения. Так, скажем, введение им в химию количественного метода исследования и превращение ее таким образом в точную науку увеличивало практическую отдачу от химических научных работ. Или взять, допустим, такую актуальную для послепетровской России культурную проблему, как создание единой нормы русского литературного языка. Филологически блестяще поставив ее в «Предисловии о пользе книг церковных в Российском языке», Ломоносов в ближайшем пределе рассматривал ее как серьезный вопрос внутренней политики, без решения которого были бы тщетны все усилия по приданию новому государству централизованного характера. То же самое можно сказать о «Российской грамматике» и «Кратком руководстве к красноречию».

Со временем это качество научной мысли Ломоносова становилось все более явственным, пока наконец в последние годы его жизни не стало главенствующим, всепроникающим. Не учитывать этого значит заведомо обречь себя на несоответственное понимание ломоносовского творчества и в целом и в каждой отдельной области.

1

История более и зримее других наук связана как с самой идеей государственности, так и с реальной жизнью государства. Это можно видеть уже на примере исторических концепций допетровской Руси. Летописный рассказ о призвании варягов преследовал совершенно четкую цель — политическое обособление от Византии, идейное и юридическое обоснование самостоятельности Киевской Руси. То же самое можно сказать и о сложившейся в XV—XVI веках теории, утверждавшей: Москва — третий Рим, четвертому же Риму «не быти», и выводившей русских государей уже не «из варяг», а из Рима (они, мол, потомки императора Августа — варяги в эту пору были уже недостаточно солидными предками). Причем столь утилитарный подход к истории не одной допетровской Руси был свойствен: и в западноевропейских странах политика «редактировала» историю. Петровские реформы коснулись и исторических воззрений. Петр I сам показал русским людям пример принципиально нового исторического кругозора. Если, скажем, идея «третьего Рима», хотя и допускала известную динамику исторического процесса, предшествовавшего воцарению Ивана Грозного, была рассчитана на статическое мышление, удовлетворяющееся статическим же результатом (четвертому Риму «не быти»), то взгляд Петра I на историю был качественно

иным. В соответствии с этим взглядом Россия должна была стать высшей, но не последней ступенькой в развитии мировой истории. Вот как излагал мысли русского самодержца по этому поводу, обращенные к подданным, один западноевропейский дипломат: «Историки, — говорил Петр I, — полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда (по превратности времен) они... перешли в Италию, а потом распространились было и по всем европейским землям... Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок... Указанное выше передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас, а затем возвратятся в истинное свое отечество — в Грецию».

Новый подход к истории, в котором на первое место выдвигался просветительский вклад того или иного народа в сокровищницу мировой культуры, довольно скоро утвердился в русских умах. Он требовал новых методов осмысления исторических данных, точнее: соединения материалов, содержащихся в источниках, с рационалистической теорией. В этом смысле первым русским историком должно считать Василия Никитича Татищева (1686—1750), которого, впрочем, сам Петр I, по словам Пушкина, «невзлюбил за легкомыслие и вольнодумство». В 1739 году Татищев представил в Петербургскую Академию наук рукопись своей «Истории Российской». Однако ж ему не довелось увидеть свой труд напечатанным: только лишь тридцать лет спустя она поступила в типографию, да и то вопреки Академии. Одной из причин проволочки стало именно вольнодумство автора, что он сам и засвидетельствовал впоследствии: «...явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в ней (то есть в «Истории Российской». — *Е. Л.*) православную веру и закон опровергал».

Но главной причиной злоключений «Истории Российской» следует назвать не «тяжкие порицания» домашних ревнителей православия, а резкое противодействие немецкой академической партии, которая в ту пору вершила всеми научными делами в России. Ведь 1739 год — это зенит бироновщины. До воцарения Елизаветы остается целых два года. Ломоносов еще в Германии, доучивается у Вольфа и только собирается переехать к Генкелю... Кроме того, за четыре года до завершения Татищевым «Истории Российской» в четвертом томе академических «Комментариев» за 1735 год появилась статья профессора Готлиба Зигфрида Байера (1694—1738) «О варягах», в которой впервые в общих чертах была изложена теория норманнского происхождения русской государственности.

С самого начала вплоть до наших дней и норманисты и

их оппоненты, хотят они того или нет, участвуют не только в научном, но и в политическом споре. Один из крупнейших советских историков М. А. Алпатов, изучая этот вопрос, пришел к следующим выводам: «Выдвижение России в первый ряд европейских государств было встречено на Западе с удивлением и враждебностью. История международных отношений рассказывает о той неприязни и высокомерии, с которыми встретилась там петровская и послепетровская Россия. Академики-немцы были представителями этого, западного, взгляда на Россию. Русский национальный подъем и бироновское засилье в России неизбежно должны были столкнуться. Немало искр столкновение это высекло в сфере политики. Эхо борьбы громко отдалось и в стенах Академии наук, где также кипели национальные страсти. Борьба перекинулась в историческую науку — это-то и породило варяжский вопрос». Ученый афористически точно определяет национально-психологический движитель устремлений первых норманистов: «Это был идейный реванш за Полтаву».

В чем же заключалось собственно научное существо позиции основоположника норманизма?

Размышляя над немецким переводом радзивилловского списка «Повести временных лет», не знавший русского языка Байер обратил внимание на некоторые важные противоречия в летописном рассказе о достопамятном событии 862 года, но истолковал их по-своему, то есть вполне в духе Бирона, поклонником которого он являлся. В самом начале статьи «О варягах» Байер пересказывает это темное место летописи, послужившее ему поводом для его радикальных выводов: «От начала руссы или россияны владетелей варягов имели. Выгнавши ж оных, Гостомысл от славянского поколения правил владением, и ради междоусобных мятежей ослабевшим и от силы варягов учиненным. По его совету россияны владетельский дом от варягов опять возвратили, то есть Рурика и братьев».

Прежде всего Байер (и здесь он был прав) оспорил мнение историков допетровской Руси, согласно которому Рюрик был выходцем из Пруссии и потомком Августа, указав на его скандинавское происхождение. Затем он подверг сомнению мирный характер призвания варягов и выдвинул идею их военного вторжения на Русскую землю (что также было исторически правдоподобно: Англия, Франция, Италия на себе испытали, что такое «мирные» контакты с норманнами). Наконец, Байер из всего этого сделал вывод о том, что именно варяги принесли с собою на Русь государственность, иными словами, окультурили ее, прозябавшую в первобытном невежестве. «В этом Байер был решительно не прав, — писал М. А. Алпатов, — и его представления на сей счет не поднимались выше воззрений летописцев. Для них история народа начиналась с государства, а история государства — с первого государя. Проблема «Откуда есть пошла Русская

земля» решалась ими весьма просто: с ответа на вопрос «Кто первым стал княжить?». Вся предшествующая многовековая история русских и других восточнославянских племен игнорировалась. Именно этот пункт в стратегии норманизма будет защищаться всеми последователями Байера, и именно в этом пункте (откровенно и оскорбительно антирусском) даст бой норманизму Ломоносов своими историческими работами.

Байер был специалистом по восточным языкам. В Россию он приехал в 1726 году в надежде найти здесь материалы по истории Китая. Однако ж имя его в европейской историографии сохранилось только благодаря его статье «О варягах». Россию он не любил и не скрывал этого. В 1738 году он вообще собрался уехать обратно в Германию, но за сборами в дорогу его застала смерть. Статья «О варягах» стала своего рода завещанием единомышленникам.

Следующий этап в развитии норманизма связан с именем другого петербургского профессора, уже знакомого нам Г. Ф. Миллера, чей перевод на немецкий «Повести временных лет» подал Байеру самую мысль о его статье.

В отличие от Байера Миллер уже в начале академической карьеры был корректен по отношению к стране, предоставившей ему выгодную службу. В 1748 году он окончательно связал свою судьбу с Россией, приняв русское подданство, православие и новое имя, сделавшись из Герарда Фридриха Федором Ивановичем. Впоследствии он так писал об этом шаге: «А дети мои, коих я воспитал для службы отечеству, — и действительно они служат капитанами — прямые будут сыны отечества, потому что иностранный человек, пока он в России не испомещен, всегда будет иностранцем». Иными словами, иностранец, даже если он живет в России, знает русский язык и занимается русской историей, будет человеком, чуждым и России, и языку, и истории ее, пока не закрепит свою причастность ко всему этому моральными и юридическими узами подданства.

6 сентября 1749 года Миллер должен был произнести речь в торжественном собрании Академии. Тему для своего публичного выступления он избрал, что называется, животрепещущую — «О происхождении народа и имени российского». В августе рукопись была представлена на обсуждение. Рецензентами выступили Фишер, Штрубе де Пирмонт, Тредиаковский, Крашенинников, Попов и Ломоносов. Все, за исключением Тредиаковского, уклонившегося от прямой оценки, высказались о работе Миллера отрицательно.

Миллер обратился к К. Г. Разумовскому с жалобой, в которой просил назначить вторичное обсуждение его сочинения. Президент указал академикам вновь «исследовать помянутую диссертацию». 20 октября 1749 года этот президентский указ был оглашен в Академическом собрании. Обсуждение диссертации Миллера длилось беспрецедентно долго,

с 23 октября 1749 года по 8 марта 1750 года, и носило беспрецедентно же горячий характер. Спустя полтора десятилетия Ломоносов вспоминал: «Сии собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался палкою, и бил ею по столу конференцскому».

Столь бурный характер обсуждения Миллеровой диссертации объясняется тем обстоятельством, что в ней была предпринята попытка развить основные положения статьи Байера «О варягах» не в узком кругу специалистов, а на публике. Критика летописного источника — дело объективно необходимое. Но критиковать летопись в академических «Комментариях» — это одно. Тут возможны любые гипотезы, ибо возможно их обсуждение. Если же исторический источник критикуется в торжественном собрании, а не на диспуте, то критик самого себя ставит вне критики. Это было тем более нетерпимо, что дело шло о начале русской народности и государственности — предметах не только актуальных научно, но и дорогих сердцу. Эмоциональный взрыв был неизбежным. После того, как Миллеру запретили произнести его «скаредную» речь, и накануне первого из двадцати девяти чрезвычайных собраний, посвященных обсуждению ее уже как диссертации, Шумахер писал Теплову с досадой: «Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Я бы изложил таким образом: происхождение народов весьма неизвестно. Каждый производит их то от богов, то от героев. Так как я буду говорить о происхождении русского народа, то изложу вам, милостивые государи, различные мнения писателей по этому предмету... Я же, основываясь на свидетельствах, сохраненных шведскими писателями, представляю себе, что русская нация ведет свое начало от скандинавских народов. Но откуда бы ни производили русский народ, он был всегда народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами, которым следует сохраниться в потомстве... Но он хотел умничать! Habeat sibi[1] — дорого он заплатит за свое тщеславие!»

Действительно, наибольший протест оппонентов Миллера вызвала откровенно антирусская установка его сочинения. У Миллера, писал в своих замечаниях Ломоносов, «на всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют огнем и мечом истребляют». Но было бы неверно думать, что Ломоносов противопоставлял научным доказательствам пришлого ученого одни лишь патриотические чувства «россиян верных». Он сосредоточил критику диссертации прежде всего «в рассуждении оснований, на которых господин Миллер свои мнения утверждает».

Соглашаясь с Миллером в том, что летопись (так же, впрочем, как и западноевропейские хроники) содержит и легендарные сведения, и фактические неувязки, что во всем полагаться на нее как на безупречный документ нельзя, Ломоносов резонно замечает: «Правда, что и в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна, однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках».

Наряду с этим Ломоносов упрекает Миллера в одностороннем отборе и интерпретации источников для доказательства своей точки зрения: «Иностранных авторов употребляет он весьма непостоянным и важному историографу непристойным образом, ибо где они противны его мнениям, засвидетельствует их недостоверными, а где на его сторону клонятся, тут употребляет их за достоверные».

Этот упрек, в общем-то, и сейчас можно предъявить первым норманистам (Байеру, Миллеру, Шлёцеру). Помимо русских летописей, они привлекали к рассмотрению лишь скандинавские и германские хроники, игнорируя упоминания о славянах у греческих, римских, византийских историков. И неудивительно: для них, увлеченных идеей скандинавского происхождения русской государственности, только «северные» аргументы представляли интерес: «Здесь примечания достойно, что господин Миллер... о роксоланах свидетельства древних авторов, то есть Страбоновы, Тацитовы и Спартиановы, пропустил вовсе, чего ему учинить отнюд было не должно...»

Полемика с норманистами в этом пункте была очень важна для Ломоносова. Если принять за достоверный «северный» вариант, то начало русской истории следует относить не ранее, чем к середине IX века. Если же взять в соображение и «южные» свидетельства, то его должно будет отодвинуть на несколько столетий в глубь веков — по меньшей мере, ко II веку. Ломоносов вообще был убежден в еще более раннем обосновании славян на русской равнине: «Что славянский народ был в нынешних российских пределах еще прежде рождества Христова, то неоспоримо доказать можно». Уже в замечаниях на диссертацию Миллера проглядывает в общих чертах концепция, которую Ломоносов разовьет позднее в своей «Древней Российской истории»: не менее чем за тысячу лет до прихода варягов на Русь славянские предки русских людей создали здесь свой жизненный уклад, свои формы государственности, свое хозяйство, торговлю, культуру. Иными словами, Рюрик и его братья — не начало, а продолжение русской истории.

Наконец, третий упрек Миллеру высказан Ломоносовым в связи с одним из его регулярных способов аргументации, основанным на этимологии географических названий, собственных имен и т. п.: «Чтобы из одного сходства имен выводить следствия, того по правде не принимает, однако, где

[1] Имей при себе *(лат.)*.

видит что себе в пользу, того мимо не пропущает, но толкует имен сходства в согласие своему мнению...»

Стремясь во что бы то ни стало доказать свой тезис об огромном культурном воздействии варягов на русских людей, Миллер вслед за Байером утверждал, что даже собственные имена первых князей имели скандинавское происхождение: «...так что из Владимира, — писал Ломоносов, — вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Алогия, из Всеволода Визавалдур и проч.». Назвав эти этимологические манипуляции «Бейеровыми перевертками», Ломоносов здравомысленно замечает: «Я не спорю, что некоторые имена первых владетелей российских и их знатных людей были скандинавские; однако из того отнюд не следует, чтобы они были скандинавцы. Почти все россияне имеют ныне имена греческие и еврейские, однако следует ли из того, чтобы они были греки или евреи и говорили бы по-гречески или по-еврейски?» Далее Ломоносов приводит целый ряд других «перевертoк» с возражениями на них и завершает его замечательно ироническим рассуждением, которое касается предмета, особенно дорогого для него, выходца с поморского Севера: «...он имя города Холмогор производит от Голмгардии, которым его скандинавцы называли. Ежели бы я хотел по примеру Бейеро-Миллерскому перебрасывать литеры, как зернь, то бы я право сказал шведам, что они свою столицу неправедно *Стокголм* называют, но должно им звать оную *Стиоколной* для того, что она так слывет у русских. Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матерой земле горы, по которым и деревни близ оного называются, напр., Матигоры, Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и проч.».

Вообще, лингвистическая аргументация была чересчур популярна у тогдашних историков. То, что Ломоносов столь сдержанно оценивал ее возможности, безусловно, делает честь его здравому смыслу и научному такту. А то ведь порою дело доходило до прямых курьезов. Например, Тредиаковский, самоустранившийся от спора норманистов с антинорманистами, считал скифов «словенским народом» и одновременно пранародом, давшим начало всем европейским народам. Отсюда само собою вытекало, что старославянский язык — самый древний из всех новых европейских языков. Самоуверенности Тредиаковского представлялись равно смешными этимологические потуги Байера с Миллером и их критика Ломоносовым, ибо Василий Кириллович, как ему казалось, «знал» нечто такое, что сама постановка вопроса о варягах в разгоревшейся полемике представлялась ему неверной, вульгарной даже. Он отрицал за словом «варяг» субстанциальное значение, оставляя за ним лишь значение релятивное. Иначе говоря, по его мнению, варягами русская летопись называет отнюдь не норманнов (как считали и

Байер, и Миллер, и Ломоносов). Всем им противостояла его доморощенная этимология: «Варяг есть имя глагольное, происходящее от славенского глагола варяю, значащего предваряю...» Вот почему, продолжал Тредиаковский, варяги «суть не что иное, как токмо предварители на те места, на коих они обитали». То есть, мол, свои «варяги» были и у других народов. С тем же рвением, с каким Байер и Миллер отыскивали скандинавские корни в русских словах, Тредиаковский «извлекал» русские корни из иностранных слов. Он считал, что слово «скифы» происходит от глагола «скитаться», что «этруски» — это искаженное «хитрушки», «иберы» — «уперы» (упертые в океан). Точно так же сначала была «Холмания», а уж потом появилась Германия и т. д. — «Сажения» (Саксония), «Сечелия», то есть отсеченная (Сицилия), «Поруссия» (Пруссия)... Итак, несмотря на то, что Тредиаковский сохранил нейтралитет в полемике Ломоносова с Миллером, в глубине души он все-таки был убежденным антинорманистом: «Что за повсюдное Байерово тщание, — писал он в рассуждении «О первоначалии россов», — приставшее от него как прилипчивое нечто к некоторым его ж языка здесь академикам, чтоб нам быть или шведами, или норвежцами, или датчанами, или германцами, или готами, только б не быть россианами, собственно так называемыми ныне?»

Миллер увидел в критике своей диссертации лишь проявление ущемленного национального самолюбия русских, и прежде всего — Ломоносова. В одном из своих возражений ему он раздраженно писал: «Не знаю, какого рода представление об историческом писателе и об исторических рассуждениях составил себе Ломоносов, если он делает мне такие возражения, каких я, пожалуй, ни от кого не слыхал. Он хочет, чтобы писали только о том, что имеет отношение к славе. Не думает ли он, что от воли историка зависит писать, что ему захочется? Или он не знает, каково различие между исторической диссертацией и панегирической речью?» На что Ломоносов достойно и резонно заметил: «Я не требую панегирика, но утверждаю, что не терпимы явные противоречия, оскорбительные для славянского племени».

Критика лишь укрепила Миллера в его мнении и вдохновила на создание новых сочинений, развивающих норманистскую идею. В 1750—1760-е годы появляются его работы «О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и продолжателях оныя», «Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа», где, отталкиваясь от мысли Байера о несовместимости предания о мирном приглашении варягов с реальной картиной враждебных отношений между ними и русскими, Миллер истолковывает это противоречие в том смысле, что Рюрик, Синеус и Трувор действительно сначала были приглашены, но не как князья, а как предводители наемных дружин для

охраны Новгорода, и только потом Рюрик уже узурпировал власть над вольными новгородцами. Единственное, в чем Миллер уступил Ломоносову (да и то с оговорками), был вопрос о происхождении Рюрика и его братьев: теперь он так же, как Ломоносов, считал их не скандинавами, а выходцами из восточнославянского племени роксолан (за что впоследствии заслужил возмущенный упрек от Шлёцера).

Ломоносов пристально следил за всеми публикациями Миллера, последовавшими за обсуждением его диссертации, и убеждался, что тот продолжает упорствовать в своем норманизме. Так, скажем, вступительная часть «Краткого известия о начале Новгорода», помещенная в июльской книжке академического журнала «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» за 1761 год, представляла собою лишь слегка измененный текст диссертации. Вот почему раздражение Ломоносова не унималось, а возрастало: «Всего досадительнее его злоба, что он в разных своих сочинениях вмещает свою скаредную диссертацию о российском народе по частям»...

Столь ревнивое отношение Ломоносова к дальнейшим историческим работам Миллера не следует относить на счет одной только личной неприязни. Дело в том, что именно после бурного обсуждения диссертации Миллера Ломоносов и сам заметно активизируется как историограф.

2

Это внедрение в русскую историю было, как и все у Ломоносова, основательным, энергичным, самозабвенным и продолжительным (по существу, до конца жизни).

И. И. Шувалов, знавший о новой страсти Ломоносова, «ободрил» его. 4 января 1753 года Ломоносов писал ему: «Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способностию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую». Шувалов известил императрицу о намерении Ломоносова. В марте того же года (когда Ломоносов, как мы помним, помчался вслед за двором в Москву просить о привилегии на стекольную фабрику) Елизавета, помимо того, что пожаловала ему Усть-Рудицу, «на куртаге Ломоносову через камергера Шувалова изволила объявить, в бытность его в Москве, что ея величество охотно желала бы видеть Российскую историю, написанную его штилем. Сие приняв он с благодарением и возвратясь в Санкт-Петербург, стал с рачением собирать к тому нужные материалы».

В августе 1764 года Ломоносов писал, что он трудился «в собрании и сочинении Российской истории около двенадцати лет». В исходе третьего года работы (1754), как явствует из ломоносовского отчета президенту, он уже перешел от «собрания» к «сочинению». «В истории: сочинен опыт истории словенского народа до Рурика. Дедикация. Вступление. Глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях словенского народа; глава 3, о древности словенского народа, всего 8 листов». В 1758 году работа над «Древней Российской историей от начала Российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» была завершена.

Ломоносов не собирался ограничиваться этим рубежом. В конце 1750-х годов, как мы помним, он трудился над поэмой «Петр Великий», исторический материал которой охватывает не только XVII век, но имеет «выходы» и в века предшествующие. Кроме того, в 1757 году Ломоносов, по поручению И. И. Шувалова, делал примечания на рукопись первых восьми глав «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера, а также составил в качестве подготовительного материала для Вольтера «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи», которое французский писатель практически без изменения использовал в IV и V главах своей «Истории». Точно так же и ломоносовские примечания почти все были учтены Вольтером. Однако ж Ломоносов был не в состоянии изменить в основе вольтеровскую концепцию русской истории, в которой все зиждилось на глубоко неверном постулате о беспросветном варварстве в России до Петра I, вообще на непонимании внутренней логики всего ее предшествующего культурно-исторического развития. (Интересно, что канцлер Бестужев категорически был против кандидатуры Вольтера как историка Петра I.) Так что одной из важных внешних задач ломоносовской «Древней Российской истории» следует назвать установку на то, чтобы «выправить ошибки иностранных писателей, слишком мало осведомленных и только списывающих друг у друга».

9 сентября 1758 года К. Г. Разумовский подписал указ о печатании «Древней Российской истории» в Академической типографии «для пользы публики без всякого укоснения» (иначе и быть не могло: книга писалась по заказу самой императрицы). Однако весной 1759 года, когда уже было готово три печатных листа первой части, Ломоносов забирает рукопись из типографии. Причина была чисто техническая: он решил, что для читателей будет удобнее, если подстрочные «примечания и изъяснения под текстом» вынести в конец книги. Полностью «Российская история» увидела свет уже после смерти Ломоносова.

Книга состояла из вступления и двух частей: I. «О России прежде Рурика», II. «От начала княжения Рурикова до кончины Ярослава Первого». Наибольшую научную ценность для потомков представляют собою вступление и первая часть, в то время как вторая — это всего лишь рассказ о княжении Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Ярополка, Владимира, Святополка и Ярослава Мудрого. Впрочем,

это только сейчас вторая часть воспринимается «всего лишь» рассказом. Для своего времени Ломоносов проделал огромную работу по извлечению непротиворечивых данных о названных князьях из Повести временных лет, апокрифического сказания о начале Новгорода, Никоновской летописи, Степенной книги, византийских, польских и скандинавских источников, а также из В. Н. Татищева. Кроме того, рассказ этот был написан небывало внятным, энергичным и благозвучным языком.

Общий взгляд Ломоносова на задачи исторической науки и начало собственно русской истории изложен во вступлении и первой части. Он формировался в борьбе с норманистами и норманизмом. Миллеру, например, идеальный историк виделся так: «Он должен казаться без отечества, без веры, без государя». С гражданской точки зрения, столь двусмысленно выраженная мысль о необходимости для историка быть бесстрастным, конечно же, не могла не возмутить Ломоносова. Если отвлечься от экстравагантной формы ее изложения, сама по себе она очевидна и вряд ли может вызвать возражения. Ломоносов не меньше Миллера был озабочен мыслью об объективности историографии. На свой манер ту же мысль спустя семьдесят лет выразит Н. М. Карамзин в конце девятого тома «Истории Государства Российского»: «История злопамятнее народа». А чуть позже Пушкин устами Пимена провозгласит этическое правило, общее и для летописцев и для историографов, предписывающее составлять «правдивые сказанья», «не мудрствуя лукаво». Но ни Карамзин, ни Пушкин с его одним из самых задушевных героев не «казались без отечества, без веры, без государя». В высказываниях Миллера цеховая кичливость ученого, нацеленного на эпатаж неучей патриотов, по существу, обесценивала рациональное зерно, содержавшееся в нем. Ведь вот пушкинский Пимен (идеальный образ бесстрастного историка, удалившегося от мира и неподвластного мирскому закону) плод своего «труда, завещанного от Бога», мыслит себе не обособленно от мира, а в связи с миром — как высокое и бескорыстное поучение:

Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд, усердный, безымянный,
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.

Ломоносов видел в истории прежде всего великую **соединяющую** духовную силу и в соответствии с этим определял ее первейшую задачу: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренеся минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила». Но соединить эпохи значит сделать бессмертным не только «множество народа», но и каждого человека. Пока он отделен от истории, он конечен, смертен, обречен. Приобщение к истории для него — это приобщение к бессмертию.

Вторую задачу истории Ломоносов определял как воспитательную: «...она (то есть история. — *Е. Л.*) дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судиям правосудия, младым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное».

Все вступление полемично по отношению к работам Байера и Миллера. Для Ломоносова история России — это в первую очередь история русского народа, начавшаяся задолго до возникновения феодальной государственности. Столь глубокий взгляд не был доступен никому из современников Ломоносова. Кроме того, Ломоносов, помещая русскую историю, как теперь говорят, в контекст мировой истории, благородно отметает всяческую национально-престижную суету вокруг серьезных культурных проблем: «Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своея славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество». Здесь что ни слово — упрек норманистам, считавшим варягов древнее русских и потому — развитее в культурном отношении.

«Однако, противу мнения и чаяния многих, — спорит Ломоносов, — толь довольно предки наши оставили на память, что, применяясь к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Ломоносов убежден, что иностранцы, если только они станут на объективную точку зрения (к чему и приглашает вступление), «инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собою».

Ломоносов тут же, во вступлении, показывает пример такого «инакорассуждения» на основе сопоставления различных эпох и народов. Отмечая «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими» (например, в ранней истории Рима: «владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских»), он предлагает далее такое вот «уравнение», в котором указываются и различия и которое увенчивается государственно-полезным выводом: «...гражданское в Риме правление подобно разделению на-

шему на разные княжения и на вольные городы некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась... Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохранению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать можно». Этим рассуждением Ломоносов не только обосновывал целесообразность единой прочной власти, но еще и приучал современников к широкому взгляду на русскую и мировую историю, что было ново и благодетельно для развивающихся русских умов. Он как бы говорил: каждый народ движется по своему пути, и даже если он проходит некоторые стадии, общие с другим народом или народами, это внешнее сходство должно лишь резче и решительнее подчеркнуть глубокую самобытность его. В мире людей, как в мире природы, все существует «в дивной разности».

Вся первая часть «Древней российской истории» развивает эти фундаментальные мысли вступления.

Полемизируя с Байером и Миллером и воссоздавая древнейшую историю славянства, Ломоносов исходит из очевидной для него и недоступной или нежелательной для норманистов мысли о невозможности существования (даже в самом далеком прошлом) этнически чистых народов: «...ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными неспокойствами, переселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество».

Широко привлекая свидетельства античных историков, Ломоносов убедительно доказывает «дальную древность славенского народа». Он пишет о том, что еще во времена могущества римлян славяне, жившие в бассейне Дуная, воевали с ними, о том, что и во времена упадка Римской империи военные отряды славян входили в состав германских племен, наступавших на ее границы. Но гораздо больше урона славяне причинили Восточной Римской империи — Византии: «В начале шестого столетия по Христе славенское имя весьма прославилось; и могущество сего народа не токмо во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало весьма много».

Ломоносов приводит свидетельство о славянах «того же веку писателя» Прокопия Кесарийского, автора «Готской войны», где повествуется о схватках византийцев со славянскими и антскими войсками при императоре Юстиниане. «Сии народы, славяне и анты, — гласит это место в переводе Ломоносова, — не подлежат единодержавной власти, но издревле живут под общенародным повелительством. Пользу и вред все обще приемлют... Единого бога, творца грому и всего мира господа исповедуют. Ему приносят волов и другие жертвы. Судьбины не признавают и не приписывают ей никаких действий в роде человеческом... Когда на бой выходят, многие идут пеши со щитами и копьями; лат не носят. Иные, не имея на плечах одеяния, в одних штанах бьются с неприятелем. Обоих язык один — странный. Нижé видом тела разнствуют, ибо все ростом высоки и членами безмерно крепки, цветом нижé весьма белы, нижé волосом желты, ни очень черны, но все русоваты. Жизнь содержат... сухою и простою пищею и... весьма нечисто ходят, натурою незлобны, нелукавы и в простоте много нравами сходны с гуннами».

Это упоминание византийца о славянах, наряду со свидетельством Иорнанда (Иордана), латинского автора «того же» VI века н. э., является неопровержимым доводом в пользу ломоносовской идеи не только о «дальной древности славенского народа», но и о «дальной древности» его государственности, ибо отсутствие «единодержавной власти» еще не означает отсутствия какой бы то ни было власти. Указание же на то, что славяне «издревле живут под общенародным повелительством», свидетельствует о стихийно демократической форме правления, принятой славянами. Иными словами, как минимум за триста лет до Рюрика у славян существовала своя государственность. Если же принять во внимание слово «издревле» (а поступать иначе нет оснований — Прокопия Кесарийского нельзя подозревать в пристрастии к славянам), то начало славянской государственности должно отодвинуть в глубь времен еще на несколько веков.

На основе широкого привлечения текстов античных историков (Геродот, Птолемей, Корнелий Непот, Катон, Плиний, Страбон, Тацит, Тит Ливий) и западноевропейских авторов XII—XVIII веков (Гельмгольд, Саксон Грамматик, Арнольд Любекский, Стурлусон, Кромер, Муратори и др.), а также скрупулезного прочтения русских летописей Ломоносов утверждает: «Славяне жили обыкновенно семьями рассеянно, общих государей и городы редко имели, и для того древняя наша история до Рурика порядочным преемничеством владетелей и делами их не украшена, как у соседов наших, самодержавною властию управляющихся видим. Шведы и датчане, несмотря что у них грамота едва ли не позже нашего стала быть в употреблении, первых своих королей прежде Рождества Христова начинают, описывая их домашние дела и походы». Иными словами, история западноевропейских народов потому кажется древнее, что у них раньше

появились единодержавные правители. Славяне же, управлявшиеся «общенародным повелительством», до Рюрика, естественно, не могли представить векам ни одного княжеского имени. Иначе говоря, князей не было, но история — была.

Столь страстно доказывая древность славян вообще и русского народа в частности, Ломоносов, однако ж, принимает на вооружение далеко не весь, казалось бы, бесспорно «выигрышный» материал, содержащийся в источниках. Он, например, весьма сдержанно относится к некоторым легендарным преданиям писателей допетровской Руси. Возможно, ломоносовская оценка их была бы резче, если б не то существенное обстоятельство, что они были поддержаны авторитетом церкви. Ломоносову приходилось маневрировать: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы Священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен».

Патриотизм Ломоносова не застит ему света искомой истины. Он остужает горячие головы тех из соотечественников, для кого всякое лыко годится в строку, лишь бы доказать древность и исключительность русского народа: «О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу, повествование хотя невероятно кажется и нам к особливой похвале служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похваляются». Точно так же скептичен он и по отношению к преданию, согласно которому Рюрик происходил от римского императора Августа (Октавиана): «...многие римляне переселились к россам на варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники коего-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рурик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора сродник. Вероятности отрещись не могу; достоверности не вижу».

Как видим, Ломоносов, закладывая основы отечественной историографии, самое серьезное внимание уделял критическому анализу источников. Это был ответ русского ученого на упрек норманистов нашим историкам в ненаучном подходе к летописям. Кроме того, это был еще один (наряду с бесспорными доказательствами древности славянских племен) удар по исходным позициям норманизма вообще. То же самое можно сказать и о рассуждениях Ломоносова относительно происхождения слова «Русь». Норманисты его считали скандинавским. Ломоносов же считал, что это слово, с одной стороны, могло быть южнорусского происхождения (что впоследствии подтвердилось), с другой стороны, было принесено варягами-россами, которые, в отличие от варягов-скандинавов, жили в Пруссии. Такое двойственное решение подсказывала летопись, из чтения которой можно вывести, что существовала как северная, так и южная Русь. Вопрос о происхождении слова «Русь» и сейчас еще не получил окончательного ответа. Советская историческая наука (Б. Д. Греков, М. А. Алпатов и другие) склонна следовать здесь за Ломоносовым. Но с одной существенной оговоркой, которая касается «варягов-россов».

Опираясь на средневековые русские источники и свидетельства польских историков Мартина Кромера (1512—1589) и Матвея Претория (1635—1707), Ломоносов пришел к выводу, что, кроме скандинавских варягов, были еще и варяги-россы, которые «с древними пруссами произошли от одного поколения» (и поколение это было славянским), что, следовательно, Рюрик и его братья были славянами, ибо новгородцы, утверждал он, пригласили княжить не скандинавских варягов, а именно варягов-россов из южной Прибалтики. Таким образом, противоречивость летописца, отмеченная Байером и Миллером (враждебные взаимоотношения русских с варягами и мирное их призвание в Новгород), устранялась как бы сама собою (потому и пригласили мирно, что были с варягами-россами единоплеменниками). Сила ломоносовской убежденности в этом пункте была настолько велика, что его, как уже говорилось, принял даже Миллер. Однако именно в этом пункте Ломоносов оказался не прав. Были в «Древней Российской истории» и другие частные неточности, которые, впрочем, не затмевают огромного научного значения этого труда.

Ломоносов первый в русской историографии описал многовековую древнейшую историю славян, в основе своей не отмененную и по сей день. Он показал также большую роль славянских племен в разрушении Римской империи, следовательно, — в переходе Европы от античности к средневековью: «...нет сомнения, что в войнах готских, вандальских и лонгобардских великое сообщество и участие геройских дел приписывать должно славянам. Показывает помянутый Прокопий соединение их с лонгобардами, гепедами и готами... От великого множества славян, бывших с прочими северными народами в походах к Риму и Царюграду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лонгобардов за славян почитают...» Здесь Ломоносов объективно вступал в противоборство со всей позднейшей реакционной историографией XIX—XX веков, возлагавшей лавры победителей Рима на одних германцев, которые посредством этого завоевания якобы влили свою молодую и бодрую кровь в скудеющие жилы «старушки» Европы.

Кроме того, начиная со вступления и на протяжении всей книги, Ломоносов описывал и осмыслял русскую историю как важное звено мирового исторического процесса. Причем делал это, опираясь на такой широкий и многооб-

разный круг источников, который не был доступен в 1750-е годы ни одному из его современников (даже Миллер в ту пору не мог сравниться с ним в этом отношении).

Печатание «Древней Российской истории», как мы помним, затянулось. Одновременно с заботами по наиудобнейшему для читателей ее изданию Ломоносов был поглощен новыми историографическими замыслами.

В 1760 году вышел в свет его «Краткий Российский летописец с родословием». Книга состояла из трех разделов. Первый — «Показание Российской древности, сокращенное из сочиняющейся пространной истории», — представлял собою резюме первой части «Древней Российской истории». Второй раздел не имел особого названия; в нем в хронологической последовательности перечислялись князья и цари от Рюрика до Петра I с указанием главных событий правления каждого из них. Третий, генеалогический, раздел назывался «Родословие Российских государей мужеского и женского полу и брачные союзы с иностранными государями».

В работе над «Кратким Российским летописцем» Ломоносову помогал библиотекарь Академии наук Андрей Иванович Богданов (1693—1766), который был автором второго раздела. Впрочем, Ломоносов основательно отредактировал богдановский текст, приноравливая его к своему стилю.

Популярность этой небольшой книги (шесть листов) превзошла все ожидания. С июня 1760 года по апрель 1761 года вышло три ее издания небывалым доселе общим тиражом более шести тысяч экземпляров. Но и этого оказалось мало. Люди переписывали ее от руки (некоторые списки дошли до нашего времени). Россия, пережив в начале века бурный период ломки старого жизненного уклада и нигилистического отношения к прошлому, затосковала по своей истории. «Краткий Российский летописец» с интересом был встречен и на Западе: в 1765 году в Лейпциге он вышел в переводе на немецкий, а два года спустя в Лондоне появился его английский перевод.

Спустя три года после выхода «Краткого Российского летописца» мать Павла Петровича Екатерина II, всерьез изучавшая прошлое доставшейся ей в управление страны, указала Ломоносову через президента Академии художеств И. И. Бецкого составить сюжеты для живописных картин из русской истории, которыми намеревалась «украсить при дворе некоторые комнаты». Ломоносов, как теперь говорят, был «в материале» и тут же написал требуемый текст. Но он, сам художник, понимал, как много значат детали в искусстве, и поэтому обратился к вице-канцлеру А. М. Голицыну с просьбой о разрешении поработать в архивах на предмет отыскания некоторых важных исторических подробностей: «Ваше сиятельство всепокорнейше просить принимаю смелость

о учинении мне милостивого вспоможения о произведении некоторого дела, служащего к чести российских предков... Немалый здесь нахожу недостаток в изображении старинного нашего платья, разных чинов. Сведение о сем сыскать едва ли где лучше можно, как в Архиве Коллегии иностранных дел. Особливо ж есть в оной описание коронации и других церемоний государя царя Михаила Федоровича с личными изображениями на паргаменте. Сообщением сего можете, милостивый государь, подать мне великое вспомоществование».

К письму Ломоносов приложил составленное им описание сюжетов под названием «Идеи живописных картин из Российской истории». Картины (числом двадцать пять) должны были охватить историю России от Олега до Смутного времени. Письмо к А. М. Голицыну показывает, что Ломоносов собирался завершить будущую галерею картиной венчания Романовых на царство. Под его пером обрели зримые очертания основные события допетровской истории. Вот «Олег князь приступает к Царюграду сухим путем на парусах», а вот уже он, «угрызен от змея, умирает»... Вот Ольга мстит древлянам, огнем истребляя их город Искоростень за смерть Игоря... Святослав сражается с печенегами на днепровских порогах — окруженный печенежскими трупами, сам «уже раненный», на волосок от смерти... Мстислав борется с Редедей... Мономах принимает корону византийских императоров... А вот и «победа Александра Невского над немцами ливонскими на Чудском озере»... Вот Иван III бросает наземь ордынскую грамоту... Вот «приведение новгородцев под самодержавство»: вечевой колокол «летит сброшен с колокольни», «Марфе-посаднице руки назад вяжут», «новгородцы, коих к Москве отвозят, прощаются с своими ближними»... Вот смерть Гришки Отрепьева («погибель Расстригина»), которого «многими ранами уязвленного и окровавленного за ногу веревкою тянут», а Шуйский «уверяет народ с Красного крыльца, что оный Дмитрий был ложный...». Вот на нижегородской пристани старик купец «Козма Минич» пробуждает в народе «охоту к освобождению отечества от разорения»...

Три великих события, по мысли Ломоносова, определили историческое развитие допетровской России: принятие христианства, свержение татаро-монгольского ига, отпор польскому нашествию 1612 года (и как результат — начало династии Романовых).

Картина «Основание христианства в России» представлялась Ломоносову как большое эпическое полотно: «Великий князь Владимир (при нем супруга Анна, греческая царевна, сыновья от прежних жен, некоторые греки, с царевною приехавшие) повелевает сокрушать идолов, почему иных рассекают, иных жгут, иных с гор киевских бросают в воду и плавающих с шестами погружают или от берегу отпихивают, камнями бросают, камни к ним привязывают... На Почайной

речке, на берегу, стоит первый митрополит Киевский Михаил со всем собором, иных сам погружая, иных — нижнее духовенство. Иные, забредши в воду, сами погружаются обоего пола и всякого возраста люди, матери со младенцами и пр. Иные, выходя из воды, принимают от священников кресты на шею и благословение, помазуются миром, одеваются. На горе начинают строить церковь Десятинную, ставят кресты на места сверженных идолов».

Монументально-героической виделась Ломоносову картина «Начало сражения с Мамаем»: «С обеих сторон стоят полки: с правой российские, с левой татарские. В форгрунде великий князь Димитрий Иванович, все готовятся к бою. Посередке татарин Челу-бей, ростом как Голиаф, сражается с Пересветом, чернцом-схимником. Оба друг друга пронзили копьями. Сражение начинается в войске».

Смутное время трактуется Ломоносовым трагедийно. Образы отдельных героев показаны в связи с грандиозным образом судьбы народа, переживающего роковые минуты. Так изображаются Расстрига, Василий Шуйский и Козьма Минин. Так изображен и князь Дмитрий Михайлович Пожарский: «...бьется с поляками, разоряющими Москву, и уже раненного жестоко велел себя кверху поднять и своих ободряет против неприятеля». Но наибольшего трагизма достигает образ Гермогена, томящегося в варшавском застенке. Народ здесь не показан, но его историческая судьба, по существу, является главной темой картины: «Гермоген, патриарх Московский, посажен в тюрьме и, уже умирая голодом и жаждою, не согласуется с принуждающими поляками, чтобы возвести на царство польского королевича Владислава, но проклятием оное отрицает и от Михайла Салтыкова, который нож на него занес, крестом обороняется».

Как видим, общая концепция истории допетровской Руси (и не только «до великого князя Московского Ивана Васильевича», как сообщал Ломоносов в Академическую канцелярию в феврале 1763 года, а вплоть до первой половины XVII века) уже забрезжила в его сознании. К этому времени Ломоносову были ясны, наряду с государственно-патриотическими, и высокие гуманистические уроки музы истории Клио. Если как патриот и гражданин Ломоносов был восхищен зрелищем геройских дел, то как гуманист он приходил в содрогание от того же зрелица:

О смертные, на что вы смертию спешите?
Что прежде времени вы друг друга губите?
Или ко гробу нет кроме войны путей?
Везде нас тянет рок насильством злых когтей!..
Коль многи обстоят болезни и беды,
Которым, человек, всегда подвержен ты!
Кроме что немощи, печали внутрь терзают,
Извне коль многие напасти окружают:
Потопы, буря, мор, отравы, вредный гад,

Трясение земли, свирепы звери, глад,
Падение домов, и жрущие пожары,
И град, и молнии гремящие удары,
Болота, лед, пески, земля, вода и лес
Войну с тобой ведут, и высота небес.
Еще ли ты войной, еще ль не утомился
И сам против себя вовек вооружился?

Эти стихи — из второй песни поэмы «Петр Великий». Они написаны человеком, который уже в течение десяти лет был погружен в русскую и мировую историю и прекрасно знал, что история любого народа — это непрекращающиеся войны. Вот почему так патетически звучит вслед за этими вопросами обращение к прошлому на предмет отыскания смысла в этой бесконечной батальной сцене, именуемой историей:

Открой мне бывшие, о древность, времена!
Ты разности вещей и чудных дел полна.
Тебе их бытие известно все единой:
Что приращению оружия причиной?
С натурой сродна ты, а мне натура — мать:
В тебе я знания и в оной тщусь искать.

Далее возникает величественный, но не вполне различимый за сумраком веков образ самой Клио, изрекающей поэту, какою должна быть древность в его писаниях. Простота и нагота — вот атрибуты истинной истории. Она чуждается «тщания», вообще искательства и потому — «не ясна», загадочна для людей:

Уже далече зрю в курении и мраке
Нагого тела вид, не явственный в призрáке,
Простерлась в облака великая глава,
И ударяют в слух прерывные слова:
«Так должно древности простой быть и не ясной,
С народов наготой, с нетщанием согласной».

3

Обращает на себя внимание то, что среди двадцати пяти сюжетов картин из русской истории, предназначенных для убранства дворца, Ломоносов не нашел места для сюжета о мирном призвании варягов на Русь. Надо думать, что он не считал это событие равновеликим принятию христианства, освобождению от ордынского ига или отпору польскому нашествию.

Однако ж, если Ломоносов полагал вопрос о скандинавском происхождении русского государства исчерпанным, норманисты держались на этот счет другого мнения. Тем более что как раз в ту пору, когда жить Ломоносову оставалось немногим более трех лет, они получили мощное подкрепление в лице молодого, талантливого, энергичного и целеустремленного Августа Людвига Шлецера (1735—1809).

Шлецер прибыл в Петербург в ноябре 1761 года. Уроженец города Ягштадта в графстве Гогенлоэ, на юго-западе Германии, к этому времени он успел закончить Виттенбергский и Геттингенский университеты, получив отличное общее историко-лингвистическое образование и избрав для специализации восточные древности. Мечтая о путешествии на Ближний Восток, он отправляется в Швецию, чтобы заработать деньги на воплощение своей мечты. В Стокгольме он написал первые научные труды, обещавшие в юном (едва за двадцать) историке большого ученого с широким взглядом на вещи, эрудированного и основательного. Он знал пятнадцать языков (напомним, что Ломоносов, владевший двенадцатью языками, почти не уступал ему в этом пункте). «Новейшая история учености в Швеции» (1756—1760) была написана Шлецером по-немецки, «Опыт всеобщей истории торговли и мореплавания» (1758) он издал на шведском языке.

По возвращении в Геттинген он уже готов был отправиться в путешествие к истокам европейской цивилизации, но судьба распорядилась иначе, избрав своим орудием Миллера, которому как раз тогда понадобился домашний учитель и помощник в работе над русскими летописями. Шлецер принял его приглашение переехать в Россию, думая, что поездка на Ближний Восток всего лишь откладывается. Между тем русская история настолько захватила его, что он так и не увидел колыбели трех великих религий, но никогда не сожалел об этом и на склоне дней считал годы, прожитые в России, лучшей порой, а труды по русской истории — «главным и любимым» делом всей своей жизни. Да и то сказать — Россия, по малой изученности ее, открылась Шлецеру как огромный культурный мир, в равной мере не похожий на Запад и на Восток и совершенно гипнотически привлекающий к себе: «Русская древняя история! Я почти теряюсь в величии оной! История такой земли, которая составляет 9-ю часть обитаемого мира и в два раза более Европы: такой земли, которая в два раза обширнее древнего Рима, хотя и называвшегося обладателем вселенной, — история такого народа, который уже 900 лет играет важное лицо на театре народов... Раскройте летописи всех времен и земель и покажите мне историю, которая превосходила бы или только равнялась бы русской! Это история не какой-нибудь земли, а целой части света, не одного народа, а множества народов».

Впрочем, все это будет сказано спустя больше сорока лет после приезда его в Россию. Но тогда, сразу по приезде... Тогда ему пришлось вступить в поединок с самым ярким и ярым, самым сильным и гениальным представителем «народа, который уже 900 лет играет важное лицо на театре народов». Поединок этот пробудил в современниках и потомках такие страсти, которые и по сей день никак не улягутся.

Отношения Ломоносова и Шлецера — это в высшей степени противоречивая страница истории нашей культуры. Причем противоречивость здесь носила отнюдь не случайный, а принципиальный (и потому неизбежный) характер. Ни досадовать на нее, ни умалчивать о ней, ни злорадствовать по ее поводу нельзя. Вообще: не надо горячиться. Апологеты Шлецера совершенно искренне негодуют на Ломоносова за то, что он с самого начала занял непримиримейшую позицию по отношению к одному из великих европейских ученых, и объясняют это национальной неприязнью (забывая о том, что при жизни Ломоносова Шлецер еще не был тем Шлецером, которого почитали Карамзин, Пушкин, С. Соловьев и читал Карл Маркс). Сторонники Ломоносова всю вину взваливают на «шибко ученого» Шлецера, которому-де безразличны были судьбы России (забывая о том, что он всегда относился уважительно к ее истории).

Между тем подобные оценки гораздо больше характеризуют «оценщиков», нежели самих участников конфликта. Единственно верная установка, с которой следует подходить к отношениям Ломоносова и Шлецера, — это установка на то, что в них воплотились совершенно непохожие человеческие, мировоззренческие и культурные типы. Глубоко неверно и неплодотворно было бы выяснять, кто из них «выше», а кто «ниже» как исследователь. Этот путь ведет в тупик, где противоборствуют глухие друг к другу национальные амбиции. Ломоносов и Шлецер — просто разные.

Памятуя об этом, проследим, как развивались отношения между ними с момента приезда Шлецера в Россию. Причем попробуем, насколько это возможно, посмотреть на сложившуюся ситуацию сначала глазами Шлецера, а потом — Ломоносова.

Итак, Шлецер приехал в Петербург в ноябре 1761 года. Ему двадцать шесть лет. Он талантлив и честолюбив. У него за плечами несколько лет самостоятельной работы, печатные труды. Он полон оригинальных идей, касающихся закономерностей развития европейской цивилизации. Короче, он знает себе цену.

В Петербургской Академии, несмотря на то, что в ее штате было два профессора-историка (Миллер и И.-Э. Фишер), он во всем, что касается серьезных историографических исследований, застает картину унылую с точки зрения профессионала, но отрадную с точки зрения честолюбца: огромные залежи совершенно неизвестного на Западе исторического материала и ни малейшего, как он решил, представления о его научной обработке. Впрочем, статьи Байера и Миллера не могли не внушать ему доверия. Что же касается русских историков, то их, по существу, не было. «История Российская» Татищева не напечатана, а сам автор уже более десяти лет как умер. «Древняя Российская история» Ломо-

носова также еще не напечатана, но автор ее, хотя и жив, является профессором химии, — следовательно, дилетантом в истории, а потому его можно не принимать всерьез.

Перед Шлецером открывались более чем заманчивые перспективы: он станет первооткрывателем русской истории для Запада (ему уже было ясно, что все написанное там о ней не выдерживает никакой критики); кроме того, он станет богатым человеком, ибо эта работа (а работа предстояла огромная) укрепит европейский престиж государства Российского и принесет ему профессорский оклад в Академии, да и на Западе его ждут большие гонорары за публикацию русских исторических материалов. Впоследствии Шлецер признавался, что его целью было «в Германии обращать в деньги то, что узнавал в России», и добавлял при этом: «Я полагал, что с величайшей точностью рассчитал дальнейший ход моего дела, каким бы случайностям оно ни подвергалось».

Поначалу все шло как нельзя лучше. Шлецер устроился учителем в доме Миллера. Он быстро нашел общий язык с Таубертом (даже называл себя в шутку «тайным советником» Тауберта). В июле 1762 года, то есть спустя восемь месяцев после приезда в Петербург, Шлецер был назначен адъюнктом при историографе (Миллере). При содействии Тауберта он получил доступ к рукописным материалам академической библиотеки, нашел поддержку у некоторых академиков, а также познакомился с влиятельными придворными. В общем, положение его в Петербурге сделалось достаточно прочным.

Приступив к изучению летописей, Шлецер справедливо рассудил, что, не зная русского языка, из них нельзя извлечь достоверную информацию. Чтению источников сопутствует у него ускоренное овладение языком оригинала. Итогом первых двух лет пребывания Шлецера в Петербурге стал его труд «Опыт изучения русских древностей в свете греческих источников». Это был сборник историко-филологических этюдов на латинском языке, где на основе сопоставлений делался вывод о решающем влиянии греческого языка на древнерусский. В мае 1764 года Шлецер представил его в Академическую канцелярию с тем, чтобы, по освидетельствовании академиками, опубликовать его. Компетентных судей в Академии было трое — Миллер, Фишер и Ломоносов. Первые двое высказались о работе Шлецера сдержанно, но доброжелательно. Отзыв Ломоносова был краток и резок: «Этот опыт написан так, что всякий читатель, незнакомый с русским языком, обязательно сочтет последний происходящим от греческого языка, а это противоречит истине. Поэтому данный опыт в теперешнем его виде обнародованию не подлежит. Умалчиваю о многом другом, что также требует исправления».

Дело для Шлецера осложнялось тем, что свой «Опыт»

он рассматривал в ряду других работ по русской истории, намеченных к исполнению, как основание для присуждения ему звания профессора Петербургской Академии наук. Причем было два возможных варианта: либо он становится ординарным профессором (оклад не менее 800 рублей в год), либо его избирают иностранным почетным членом Академии (200 рублей в год и соответственно меньший объем работы). Но и в том и в другом случае Шлецер не собирался оставаться в России. Направляя «Опыт» в Канцелярию, Шлецер сопроводил его рапортом, в котором просил отпустить его в Германию на три месяца для устройства домашних дел и намекал на то, что неплохо было бы подумать о новом служебном назначении его: «Если же своей почти двухгодичной службой при имп. Академии мне посчастливилось угодить ей и если она вследствие того признает меня достойным служебного назначения, то я очень желал бы, чтобы имп. Академия соблаговолила объявить мне в таком случае свое суждение еще до моего отъезда».

Академики, обсудив ситуацию, предложили Шлецеру представить «План всем упражнениям, которые при Академии отправлять может». Он менее чем через неделю подал требуемое. План Шлецера состоял из двух разделов, которые не столько даже систематизировали круг его интересов в русской истории, сколько обозначали необходимые этапы ее научного освоения. Это была в полном смысле слова исследовательская программа. Первый этап должно было целиком посвятить работе над источниками и прежде всего над летописью, а потом уже над иностранными свидетельствами о России и русских. Русское источниковедение — это совершенно невозделанное поле, и обрабатывать его — «это не значит продолжать то, на чем другие остановились, это значит **начинать сначала**». Русская летопись в основе своей — это Нестор. Все остальные летописные свидетельства о древнем периоде русской истории — это позднейшие наслоения и искажения. Задача историографа — очистить Нестора от них. Только после этого можно будет приступить к научному повествованию о русской истории, которое охватит более чем семисотлетний период от Рюрика до последнего представителя начатой им династии. Здесь он собирался, наряду с источниками, использовать труды Татищева и Ломоносова. Далее Шлецер предполагал (об этом речь шла уже во втором разделе плана) создать целый ряд научно-популярных книг по истории, филологии, географии и статистике.

Казалось бы: ну, что можно иметь против этого? Неужели хоть кто-нибудь мало-мальски сведущий в исторической науке будет возражать и доказывать, что он не достоин профессорского звания? Однако ж именно некомпетентные в истории академики (Эпинус и др.) как раз и поддержали, причем самым решительным образом, кандидатуру Шлецера. А вот

мнения историков разделились. Фишер высказался «за», но в характерно осторожных выражениях: «Если г. Шлецер то, что обещал, исправить может, то я не сомневаюсь, чтоб не был он достоин произведения в академические профессоры». Миллер, не ставя под сомнение «способности и прилежания» Шлецера, считал, что сделать его ординарным профессором можно, но при условии, что он согласится «всю свою жизнь препроводить в здешней службе». А поскольку это невозможно, ибо Шлецер собирался, уехав из России, публиковать русские материалы за границей (что было выгоднее), то его следует назначить «иностранным членом с пенсионом» и обязать при этом, чтобы он «ничего, что до России касается, в печать не издавал» без предварительного согласия Петербургской Академии наук. Наконец, самым резким и обидным для Шлецера вновь оказался ломоносовский отзыв. Ломоносов поставил под сомнение голоса, отданные за Шлецера академиками, во-первых, не имеющими отношения к истории, во-вторых, сплошь иностранцами, а свое собственное мнение о нем высказал очень даже недвусмысленно: «Свидетельства иностранных профессоров о знании г. Шлецера в российских древностях почитать должно недействительными, затем что они сами оных не знают. Что ж до меня надлежит, то оному Шлецеру много надобно учиться, пока может быть профессором российской истории». Второй свой отзыв, касающийся уже непосредственно Шлецерова плана работ, Ломоносов завершил такими вот словами (едва ли не издевательскими, с точки зрения Шлецера): «Впрочем, г. Шлецер может с пользою употреблять успехи свои в российском языке, не сомневаясь о награждении за его прилежание, ежели он, не столь много о себе думая, примет на себя труды по силе своей». Тут можно подумать, что Шлецеру вообще предлагалось оставить занятия историей в том объеме, в каком он наметил.

Ну, что ж, он еще покажет этому русскому химику «успехи свои в российском языке» и в «российской истории»! А пока Шлецер усердно, но торопливо снимает копии с русских исторических документов. И действительно: надо спешить, ибо еще неизвестно, сделают ли его ординарным профессором. Скоро ему придется покинуть Россию, и тогда — прощайте, русские архивы, прощай, слава первооткрывателя русской истории... Сейчас он всего лишь адъюнкт, и не имеет русского подданства, и потому лишен права работать в архивах. Но спасибо Тауберту: как истинный покровитель он не только открыл ему доступ к рукописям, но и снабдил его копиистом, — и все это в глубокой тайне. Уже скопированы древнейшие памятники русской письменности, документы XVII века, материалы начала XVIII века, которые были приготовлены для Вольтера, и многое другое. Но все-таки надо спешить.

А тут еще этот химик, этот ужасный человек, при одном

имени которого все в Академии трясутся от страха... Мало того, что он поставил под сомнение исследовательские возможности его, Шлецера, да еще надменно советовал ему же, Шлецеру (прирожденному лингвисту), как следует выучиться русскому языку, теперь этот Ломоносов (конечно же, уязвленный Шлецеровым планом работ в своем авторском и национальном самолюбии) решил нанести ему удар, почти убийственный для всего его плана, а именно: закрыть ему доступ в архивы. Воистину варварский способ вести научный поединок — с обезоруженным противником.

Выбрав момент, когда президент был в отъезде, 2 июля 1764 года Ломоносов направил в Сенат представление следующего содержания: «Уведомился я, что находящийся здесь при переводах адъюнкт Шлецер с позволения статского советника Тауберта переписал многие исторические известия, еще не изданные в свет, находящиеся в библиотечных манускриптах, на что он и писчика нарочного содержит. А как известно, что оный Шлецер отъезжает за море и оные манускрипты, конечно, вывезет с собою для издания по своему произволению, известно ж, что и здесь издаваемые о России чрез иностранных известия не всегда без пороку и без ошибок... того ради сим всепокорнейше представляю, не соблаговолено ли будет принять в рассуждении сего предосторожности».

Скорее всего Ломоносов отнес это представление в Сенат самолично, так как уже на следующий день, 3 июля, в Академической канцелярии был получен сенатский указ, чтобы «у объявленного Шлецера, ежели по вышеписанному представлению исторические известия, не изданные в свет, найдутся, все отобрать немедленно». Кроме того, в Коллегию иностранных дел было направлено предписание не выпускать Шлецера за границу.

В этой более чем тревожной ситуации покровитель Шлецера Тауберт проявил чудеса изобретательности и оперативности. «3 июля 1764 года, рано утром, — вспоминал потом Шлецер, — едва я только встал, на нашем дворе остановилась гремящая карета. В мою комнату врывается Тауберт и тоном ошеломленного человека требует, чтобы я как можно скорее собрал все рукописи, которые получил от него... Всю эту груду бумаг лакей бросил в карету — и Тауберт уехал». Если учесть, что все происходило в субботу, то поведение Тауберта вряд ли можно назвать спешкой «ошеломленного человека» — это была именно оперативность человека делового (хотя и взволнованного), который вместо того, чтобы выполнить сенатский указ в субботу, употребил этот день на то, чтобы замести следы. Теперь у него со Шлецером в запасе было еще и воскресенье, чтобы уж совсем спрятать концы в воду. А уж в понедельник 5 июля можно было и доложить в Канцелярии об указе Сената, и составить соответствующее определение, и начать принимать меры по

отношению к Шлецеру, которому, впрочем, теперь ничто не угрожало. Ему было предложено ответить на несколько вопросов. Они были такими легкими, вспоминал Шлецер, «как будто спрашивающий имел намерение доставить мне возможность торжествовать». 6 июля Шлецер направил в Канцелярию свои «торжествующие» ответы, из которых выходило, что он ни в чем не виноват и что обвинения, подобные предъявленным ему, оскорбляют его «горячее усердие к службе ее императорского величества».

Но Ломоносов и не подумал успокоиться. Новую атаку на Шлецера он обрушил в связи с его «Русской грамматикой». В своих мемуарах Шлецер вспоминал, что уже в первые месяцы по приезде в Петербург он часто вел разговоры с Таубертом о «Российской грамматике» Ломоносова, находя в ней «множество неестественных правил и бесполезных подробностей». В начале 1763 года Тауберт предложил Шлецеру самому написать грамматическое руководство по русскому языку. Тот согласился и управился за четыре месяца. В мае 1763 года был отпечатан первый лист, а в июле 1764 года — уже одиннадцать листов. Все это производилось втайне от Ломоносова. На роль автора нашли подставное лицо — иностранного корректора академической типографии И.-Ф. Гейльмана. Такая секретность объяснялась не только тем, что само имя Шлецера действовало на Ломоносова раздражающе, но еще и тем, что в «Русской грамматике» (хотя она и была полна примеров из ломоносовской «Российской грамматики») проводилась идея зависимости русского языка от немецкого, подтверждением чему должны были служить сразу ставшие знаменитыми этимологии Шлецера (например, слово «князь» происходит от немецкого Knecht, что может означать даже «холоп» и др.). И все-таки, несмотря на таинственность, которой было окружено печатание «Русской грамматики» Шлецера, Ломоносов в июле 1764 года дознался о ней и, прочитав, нашел в ней «множество несносных погрешностей» и «досадительные россиянам мнения». В результате печатание было приостановлено, а уже готовые листы были уничтожены (по свидетельству Шлецера, уцелело лишь шесть комплектов).

Тем не менее «Русская грамматика» Шлецера произвела впечатление в обществе. «Мое имя, — вспоминал он, — произносили тысячи уст, которые без того никогда бы его не произнесли. На всех обедах только и говорили о князе, кнехте и обо мне». Однако ж все это если и льстило самолюбию Шлецера, то лишь отчасти. Главный вопрос оставался открытым: сделают ли его профессором до отъезда в Германию?

7 октября 1764 года Шлецер обратился в Академическое собрание с запиской, в которой содержалась просьба об увольнении от службы на выгодных условиях. Если раньше он адресовался в Канцелярию (где, кроме Тауберта, числился и Ломоносов), то теперь он просит всех петербургских академиков быть судьями в его деле. Доколе? — вопрошает он. — Доколе будет продолжаться то двусмысленное (если не бессмысленное) положение, в котором он пребывает вот уже два года. Его выписали из Геттингена в Россию, пообещав создать все условия для работы. Вместо этого он на каждом шагу встречает противодействие со стороны недоброжелателей, как будто задавшихся целью не дать ему выполнить то, ради чего он и приехал в Петербург. «Я говорю об истории России, — восклицал Шлецер, — для написания которой я был призван в Россию и причислен президентом к числу вашему». Как в России, так и в предполагаемом путешествии на Ближний Восток (замысел этот еще не оставлен) Шлецер преследует прежде всего научные цели и сам как бы поражается своему бескорыстию: «Поверьте мне, поверьте памяти прошлых времен, что не найдется такого человека, который, не пользуясь никакой поддержкой государства, не поощряемый никаким вознаграждением из царских рук, решился бы посвятить лучшие годы возмужалости путешествиям в отдаленнейшие земли для собирания там рассеянных искр нового света».

Шлецер репетировал ультиматум. Ломоносов остался верен себе и в письменном мнении, поданном в Академическое собрание, отозвался о записке Шлецера так: «Сия плачевная просьба у незнающих сожаление, а у сведующих о деле смех произвести долженствует, затем что составлена по ложным основаниям и наполнена гнусным самохвальством». По мнению Ломоносова, Шлецер «ничего не потерял», ибо все это время получал жалованье. «Что ж надлежит до его освобождения, — заключал Ломоносов, — то я всегда готов и желаю дать ему полную волю на все четыре стороны, а паче на восток для собрания там (как он пишет) еще достальных искор (алмазных ли или каких других, неясно) и оными обогатиться паче всех ювелиров, а не гоняться бы, как здесь, за пустыми блестками». Академическое собрание, не приняв никакого решения по записке Шлецера, предложило ему обратиться в Канцелярию.

Уже на следующий день Шлецер подал в Канцелярию просьбу, аналогичную той, которая накануне была подана в Академическое собрание, — об увольнении и о выдаче, наконец, заграничного паспорта. Разница была только в том, что теперь его записка была в несколько раз короче. В сущности, это и был ультиматум, который заканчивался словами: «Ежели же Канцелярия Академии наук и теперь не изволит удовольствовать ответом на толь справедливое мое прошение, то я принужден буду принять последние меры, которые утесняемой невинности одни остаются, чтоб принесть беспосредственно свои жалобы перед великою монархинею, которая почитает правосудие, защищает иностранных, любит науки и упражняющихся в оных».

После этого Шлецер уже не обращался ни в Канцелярию, ни в Академическое собрание. Вплоть до конца 1764 года он был занят поисками подходов к Екатерине II. Огромную помощь в этом ему оказал незаметный вроде бы придворный И. И. Козлов (между прочим, приятель Тауберта еще по Академической гимназии), легко сумевший склонить императрицу на сторону Шлецера, поведав о его злоключениях в Академии. Екатерина прониклась сочувствием к Шлецеру и взяла его под свою защиту.

Шлецер представил на рассмотрение Екатерины план своей дальнейшей деятельности в двух вариантах. В первом варианте предполагалось путешествие на Восток для собирания сведений на предмет установления торгово-экономических отношений России с восточными странами, а также в Италию на предмет отыскания славянских материалов в ватиканском архиве. Второй вариант (положительно оцененный Екатериной) предусматривал занятия исключительно по русской истории. Здесь Шлецер исходил из того, что Запад пребывает в полном невежестве относительно русской истории. Пора покончить с этим. Необходимо издать летопись Нестора в переводе на латинский язык с добротными примечаниями, чтобы западноевропейские ученые могли ознакомиться с нею. Далее следует издать сокращенное, научно-достоверное повествование о древней русской истории на немецком и французском языках, которое стало бы заметным на Западе. Шлецер готов был сделать уступку и доморощенным русским историкам, наметив даже издание «Истории Российской» Татищева в сокращении. Кроме того, намеревался продолжить работу над «Русской грамматикой», а также составить русско-латинский этимологический словарь.

Совершить все это Шлецер намеревался, вынашивая в голове собственную концепцию всемирной истории, существенные положения которой будут изложены им уже в ближайшие годы в таких работах, как «Изображение Российской истории» (1769), «Представление всеобщей истории» (1772), а в законченном виде она будет сформулирована в «Несторе» (1802). Коротко суть ее такова. Три великих народа — римляне, германцы, русские — более других воздействовали на развитие мировой истории. Как таковая она начинается с Рима, завоевавшего южную часть нашего культурного мира, вобравшего в себя просвещение всех древних народов и распространившего его до Рейна и Дуная. Германцы, разрушившие Рим, «назначены были судьбою рассеять в обширном северо-западном мире первые семена просвещения». В результате «даже... скандинавы... с помощью германцев начали мало-помалу делаться людьми». Скандинавы, или норманны, понесли цивилизацию дальше, на «суровый северо-восточный север по сию сторону Балтийского моря», где аборигены пребывали «в этом состоянии, в этой блаженной

получеловека бесчувственности». Норманны создали русскую государственность. Но, будучи носителями отраженного света и к тому же, отъединившись от германского ареала цивилизации, они обратились за просвещением к Византии. Собственно русскую историю, которая, по глубокому убеждению Шлецера, явилась высшей точкой в истории всемирной, он подразделял на пять периодов: «Россия возрастающая» (862—1015), «Россия разделенная» (1015—1216), «Россия утесненная» (1216—1462), «Россия победоносная» (1462—1725), «Россия цветущая» (от 1725 года).

Нетрудно заметить в этой грандиозной панораме два существенных штриха. Во-первых, возрастание России связано с приходом извне германского элемента (призвание варягов), а завершение «победоносного» периода и начало «цветущего» со вторым германским пришествием (Петр I и его реформы, воцарение Екатерины). Во-вторых, то, что можно назвать русской культурой, появилось на свет под мощнейшим византийским влиянием, а теперь претерпевает столь же мощное германское воздействие, подтверждением чему служит сам русский язык (оттого-то так важно было Шлецеру завершить свою «Грамматику» и увенчать все это этимологическими разысканиями). Более того, находясь в «цветущем» состоянии, Россия, наконец, получает свою историю, и творец ее — он, Шлецер.

Надо отдать должное уму и проницательности Екатерины — она сделала точную ставку на Шлецера. Какая захватывающая дух перспектива открывалась: венец всемирной истории — «Россия цветущая», и принцесса Ангальт-Цербтская во главе ее; а глаза всему миру на это откроет геттингенский историк, убежденный, что Россия «обязана благодарностию чужеземцам, которым с древних времен одолжена своим облагорожением».

Дело Шлецера Екатерина поручила Теплову. Тот нашел общий язык с соискателем, и они вместе составили текст указа, который был подписан императрицей. 29 декабря 1764 года этот указ о назначении Шлецера ординарным профессором истории на особых «кондициях» поступил в Академию. Шлецеру был определен высокий оклад (860 рублей в год) и разрешен трехмесячный отпуск в Германию с сохранением содержания. Кроме того, его работы освобождались от «опробования» в Канцелярии и Академическом собрании и подлежали отныне просмотру непосредственно самой императрицей. Наконец, в приложении к указу подчеркивалось: «Не только не возбраняется ему (Шлецеру. — *Е. Л.*) употреблять все находящиеся в имп. Библиотеке при Академии книги, манускрипты и прочие к древней истории принадлежащие известия, но и дозволяется требовать чрез Академию всего того, что к большому совершенству поручаемого ему служить может». Полная победа Шлецера!

Ломоносов роптал: все это — «в нарекание природным

россиянам». Ломоносов рычал: все это «покрывает непозволенную дерзость допущения совсем чужого и ненадежного человека в Библиотеку российских манускриптов, которую не меньше архивов в сохранности содержать должно». Ломоносов стенал: «Какое рассуждение произойдет между учеными и всеми знающими, что выше всякого примера на свете Шлецеровы сочинения выключены и освобождены от общего академического рассуждения и рассмотрения, от чего нигде ни единый академик, ни самый ученый и славный не бывал свободен». Ломоносов собирался встретиться с Екатериной, чтобы убедить ее в том, что... Но — наступал 1765 год. Жить оставалось три месяца, и Шлецер был уже недосягаем для него. И не только потому, что уезжал в Геттинген (где, кстати, пробыл вместо трех четырнадцать месяцев), а потому прежде всего, что наступала иная эпоха. Елизавета заказала историю России Ломоносову, а Екатерина — Шлецеру. Беседа с императрицей, даже если бы она состоялась, ничего бы не дала.

Не правда ли, бросая общий взгляд на описанные события с точки зрения Шлецера, нельзя не поразиться упорной и возрастающей недоброжелательности Ломоносова к нему? Действительно: оспорил все начинания Шлецера и не пропустил в свет ни одной его строчки! все время подозревал в самых неблаговидных помыслах и замыслах! и т. д. Прямо-таки злой гений, варвар, самодур, преследователь...

Однако ж не будем торопиться с определениями. Попробуем, как было договорено, посмотреть на события с точки зрения Ломоносова. Вернемся в ноябрь 1761 года.

Шлецер прибыл в Петербург полгода спустя после того, как «Краткий Российский летописец» Ломоносова вышел третьим изданием, и три года спустя после того, как началось печатание «Древней Российской истории». Ну, прибыл и прибыл. Вызвал его и жалованье ему как домашнему учителю выплачивает Миллер. Ни научных, ни административных претензий у Ломоносова к нему пока еще нет и быть не может. Правда, личное недоверие к нему испытать и нахмуриться он мог уже тогда. И неудивительно: ведь Шлецер с самого начала оказался своим человеком в стане ломоносовских противников — Миллера, Тауберта, Теплова.

Но первые восемь месяцев по прибытии Шлецера, если вспомнить тогдашнюю обстановку вокруг трона, — это ведь не простой промежуток времени. Он вместил в себя сразу три царствования! Последние дни Елизаветы, приход к власти и убийство Петра III и, наконец, восшествие на престол Екатерины — все эти события, стремительно последовавшие друг за другом, весьма драматически отразились в сознании

Ломоносова и в его судьбе. Сколько разочарований, упований и вновь разочарований! Оживление академических недругов Ломоносова после июньского переворота 1762 года вынуждает его подать в отставку. И как раз в это время Шлецера делают адъюнктом при историографе.

Тут-то назревающий конфликт Ломоносова со Шлецером начал переходить из области эмоций и предчувствий в область претензий более общего порядка — покуда только административно-правовых, к которым вскоре присоединятся и научные. Дело в том, что вакансия адъюнкта при историографе не была предусмотрена академическим штатом. То, что для иностранца «выбили», говоря языком нашего времени, новую штатную единицу (историографу не полагался адъюнкт), было прямым нарушением Академического регламента, утвержденного в 1747 году. Ломоносов еще поставит об этом вопрос перед президентом, и здесь его можно понять: ведь объективно получалось, что Миллер имел теперь возможность оплачивать работу своего помощника Шлецера из государственного кармана. Но Ломоносов был встревожен не только как советник Академической канцелярии (то есть как один из руководителей Академии). Не меньше оснований для беспокойства имел он и как исследователь русской истории. Зачем вообще понадобилось Тауберту вводить Шлецера таким манером в академический штат? Пусть бы этот геттингенец продолжал оказывать Миллеру свои приватные услуги. Неужто два профессора истории (Миллер и Фишер) и он, Ломоносов как автор двух исторических трудов, не справляются со своими задачами? Кроме того, почему Шлецер, намереваясь заниматься русскими древностями, ни разу не обратился к Ломоносову ни с одним вопросом?

В 1764 году Ломоносов получил наконец возможность непосредственно ознакомиться с трудами Шлецера. От рисуемых ими картин русской истории Ломоносову стало не по себе.

Его отрицательный отзыв о Шлецеровом «Опыте изучения русских древностей в свете греческих источников», приведенный выше, имел более чем достаточно оснований. Шлецер чересчур прямолинейно, да еще с видом первооткрывателя, провозглашал, что после принятия Русью христианства «русский язык не только был дополнен большим количеством греческих слов, но изменил под влиянием духа греческой речи и весь свой строй настолько, что сведущий в обоих языках человек, читая книги наших древнейших писателей, может иной раз подумать, что читает не русский, а греческий текст, пересказанный русскими словами». Но ведь за несколько лет до Шлецера обо всем этом начал высказываться в своих печатных трудах Ломоносов — в «Российской грамматике», в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке». Причем делалось это намного обстоятельнее и тоньше, чем у Шлецера, который вульгарно ставил знак

равенства между церковнославянским и древнерусским литературным языком.

При всем том Ломоносов не мог не оценить способностей «адъюнкта при историографе». 26 июня 1764 года свой отзыв о плане научных работ Шлецера Ломоносов начал, как бы намекая ему, что, имей он других советчиков, путь его в науке был бы более прочным и плодотворным: «По прочтении сочинений г. Шлецера хвалю старание его о изучении российского языка и успех его в оном; но сожалею о его безрассудном предприятии, которое, однако, извинить можно тем, что, по-видимому, не своею волею, но наипаче по совету других принялся за такое дело, кое в рассуждении малого его знания в российском языке с силами его несогласно... не удивляюсь малому его знанию в языке нашем, но в рассуждении времени довольному...»

Впрочем, если здесь и есть сожаление о том, что Шлецер не обратился за советом к нему, к Ломоносову, то это сожаление о безвозвратно утерянной возможности. Сожалеть же о том, чего нет и быть не может, здравомысленная натура Ломоносова просто не умела. А вот на то, что действительно **было** в плане Шлецера, она откликнулась — непосредственно, решительно, беспощадно: «...нельзя извинить скоропостижности его в рассуждениях, в безмерном хвастовстве и безвременных требованиях...»

Кто-то из наших современников, пожалуй, упрекнет Ломоносова в том, что он не сумел по достоинству оценить грандиозных масштабов замыслов Шлецера, увидеть в нем ученого, способного привести эти замыслы к достойному воплощению. Вот написал же: «...принялся за такое дело, кое... с силами его несогласно». Худой пророк, да и только!

Но прежде чем упрекать Ломоносова, зададим себе такой вопрос: содержали ли «Опыт изучения русских древностей» и планы научных работ Шлецера безусловное ручательство, что уже в ту пору выполнение намеченного было действительно ему по силам? Попытаемся все-таки понять Ломоносова. В связи с этим только что заданный вопрос поставим так: имелись ли у него, помимо личной неприязни к Шлецеру, другие, строго научные основания для отрицательной оценки как «Опыта», так и плана? И вот здесь, сохраняя максимум беспристрастия к тому и другому, мы должны ответить утвердительно. Шлецер пишет о необходимости критического анализа источников, о необходимости «очищения» Нестора от позднейших искажений. Но с какою лингвистической оснасткой он собирается к этому приступить? Что считать литературной нормой древнерусского языка? На какой словарный и стилистический фонд должен ориентироваться исследователь? В качестве «богатого и надежного лексикона» для изучения языка летописей Шлецер предлагал славянский перевод Библии, который, по его мнению, оказал решающее влияние на стиль древнерусских писателей: «Их выражения, обороты речи и все вообще их повествовательные приемы — очевидно библейские». Здесь Шлецер был коренным образом не прав. В советское время трудами академиков С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, Д. С. Лихачева доказано, что язык наших средневековых памятников в основе своей **древнерусский,** а не **церковнославянский.**

Но первым, кто сказал об этом, тоже был академик — М. В. Ломоносов. Основной его упрек Шлецеру заключался вот в чем: «...он поистине не знает, сколько речи, в российских летописях находящиеся, разнятся от древнего моравского языка, на который переведено прежде Священное писание; ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых российских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, «Правда Русская» называемые, также прочие исторические книги, в которых употребительные речи, в Библии и в других церковных книгах коих премного, по большой части не находятся, иностранными мало знаемы. Наконец, перевод Библии не очень исправен, и нередко славенские слова значат иное, а иное греческие».

Итак, Ломоносов имел основания сомневаться в потенциальных возможностях Шлецера, если тот не знал таких элементарных, с точки зрения русского ученого, вещей. Каково же ему было читать в Шлецеровом плане, что древнерусские источники еще никто не обрабатывал должным образом и что он, Шлецер, будет первым, кто предпримет это? Каково было увидеть там, что Шлецер «льстит себя надеждой» на помощь русских и в особенности Ломоносова? В этом месте на полях Шлецерова плана Ломоносов написал по-немецки: «Иначе говоря, я должен обратиться в его чернорабочего». И ведь это был не первый случай. Немного раньше Шлецер подал в Академическое собрание заявление, где обещал, используя работы Татищева и Ломоносова, написать на немецком языке очерки по древней истории России. И тогда Ломоносов тоже на полях и тоже по-немецки написал: «Я жив еще и пишу сам».

Дальнейшие события утвердили Ломоносова в самых худших подозрениях. Его представление в Сенат от 2 июля 1764 года — это энергичный жест одновременно государственного деятеля, ученого и патриота. Как статский советник и член Канцелярии императорской Академии Ломоносов обращает внимание Сената на возможные пагубные последствия допуска в архивы человека, не пожелавшего принять русское подданство или вообще связать себя какими-либо обязательствами. Как исследователь он встревожен перспективой «утечки» неопубликованных материалов за границу. Как патриот он задет за живое тем обстоятельством, что под

пером иностранца комментарий к этим материалам может быть обращен «России в предосуждение». Между прочим, когда Ломоносов направлял свое представление в Сенат, он не знал, что Шлецер копировал не только летописи, но и полученные из рук Тауберта материалы государственных коллегий по современному положению дел в России (количество и состав населения, ввоз и вывоз товаров, данные о последних рекрутских наборах и т. д.). Можно себе представить, что было бы со Шлецером, если бы Тауберт не замедлил расследование по делу о его бумагах и не скрыл бы сами эти бумаги! В какое неистовство пришел бы Ломоносов!

Впоследствии Шлецер стал выпускать в Геттингене свой общественно-политический журнал, в котором выступил пионером совершенно новой в ту пору науки — статистики. Биографы Шлецера объясняют его интерес к русским рекрутам именно этой его страстью, которая в XVIII веке выглядела более чем подозрительно. «Публикуя, например, сведения о военных расходах разных стран, — читаем уже в наши дни в одной из самых последних публикаций на эту тему (в журнале «Знание — сила», 1987, № 12), — Шлецер ожидал, что люди «увидят в огромных суммах вред войны». Получается такая вот картина: Шлецер горит желанием прославить Россию за рубежом и с этой целью копирует летописи, заодно, как и положено истинному исследователю, собирает материалы для разработки совершенно новой научной дисциплины, а в России как раз встречает глухое непонимание, сталкивается с подозрениями и даже преследованиями, инициатором которых выступает Ломоносов. Задавшись понятной целью восстановить доброе имя молодого Шлецера перед потомками, его биографы рано или поздно подвергаются опасности сделать это за счет Ломоносова. Но ни Шлецеру (обессмертившему себя «Нестором»), ни тем более Ломоносову не нужно оправдываться перед будущими поколениями. А вот им — то есть нам с вами — нужно для нашей же пользы объективно разобраться в конфликте между ними.

Чтобы нагляднее высветить политико-правовую и этическую сущность его, вообразим совершенно невообразимое. Вообразим, что Ломоносову двадцать восемь лет, а Шлецеру пятьдесят два, что это не Шлецер в Петербург, а Ломоносов в Геттинген приехал. Заниматься германскими хрониками. Приехал и говорит «геттингенцам»: все вы глупые и ценности истории своей не понимаете. А потом тайком от «Шлецера» (который большой труд о древней германской истории только что закончил, но напечатать еще не успел) начинает эти хроники копировать. К тому же, при всей своей любви к «геттингенским» хроникам, сам «геттингенцем» стать решительно отказывается. Думает: увезу их, хроники-то, в Петербург и там напечатаю — и мне хорошо (слава пойдет)

и геттингенцам (сами еще потом спасибо скажут). Мало того: читая древние германские тексты, примечает наш «Ломоносов», в древнем же германском языке что-то уж очень много латинских слов и оборотов. Вновь задумывается: эк ведь их, и языка-то своего толком не знают. Решил: напишу «Немецкую грамматику». А когда стал писать, увидел, что и из русского языка много в немецкий перешло (например, немецкое слово Herr, «господин» то есть, от русского слова того же звучания, но совсем другого знаменования происходит). Как прочитали геттингенцы эту грамматику, так и обомлели. Шум поднялся. А он им в ответ: и опять выходит, глупые вы — для вас немецкий язык родной, вы к нему душою присохли, а мне как иностранцу больше веры, я без всякия страсти взираю... Вот и решайте как отреагировал бы на все это пятидесятидвухлетний «Шлецер».

Что же касается пятидесятидвухлетнего Ломоносова, то он, прочитав «Русскую грамматику» двадцативосьмилетнего Шлецера, действительно обомлел не столько от «нестерпимых погрешностей» ее, сколько от «нерассудной наглости» ее автора, а больше всего от его «сумасбродства — в произведении слов российских». Шлецер производил слово «боярин» от слова «баран», «король» от немецкого Kerl (мужик). О «князе-кнехте» было уже сказано. Но больше всего Ломоносова возмутила следующая этимология: «Дева, которое слово употребляется у нас почти единственно в наименовании Пресвятыя Богоматери, производит Шлецер от немецкого слова Dieb (вор), от голландского teef (.....)[1], от нижнего саксонского слова Tiffe (сука)». Если до знакомства с «Грамматикой» Шлецера Ломоносов отзывался о нем хоть и резко, но всегда, что называется, в пределах правил, то свои заметки об этом труде его он заканчивает откровенно бранным словом (кстати, единственный случай такой невыдержанности Ломоносова по отношению к Шлецеру): «Из сего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина».

Вот почему, отвечая на запрос К. Г. Разумовского, на каком основании он обратился непосредственно в Сенат по делу Шлецера, он ни секунды не колебался в своей правоте (как моральной, так и юридической). Ломоносов объясняет президенту свои действия, опираясь на документ, который им же, президентом, был подписан: «В академическом регламенте, в 13 пункте, повелено стараться, чтоб адъюнкты были все российские. Сие разуметь не иначе должно, как что иностранных не принимать вновь после объявления оного регламента, а особливо где они не положены, как при исто-

[1] Точками заменено ругательное, непечатное русское слово.

риографе. Шлецер принят, первое, иностранный, второе, не к месту, сверх стата. И хотя по последнему пункту оного регламента позволено президенту нечто прибавить или переменить, однако ж для важных причин и чтоб то суммы не превосходило». Таким образом, Шлецер стал адъюнктом в нарушение регламента, штатного расписания и того, что сейчас называют «фондом заработной платы».

Далее. Нарушена была не только формула, но и процедура приема: «Наконец Шлецер принят в адъюнкты не токмо без выбору, но и безо всякого выбору и одобрения от Профессорского собрания, но по представлению одного человека...» То есть Миллера. Вспомним: ведь и сам Миллер в свое время попал в профессора, минуя Академическое собрание. Из трех участников конфликта (Шлецер, Миллер, Ломоносов) только он, Ломоносов, был действительно **выбран** Академическим собранием — причем академики тогда **трижды** подтверждали свой выбор, ибо Шумахер трижды возвращал дело Ломоносова в Академическое собрание.

Но самым досадным в деле Шлецера Ломоносов считал вот что: «В принятии Шлецера не было ни какой нужды, ни очевидной пользы, ибо принят он по прихотям Миллеровым для споможения в его делах, который должен уже давно был принять и приучить кого к своему делу из природных россиян...»

Чем ближе к концу подходило дело Шлецера, тем более административный характер приобретали высказывания Ломоносова. В последний раз он подал свое мнение 15 октября 1764 года по поводу условий, на которых Шлецера можно было выпустить за границу: «Мое мнение в том состоит, что отпустить помянутого Шлецера в свое место, 1) обрав от него российские манускрипты для всякой предосторожности..., 2) не вступать с ним ни в какие кондиции, ниже обещать каких пенсий, затем, что нет в том ни малейшей надобности, да и самой справедливости противно, ибо выписанные Академиею и действительно членами в ней бывшие знатные ученые люди, принесшие ей подлинные услуги и не показавшие никаких наглостей, отпущены по большей части просто».

Такова в общих чертах история этого конфликта. Научное содержание его накрепко сжато и завязано сложным узлом административно-государственных, юридических и этических проблем. Можно сожалеть об этом, но согласимся, что Ломоносов-администратор был просто обязан поступать так, как он поступал, столкнувшись с честолюбивыми и корыстолюбивыми притязаниями способного молодого адъюнкта, впрочем, еще не ознаменовавшего в ту пору свое пребывание в Академии никакими полезными для нее свершениями, но увлекавшегося все больше планами на будущее, под которые требовал себе выгод уже в настоящем.

Даже ломоносовская оценка «Опыта изучения русских древностей» и в особенности «Русской грамматики», роковая для обоих произведений с точки зрения их публикации в России (ибо была усугублена тяжелой административной поддержкой), даже она понятна, особенно если вспомнить этимологии Шлецера, неправильные, оскорбительные, кощунственные.

Можно, распутав или разрубив этот гордиев узел, попытаться выяснить, было ли у Ломоносова и Шлецера что-нибудь общее в их взглядах на науку и в самой науке того и другого, несмотря на весь их антагонизм. И вы знаете, кое-что было. Но это общее можно проиллюстрировать так: два воина в разных станах могут испытывать одинаково отрадное чувство, глядя на восходящее солнце, или одинаково неприятное, видя разверзшиеся небесные хляби и непролазную грязь на поле их битвы. Словом, и то общее, что было у Ломоносова и Шлецера, надо оценивать, именно «смотря» на весь их антагонизм.

Под обвинениями в адрес Академической канцелярии, содержащимися в мемуарах Шлецера, вполне мог бы подписаться и Ломоносов: «Где на свете было более богатое и выше поставленное ученое общество? Но всякое общество, как говорили, должно быть «управляемо». А потому на шею этому обществу посадили Канцелярию, в которой президент с одним или двумя советниками, секретарем, писарями и т. д. управляли неограниченно; таким образом все было испорчено...

Вообразите себе последствия, если эти всемогущие члены Канцелярии даже не были ученые. Никакая заслуга не признавалась, основательную ученость презирали...» Впрочем, ломоносовские оценки Академической канцелярии были еще резче.

Можно привести и другие примеры, показывающие, что, «когда двое говорят одно и то же, это не одно и то же» (Г. В. Плеханов). Так, в хронологии русской истории, предложенной Шлецером, четвертый период «Россия победоносная» охватывал более четырех с половиной веков от Ивана III до Петра I. Но ведь примерно это время (правда, от Ивана Грозного до Петра) и Ломоносов выделял как наиболее важное своими военными победами для современной России (процветающей, впрочем, под скипетром Елизаветы, а не Екатерины). Даже мысли о критике летописных текстов, высказанные Шлецером, в существе своем не были чужды Ломоносову: он задолго до приезда Шлецера применял это на практике — и в полемике с Миллером, и в «Кратком Российском летописце», и в «Древней Российской истории», — правда, с той разницей, что не ставил своей задачей «очищение» Нестора и не придавал аналогичным мыслям формы научного манифеста. Так или иначе, эти немногие черты сходства только резче подчеркивают фунда-

ментальное различие двух умов, двух личностей, двух исторических концепций.

Что считать началом истории? — вот вопрос, который наподобие клина врезается между Ломоносовым и Шлецером, обозначая их антагонизм. Даже если бы Шлецер не сошелся по приезде в Петербург с Таубертом и Тепловым, а пришел бы к Ломоносову, разрыв между ними был бы неминуем.

Обратим внимание на то, с каким постоянством Шлецер в своих научных построениях ищет **единственную** точку, движение от которой придает всему историческому материалу определенный смысл. Ему обязательно нужно указать: вот событие, вот человек, вот дата, с которых можно вести осмысленный отсчет исторического времени. Наука имеет дело с тем, что обозримо, что подвластно ее познавательному инструментарию. Все прочее находится за ее пределами, попросту — ненаучно.

Во всемирной истории такою начальной точкой был Рим и его завоевания, в русской истории — приход варягов, в истории русского языка — славянский перевод Библии, в русском летописании — Нестор, а в русской историографии — сам Шлецер. При этом все, что было до Рима, до прихода варягов, до славянского перевода Библии, до Нестора, до Шлецера — все оказывалось либо подчиненным по отношению к этим точкам, либо вовсе несущественным, не подлежащим анализу. Эта рассудочная субъективность науки нового типа несла в себе идеализм и практицизм одновременно, была внеморальна и жестока в том смысле, что деспотически подчиняла односторонне детерминированной идее, одному грандиозному Софизму все многообразие национально-исторических форм европейской цивилизации. В концепции Шлецера все законосообразно. Характерен способ, посредством которого культура с древнейших времен передавалась от ареала к ареалу, от народа к народу, — завоевания. Характерна в ней по-разному варьируемая мысль о пангерманизме мировой истории: германский элемент выступает движителем культурно-исторического процесса, являясь связующим звеном между начальной его точкой (Римом) и высшей (Россией).

Всякое содержание само находит свою форму. Очевидно, Шлецер только так мог реализовать свой огромный научный потенциал. В Шлецере воплотился новый тип ученого и человека, основополагающей чертой которого, с нравственно-этической точки зрения, был воинствующий индивидуализм. Шлецер совершенно спокойно мог перешагнуть не только через Татищева и Ломоносова, но и через Миллера, которого ставил как историка достаточно высоко. Не случайно и сам Миллер вынужден был в конце концов предъявить этический счет своему «помощнику». Вообще что-то наполеоновское было в том напоре, с которым Шлецер обрушился на петербургскую ученую «директорию». Его отличали не только грандиозные научные замыслы, но и умение правильно расположить свою артиллерию. Отношение Ломоносова к Шлецеру было сродни отношению Суворова к Наполеону: «Далеко шагает мальчик! Пора унять!»

С точки зрения профессиональной этот новый тип ученого отличался программной установкой на специализацию. Отношение Шлецера к Ломоносову в рассматриваемый период — это высокомерное отношение специалиста к дилетанту: «...от химика по профессии уже a priori можно было ожидать такой же отечественной истории, как от профессора истории — химии». Это собственное свидетельство Шлецера об априорности его оценок Ломоносова весьма важно — «цеховая» нетерпимость сквозит в них в каждом слове: «Уж если Байер может делать ошибки, то что может произойти с русскими летописями, если они обрабатываются немытыми руками химиков и переводчиков?» Даже, когда впоследствии, уже в спокойной обстановке, Шлецер произнесет другие слова о Ломоносове, даже тогда он не изменит «цеховым» принципам и умолчит о ломоносовском вкладе в историческую науку, а всю положительную мощь высказывания сосредоточит на яркой и неповторимой индивидуальности Ломоносова (что вчуже не могло оставить его, индивидуалиста, равнодушным): «Ломоносов был действительный гений, который мог... дать новое доказательство тому, что гений не зависит от долготы и широты. Он так поздно поднялся со своего Двинского острова и несмотря на то в следующие десять лет приобрел так много и столь разнообразных познаний. Он создал новое русское стихотворство и новой русской прозе он первый дал свойственную ей силу и выразительность». Но пока Ломоносов стоял перед глазами Шлецера, у него не нашлось для противника других слов, кроме: «совершенный невежда», «грубый невежда», «химик Ломоносов, который, вероятно, едва ли слышал имя Византии»...

Ломоносов, как мы помним, не считал 862 год началом русской истории. С точки зрения Шлецера, он непозволительно расширял предмет исследования, отодвигая его хронологические рамки на несколько столетий в глубь времен, в результате чего предмет утрачивал ясные очертания, а исследователь вынужден был вступать на зыбкую почву необоснованных предположений. Но нельзя забывать, что тем самым Ломоносов задолго до того, как Шлецер сформулировал свою пангерманистскую концепцию всемирной истории, готовил для нее взрывное устройство страшной силы: ведь выяснялось, что славяне как в составе германских племен, так и сами по себе способствовали падению Римской империи.

Ломоносов отрицал за церковнославянским переводом Библии значение начального истока древнерусского литера-

турного языка. Но ведь в этом случае рушилось утверждение Шлецера о безусловно решающем характере греческого влияния на русский язык.

Ломоносов, при всем пиетете перед Нестором, был далек от мысли видеть в его летописи единственно достоверный источник. Объективно это лишало смысла всю источниковедческую программу Шлецера. Как уже говорилось, критический анализ источников применялся и Ломоносовым, но — в прикладном качестве. Он был историком-просветителем, который отводил исследованию «предуготовляющую», а не самодовлеющую роль. Иными словами, Ломоносов здесь в принципе понимал Шлецера и частично уже применял в своей работе то, чему Шлецер придавал односторонне выдающееся значение. А оппонент не понимал его и ругал «химиком» и «невеждой».

Наконец, Ломоносов считал себя самого, и по праву, живым отрицанием утверждения, что до Шлецера еще не было историков России.

Шлецер предпочел объяснить это «великое противостояние» двух взглядов на историю и ее задачи весьма прозаически и весьма удобно для себя: «Русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских». Любопытно, что упрек чуть ли не в шовинизме высказывает ученый, который считал германский элемент движителем всей европейской цивилизации Средневековья и Нового времени, ученому, который в первой части своего капитального труда по русской истории черным по белому написал, что этнически чистых народов не бывает. Подчеркнуто личный характер полемики Ломоносова и Шлецера для многих замутняет ее истинный характер противостояния двух мировоззрений, двух эпох в науке, двух культур, в конце концов. Гадать же, чтó было бы, если б они не столкнулись лично, так же наивно, как пытаться представить себе, чтó случилось бы, если б Л. Толстой и Шекспир были современниками и жили в одном городе.

Ломоносов размышлял над историей народа, Шлецер — над историей династии Рюриковичей. Но как писать историю народа и с чего начинать ее? Не лучше ли, как Шлецер, ограничить предмет исследования удобопостигаемыми пределами и на строжайшей научной основе описать его? Ведь вот Шлецер, несмотря на ошибочность некоторых важных установок, проделав гигантскую работу, добился выдающихся результатов. Его вклад в русское источниковедение, его воздействие на формирование русского исторического мышления в XIX веке трудно переоценить. Перед Шлецером склоняли головы Н. М. Карамзин, братья Тургеневы, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, историки М. П. Погодин, С. М. Соловьев, К. Н. Бестужев-Рюмин, филолог А. А. Шахматов. Казалось бы: целое столетие русское историческое сознание развивалось под знаком Шлецера.

Однако ж не будем спешить с выводами. Во-первых, в XIX веке у Шлецера были не только сторонники. В. О. Ключевский вместе с высокими оценками заслуг Шлецера перед русской историографией высказал ряд критических замечаний в адрес норманистов. Другие историки — И. Д. Беляев, И. Е. Забелин, В. И. Ламанский — поддержали и развили главное положение ломоносовской концепции истории, а именно: мысль о глубокой древности славянских народов. К числу несомненных «сочувственников» Ломоносова, историографа и историка языка, должно отнести филологов Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева.

Во-вторых, то, что Ломоносов считал предметом эффективного исследования и что Шлецер третировал как фикцию (русская история до Рюрика), по-настоящему стало научно актуальной проблемой лишь в XX веке. Если посмотреть на историографическое наследие Ломоносова с точки зрения новейших открытий и гипотез, то нужно будет согласиться, что, например, в первой части «Древней Российской истории» он, в сущности, занимался историей русского этноса (хотя сам термин утвердился много позже). Это, конечно, не значит, что историки XX века, прочитав Ломоносова внимательнее, чем их предшественники, дружно бросились наверстывать упущенное, что Ломоносов повлиял на них. Это значит только, что Ломоносов мог «подождать» полтора-два столетия, пока наступит его черед.

С другой стороны, историография, чтобы осознать себя самостоятельной наукой, должна была сузить и специализировать свой предмет, ужесточить методологию, что и сделал Шлецер. Эпоха многосторонней гениальности завершалась, наступало время гениев специализации. Екатерина II, сделав придворным историком Шлецера, не отвергла тем самым Ломоносова: как мы помним, она собиралась делать ставку на его естественнонаучный потенциал. Ломоносов как целое не вписывался в картину культурной жизни екатерининского царствования. Он был уже интересен только как специалист.

И все-таки время сглаживает многое. Когда в 1766 году Шлецер вернулся из своего затянувшегося отпуска в Россию, Ломоносова уже не было в живых, Миллера из Петербурга перевели в Москву руководить Воспитательным домом, а затем — архивом Коллегии иностранных дел. Таким образом, в Петербурге честолюбивому Шлецеру не было соперников. В ноябре 1766 года вышла из печати «Древняя Российская история» Ломоносова. Краткое, вроде бы положительное, но уж очень формальное предисловие к ней написал ординарный профессор истории императорской Академии наук Август-Людвиг Шлецер. Теперь это можно было сделать: делить уже было нечего. Шлецер получил наконец возмож-

ность сказать о Ломоносове как о переставшей существовать научной величине. Смерть дозволила то, чего не дозволял Ломоносов (вспомните: «Я жив еще и пишу сам»):

«Сочинитель сея книги, покойный статский советник Михайло Васильевич Ломоносов, издал уже в 1760 году Краткий Росийский летописец, который принят был здесь с немалым удовольствием.

Потом, положив намерение сочинить пространную историю российского народа, собрал с великим прилежанием из иностранных писателей все, что ему полезным казалось к познанию состояния России прежде Рурика, и при том описал жития осьми первых великих князей, сидевших на российском престоле от 862 до 1054 года.

Полезный сей труд содержит в себе древние, темные и самые к изъяснению трудные российской истории части. Сочинитель, конечно, не преминул бы оный далее продолжить, ежели бы преждевременная его смерть, приключившаяся ему 4 апреля 1765 году, доброго сего предприятия не пресекла; а между оставшимися после его письмами продолжения не найдено».

Впрочем, и тут не обошлось без шероховатостей: из предисловия следовало, что Ломоносов стал собирать материалы для «Древней Российской истории» после выхода в свет «Летописца», то есть с 1761 года, когда приехал в Россию Шлецер, взбудораживший академических историков и в первую очередь Ломоносова. Получалось, что Ломоносов готовился к своему главному труду по истории не полтора десятилетия, а всего три года. Указать Шлецеру на эту неточность было вроде бы уже некому.

Однако ж в книге за предуведомлением шел текст самого Ломоносова, и первые же слова его стали возражением Шлецеру в высшем смысле, ибо говорили о делах пострашнее иностранного засилья в Академии и о великой способности русского народа к плодотворному их преодолению:

«Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междоусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень, величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не восстановила. Каждому несчастию последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление...»

ГЛАВА III

Академики не суть художники, но государственные люди.

М. В. Ломоносов

Совершенно поразительно в Ломоносове было то, что он судьбу «народа российского» (его прошлое, настоящее и будущее) воспринимал прежде всего как глубоко **личную** свою заботу. При этом важно учитывать, что ломоносовское понятие о народе существенно отличалось от позднейших представлений «чернь», «толпа», «темная масса», «страдающий брат», «богоносец», «движущая сила истории», «историческая общность». Ломоносовское понятие о народе — это в прямом смысле предметное, **ощутительное** понятие. То есть это даже вовсе и не понятие. Это какое-то огромное и бессмертное множество в единстве. Но бессмертное не абстрактным, не «риторским» бессмертием, а осязательно живым (не важно, идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем). Русский народ для Ломоносова — это прежде всего и в конце концов живые русские люди из мяса и костей, с горячей кровью и бьющимся сердцем, идущие из тьмы веков по предначертанному пути, теряя и восстанавливая силы. И вот их бессмертие-то и является, по существу, самой главной личной заботой Ломоносова.

Странно выговорить, но есть что-то **отцовское** в этой заботе. Ни у кого впоследствии (за исключением, быть может, Д. И. Менделеева) это качество в отношениях к народу не проявлялось. Сыновние или братские чувства испытывали, культуртрегерские эмоции были, не говоря уже о философских и социально-политических раздумьях, а вот чтобы по-отцовски озаботиться продолжением русского рода... Нет, такого не было. Причем забота его в основе своей носила какой-то патриархально-конкретный характер. Он размышлял о механике физического бессмертия русского народа — о том, что его количество должно не только восстанавливаться, но и возрастать от поколения к поколению, что для этого крестьяне должны быть благополучны, купцы — предприимчивы и нестесняемы в их предприимчивости, духовенство — опрятно и уважаемо, дворяне — просвещенны и ответственны, государи, как он сам писал, — «бодры», а огромные пространства России — изучены и приспособлены к производству ресурсов бессмертия.

1

1 ноября 1761 года Ломоносов писал И. И. Шувалову: «Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее и об-

стоятельнее сообщить их вашему высокопревосходительству яко истинному рачителю о всяком добре любезного отечества в уповании, может быть, найдется в них что-нибудь, к действительному поправлению российского света служащее...»

Старые записки, о которых говорит здесь Ломоносов, уместились на одном листе, но глубина и размах намеченных в них мыслей просто головокружительны (другого слова не подобрать). Общее направление этих мыслей кратко обозначено в восьми пунктах. Это темы будущих работ, которые должны были бы показать всем Ломоносова с совершенно новой стороны. При взгляде на их перечень само собою возникает в сознании: вот оно! свершилось! — весь уникальный культурный потенциал Ломоносова получил наконец достойное его место приложения, не дробясь на частности, но собравшись воедино и устремившись в одном направлении — «к действительному поправлению российского света», всего жизненного уклада России. А о чем это «поправление», тому следуют пункты.

«1. О размножении и сохранении российского народа». Из всех набросков только этот получил под пером Ломоносова полное развитие. Разговор о нем пойдет ниже: сейчас важна сама последовательность пунктов, в которой отражена степень не только важности, но и срочности исполнения намечаемого. Итак, прежде всего надо принять меры к сохранению и размножению народа.

«2. О истреблении праздности». Здесь имеется в виду русская лень, не менее знаменитая, чем русская смекалка. Ломоносов собирался изучить как нравственную, так и социальную природу ее, проследить ее постепенное накопление в русской жизни. Примечание к этому пункту гласит: «Праздность показать по местам, и по персонам, и по временам». А потом еще и поговорка присовокуплена: «Муж мельницы не сделает, а жена весь день мелет». Злободневность этих наметок Ломоносова очевидна и по сей день.

«3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении». Поскольку в народном просвещении в ту пору основную роль играла церковь, неудивительно, что этот пункт касается прежде всего духовного сословия. Ломоносов — ученый и педагог делал ставку, конечно же, на «мирские» формы просвещения. Но Московский университет с гимназиями, Академический университет в Петербурге с гимназией же — это все для немногих (по сравнению с остальным населением). Вот почему Ломоносов — государственный деятель озабочен положением дел внутри православной церкви с точки зрения, так сказать, морального облика пастырей.

В дополнение к этому пункту он составил специальную записку о духовенстве. Мы помним, как церковники преследовали Ломоносова. Теперь наступал их черед. Новое духовенство, пришедшее в русскую жизнь после петровских

реформ, то есть после подчинения церкви государству, в значительной массе своей с таким энтузиазмом устремилось по «мирской стезе», что уже к середине столетия само, прежде паствы, нуждалось в «исправлении нравов» и не могло служить моральным примером для всего «российского света».

Между тем огромную роль духовенства в «большем народа просвещении» недооценивать нельзя: «Ежели надлежащим образом духовенство должность свою исполнять будет, то благосостояние общества несравненно и паче чаяния возвысится, затем что, когда добрые нравы в народе чрез учение и вкоренение страха (Божия. — *Е. Л.*) усилятся, меньше будет преступлений, меньше челобитья, меньше ябедников, меньше затруднения в судах и меньше законов. Хорошо давать законы, ежели их исполнять есть кому. Посмотрите в Россию, посмотрите в благоустроенные государства. Пусть примером будет Германия».

Ломоносов, конечно же, не призывал во всем копировать способы народного просвещения в Германии, но вот строгость поведения и бытовую чистоплотность протестантского духовенства он не мог не поставить в пример «эмансипированным» православным священникам: «Тамошние пасторы не ходят никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам, не токмо в городах, но и по деревням за стыд то почитают, а ежели хотя мало коего увидят, что он пьет, тотчас лишат места. А у нас при всякой пирушке по городам и по деревням попы — первые пьяницы. И не довольствуясь тем, с обеда по кабакам ходят, а иногда и до крови дерутся».

Ломоносов понимает, что в черновом наброске всего не скажешь (а сказать есть что). Одно для него несомненно: церковь не выполняет должным образом даже самого простого — не учит грамоте как надо. «Много есть еще упомянуть, — заканчивает он эту записку. — Однако главное дело в том состоит, что везде, где только есть церковь, должны попы и причетчики учить грамоте за общую плату всего прихода и не давать бегать по улицам малым ребятам, кои еще ни в какую работу не годятся. Мне кажется, от пяти до десяти, а иные ж и до двенадцати лет могут сколько-нибудь грамоте научиться и Закону».

«4. О исправлении земледелия». В первоначальном наброске этот пункт был сформулирован иначе: «О умножении внутреннего изобилия». Вне всякого сомнения, дальнейшее развитие этой темы должно было включить в себя, помимо чисто хозяйственных вопросов, размышления и рекомендации социально-политического порядка, касающиеся отношений между помещиками и крестьянами (отчасти он уже успел высказать свои соображения по этому кругу проблем, о чем еще будет сказано ниже).

«5. О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств». Этот пункт говорит сам за себя. Необходимо

лишь одно уточнение: под словом «художества», как то было принято в его времена, Ломоносов подразумевает не изящные искусства, а художественные промыслы.

«6. О лучших пользах купечества». Поначалу Ломоносов собирался ограничиться здесь по преимуществу внешнеторговыми вопросами, и тема эта звучала так: «О купечестве, особливо со внешними народами». К этому пункту сохранилась интересная приписка: «Ориентальная академия». Судя по всему, Ломоносов мечтал о создании, говоря языком нашего времени, научно-исследовательского, внешнеторгового и, возможно, военно-дипломатического учреждения, занимающегося проблемами отношений с Востоком (Турция, Персия, Китай, Индия). Надо отдать должное глубине и государственной важности этого замысла Ломоносова: ведь вся европейская внешняя политика XVIII века (и в первую очередь отношения между тогдашними великими державами — Австрией, Францией, Англией и Россией) вращалась вокруг восточного вопроса, подтверждением чему явились две русско-турецких войны, значение которых выходило далеко за рамки только двустороннего столкновения. Но потом Ломоносов от «особливых» мыслей о купечестве в связи с внешней торговлей перешел именно к раздумьям «о лучших пользах купечества» вообще. Он подготовил запрос в Коммерц-коллегию: «Много ли купцов гостинной сотни, сколько и в первой, и в другой, и в третьей гильдии и какие кто знатные торги имеет». Он думал о том, как вернуть купечеству привилегии, которые оно имело при Петре I, а при его преемниках под натиском «промышленного» дворянства, такого, как те же Шуваловы, утратило.

«7. О лучшей государственной экономии». Здесь Ломоносов планировал создание «Экономической ландкарты» России, а также разработку совершенно новой для того времени научной дисциплины — «экономической географии» (кстати, сам этот термин введен в русский язык Ломоносовым). Интерес Ломоносова к проблемам государственной экономии был давним и стойким. Его предшественниками на этом поприще были В. Н. Татищев и выдающийся самоучка петровского времени Иван Тихонович Посошков (1652—1726). Первый, помимо «Истории Российской», составил «Краткие экономические до деревни следующие записки». Второй (крестьянин-ремесленник по происхождению, талантливый изобретатель, затем богатый промышленник, а через полгода после смерти Петра — «опасный человек», арестованный и умерший в застенке) был автором первого в России политико-экономического трактата «Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление, — отчесого приключается напрасная скудость и отчесо бо гобзовитое богатство умножается». Ломоносов имел у себя рукопись этого труда. Некоторые идеи И. Т. Посошкова были ему близки — например, мысли о всяческом поощрении отечественной торговли и промышленности, а также об искоренении нищеты и невежества крестьянства (впрочем, здесь Ломоносов выступал меньшим радикалом, чем его предшественник, требовавший ограничения крепостного права посредством введения жестких законов). С отрадным чувством должен был читать Ломоносов проницательные высказывания И. Т. Посошкова об иностранных специалистах на русской службе. «Много немцы нас умнее науками, — признавал автор «Книги о скудости и богатстве», — а наши остротою, по благодати Божией, не хуже их, а они ругают нас напрасно». Особо подчеркивал И. Т. Посошков то обстоятельство, что интересы иностранцев в России и интересы самой России не совпадают: «Верить им вельми опасно: не прямые они нам доброхоты... Мню, что во всяком деле нас обманывают и ставят нас в совершенные дураки».

Ломоносов продумывал пункт «О лучшей государственной экономии» не только широко, но и подробно. В черновых набросках к этому пункту есть приписка: «О лесах». Более чем за двести лет до нынешнего экологического взрыва, заставившего содрогнуться наше общество, Ломоносов ставил вопрос о рациональном использовании лесов. В труде «О слоях земных» он писал, что ускоренное развитие металлургии может привести к истреблению лесов, и предлагал в качестве топлива шире использовать «турф», а также «горные уголья» (то есть торф и каменный уголь), сделав специальную оговорку: «Но о сем пространнее должно изъясниться в нарочном рассуждении о сбережении лесов...» Он понимал, что решение этой проблемы важно с точки зрения не только промышленности, но и земледелия, и высказывал в высшей степени плодотворные мысли о различной роли различных древесных пород в почвообразовании.

«8. О сохранении военного искусства во время долговременного мира». Выше не раз говорилось, что Ломоносов был убежденным противником войн. Но он видел объективную неизбежность их и как государственный деятель исходил из нее в своих раздумьях над судьбами страны. В качестве действенной меры «сохранения военного искусства во время продолжительного мира» Ломоносов собирался предложить «Олимпические игры» (!). Правда, он не разъяснил, как конкретно следовало проводить их, но само направление его мысли не может не вызвать восхищения. Вообще не исключено, что со временем Ломоносов изложил бы свои мысли о войне более обстоятельно, подтверждением чему служат строки из оды, написанной около месяца спустя после разбираемого письма к И. И. Шувалову. Вот две строфы, которые воспринимаются как рифмованное предисловие к трактату о военном искусстве:

Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба

Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины
Не зацвели, водам равны,
Что вкруг защищены горами,
Дубравой, неподвижны спят
И под ленивыми листами
Презренный производят гад.

Война плоды свои растит,
Героев в мир рождает славных,
Обширных областей есть щит,
Могущество крепит Державных.
Воззрим на древни времена!
Российска повесть тем полна.
Уже из тьмы на свет выходит
За ней великих полк Мужей,
Что на театр всесветный взводит
Одетых солнечной зарей.

Познакомив И. И. Шувалова с направлениями своих будущих общественно-экономических работ, Ломоносов приступает к подробному изложению целого комплекса мероприятий, касающихся первого пункта: «Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей».

Ломоносовская записка состоит из тринадцати параграфов — по числу разновидностей «человекоубивства и самоубивства, народ умаляющего».

Первой причиной «умаления» численности населения России Ломоносов называет неравные браки. Он резко критикует укоренившийся по деревням обычай «малых ребят, к супружеской должности неспособных», женить «на девках взрослых». Большая разница в возрасте, когда «жена могла бы по летам быть матерью своего мужа», приводит как бы к двойному понижению деторождаемости. На первых порах такое супружество бесплодно, ибо муж сам еще ребенок (а ведь взрослая женщина, «будучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу»). Но и последующее течение времени не может выправить положения: «Мальчик, побуждаем будучи от задорной взрослой жены, усиливанием себя прежде времени портит и впредь в свою пору к детородию не будет довольно способен, а когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, в кои к деторождению была способнее». Если же взрослая жена при малолетнем муже забеременеет «непозволенным образом», то чаще всего она идет «на детоубивство еще в своей утробе». К тому же, продолжает Ломоносов, нередки случаи, когда, «гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим и, чтоб за него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает, а после изобличена, предается казни».

Во избежание этих «слезных приключений и рода человеческого приращению вредных душегубств» Ломоносов рекомендует: «По моему мнению, невеста жениха не должна быть старее разве только двумя годами, а жених старее может быть 15-ю летами. Сие для того, что женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к плодородию способны». Бытующее по деревням оправдание неравных браков необходимостью иметь в доме молодых и здоровых работниц Ломоносов считает вздорным и предлагает шире использовать наемный труд либо принимать в долю других хозяев.

Не меньший вред как отношениям между супругами, так и рождаемости причиняют, наряду с неравными, насильные браки (чаще всего из расчета). «Где любви нет, ненадежно и плодородие», — пишет Ломоносов. Он полагает, что серьезную роль здесь могло бы сыграть духовенство: «...должно венчающим священникам накрепко подтвердить, чтоб они, услышав где о невольном сочетании, оного не допускали и не венчали под опасением лишения чина, жениха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде».

Вообще в записке «О сохранении и размножении российского народа» духовенству предъявлено много справедливых претензий. Второй, третий, седьмой и восьмой ее параграфы посвящены вопросам, решение которых целиком зависит от церковников.

Прежде всего, считает Ломоносов, надо отказаться от жесткого правила, регламентирующего количество браков для вдовцов («Первый брак закон, вторый прощение, третий пребеззаконие»). Жениться в четвертый раз категорически запрещалось, что не могло не отразиться на деторождаемости. Оспаривая столь неуместную щепетильность церкви (насильные браки освящает, а здесь вдруг непомерно строгой становится), Ломоносов ссылается на собственные наблюдения: «Много видал я вдовцов от третьей жены около 30-ти лет своего возраста, и отец мой овдовел в третий раз хотя 50-ти лет, однако еще в полной своей бодрости и мог бы еще жениться на четвертой. Мне кажется, было б законам непротивно, если бы для размножения народа и для избежания непозволенных плотских смешений, а от того и несчастных приключений, четвертый, а по нужде и пятый брак был позволен по примеру других христианских народов». Надо только, добавляет он, требовать от родственников умерших жен удостоверения, что вдовец неповинен в их смерти, — сделать это при желании легко и просто.

Так же двусмысленно с моральной и государственной точек зрения ведет себя церковь, не позволяя овдовевшим попам и дьяконам жениться повторно и упекая их в мона-

стыри. Ломоносов саркастически замечает: «Смешная неосторожность! Не позволяется священнодействовать, женясь вторым браком законно, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелюбодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны совершать дается воля». Да и вообще сам институт пострижения давно нуждается в здравомысленном пересмотре. «Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет», — предлагает Ломоносов.

Его приводит в возмущение повсеместный обычай крестить детей холодной водой даже в зимние месяцы: «Попы, не токмо деревенские, но и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, иногда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода была натуральная без примешения, и вменяют теплоту за примешанную материю...» Он, отдавший молодые годы выработке научной теории теплоты, в зрелости потешавшийся над невежеством церковников в «Гимне бороде», теперь, когда дело идет о воспроизводстве русского народа в будущих поколениях, готов взять под защиту каждого младенца, и ему уже не до шуток и не до просветительства: «Однако невеждам-попам физику толковать нет нужды, довольно принудить властию, чтобы всегда крестили водою, летней в рассуждении теплоты равною, затем что холодная исшедшему недавно из теплой матерней утробы младенцу конечно вредна, а особливо который претерпел в рождении... Когда ж холодная вода со льдом охватит члены, то часто видны бывают признаки падучей болезни, и хотя от купели жив избавится, однако в следующих болезнях, кои всякий младенец после преодолеть должен, а особливо при выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь удобнее возобновится. Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю я палачами... Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?»

Впрочем, требование добавлять теплую воду в купель, равно как и предложения повысить возрастной ценз при пострижении, а также разрешить повторные браки для священников и четвертые для прихожан — все это частности по сравнению с тем, что задумал Ломоносов касательно одного из самых главных узаконений православной церкви: «Паче других времен пожирают у нас масленица и св. неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Розговенье тому ж подобно».

Ломоносов был убежден, что великий пост приходится на

неудачную пору. Для населения такой огромной земледельческой страны, как Россия, утверждает он, воздержание от здоровой пищи в конце зимы — начале весны губительно. Вынужденная зимняя праздность, сопровождаемая вынужденным недоеданием и завершающаяся пасхальным объедением, подвергала здоровье людей суровому испытанию, часто непреодолимому. Обосновывая свою точку зрения на этот предмет, Ломоносов выступает не только просветителем и государственным деятелем, но и глубоким знатоком нравов, блестящим бытописателем и пронзительным и грозным публицистом: «Сверх того вскоре следует начало весны, когда все скверности, накопленные от человеков и от других животных, бывшие во всю зиму заключенными от морозов, вдруг освобождаются и наполняют воздух, мешаются с водою и нам с мокротными и цынготными рыбами в желудок, в легкое, в кровь, в нервы и во все строение жизненных членов человеческого тела вливаются, рождают болезни в здоровых, умножают оные в больных и смерть ускоряют в тех, кои бы еще могли пожить долее. После того приближается светлое Христово воскресение, всеобщая христианская радость; тогда хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти господни, однако мысли наши уже на Св. неделе. Иной представляет себе приятные и скоромные пищи, иной думает, поспеет ли ему к празднику платье, иной представляет, как будет веселиться с родственниками и друзьями, иной ожидает, прибудут ли запасы из деревни, иной готовит живописные яйца и несомненно чает случая поцеловаться с красавицами или помилее свидаться. Наконец заутреню в полночь начали и обедню до свету отпели. Христос воскресе! только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объядением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники. О истинное христианское пощение и праздество! Не на таких ли Бог негодует у пророка: «Праздников ваших ненавидит душа моя, и кадило ваше мерзость есть предо мною!»

Что же предлагает Ломоносов для изменения столь пагубных обыкновений? Возможно, у современного социолога или демографа ломоносовские предложения вызовут улыбку как наивные. Но не будем забывать, что Ломоносов поставил главную демографическую проблему (сохранения и размножения народа), когда, казалось бы, не было никаких оснований для беспокойства, когда, кроме него, никому и в голову не приходило, что, быть может, наступят времена необрати-

мого «умаления» великого народа. Предлагая свои меры, Ломоносов менее всего заботился о том, как их оценят потомки. Он заботился о том, чтобы сами потомки **были.** А вот меры его отличались не наивностью, а какою-то неистовой революционностью (сродни петровской) ввиду грозивших опасностей: «Если б наша масленица положена была в мае месяце, то великий пост был бы в полной весне и в начале лета, а Св. неделя около Петрова дня, то бы, кроме новых плодов земных и свежих рыб и благорастворенного воздуха, 1-е) *поспешествовало бы сохранению здравия движение тела* в крестьянах пахотною работою, в купечестве дальнею ездою по земле и по морю, военным — экзерцициею и походами; 2-е) ради исправления таких нужных работ меньше бы было праздности, матери невоздержания, меньше гостьбы и пирушек, меньше пьянства, неравного жития и прерывного питания, надрывающего человеческое здравие...»

Требовалась едва ли не безрассудная смелость, чтобы всерьез предлагать такое в пору царствования набожной Елизаветы. Синод и раньше видел в поведении Ломоносова «дерзость», а в писаниях «сумнительства». Можно себе представить, что́ обрушили бы на его беспокойную голову церковники, если б записка «О сохранении и размножении российского народа» была напечатана при жизни его. Конечно же, не случайно то, что ее опубликовали полностью более ста лет спустя после написания (в частичной же публикации 1819 года были опущены как раз те места, где высказывалось критическое отношение к церковным обрядам). По сути дела, Ломоносов затевал нечто вроде малой реформации православной церкви.

Точно так же, как в «Явлении Венеры на Солнце», Ломоносов и в записке «О сохранении и размножении российского народа», обосновывая свое предложение о перенесении великого поста в другое время года, ведет разговор с оппонентами из церковников на их языке. Он прибегает к простому, но очень действенному риторическому приему, чтобы показать, что отцы православной церкви, устанавливая время и порядок постов, исходили из совершенно конкретного жизненного уклада и природных условий, в которых находились сами. Напрямую, через голову современного ему духовенства, он обращается к веро- и законоучителям древности со здравомысленным вопросом и вкладывает в их уста не менее здравомысленный ответ, в котором не только его правота доказывается, но еще и этический упрек его оппонентам содержится:

«Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители постов и праздников, и со всяким благоговением вопрошаю Вашу святость: что вы в то время о нас думали, когда св. великий пост поставили в сие время?.. Вы скажете: «Располагая посты и праздники, жили мы в Греции и в земле обетованной. Святую четыредесятницу тогда содержать установили, когда у нас полным сиянием вешнего солнца земное богатое недро отверзается, произращает здоровыми соками наполненную молодую зелень и воздух возобновляет ароматными духами; поспевают ранние плоды, в пищу, в прохлаждение и в лекарство купно служащие... А про ваши полуночные страны мы рассуждали, что не токмо там нет и не будет христианского закона, но ниже единого словесного обитателя ради великой стужи. Не жалуйтесь на нас! Как бы мы вам предписали есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина по красоуле, чего у вас не родится? Расположите, как разумные люди, по вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время или в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Есть у вас духовенство, равную нам власть от Христа имеющее вязати и решати. Для толь важного дела можно в России вселенский собор составить: сохранение жизни толь великого множества народа того стоит. А сверх того, ученьем вкорените всем в мысли, что Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу, что посты учреждены не для самоубивства вредными пищами, но для воздержания от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и другими образы ближнего повредитель прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние есть доброе житие, Бога к милосердию, к щедроте и люблению нашему преклоняющее. Сохрани данные Христом заповеди, на коих весь закон и пророки висят: «Люби господа Бога твоего всем сердцем (сиречь не кипками) и ближнего как сам себя (т. е. совестью, а не языком)».

Если перенос великого поста (и Ломоносов понимал это) требовал преодоления «ужасных препятствий», то другие свои предложения, касающиеся устранения чисто мирских причин повышенной смертности населения, он излагает сжато, энергично, без риторических ухищрений.

Он призывает смотреть на вещи здраво. Скажем, всем известно, что матери незаконнорожденных детей, не в силах вынести позора, либо убивают, либо бросают их на произвол судьбы. Терпеть этого долее нельзя. «Для избежания столь ужасного злодейства и для сохранения жизни неповинных младенцев, — советует Ломоносов, — надобно бы учредить нарочные богаделенные домы для невозбранного зазорных детей приему, где богаделенные старушки могли б за ними ходить вместо матерей или бабок...» Причем у него все было продумано в отношении устройства таких домов, ухода за сиротами, воспитания их, обучения грамоте и различным специальностям: «...но о сем, — присовокупляет он, — особливо, в письме о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств». В 1764 году в Москве был открыт первый

в России Воспитательный дом по проекту И. И. Бецкого (1704—1795), но он имел мало общего с замыслом Ломоносова.

Далее в своей записке Ломоносов переходит к вопросу о детских болезнях, «из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое рождение». Люди привыкли к тому, что роды — это страдание лишь для матери. Ломоносов не согласен: «Страждет младенец не менее матери, и тем только разнится их томление, что мать оное помнит, не помнит младенец». Потом, продолжает он, следуют: «болезнь при выходе зубов» (часто сопровождавшаяся в те времена падучей), «грыжи, оспа, сухотка, черви в животе и другие смерти детской причины». В возрасте до трех лет умирает огромное число детского народа, а в России нет сносного общего руководства, «как лечить нежных тел болезни». Для «умаления толь великого зла» Ломоносов настоятельно советует: 1) в области гинекологии — «выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за основание, сочинить наставление на российском языке (...), к чему необходимо должно присовокупить добрые приемы российских повивальных искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговременным искусством дело знающих, спросить каждую особливо и всех вообще и, что за благо принято будет, внести в оную книжицу»; 2) в области педиатрии — составить популярное пособие на основе капитального труда по детским болезням Фридриха Гофмана (1660—1742), шеститомника «Собрание медицинских сочинений», вышедшего в 1740 году в Женеве, и, «присовокупив из других лучшее, соединить с вышеписанною книжкою о повивальном искусстве; притом не позабыть, что́ наши бабки и лекари с пользою вообще употребляют»; 3) в области фармацевтики — «наблюдать то, чтобы способы и лекарства по большей части не трудно было сыскать везде в России, затем что у нас аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены, о чем давно бы должно было иметь попечение» («...но о сем особливо представлено будет», — добавляет он); 4) в области, которую теперь называют санпросветом, — объединив пособия по повивальному искусству и детским болезням под общей обложкой и «оную книжицу напечатав в довольном множестве, распродать во все государство по всем церквам, чтобы священники и грамотные люди, читая, могли сами знать и других наставлением пользовать».

Понимая, что у И. И. Шувалова и вообще у правительства эти предложения могут вызвать несерьезное отношение (тут, мол, со «взрослыми» проблемами не разобраться, а он с малыми ребятами досаждает, притом русские бабы плодовиты, народят новых взамен умерших), Ломоносов ссылается на статистические данные, обнародованные в Париже: подсчет умерших в различных приходах показал, что число смертей в возрасте до трех лет почти равно (!) числу смертей в возрасте от четырех до ста лет. И завершает разговор о детской смертности таким вот впечатляющим вычислением: «Итак, положим, что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года. Посему на каждый год будет рожденных полмиллиона, из коих в три года умирает половина или еще по здешнему небрежению и больше, так что на всякий год достанется смерти в участие по сту тысяч младенцев не свыше трех лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, чтобы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, можно было удобными способами сохранить в жизни?»

Далее Ломоносов переходит к мерам по улучшению здравоохранения взрослого населения. В России по большей части «лечат наугад», наряду с «натуральными способами» широко распространены «ворожeнье и шептанье», другие виды народной псевдомедицины, основанные на суевериях. Как видим, Ломоносов не все народные средства признавал. Принимая на вооружение лучшее из того, что было накоплено многовековым опытом неграмотных лекарей, он решительно отвергал «искусство» всевозможных знахарей, спекулирующих на психике больных, надломленной страхом смерти. Исключение, помимо повитух, он делал только для тех, кто действительно «знает лечить некоторые болезни, а особливо внешние, как коновалы и костоправы, так что иногда и ученых хирургов в некоторых случаях превосходят». Для улучшения народного здравоохранения Ломоносов рекомендует «послать довольное число российских студентов в иностранные университеты», предоставить будущим отечественным университетам, наряду с Московским, «власть производить достойных в доктора» и, наконец, обязать иностранных лекарей и аптекарей, находящихся на русской службе, готовить из «учеников российского народа» специалистов-медиков и периодически отчитываться в этом перед Сенатом.

В особую группу причин, повышающих смертность, Ломоносов выделяет стихийные бедствия («моровые язвы, пожары, потопления, морозы»). Для борьбы с «моровыми язвами» и «поветриями на людей», то есть с эпидемиями, он предлагает «сочинить Медицинскому факультету книжку и, напечатав, распродать по государству». Кроме того, он пишет о необходимости исследовательских работ по предупреждению эпидемий. Что касается пожаров, то о борьбе с ними Ломоносов собирался подробно доложить «в письме о лучшей государственной экономии». По поводу «потоплений» он замечает, что они «суть двояки: от наводнения и от неосторожной дерзости, особливо в пьянстве». Для избежания смертей от последнего, обещает Ломоносов, «в главе о истреблении праздности предложатся способы, равно как и для

избавления померзания многих зимою». Как видим, он постоянно держит в памяти общий план своих общественно-экономических работ.

Не меньший ущерб, чем стихийные бедствия, причиняют народу, по убеждению Ломоносова, «убивства, кои бывают в драках и от разбойников». Предлагая свои способы по борьбе с преступниками, он выступает одним из основоположников системы уголовного розыска в России. Его не удовлетворяет практика случайных, непродуманных вылазок против злодеев: «На разбойников хотя посылаются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя знатно убавить нет почти никакой надежды». Ломоносов излагает способ, который представляется ему «всех надежнее, бережливее... и притом любезнее, затем что он действие свое возымеет меньшим пролитием человеческой крови». Он исходит из того, что разбойники «при деревнях держатся, а в городах обыкновенно часто бывают для продажи пограбленных пожитков». Следовательно, ловить их надо в городах. Тогда «не занадобится далече посылать команды и делать кровопролитные сражения со многими, когда можно иметь случай перебрать по одиночке и ловить их часто». Надо только обнести города крепкими стенами (что, помимо прочего, придаст им благопристойный вид, а то ведь «проезжающие иностранные не без презрения смотрят на наши беспорядочные города или, лучше сказать, развалины»), поставить «ворота с крепкими запорами и с надежными мещанскими караулами, где нет гарнизонов», затем «в каждом огражденном городе назначить постоянные ночлеги для прохожих и проезжих с письменными дозволениями и с вывескою». Наконец, необходимо ввести строгий паспортный режим, для чего «приказать, чтобы каждый хозяин на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был на ночлеге и сколько времени, а другие бы мещане принимать к себе в дом приезжих и прохожих воли не имели, под опасением наказания, кроме своих родственников, в городе известных». Чтобы привлечь к розыску население, назначить денежное вознаграждение за одного пойманного разбойника «по 10 руб. из мещанского казенного сбору, а за главных злодейских предводителей, за атамана, эсаула, также и за поимание и довод того, кто держит воровские прибежища, по 30 руб.».

Не оставил своим вниманием Ломоносов и такого острого вопроса, как вопрос о «живых покойниках», то есть о беглых: «С пограничных мест уходят люди в чужие государства, а особливо в Польшу, и тем лишается подданных Российская корона». Размышляя над причинами ухода, он называет две: раскол и притеснения со стороны помещиков. Причем вторая причина, по его мнению, самая главная: «Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов». Было бы неверно преувеличивать политическое значение этой реплики, видеть в ней, подобно

некоторым биографам, «ярко выраженный протест против крепостного права». Но еще более неверно упрекать Ломоносова за то, что он не «призывал к уничтожению позорного рабства». Дело здесь даже не в том, что он боялся (хотя судьба И. Т. Посошкова и его книги была ему известна). Дело в том, что он выступает здесь автором записки о способах увеличения численности народонаселения России, а не о ее социально-политическом строе. В сущности, в рамках своей темы он мог бы вообще умолчать о «помещичьих отягощениях крестьянам» — уже названных причин «потери российского народа» более чем достаточно было для того, чтобы поставить точку. Однако он не только не умолчал, но и взял на себя смелость посоветовать правительству: «...мне кажется, лучше пограничных с Польшей жителей облегчить податьми и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству». Были ли прогрессивными предложенные Ломоносовым меры? Это уже другой вопрос. Нет. Не были. Но ведь в течение двухсот лет и после него центральная власть часто решала проблемы окраин за счет остального населения. Ломоносов исходил из реального положения дел: поскольку из дальних глубин крестьяне даже при очень сильном желании не смогут совершить массовый уход за рубеж, постольку о них и нет речи, а вот в пограничных губерниях... и т. д. Кроме того, к вопросу о беглецах он собирался вернуться в запланированной работе «О исправлении нравов и о большем просвещении народа». Судя по всему, в ней он был намерен исправлять нравы и просвещать не только раскольников и крестьян (то есть тех, кого отягощают), но и помещиков (тех, кто отягощает).

То, что Ломоносова проблема «помещичьих отягощений крестьянам» волновала только как государственного деятеля, озабоченного сокращением числа подданных, можно видеть и из такого вот его совета: «Место беглецов за границы удобно наполнить можно приемом иностранных, ежели к тому употреблены будут пристойные меры. Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насильства удаленных». То есть здесь Ломоносов размышляет не столько о русском народе, сколько о русских подданных. Действительно: Семилетняя война тяжелым бременем легла на население центральноевропейских государств — почему бы не приютить беглецов оттуда взамен беглецов, устремившихся туда?..

В заключение Ломоносов высказывает сожаление, что не все способы увеличения численности русского народа удалось изложить в записке, что не успел он «сочинить примерный счет» этого увеличения по годам (если способы его будут приняты): «Однако требуются к тому для известия многие обстоятельства и не мало времени: для того только одною догадкою досягаю несколько, что на каждый год мо-

жет взойти приращение российского народа больше против прежнего до полумиллиона душ, а от ревизии до ревизии в 20 лет — до 10 миллионов. Кроме сего, уповаю, что сии способы не будут ничем народу отяготительны, но будут служить к безопасности и успокоению всенародному».

Как уже говорилось, полностью записка «О сохранении и размножении российского народа» была напечатана более ста лет спустя после смерти Ломоносова. Следовательно, она не могла оказать своего воздействия на изменение численности народонаселения России. К тому же XX век открыл для «умаления» народов такие способы, какие и в самом страшном сне не могли присниться Ломоносову (скажем, мировые войны, массовые репрессии, урбанизация сельского населения, химизация питания и т. д.). Вот почему нельзя не признать, что мы отчасти в долгу перед Ломоносовым, который уже двести двадцать пять лет назад страстно желал и изыскивал меры к тому, чтобы нас было больше. Русский народ для Ломоносова, о «сохранении и размножении» которого он печется, — это и огромное множество от первых славянских племен до современников и самых дальних потомков, и каждый отдельный русский человек от царя до младенца, только что вышедшего из «теплой матерней утробы».

2

Обращаясь к географическим трудам Ломоносова, написанным в последние два года его жизни, вновь и вновь убеждаешься в органичности его гения. В общем-то, вопрос для него стоял предельно практично и просто: хорошо, допустим, российский народ размножился — где жить «толикому множеству»? Вот почему почти одновременно с запиской «О сохранении и размножении российского народа» Ломоносов размышляет о хозяйственном освоении огромных пространств России за Уральским хребтом. (В XX веке примерно так же по типу развивалась мысль К. Э. Циолковского, который, восприняв идею воскрешения отцов в «Философии общего дела» Н. Федорова не как причуду полусумасшедшего идеалиста, а как наставление к практическим разработкам, заложил основы ракетной техники для освоения всего околосолнечного пространства воскрешенным человечеством.)

Мысли о северных морях и Сибири не оставляли Ломоносова, по существу, на протяжении всей его академической службы. Они волновали его и как ученого и как поэта:

Колумб Российский через воды
Спешит в неведомы народы...

Это первое появление «Колумба Российского» в поэзии Ломоносова (ода 1747 года). Потом мы встретим его в одах 1752 и 1760 годов. Наконец, в поэме «Петр Великий» Ломоносов укажет нашим мореходам и конкретный курс их дерзаний:

Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава.

Интерес в Европе к отысканию морского торгового пути в Индию через Северный Ледовитый океан был огромен. В XV—XVII веках англичане, голландцы, датчане, испанцы предприняли целый ряд экспедиций по исследованию арктического побережья Северной Америки на предмет обнаружения северо-западного прохода из Европы в Тихий океан. Вместе с тем среди европейских путешественников и ученых были защитники и северо-восточного прохода, вдоль сибирского берега. В XVIII веке поиски и споры активизировались.

Петербургская Академия наук включилась в общеевропейскую полемику по этому важнейшему научному, торговому, политическому и стратегическому вопросу в пятидесятые годы. Толчком послужил выход в Париже двух географических трудов, в которых отрицался приоритет открытий русских мореходов в Тихом океане. Это были книги Ж. Делиля — еще недавно петербургского академика — «Объяснение карты новых открытий в северной части Тихого океана» (1752) и астронома Ф. Бюаша «Географические и физические замечания о новых открытиях в северной части Великого океана, в просторечии называемого Южным» (1753). С опровержением французских искажений выступил Миллер, опубликовавший в 1753 году в Берлине «Письмо офицера русского флота к некоему знатному придворному по поводу карты новых открытий на севере Южного моря». В 1754 году он составил свою карту русских открытий на Тихоокеанском побережье Северной Америки.

Ломоносов к этому времени в общих чертах уже продумал географическую гипотезу, основанную на глубоких исторических и физических разысканиях. В отчете за 1755 год он упоминает сочиненное им «Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном». Годом раньше Ломоносовым были «изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины на море при мрачном небе» и, кроме того, «деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может, при том были разные химические растворы морожены для сравнения». Ломоносовское «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях» (1761), направленное в Шведскую академию, также содержало материал в пользу идеи северо-восточного прохода, что было с интересом отмечено не только в Стокгольме, но и в других городах Западной Европы.

В вопросе о Северном морском пути Ломоносова не менее естественнонаучной занимала и историческая сторона

его. В 1758 году вышла работа Миллера по русским путешествиям в арктических водах. По глубокому убеждению Ломоносова, эти путешествия «вполне подтверждали, что, не взирая на неудачи голландцев, пытавшихся пройти к северо-востоку, явствует противное из неутомимых трудов нашего народа: россияне далече в оный край на промыслы ходили уже действительно близ 200 лет». В 1760 году в замечаниях на первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Ломоносов указывал на характерную погрешность Вольтера: «В американской экспедиции через Камчатку не упоминается Чириков, который был главным и прошел далее, что надобно для чести нашей. И для того послать к сочинителю карту оных мореплаваний»[1].

Заступаясь здесь за капитана-командора Алексея Чирикова, спутника Беринга в первой и второй Камчатских экспедициях, Ломоносов не только «честь нашу» отстаивает. Он озабочен прежде всего восстановлением истинной картины постепенного освоения арктического и тихоокеанского побережий Сибири и Дальнего Востока, на основании которой могли бы быть выработаны четкие рекомендации будущим мореходам по прохождению Северным Ледовитым океаном в Тихий. Тем более что к этому времени в его голове уже в целом созрел капитальный экономико-географический труд по этой проблеме, который будет закончен к сентябрю 1763 года, но свет увидит лишь восемьдесят четыре года спустя, — знаменитое «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

В своем «Кратком описании» Ломоносов создает масштабное эпическое полотно противоборства человека с суровой стихией, охватывающее период более чем в триста лет. Главные действующие лица в нем — Джон и Себастьян Кэботы, Джон Девис, Джордж Веймаут, Генри Гудзон, Вильям Баффин, Роберт Байлот, Виллем Баренц и другие — английские, датские, голландские, испанские, португальские мореплаватели, промышленники, исследователи. Их героические усилия по освоению и познанию Севера поддержаны и приумножены беззаветным трудом русских землепроходцев, мореходов и купцов — Федота Попова, Семена Дежнева, Герасима Анкудинова, Владимира Атласова, Никифора Малыгина, Федора Минина, Харитона и Дмитрия Лаптевых, Родиона Михайлова, Якова Вятки, Меркурия Вагина, Василия Прончищева, Семена Челюскина, Дмитрия Овцына, Алексея Чирикова и других. Так что «Колумбы Росские» пришли в поэзию Ломоносова из живой, полной драматизма истории покорения Русского Севера.

[1] Имеется в виду составленная в 1754 году и изданная в 1758 году Миллером «Карта, представляющая изобретения, российскими мореплавателями на Северной части Америки с около лежащими местами в разные путешествия учиненные».

«Краткое описание», посвященное наследнику Павлу Петровичу, в младенчестве еще получившему чин генерал-адмирала и с ним номинальное командование флотом России, было задумано прежде всего как наставление властям предержащим. К тому же оно в большой степени являлось развитием шестого и седьмого пунктов из общего плана работ, изложенного в записке «О сохранении и размножении российского народа»: «О лучших пользах купечества» и «О лучшей государственной экономии».

Уже в самом начале Ломоносов задает высокий государственный тон всему последующему изложению: «Благополучие, слава и цветущее состояние государств от трех источников происходит. Первое — от внутреннего покоя, безопасности и удовольствия подданных, второе — от победоносных действий против неприятеля, с заключением прибыточного и славного мира, третие — от взаимного сообщения внутренних избытков с отдаленными народами чрез купечество. Российская империя внутренним изобильным состоянием и громкими победами с лучшими европейскими статами равняется, многие превосходит. Внешнее купечество на востоке и на западе хотя в нынешнем веку приросло чувствительно, однако, рассудив некоторых европейских держав пространное и сильное сообщение разными торгами со всеми частьми света и малость оных против российского владения, не можем отрещись, что мы весьма далече от них остались». Освоение Северного морского пути и предлагается в качестве одной из настоятельных и реальных мер для того, чтобы приблизиться к «некоторым европейским державам» в смысле «сильного сообщения разными торгами» с миром: «...Северный океан есть пространное поле, где... усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, через изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку».

Предлагая снарядить экспедицию для отыскания северовосточного прохода, Ломоносов вполне отдает себе отчет в тех немаловажных трудностях, которые могут послужить основанием для отказа от этого начинания. Он называет их четыре: во-первых, неудачи предшественников (как русских, так и западноевропейских), во-вторых, большие расходы, в-третьих, людские потери, наконец, в-четвертых, вполне мыслимая возможность того, что открытием русских мореходов воспользуются другие.

Упреждая будущих скептиков, Ломоносов совершенно резонно полагает, что былые неудачи были неизбежны вследствие «неясного понимания предприемлемого дела», плохого знания законов природы, смутного представления о том, что готовит «предлежащая дорога», вследствие беспорядочной подготовки к походам и особенно вследствие их разрозненности («промышленники ходили порознь, одинакие, не думали про многолюдные компании»), а также из-за низкого

качества судов («суда употреблялись шитые ремнями, снасти ременные, парусы кожаные»). Но, учитывая все это, нельзя не признать, продолжает Ломоносов, что усилия и жертвы предшественников не пропали даром: «Между тем принесли много пользы, изведав и описав почти все берега сибирские, чего бы нам без их походов знать было невозможно, и сверх того подали пример, что впредь с лучшим основанием и распорядком может воспоследовать желаемое исполнение». Кроме того, в результате этих неудачных, казалось бы, походов было открыто множество новых мест, изобильных рыбой и морским зверем. Ломоносов и здесь упреждает возможные возражения замечательно здравомысленным доводом: «Скажет кто, что ход для промыслов далек будет, — ответствую примером англичан, что их рыбные и звериные промыслы в Гудсонском заливе не ближе от Лондона, как Чукотский мыс от Архангельского города, и путь их лежит ледистыми и опасными морями».

Таким образом, по мнению Ломоносова, и неудачи прошлых экспедиций, и «великие убытки», потребные на подготовку новой, не могут служить серьезным основанием для отказа от нее: прошлые неудачи в достижении главной цели (то есть в отыскании Северного морского пути в Индию) вполне компенсировались открытием богатых рыбных, звериных и лесных угодий, и вот почему «великие убытки», которые понесет государство, готовя новую экспедицию, вскорости обернутся «великими прибытками», даже если она окажется неудачной.

Гораздо важнее, с точки зрения Ломоносова, возражение, основанное на заботе о людях. То, что участников предполагаемого похода ожидают суровые испытания и, быть может, гибель, Ломоносов не отрицает. Он даже готов пожертвовать сотней жизней, приглашая поразмыслить над этим в свете высших для XVIII столетия ценностей — общей пользы и славы. Большие цели требуют жертв. К тому же просвещенный век — это цепь нескончаемых войн больших и малых, в которых люди истреблялись сотнями тысяч, жестоко и подчас бессмысленно (последний пример — Семилетняя война).

Вот почему Ломоносов с пафосом, болью и здравомысленным негодованием восклицает: «Для приобретения малого лоскута земли или для одного только честолюбия посылают на смерть многие тысячи народа, целые армии, то здесь ли должно жалеть около ста человек, где приобрести можно целые земли в других частях света для расширения мореплавания, купечества, могущества, для государственной и государской славы, для показания морских российских героев всему свету и для большего просвещения всего человеческого роду. Если же толикая слава сердец наших не движет, то подвигнуть должно нарекание от всей Европы, что, имея Сибирского океана оба концы и целый берег в своей

власти, не боясь никакого препятствия в поисках от неприятеля и положив на то уже знатные иждивения с добрыми успехами, оставляем все втуне, не пользуемся божеским благословением, которое лежит в глазах и в руках наших тщетно; и содержа флоты на великом иждивении, всему государству чувствительном, не употребляем в пользу, ниже во время мира оставляем корабли и снаряд[1] в жертву тлению и людей, к трудам определенным, предаем унынию, ослаблению и забвению их искусства и должности».

Последнее возможное возражение противников экспедиции, основанное на опасении, что ее результаты попадут «в чужие руки», по мнению Ломоносова, «обращается в ничто» следующими его доводами. Во-первых, путь, которым пойдет экспедиция, «к нам ближе, чем к прочим европейским державам»; во-вторых, суровый климат высоких широт для русских «сноснее», чем для выходцев из Западной Европы; в-третьих, можно построить зимовья, куда иностранцы не получат доступа; наконец, в-четвертых, даже в тех местах, «где климат, как во Франции» (Камчатка, Курилы), основание поселений и «хорошего флота с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов» пресечет малейшую надежду иностранцев на то, чтобы воспользоваться русскими открытиями в своих выгодах.

Завершается «Краткое описание» вещими словами: «...российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».

Свое сочинение Ломоносов направил в Комиссию российских флотов и адмиралтейского правления, созданную 17 ноября 1763 года для проверки и улучшения состояния русского флота с тем, чтобы привести его «к обороне государства в настоящий постоянный добрый порядок». Есть основания полагать, что «Краткое описание» писалось как раз в расчете на прочтение его в Комиссии. При содействии одного из руководящих членов Адмиралтейской коллегии, графа И. Г. Чернышева, ломоносовский проект 22 декабря 1763 года поступил в Комиссию российских флотов с сопроводительным письмом, подписанным девятилетним «генерал-адмиралом». Уже 19 января 1764 года в письме к графу М. И. Воронцову Ломоносов бодро сообщал: «Его высочеству цесаревичу поднесена от меня письменная книга о возможности мореплавания Ледовитым нашим Сибирским океаном в Японию, Америку и Ост-Индию; почему и велено Адмиралтейской Комиссии учинить расположение с рассмотрением, и не сумневаюсь, что экспедиция туда воспоследует».

В § 83 «Краткого описания» Ломоносов указал два варианта прохода к «Чукотскому носу»; 1. «мимо восточно-север-

[1] Здесь: снаряжение.

ного конца Новой Земли» и 2. «между Гренландиею и Шпицбергеном». 5 марта 1764 года Комиссия российских флотов и адмиралтейского правления произвела в присутствии Ломоносова опрос четырех поморов, специально вызванных ею из Архангельска в связи с намечаемой экспедицией. Их показания убедительно свидетельствовали в пользу второго варианта, предложенного Ломоносовым, — «между Гренландиею и Шпицбергеном» (первый вариант пути был реализован лишь в 1932 году на ледоколе «Сибиряков»).

С этого момента Ломоносов уже до самых последних дней озабочен конкретной подготовкой экспедиции. Тогда же, в марте 1764 года, вслед «Краткому описанию» он пишет «Прибавление. О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану», в котором подтверждает гарантию успешного похода на Восток «между Гренландиею и Шпицбергеном» новыми данными и доказывает необходимость на Шпицбергене «в Клокбайской пристани построить зимовье и магазин» (то есть склад с припасами). 24 апреля 1764 года Ломоносов пишет «Прибавление второе, сочиненное по новым известиям промышленников из островов американских и по выспросу компанейщиков, тобольского купца Ильи Снигирева и вологодского купца Ивана Буренина». Поводом к его написанию послужила полученная в начале апреля от сибирского губернатора Д. И. Чичерина реляция об открытии новых островов Алеутской гряды казаком Савином Пономаревым и мореходом Степаном Глотовым с приложением составленной ими карты. Одновременно в Петербург прибыли И. Снигирев и И. Буренин, чьи показания заинтересовали Адмиралтейство и науку в лице Ломоносова. В «Прибавлении втором» он использовал свидетельства «компанейщиков», которые не только не противоречили его проекту, но, напротив, укрепляли уверенность в «добром успехе полезного оного предприятия».

14 мая 1764 года Екатерина II направила в Адмиралтейскую коллегию секретный указ (о нем даже Сенат не знал) об организации поисков северо-западного прохода в Камчатку. Посланный одновременно с ним гласный указ той же коллегии предписывал возобновить на Шпицбергене китовый промысел, на что выделялось 20 000 рублей из бюджета Адмиралтейства. В сущности, оба указа имели в виду экспедицию, на которой настаивал Ломоносов. Но знать об этом должны были немногие — лишь участники и ответственные за организацию — «для прикрытия от иностранных сего походу». Руководителем экспедиции был назначен капитан первого ранга, впоследствии известный адмирал Василий Яковлевич Чичагов (1726—1809).

Выступив на заседании Адмиралтейской коллегии 25 июня 1764 года (том самом, на котором состоялось назначение В. Я. Чичагова), Ломоносов предложил реестр необходимых инструментов и приборов, которыми должно было снабдить участников похода: тут и часы (песочные, пружинные, карманные, астрономические), и квадранты, и «подзорные добрые трубки», и «вентиляторы» (приборы для определения направления и силы ветра), и «мортирки со шлагами» (то есть с гранатами для произведения взрывов в исследовательских целях), и термометры, и телескоп, и карты, и барометры, и компасы, и журналы, и даже «таблицы лунные и спутников Юпитеровых» и т. д. — всего сорок восемь пунктов.

Наконец, с июня 1764-го по март 1765 года (практически до самой смерти) Ломоносов работал над «Примерной инструкцией морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным Сибирским океаном». Здесь он выполнял один из пунктов екатерининского указа от 14 мая 1764 года, где было специально оговорено: «Сочинить и дать главнокоманду имеющему офицеру обстоятельную инструкцию для порядочного управления и для всяких чаятельных случаев».

Ломоносовская инструкция подробным образом наставляла участников будущего похода. Юношеский опыт помора и эрудиция ученого используются здесь в равной мере для сообщения самых необходимых и полезных рекомендаций навигационного, чисто научного, государственного, морального характера.

Вот, скажем, совет не пренебрегать народными приметами: «Для признания в близости земель взять со Шпицбергена на каждое судно по нескольку воронов или других птиц, кои на воде плавать не могут, и в знатном отдалении от берегу пускать на волю, ибо когда такое животное увидит землю, в ту сторону полетит, а не видя земли и уставши, опять на корабль возвратится. Подобная сему есть и другая примета, что чайки с рыбою во рту летают всегда на землю для корму своих птенцов и тем оную плавающим показывают, чему должно следовать в плавании, когда землю видеть или на ней побывать занадобится».

С другой стороны, включает Ломоносов и указания, преследующие чисто научные цели: «В передовом и обратном пути или где стоять либо зимовать случится, сверх обыкновенного морского журнала, записывать: 1. состояние воздуха по метеорологическим инструментам; 2. время помрачения луны и солнца; 3. глубину и течение моря; 4. склонение и наклонение компаса; 5. вид берегов и островов; 6. с знатных мест брать морскую воду в бутылки и оную сохранять до Санкт-Петербурга с надписью, где взята; 7. записывать, какие где примечены будут птицы, звери, рыбы, раковины, и что можно собрать и в дороге не будет помешательно, то привезти с собою; 8. камни и минералы отличные также брать для показания здесь; 9. все, что примечания достойно сверх сего случится или примечено будет, прилежно записывать; 10. паче же всего описывать, где найдутся, жителей вид,

нравы, поступки, платье, жилище и пищу. Однако все сие производить, не теряя времени, удобного к произвождению главного предприятия».

А вот то, что касается «главного предприятия» — отыскания Северного морского пути в Тихий океан. Здесь Ломоносов по-государственному рачителен и строг. Поскольку экспедиция затеяна в видах «приращения» России, то «на всех берегах, где для нужды какой или для изведания пристать случится, оставлять знаки своей бытности, ставя столбы с надписанием имени и времени». Большое внимание уделяет он вопросам дисциплины, предписывая руководству экспедиции жесткую программу поощрений и наказаний: «Ободрение людей и содержание в порядке есть важное дело в таковых трудных предприятиях. Для того прилежных и бодрых за особливые их выслуги поощрять командирам оказанием удовольствия и обещанием награждения или и прибавкою порции. Напротив того, с ленивыми, неисправными или ослушными поступать строго по Морскому уставу. За междоусобные брани и драки наказывать на теле жестоко, а еще жесточае за роптание на начальников. За угрозы держать в железах крепко и потамест не освобождать, пока пройдут затруднения, или посылать их в самые опасные места. Когда ж кто изобличится в заговоре против командиров и в начатии бунта, того по учинении над ним военного суда казнить смертию без всякого изъятия, не ожидая повеления от высочайшия власти, в силу Морского уставу».

Обращаясь к рядовым участникам будущего похода, Ломоносов делает ставку на то, что сам же называет «ободрением людей». Здесь голос его теплеет, вбирает в себя сочувственные интонации. Порою кажется, что он принадлежит не вдохновителю экспедиции, остающемуся в Петербурге, а деятельному и вдохновенному участнику ее, отправившемуся в плавание вместе со всеми. Даже на самый трудный случай (если вдруг «от чего, Боже сохрани, судно повредится») у него есть слова ободрения, практического и морального наставления для товарищей по путешествию: «...не отдаляться без крайней нужды от судна, стараться всячески быть в движении тела, промышляя птиц и зверей, обороняясь от цынги употреблением сосновых шишек, шагры и питьем теплой звериной и птичьей крови, утешением и ободрением, помогая единодушием и трудами, как брат брату, и всегда представляя, что для пользы отечества все понести должно и что сему их подвигу воспоследует монаршеская щедрота, от всея России благодарность и вечная в свете слава».

Прекрасно понимая, что «монаршеская щедрота» может и не «воспоследовать», Ломоносов напоминал власть имущим: «Кто в сем путешествии от тяжких трудов, от несчастия или болезни, в морском пути бывающей, умрет, того

жене и детям давать умершего прежнее рядовое жалованье, ей до замужества или до смерти, а им до возраста».

9 мая 1765 года, месяц спустя после смерти Ломоносова, экспедиция В. Я. Чичагова взяла курс из Колы на Шпицберген. Она состояла из трех небольших кораблей специальной ледовой конструкции (с двойной обшивкой) и 178 человек команды. Корабли назывались «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» — по именам начальника и его помощников: капитана второго ранга Никифора Панова и капитан-лейтенанта Василия Бабаева. Кроме команды, на них находилось двадцать шесть промышленников, взятых по рекомендации Ломоносова: «Сверьх надлежащего числа матрозов и солдат взять на каждое судно около десяти человек лучших торосовщиков из города Архангельского, с Мезени и из других мест поморских, которые для ловли тюленей на торос ходят, употребляя помянутые торосовые карбаски или лодки; по воде греблею, а по льду тягою, а особливо, которые бывали в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть стужу и нужду. Притом и таких иметь, которые мастера ходить на лыжах, бывали на Новой Земле и лавливали зимою белых медведей».

Пройдя часть пути вдоль мурманского побережья, далее корабли последовали к Медвежьему острову, от которого к Шпицбергену шли в сопровождении плавучих льдов. Подойти к русскому зимовью на Шпицбергене В. Я. Чичагову не удалось. Льды преградили дорогу в семи верстах. Запасы продовольствия пришлось пополнять волоком по льду при помощи зимовщиков. 3 июля В. Я. Чичагов направился к Гренландии и в течение двадцати суток, медленно, с неимоверными трудностями продвигался на северо-запад. 23 июля, достигнув 80°26′ северной широты, «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» повернули назад и 20 августа пришли в Архангельск.

Руководитель экспедиции отправился в Адмиралтейство для дачи показаний по поводу ее неуспеха. Расследование, в котором участвовали морские чины, а от Академии профессор Эпинус, не обнаружило в действиях В. Я. Чичагова ничего заслуживающего наказания. Было решено снарядить еще одну экспедицию по тому же маршруту, чтобы или добиться успеха, или «по крайней мере о совершенной невозможности быть уверенным». Новый поход продолжался с мая по сентябрь 1766 года и также оказался неудачным (на этот раз В. Я. Чичагов сумел достичь 80°30′ северной широты). Не открыв никаких новых земель, которые можно было бы присоединить к Российской империи (то есть не дав никаких государственных результатов), обе попытки В. Я. Чичагова не дали и серьезных научных результатов, ибо в этом пункте Адмиралтейство игнорировало ломоносовские инструкции.

Говоря о неудаче экспедиций В. Я. Чичагова, необходимо

иметь в виду общий уровень представлений того времени об арктическом бассейне. Когда Ломоносов разрабатывал оба своих варианта Северного морского пути, он исходил из преобладавшего в науке мнения, что в высоких широтах, даже у самого полюса, море свободно ото льдов, Аляску он считал островом. Полярная береговая линия Северной Америки тогдашним географам рисовалась более чем смутно. И вообще данные, с которыми приходилось иметь дело Ломоносову, в основном не отличались большой достоверностью.

Тем интереснее отметить, что многие утверждения и предположения Ломоносова о некоторых важных явлениях арктической природы блестяще подтвердились на рубеже XIX—XX веков, когда естественнонаучные представления о Севере претерпели подлинную революцию.

Так, например, до сих пор не отменена предложенная им в «Рассуждении о происхождении ледяных гор в северных морях» и развитая в «Кратком описании» классификация полярных льдов на морские («мелкое сало, которое, подобно как снег, плавает в воде»), глетчерные («горы нерегулярной фигуры, которые глубиною в воде ходят от 30-ти до 50-ти сажен, выше воды стоят на десять и больше») и речные («стамухи или ледяные поля, кои нередко на несколько верст простираются, смешанные с мелким льдом»). То же самое можно сказать и о предвидении Ломоносова относительно движения поверхностных вод в открытой части океана с востока на запад: частично оно было подтверждено экспедициями В. Я. Чичагова, но полностью его справедливость была доказана только в 1893—1896 годах знаменитым дрейфом Фритьофа Нансена на «Фраме». Не менее поразительно ломоносовское предсказание, касающееся геоморфологии арктического побережья Северной Америки. Оно было основано на выявлении общей закономерности в образовании земной поверхности. «Рассматривая весь шар земной, — писал Ломоносов в «Кратком описании», — не без удивления видим в море и в суше некоторое аналогическое, взаимносоответствующее положение, якобы нарочным смотрением и распорядком учрежденное...» В качестве примеров такого «взаимносоответствующего положения» он приводил Африку и Полуденную (то есть Южную) Америку, которые «суть треугольники», а также «присоединены обе к северным частям узкими перешейками», и несколько других соответствий в «фигурах» Старого и Нового Света (Мексиканский залив — Средиземное море; Куба, Гаити и другие острова — Кипр, Крит, Сицилия; и т. д.). «По такой великой аналогии заключаю, что лежащий против сибирского берега на другой стороне северный американский берег Ледовитого моря протянулся вогнутою излучиною так, что северную полярную точку кругом обходит...» Сформулировав столь смелую гипотезу, Ломоносов идет дальше и на основании «вышеписанной аналогии» характеризует «главные качества северного американского берега», то есть выводит уже детальные следствия из общего предположения: «...по великой вероятности заключить можно, что против весьма отмелого сибирского берега, низкими тундристыми мысами простирающегося, *лежит крутой и приглубый берег* Северной Америки».

Ломоносовские предсказания основывались на глубоком изучении обширной научной литературы вопроса. Его собственные работы стали итоговыми и одновременно намечающими научные перспективы. То же самое можно сказать о них и с государственной точки зрения. Вековая история освоения Сибири и Дальнего Востока русскими мореходами и землепроходцами, казаками и промышленниками, более чем полувековые усилия государства в этом направлении получили дальнейшее, высшее осмысление и оправдание под пером Ломоносова. Походы Семена Дежнева и братьев Лаптевых, предложения, с которыми обратился к Петру I в 1713—1714 годах Федор Салтыков, Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга 1725—1730 годов, Вторая Камчатская экспедиция Беринга и Алексея Чирикова 1733—1743 годов, в которой участвовало в общей сложности 580 моряков, геодезистов, картографов, геологов, промышленников,— все это было учтено Ломоносовым в аспекте его общих государственно-экономических начинаний, изложенных в записке «О сохранении и размножении российского народа», и конкретизировано в научных рекомендациях по освоению Северного морского пути, Сибири и Дальнего Востока. Что же касается неудач, то они не пугали Ломоносова и, по его глубоко оптимистическому убеждению, не могли служить препятствием в столь великом и неотложном деле:

Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.

3

Проблема «сохранения и размножения российского народа» осмыслялась Ломоносовым не только как пространственная, но и как временная. «Мое единственное желание,— писал он в 1760 году И. И. Шувалову, — состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы...» То, что он выразил свою озабоченность о будущем русской культуры в такой отчасти вызывающей форме, не случайно. Ему были хорошо известны высказывания о нем его постоянных академических противников Шумахера

и Тауберта, которые рассматривали выдвижение Ломоносова как колоссальный просчет в их действиях, направленных на удушение молодых научных сил России. Их слова в передаче Ломоносова говорят сами за себя. Шумахер: «Я-де великую прошибку в политике сделал, что допустил Ломоносова в профессоры». Тауберт: «Разве-де нам десять Ломоносовых надобно — и один нам в тягость». Поэтому-то в письме к Шувалову и появились «многочисленные Ломоносовы».

Гимназия и университет, которые должны были быть приведены «в вожделенное течение», — это не Московский университет с его гимназией, а учебные подразделения Петербургской Академии наук. После открытия храма науки в Москве Ломоносов печется об улучшении и расширении Академического университета и гимназии с тем, чтобы еще при жизни своей вывести их на московский уровень и открыть наконец в Петербурге высшее учебное заведение для широкого, а не только академического круга. Это было тем более необходимо, что дело подготовки гимназистов и студентов в Академии было приведено, по существу, к полному развалу.

Весной 1758 года Ломоносов составил «Проект регламента Академической гимназии». Здесь на основе личного студенческого опыта 1736 года и позднейших наблюдений, с учетом печальных следствий тех правил внутреннего распорядка для гимназистов, которые в 1749 году были определены Шумахером и Тепловым, а также с учетом некоторых недосмотров в собственном проекте регламента Московских гимназий 1755 года он излагает свой взгляд на то, кого, чему и как должно учить в Академической гимназии.

По мысли Ломоносова, обучение в трех гимназических классах: низшем, среднем и высшем, — не должно было зависеть от календаря. Ученики переводились в следующий класс только после того, как усваивали «в совершенстве» программу своего класса. Иными словами, Ломоносов как бы «планировал» второгодников. Но он исходил из реального положения дел: часто гимназистам одного учебного года было недостаточно для овладения программным материалом. Причину этого Ломоносов справедливо видел не в какой-то особой «непонятности» русских учеников (на чем настаивали Шумахер и гимназические преподаватели), а в цеховой замкнутости начальной академической школы, в приемных ограничениях.

Вот почему в проекте регламента Ломоносов не устанавливает никакого возрастного ценза для поступающих. Дело в том, что очень немногие в ту пору (особенно дворяне) отдавали своих детей в Академическую гимназию. Надо было всеми доступными средствами преодолевать, наряду с «корпоративной» направленностью педагогической политики

внутри Академии, эту стихию безразличия к серьезному образованию **за пределами Академии.** При Ломоносове в гимназии были представлены самые разные возрастные группы: дети четырех-пяти и шести-семи лет, подростки и юноши шестнадцати-восемнадцати лет, взрослые двадцати четырех — двадцати шести и даже двадцати девяти лет!

Большие возможности для поправления дел в Академической гимназии открывало расширение социального состава гимназистов. Ломоносов был самым последовательным в XVIII веке борцом за демократизацию образования. На этом направлении борьба была самой трудной. В Академическом регламенте 1747 года было сказано прямо, что в университет и гимназию разрешено принимать «из всяких чинов людей, смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад». Это означало, что дети крестьян и городской бедноты были лишены этой привилегии. В 1755 году, при составлении проекта Московских гимназий, Ломоносов, ни слова не говоря о подушном окладе, прибег к достаточно расплывчатому термину «разночинцы» в той части проекта, где шла речь о сословиях, имеющих право на образование, что открывало путь к знаниям детям городской бедноты, которая платила подушную подать. Вместе с тем детям крестьян там отказывалось в приеме (не принимать «никаких крепостных помещичьих людей»). Все это было принято Шуваловым и затем утверждено императрицей.

И вот теперь, в 1758 году, Ломоносов предпринимает попытку открыть дорогу к наукам и тому сословию, из которого вышел сам. В четвертом параграфе «Проекта регламента Академической гимназии» он, избегая всяких недомолвок, прямо и подробно говорит об условиях приема детей крестьян и городских «посадских» низов: «В Академическую гимназию не должны быть принимаемы лица, положенные в подушный оклад, и в особенности крепостные люди; если же помещик захочет отдать кого-либо из своих людей в Гимназию по причине его особой сообразительности и одаренности, то он должен освободить его навечно и дать Академии подписку, что отныне не имеет на него никаких прав, однако же подушные деньги он должен платить за него до следующей ревизии... Точно таким же образом должны приниматься в Гимназию на жалованье и положенные в подушный оклад дети посадских людей, государственных и дворцовых крестьян при наличии особых способностей и охоты к учению и если посадское общество, округ или родственники обязуются уплачивать за них подушную подать до новой ревизии, при которой они должны быть вычеркнуты из подушных списков».

Прекрасно понимая, что эти его предложения натолкнутся на стену сословных предрассудков, Ломоносов пытается пробить в ней брешь таким вот здравомысленным и

благородным увещеванием: «Против этого не должны быть предубеждены обучающиеся в Гимназии юные дворяне, ибо науки являются путем к дворянству, и все идущие по этому пути должны смотреть на себя как на вступающих в дворянство. А затем все принятые и не принадлежащие к дворянству должны в отношении обращения с ними, как и в смысле одежды, быть на том же положении, какое подобает принадлежащим к дворянству. На военной службе числятся и дворяне и недворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам». Замечательно это уподобление: здесь в подтексте мысль, что военная служба и служение науке равно полезны для отечества, благородны, доблестны и почетны.

Что касается собственно учебной программы гимназии, то необходимо иметь в виду, что с момента ее основания преподавание в ней велось «с немецкого». Ломоносов решительно порывает с этой порочной практикой. Он вводит в программу гимназического обучения курсы («классы», «школы») русского языка, русского красноречия и русской истории. Он требует преподавать арифметику, геометрию, географию на русском языке. Исключение делалось для «первых оснований философии», которые следовало преподавать на латинском языке. Вообще изучению языков (и прежде всего латинского) Ломоносов в своем проекте уделяет серьезное внимание. Кроме латыни, гимназисты должны были изучить начала греческого языка и сверх того, факультативно — немецкий и французский. Наряду с языками им предстояло усвоить «первые основания нужнейших наук», в число которых входили арифметика, геометрия, география, тригонометрия (эта дисциплина, как и русские «классы», впервые вводилась в программу Ломоносовым), а также философия, состоявшая из «логики, метафизики и практической философии» (скорее всего под «практической философией» надо понимать физику).

Все эти учебные циклы — русский, латинский и «первых оснований наук» — должны были, по мысли Ломоносова, чередоваться на каждом году обучения ежедневно: «В классах должен соблюдаться следующий порядок: утром с 7 до 9 часов должно вестись преподавание во всех латинских классах, с 9 до 11 — в русских, а с 2 до 4 пополудни — в классах первых оснований наук».

Предметом особой заботы Ломоносова было моральное воспитание гимназистов, чему посвящены седьмая и восьмая главы проекта — «Об узаконениях для гимназистов» и «Об обязанностях учителей». Наряду с выполнением религиозно-нравственных заветов, принятых в христианском государстве, Ломоносов требует от учеников прежде всего подчинить себя главной цели, ради которой они поступили в гимназию: «При наблюдении заповедей Божиих в Десятисловии и заповедей церковных, коими обеими любви к Богу и

ближнему и началам премудрости страха Господня научаемся, следует первая гимназистов должность, чтобы к наукам простирать крайнее прилежание и никакой другой склонности не внимать и не дать в уме так усилиться, чтобы рачение к учению урон или малое ослабление потерпело».

В сущности, все «узаконения для гимназистов» подчинены этой главной цели: все, что помогает учению, — добродетельно, все, что мешает, — порочно. Ломоносов вменяет им в обязанность беспрекословное послушание учителям, требует «отбегать от ссор междоусобных, а особливо от бесчестных браней и от драк, не попрекать другого природными недостатками и не злобствовать», «не мешать другим в ученьи криком, играньем, стуком, шумом или каким другим образом, чем рассуждение и память в беспорядок приведены быть могут» и т. д. Чтобы ученики не выросли заносчивыми либо подобострастными, Ломоносов предъявляет и к преподавателям моральные требования, которые призваны обратить закон беспрекословного послушания им во благо для учеников: «Учители с учениками не должны поступать ни гордо, ни фамилиарно. Первое производит к ним ненависть, второе — презрение. Умеренность не даст места ни тому, ни другому, и словом, учитель должен не токмо словами учение, но и поступками добрый пример показывать учащимся». Предписанное учителям, добавляет Ломоносов, «надлежит наблюдать и самому ректору, поелику он есть учитель».

Ломоносов входил во все подробности гимназического обучения, вплоть до бытовых. Надо думать, занимаясь положением дел в Академической гимназии детально, он не однажды вспоминал свою школярскую юность в Славяно-греко-латинской академии, когда, как он свидетельствовал в одном из писем к Шувалову, «имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу». В сентябре 1758 года он составил текст определения Академической канцелярии о пищевом довольствии гимназистов, где строго предписывалось «тех учеников довольствовать такою пищею, а именно: в мясные дни кроме знатных праздников в обед три кушанья — щи, мясо и каша, а в ужин два из вышепоказанных, вместо щей для перемены варить кашицу из солонины или овсяной либо яшной суп, а в праздничные дни сверх того баранина или говядина, жаркое или окорок, в постные же дни вместо щей варить для них горох, грибы, снетки или кашицу из просольной рыбы, а в дешевую пору и свежую; а другое кушанье вареную рыбу или жареную, а именно осетрину, белужину, штокфиш[1] и прочее, третье каша с постным маслом, причем потреблять по-

[1] Немецкое название трески.

варенные овощи, капусту, лук, репу, морковь и редьку; также довольствовать их... своим печеным хлебом и кислыми щами [1]».

Около ста различных документов, касающихся организации учебного дела, составил Ломоносов, не считая при этом постоянных напоминаний об университете и гимназии в письмах к Шувалову и М. И. Воронцову. То, что работу в учебных заведениях Академии необходимо в корне менять, со временем начали понимать и в верхах. Университет и гимназия не имели своих регламентов и своего бюджета, студенты и гимназисты содержались из рук вон плохо, общеобразовательная и специальная их подготовка оставляла желать лучшего. Не дожидаясь утверждения проекта регламента гимназии, Ломоносов как член Академической канцелярии практически взял на себя всю работу по гимназическому переустройству в соответствии с основными пунктами проекта. Результаты были явственны. Наконец последовало юридическое закрепление того, что уже было в действительности. В январе 1760 года Ломоносов становится единоличным руководителем университета и гимназии Петербургской Академии наук. В определении по этому вопросу говорилось: «Сего генваря 19 числа в полученном от его высокографского сиятельства Академии г. президента в Канцелярию Академии наук ордера написано: понеже-де чрез разные опыты усмотрено, что учреждению и распорядку, а особливо сочинению регламентов Гимназии и Университета от несогласия разных мыслей, также и надлежащему происхождению сих департаментов чинится остановка, и уже многие годы минули не с таким успехом и пользою, каковых бы по справедливости ожидать должно было; и сверх того, сумма, определенная на Университет, исходила по сие время по большей части на другие расходы, так что Академическое комиссарство должно стало Университету многие тысячи; того ради прошедшего 1758 году дан был от его сиятельства ордер г. коллежскому советнику Ломоносову, чтобы он сочинил регламенты для Университета и Гимназии, которые им сочинены и по ордеру его сиятельства отданы в Канцелярию для общего рассмотрения, но как-де еще видно, что дело сие по-прежнему от несогласных мнений претерпевает остановку, а г. Ломоносов между тем, по сочиненному от него регламенту Гимназии поступая с позволения его сиятельства, привел своим старанием Гимназию во много лучшее состояние перед прежним, того ради его сиятельство по данной от е. и. в. власти поручил учреждение и весь распорядок Университета и Гимназии единственно оному г. советнику Ломоносову по сочиненным от него регламентам, полагаясь на его знание и усердие и уповая, что он в произведении до цветущего состояния оных двух

[1] Особо приготовленный шипучий квас.

департаментов по должности сына отечества со всяким прилежанием и усердием поступать будет».

Однако ж и строгая оценка того положения, в котором оказались университет и гимназия, и похвала Ломоносову за его усердие мало чего стоили бы, если б не указание президента в том же ордере «определенную на Университет сумму не токмо не употреблять ни на какие другие расходы, но и недоимочную на прошлые годы в случае надобности для помянутого учреждения выдавать по частям из академической суммы или из книжных лавок...». Дело в том, что ранее университет и гимназия финансировались из общего бюджета Академии наук, распорядителями которого были противники Ломоносова. Если бы все продолжалось по-старому, его назначение единовластным смотрителем за университетскими и гимназическими делами осталось бы лишь на бумаге: ни штата, соответствующего новой программе, ни учебных пособий, ни улучшения содержания учащихся не воспоследовало бы. Надо думать, что пункт о возвращении университету его ранее разбазаренных денег был включен в ордер по настоянию самого Ломоносова.

Тем не менее даже после 19 января 1760 года Ломоносов постоянно сталкивался с противодействием именно на финансовом поприще. Внешне все обстояло вроде бы благополучно: и прежняя задолженность университету возвращалась, и новые суммы поступали — пусть с задержками, но деньги отпускались же! Даже с учетом сказанного в президентском ордере Тауберту очень легко было вновь и вновь выставлять Ломоносова перед К. Г. Разумовским чересчур нетерпеливым, безудержным, в конечном счете неблагодарным. Деньги же были нужны не тогда, когда их, наконец, выделит Тауберт, а когда, к примеру, рыба или овощи стоят дешевле всего, когда и надо делать закупки для студенческого стола. Получив деньги не в сезон, университет и гимназия вынуждены были переплачивать вдвое-втрое и, следовательно, ограничивать траты на закупку книг, наглядных пособий и т. д. Таким образом, финансовая независимость академической учебной части, во главе которой Ломоносов был поставлен 19 января 1760 года, грозила обернуться фикцией.

Вот почему Ломоносову еще пришлось позаботиться об утверждении действительной независимости университета и гимназии от Канцелярии. Спустя почти полтора года он добился наконец нового определения по этому серьезному вопросу. 31 мая 1761 года Академическая канцелярия, подчинившись указанию президента (в свою очередь, подвергшегося убеждениям и давлению Ломоносова), определила вместо положенных ранее 8090 рублей в год на университет и 2890 рублей на гимназию «производить впредь жалованье... на Университет по девяти тысяч по сту рублев, а на Гимназию по шести тысяч по сту по сороку по

восьми рублев, всего по пятнадцати тысяч по двести по сороку по восьми рублев в год, и оная сумма должна до сих двух департаментов употребляться и быть содержана при Комиссарстве особливо».

Это уже было похоже на серьезное решение вопроса. Хотя общая годовая сумма на университет и гимназию увеличивалась ненамного, теперь она полностью оказывалась в распоряжении Ломоносова, который только с этого момента получал возможность устранить сложности в работе «сих двух департаментов», о чем в определении Канцелярии говорится следующее: «...понеже за долговременным неполучением от Статс-конторы суммы бывают в деньгах недостатки, а студентам и гимназистам содержание должно быть беспрерывно, и потребные на них съестные припасы и другие потребности покупать заблаговременно не в дорогую пору, когда привоз чему есть, для наблюдения интереса е. и. в. и чтобы все было свежее и требуемой доброты для пропорционального по окладу учащихся удовольствия, также и из учащих большая часть таких людей служащих по контрактам, кои никакого другого доходу кроме жалованья не имеют, и люди новые и беспомощные, и требуют порядочной выдачи жалованья не так, как мастеровые люди, кои своим мастерством на стороне промышляют или промышлять по шабашам могут. Того ради по указу е. и. в. Канцелярия Академии наук в силу вышеписанного приказали: впредь от принимаемой в Академию наук суммы отделять определенную на Университет и Гимназию по новому штату сумму особливо и ни на какие другие расходы не употреблять, но содержать за казенною и его, г. советника Ломоносова, и комиссарскою печатьми, дабы он по вверенному ему единственному над вышеписанными департаментами смотрению мог производить нужное государству полезное смотрение в приращении наук в отечестве беспрепятственно, и из оной суммы по насылаемым указам производить жалованье университетским профессорам и всем гимназическим учителям и прочим служителям по третям года, а для содержания пищею студентов и гимназистов отпущать, сколько когда востребуется».

Ломоносову, который неоднократно обращал внимание начальства на бедственное положение учащихся («видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег» — признавался он и добавлял, что у него не однажды «до слез доходило»), удалось постепенно улучшить бытовые условия в гимназии. Он увеличил содержание каждого гимназиста с тридцати шести до сорока восьми рублей в год. При этом он запретил выдавать им деньги на руки, ибо многие из них, получая свое жалованье «весьма малое», «и тем еще поделясь с бедными родительми, претерпевали скудость в пище и ходили по большой части в рубищах, а оттого и досталь теряли охоту к учению».

Не менее важным обстоятельством, умалявшим «охоту к учению», было отсутствие сносного помещения для университета и гимназии. Наемный дом на углу 15-й линии Васильевского острова и набережной Большой Невы, где с 1756 года располагались оба учебных заведения, находился, что называется, в аварийном состоянии. Инспектор гимназии академик Семен Кириллович Котельников (1723—1806), бывший ученик Ломоносова, 6 августа 1764 года подал в Академическую канцелярию «репорт», в котором об условиях занятий в означенном доме говорилось: «Учители в зимнее время дают лекции в классах, одевшись в шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, и ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут, отчего делается по всему телу обструкция и потом рождается короста и скорбут, которых ради болезней принуждены оставить хождение в классы». По настоянию Ломоносова, купленный Академией в апреле 1764 года дом на Тучковой набережной («дом Строгановых»), который предназначался Таубертом под типографию, был отдан под университет и гимназию (Тауберту Ломоносов советовал выселить из старых типографских помещений «людей, до Типографии не надобных и совсем для Академии излишних», и тем самым высвободить необходимое место).

Заботы Ломоносова о начальном и среднем образовании в России не ограничивались одною Петербургской гимназией. В ту пору, кроме Петербурга, гимназии были еще только в Москве и в Казани. Ломоносов вместе с Шуваловым планировал расширение их сети по всей России. В декабре 1760 года он составил и подписал указ Канцелярии Академии наук в Академическое собрание о представлении всеми профессорами заключений по вопросу об учреждении новых гимназий и школ. В нем всем академикам предлагалось указать, «в которых именно городах, и сколь великие те гимназии и школы, и в каком числе людей и учителей быть имеют, и на содержание их... какая сумма потребна», то есть высказать конкретные рекомендации, и, «сочиняя штаты, подать в Правительствующий Сенат». Сбивчивые мнения некоторых академиков начали поступать только в марте 1761 года, затем они около трех месяцев пролежали в Канцелярии и лишь после этого были переданы Шувалову для представления в Сенат. При жизни Ломоносова это дело не двинулось с места.

Впрочем, ему самому хватало дел в Петербурге. Наряду с гимназией он был до конца своих дней озабочен тревожным положением дел и в университете Академии наук. Еще в 1747 году в Академическом регламенте было предписано составить для университета свой регламент, «который президентом сочинен быть должен по примеру европейских университетов». В 1748 году проект университетского регламента был представлен академиком Миллером, но не получил

утверждения. В 1750 году Теплов при помощи Шумахера и Тауберта сочинил «Учреждение о Университете и Гимназии», которое хоть и было утверждено, но, по признанию самих авторов, «не составляло совершенного университетского регламента». Вопрос об уставном документе, по которому университет при Академии должен был стать университетом в полном смысле слова, поднимался еще и в 1755 и в 1756 годах, но решения и тогда не воспоследовало. Только с приходом Ломоносова в академическую канцелярию дело, похоже, стало подвигаться.

В июле 1759 года он представил на обсуждение академиков проект штата и регламента университета. Ломоносов предусматривал создание одиннадцати кафедр (вместо пяти по штату 1747 года и восьми по «учреждению» 1750 года). Кроме того, новым было для Академического университета деление на три факультета: юридический (с кафедрами: 1. универсального права, 2. российского права, 3. истории и политики), медицинский (с кафедрами: 1. химии, 2. ботаники, 3. анатомии) и философский (с кафедрами: 1. философии и истории литеральной, 2. физики, 3. математики, 4. красноречия и древностей, 5. ориентальных языков). Студенты разделялись на три «класса» (то есть курса). Вся эта структура, в общем, копирует структуру Московского университета (предложенную Ломоносовым в 1754 году). Но есть здесь и отличия: в Московском университете не было кафедр математики и восточных языков. Вообще русское право и восточные языки не были предусмотрены ни в 1747-м, ни в 1750-м, ни в 1754 годах. Иными словами, программа Петербургского университета, по мысли Ломоносова, должна была стать самой полной университетской программой в России.

Проект университетского регламента не сохранился. Но уцелел и дошел до нас план регламента, а также некоторые отзывы академиков, читавших его в полном виде, и ответ Ломоносова одному из критиков документа (академику Фишеру). Так что приблизительное представление о регламенте можно составить. В его первую часть «О учащих» вошло восемь глав, в которых указывались правила приема профессоров в университет, а также производства в профессорское звание, расписывались обязанности профессоров как заведующих кафедрами, говорилось об их научных трудах, излагались правила проведения диспутов и «других экзерциций», поднимался вопрос «о произведении в градусы» (то есть о присвоении ученых степеней — пункт, который встретил самое сильное противодействие), определялись условия работы профессоров по совместительству («в других командах»), очерчивались обязанности проректора (ректором автоматически становился президент Академии). Вторая часть регламента «О учащихся» (семь глав) была посвящена условиям приема студентов (со стороны) и перевода (из гимназии), разделению их на курсы и порядку «хождения их на лекции», содержанию их, проведению занятий и экзаменов, правилам поведения, поощрениям и наказаниям, выпуску и распределению.

Отзывы о ломоносовском проекте регламента, принадлежащие академикам Миллеру, Брауну, Модераху и Фишеру, содержали замечания, иные из которых, по признанию самого Ломоносова, «внимания достойны», а иные показывают и его несомненную правоту. Так, по ломоносовскому проекту, университет должен был выпускать не только адъюнктов и переводчиков, но и «природных» врачей и аптекарей, юристов, механиков, металлургов, садовников и т. п. Ломоносов считал, что все факультеты университета и все его выпускники должны быть «равны между собою» (что вызвало возражение у Миллера). Кроме того, он вменял в обязанность студентам параллельно с основными университетскими предметами изучать в гимназии новые иностранные языки (немецкий и французский), а также самостоятельно читать основную научную литературу по специальности. Против этого возражали Фишер и даже Браун, «которого всегдашнее старание, — писал о нем Ломоносов, — о научении российских студентов и притом честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны». Браун, как это ни странно, считал, что «начинающий студент должен читать немного, дабы ему не придти в замешательство». А вот Модерах упрекнул Ломоносова за то, что его проект недостаточно строг к студентам. Действительно, Ломоносов настаивал на том, чтобы, в отличие от гимназистов («школьники под строгим смотрением»), «студенты пристойную волю имели».

Сильное раздражение Ломоносова вызвали возражения против проекта, принадлежавшие академику Фишеру. В своей записке по этому поводу Ломоносов писал: «Господин Фишер хотя также подал годные примечания, однако, не столько старался о истинно полезных поправлениях или прибавлениях, сколько искал при многих пунктах случая, как бы употребить грубые и язвительные насмешки...» Так, скажем, Фишеру показалось, что в ломоносовском проекте слишком много уделяется внимания крестьянским детям, отпущенным на волю, и вообще казеннокоштным студентам. Он даже высказал уверенность, что при таком подходе к составу учащихся университет и гимназия превратятся в приют для бедняков. Замечателен ломоносовский ответ Фишеру, специалисту по истории и древностям: «...удивления достойно, что не впал в ум г. Фишеру, как знающему латынь, Гораций и другие ученые и знатные люди в Риме, которые были выпущенные на волю из рабства, когда он толь презренно уволенных помещичьих людей от Гимназии отвергает; не вспомнил того, что они в Риме не токмо в школах с молодыми дворянами, но и с их отцами за однем столом сидели, с государями в увеселениях имели участие и в знат-

34*

ных делах поверенность». Но ломоносовский тон меняется в корне, когда дело доходит до совершенно вздорных возражений Фишера, и ирония уступает место возмущению: «Шестьдесят гимназистов и тридцать студентов почитает за излишнюю казне тягость, а паче всего спрашивает, куда их девать. Его ли о том попечение? Ему было велено смотреть регламент, а не штат. Его ли дело располагать академическою суммою? И ему ли спрашивать, куда девать студентов и гимназистов? О том есть кому иметь и без него попечение. Мы знаем и без него, куда в других государствах таких людей употребляют и также куда их в России употребить можно».

Помимо проектов штата и регламента, Ломоносов представил на утверждение список привилегий университета. Поскольку университет устраивался «по примеру европейских», привилегии были необходимы. Ломоносовский список призван был утвердить за Петербургским университетом научно-педагогическую, финансовую и правовую самостоятельность:

«1. Чтобы Университет имел власть производить в градусы высочайшим монаршеским именем.

2. Чтобы по здешним законам назначить пристойные ранги и по генеральной табели на дворянство дипломы.

3. Снять полицейские тягости.

4. Уволять на каникулярные дни.

5. Сумму отпускать прежде всех и никакого не чинить изъятия, разве именным указом точно на оную будет указано.

6. Студентов не водить в полицию, но прямо в Академию.

7. Духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях».

В целом большинство профессоров и рядовых сотрудников Академии поддержало проекты Ломоносова. «Чем скорее, тем лучше» — эти слова астронома академика С. Я. Румовского точно выражали общее отношение к идее переустройства университета и его торжественного открытия (инавгурации). Впрочем, целый ряд случайных и неслучайных обстоятельств отодвинули это событие более чем на пятьдесят лет.

К числу неслучайных надо отнести активное противодействие Тауберта настоянию Ломоносова, «чтобы Университет имел власть производить в градусы». Тауберт считал, что ученые степени, присвоенные Петербургским университетом, не будут иметь веса. При этом он исходил из того положения, в котором находился университет ранее. То, что в реформированном университете во главе его кафедр должны были находиться одиннадцать академиков, Таубертом как бы не принималось во внимание (а ведь это был бы авторитетнейший ученый совет!). Внешне позиция Тауберта была

безупречно реалистической: университет в плачевном состоянии — и с этим нечего спорить; так о каких же диспутах и «градусах» может идти речь? Ломоносов, не закрывая глаза на реальность (иначе зачем бы ему было работать над проектами нового штата и нового регламента?), выводы свои из существующего положения вещей излагает в принципиально ином тоне, в иной модальности: да, так было, но так не будет, **не должно быть** больше; новый университет должен присваивать степени!

Схватка с Таубертом по вопросу о «градусах» пришлась на ту напряженную пору, когда Ломоносов вплотную занялся подготовкой к инавгурации университета. В связи с этим он решил вызвать из Голландии адъюнкта Алексея Протасьевича Протасова (1724—1796), где тот усовершенствовался в анатомической науке. Ломоносов хотел, чтобы А. П. Протасов стал первым доктором, защитившим право на эту степень на диспуте, при торжественном открытии Петербургского университета. Тогда-то Тауберт и высказался о невозможности «произведения в градусы» в Петербурге и решительно отказался подписывать ордер об отзыве А. П. Протасова из Голландии: «Какие-де здесь постановления в докторы! Не будут-де его почитать».

Ломоносов добивается от президента созыва экстраординарного заседания Академического собрания, на котором профессорам предложено решить два вопроса: согласно ли оно с ломоносовским списком университетских привилегий и признает ли необходимой инавгурацию университета. 11 января 1760 года Ломоносов выступил на этом заседании с речью, написанной по-латыни и обращенной к коллективному здравому смыслу ученого сообщества. Он выделяет два основных возражения противников инавгурации и развенчивает их убедительно и мощно. «Более всего они, — говорил Ломоносов, — настаивают на следующем: Университет возник уже двенадцать с лишним лет тому назад; поэтому смешна будет столь поздняя инавгурация его. Ответить на это очень легко. Скажите, пожалуйста, кто подумает о существовании Университета там, где не было никакого разделения на факультеты, никакого назначения профессоров, никаких расписаний... даже почти никаких лекций... где не было, наконец, никакой инавгурации, которая, как я полагаю, воодушевляет университеты на успех, ибо без нее остаются неизвестными привилегии, которыми обычно привлекается учащаяся молодежь, скрыты названия наук, которыми ее можно напитать, и неясно, каких степеней и званий она может домогаться».

Что касается второго возражения противников, то оно звучит курьезно, если вспомнить упреки Модераха, который считал, что выпускников гимназии и университета девать будет некуда — так, мол, много их запланировал Ломоносов. Теперь же Ломоносову приходится возражать на прямо

противоположные упреки: «Кроме того, противники твердят, что число студентов очень мало, а потому открытие Университета будет бесполезно. Но я им отвечаю: 1. виноват был тот, кто в течение стольких лет пренебрегал Гимназией, отдавая преимущество многочисленным незначительным делам, почему число студентов и сократилось до очень незначительного; 2. для нас нет позора в том, что Университет начинает свой курс с немногих студентов, и в том, чтобы серьезно подумать об их умножении... Ведь до этого учащиеся, рассеянные по обширнейшему городу, тратили бо́льшую часть времени на долгий путь или на служение своим родителям, совращались дурными примерами в порочную жизнь, мерзли, голодные, в рваной одежде и были чужды всякой любви к учению; а теперь соединенные в общежитии, прилично одетые, имея достаточное питание, они могут употреблять и употребляют все свое время на занятия».

В заключение Ломоносов обратился к академикам с воззванием: «Приняв все это во внимание, славнейшие мужи, вынесите постановление об этом полезном для отечества деле, о вашем собственном удобстве и о той славе и благодарности, которую вы получите от распространения наук в нашем государстве». Все «славнейшие мужи», за исключением Миллера, одобрили список университетских привилегий и проголосовали за необходимость устроить инавгурацию.

Ломоносов заблаговременно составил «Порядок инавгурации». Все должно было начаться с публичного экзамена гимназистов верхнего класса «к произведению в студенты». Затем следовали «экзамены в градусы» (для чего и был вызван из Голландии А. П. Протасов) и избрание проректора — то и другое сопровождалось диспутами или речами. Далее шла собственно торжественная часть: «1. Обедня с концертом и с проповедью. 2. Чтение привилегий. 3. Благодарственный молебен с пальбою и с музыкою. 4. Речь благодарственная е. и. величеству (над нею Ломоносов уже начал работу. — *Е. Л.*). 5. Назначение проректора и деканов. 6. Произвождение в градусы (то есть утверждение в звании. — *Е. Л.*). 7. Обед с пальбою и с музыкою». Кроме того, Ломоносов планировал напечатать все материалы инавгурации отдельной, празднично оформленной книгой и вручить ее «на домах» знатным придворным и правительственным деятелям, а также разослать по всем европейским университетам копии с привилегий и речей. Теперь, когда практически все было готово, начались чисто бюрократические проволочки за пределами Академии. Только через год, в феврале 1761 года, канцлер М. И. Воронцов подписал университетскую грамоту. Теперь нужна была подпись Елизаветы. Но 1761 год, как мы помним, стал для нее последним годом. Потом — недолгое правление Петра III, которому было не до университетов. Начало царствования Екатерины II вообще едва не обернулось для Ломоносова увольнением из Академии. Так вот и

получилось, что инавгурация, намеченная Ломоносовым в 1761 году, состоялась лишь в 1819 году.

Но и не добившись инавгурации, Ломоносов во многом поправляет университетские дела. В декабре 1762 года в университете было проэкзаменовано небывало большое (по сравнению с доломоносовским периодом) число студентов — семнадцать, и все получили хорошие отзывы профессоров. 5 февраля 1763 года в «Отчете о состоянии Университета и Гимназии» Ломоносов с гордостью заявил: «Через год из помянутых студентов человеков двух надеяться можно адъюнктов, ежели прежнее употребят прилежание, которые будут действительные академические питомцы, с самого начала из нижних классов по наукам произведенные, а не из других школ выпрошенные».

В этой ломоносовской гордости привлекает ее глубоко **отцовское** качество: смотрите, мол, — вот они, мною выпестованные с младых ногтей, выходят теперь в жизнь, и я могу не краснеть за них, готов держать ответ за каждого! Воспитать как можно больше людей, которые так же, как и он, были бы нравственно стойкими, свободными и смелыми, способными на самостоятельные решения — иными словами, воспитать достойных наследников своего богатства, которые смогли бы приумножить его в дальнейшем — только так Ломоносов мыслил себе победу над смертью, грозившей погасить то пламя, что бушевало в недрах его неистового духа. Зажечь от своего огня как можно больше искренних молодых сердец, стать (вспомним «Слово о пользе Химии») «общею душою» всех будущих подвигов во славу русской культуры, ожить хотя бы искрой в малейшем деле, направленном на благо отечества, — только так можно было получить право на бессмертие. И только такое бессмертие — не холодное, не абстрактное, но действительное, теплокровное, осязаемое, живое — только бессмертие во плоти устраивало Ломоносова. Именно в этом, с его точки зрения, заключался высший моральный смысл самой идеи бессмертия, рано или поздно посещающей каждого человека; все прочее — игра ума, самообольщение, ложь и безнравственность. Ломоносову мало было полностью выразиться в своих научных и художественных созданиях. Он понимал, что его великое наследие будет мертво, если за ним не придут «многочисленные Ломоносовы» и не извлекут из него максимум пользы для России. Жизнь оказалась бы прожитой только для себя. Более безнравственной и фальшивой жизни Ломоносов не мог себе представить.

Вот почему он из последних сил стремился заложить прочные основы народного образования в России, создать ядро отечественных научных и литературных кадров. Под руководством Ломоносова воспитались многие знаменитые деятели русской культуры: поэт и переводчик, профессор Московского университета Н. Н. Поповский (1730—1760), фило-

соф, переводчик и выдающийся математик, также профессор Московского университета А. А. Барсов (1730—1791), поэт и переводчик И. С. Барков (1732—1768), ученый натуралист и путешественник академик И. И. Лепехин (1740—1802), астроном академик П. Б. Иноходцев (1742—1806), лингвист В. П. Светов (1744—1783), ботаник и этнограф академик В. Ф. Зуев (1754—1794), химик академик Н. П. Соколов (1748—1795) и многие, многие другие. Ибо Ломоносов «оказывал свое действие» на воспитание новых поколений и косвенным образом: если вспомнить еще и о Московском университете, а также о том, что вся Россия в течение многих десятилетий обучалась грамоте по ломоносовской «Грамматике», усваивала основы красноречия и знакомилась с лучшими образцами мировой литературы по его «Риторике», то размеры его влияния на образ мыслей русских людей окажутся поистине грандиозными.

Как напутствие Учителя всем будущим поколениям звучали слова: «Сами свой разум употребляйте. Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Ежели вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопи, а моя слава падает и с вашею».

Только глубокое понимание своей страны и своего народа, внутренней логики его развития могло породить столь смелое высказывание. Действительно, надо было обладать настоящей смелостью, исключительным чувством собственного достоинства и твердой верой в русский народ, чтобы произнести такие слова в ту пору, когда большинство деятелей отечественной культуры видело свою задачу в том, чтобы лишь приблизиться к западноевропейским образцам, когда Сумароков, например, с гордостью носил титло «русского Расина» и торжествующе показывал всем знакомым письмо Вольтера, где тот положительно отозвался о его трагедиях, когда Тредиаковский считал своим настоящим поэтическим триумфом то, что его оды мало чем отличаются от «Боаловых».

«Сами свой разум употребляйте...»

Но ведь новая русская культура только начинала складываться (русских академиков можно было сосчитать тогда на пальцах одной руки), от плода европейского просвещения едва лишь вкусили — и вдруг такой максимализм, такая дерзость! Казалось бы, надо сначала как следует поучиться, а уж потом...

Нет, говорит Ломоносов, человек так и не выйдет из младенческого состояния, если с самого начала не будет полагаться *на свои собственные духовные ресурсы*, — это основа, без этого никакое ученье не пойдет впрок. Слова Ломоносова звучат как заклинание.

«Сами свой разум употребляйте...» Мало чести получить «номенклатурное» признание своих заслуг, по общему гласу стать русским Аристотелем, либо Декартом, либо Ньютоном, то есть занять должность наместника европейской мысли в России и быть окруженному духовными рабами.

«Сами свой разум употребляйте...» В противном случае все силы, отданные просвещению России, были потрачены впустую, и мир новых духовных ценностей, сотворение которого сопровождалось такой титанической борьбою, этот новый культурный космос рухнет под тяжестью цепей, которые вы добровольно сейчас на себя накладываете.

«Сами свой разум употребляйте...» Это будет лучшим признанием и его, Ломоносова, просветительских заслуг, ибо истинная цель просвещения — не в том, чтобы сообщить людям определенную сумму сведений по различным наукам, и только, а в том, чтобы пробудить в каждом человеке творца, духовно активную личность. Только «свой разум употребляя», вы обретете собственное (человеческое и национальное) достоинство, и через это вам откроется, может быть, одна из поразительнейших особенностей мира: вы увидите его «в дивной разности», увидите, что все и вся существует в нем только благодаря своей незаменимости и неповторимости. Вакансии русского Аристотеля нет и быть не может вообще. Философский и научный подвиг Декарта был возможен только во Франции, а Ньютон неотделим от английской почвы.

Каждый человек уникален: это целый мир нереализованных возможностей, присущих только данной личности. Но они так и останутся в потенции, скрытыми от внешнего мира, если человек не совершит необходимого волевого усилия. *Сами свой разум употребляйте — и станете свободны.*

Мысль о духовной свободе пронизывает все это энергичное высказывание Ломоносова. Молодая Россия несет с собой уникальные духовные ценности в сокровищницу мировой культуры. Поэтому-то и важно, чтобы «россияне показали свое достоинство». Одно от другого неотделимо. Напряженные раздумья над этим составляют основной пафос последнего периода творчества Ломоносова. Именно в этом направлении сосредоточены его усилия и в государственной сфере, и в научно-педагогической, и в поэтической.

4

«Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения», — писал Ломоносов еще в 1755 году. Спустя пять лет, готовя похвальное слово Елизавете к предполагавшейся инавгурации Петербургского университета, он вновь подчеркнет эту мысль: «...науки сами все дела человеческие приводят на верх совершенства».

Эти высказывания Ломоносова, казалось бы, противоречат его общему взгляду на науки, изложенному в эпиграфе к настоящей главе. Действительно: как совместить требова-

ние государственной полезности наук с утверждением их автономии в общей системе национально-государственных связей? Не поставив перед собой этого вопроса, нельзя понять смысла и пафоса научно-организаторской деятельности Ломоносова, к рассмотрению которой мы теперь переходим. Коротко сказать, суть заключалась в следующем. Науки взыскуют Истины, которая не может принадлежать одному человеку или группе людей, и потому они общеполезны сами по себе (то есть устремлены к той же цели, к какой в принципе должно быть устремлено и государство). Вот почему они не нуждаются во внешней опеке, которая может быть и некомпетентной, а чаще всего именно такой и бывает. Да, ученые — это «государственные люди». Но не в смысле их подчинения невеждам: тот не ученый, кто подчиняется невежеству. Настоящий ученый — гораздо более государственный человек, чем любой из чиновников, поставленных над ним, и они ему не указ. Поэтому Ломоносов как организатор науки в равной мере нетерпим и по отношению к внешнему давлению на науку, и по отношению к негативным тенденциям внутри самой науки (прежде всего это моральная и профессиональная безответственность), ибо и то и другое мешает науке в полной мере выполнять ее высокую государственную и одновременно гуманистическую миссию. В этом и заключен главный смысл и пафос предложений Ломоносова, направленных на реорганизацию Петербургской Академии наук.

Он исходит из того, что сообщества ученых являются наиболее действенной, прошедшей долговременную проверку формой высвобождения огромного преобразующего культурного потенциала, заключенного в науке и благодетельного для человечества: «Сколько услуг наукам оказали академии своими усердными трудами и учеными работами, насколько усилился и расширился свет истины со времени основания этих благотворных учреждений». При этом он специально подчеркивает, что действия ученых в идеальном пределе направлены «не токмо к приумножению пользы и славы целого государства, но и к приращению благополучия всего человеческого рода». Свои меры по улучшению организации отечественной науки он предлагает, опираясь на почти трехсотлетний опыт западноевропейских академий и три десятилетия — Петербургской.

Первой серьезной попыткой Ломоносова вмешаться в порочное развитие академических дел следует назвать составление в 1755 году «Всенижайшего мнения о исправлении Санктпетербургской имп. Академии наук». Правда, этот документ не получил хода и остался в бумагах Ломоносова. Тем не менее наблюдения и рекомендации, изложенные в нем, в дальнейшем были развиты и не однажды доводились до сведения президента.

В числе главных недостатков работы Академии Ломоносов

называет здесь прежде всего фактический развал гимназии, то есть почти полное пресечение подготовки научной смены. Далее он указывает на недостаток настоящих ученых среди академиков, что не могло не отражаться на качестве научной продукции всего «социетета»: академические собрания «неполны и беспорядочны», некоторые важнейшие кафедры не укомплектованы профессорами («нет высшего математика, географа, физика, ботаника, механика»). Свою роль в создании такого положения, несомненно, должен был сыграть тот отмечаемый Ломоносовым факт, что Академическая канцелярия постоянно задерживает выплату жалованья как домашним, так и иностранным членам Академии. Кроме того, академическое книгопечатание и книготорговля поставлены из рук вон плохо в том смысле, что ориентированы на издание и продажу книг, «ходовых» в придворном кругу, а не специальной литературы, столь необходимой для продвижения науки, и учебников, без которых страдают гимназия и университет. Библиотека Академии и Кунсткамера, пишет Ломоносов, по-прежнему плохо размещены, и пожар 1747 года, видно, ничему не научил Канцелярию и Комиссариат. Большие претензии у Ломоносова и к «Грыдоровальной палате», которая стала чем-то вроде государства в государстве и, хотя и дает большую прибыль Академии, всю эту прибыль фактически сама и потребляет на расширение внеакадемических заказов, в то время как университет и гимназия годами остаются без денег.

Главный вывод, к которому приходит Ломоносов на основе изложенного, следующий: «Канцелярия вовсе излишна. В других государствах отнюд их нет при таковых корпусах». Действительно, во всех внутриакадемических бедствиях и перекосах, перечисленных выше, повинна была прежде всего Канцелярия и ее руководитель Шумахер. Ему было выгодно (как в моральном, так и в материальном отношениях) направлять работу ученого учреждения в сторону от науки. Это позволяло скрыть свою научную несостоятельность, хорошо выглядеть в придворных, правительственных и вообще знатных кругах, а в Академии выступать влиятельным представителем этих кругов. Юридически Шумахер не имел права даже присутствовать на заседаниях Академического собрания (он не был ни профессором, ни адъюнктом). Но это неудобство для него было устранено еще первым президентом Академии Л. Л. Блюментростом, который неофициально заявлял, что, конечно, Шумахер «не есть секретарь Академии, но самый старший из членов ее и секретарь его величества по делам Академии, назначенный по особому повелению с самого начала учреждения ее». Этого-то человека и возглавляемую им Канцелярию, по мнению Ломоносова, надо устранить с пути Академии, если только она действительно преследует в своей работе научные цели.

Что касается чисто профессиональных проблем, стоявших

перед Академией, то энциклопедист Ломоносов обращает здесь *самое серьезное внимание* на те пункты Академического регламента 1747 года, которые ограничивали творческую инициативу ученых, неизбежное многообразие их интересов. К тому же, подобные ограничения были вредны и с государственной точки зрения, ибо многие полезные открытия могли оказаться «закрытыми» вследствие чисто ведомственных препятствий. «Каждому академику положено упражняться в своей профессии, а в чужую не вступаться, — предлагает поразмыслить Ломоносов. — Сие ограничено весьма тесно, ибо иногда бывает, что один академик знает твердо две или три науки и может чинить в них новые изобретенья. Итак, весьма неправильно будет, ежели когда астроному впадет на мысль новая физическая махина или химику труба астрономическая, а о приведении оной в совершенство и описании стараться ему не позволяется и для того о том молчать или другому той профессии уступить и, следовательно, чести от своего изобретения лишиться принужден будет. Сие немало распространению знаний может препятствовать».

Наряду с этим Ломоносов, как уже говорилось, озабочен и недостатком специалистов в стенах Академии, что самым пагубным образом отражается на выполнении ее основных задач, ради которых она создавалась. «Академический корпус составляется, 1. ради того, чтобы изобретать новые вещи, 2. чтобы об них рассуждать вместе с общим согласием, — напоминает Ломоносов. — Но рассуждения быть общие не могут, *ежели о достоинстве изобретения один только* знание имеет. Например, во всем собрании только один ботаник, следовательно, что он ни предложит, то должно рассудить за благо, как бы оно худо ни было; затем что один только ботанику разумеет. Следовательно, и собрания академиков тщетны. Итак, в других академиях каждая профессия имеет в одной науке двух или трех искусных...»

Став в 1757 году сам членом Академической канцелярии, Ломоносов критику ее деятельности не прекращает. В январе 1758 года он пишет на имя президента представление «Об излишествах, замешательствах и недостатках в работе Академии», где всю вину за них возлагает именно на Канцелярию, которая «отягощена толь многими мелочьми, что отнюд не может иметь довольного времени думать о важном и самом главном деле, то есть о науках». Канцелярия превратила академические мастерские в фабрику по изготовлению различных штемпелей и печаток, прочего вздора («а особливо на продажу»). Выполняются мастерскими и крупные внеакадемические заказы, например, «делание математических инструментов на продажу». Придав коммерческое направление академическим службам, Канцелярия не оставляет им ни времени, ни материалов на производство необходимого исследовательского инструментария, что практически ведет к свертыванию экспериментальных программ: «...фабричное дело

так усилилось, что профессоры, не имея надежды о произведении в дело их выдумок, совсем больше не радеют». Наконец, «торг заморскими книгами делает Академию биржею».

Это последнее слово точнее всего определяет то, во что Шумахер превращал одно из крупнейших ученых сообществ в Европе. Неудивительно, что глубокому внутреннему распаду Академии при нем соответствовала ее внешняя разобщенность («академические департаменты состоят в разделении», да и живут служители в разных местах). Неудивительно, что при биржевике «для умножения книг российских недостает станов, переводчиков, а больше всего, что нет Российского собрания», чтобы «исправлять грубые погрешности... худые употребления в языке». Неудивительно, что так плохи университет и гимназия.

В отличие от «Всепнижайшего мнения» этот ломоносовский документ дошел по назначению. Ознакомившись с ним, К. Г. Разумовский поручил Ломоносову как члену Канцелярии «в особливое смотрение» Академическое и Историческое собрания, Географический департамент, а также университет и гимназию (последние, как мы помним, позже перешли в его «единственное смотрение»). Борьба за переустройство Академии отныне продолжается на самом высоком академическом уровне. Но возвышение Ломоносова отнюдь не означало, что бороться ему стало легче.

Он вполне отдавал себе отчет в этом. В предисловии к новой записке о необходимости преобразования Академии наук (1758—1759) есть такие проникновенные строки: «Сим предприятием побуждаю на себя без сомнения некоторых негодования, которых ко мне доброжелательство прежнее чувствительно, однако совесть и должность оного несравненно сильнее. Чем могу я перед правосудием извиниться? Оно уже заблаговременно мне предвещает и в сердце говорит, что, имея во многих науках знание, ведая других академий поведение, видя великий упадок и бедное состояние здешней Академии, многие недостатки и неисправности в Регламенте и бесполезную трату толикой казны е. в., не представлял по своей должности. Что ответствовать? Разве то, что я боялся руки сильных? Но я живота своего не жалеть в случае клятвою пред Богом обещался.

Итак, ежели сим истинной своей ревности не удовольствую и, может быть, себя опасности подвергну, однако присяжную должность исполню».

В этой записке Ломоносов по-прежнему корень всех академических бед видит в возвышении Канцелярии, а также в развале университета и гимназии (и в том и в другом случае конкретные виновники — И.-Д. Шумахер и Г. Н. Теплов): «Главные причины худого академического состояния две: первая — искание и получение правления Академическим корпусом от людей мало ученых, вторая — недоброхотство к

учащимся россиянам в наставлении, содержании и в произведении».

Наряду с утверждением за Канцелярией «правления Академическим корпусом», в числе других важных недостатков академического штата 1747 года Ломоносов указывает на несовершенство принципов комплектования Академии научными кадрами, точнее — на их полное отсутствие, и приводит ряд выразительных примеров в пользу своего мнения. Автор Регламента и штата 1747 года Г. Н. Теплов, скажем, указал ректором университета быть академическому историографу, но не потому, что хотел придать образованию студентов историческое направление: «Ректором Университета положен историограф, то есть Миллер, затем что он тогда был старший профессор, и сочинитель был об нем великого мнения. И если б Миллер был юрист или стихотворец, то конечно, и в стате ректором был бы назначен юрист или стихотворец». Или вот такой пример: «Историографу придан переводчик китайского и манжурского языков, то есть Ларион Россохин. Однако если бы Россохин вместо китайского и манжурского языков знал, например, персидский и татарский, то бы конечно в стате положен был при историографе переводчик персидского и татарского языка».

Между тем восточные языки, вообще связи с Востоком требуют к себе гораздо более серьезного и ответственного отношения, в особенности в России: «В европейских государствах, которые ради отдаления от Азии меньшее сообщение с ориентальными народами имеют, нежели Россия по соседству, всегда бывают при университетах профессора ориентальных языков. В академическом стате о том не упоминается, затем что тогда профессора ориентальных языков не было, хотя по соседству не токмо профессору, но и целой Ориентальной академии быть бы полезно». Как мы помним, в черновых материалах к записке «О сохранении и размножении российского народа» мысль об Ориентальной академии возникает вновь, уже в связи «с лучшими пользами купечества».

Не меньший урон, чем беспорядочное комплектование кадрами, наносит Академии, по мнению Ломоносова, порочный порядок оплаты труда ученых, при котором одни научные дисциплины как бы предпочитаются другим. «Каждая наука имеет в Академии равное достоинство,— пишет он,— и в каждой может быть равенство и неравенство профессорского знания, ибо иногда может быть в числе их чрезвычайного учения физик, иногда ботаник, иногда механик или другие, иногда в тех же профессиях — пошлые люди, а иногда и один многие науки далеко знает, хотя определен к одной профессии. Итак, вообще рассуждая, должно положить всем профессорам равное жалованье, а прибавку чинить по рассмотрению достоинств и службы, ибо весьма бы обидно было великому ботанику, каков ныне Линней, иметь по штату

860 рублев, а высшему математику, каковые нам из весьма посредственных рекомендованы, дать 1800 рублев... Сие произведено, смотря на тогдашние обстоятельства, что сочинитель жалованье положил алгебраисту 1800 рублев для Ейлера или Бернулия, астроному 1200 для выписания славного ж человека, анатомику 1000 для Бургава; прочим по 860 и 660-ти. Но если б Ейлер (или Бернулий) был таков химик или ботаник, каков он математик, то без сомнения положено бы жалованья было 1800 рублев химику или ботанику».

В мае 1761 года Ломоносов подает Г. Н. Теплову для передачи президенту записку под названием «Краткий способ приведения Академии наук в доброе состояние», где предлагает, как теперь говорят, «в рабочем порядке», четыре экстренные меры: 1. увеличить Канцелярию на одного члена (чтобы «учинить... в голосах равновесие между российскими и иноземцами»), кооптировав в нее профессора С. К. Котельникова, «человека ученого, порядочного, смышленого и трезвого»; 2. отставить И. И. Тауберта от наук, поручив ему заботы только по Библиотеке, Кунсткамере и Книжной лавке, а «науки поверить лучше двум россиянам, мне и г. Котельникову»; 3. «отделить определенную сумму на науки в особливое комиссарство и учредить особливое повытье» (то есть выделить особую статью, как это было сделано в отношении университета и гимназии); 4. упразднить должность секретаря Конференции (то есть Академического собрания): протоколы заседаний может оформлять актуариус, как это было раньше, а переписываться с иностранными учеными и делать экстракты своих докладов для публикации в «Комментариях» академии могут и должны сами; наконец, «весьма надобно определить некоторых инструментальщиков, кои бы единственно работали изобретения профессорские и принадлежали к департаменту наук». В случае выполнения этих первоочередных рекомендаций положение академических дел должно подвинуться в лучшую сторону. «Таким образом, — заключал Ломоносов, — несумненно уповаю, что Академия придет в цветущее состояние, застарелое зло искоренится, и иная будет — не смех, но пример другим командам».

Из всех предложений Ломоносова только одно отчасти было принято: 28 июня 1761 года С. К. Котельников указом президента был назначен «до времени» инспектором гимназии. Все, что касалось канцелярии и в особенности академических денег, оставалось по-старому.

С другой стороны, и в верхах начинали понимать, что Академия не может более жить по старому Регламенту и штату: слишком очевидны были признаки упадка. 4 марта 1764 года К. Г. Разумовский издал ордер, в котором признавал, что многие недостатки академические «произошли от невозможности, чтобы все учредить и содержать точно на таком основании, как в том апробованном Регламенте поло-

жено. К тому же и самые опыты показали, что разные в Регламенте предписанные распорядки не соответствуют ожидаемой от оных пользе». В связи с этим президент приказывал «присутствующим в... Канцелярии статским советникам Тауберту и Ломоносову обще, или, если не согласятся, то порознь, приглася каждому к себе из гг. профессоров кого пожелают, учинить проекты, во-первых, на каком основании Академическому ученому корпусу по нынешнему состоянию и впредь быть должно, а потом и прочим департаментам порознь, токмо бы располагаемая сумма не превосходила апробованного штата, — и по сочинении представить мне».

Ломоносов практически сразу же по получении этого ордера приступил к работе над своими предложениями и к 10 сентября 1764 года закончил ее, представив документ под названием «Idea status et legum Academiae Petropolitanae» (Предположения об устройстве и уставе Петербургской Академии). Здесь изложен целый комплекс мер, но если упростить дробь, то все по-прежнему упиралось в Канцелярию. Уже седьмой год сам будучи советником ее, Ломоносов с постоянством римского сенатора твердит о необходимости разрушения этого бюрократического Карфагена для вящего процветания всего государства муз. «Канцелярия с самого начала *состояла из людей полуобразованных* (это, увы, утверждено уставом), которые распоряжались людьми ученейшими», — негодует Ломоносов.

«Знакомясь с образом действий других европейских академий, — продолжает он, — мы видим совсем иную картину. Там собрание академиков само себе судья. Никакой посторонний, полуобразованный посредник не допускается до разбора ученых споров. Приходя за получением просимого, не дожидаются у канцелярского порога разрешения войти. Профессоры не ждут выплаты жалованья и не вымаливают его у невежд, которые поглядывают на них свысока и пугают отказом. Их покоя не нарушают, наконец, сторонние дела, чуждые содружеству муз. Не очевидно ли, что Канцелярия не только не нужна Академии наук, но и отягощает ее, а потому должна быть изринута из подлинного дома науки. Вся власть и управление всеми частями должны быть переданы Профессорскому собранию, состоящему под председательством президента Академии... Беспорядочное расходование средств из академической кассы в нарушение академического устава и без малейшей справедливости служит яснейшим доказательством того, что о делах, не имеющих ничего общего с музами, Канцелярия заботилась больше, чем о прямой пользе муз».

По ходу работы Ломоносова над «Предположениями» с ними ознакомились академики И.-Э. Фишер и С. К. Котельников и сделали ряд замечаний. Собственно, замечания принадлежали Фишеру, а Котельников только поставил под ними свою подпись. Некоторые из них Ломоносов принял без-

оговорочно, с некоторыми поспорил. Так, Фишер и Котельников насторожились, прочитав в ломоносовском тексте о Канцелярии: «...хотя позднее члены стали назначаться туда из числа академиков, однако к великому ущербу науки противная сторона оказывается все же сильнее». Рецензент (Фишер) пометил на полях: «Если одна сторона — Канцелярия, а другая — Академическая конференция, дело становится понятнее. Если таков именно смысл этих слов, то я охотно под ними подписываюсь». Все-таки Шумахер и Тауберт умели обрабатывать ученые головы! Фишер, в данном случае безусловно настроенный в пользу ломоносовской точки зрения на Канцелярию, побаивается: а вдруг Ломоносов, по своему обыкновению, «копает» под Тауберта? Ведь именно так мотивировали ломоносовскую непримиримость ко всем делам Канцелярии Шумахер и его зять Тауберт. Ломоносов все это понимает и в ответе на замечание пишет: «Напрасно укоряют меня в раздорах на почве личных счетов: они вызваны исполнением общественного долга и направлены на защиту всех ученых».

В другом месте Фишер испугался примера из опыта Берлинской академии, которая, «не имея королевских субсидий, содержит себя своими собственными трудами». Испугался, что русские вельможи, враждебные к Академии, могут настроить и Екатерину II против субсидий. Фишер написал: «Это пример совсем плохой». Ломоносов же, который был взыскателен не только к Канцелярии, но и к Академическому собранию (также привыкшему «не радеть» об общей пользе), считает, что и академиков побеспокоить не грех: «Пример надо подправить, но вовсе его исключать не следует».

Ломоносов как будто чувствовал, что времени у него не остается совсем и параллельно с «Предположениями» закончил проекты штата и Регламента Академии наук (в марте 1765 года). Тауберт только в мае 1765 года представил свои проекты, то есть уже месяц спустя после смерти Ломоносова.

Если из всех ломоносовских предложений по переустройству Академии выделить наиболее существенные, то, помимо требования упразднить Канцелярию, следует назвать еще по меньшей мере два. Первое касается высшего академического руководства. «Президентами Академии, — писал Ломоносов, — бывали до сих пор вельможи и царедворцы, которые... не могли отдаваться целиком академическим делам, то ввиду их отлучек и обремененности чуждыми науке занятиями зачастую испытывается нужда в назначении для руководства нашим собранием полномочного заместителя президента, который принадлежал бы к числу старейших академиков и был бы сведущ в разных науках и славен своими заслугами, как в нашем отечестве, так и во всем ученом мире». Должность вице-президента Ломоносов планировал для себя, но единственно в видах искоренения «несчастия Академии»,

ибо изо всех академиков на ту пору только он вполне соответствовал тем требованиям, которые были предъявлены им к вице-президенту, только он «мог советом и делом прекращать внутренние неудовольствия, все недостатки исправить и приводить науки в цветущее состояние». При всей крутости его нрава, при всех личных трениях с многими академическими служащими, он один неизменно выступал убежденным защитником интересов и прав всего Академического собрания. Профессора и адъюнкты это видели и, начиная с 1745 года, всегда поддерживали его в этом направлении, забывая о личных счетах. Материальные же соображения здесь отсутствовали начисто: Ломоносов к 1764 году уже получал то годовое жалованье (1875 рублей), которое в своем проекте штата он определил для вице-президента. Тем не менее ему не удалось получить желаемую должность. Она была впервые введена лишь в 1800 году, и занял ее один из ломоносовских учеников, академик С. Я. Румовский (кстати, в 1804 году он же стал основателем и попечителем Казанского университета, где кафедру восточных языков возглавил X. Д. Френ, в 1817 году избранный членом Петербургской Академии наук и заложивший основы отечественного востоковедения, — таким образом, отчасти воплотилась ломоносовская мечта об Ориентальной академии). Окончательно институт вице-президентства был утвержден академическим уставом 1836 года.

Вторым кардинальным требованием Ломоносова, касающимся переустройства Академии, было требование расширения социального состава академического штата и в первую очередь студентов университета: «Во всех европейских государствах позволено в академиях обучаться на своем коште, а иногда и на жалованье всякого звания людям, не выключая посадских и крестьянских детей, хотя там уже великое множество ученых людей. А у нас в России... положенных в подушный оклад в Университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь великая и казне тяжелая сумма, которой жаль потерять на приобретение ученого природного россиянина, и лучше выписывать!» Впрочем, об этом требовании говорилось уже достаточно.

Таким образом, «три кита», на которых Ломоносов собирался основать «дом муз», — это 1. упразднение Канцелярии и передача всех прав Академическому собранию, 2. утверждение должности вице-президента, который был бы рабочим президентом при вельможе, ничего не делающем для наук, и 3. приведение «в вожделенное течение» гимназии и университета за счет повышения научного уровня подготовки учащихся и расширения их сословного состава.

На этой основе и стало бы возможным приведение «наук в цветущее состояние» и воплощение многих организационных замыслов Ломоносова, из которых иные просто поражают своею просторной и дальней перспективой. Так, например, в 1759—1760 годах он разработал план создания того, что теперь называют академгородком. Это был бы обширный научный комплекс из четырнадцати зданий с кабинетами, лабораториями, мастерскими, музеем, библиотекой, типографией, университетскими аудиториями и гимназическими классами, а также с жилыми помещениями для профессоров, адъюнктов и прочих академических служащих. К. Г. Разумовский предложил Ломоносову составить чертеж и смету, что тот и сделал. Соответствующую бумагу направили в Сенат. Там все и замерло. Возможно, сенаторам показалась непомерною не такая уж и большая сумма, потребная на постройку академического центра — 90 000 рублей (впрочем, прижимистыми заставляла их быть Семилетняя война). Ломоносовский чертеж не сохранился. Начатое в конце столетия строительство новых академических зданий велось по проекту куда более скромному, чем ломоносовский.

В 1763 году Ломоносов составил «Мнение о учреждении государственной коллегии земского домостройства», в котором обрисован, по существу, прообраз Сельскохозяйственной академии. Здесь он применил те принципы, на которых хотел организовать и Академию наук. Во главе коллегии поставлены президент и вице-президент — оба, Ломоносов специально подчеркивает это, «весьма знающие в натуральных науках». Далее идут советники — физик, химик, ботаник. Потом асессоры — форштмейстер (лесничий), садовник, арендатор. Допущены в коллегию и дворяне «по всем провинциям», но — как члены-корреспонденты (наивно было бы рассчитывать на плодотворную работу коллегии без тех сведений, которые должны были поставлять просвещенные помещики). А вот секретаря и двух канцеляристов Ломоносов исключил из числа полномочных членов коллегии, над которой реял зловещий призрак Шумахера. Они идут в одном списке с комиссаром, подьячими, сторожами. Члены коллегии должны были «читать иностранные книги и весть корреспонденцию», собираться «по вся дни» («И чтобы сие производилось не так, как бы побочное дело, собраньице»), учитывать и обрабатывать «известия и ведомости о погодах и о урожаях и недородах, о пересухах», о местах «гористых и сухих, болотистых и глинистых и луговых», «о лесах», «о дорогах и каналах», «о продуктах». Многие специальные оговорки, которые делает Ломоносов, основаны на горьком опыте петербургского «дома муз». Так, он подчеркивает, что если коллегию «соединить с Академиею», то «ничего не будет добра». Характерно также требование к будущим членам коллегии, «чтобы знали российский язык». Наконец, особо интересной и ценной под пером Ломоносова, апологета промышленного развития России, является следующая заметка в его проекте: «Сравнение с другими коллегиями и что коллегия сельского домостройства всех нужнее».

Созданное в год смерти Ломоносова «Вольное экономиче-

ское общество к поощрению в России земледелия и домостроительства», по замыслу Екатерины II, должно было дать выход частной инициативе помещиков, которые в нем стали действительными членами (а не корреспондентами, как в проекте Ломоносова). Иными словами, государство снимало с себя ответственность за сельское хозяйство. Ломоносовское же «Мнение» эту ответственность возлагало на него. Достоин упоминания тот умилительный факт, что Тауберт, всегда тонко чувствовавший, откуда ветер дует, свой сельскохозяйственный проект, составленный в 1765 году, назвал «Патриотическое общество для поощрения в России земледельчества и экономии»: Екатерина-то, хоть и была немка, по выказывала *нарочитый интерес к русской истории, вообще ко всему* русскому.

Впрочем, даже сделавшись «русским» патриотом, Тауберт не избежал заслуженной им участи, а именно: отлучения от руководства Академией. В 1766 году Екатерина сместит его и поставит «главным директором» Академии наук В. Г. Орлова, брата своего фаворита Григория Орлова. Академик Я. Я. Штелин писал в 1767 году, что решающую роль в этой перемене сыграла «пространная повесть» об академических делах, обнаруженая в архиве Ломоносова после его смерти. Поскольку хозяином ломоносовских бумаг стал Григорий Орлов, знакомство Екатерины с «пространной повестью» не может вызвать сомнений. «Эта рукопись, — свидетельствовал Штелин, — которую ее автор сочинил для представления двору, подтвердила сложившееся там с некоторых пор убеждение, что академические дела ведутся плохо».

Речь здесь идет о написанной Ломоносовым «Краткой истории о поведении Академической канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени». Это произведение представляет собой строго аргументированный обвинительный акт по делу о злоупотреблениях Академической канцелярии за сорок лет. Но одновременно — это и речь возмущенного гражданина, патриота, государственного мужа, ученого, и пронзительный человеческий документ, истинными авторами которого выступают оскорбляемый здравый смысл и отчаявшееся сердце.

Перечислив преступления Канцелярии против отечественной науки по шестидесяти четырем пунктам, Ломоносов приходит к выводу, что **абсолютно никакой необходимости** в создании этого административного органа с поистине всеобъемлющими полномочиями не было с самого начала и что **абсолютно никакой пользы** Академии Канцелярия не принесла. Когда первый президент Л. Л. Блюментрост поставил Шумахера хранителем и распорядителем денежных сумм Академии, он тем самым дал в руки советнику Канцелярии «способ принуждать профессоров удержанием жалованья или приласкать прибавкою оного». И совершилось нечто невероятное: человек, далекий от науки, легко и просто сделался

значимым лицом среди высокоученых мужей, более того, всегда держал их на финансовом поводке. Благодаря этому обстоятельству более тридцати лет он, а потом его зять и преемник Тауберт помыкали академиками, «не рассуждая их знания и достоинств, но токмо смотря, кто ему больше благосклонен или надобен». Далее, он «всевал между ними вражды, вооружая особливо молодших на старших и представляя их президентам беспокойными». Он скупился на научные исследования, лабораторное оборудование, учебники, «а деньги тратил по большой части по своим прихотям, стараясь завести при Академии разные фабрики и раздаривать казенные вещи в подарки, а особливо пользоваться для себя беспрестанными подрядами, покупками и выписыванием разных материалов из-за моря». Наконец, он «всячески старался препятствовать, чтобы не вошли в знатность ученые, а особливо природные россияне».

Уже в первое десятилетие Академии стали явственны зловещие последствия зловещей активности Шумахера: «Сие было причиною многих приватных утеснений, кои одне довольны уже возбудить негодование на канцелярские поступки, ибо не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернулиев и других, во всей Европе славных, кои только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но, Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». Но их отъезд почти совпал по времени с возвращением из Германии Ломоносова, и началась ежедневная (!), не затихающая борьба не на живот, а на смерть. Начались «нападки на Ломоносова, который Шумахеру и Тауберту есть сугубый камень претыкания, будучи человек, наукам преданный, с успехами и притом природный россиянин, ибо кроме того, что не допускали его до химической практики, *хотели потом отнять* химическую профессию и определить к переводам, препятствовали в издании сочинений, отняли построенную его рачением Химическую лабораторию и готовую квартеру, наущали на него разных профессоров, а особливо Епинуса, препятствовали в произвождении его..., препятствовали в учреждении Университета, в отправлении географических экспедиций, в сочинении «Российского Атласа» и в копировании государских персон по городам». Интересно, что Ломоносов перечислил здесь далеко не все нападки на него со стороны Шумахера и Тауберта. «Собрать все эти гадкие, колкие факты и фактики очень трудно, — пишет современный автор, — они рассыпаны и растворены в жизни великого ученого, как ядовитые соли. В истории русской науки были люди замечательные, которых современники в должной мере не оценили. Есть и такие, которые подвергались серьезным нападкам и гонениям. Но мало кого из больших ученых так последовательно и планомерно травили многие годы, как Ломоносова». Травля эта продолжалась почти четверть века, с июня

1741 года по апрель 1765 года, без сколько-нибудь ощутимых перерывов, а к концу достигла такой стадии, когда он, по его собственным словам, был «принужден беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков и претерпевать нападения почти даже до самого конечного своего опровержения и истребления».

Это последнее слово под пером Ломоносова не случайно. Я думаю, речь здесь идет не о метафорическом, а о физическом «истреблении». Впрочем, не надо все понимать в том смысле, что Шумахер и Тауберт подыскивали наемных убийц или пытались подмешать Ломоносову яду. Но то, что вследствие каждодневной, методической травли (которая усилилась после смерти Елизаветы) дело могло дойти до физического истребления, необходимо иметь в виду как вполне реальную, а быть может, и неизбежную перспективу для Ломоносова. Ведь вот в 1763 году, когда все едва не кончилось вечной отставкой Ломоносова, Тауберт, «призвав в согласие Епинуса, Миллера и адъюнкта Географического департамента Трескота, сочинил скопом и заговором разные клеветы» на него и направил Екатерине, «так что Ломоносов от крайней горести, будучи притом в тяжкой болезни, едва жив остался». А годом ранее, во время очередного тяжелого приступа болезни Ломоносова «Тауберт выпросил у президента такой ордер в запас», который отстранял его от руководства Географическим департаментом, чтобы, «ежели Ломоносов не умрет», показать ему этот «ордер президентский» по его выздоровлении, что и сделал. Благо, что был «оный ордер просрочен и силы своей больше не имел». Но сам-то расчет на смерть Ломоносова и деловитая готовность к ней говорят о многом.

Я думаю, если бы Ломоносов ограничился только призывами к борьбе за честь и достоинство «россиян верных», если бы обвинения «недоброхотов российских» выражали бы просто чувства досады и гнев и не затрагивали денежной стороны дела, Шумахер и Тауберт не повели бы против него смертельной войны и позволили бы ему сколько угодно изощрять свое ораторское мастерство на этих дорогих для него темах. Но в том-то и дело, что Ломоносов вторгся в «грешная грешных» и «тайная тайных» Академической канцелярии, а проще сказать — обратил внимание на то, что в Академии, начиная с 1747 года, постоянно имелись вакансии, но деньги из государственной казны поступали все это время в соответствии с полным штатным расписанием: «...Академическое собрание и прочие до наук надлежащие люди при Академии никогда в комплете не бывали... Между тем в Академическое комиссарство с начала нового стата по 1759 год в остатке должно б было иметься в казне 65 701 р., а поныне, чаятельно, еще много больше». Сумма остатка, накопившегося с 1747-го по 1759 год, названа Ломоносовым точно на основании собственных расчетов и бухгалтерских документов. Если бы он имел возможность ознакомиться с соответствующими справками за следующее пятилетие — с 1760-го по 1764 год, он не был бы столь неопределенен (*«чаятельно, еще много больше»*) в общей оценке. Но если вспомнить, что штатная сумма всей Академии составляла 53 298 рублей в год, то можно предположить, что к 1764 году Канцелярия поглотила на свои цели около двух годовых академических бюджетов! Чтобы удержать эти деньги при себе, прибегли к такому надежному способу, как фиктивные, но внешне достоверные статьи расходов («беспрестанные починки и перепочинки» академических помещений, «содержание излишних людей» и т. п.). То, что Канцелярия каким-то образом манипулирует с финансами, должен был чувствовать на себе каждый академический служащий. За время работы Ломоносова в Академии жалованье сотрудникам ни разу не было выплачено в срок. Обо всем этом Ломоносов один не боялся говорить вслух, а в «Краткой истории» он просто свел воедино итоги своих самостоятельных ревизий. Таков корень лютой вражды к нему Шумахера и Тауберта, с удовольствием, наверное, расправившихся бы с ним даже не столько из чувства ненависти, сколько ради самосохранения.

Когда в Академию пришел новый президент, восемнадцатилетний К. Г. Разумовский, и с ним его бывший наставник Г. Н. Теплов, Канцелярия в лице Шумахера сумела подчинить себе и новое начальство: «...нынешний президент, его сиятельство граф Кирила Григорьевич Разумовский, будучи от российского народу, мог бы много успеть, когда бы хотя немного побольше вникал в дела академические, но с самого уже начала вверился тотчас в Шумахера, а особливо, что тогдашний асессор Теплов был ему предводитель, а Шумахеру приятель». То, что Ломоносов в документе, адресованном Екатерине, вроде бы поносит президента, поставленного Елизаветой, не может быть поставлено ему в вину. Во-первых, как мы помним, еще в январе 1761 года в письме к Теплову, Ломоносов весьма критически оценивал президентство К. Г. Разумовского и не боялся, что это станет ему известно. Во-вторых, у Екатерины, по свидетельству Е. Р. Дашковой, не было к К. Г. Разумовскому неприязни, а скорее наоборот: она ему (так же, как его старшему брату Алексею) симпатизировала даже. Так что в словах Ломоносова нет и намека на заочное поношение или донос — просто, как всегда, у него на первом месте стоят интересы дела. Откровенно же говоря о К. Разумовском, Ломоносов был озабочен всего более тем, что по Регламенту 1747 года в отсутствие президента вся полнота академической власти возлагалась на Канцелярию.

Иными словами, и в присутствии президента и во время его очень частых отлучек руководство Академией было сосредоточено в руках названного триумвирата, члены которо-

го демагогически прикрывали все свои действия именем президента: «...Шумахер, Теплов и Тауберт твердили беспрестанно, что честь президентскую наблюдать должно и против его желания и воли ничего не представлять и не делать, когда что наукам в прямую пользу делать было надобно. Но как президентская честь не в том состоит, что власть его велика, но в том, что ежели Академию содержит в цветущем состоянии, старается о новых приращениях ожидаемыя от ней пользы, так бы и сим поверенным должно было представлять, что к чести его служит в рассуждении общей пользы, а великая власть, употребленная в противное, приносит больше стыда и нарекания».

Тем временем в Западной Европе складывалось очень невыгодное представление о Петербургской Академии наук и вообще о возможностях просвещения в России. Сеятелями такого мнения о русской науке были французские авторы особенно после того, как при Петре III, а затем и при Екатерине II внешняя политика России приобрела ярко выраженный антифранцузский характер. В 1763 году в «Мемуарах» Парижской Академии было объявлено о готовящемся выходе в свет книги члена этой Академии астронома аббата Ж. Шаппа д'Отероша «Путешествие в Сибирь, совершенное по повелению короля в 1761 г.», где, описав свою экспедицию по наблюдению за прохождением Венеры по диску Солнца, он намеревался поделиться впечатлениями о культурной жизни в России. Книга вышла в 1768 году, после смерти Ломоносова. В ней в превосходных степенях говорилось о «достойнейших» иностранцах в Петербургской Академии наук (в их числе и о Тауберте) и одновременно утверждалось, что вопреки усилиям Петра I и его последователей ни один из русских ученых не развился до того, чтобы его имя можно было внести в анналы естествознания. Своими писаниями Шапп д'Отерош выполнял таким образом прямое поручение версальского двора и способствовал разжиганию антирусских настроений во Франции. Его «Путешествие», по словам А. С. Пушкина, «смелостию и легкомыслием замечаний сильно оскорбило Екатерину». В самой Франции отношение к нему нельзя назвать безусловно положительным: его, например, резко критиковал Д. Дидро. Тем любопытнее, что Ломоносов в «Краткой истории о поведении Академической канцелярии» пишет о возможной реакции Запада на происходящее в Петербургской Академии так, как если бы ему хорошо была известна книга академика аббата: «Какое же из сего нарекание следует российскому народу, что по толь великому монаршескому щедролюбию, на толь великой сумме толь коснительно происходят ученые, из российского народа! Иностранные, видя сие и не зная вышеобъявленного, приписывать должны его тупому и непонятному разуму или великой лености и нерадению. Каково читать и слышать истинным сынам отечества, когда иностранные в ведомостях и в сочинениях пишут о россиянах, что-де Петр Великий напрасно для своих людей о науках старался...»

Но престиж престижем, а главное-то все-таки в том, что «науки претерпевают крайнее препятствие, производятся новые неудовольствия и нет к лучшему надежды». Тяжел и безотраден финал «Краткой истории о поведении Академической канцелярии». Самая надежда на Екатерину выражена как-то безнадежно: «Едино упование состоит ныне по Бозе во всемилостивейшей государыне нашей, которая от истинного любления к наукам и от усердия к пользе отечества, может быть, рассмотрит и отвратит сие несчастие. Ежели ж оного не воспоследует, то верить должно, что нет Божеского благоволения, чтобы науки возросли и распространились в России».

Можно себе представить, каково было Ломоносову произнести такое в конце своего пути! Полный тупик. И жить оставалось лишь семь месяцев!

ГЛАВА IV

> *Мужеству и бодрости человеческого духа и проницательству смысла последний предел еще не поставлен.*
>
> *М. В. Ломоносов*

1

«Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею токмо о том, что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии и теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной...» — эти горькие ломоносовские слова были записаны академиком Я. Я. Штелином после того, как он навестил своего великого коллегу во время его предсмертной болезни.

Написав «Краткую историю о поведении Академической канцелярии», Ломоносов впал в подавленное состояние: слишком жуткая картина вырисовывалась в этом документе. В словах, сохраненных для потомства Я. Я. Штелином, сквозит страх, что история Академии вообще может превратиться в историю Канцелярии. Оставшиеся семь месяцев жизни не показали Ломоносову ничего такого, что могло бы поколебать его пессимизм. К тому же из этих семи месяцев три он проболел: с середины октября по середину декабря 1764 года,

практически весь январь 1765 года. 4 марта он слег уже окончательно.

Но все эти безотрадные обстоятельства не смогли разрушительно повлиять на деятельный характер Ломоносова. Если попытаться одним словом определить ломоносовскую жизнь, то этим словом, несомненно, должно стать преодоление. Он преодолел и на сей раз. Впрочем, это последнее преодоление в цепи других преодолений исчерпало его силы уже без остатка.

«Неусыпный труд препятства преодолевает» — этот рабочий пример в 1747 году попал в «Риторику» не случайно. Ломоносов, по существу, не знал «отдохновений» ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте. Не стали исключением и последние семь месяцев: присутствие в Академическом собрании и Канцелярии, составление служебных документов, отзывов, официальные и частные письма, наблюдение за работой подведомственных подразделений и т. д. и т. п.

Так, 27 августа 1764 года, на другой день после окончания «Краткой истории о поведении Академической канцелярии», он читает в Академическом собрании речь «О переменах тягости по земному глобусу». В сентябре проверяет работу мастера Ивана Ивановича Беляева по изготовлению зрительных труб для Адмиралтейской коллегии. Выполняя поручение Екатерины II, наведывается в Летний сад осмотреть опытные посевы ржи и пшеницы придворного садовника Генриха Яковлевича Эклебена и 7 сентября в «Санктпетербургских ведомостях» помещает заметку, в которой рассказывает об удивительных результатах Г. Я. Эклебена, сумевшего заставить пшеницу и рожь куститься небывалым образом («в целом кусте из одного посеянного зерна вышло 2375 зерен»), и завершает следующим выводом: «Сей первый опыт доказывает, что и в наших северных краях натура в рассуждении хлеба плодовитее быть может старательным искусством» [1]. Затем наставлял штурманов, подштурманов и штурманских учеников, направленных к нему из Адмиралтейства, в практической астрономии. 10 сентября подал К. Г. Разумовскому представление об организации двух географических экспедиций в европейскую часть России и обратился к нему же с просьбой о передаче университету и гимназии «Строганова дома», так как старое здание совершенно обветшало и к тому же далеко от Академии (через три дня президент удовлетворил эту просьбу), 20 сентября смотрел первую медную доску с выгравированными изображениями северного сияния по своим рисункам и написал благодарственное письмо Я. Я. Штелину (под чьим началом находилась Академическая гравировальная палата). В начале октября был занят отбором образцов «географических обоев» для дворца. 12 октября указал принять в гимназию недоросля Ковалева на казенный кошт. Неделю спустя заболел, но продолжал работу: переписывался с Адмиралтейством, составил описание мозаичных картин для мемориала Петру I в Петропавловском соборе. 31 октября читал наследнику Павлу Петровичу новое стихотворное произведение «Разговор с Анакреоном». 9 ноября распорядился запросить из разных государственных учреждений данные для составления «экономического лексикона» и в тот же день пригласил к себе письмом Я. Я. Штелина: «Со всею бы охотою исполнил я свою должность посетить вас и оказать мое к вам почитание; только истинно ныне слабость ног не дозволяет. Мне есть с вашим высокородием кое-чего поговорить... Покорно прошу после обеда чашку чаю выкушать, чем я весьма много одолжен буду». 3 декабря он направляет в Канцелярию предложение поручить академику Н. И. Попову и адъюнкту А. Д. Красильникову обучение адмиралтейских штурманов. 13 и 14 декабря возобновил присутствие в Канцелярии после болезни.

[1] Было много скептиков, подозревавших Г. Я. Эклебена в надувательстве. Тот предложил скептикам пари, поставив со своей стороны собственную землю и дом. Охотников биться об заклад не нашлось. Свой секрет повышения урожайности Г. Я. Эклебен не открыл.

В течение почти всего января 1765 года Ломоносов был болен и не появлялся в Академии. 28 января он присутствовал в Академическом собрании, где предложил вместо выходившего до сих пор печатного органа Академии «Ежемесячные сочинения», издателем которого был Миллер, выпускать новые — «Экономические и физические». Собрание решило отложить рассмотрение этого вопроса. 16 февраля Ломоносов ознакомился с «доношением» Миллера в Канцелярию, в котором говорилось, что-де он, Ломоносов, «продолжение «Ежемесячных сочинений» оспорил и на место оных предложил издание экономических сочинений». Ломоносов подчеркнул в доношении слово «оспорил» и написал на полях: «И тут грубость и клевета. Иное предложить, а иное оспорить». Кроме того, в феврале он консультировал генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского по лучшей организации работы Сенатской типографии, изучал образцы руд, поступившие из Нижнего Тагила, присутствовал в Адмиралтейской коллегии, где рассматривалась его «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным Сибирским океаном», после чего внес в текст несколько поправок, и т. д. и т. п.

28 февраля он последний раз в жизни присутствовал в Академической канцелярии — да и то потому только, что узнал о несправедливом увольнении «инструментального художества мастера» Филиппа Никитича Тирютина, более двадцати лет верой и правдой служившего Академии. Около трех часов потратил Ломоносов на то, чтобы доказать, что талантливого и честного инструментальщика увольнять за «ненадобностью» — преступно. Добился он только того, что

Тирютину при увольнении дали хороший аттестат, текст которого заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«По указу е. и. в. дан сей аттестат из Канцелярии Академии наук ведомства оной Академии инструментального художества мастеру Филипу Никитину сыну Тирютину в том, что он в службе е. и. в. при Академии обретался с 1737-го учеником, с 1747 подмастерьем, с 1756 мастером. Делает астрономические квадранты, астрелябии и прочие математические инструменты и имеет в тех делах хорошее искусство, а сверх того исправлял типографские и другие прессы, и во всю свою бытность при Академии в поступках вел себя честно, в штрафах и подозрениях не бывал и поручаемое ему исправлял порядочно и прилежно. Но как ныне оный Тирютин остался сверх штата, то по определению Канцелярии Академии наук велено ему, Тирютину, приискать себе место в другой команде; чего ради сей аттестат ему и дан...

На подлинном аттестате подписано тако:
Статский советник Иван Тауберт
Статский советник Михайло Ломоносов

Февраля 28 дня
1765 года».

Это последний академический документ, подписанный Ломоносовым. И — какая тяжелая символика! — даже здесь над ломоносовской подписью, подобно «громовой туче от норда», нависло имя человека, «который за закон себе поставил Махиавелево учение, что все должно употреблять к своим выгодам, как бы то ни было вредно ближнему или и целому обществу». Почти в то же самое время, когда подписывался тирютинский аттестат, в двадцатых числах февраля, Ломоносов набросал письмо Л. Эйлеру, в котором дал выход своему долго копившемуся гневу, презрению и даже просто омерзению к Тауберту и ко всем его делам. В этом письме достается еще и Миллеру и Румовскому (который незадолго до того просил защиты у президента от «гонения» Ломоносова, требовавшего наказать своего бывшего ученика за непорядки в Академической обсерватории). Ломоносов отчасти упрекает и Л. Эйлера, которому из берлинского далека все виделось в недостоверном свете, за поддержку Румовского: «*В высшей степени удивился я тому*, что ваше высокородие, великий ученый и человек уже пожилой, а сверх того еще и великий мастер счета, так сильно просчитались в последнем своем вычислении. Отсюда ясно видно, что высшая алгебра — жалкое орудие в делах моральных: столь многих известных данных оказалось для вас недостаточно, чтобы определить одно маленькое, наполовину уже известное число... вы не сумели разобраться в... лживых инсинуациях, касающихся Таубертовой комнатной собачки — Румовского. Тауберт, как только увидит на улице собаку, которая лает на меня, тотчас готов эту бестию повесить себе на шею и целовать под хвост. И проделывает это до тех пор, пока не минует надобность в ее лае; тогда он швыряет ее в грязь и натравливает на нее других собак... Вы не поставите мне в вину резких выражений, потому что они исходят из сердца, ожесточенного неслыханной злостью моих врагов... Плутовское правило Шумахера «divide et imperabis»[1] доныне в превеликом ходу у его преемника... Так как я восемь... лет заседаю в Канцелярии (не для того, чтобы начальствовать, а чтобы не быть под началом у Тауберта), то эта сволочь неизменно старается меня оттуда выжить». Впрочем, письмо это не было дописано и отправлено.

При всей резкости и несдержанности своего характера Ломоносов никогда не снисходил до бранных слов в письмах и документах. Исключение составляют лишь январское письмо 1761 года И. И. Шувалову о А. П. Сумарокове, отзыв о «Грамматике» Шлецера (когда дело доходит до этимологии слова «дева») и, наконец, этот набросок письма Л. Эйлеру. Надо было очень сильно и очень больно уязвить даже не самого Ломоносова, а то, что ему было дороже его самого и что он защищал, естественно, не щадя себя самого. Кроме того, необходимо иметь в виду, что и в ожесточении, и в срыве он заботится о своем бывшем ученике, ведет с ним напряженный внутренний диалог: опомнись, отпадет в тебе надобность — и тебя самого бросят на растерзание... Ломоносов и на пороге смерти ведет борьбу за искоренение плевел, посеянных Шумахером и Таубертом. Иначе — около-научные дрязги погубят Академию.

Вот почему в самом начале марта, чувствуя, что уже и последние силы его оставляют, он решается на отчаянный жест умирающего человека — твердо намеревается добиться аудиенции у Екатерины II, чтобы в беседе с ней привлечь ее внимание к ужасающему положению академических дел, вообще культурной политики в России. Как иногда в особо ответственных случаях, Ломоносов составил план своего разговора с императрицей. И вот что он писал за месяц до смерти:

«1. Видеть государыню.
2. Показывать свои труды.
3. Может быть, понадоблюсь.
4. Беречь нечего. Все открыто Шлецеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев.
5. Приносил его высочеству дедикации. Да все! и места нет.
6. Нет нигде места и в чужих краях.
7. Все любят, да шумахершина.

[1] «Разделяй и будешь властвовать» *(лат.)* — слова Маккиавелли.

8. Multa tacui, multa pertuli, multa concessi [1].

9. За то терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro aris etc [2].

10. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют.

11. Ежели не пресечете, великая буря восстанет».

Уже при беглом взгляде на этот документ видно, что Ломоносов ничего не собирался выпрашивать только для себя (хотя и идет разговор о «местах»). Здесь жизнь со смертью борется. Здесь решаются судьбы новой русской культуры. Здесь дело идет либо о приумножении достоинства, славы, знания великого народа, либо о полной потере всего этого, о культурной деградации и погружении в хаос. Ломоносов хотел прийти к Екатерине, чтобы напомнить, а не славословить императрицу и в гораздо большей степени спросить с нее, чем просить у нее. И — предостеречь. Так с царями говорят пророки, а не просители и прожектеры. Действительно: иные слова здесь звучат воистину «пророчески-неясно, как откровение духов», если воспользоваться стихом Ф. И. Тютчева.

Ну, «показывать свои труды», конечно, сказано не в том смысле, что Ломоносов собирался представить Екатерине полный список своих трудов, как он это делал в 1764 году для М. И. Воронцова, когда готовился через его протекцию к избранию в Болонскую Академию. Надо думать, что теперь он намеревался показать общее направление своей научной работы, ее государственный уклон. Вот почему далее идет: «Может быть, понадоблюсь», — то есть само содержание трудов скажет лучше его о его надобности государству (отсюда иронический и одновременно усталый вызов, который, несомненно, чувствуется в третьем пункте).

Слова о Шлецере вряд ли требуют дополнительного разъяснения (все, что касается этого пункта, достаточно обговорено в своем месте). Можно лишь подчеркнуть, что именно в последние семь месяцев жизни Ломоносов шесть раз должен был иметь дело с бумагами, касающимися Шлецера (писал свое мнение об отпуске его в Германию, отзыв о плане его научных работ и т. д.). Если по поводу второго и третьего пунктов можно предположить, что Екатерина положительно отнеслась бы к Ломоносову, то в деле Шлецера все уже было решено, и никакой, даже самый страстный и убедительный монолог при встрече с нею ничего не изменил бы.

Словом, пока что все в плане более или менее ясно. А вот пятый и шестой пункты достаточно туманны. С «дедикациями» понятно: это посвящения великому князю Павлу Петровичу «Российской грамматики» и «Краткого описания разных путешествий по Северным морям». Но каким образом «дедикации» могут быть связаны с «местом»? Что это за «место»? Почему Ломоносов вдруг заговорил о «месте» «в чужих краях»? Очевидно, «место», о котором говорится в пятом пункте, — это место вице-президента Академии. Что же касается пункта шестого, то его комментаторы обходят молчанием. Едва ли Ломоносов говорит в нем о намерении поискать места «в чужих краях» (очевидно, именно такой смысл ломоносовского текста смущает комментаторов, и они молчат). Здесь другое: Ломоносов собирался обрисовать Екатерине безвыходность своего положения в Академии, исходя именно из принципиальной невозможности и нежелательности для себя выехать «в чужие краи», — в отличие от академиков-иностранцев, которые всегда могли вернуться к себе в Берн, Тюбинген, Геттинген и еще невесть куда. Подавляющее большинство научных замыслов и начинаний Ломоносова было направлено на пользу России и вызвано потребностями собственно русского культурного развития — так что он со своей научно-просветительской программой пришелся бы не ко двору в любой западноевропейской академии. А в родной Академии реализовать эту программу не дают чиновники-иностранцы. Для русского ученого ее родные стены превращены в тюрьму.

Теперь становятся в полной мере понятными его слова: «Все любят, да шумахершина». Внешние знаки внимания, оказываемые Ломоносову, в создавшейся ситуации даже досадны ему. Он пережил свое честолюбие. Покуда процветает «шумахершина» — злейший личный враг Ломоносова, представляющий исключительную и мало кем всерьез учитываемую опасность для Русского государства, не будет ему покоя.

«Шумахершина» и является главной темой предполагаемой беседы. Именно на ее фоне особенно мощно звучит в заметках Ломоносова личный мотив (пункты 8, 9, 10), не требующий разъяснения. За исключением, может быть, начала второй латинской фразы. Так же, как и первая, она взята из Цицерона. Полностью фраза выглядит так: Pro aris et focis certamen, то есть «Борьба за алтари и домашние очаги». Тут содержится самобытная и глубокая, как ни у кого из современников Ломоносова, оценка деятельности Петра I, ее исторического смысла и культурных последствий: вот ради чего борьба! Россия, только что пережившая бурное время петровских преобразований, менее всего должна испытывать чувство «неполноценности» перед Западной Европой. Учиться у Запада, безусловно, необходимо. Но учиться — полагаясь на «свой разум», на свои ресурсы, учитывая насущные потребности и внутреннюю логику своего развития. Только

[1] Многое принял молча, многое снес, во многом уступил *(лат.)*.

[2] За алтари и т. д. *(лат.)*.

такое ученье могло быть плодотворным, ибо и сама Россия несла с собою уникальные ценности в сокровищницу мировой культуры.

Нравственная (и одновременно государственная) задача, которую ставит Ломоносов, заключается, следовательно, в том, чтобы сделать эту «борьбу за алтари и домашние очаги», за «достоинство россиян» краеугольным камнем всей русской политики, что будет невозможно, если эта «борьба» не станет личной потребностью императрицы. «Тауберт и его креатуры» протянули свою цепкую руку к чему-то неизмеримо большему, нежели русская наука или русская казна...

«Ежели не пресечете, великая буря восстанет».

Говорят, перед смертью человека посещает прозрение. Еще говорят, что перед смертью же человека особенно тянет на родину. План беседы с Екатериной набросан Ломоносовым на одном листке с планом устья Северной Двины, родных мест, где прошло его детство...

Ломоносов постоянно поддерживал связи со своими земляками. Его дом на Мойке хорошо был известен куростровцам и архангелогородцам. Сюда заходили промышленники и купцы, бывавшие по делам в Петербурге. Привозили Ломоносову поморские гостинцы: морошку, клюкву, рыбу. Обращались к нему с разными просьбами, а он помогал, как мог. Так, например, 27 мая 1758 года он содействовал приему в Академическую гимназию одного юного куростровца, о чем в журнале Канцелярии было записано: «По челобитью Архангелогородской губернии Двинского уезда Куростровской волости крестьянина Осипа Дудина приказали: сына его Петра Дудина математике, рисовальному художеству и французскому языку обучать в Академической гимназии на его коште...» Это был отпрыск тех самых Дудиных, у которых почти за сорок лет до того отрок Михайло Ломоносов выпросил себе славянскую грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого. Интересно, что отец гимназиста Осип Христофорович Дудин в 1757 году предложил Кунсткамере кость мамонта, которая была куплена по распоряжению Ломоносова. Точно так же, как с Дудиными, Ломоносов не прерывал дружеских отношений с другой зажиточной и культурной поморской семьей. Вспомним соседа Ивана Шубного, который одолжил Михайле три рубля, когда тот уходил в Москву в декабре 1730 года. Так вот: в 1759 году сын Ивана Афанасьевича, девятнадцатилетний Федот Шубный, почти что ломоносовским манером, пришел в Петербург. Ломоносов помог ему устроиться поначалу придворным истопником, а потом, в 1761 году, уже И. И. Шувалов отдал его в ученье в Академию художеств, ибо он «своей работой в резьбе на кости и перламутре дает надежду, что со временем может быть искусным в своем художестве мастером». Со временем Федот Иванович Шубин действительно стал весьма и весьма «искусным в своем художестве мастером». Только не резчиком, а выдающимся скульптором, чьей работы бюст Ломоносова до сих пор является непревзойденным художественным воплощением образа его великого земляка.

Наезжала к Ломоносову и его родня. Жена Ломоносова, Елизавета Андреевна, относилась к его родственникам и землякам с любовью и уважением. Точно так же и дочь, Елена Михайловна, которой в 1765 году исполнилось 16 лет. Кроме жившей в доме на Мойке племянницы, Ломоносов вызвал в Петербург и ее родного брата, восьмилетнего Мишу, и устроил его в Академическую гимназию. Матерью их была ломоносовская сестра Марья Васильевна (дочь от последнего брака Василия Дорофеевича), вышедшая замуж за крестьянина села Николаевские Матигоры Евсея Федоровича Головина. Сохранилось письмо Ломоносова к ней:

«Государыня моя сестрица, Марья Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и с детьми.

Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санктпетербург в добром здоровье и что умеет очень хорошо читать и исправно, также и пишет для ребенка нарочито. С самого приезду сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки и совсем одет с головы и до ног, и волосы убирает по-нашему, так чтобы его на Матигорах не узнали. Мне всего удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и нашему кушанью привык, как бы век у нас жил, не показал никакого виду, чтобы тосковал или плакал. Третьего дня послал я его в школы здешней Академии наук, состоящие под моею командою, где сорок человек дворянских детей и разночинцев обучаются и где он жить будет и учиться под добрым смотрением, а по праздникам и по воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочно смотреть, как он в общежитии со школьниками ужинает и с кем живет в одной камере. Поверь, сестрица, что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный. Также и хозяйка моя и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет. И с истинным люблением пребываю брат твой

Михайло Ломоносов.

Марта 2 дня
1765 года
из Санкт-Петербурга.

Я часто видаюсь здесь с вашим губернатором и просил его по старой своей дружбе, чтобы вас не оставил. В случае

нужды или еще и без нужды можете его превосходительству поклониться Евсей Федорович или ты сама.

Жена и дочь моя вам кланяются».

«Мишенька», сын Марьи Васильевны, оправдал надежды своего крестного отца. Поступив в Академическую гимназию в год смерти Ломоносова, Михаил Евсеевич Головин (1756—1790) обучался впоследствии у Л. Эйлера, стал адъюнктом Академии наук по математике, а с 1786 года, когда вышел екатерининский указ о народных училищах, активно работал над созданием новых учебников и прославился как первый в России физик-методист, организовавший преподавание этого предмета в средней школе. Так что тысячи русских школьников в течение многих лет изучали естествознание по книжкам ломоносовского племянника.

Итак, после своего последнего присутствия в Академической канцелярии Ломоносов 1 марта посетил гимназию, присмотреть, как устроился его племянник. Тогда же, в начале марта, он получил письмо от обер-секретаря Адмиралтейской коллегии с сообщением, что в Колу для экспедиции В. Я. Чичагова решено послать модель какого-то особенного «вентилатора». Прямо на письме Ломоносов написал, что затеянное надо перенести на следующий год, ибо изготовить модель быстро не удастся, и еще вопрос, будет ли от нее толк. Наконец, 4 марта он в самый последний раз отлучился из дома — в Адмиралтейскую коллегию на окончательное утверждение его «Примерной инструкции морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным Сибирским океаном». В тот же день он заболел и слег. «Лом в ногах» усугубился простудой.

Жить оставалось ровно месяц. Миша Головин готовился к очередным урокам, Чичагов с «морскими командующими офицерами» снаряжался в намеченный поход, Красильников и Попов собирались начать обучение штурманов и подштурманов, Миллер думал о предстоящем отъезде в Москву, Тауберт, как всегда, ждал новых ломоносовских обвинений, а сам Ломоносов... Он готовился к тому, чтобы опрятно и достойно исполнить свои последние обязанности. Примерно после 7 марта он начал диктовать прошение в Сенат, в котором предлагал передать «мозаичное дело» своему шурину Ивану Андреевичу Цильху и мастеру-мозаичисту Матвею Васильевичу Васильеву: «Ежели Божескою судьбою от настоящей болезни жизнь моя пресечется, то приношу оному высокому Сенату всенижайшее прошение о нижеследующем...»

Жизнь пресеклась 4 апреля. В пятом часу пополудни он попрощался с женой, дочерью и другими людьми, случившимися на ту пору рядом с ним. В пять часов его не стало.

Когда во дворце известились о смерти Ломоносова, десятилетний наследник, будущий император Павел I сказал:

«Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал».

Через четыре дня «при огромном стечении народа» (как писал Тауберт в Москву Миллеру) Ломоносова хоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Шедший в траурной процессии рядом со Штелином Сумароков бросил: «Угомонился дурак и не может более шуметь!» На что услышал от соседа: «Не советовал бы я вам сказать ему это при жизни».

2

Немногим более чем за год до смерти, в январе 1764 года, Ломоносов, готовясь к избранию в Болонскую Академию наук, составил «Роспись сочинениям и другим трудам», в которой указал свои важнейшие работы в химии, металлургии и рудном деле, физике, поэзии, словесных науках, истории. Здесь представлены все ломоносовские произведения, которые впоследствии будут названы классическими в каждой из перечисленных областей. Достойно замечания, что в этом списке упомянуты (как завершенные) некоторые сочинения, след которых пропал и до сих пор не отыскан. В предыдущих главах говорилось, что Ломоносов в основном закончил вторую часть «Краткого руководства к красноречию» (он сам свидетельствовал, что в 1752 году «Оратории, второй части «Красноречия», сочинил 10 листов»), но и эту рукопись ни один исследователь пока не держал в руках. Так вот, кроме нее, следует искать автографы или списки еще как минимум пяти трудов Ломоносова, названных в «Росписи».

Это прежде всего «Рифмология российская», о которой не только здесь, но и в отчете за 1759 год говорится одной и той же фразой: «Собрал великую часть рифмологии российской». Затем — это «Лексикон первообразных слов российских», то есть словарь древнейшей исконно русской лексики, который также был составлен. Далее Ломоносов свидетельствует, что он «собрал лучшие российские пословицы» и, кроме того, написал «Рассуждение о разделениях и сходствах языков» (зная их более десятка, он уже перед самой смертью принялся за арабский). Где все это?

После смерти Ломоносова его бумаги оказались у екатерининского фаворита Г. Г. Орлова. Верхи понимали, что архив такого человека, как Ломоносов, представляет не только приватный и научный, но и государственный интерес. «На другой день после его смерти, — писал Тауберт Миллеру, — граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки». Потом, когда умер и сам Г. Г. Орлов, значительная часть ломоносовских бумаг осталась в Петербурге. Петербургская часть архива перешла от ломоносовской внучки Екатерины Алексеевны Константино-

вой к ее племяннице Екатерине Николаевне Раевской, которая разобрала их, разделила на два тома (в каждом более 400 листов) и переплела в темно-зеленую кожу. Потом оба эти тома с надписью на корешках «Портфель Ломоносова» достались ее внучке Елизавете Николаевне Орловой, которая в 1926 году передала их Академии наук через академика В. И. Вернадского, возглавлявшего в то время академическую Комиссию по истории знаний, незадолго до того созданную и начавшую подготовку к печати сочинений Ломоносова. Часть архива была куплена в 1827 году литератором П. П. Свиньиным. Это собрание, получившее впоследствии название «Свиньинский сборник», включало в себя около 400 листов естественнонаучных работ.

Извлечения из «Портфеля Ломоносова» Е. Н. Раевской и из «Свиньинского сборника» начали публиковаться уже в XIX веке. Тогда же стали известны ломоносовские материалы из воронцовского и шуваловского архивов (правда, И. И. Шувалов еще в 1783 году успел сам передать издателям академического собрания сочинений Ломоносова полтора десятка ломоносовских писем к нему). Огромное число текстов Ломоносова из разных источников было опубликовано в XIX веке академиками П. С. Билярским, А. А. Куником, В. И. Ламанским, П. П. Пекарским, а в XX веке профессором Б. Н. Меншуткиным.

Казалось бы, весь архив Ломоносова находится в поле зрения исследователей. Но это далеко не так. Надо искать. Вдохновляющим примером здесь может служить обнаружение в 1972 году части библиотеки Ломоносова, которая также считалась безнадежно утраченной. Ломоносовские книги, как и рукописи, оказались у Г. Г. Орлова, после смерти которого вся его библиотека (и ломоносовская в ее составе) была помещена в Мраморный дворец, купленный Екатериной II и потом подаренный великому князю Константину Павловичу. Его внебрачный сын П. К. Александров в 1832 году подарил часть библиотеки Мраморного дворца Александровскому университету в Гельсингфорсе (Хельсинки). Попав в Финляндию, книги Ломоносова сохранились, хотя их рассредоточили по разным залам. Здесь-то спустя сто сорок лет они и были обнаружены благодаря кропотливым разысканиям советских и зарубежных ученых. Так что не исключено, что пробьет час и для второй части «Краткого руководства к красноречию» и для пяти завершенных, но не отысканных работ, которые указаны в «Росписи сочинениям и другим трудам». Надо искать.

Каждое неизвестное ранее произведение, даже отдельная строчка такого гения, как Ломоносов, — это ценнейшее прибавление к золотому фонду национальной и мировой культуры. В этом лишний раз убеждаешься, размышляя над перечисленными им в «Росписи» незавершенными трудами. Их три, и все они задуманы как итоговые по отношению к предыдущим его работам в соответствующих областях науки. Это прежде всего «Древняя Российская история», работу над которой Ломоносов не думал оставлять: «Прочитаны многие книги домашних и внешних писателей; из них выписаны всякие надобности в продолжение «Российской истории». Как мы помним, он собирался довести ее «до великого князя московского Ивана Васильевича, когда Россия вовсе освободилась от татарского насильства».

Далее он упоминает уже проведенные исследования по изучению атмосферного электричества и указывает то, что находится в работе: «Наблюдения северных сияний, учиненные и нарисованные в разные времена, и сочиняется подлинная оных теория пространно». Действительно, с конца 1763 года по май 1764 года Ломоносов успел не только составить общий план капитального труда под названием «Испытание причины северного сияния и других подобных явлений», но и написать два параграфа первой главы первой части его. В завершенном виде этот труд должен был состоять из предисловия, пятнадцати глав, разбитых на три части, и заключения. Медные доски с изображениями северных сияний по рисункам Ломоносова, которые выполнялись в Гравировальной палате под наблюдением Штелина, были предназначены как раз для этой будущей книги. Она должна была расширить и углубить положения, выдвинутые Ломоносовым за десять лет до того в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».

О третьей из незавершенных работ говорится: «Сочиняется новая и верно доказанная система всей физики». Этот замысел Ломоносова в гораздо большей степени, чем предыдущие, связан с его ранними работами. Он воистину грандиозен. «Система всей физики» стала бы философским венцом ломоносовского естествознания. По существу, весь четвертьвековой самостоятельный путь Ломоносова в лабиринте сложнейших проблем современной ему физики был подступом к этому главному труду.

Уже в самом начале 1740-х годов, сразу по возвращении из Германии, он нацелен на универсальное истолкование новой физической картины мира, и огромный очерк Системы уже тогда забрезжил в его сознании. Вспомним 160-ю заметку по физике и корпускулярной философии: «Сколь трудно полагать основания! Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний... Я, однако, отваживаюсь на это, опираясь на положение или изречение, что природа крепко держится своих законов и всюду одинакова». И уже тогда им были предприняты первые попытки изложения Системы в таких его оставшихся незавершенными работах, как «Опыт теории о нечувствительных частицах тел и вообще о причинах частных качеств», «44 заметки о сцеплении корпускул», «О сцеплении и расположе-

нии физических монад», «О составляющих природные тела нечувствительных физических частицах, в которых заключаются достаточные основания частных качеств».

Потом были письма к Л. Эйлеру от 5 июля 1748 года, 27 мая 1749 года и 12 февраля 1754 года, в которых о «системе корпускулярной философии» говорилось уже как о рабочей гипотезе, обретавшей четкие очертания, и вместе с тем выражались понятные опасения, что преждевременное опубликование всей концепции может повредить ей. В первом письме Ломоносов пишет, что общее понятие о новой своей теории он «положил еще тогда, когда серьезно начал размышлять о мельчайших составных частях вещей». Это атомистическая в исходных положениях теория. «Я вижу, — продолжает он, — что она уже и теперь совершенно согласуется с остальными моими представлениями, которые я себе составил о частных качествах тел и о химических операциях. Хотя все это, и даже всю систему корпускулярной философии, мог бы я опубликовать, однако боюсь, как бы не показалось, что даю ученому миру незрелый плод скороспелого ума, если я выскажу много нового, что по большей части противоположно взглядам, принятым великими мужами». Ломоносовская Система оказывалась в непримиримом противоречии с учением о монадах, основоположником которого был Г. Лейбниц, а самым ревностным приверженцем и популяризатором Х. Вольф. Между тем, на основе монадологии, Ломоносов убеждался в этом не однажды, нельзя было удовлетворительно истолковать многие физические явления. Вот почему, излагая Эйлеру суть своего «Слова о явлениях воздушных», он писал в третьем из названных писем (12 февраля 1754 года): «...не коснулся я и многого, что совершенно разрушило бы представление о хвостах комет, состоящих будто бы из паров. Признаюсь, что я главным образом и оттого все это оставил, чтобы, нападая на писания великих, не показаться скорее хвастуном, чем искателем истины. Эта же самая причина мне давно уже препятствует предложить на обсуждение ученому свету мои мысли о монадах. Хотя я твердо уверен, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, но я боюсь опечалить старость мужу (Х. Вольфу. — *Е. Л.*), благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть; иначе я не побоялся бы раздразнить по всей Германии шершней-монадистов».

Упомянутые произведения Ломоносова (философские и физические наброски 1740-х годов, письма к Эйлеру 1748—1754 годов) показывают, что для него среди всех естественнонаучных проблем эпохи самой важной была проблема правильного философского метода. Если монадология Лейбница и Вольфа, с его точки зрения, была чревата «мистическими» издержками, особенно в умах и творениях эпигонов, этих «шершней-монадистов», то и перед теми, кто исповедовал

«метод философии, опирающийся на атомы» (следовательно, и перед ним самим, убежденным и страстным апостолом атомистического мировоззрения), возникала своя опасность, равно губительная для достоверного познания природы, — опасность механицизма. Ведь объявил же он в «Опыте теории о нечувствительных частицах» законы механики высшими, всеобъемлющими законами природы. И вот теперь, в заметках к «Системе всей физики», которые, по существу, целиком посвящены проблеме метода, Ломоносов намеревается свести воедино свои мысли в этом направлении, не воплощенные ранее. При всем том со страниц заметок встает образ совершенно нового Ломоносова, ученого и мыслителя.

В самой структуре набросков будущего труда (а они имеют свою структуру) как бы отразилось постепенное восхождение ломоносовской мысли к качественно новому знанию. Заметки разделены на три группы. Первая, состоящая из двадцати восьми фрагментов, — это что-то вроде «первичного хаоса», того самого, из которого Бог-творец создает стройный и гармоничный мир. Семь пунктов второй группы показывают, на основе каких принципов будет происходить упорядочение исходного материала. Наконец, третья группа, озаглавленная «Отделы микрологии», судя по всему, и представляет собою набросок труда, которому предстояло изложить целиком «систему всей физики». Это слово «микрология» выбрано не случайно — оно полемично по отношению к «Монадологии» Лейбница. И еще две великие тени — Декарта и Ньютона витают над страницами ломоносовских заметок.

Обратимся ко второй их группе, в которой сам Ломоносов дал нам ключ к пониманию его замыслов. Начальная строчка здесь гласит: «Как я поступать намерен». К ней присовокуплен цифровой указатель, позволяющий видеть, какие заметки первой группы выражают собственно авторскую позицию.

В природе Ломоносов выделяет как основное ее качество «самоочевидную и легкую для восприятия простоту» (вспомним у Ньютона: «Природа проста и не роскошествует излишним количеством причин»). Эта, выражаясь современным языком, специфика предмета предполагает соответственный стиль исследования. По мысли Ломоносова, через «точность опытов, осмотрительность, истинность», а также через «тщательное сцепление доводов» исследователь необходимо приходит к «согласному значению доводов». При этом ему возбраняется чинить насилие над природой: правильный метод означает, что в равной мере «из согласного и несогласного извлекаются доводы». Нельзя упорствовать в своих заблуждениях. Девиз настоящего исследователя таков: «С величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов». Касательно рабочей терминологии заду-

манного труда Ломоносов специально подчеркивает, что и она будет соответствовать предмету исследования, то есть будет простой и вполне традиционной: «Пользуюсь здесь многими словами как вполне известными, как-то: фигура, движение, покой, — не давая здесь определений их». Наконец, он указывает, что свою «систему всей физики» он строит в следующих трех измерениях: «Историческое познание, философское и математическое, каковы будут у меня».

Обозначив в общих чертах, как «поступать намерен» он, Ломоносов, переходит в своих заметках к тому, «как поступают иные». И вот тут выясняется, что за двадцать лет, истекших после работы над «Опытом теории о нечувствительных частицах», он из апологета механических понятий о мире во многом превратился в их оппонента. Он не хочет поступать, «как поступают иные», ибо «иные», как явствует из заметок, сплошь механицисты: «Физические писатели целиком находятся в области механики». Он не намерен погружаться в рутину чисто механических подробностей: «Махины, до практики надлежащие, выкину». Он поднялся на высоту, на которой потребны новые понятия, новые гарантии благонадежности теоретического взлета. Механические же понятия хороши в своей области.

Вот почему целый ряд дальнейших заметок идет у Ломоносова под рубрикой «Благонадежность». В сущности, здесь Ломоносов говорит о том, что является в его «Системе всей физики» критерием истины. Законосообразность природы предполагает, по мысли Ломоносова, такое ее постоянное проявление, которое удобнее и вернее всего было бы выразить даже не физическими, а этическими терминами: «Чудеса согласия, сила; согласный строй причин; единодушный легион доводов; сцепляющийся ряд». Этого мало: «Гармония и согласование природы». Но и этого мало: «По согласованию и созвучию природы». Но даже и этого мало: «Согласие всех причин есть самый постоянный закон природы». И уж совсем напоследок: «Все связано единою силою и согласованием природы». Критерий физической истины заключен в том, что Ломоносов называет «гармонией», «согласием», «согласованием», «созвучием», «единодушием» природы. Истину заключает в себе такое естественнонаучное мировоззрение, которое не искажает этот консенсус, присущий природе. Вот почему в Системе, по-настоящему благонадежной, «причины совмещаются и связываются».

Тем же словом «благонадежность» охватывает Ломоносов еще несколько заметок, касающихся того, что можно назвать «внешней структурой» его будущего труда. «С самого начала, — пишет он в одной из них, — надо остерегаться ошибок в самых основных положениях, иначе, блуждая по всему физическому учению, мы неизбежно уклонимся далеко в сторону» (как видим, Ломоносов вполне воспринял основной методологический завет Декарта точно определять понятия). Далее идет такая заметка: «Почему я захотел назвать это согласием причин». То есть он понимает, что необходимо обосновать столь необычную для физического труда терминологию. Вообще, в этой части заметки являются чем-то вроде памятки самому себе как автору. «Что на меня нападали» — скорее всего это значит: нападки не поколебали его убеждения в благонадежности теоретических оснований Системы. «Что я не торопился» — об этом достаточно было говорено в письмах к Эйлеру, но, очевидно, это надо было упомянуть и в книге. В развитие только что приведенных реплик Ломоносов замечает, что, пока он «не торопился», он, по существу, сам «нападал» на себя все это время: «Свыше 20 лет я искал на суше и на море веские возражения». И, наконец, последнее подтверждение благонадежности своей позиции: «Я не ищу покровительства какого-либо прославленного философа, как обыкновенно делает ученое юношество».

Далее идут две загадочные заметки под заглавием «Польза»: «Старики, ставшие пришельцами и отступниками» и — «Лекции по ней читать». Впрочем, завершается эта рубрика (тесно связанная с предыдущей) внятными и глубоко верными словами о том, что *мысль о пользе* «многих отвратит от присягания словами учителя». Действительно, слепое подчинение авторитету ненадежно с научной точки зрения: «Великие гиганты рушатся великим падением и многих стремглав увлекают с собой». (Здесь вновь на память приходит Декарт с его критикой авторитетов, вернее — ломоносовские слова о нем из предисловия к «Волфианской физике»).

После этих слов у Ломоносова зачеркнуто целых одиннадцать пунктов, которые, правда, повторяли то, что уже было изложено выше. За исключением, быть может, последнего, где говорится: «Гипотезы в алгебре становятся истинными аксиомами. Различие между измышлениями и гипотезами». Надо думать, что Ломоносов не навсегда вычеркнул этот пункт и должен был к нему вернуться в процессе написания книги: слишком уж важен был он с точки зрения метода. Начиная с «276 заметок по физике и корпускулярной философии» вопрос о месте гипотезы в естественнонаучном познании постоянно занимал Ломоносова. В «Системе всей физики» без него было не обойтись. Тем более что в этом пункте намечался спор с Ньютоном и его программным утверждением: «Я не измышляю гипотез».

Завершается ключевая группа заметок к «Системе всей физики» высказываниями, которые свидетельствуют о самом неподдельном волнении Ломоносова, проистекающем от сознания абсолютной новизны своих идей и от убеждения в неизбежности новых нападок на себя. Вот почему он вновь и вновь подчеркивает, что не собирается играть роль амби-

циозного первооткрывателя, который хочет утереть ученые носы, а только приглашает к совместному поиску истины. Новые идеи требуют нового подхода: «Если кто ищет какого-либо трудного разрешения и объяснения того или иного явления, то пусть не осуждает автора за неопределенность и не провозглашает его неспособным к решению, будучи таков сам, но пусть запечатлеет в уме все, что автор и т. д.». Поскольку читатели задуманной книги неизбежно придут в смущение от того, что в ней будет все не похоже на прочитанное ими ранее, Ломоносов вновь обращается к вопросу об авторитетах в науке и философии: «Пусть физик не подчинит свой ум какому-либо знаменитому и прославленному своими заслугами автору, из какой-либо приверженности или из желания заблуждаться с Платоном, как это в обыкновении у ученого юношества. Мне же, уже старику, не представляется нужным искать покровителя в Платоне или каком-либо другом, еще более великом. Я почитаю мужей выдающимися в естественных науках и т. д.»

Третья группа заметок под названием «Отделы микрологии» представляет собою общий набросок собственно физической части будущего труда. Здесь Ломоносов собирался использовать все достигнутое им ранее в области теории упругости воздуха, в химии, в теории света и цвета (пометка: «1. Аэрометрия. 2. Химия. 3. Оптика»). Первый отдел «Микрологии» («О строении корпускул и о внутренних движениях тел») посвящался итоговому изложению атомистического учения Ломоносова. Второй отдел («О частных качествах») должен был вместить в себя основные положения новой «Системы всей физики». Сюда вошли пять заметок из первых двух групп: 1. Частные качества тел «связаны единою силою и согласованностью природы», 2. «Почему я захотел назвать это согласием причин», 3. «Я не ищу покровительства какого-либо прославленного мужа», 4. «Согласие всех причин есть самый постоянный закон природы», 5. «Причины совмещаются и связываются». Постоянство, с которым Ломоносов утверждает «согласие всех причин», показывает в нем убежденного противника картезианской системы «случайных причин» (интересно, что, выступая здесь против Декарта, Ломоносов следует его же завету со всеми «в правде спорить», не смущаясь никакими авторитетами).

Такова в общих чертах картина замыслов и идей, содержащихся в заметках к «Системе всей физики». Но Ломоносов не был бы Ломоносовым, если бы не завершил их следующим характерным нотабене: «Чтобы показать, что вопреки мнению некоторых бродяг и на севере существуют дарования, которые... и т. д.». Заметки велись в пору наибольшего обострения отношений со Шлецером, и это не могло не отразиться даже в набросках капитального труда по физике.

В целом они показывают, насколько последовательной и органичной была естественнонаучная мысль Ломоносова. Более двадцати лет он, по собственному признанию, «искал на море и на суше веские возражения» исходной идее всего своего научного мировоззрения — идее атомизма. Эти поиски «веских возражений» привели его к замечательным открытиям в химии, геологии, астрономии, физике. В самом конце творческого пути они заставили его усомниться в том, что законы механики объясняют все, и атомист заговорил о «согласии», «созвучии», «единодушии». Трудно сказать, какие конкретные очертания получили бы мысли, обозначенные в заметках к «Системе всей физики». Но то, что здесь перед нами совершенно новый Ломоносов, поднявшийся на высшую ступень в осмыслении природы, не подлежит никакому сомнению. Точно так же, как и то, что здесь перед нами первое впечатляющее проявление грандиозных потенциальных возможностей молодой русской науки, которая на основе критического усвоения опыта науки мировой (Декарт, Ньютон, Лейбниц) предлагает свою, совершенно оригинальную трактовку природы.

Сегодня мы как-то привыкли к тому, что наука вообще наднациональна или вненациональна. Точнее было бы говорить о том, что она всечеловечна, да и то — на уровне конечных результатов. Что же касается самих поисков научной истины, то они всегда ведутся не только на фоне мировой, но и в недрах национальной культуры, породившей того или иного ученого. Академик С. И. Вавилов в одной из своих статей о Ломоносове писал: «Наиболее замечательные и совершеннейшие произведения человеческого духа всегда несут на себе ясный отпечаток творца, а через него — и своеобразные черты народа, страны и эпохи. Это хорошо известно в искусстве. Но такова же и наука, если только обратиться не просто к ее формулам, к ее отвлеченным выводам, а к действительным научным творениям, книгам, мемуарам, дневникам, письмам, определившим продвижение науки.

Никто не сомневается в общем значении Эвклидовой геометрии для всех времен и народов, но вместе с тем «Элементы» Эвклида, их построение и стиль глубоко национальны, это одно из примечательнейших проявлений духа Древней Греции наряду с трагедиями Софокла и Парфеноном. В таком же смысле национальны физика Ньютона, философия Декарта и наука Ломоносова».

Действительно, есть все же безусловная закономерность в том, что экспансивный француз пишет о «вихревой» Вселенной, практичный англичанин смотрит на нее как на часовой механизм, а русский, со своей поэтически-эмоциональной точки зрения, отмечает в ней прежде всего «чудеса согласия», «согласный строй причин, единодушный легион доводов», «самоочевидную и легкую для восприятия простоту».

И каждый из них (и Декарт, и Ньютон, и Ломоносов), воплощая собою дух своих народов, по-своему осветил истину, которую ищет весь человеческий род.

Надо сказать, что в заметках к «Системе всей физики» с точки зрения современного естествоиспытателя должно быть слишком много именно поэтических обертонов. Действительно, здесь тот случай, о котором писал еще Н. В. Гоголь: «...чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта». Интересно, что через сто лет после смерти Ломоносова его научно-философские формулы воскреснут в поэзии Ф. И. Тютчева почти в своем словесном обличье (почти — потому что Ломоносов писал заметки по-латыни):

Несокрушимый строй во всем,
Созвучье полное в природе...

А ломоносовское утверждение о том, что «с величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов» (само по себе достаточно поэтичное), как бы получит дальнейшее художественное развитие в таких гениальных тютчевских стихах:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих лишь грезою природы.

Тот факт, что Тютчев не мог знать заметок к «Системе всей физики» (они были впервые опубликованы в 1936 году), лишний раз подчеркивает глубоко поэтический характер естественнонаучной мысли Ломоносова. Такие совпадения многого стоят!

А. С. Пушкин писал, что Н. М. Карамзин был одновременно летописцем и историком. О Ломоносове можно сказать, что он был одновременно натурфилософом и ученым. Для натурфилософии характерно стремление одним грандиозным символом охватить и объяснить всю сложность явлений природы. Ломоносов, будучи основательным и подробным в частностях, как положено настоящему ученому, был вместе с тем во многом нетерпелив в своей устремленности к универсальному объяснению всей причинно-следственной связи фактов и явлений, подобно натурфилософу. В заметках к «Системе всей физики» он уже продумал художественное оформление титульного листа будущей книги: «В картуше под титулом представить натуру, стоящую главою выше облак, звездами и планетами украшенную, покрытую облачною фатою, в иных местах открытую около ног. Купидоны: иной смотрит в микроскоп, иной с циркулом и с цифирною доскою, иной на голову из трубы смотрит,

иной в иготь[1] принимает падающие из рога вещи и текущее из сосцов ее молоко. Все обще сносят на одну таблицу и пишут ее. Надпись: Congruunt universa [2]».

3

Мысль о том, что России суждено сказать новое слово в европейской культуре и что слово это должно стать согласующим, объединяющим, примиряющим, пронизывает одно из последних стихотворных произведений Ломоносова — то самое, которое он читал наследнику Павлу Петровичу 9 ноября 1764 года, — «Разговор с Анакреоном». Его по праву следует назвать ломоносовским художественно-философским завещанием.

...Обычно «Разговор с Анакреоном» рассматривают как выражение стоического гражданского идеала Ломоносова, поэтический манифест, призывающий художников слова к воспеванию геройских дел. В подтверждение такого толкования приводят чаще всего четыре строчки, ставшие хрестоматийными:

Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

Разъясняя смысл этих стихов, упирают на то, что Ломоносов здесь приносит личное в жертву общественному, хотя, если присмотреться повнимательнее, никакой «жертвы» тут, в сущности, нет. Просто Ломоносов больше восхищен героями, и это его личная точка зрения.

Однако не будем торопиться... «Разговор с Анакреоном» — самое глубокое и, пожалуй, еще не оцененное по достоинству произведение Ломоносова. То, что здесь будет сказано, — только попытка взглянуть на него с иной точки. Попробуем разобраться не спеша.

«Разговор» состоит из четырех стихотворений, приписывавшихся древнегреческому поэту Анакреону, в переложении Ломоносова и четырех ломоносовских ответов на каждое из этих стихотворений.

Творчество Анакреона (или Анакреонта) и его многочисленных подражателей (так называемая анакреонтика) составляет одну из показательных черт европейской поэзии — древней и новой. Для того типа сознания, который воплощает в себе анакреонтика, характерно воспевание живых, пусть даже и минутных, удовольствий (вино, любовь, природа), упоение настоящей «частичкой бытия», абсолютное

[1] Чугунная ступка *(устар.)*.
[2] Все согласуется *(лат.)*.

безразличие ко всему, что выходит за рамки чувственного наслаждения миром. Анакреонт исторический был предельно последователен в этом своем гедонизме: как говорит легенда, он умер, подавившись виноградной косточкой.

Анакреону Ломоносов поочередно противопоставляет стоического философа Сенеку Младшего и римского республиканца Катона, который боролся против деспотических притязаний Юлия Цезаря и закололся кинжалом, узнав, что противник победил и дело всей его жизни рухнуло.

В четвертой паре стихотворений Анакреон просит знаменитого родосского живописца (считают, что Апеллеса) сделать портрет его возлюбленной, а Ломоносов, в свою очередь, обращается к российскому художнику, искуснейшему в своей стране (предполагают, что он имел в виду Ф. С. Рокотова) с аналогичной просьбой. Разница только в том, что ломоносовская «возлюбленная» — это не женщина-любовница, а «великая Мать», Россия.

Основное внимание исследователи, как правило, сосредоточивают на цитированных выше строчках, справедливо усматривая в них существо идеологических расхождений между Анакреоном и Ломоносовым. Но выводы, как было отмечено, зачастую слишком прямолинейны и отражают действительное соотношение вещей лишь приблизительно. Особенно это ощущается в истолковании того места «Разговора», где Ломоносов дает сравнительную характеристику Анакреона и Катона:

Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятный виноград,
Ножем он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я.
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.

Вот несколько наиболее характерных высказываний биографов и комментаторов по поводу этих строчек, важнейших во всем «Разговоре».

«Ломоносов не знает, кто из них прав... В своей жизни и в поэтическом творчестве Ломоносов шел за Катоном и подавлял в себе все, что не считал общественно важным» (Д. К. Мотольская).

«Конец стихотворения часто вводит в заблуждение читателей и даже исследователей: Ломоносов не ставит тут вопрос, кто благороднее из этих двух античных деятелей или кто из них больше заслуживает уважения; этот вопрос для

Ломоносова решен, и конечно, в пользу симпатичного ему
Катона. Но от решения вопроса о том, кто житейски благо-
разумнее, практичнее, Ломоносов отказывается...» (П. Н. Бер-
ков).

«...Ломоносов противопоставляет общественному индиф-
ферентизму Анакреона... суровый классический образ древ-
неримского героя — республиканца Катона...

Ломоносов, правда, указывает, что и путь Катона не при-
вел к цели... В конце он даже отказывается быть судьей
в том, кто из них двух «умнее» провел свою жизнь. Однако
несомненно, что образ Катона вызывал его большее сочув-
ствие. Недаром он определяет его характер тем же словом
«упрямка», т. е. твердость духа, благородная патриотиче-
ская настойчивость, которое... он применял и к самому себе»
(Д. Д. Благой).

«Сам Ломоносов и по своим склонностям и по своей жиз-
ненной практике принадлежал, как известно, к тем, кто
«жизнь пренебрегал к республики успеху», и был очень да-
лек от тех, кто «жизнь употреблял как временну утеху», но
в данном произведении он заявляет, что не берется решать,
какая из этих двух моральных позиций умнее» (Т. А. Кра-
соткина и Г. П. Блок).

Во всех этих высказываниях, несмотря на их основатель-
ное подкрепление цитатами из Ломоносова, упускается из
виду один важнейший момент в тексте «Разговора»: «Не-
сходства чудны вдруг и сходства понял я...»

Исследовательская мысль отталкивается прежде всего
от принципиальных, антагонистических «несходств» между
Анакреоном и Катоном. Получается, что в стихотворении су-
ществуют только две жизненные философии, два нравствен-
ных подхода к миру. Третьего не дано.

И вот тут литературоведы, по сути дела, заставляют Ло-
моносова выбирать между Анакреоном и Катоном, между
практическим эпикурейством и аскетизмом. Подчеркнем:
сам Ломоносов не стоит перед выбором — он уже понял про
Анакреона и Катона что-то такое, что устраняет для него
самый вопрос о выборе. И не потому только, что он предпо-
чел кого-то из двух... Однако для исследователей вопрос
остается, и, поскольку Катон как личность все-таки вызы-
вает больше симпатий, нежели похотливый старичок Ана-
креон, принимается без доказательств, что Ломоносов цели-
ком на его стороне. И тут уже грань между позицией Ломо-
носова и той жизненной программой, которую представляет
Катон, стирается как бы сама собою. И появляется, вопреки
всему, что известно о Ломоносове, образ человека, который
«шел за Катоном и подавлял в себе все, что не считал обще-
ственно важным»; Ломоносов — республиканец, который по
своей жизненной практике принадлежал, «как известно» (?),
к тем, кто «жизнь пренебрегал к республики успеху» (???).

Но отчего же тогда Ломоносов, если Катон ему ближе,

отказывается принять чью-либо сторону в споре республиканца с Анакреоном? Ведь это «отказывается», или «не знает», или «не берется решить», может свидетельствовать только о двух вещах: либо о нравственной непоследовательности Ломоносова (что абсурдно), либо о профессиональной слабости всего произведения, о неумении Ломоносова-поэта художественными средствами выбраться из созданной им самим ситуации (что не менее абсурдно).

Однако все, о чем здесь сейчас говорится, не имеет к Ломоносову ровно никакого отношения. Он не «подавлял» в себе ничего из того, что не являлось «общественно важным» — ибо ничего такого, что следовало бы «подавить», он в себе не ощущал. Ломоносов как поэт и человек интересен именно глубоким и ясным пониманием высокой национально-государственной ценности своей личности. Он все считал в себе «общественно важным» и имел на это право. По своим же социально-политическим убеждениям он был не республиканцем аристократического толка, а сторонником просвещенного абсолютизма, в основе которого лежат народные «царистские иллюзии».

И наконец, последнее: знает все же или не знает Ломоносов, кто «умнее»? Безусловно, знает и не отказывается отвечать. Больше того: он уже, по сути дела, ответил на этот вопрос в приведенном отрывке. Умнее — он, Ломоносов. Что же касается Анакреона и Катона, то из них, с точки зрения Ломоносова, не умен ни тот, ни другой...

«Разговор с Анакреоном» можно понять лишь в контексте общих представлений Ломоносова об истине, о нравственной свободе, суть которых сводится к тому, что перед ним никогда не вставал вопрос о непримиримости частного и общего, личного и коллективного. Постоянная способность к слиянию с целым, органическое ощущение (и понимание) своего глубокого, коренного родства с миром, — которое и есть самая полная истина, какая только может быть в поэзии — все это уже было философским «активом» Ломоносова задолго до написания «Разговора с Анакреоном». И это необходимо учесть, приступая к его разбору.

Почти шестьдесят лет назад историком (не филологом!) Н. Д. Чечулиным была высказана одна проницательная мысль по интересующему нас поводу. Вот что писал ученый: «Беседы с Анакреоном представляют поэтическую шутку, по остроумию исключительную во всей допушкинской поэзии: тонкость и изящество шутки — это позже других созревающий плод умственного развития». Звучит несколько парадоксально, отчасти даже несерьезно (особенно если иметь в виду всю серьезность поднимаемых в «Разговоре» проблем), но по существу — глубоко и решительно верно. Веселая ирония по отношению к Анакреону (и Катону!) многое ставит на свои места. Она была бы невозможна, если б Ломоносов не имел своего собственного ответа на поставленные им вопросы.

Нельзя забывать и еще об одном — о жанре. «Разговор с Анакреоном» — не ода, где возможны прямые уроки читателю и гражданская проповедь, не сатира, где необходимы обличение и некоторые практические рекомендации. Это именно «разговор», «беседа», «диалог» в духе античных диалогов, вышучивающий вдобавок всевозможные «разговоры в царстве мертвых», которые появлялись на страницах тогдашних журналов.

Давно отмечено, что отбор анакреонтических од для «Разговора», сделанный Ломоносовым, отличается основательной продуманностью. Здесь тот случай, когда уже в самом отборе — концепция.

Над Анакреоном и анакреонтикой Ломоносов размышлял давно и углубленно. Как мы помним, он еще в Марбурге купил книжку стихов Анакреона и тогда же перевел одно его стихотворение, которое в переработанном виде открывает «Разговор». Он собирал переводы из Анакреона и его подражателей на немецкий, французский, английский языки и прекрасно был знаком с русской «легкой поэзией» (стихи из «Езды в остров Любви» Тредиаковского, Сумарокова и других поэтов). Существует мнение, что и сам Ломоносов когда-то написал любовную песенку в анакреонтическом духе «Молчите, струйки чисты...».

Что из этого следует? Во-первых, то, что Ломоносов старался проследить от истоков долгое развитие в европейской литературе того философско-психологического типа, который так полно (и симпатично) выразился в анакреонтике и оказался на редкость жизнеспособным; а во-вторых, то, что и в Ломоносове, в его собственном восприятии жизни, было нечто толкавшее его к Анакреону. И вот в «Разговоре» он подводит некоторые важнейшие итоги своего отношения к означенному типу жизнепонимания.

Анакреон

ОДА I

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь.
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть...

Ломоносов

ОТВЕТ

Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;

Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум.
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

«Смысл программного произведения Ломоносова «Разговор с Анакреоном» в том, — писал советский литературовед Г. П. Макагоненко, — что европейски прославленному поэту, главе целого направления, выразителю определенной и распространенной концепции искусства противопоставлен Ломоносов, русский поэт, выразитель русской мысли». Это высказывание, при всей его неразвернутости, дает верную основу, верный угол зрения на «Разговор», что уже немало.

Обычно «противопоставление», как говорилось, усматривают в том, что Ломоносов, в пику Анакреону, отказывается воспевать любовь и призывает к прославлению героев. На наш взгляд, противопоставление развивается в несколько другом русле. Высший смысл его в том, что ломоносовское слово о мире объемнее, чем слово Анакреона. Певец наслаждений не испытывает никаких эмоций по отношению к троянским героям, к Кадму, к Гераклу — они начисто выпадают из его мира, который, таким образом, оказывается сознательно обедненным и ограниченным. Ломоносовское мироощущение, напротив, не отвергает анакреонтического начала («Я чувствовал жар прежний В согревшейся крови»), но вдобавок он отзывчив и к «геройскому» началу. Если присмотреться повнимательнее, то тут мы имеем не противопоставление геройства и любви, а противопоставление любви и Любви. Поэт начинает «бегать» «перстами» «по тоненьким струнам», чувствуя в себе «жар» любви, и эта любовь органически, «по неволе», переходит на более возвышенный предмет.

В основе всего этого лежит более свободное и широкое представление Ломоносова об истине, которое, как подчеркнуто выше, заключалось для него в слиянии своего «я» с миром, в самоотдаче чему-то обширнейшему, нежели он сам. Скажут: да ведь и Анакреон сливается с миром, и Анакреон свободно отдает себя тому, что сильнее и обширнее его, и Анакреон в своей чувственной любви приобщается к бесконечности, к истине и т. д. Но ведь вопрос здесь не в том, может ли приобщиться, а в том, сколько точек соприкосновения с миром в этом единении, в этом приобщении к истине у того и другого. Истина Анакреона ограниченнее ломоносовской. Анакреон (люди его типа) никогда не сможет понять Ломоносова (людей его типа). Он сам заказал себе путь к этому, сузив свой горизонт. Ломоносов стоит выше, он видит дальше и больше. Любовь для него — и «нежность сердечная», и восхищение перед вечной славой героев. Ломоносов может понять Анакреона. Поэтому-то и возможно продолжение «Разговора»:

А н а к р е о н

ОДА XXIII

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжить,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла
И, за откуп кончину
Отсрочив, жить дала;
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,
На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог;
Не лучше ль без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать.

Л о м о н о с о в

ОТВЕТ

Анакреон, ты верно
Великий философ,
Ты делом равномерно
Своих держался слов,
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам,
Ты петь любил, плясал...
Возьмите прочь Сенеку,
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил?

Анакреон, безусловно, симпатичен Ломоносову. Симпатичен прежде всего тем, что у него слово не расходится с делом (это как раз отмечается исследователями). Но положительное отношение к Анакреону прослеживается и по другим пунктам: ироническое презрение к деньгам и умение по достоинству оценить здоровую, предметную сторону жизни.

Причем Ломоносов здесь не объединяется с Анакреоном: просто он подробнее раскрывает свое жизнепонимание. Обратите внимание: ни о каком «подавлении» речи нет. Ломоносовский образ мира развивается в его репликах свободно, исподволь. Он полнокровен, а не аскетичен.

Но самое главное в этой паре стихотворений — появление темы «смерти», «рока» (в тогдашнем употреблении: синоним «смерти»).

Спиноза говорил: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни». Подчеркнем, мысль о смерти заявлена в стихотворении Анакреона, Ломоносов лишь высказывается на предложенную древним поэтом тему.

Для Анакреона осознание скоротечности всего земного — повод к окончательной безответственности перед людьми, к окончательному замыканию в границах своего мира, что и зафиксировано в последних четырех строчках его стихотворения. У Ломоносова же эта мысль о возможности близкой кончины ассоциируется с представлением об ответственности, долге. Причем здесь он не высказывает своего понимания этих моральных категорий. Он органичен: он не «грешил» перед людьми, не противопоставлял себя им. Ему незачем ставить перед собой вопрос об ответственности. Вот почему нравственную противоположность Анакреону Ломоносов сознательно ищет не в своей душе, а в недрах той европейской традиции, с которой и идет весь «Разговор». Упрощая: вы проповедуете всепоглощающую погоню за наслаждениями, покажите иное.

Так появляется Сенека. И тут же отбрасывается прочь. Вот уж кто действительно проповедовал отказ от радостей жизни, полный аскетизм, и, кстати, все под тем же знаком, под каким Анакреон проповедовал наслаждение, — под знаком смерти. Но в жизни своей Луций Анней Сенека бывал очень даже «анакреонтичен» и понимал толк в наслаждениях. Таким образом, аскетизм Сенеки — умозрителен, он — от пресыщения, он подкреплен лишь предсмертной проповедью. Следовательно, Сенека — не соперник Анакреону. С точки зрения нравственной, Анакреон выше: он хоть последователен. Последние четыре строчки ответа Ломоносова — о Сенекиных «правилах» — содержат в себе бездну иронии. Именно здесь Ломоносов уже начинает понимать «несходства чудны вдруг и сходства» двух противоположных нравственных полюсов европейской мысли: угрюмство ее и даже веселость — от смерти. Она не может ответить для себя на вопрос: как жить? как совместить личное и общее? Ее рекомендации ведут либо к тому, что человек, живя в ладу с собой, погибает для остального мира (Анакреон), либо к тому, что он обнаруживает и закрепляет катастрофический разрыв между нравственным словом и нравственной практикой (Сенека).

В том и в другом случае действительно полная жизнь, в которой субъективное и объективное существуют в единстве, оказывается ей не под силу. Иронический вопрос по поводу «Правил», «сложенных» Сенекой, в сущности, уже в себе самом содержит отрицательный ответ: «И кто по оным жил?» Ломоносовская ирония заключается в том, что «по оным» действительно жить нельзя: «оные» правила, зародившись под страхом смерти, учат только одному — смерти же.

Так появляется Катон. С кинжалом. Катон — это воплощенная попытка воссоединить «Сенекин» разрыв между словом и делом, но воссоединить в субъективном, диктаторски одностороннем порядке. Этот республиканец в политике — одновременно деспот и раб в нравственной сфере. Он покупает внутреннюю гармонию и свободу («сим от Кесаря кинжалом свобожусь») ценою уничтожения — нет, в первую очередь не себя самого! — мира, который оказался не таким, каким он хотел его видеть.

Здесь-то во всей полноте и проступают те «сходства» Катона с Анакреоном, которые «вдруг» увидел Ломоносов. Железный аскет сходен с мягкотелым сластолюбцем в основополагающем нравственном отношении: он хочет гармонии и свободы для себя. Оселком, на котором проверяется их коренное сходство, выступает общечеловеческая, коллективная ценность жизни того и другого. И вот тут-то выясняется, что она, эта ценность, практически равна нулю — ни тот, ни другой ничего не оставили людям. Именно в этом смысл строк, обращенных к Анакреону:

> Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
> Его угрюмством в Рим не возвращен покой.

Закономерный вопрос: а как же быть с «упрямкой славной»? с «пренебрежением жизни к республики успеху»?

Ломоносов действительно ценил в самом себе «упрямку» (о «благородной упрямке» он говорил в письме к Теплову). Он действительно отмечает это упорство и в Катоне. Не столько оценивает, сколько именно отмечает. «Упрямка славная» и «благородная упрямка» — это не одно и то же. Эпитет «благородная» не нуждается в разъяснениях. «Славная» же, исходя из ломоносовского словоупотребления, означает в данном случае знаменитая, прославленная (здесь никак нельзя дать себя увлечь омонимическими сочетаниями типа «славный человек», «славная погода» и т. п.).

Кроме того, в строке об «упрямке» Катона очень важным является слово «судьбина». Это не просто «судьба», «удел», «доля». Это злая судьба, дурная судьба. Вспомним «Письмо о пользе Стекла», картину извержения Этны:

> Из ней разженная река текла в пучину,
> И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!
> Но ужасу тому последовал конец...

Отсюда видно, что «судьбина» у Ломоносова — это один из ужасных ликов смерти. Причем в случае с Катоном Ломоносов сознательно нацелен на отыскание причин его судьбины, не вовне, а в нем самом. Выступая против «мечтаний» Анакреона, Катон произносит роковые слова:

Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь...

Опять ирония, да еще какая! Мыслям Анакреона о том, что перед лицом «рока» должно «больше веселиться», Катон противопоставляет свою заботу, «ревность» о Риме, о вольности, но в решающую минуту он предает и Рим и вольность его, — и свобода покупается Катоном только для себя. Ломоносов приходит к выводу, что, в сущности, не Цезарь является главным врагом Катона. У неистового республиканца был более тиранический противник:

Ножем он сам себе был смертный супостат.

Ломоносов, не меньше Катона радевший о благе общества, *имел право на такое заявление.* Именно потому, что его «радение» в корне отличалось от Катонова. Ведь у Катона, по существу, вовсе даже и не любовь к Риму, а — ревность. Рим ушел с Цезарем, а не с ним: не в силах перенести измены, он и закалывается, и тут упрек с его стороны не только «сопернику» Цезарю, но и самому «предмету страсти» — Риму.

Ломоносов с умной усмешкой разглядывает Анакреона и Катона — эти два главнейших человеческих типа, созданные европейской цивилизацией. Он выслушивает их спор между собою, в глубине души потешаясь над ними. Зародившись в античности, эти два символа европейского человечества — рыцарь сладострастия в шелковых латах, пекущийся только о себе, и угрюмец с кинжалом, зовущий к борьбе за общее благо, но на поверку пекущийся лишь о себе, — из века в век они отражаются друг в друге и немыслимы один без другого. Они уморительны в их попытках увлечь человечество каждый на свою сторону. Даже безусловно положительные задатки каждого из них принимают гипертрофированно одностороннее (значит, уродливое) развитие вследствие их неспособности любить плодотворной и полной любовью. Анакреон, видящий в любви только ее предметную сторону, приходит к закономерно комическому жизненному итогу. Наслаждение, к которому он стремился до самозабвения, до истощения сил, выносит ему в «Разговоре» убийственно веселый приговор:

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет», —

И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед»...

(Ломоносовский Катон, не способный на шутку ввиду принятого решения о самоубийстве, еще более решителен в оценке Анакреона: «Какую вижу я седую обезьяну?»)

Любовь — чувство эгоистическое, и в этом его роковое искушение для анакреонов и неразрешимая загадка для катонов. Личный интерес в любви неизбежен, им она и сильна. Катон этого не понимает, сама мысль о том для него оскорбительна. Но есть эгоизм и эгоизм. Весь вопрос в том, насколько объемен внутренний мир человеческого «я», насколько широк его личный интерес. Европейским угрюмцам не «показали» еще человека, чей «эгоизм» органически вмещал бы в себе интересы других людей. В этом беда угрюмцев. Оттого они так легко «пренебрегают жизнь» — и не только ради «республики успеха», но и ради удовлетворения собственного чувства неразделенной любви к обществу. Самоубийство Катона — это уродливое, противоестественное проявление личного интереса.

Анакреон, конечно же, органичнее и, в общем-то, мудрее своего антипода. В жизненной философии и практике он естественно исходит из личной заинтересованности в земных радостях. Но главное, он умеет одухотворить предмет этой своей заинтересованности, извлечь из него максимум поэзии. Вот последнее стихотворение Анакреона в «Разговоре», где все дышит жизнью, где он выражает свой идеал красоты, а через него и красоту собственного духа. Вот как он просит художника написать портрет своей возлюбленной:

Цвет в очах ея небесный,
Как Минервин, покажи
И Венерин взор прелестный
С тихим пламенем вложи,
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь;

Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненный взгляд;

Надевай же платье ало
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.

Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет;
Молви ж, дорогой портрет.

Ломоносов в своем ответе выносит окончательную и удивительно точную оценку Анакреону по совокупности его жизни и поэзии. Этот старичок, который видел свою заслугу в бездумном веселье, ценивший превыше всего предметную сторону бытия, интересен для Ломоносова не конкретным содержанием его беспутной жизненной программы, а духовными качествами его натуры, которые не истерлись в погоне за наслаждениями и так невольно и так прекрасно сказались в его творчестве:

Ты счастлив сею красотою
И мастером, Анакреон,
Но сча́стливее ты собою
Через приятной лиры звон...

Что же касается своего идеала, то Ломоносов только теперь, подведя итоги диалога с европейской нравственной и эстетической традицией, дерзает его выразить:

О мастер в живописстве первый,
Ты первый в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне.
Изобрази ей возраст зрелый
И вид в довольствии веселый,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу;

Потщись представить члены здравы,
Как должны у богини быть,
По плечам волосы кудрявы
Признаком бодрости завить,
Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи,
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой,
Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали
И так бы слух наш ободряли,
Как чистый голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей;

Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец:

О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно!
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать.

Ломоносов здесь впервые в новой русской поэзии создает столь величественный образ великой Матери-России. Он вкладывает в ее уста слова о мире, который она — именно она — по его глубокому убеждению, должна дать человечеству. В стихотворении Ломоносова органически примиряется гражданское начало Катона (однако ж без его «угрюмства») и любовное начало Анакреона (однако ж без его безответственности). Здесь нет «проповеди» гражданского долга, как считают исследователи, — людям без чувства совести бесполезно говорить о долге перед Родиной: не отдадут. Ломоносов просто признается в своей любви к России, как Анакреон к своей девушке. В этом его признании содержится невольное указание, нравственный вывод о том, что только через любовь к Родине возможна полнокровная жизнь, возможно совмещение личного и общего, в чем и состоит истина.

Возвращаясь к тому, с чего начат был разбор этого стихотворения Ломоносова, повторим: нельзя рассматривать «Разговор» (и, прежде всего, кульминацию его — противопоставление философии наслаждения и отказа от земных радостей, выраженное в образах Анакреона и Катона), забывая о национальном своеобразии позиции Ломоносова, которое проявляется не в одном лишь последнем стихотворении, где изображена Россия, а пронизывает все произведение от начала до конца и проступает даже в стихах Анакреона, переведенных Ломоносовым.

Главное же в этой своеобразно-русской позиции Ломоносова то, что он может, не переставая быть самим собою, как бы сделаться на время Анакреоном и Катоном. Включить в себя жизненную философию каждого из них, сознавая при этом, что его дух от этого «включения», «вбирания в себя» чужой точки зрения на мир не заполнен до отказа, что остается еще, говоря словами Гоголя, «бездна пространства».

4

Все мы знаем высказывание Достоевского о том, что гений Пушкина нес в себе «способность всемирной отзывчивости». «И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, — пояснял Достоевский, — он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт». Думается, не будет натяжкою сказать, в свете приведенного разбора «Разговора с Анакреоном», что в Ломоносове мы имеем отдаленного пушкинского предшественника в этом направлении.

Объяснимся подробнее. Вспомним знаменитые слова Ломоносова о русском языке: «Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе...» и т. д.

По сути дела, здесь разговор идет не только о преимуществах русского языка перед другими, но и об изначальной способности русского сознания вмещать в себя «гении других народов», что не могло не отразиться в самом строе и духе русского языка.

Ломоносов с блеском подтвердил это в своей литературной деятельности. Конечно, между ним и Пушкиным в этом отношении — дистанция огромная, но и огромна-то она именно потому, что Пушкин пришел после Ломоносова. И если бы не титанические усилия Ломоносова, направленные на практическую реализацию в поэзии скрытых, но гениально подмеченных им «интернациональных», что ли, потенций русского слова, то явление Пушкина вряд ли отличалось бы тем всемирным, всечеловеческим пафосом, о котором говорил Достоевский.

Ломоносов не создал и не стремился создать оригинальных произведений, в которых отразились бы «поэтические образы других народов и воплотились их гении». Ломоносов мог говорить о «великолепии ишпанского» языка, читать испанские книги, но ничего подобного пушкинской строчке: «Ночь лимоном и лавром пахнет», — в его поэтическом творчестве, конечно, не найдется. Однако ж была одна область литературы, в которой Ломоносов мощно и ярко заявил о своей способности к «перевоплощению своего духа в дух чужих народов, перевоплощению почти совершенному», — то есть заявил о таком поэтическом качестве, которое получило полное развитие только у Пушкина и вознесло его, по мнению Достоевского, над всеми поэтами человечества, «потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось».

Областью, в которой Ломоносов предвосхитил пушкинскую «всемирную отзывчивость», была область поэтического перевода.

Переводческая культура русской поэзии первой половины XVIII века была очень высока. Кантемир, Тредиаковский, Сумароков, сам Ломоносов — каждый из этих поэтов был выдающимся переводчиком. Но, пожалуй, только ломоносовские «преложения» иноязычных авторов обладали тем редчайшим качеством, которое можно определить как поэтический артистизм, то есть умение проникнуть в самый дух оригинала, умение уловить и безупречно воссоздать интонацию переводимого автора, каким-то непонятным образом передать его культурно-исторический тип, ни на йоту не утрачивая при этом в своем собственном индивидуальном и национальном качестве.

Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я вскричал;
«Согрей обмерзло тело», —
Сквозь дверь он отвечал...
Тогда мне жалко стало,
Я свечку засветил,
Не медливши нимало
К себе его пустил...
Я теплыми руками
Холодны руки мял,
Я крылья и с кудрями
До суха выжимал.
Он чуть лишь ободрился,
«Каков-то, молвил, лук,
В дожже чать повредился», —
И с словом стрелил вдруг.
Тут грудь мою пронзила
Преострая стрела
И сильно уязвила,
Как злобная пчела.
Он громко засмеялся
И тотчас заплясал.
«Чего ты испугался? —
С насмешкою сказал. —
Мой лук еще годится,
И цел и с тетивой;
Ты будешь век крушиться
Отнынь, хозяин мой».

Это — Анакреон. Это его грациозное переживание роковой силы любви. И вместе с тем это — Ломоносов, невольно выдающий себя отдельными словами («Со гневом я вскричал», «...сильно уязвила, Как злобная пчела...»), за которыми вырисовывается «гордый внук славян», противящийся, в отличие от сластолюбца-эллина, абсолютному подчинению мучительно-сладкой стихии любовного чувства.

Железо, злато, медь, свинцова крепка сила
И тягость серебра тогда себя открыла,
Как сильный огнь в горах сжигал великий лес;
Или на те места ударил гром с небес;
Или против врагов народ, готовясь к бою,
Чтоб их огнем прогнать, в лесах дал волю зною;
Или чтоб тучность дать чрез пепел древ полям
И чистый луг открыть для пажити скотам;
Или причина в том была еще иная:
Владела лесом там пожара власть, пылая;

С великим шумом огнь коренья древ палил;
Тогда в глубокий дол лились ручьи из жил,
Железо и свинец и серебро топилось,
И с медью золото в пристойны рвы катилось.

Это — Лукреций, чеканным стихом повествующий здесь о рождении металлов. Это его «философствование стихами» из поэмы «О природе вещей», основанное на четкости формулировок. Это его предельная смысловая насыщенность строки, столь близкая Ломоносову, мыслителю и естествоиспытателю.

Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.

И молнией твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов твоих пределы,
Как бурей плевы разжени.

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.

Это — уже библейское мироощущение. Это мир, увиденный в зеркале Высшей Книги. Это трагический энтузиазм, вызванный именно дисгармоничностью мироощущения. Но вместе с тем это и Ломоносов (вернее, часть его: так же, впрочем, как и в предыдущих случаях) — Ломоносов, являющийся в минуту отчаяния, изнемогший в борьбе со своими врагами («Меня объял чужой народ») и в мыслях призывающий себе на помощь «высшую силу», во имя и во славу которой и идет борьба.

Лишь только дне́вный шум замолк,
Надел пастушье платье волк
И взял пастуший посох в лапу,
Привесил к поясу рожок,
На уши вздел широку шляпу
И крался тихо сквозь лесок
На ужин для добычи к стаду.
Увидел там, что Жучко спит,
Обняв пастушку, Фирс храпит,
И овцы все лежали сряду.
Он мог из них любую взять;
Но не довольствуясь убором,
Хотел прикрасить разговором
И именем овец назвать.
Однако чуть лишь пасть разинул,
Раздался в роще волчий вой.
Пастух свой сладкий сон покинул,

И Жучко с ним бросился в бой;
Один дубиной гостя встретил,
Другой за горло ухватил;
Тут поздно бедный волк приметил,
Что чересчур перемудрил,
В полах и в рукавах связался
И волчьим голосом сказался.
Но Фирс недолго размышлял,
Убор с него и кожу снял.
Я притчу всю коротким толком
Могу вам, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать.

Не правда ли, поразительный диапазон? Это уже Лафонтен. Здесь удивительно гармонично соединилось «простодушие», являющееся, по слову Пушкина, «врожденным свойством французского народа», и чисто русская отличительная особенность, которую тот же Пушкин усматривал в «каком-то веселом лукавстве ума, насмешливости и живописном способе выражаться». И потом: как сильно чувствуется тут близкое присутствие Крылова! А ведь этот ломоносовский перевод сделан за двадцать с лишним лет до рождения гениального баснописца...

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность...

А это — Гораций. Это спокойная уверенность римлянина в своем всемирном предназначении, осознаваемая именно в политических терминах, — образ литературной славы, вырастающий на реальной основе военно-экспансионистских устремлений Римской империи («Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом»). И вместе с тем — это снова Ломоносов, который и здесь сказался: «Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатной род препятством не был...» и т. д.

Можно было бы привести еще много примеров ломоносовских «преложений» — из Овидия и Лафонтена, из Вергилия и Камоэнса, из Клавдиана и Вольтера и других поэтов, — примеров, показывающих удивительную способность Ломоносова перевоплощаться «в дух чужих народов» и одновременно оставаться самим собою.

Поэзия Ломоносова — это пиршество свободного и здорового духа, вырвавшегося на всечеловеческий простор, осознавшего свое изначальное родство со всем миром, — пиршество, на котором он, по прекрасному выражению В. Ф. Одоевского, «черпал изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

Н. А. Некрасов

Академик С. И. Вавилов писал: «Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Франклин и Гёте более специальны и сосредоточенны. Замечательно при этом, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, будь то физико-химические исследования или оды, составление грамматики и русской истории, или организация и управление фабрикой, географические проекты или политико-экономические вопросы, — все это не делалось им против воли или даже безразлично. Ломоносов был всегда увлечен своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства».

В нем поражает удивительная органичность его натуры, всегда стремившейся через любой предмет, через любую частность постичь мир в его универсальном единстве. Неизменная способность в каждый данный момент видеть мир «в дивной разности», не дробя при этом самой целостности впечатления, — эта отличительная черта ломоносовского гения являлась одновременно одной из коренных черт русского сознания вообще.

Появление Ломоносова было подготовлено всем предшествующим, более чем восьмисотлетним развитием русского мироведения, которое по преимуществу выступало именно в поэтически непосредственной форме:

Отчего у нас начался белый свет?
Отчего у нас солнце красное?
Отчего у нас млад светел месяц?
Отчего у нас звезды частые?
Отчего у нас ветры буйные?

(Из «Стиха о Голубиной книге»)

«Глубокая бескорыстная любознательность народа» (С. И. Вавилов), отразившаяся в этих строках, заставляла древних русских книжников переводить с греческого и латыни произведения, в которых содержались бы универсальные сведения о мире, — таковы: «Книга о Христе, обнимающа весь мир» Козьмы Индикополова, «Толковая Палея», «О всей твари», знаменитый «Луцидариус» Гонория Отенского, «Великая и предивная наука» Раймунда Люллия и т. д.

С течением времени донаучные, полусказочные представления о Вселенной, изложенные в этих книгах, исподволь уступают место более достоверным и прогрессивным. В XVII веке Епифаний Славинецкий впервые знакомит Россию с учением Коперника, который «солнце (аки душу мира и управителя вселенныя, от него же земля и все планеты светлость свою приемлют) полагает посреде мира недвижиму» («Зерцало всея вселенныя, или Атлас новый...», 1655—1657). Стремление охватить мир единым взором запечатлелось в громадных поэтических энциклопедиях Симеона Полоцкого, по стихам которого юный Ломоносов обучался грамоте.

Эпоха Петра I выдвинула сразу целый ряд энциклопедичных по своим устремлениям и дарованиям деятелей: сам Петр, Феофан Прокопович, Я. В. Брюс, В. Н. Татищев, Антиох Кантемир, — занимавшихся одновременно с отправлением государственных должностей и историей, и географией, и математикой, и астрономией, и физикой, и древней и новой философией, и поэзией, и драматургией. Повторим, универсализм Ломоносова — явление глубоко закономерное на русской почве. Творчество Ломоносова — эта ослепительная вспышка национального самосознания, — явилось плодотворным завершением, историческим оправданием многовековых усилий русской культурной традиции выработать органически целостный взгляд на мир.

В XIX—XX веках эту, уже ломоносовскую, традицию продолжили среди ученых Д. И. Менделеев, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, Н. И. и С. И. Вавиловы. В каждом из них был свой «Ломоносов» в том смысле, что наука каждого из них, несмотря на ее огромное значение для специалистов, не была (с самого начала не была) строго специальной. Что я имею в виду? Менделеев, делая первые шаги в химии, когда еще далеко было до пе-

риодической системы, в своих, казалось бы, столь специальных исследованиях и статьях уже был нацелен на отыскание Системы. То есть его сознание уже тогда было готово вместить ее. Говорят, что она ему приснилась ночью. Так вот, быть может, она снилась многим химикам и помимо Менделеева, но они либо забывали этот сон еще до рассвета, либо (даже если запомнили бы) не смогли бы его себе растолковать в силу односторонности своего объясняющего устройства. Менделеев же был готов к этому видению и готовил его.

Таким образом, для того, чтобы стать, условно выражаясь, членом Ломоносовского клуба, мало быть очень эрудированным человеком. Надо, чтобы чья-то эрудиция была упорядоченной, чтобы в ней просматривались «чудеса согласия», «согласный строй причин» реального мира, чему в сознании эрудита должен соответствовать «сцепляющийся ряд» «единодушного легиона доводов». С этой точки зрения, например, Ф. И. Шаляпин имеет все права на действительное членство в Ломоносовском клубе не потому, что, помимо выдающегося певческого дара, обладал талантами прозаика и рисовальщика, а потому, что **не** считал **готовой** ту или иную **свою** вокальную партию до тех пор, пока не выучивал **всю** партитуру (остальные роли, партию хора и каждого инструмента в оркестре). Пел ли Шаляпин Бориса или Фарлафа, Филиппа или Галицкого, он держал в голове весь спектакль. Его претензии к партнерам, хористам и оркестру околотеатральная публика и пресса склонны были объяснять его невыдержанностью, зазнайством и т. п. На самом же деле это были конфликты универсала со специалистами. За полтораста лет до него не так ли воевал со специалистами в стенах Академии и Ломоносов? А вот, допустим, В. Я. Брюсов, с этой же точки зрения, не более чем член-корреспондент в Ломоносовском сообществе, несмотря на то, что был редким эрудитом, и «жажда познания сжигала» его, как он сам признавался.

Но ведь «многочисленные Ломоносовы» из Ломоносовского университета (не Московского университета, а того, о котором говорил А. С. Пушкин) «произошли» не только в верхних этажах нации. Ведь и в так называемой низовой национальной культуре ломоносовский пласт не истощился со временем. Русская литература чутко отразила это. Некрасовские мужики уходят из дома от баб и малых ребят скитаться по Руси до тех пор, пока не ответят на вопрос, который поразил их посреди их каждодневных дел, ибо до тех самых пор (они-то себя знают!) не будет им покоя. Лесковский Косой Левша — тоже на свой манер Ломоносов, но не только потому, что гений в своем деле (если бы **только** это было в нем интересно, то его надо было бы уподобить самородкам «инструментального художества» И. И. Беляеву или Ф. Н. Тирютину), а потому, что перед смертью просит передать царю, чтобы в армии перестали ружья кирпичом чистить, ибо, в отличие от английских ружей, «не дай Бог войны, наши стрелять не годятся». Вот где истинно ломоносовская черта! Забытый всеми, когда в нем отпала нужда, умирая, он держит в голове и в сердце заботу о судьбе всего громадного государства: чем не ломоносовский план беседы с Екатериной? А ведь потом будут платоновский машинист Мальцев, умеющий «в прекрасном и яростном мире» в одном взгляде вместить воробья на откосе и молнию в небе, которая его ослепляет, будут крестьяне, живущие впроголодь на «родине электричества» и мечтающие о всечеловеческом счастье. А шукшинские «чудики»! Окружающие о них судят, как великий князь Павел Петрович о Ломоносове. Но и им, подобно героям Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, А. П. Платонова, не будет покоя, пока они не решат свои вопросы, впрочем, касающиеся опять-таки других людей (и насмешников тоже), государства, человечества. И они решают: шофер обмеривает заброшенный храм, чтобы поделиться секретом «золотого сечения» с современниками; слесарь дискутирует о вере со священником; другой покупает микроскоп, чтобы утолить свою любознательность, а заодно и проверить, правду ли говорит наука; третий сочиняет конституцию для всей страны...

После Петра I русский универсализм необходимо должен был вобрать в себя государственное качество. Если XIV век в европейской истории был за Италией, XV—XVI века — за Испанией и Португалией, XVI—XVII века — за Англией, Францией и Голландией, то в XVIII веке восходит звезда России. Вся Западная Европа взбудоражена этим восхождением. Сначала глухая настороженность и опаска, потом приглядывание, а потом — европейцы потянулись в Россию. Оказавшись в огромной и чуждой стране, где все было разрушено и переворочено, они должны были четко уяснить для себя, на чем они собираются строить выгоду, ради которой приехали, на каких делах — способствующих дальнейшему разрушению либо воссозданию из разрозненных частей новой России. Собственно, тот же вопрос стоял и перед русскими. От ответа на него зависело, чего стоит каждый человек в отдельности.

Вот в какую пору свершался ломоносовский уход из отчего дома: «Отрок! оставь рыбака. Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы». Ломоносов стал живым отрицанием разрушительных культурных последствий петровских реформ и оправданием всего плодотворного, что они в себе потенциально содержали. Поставив Ломоносова между Петром I и Екатериной II, А. С. Пушкин тем самым утверждал, что ни среди царей, ни среди государственных деятелей, а уж тем более писателей не было в ту пору человека, который бы имел столь же глубокое и ответственное понятие о судьбах страны и народа. Ломоносов напомнил подданным об их

обязанностях перед властью, а власти — перед каждым человеком. Будучи крупнейшим государственным умом эпохи, Ломоносов одним из первых увидел в бюрократии, которая стала неизбежным «привеском» петровских реформ, страшную античеловеческую, антигосударственную и антикультурную силу. Всякий, кто умножал эту силу или даже просто подчинялся ей (будь то иностранец или соотечественник — неважно), становился **личным** врагом Ломоносова...

Сын своего столетия, глубоко проникший в его противоречивую сущность, свидетель и участник коренного переворота в русских умах, гений созидательный, нацеленный на преодоление разрушений, сопутствующих любому перевороту, гений всеобъемлющий, умеющий прозреть в ныне разрозненных частях грядущее единство, Ломоносов-поэт, как никто из его современников, был подготовлен к воспеванию того «священного ужаса», которым, по его же слову, сопровождается постижение великих идей, определяющих судьбы народов. Образ пророка, стоящего посреди переворотившегося мира, внимающего голосу Истины и потрясающего людские души ее словом, — важнейший в его поэзии:

О коль мечтания противны
Объемлют совокупно ум!
Доброты вижу здесь предивны!
Там — пламень, звук, и вопль, и шум!
Здесь — полдень милости и лето,
Щедротой общество нагрето;
Там — смертну хлябь разинул ад!
Но промысл мрак сей разгоняет
И волны в мыслях укрочает:
Отверзся в славе Божий град.
Ефир, земля и преисподня
Зиждителя со страхом ждут!
Я вижу отрока Господня;
Приемлюща небесный суд.

В старину отроками господними называли пророков. Впрочем, все пророческое относится к области наития, стихии. Недаром же Ф. И. Тютчев писал о «пророчески-неясных снах» «вещей души». Что до Ломоносова, то он не мог удовлетвориться стихией, он должен был подчинить ее себе, а для этого ему надо было как раз **ясным** взором «охватить совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний». Вот почему ломоносовский пророк всегда пытался в четких понятиях осмыслить свои смутные догадки и прозрения, дать разумное истолкование грандиозным видениям, столь часто посещавшим его.

Самым отрадным и постоянным видением пророческой музы Ломоносова был образ «веселящейся России». Так определял он высокий общественно-патриотический идеал, к которому всегда стремился сильной и любящей душою и звал соотечественников.

...Бросая общий взгляд на жизнь и труды Ломоносова, нельзя не признать, что даже с учетом многочисленных невзгод, подчас приводивших его в отчаяние, он был человеком *счастливым* в полном смысле слова: сильнейшая *личная страсть его* к отысканию Истины сама по себе уже была *общественным благом.* Его всеобнимающая любовь к родине менее всего была платонической, ибо постоянно воплощалась в свершениях во имя и во усиление родины. Недолгая жизнь Ломоносова представляет собою пример удивительно цельной жизни, прожитой стремительно, до предела насыщенно, благотворно для современников и потомков. Он прожил ее так, как мечтал прожить свою один из его героев:

Владеет наших дней Всевышний сам пределом,
Но славу каждому в свою он отдал власть.
Коль близко ходит рок при робком и при смелом,
То лучше мне избрать себе похвальну часть.
Какая польза тем, что в старости глубокой
И в тьме бесславия кончают долгий век!
Добротами всходить на верьх хвалы высокой
И славно умереть родился человек.

ПОСЛЕСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Писать о М. В. Ломоносове очень трудно, так как этот универсальный гений нашел выражение в столь разнообразных отраслях человеческих знаний, что одному человеку не под силу охватить все стороны его творчества. Не случайно поэтому о Ломоносове-естествоиспытателе пишут, как правило, ученые-естественники; о Ломоносове-историке — историки, о Ломоносове-поэте — литературоведы и т. д.

Глубокие знания, какое-то особое, можно сказать, любовное проникновение в творчество Ломоносова позволили Е. Н. Лебедеву написать удивительную книгу, в которой прочтение Ломоносова во всем многообразии его интересов нашло уравновешенное постижение.

Е. Н. Лебедев отыскал интересный и плодотворный метод раскрытия и биографии и творческого пути великого помора, как бы исходя из его собственных представлений о событиях и фактах. В книге поэтому огромное местс занимает «Краткая история о поведении Академической канцелярии», написанная М. В. Ломоносовым в конце 1764 года, за несколько месяцев до смерти. Для рассказа о жизни Ломоносова приводятся отрывки из его писем И. И. Шувалову, М. И. Воронцову, Л. Эйлеру и другим корреспондентам, с которыми великий русский ученый делился рассказами о своей прошлой и настоящей жизни. Здесь, конечно, использованы и «Записки» академика Я. Штелина, так называемые «Анекдоты о жизни Ломоносова». Таким образом, в книге постоянно как бы присутствует сам Ломоносов с его оценками поступков окружавших его людей, с замыслами работ, отраженных в его отчетах.

Но главным в книге Е. Н. Лебедева, безусловно, является глубокое понимание произведений Ломоносова, умение ясно и доходчиво рассказать читателю о его трудах по физике, химии, геологии, истории, о «Российской грамматике», о «Риторике», о поэтических произведениях.

Особенностью книги является портретная галерея современников Ломоносова. Ярко и обстоятельно, в форме монографических очерков охарактеризованы русские поэты XVIII века В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, советники академической канцелярии Г. Н. Теплов и Н. И. Тауберт, физик — друг Ломоносова — Г.-В. Рихман, президент Петербургской Академии наук К. Г. Разумовский и его брат А. Г. Разумовский. Интересно обрисована фигура И. И. Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, покровителя М. В. Ломоносова, оказывавшего ему постоянную поддержку в его творчестве.

Чрезвычайно обстоятельно запечатлен в книге о Ломоносове портрет советника академической канцелярии И.-Д. Шумахера. Злой гонитель ученых, пронырливый придворный делец, не пренебрегающий и жульничеством, постоянный недруг М. В. Ломоносова предстает в книге Е. Н. Лебедева во всей глубине своей непорядочности.

Значительное место уделено в книге отношениям М. В. Ломоносова с молодым немецким историком, приехавшим в Петербург в 1761 году, А.-Л. Шлецером. Е. Н. Лебедев правильно сделал, раскрыв «глубинную основу» тяжелых отношений, сложившихся между этими учеными, причины которых лежали в самом складе их характеров и типе научного мышления.

Можно было бы написать о превосходном анализе Е. Н. Лебедевым трудов М. В. Ломоносова в области физики, химии, геологии. Все это показано на фоне развития естествознания в общеевропейской науке XVI—XVIII веков. Большими достоинствами отличаются разделы книги, посвященные трудам Ломоносова в области филологии: «Российской грамматике», «Риторике», «Предисловию о пользе книг церковных в российском языке». Стихотворная реформа и стилистическая теория трактуются в широком культурно-историческом аспекте. По-новому анализируются поэтические произведения Ломоносова (оды) и трагедия «Тамира и Селим», написанная в 1750 году на сюжет, связанный с историческим событием 1380 года — победоносной Куликовской битвой русских войск, возглавляемых Дмитрием Донским, с татаро-монгольскими полчищами хана Мамая. В анализе «Письма о пользе Стекла» показан его глубинный философский и гуманистический смысл.

Очень интересно и убедительно раскрывает Е. Н. Лебедев значение «Записки» Ломоносова, посланной им в письме к И. И. Шувалову 1 ноября 1761 года, «О сохранении и размножении российского народа». Е. Н. Лебедев раскрывает продуманный Ломоносовым план социально-экономических и культурных преобразований России. Государственное мышление Ломоносова сказалось в этой работе с громадным размахом.

Е. Н. Лебедев правильно, с моей точки зрения, показывает подоплеку тех контактов, которые были предприняты императрицей Екатериной II в 1764 году: приезд в дом Ломоносова, широко освещенный в печати, беседы с ним, поручение составить свод полезных ископаемых в России, подготовка Северной экспедиции. Дальновидная Екатерина II хорошо поняла государственное значение трудов Ломоносова. Деятельность великого русского ученого проецируется оценками и суждениями А. С. Пушкина, о которых напоминает Е. Н. Лебедев.

Книга Е. Н. Лебедева чрезвычайно целостна и лишена всякой «модернизации». Она показывает саморазвитие духовного потенциала Ломоносова как единый процесс, без умозрительного разделения на сугубо специальные дисциплины. Это позволило автору по-новому взглянуть на все сферы многообразной культурной работы Ломоносова.

Г. Н. МОИСЕЕВА, доктор филологических наук.

ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. В. ЛОМОНОСОВА

1711, 8 ноября[1]. У крестьянина из деревни близ Холмогор Василия Дорофеевича Ломоносова и его жены Елены Ивановны (в девичестве Сивковой) родился сын Михайло; приблизительно через 8—9 лет Елена Ивановна умерла.

1722—1723. Михайло Ломоносов начинает учиться грамоте.

1730, декабрь. Ломоносов уходит с обозом в Москву продолжать учение.

1731, 15 января. Зачислен учеником в Славяно-греко-латинскую академию.

1734. Некоторое время обучается в Киево-Могилянской академии; возвращается в Москву.

1735, 23 декабря. Ломоносов в числе лучших двенадцати учеников отправлен в Петербургскую Академию наук для дальнейшего обучения.

1736, 1 января. Прибывает в Петербург. *23 сентября.* В числе лучших трех учеников послан за границу для изучения горного дела.

1736, ноябрь — 1741, май. Обучение в Германии.

1739, осень. Ломоносов пишет «Оду на взятие Хотина» и «Письмо о правилах Российского стихотворства».

1741, 8 июня. Возвращается в Петербург, где вскоре узнает о смерти отца, последовавшей весною того же года.

1742, 8 января. Ломоносова зачисляют в штат Петербургской Академии наук адъюнктом физики.

1743—1744, январь. Ломоносов заканчивает работу над первым вариантом книги по ораторскому искусству «Краткое руководство к Риторике».

1745, 25 января. Заканчивает диссертацию «О причине теплоты и холода», в которой формулирует молекулярно-кинетиче-

[1] Даты всюду по старому стилю.

скую теорию теплоты. *25 июля.* Утвержден профессором химии Петербургской Академии наук.

1747, январь. Заканчивает работу над расширенным вариантом книги по ораторскому искусству (напечатана в 1748 году под названием «Краткое руководство к красноречию»).

1748, 5 июля. Ломоносов формулирует «всеобщий закон природы» — закон сохранения материи и движения. *Октябрь.* После длительных хлопот Ломоносова создана первая в России Химическая лаборатория.

1750. Написана трагедия «Тамира и Селим» (1 декабря представлена при дворе).

1751. Выходит в свет первое «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова».

1752, 4 сентября. Закончена первая мозаичная картина Ломоносова. *Сентябрь.* Написана трагедия «Демофонт». *Декабрь.* Сочинено «Письмо о пользе Стекла».

1753, 26 июля. Убит молнией профессор Рихман, вместе с Ломоносовым проводивший опыты по изучению атмосферного электричества. *26 ноября.* Ломоносов произносит в Академическом собрании «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».

1754, июнь — июль. Ломоносов составляет проект создания Московского университета.

1755, 26 июля. В Москве торжественно открывается университет; в тот же день в Петербурге Ломоносов произносит «Слово похвальное Петру Великому». *Сентябрь.* Завершает работу над «Российской грамматикой».

1756. Ломоносов строит собственную мозаичную мастерскую, организует домашнюю химическую лабораторию и мастерскую оптических приборов, работает над созданием «ночезрительной трубы». *1 июля.* Произносит «Слово о происхождении света».

1757, 1 марта. Ломоносов утвержден членом Академической канцелярии, высшего административного органа Академии. *6 сентября.* Произносит «Слово о рождении металлов от трясения земли». Написано антицерковное стихотворение «Гимн бороде».

1757 — начало 1758. Ломоносов работает над «Предисловием о пользе книг церковных в российском языке», где излагает теорию «трех штилей».

1758, 8 марта. Ломоносов назначен директором Географического департамента Петербургской Академии наук.

1759. Ломоносов создает ряд навигационных приборов, сочиняет «Рассуждение о большей точности морского пути».

1760. Закончена историческая работа «Краткий Российский летописец с родословием». *19 января.* Ломоносов становится во главе Академической гимназии и Академического университета. *Апрель.* Ломоносова избирают почетным членом Шведской академии наук.

1760, декабрь — 1761, июль. Вышли в свет первые две части поэмы «Петр Великий» (осталась незавершенной).

1761, 26 мая. Открывает атмосферу на Венере. *Июнь.* Посылает в Шведскую академию свою работу «Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях». *1 ноября.* Направляет И. И. Шувалову записку «О сохранении и размножении российского народа».

1763, 10 октября. Ломоносова избирают почетным членом Петербургской Академии художеств. Выходит в свет книга «Первые основания металлургии или рудных дел», сочинено «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

1764, 24 января. Ломоносов направляет в Академию художеств «Идеи живописных картин из российской истории». *17 марта (6 апреля).* Избирается членом Болонской академии наук. Закончена мозаичная картина «Полтавская баталия».

1765, 28 января. Ломоносов в последний раз присутствует на заседании академической канцелярии. *4 апреля.* Смерть Ломоносова, через три дня — погребение на кладбище Александро-Невской лавры «при огромном стечении народа».

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. СОЧИНЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА

1. Полное собрание сочинений. Под ред. акад. С. И. Вавилова, т. I—XI. М.—Л., 1950—1986.
2. Избранные произведения. (Под ред. акад. Г. В. Степанова и чл.-корр. АН СССР С. Р. Микулинского), т. I—II. М., 1986.
3. Избранные произведения. Вступ. ст., сост. и прим. А. А. Морозова. Подг. текста М. П. Лепехина и А. А. Морозова. Л., 1986 («Библиотека поэта. Большая серия»).
4. Сочинения. Сост., автор предисл. и прим. Е. Н. Лебедев. М., 1987.

II. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. (Составители: В. Л. Ченакал, Г. А. Андреева, Г. Е. Павлова, Н. В. Соколова.) М.—Л., 1961.
2. М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. (Составитель Г. Е. Павлова.) М.—Л., 1962.
3. Г. М. Коровин. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961.
4. Ю. П. Тимохина. Как была обнаружена библиотека Ломоносова. — «Природа», 1974, № 1, с. 34—41.

III. КНИГИ О М. В. ЛОМОНОСОВЕ

1. П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, с. 259—963.
2. В. А. Стеклов. Михайло Васильевич Ломоносов. Берлин — Петербург, 1922.
3. Б. Н. Меншуткин. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. Третье издание с дополнениями П. Н. Беркова, С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. Под ред. С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. М.—Л., 1947.
4. С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. М., 1961.
5. А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.—Л., 1962.
6. А. Морозов. Ломоносов. Пятое издание. М., 1965. («Жизнь замечательных людей»).
7. Г. Н. Моисеева. Ломоносов и древнерусская литература. М., 1971 г.
8. А. Морозов. Родина Ломоносова. Архангельск, 1975.
9. Г. Е. Павлова, А. С. Федоров. Михаил Васильевич Ломоносов. 1711—1765. Отв. ред. акад. Е. П. Велихов. М., 1988.

СОДЕРЖАНИЕ

Лебедев Е. Н.
Л 33 Ломоносов. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 602[6] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 705.)

ISBN 5-235-00370-5 (2-й з-д)

Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, его всестороннюю блистательную одаренность.

ББК 72.3

Л $\frac{4702010201—005}{078(02)—90}$ 153—89